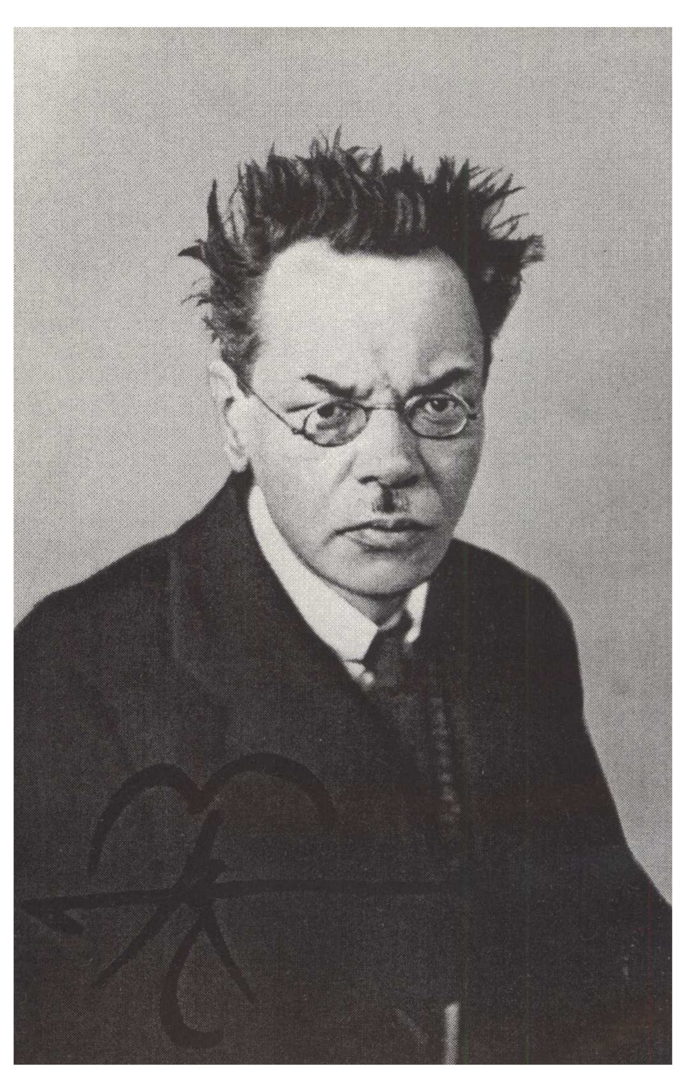
А. М. Ремизов

Сочинения

Алексей Ремизов



А. М. Ремизов. Берлин. 1922 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2000

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Руководитель программы **Михаил Ненашев**

Редакционная коллегия:
А. М. Грачева (главный редактор), **Т. Г. Иванова, А. В. Лавров, Н. Н. Скатов, О. П. Раевская-Хьюз, Н. М. Солнцева**

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста «Взвихрённой Руси», «Клада», «Кедриков», статья, комментарии **А. В. Лаврова**

Подготовка текста «Дневника», «Скоморошьих ляс», «Расправы», «Сказочек», «Слова о погибели Русской Земли», «Слова к матери-земли», «Плача», «Заповедного слова Русскому народу», статья, комментарии **А. М. Грачевой**

Подготовка текста «Дневника» **Е. Д. Резникова**

Подготовка текста «Вонючая торжествующая обезьяна...», статья, комментарии **Е. Р. Обатниной**

Подготовка аннотированного Указателя имен **А. М. Грачевой, А. В. Лаврова**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор **А. М. Грачева**

Оформление **Г. Л. Шацкого**

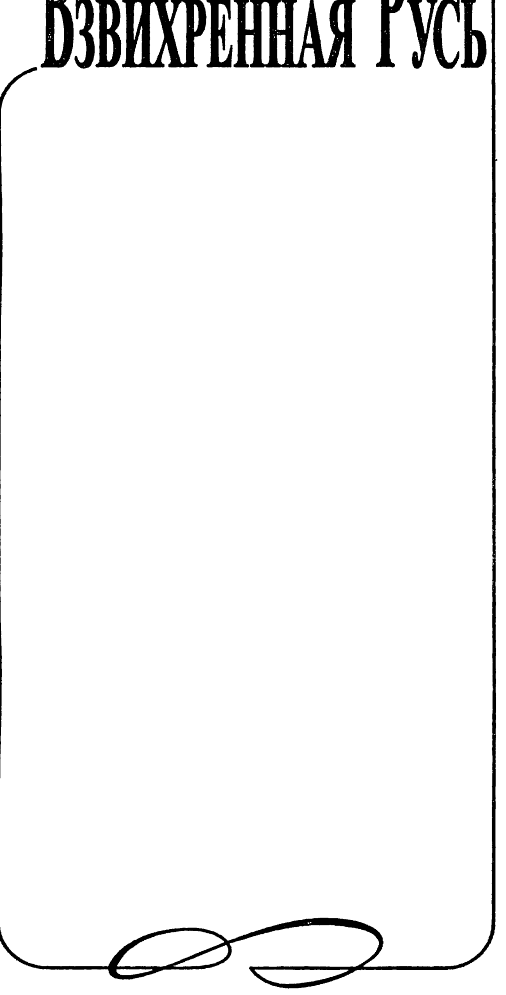
Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений. Т. 5. Взвихрённая Русь. — М.: Русская книга, 2000.— 688 с., 1 л. портр.

Пятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова содержит произведения, посвященные эпохе революции 1917 г. В нем впервые объединены ремизовские сатира и публицистика тех лет, роман-хроника «Взвихрённая Русь», а также документы из российских и зарубежных архивов, в том числе «Дневник 1917—1921 гг.».

ISBN 5-268-00482-x **УДК 882**
ISBN 5-268-00494-8 **ББК 84Р**

Взвихрённая Русь




посвящаю
С. П. Ремизовой Довгелло

БАБУШКА

Нас в вагоне немного. Было-то очень много — в проходе стояли, да слава Богу, кто в Гомеле высадился, кто в Жлобине, кто в Могилеве, вот на просторе и едем.

Старик, дровяной приказчик с Фонтанки, вылитый Никола с Ферапонтовских фресок, весь удлиненный, а лицо поменьше, — в Новгород на родину едет; курский лавочник с женою, степенные люди, в Петербург едут — Петербург посмотреть, да бабушка костромская Евпраксия.

Все с богомолья едут из Киева.

Показался им Киев, что рай Божий: ни пьющего, ни гулящего не встретили богомольцы в Киеве, ни одного не видели на улице безобразника, а много везде ходили — ходили они по святым местам, службы выстаивали, к мощам да к иконам прикладывались.

— Не город, рай-город!

— Лучше нет его.

— В трактирах с молитвою чай пьют.

— С молитвой закусывают.

Только и разговору — Киев: хвалят-не-нахвалят, Бога благодарят.

Бабушка в серенькой кофте, темная короткая юбка, в темном платке. Бабушка все по-монашенски, и не скажет

как-нибудь «спасибо», а по-монашенски — «спаси, Господи!» Прижилась, видно, к святыням и сама вроде монашки сделалась.

Долго и много хвалят Киев, о подвижниках рассказывали, о нечистом; не обошлось и без антихриста.

Бабушка и антихриста видела — только не в Киеве...

> «Три ему года, три лета, а крестил его поп с Площадки Макарий, и было знамение при крещении, сам батюшка рассказывал, когда погружали дите в купель, крикнул нечистый: «ой, холодно!» — и пять раз окунул его батюшка, а когда помазывали, кричал окаянный: «ой, больно! ой, колет! ой, не тут!»

— Три года ему, окаянному, в Красных Пожнях живет, — пояснила бабушка, крестясь и поплевывая.

Так потихоньку да полегоньку в благочестивых разговорах и ехали.

Но вот и ко сну пора — попили чайку, солнце зашло — пора спать.

*

Лавочник с лавочницей принялись постели себе готовить, одеяла всякие вытащили, войлок, подушки — примостились, как дома.

И старик новгородский примостился удобно.

Только у бабушки нет ничего: положила бабушка узелок под голову — узенькую скамейку у окна у прохода выбрала она себе неудобную, помолилась и легла, скрестив руки по-смертному.

И я подумал, глядя на ее покорное скорбное лицо — на ее кроткие глаза, не увидавшие на месте святом ни пьяницы, ни гулящего:

> «Бабушка наша костромская, Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша Россия!»

И все я следил, как засыпала старуха.

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!»

С молитвой затихала бабушка — и затихла — похрапывает тихонько — заснула бабушка крепким сном.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Тут лавочница вспомнила, должно быть, слово Божие о ближнем, да и по жалостливости своей пожалела бабушку, — поднялась с постели, шарит, вытащила тоненькое просетившееся одеялишко и к бабушке: будит старуху, чтобы подостлала себе!

Растолкала старуху.

— Спаси Господи! — благодарила старуха, отказывалась: ей и так ничего, заснула она.

Но лавочница тычет под бок одеяло — тормошит старуху.

И поднялась бабушка, постелила лавочное одеялишко, еще раз благодарит лавочницу — и легла.

Легла бабушка на мягкое — а заснуть и не может: не спится, не может никак приладиться, заохала:

«Господи, помилуй мя!»

А и молитва не помогает, не идет сон, бока колет, ломит спину, ноги гудут.

А лавочница богобоязная, лавочница, «доброе дело» сделав, завела носом такую музыку, — одна поет громче паровозного свиста, звонче стука колес — на весь вагон.

Следил я за бабушкой —

> «Бабушка наша костромская, Россия наша, и зачем тебя потревожили? Успокоилась ведь, и хорошо тебе было до солнца отдохнуть так, нет же, растолкали! И зачем эта глупая лавочница полезла с своим одеялом человека будить?»

Но, видно, услышал Бог молитву, внял жалобам — заснула бабушка, тонко засвистела серой птицей.

«Слава Богу! — подумал я, — успокоилась. Ну, и пусть отдохнет, измаялась — измучили ее, истревожили. А чуть свет, подымется лавочница, возьмется добро свое складывать, хватится одеялишка, пойдет, вытащит из-под старухи подстилку эту мягкую, разбудит старуху, подымет на ноги: ни свет ни заря, изволь вставать. Ничего не поделаешь. А пока — — бабушка, костромская наша, мать наша, Россия!»

Взвихрённая Русь

ВЕСНА-КРАСНА

I

СУСПИЦИЯ

Василиса Петровна Старостина, кореня переяславского из деревни Черницыной, женщина степенная, сердцем неуходчивая: западет ей от слова ли, от встречи ли, не отпустит, замает. Станет Василиса свое сердце разговаривать: себе скажет, тебе выскажет, — мало! — пойдет в дворницкую.

Хозяин Василисин, Димитрий Евгениевич Жуковский — доброй души, не злопамятный, ученый человек, философ:

— Членный билет потерял!

Рассчитывала Василиса по этому билету кое-какого запасу на зиму сделать, прошлым летом запасов на Москве было не мало, да с пустыми руками кто тебе поверит? И не может Василиса забыть о билете, еще бы: во все дома все соседи всякий себе тащит, кто сахару, кто круп, кто муки, кто чего, а у нее на полках в кухне одни шкурки тараканьи, вот и схватит, редкий день не услышишь об этом пропащем билете.

— Сто человек не надо за одного ученого! — честит Василиса хозяина, крася и хваля за доброту его, но билета она ему не может простить, — членный билет потерял!

А живет Василиса на Собачьей площадке во дворе в большом каменном доме — на том дворе конурка, в конурке Жучок собака, дом стережет.

О билете всякий день, и редкий день без войны.

О войне, о ее тяготе напастной, о смущении, о той самой суспиции (по слову Н. А. Бердяева), из-за этой войны, которая суспиция, как грех, ходить пошла среди людей, военные тревожные мысли не оставляют Васили-

сину думу и нет разговору против потревоженного ее сердца.

— Харчи ни до чего не доступные, — говорит Василиса, — если три года пройдет война, все с голоду пропадем. Чего будем есть? А то: «Давайте терпеть!» Терпеть? Никому и не будет: ни здесь, ни там. Народ-то пошел: шея чуть не оторвется, лицо землей покрылось. Война заставила всех чернеть. Который остался, не служит, много получает, много и проживает. Завидовать некому. И для чего эта война? Людей бить? А после войны будут бить друг друга. Кто тут виноват? на кого же бросаться? И давай друг на друга. Друг друга душить будут.

Я сижу у окна лицом к конурке, рисую картинки — «Рожицы кривые».

Когда я в первый раз вошел во двор, я забоялся Жучка, а Жучок залаял, меня забоялся. Теперь мы приятели, я Жучка рисую. Чуть проглянуло и опять дождя надувает.

— Плохо, нехорошо стало, — говорит Василиса, — а кто много претерпел? Народ. Бог милосердный, да много прогневали. Жалко народ, ни за что так пропадает. Лучше уж совсем убить, а чтобы пустить доживать: рыло своротено, нос вырванный. И для чего это война? Людей бить? У нас сказывают, не пулями, опилками стреляют, а у него не то: снаряды хорошие, стеклами порят, газом душат. А нам нельзя: мы православные. Ему позволено душить. Так и волов не бьют. Земля разрывается: сверху бьют. Это не воевать, а бить. А простой народ, за что он пропадает? Кто будет отвечать? Цари собрали народ и давай душить. На смех ли? От ума ли? Только прицепились к жизни, выбрались из копчушек, а их на войну. «На том свете все ангелами станут!» — попы читают.

Василиса вышла к себе в свою комнатенку, поправила лампадку: киот у нее золотой с золотым виноградом. Раскалилась, не может стать: какую страду ей надо нести! Сына ее убили — забыть не легко.

— Скоро, знать, свету конец, — говорит Василиса, — скоро все перевернется. Жулик пошел, вор на воре, озорнее стали. Убить человека ничего не стоит. Сердитые от горя: у кого убили, у кого урод. И так отступлены от Бога, а

тут совсем пропад. Для чего это война? Жизнь рассыпается, жить нехорошо стало. Не до Бога. Люди озлились, стали гордые, злые. Прежде придешь в лавку: «Пожалуйста — пожалуйста!» А теперь: «Поди вон!»

В Кречетниках ударили ко всенощной. Дождик холодный, не ильинский. Спрятался Жучок в свою конурку. Зажечь лампу, что ли?

— Ни мука, ни зола, — слышу голос из кухни: Василиса сама с собой — все это кара.

II

КРОВАВЫЙ МОР

В клопиной заставленной комнатенке на Каменноостровском под небесами — квартира из чердака приспособлена, и вода по утрам не подымается — сидим распаренные за самоваром.

Марья Ивановна Курицына разливает чай, хозяин Курицын угощает, прапорщик Прокопов рассказывает: с первого дня мобилизации он призван, до войны служил в банке, и вот уже третий год в тылу на самой спешной службе.

— Я так решил, нет больше никаких сил, разденусь донага, выйду на Знаменскую площадь и пойду. Все равно.

Весь день вчера и сегодня дождь, и теперь за окном сквозь дождь расплывающиеся белые фонари и скользящий шип по скользкому торцу неугомонных автомобилей. Каждый день с утра хожу я по «Новому Времени», ищу квартиру или комнату, мне все равно уж, стою в очереди, дожидаясь осмотра — и одно мне горе: всякий раз, когда до меня доходит очередь, квартиру занимают, или хозяйка, узнав о моих занятиях, отказывает, переходя к моему счастливому соседу, а сегодня одна дама сказала мне совсем откровенно, что муж ее сам писал в газетах, знает она, что за народ «писатель», и ни за что не передаст мне квартиры; а квартира очень подходила. А то и так: купи мебель, и квартира твоя, цена же не в сотнях, а в тысячах.

Курицын, приютивший меня в клопиной комнатенке, высматривал квартиры и доносил в какое-то военное уч-

реждение, и квартиры реквизировали, такая его должность, Курицын клялся, что он во что бы то ни стало достанет мне квартиру, но я-то ему совсем не верил, и только крутой и крепкий чай с сахаром и белым хлебом — Марья Ивановна запасливая! — меня успокоили, а то ей-Богу, как прапорщик Прокопов.

— Я бы рад служить, да не могу, нет больше сил, — тянул свое прапорщик Прокопов, — разденусь я донага, выйду с дежурства на Знаменскую площадь и пойду. Мне все равно.

Марья Ивановна летом ездила на богомолье, бывала в Верхотурье и привезла пророчество затворника Макария:

«Если в семнадцатом году народ не покается, через двенадцать лет Бог накажет, пошлет кровавый мор».

Но этот мор уже шел, третье лето косил беспощадно, и только вера Марьи Ивановны ждет его на двадцать девятый год.

И прапорщик Прокопов ей доказывал, что в семнадцатом году, а семнадцатый год через три месяца, вся жизнь замрет, железные дороги станут — все износилось, а поправлять некому и нечем! — и каяться будет поздно. Кровавый мор делал свое дело.

— Если опросить всех поголовно, — говорит хозяин Курицын, — у нас, и в Германии, и в Англии, и во Франции, чтобы сказали все по совести, кто воевать хочет и кто против, я уверен, мало дураков нашлось бы.

— Я бы рад служить, да не могу, нет больше сил, — свою песню пел прапорщик Прокопов, не видя конца бойне (мор все равно все погубит!), этой азартной войны без конца, — разденусь я донага, выйду с дежурства на Знаменскую площадь и пойду. Мне все равно.

III

ЗВЕЗДА СЕРДЦА

После пасмурных дней, осенних, закрывших крылатое Бештау и дымящийся отравленный Машук, после тоскливых дней туманных, сровнявших с дикой неоглядной степью белоснежный кряж с далеким крайним Эльбрусом, среди ночи я увидел лермонтовские звезды.

Слов я не помню, кому и о чем, я не помню, и какой молитвой молился, видел я звезды и так близко до боли, и так кровно, как свое, всегда со мною, и память, широкую, как звезды, от звезды к звезде и по звездам сквозь туманы путь —

сквозь туман кремнистый путь —

После ночи я поднялся рано. Белый белоснежный кряж с Эльбрусом ясный леденил утро. Бештау, весь — черный, распахнув летучие крылья, смотрел затаенно в своей демонской первородной тоске. И только отравленный Машук дымился.

Это было в Грузинскую, и я вспомнил наш храмовой московский праздник, садовника Егора: на всенощную принес Егор из Найденовской оранжереи гирлянду из астр, георгинов и пунцовых и белых флокусов и положил на аналой к Божьей Матери; за всенощную цветы помяты, но цветную свежесть — последние цветы! — да еще запах душистого мира, которым батюшка мазал, когда прикладывались, и запах воска от свечей, — я так это почувствовал и почуял, и уже не видел ни демонского Бештау, ни белого Эльбруса, я стоял там в белой любимой нашей церкви на Воронцовом поле у аналоя, где лежала гирлянда.

И вдруг слышу — где-то внизу у дороги, слов не разобрать, бродячая певица. А потом догадался: новая уличная песня! — и это был такой голос, как гирлянда там на аналое из астр, георгинов, из пунцовых и белых флокусов — последних цветов.

И я понял под уличную песню, всем сердцем почувствовал в эту минуту не ту злую войну, которую видел и чувствовал по искалеченным и увечным одноногим, одноруким, безногим и безруким, не ту проклятую, посланную на горе с тяготой нашей бескормной, голодом, холодом, нуждою и горем неизбывным — сына убили, забыть не легко! — не распоротые свинцом и железом животы, не развороченное мясо, не слепую безразличную пулю — будь ты деревом, камнем, лошадью, стеною или человеком, ей все равно, без пощады! — не кровавые и гнойные бинты, не свалку нечистот, не вошь и вонь, не

бойню, — так и волов не бьют! — нет, совсем другое, другое небо и землю, никакую бойню, а поединок за звезду своего сердца — за родину с ее полями, с ее лесом, с говорливой речкой, старым домом, мирною заботой, церковью и древним собором, с колоколами, с знаменитым распевом, с красной Пасхой, с песней, со словом.

И будь крылья, полетел бы на то поле, где вольно умирают за звезду своего сердца, и умереть за Россию, за колыбель нашу, за русскую землю.

IV

ПО РАТНЫМ МУКАМ

На Дмитров день пришел и мой черед.

Отдал я писарю синий билет и перестал быть: был человек, стал ратник.

Говорил мне Терентий Ермолаич, полотерный мастер: «взять нас не возьмут, а только измучают». Старый солдат — удушливые газы разрабатывал.

Так оно и вышло.

С утра я являлся в казармы и ждал.

— Приходи завтра! — не глядя, за делами, огрызался писарь.

— Подожди на дворе! — отмахивался еще более занятой, весь осиневший от синих билетов, которые принимал изо дня в день без счета.

Терпеливо я ждал на дворе. Выходила перекличка, но меня не выкликали, и я шел домой, чтобы на следующее утро снова идти в казармы и ждать терпеливо.

— Приходи завтра!

— Подожди на дворе!

Так изо дня в день.

И чем дальше, тем злее становился писарь — надоест ведь одно и то же! — а я нетерпеливее: или забыли меня?

Еще чего захотел: забыли? Не забыли. Не один я, нас много таких — синих.

И вот дождались: выкликнули, построили и повели.

Толклись в «околодке» у доктора.

Тут всякие килы показывали и язвы, и жилы синие.

Какой-то старик — по документам сорокалетний — растерянно обращался ко всякому:

— У меня, — повторял он, — хроническая гонорея, воспаление пузыря.

И так жалобно морщился, по этим его морщинкам больным видно было, какая это боль его каменная.

А другой показывал сюда — на сердце: не жила, так не увидишь.

Сидели на корточках костлявые и опухшие с градусниками. Одетые и полураздетые стояли в очереди.

Доктор много не разговаривал, ставил статью: такая-то статья и следующий. В «околодке» не задерживали.

И те, кто раздевался, живо оделись.

Уж без строя, разбереженных и встряхнутых, повели назад во двор.

И опять перекличка.

И опять:

— Приходи завтра!

А назавтра:

— Подожди на дворе!

Совсем изморелых водили в Присутствие.

— Чего вы, ребята, скучно идете, гряньте-ка песню! — трунили конвойные.

А ни у кого духа не хватало, шли молча.

— «Три деревни — два села!» — не унимался, зубоскалил конвойный.

Шли по Гороховой, потом повернули по Садовой кто с килой, кто с жилой, а кто — так не покажешь. И тот старик семенил, повторяя свое жалко о пузыре.

В Присутствии велено было всем раздеться, все равно, с килой или с глазом.

Сидели в куче пришибленные в испарине, — так души перед Творцом жизни и смерти ждут своей участи. И было неловко выходить к столу, где в чистых мундирах зорко тебя осматривали и, судя, перешептывались.

Одних назначали на «испытание», других принимали.

И те, кто был принят, шли из Присутствия на «сборный пункт».

А те, кто подлежал еще испытанию, должны были начать все сначала: по утрам являться в казармы на перекличку и терпеливо ждать, когда выкликнут, чтобы с партией таких же идти под конвоем в госпиталь.

Эти ожидания на казарменном дворе, хождения на осмотр и осмотр открыли и передо мной щелку, и я заглянул в самое нутро войны, я почувствовал ее не ту, о которой песни поют — «звезда сердца»! — какая насмешка! — а то ее сверло, о котором никакого склада не сложишь и никакой сказки не скажешь.

И душа моя отшатнулась.

«Звезда сердца»! — какая насмешка! Ведь вся наша жизнь есть только разубранное и разукрашенное подкапывание и подсиживание соседа, только отравление и подтачивание века ближнего — убийство скрытое; а война, это уж убийство откровенное и ничем не прикрытое. И если для мирного убийства, для лицемерного жития мирского, прежде всего надо ум и ловкость, для войны прежде всего мясо здоровое, крепкое и зоркое, мясо-машину.

И вот с разных концов Петербурга согнали нас разных по жизни и по душе, и по духу, чтобы отобрать годных и отбросить дрянь.

Дрянь, к которой принадлежал и я, были самые несчастные: мы ни к чему были и просто не имели смысла быть на белом свете, и с нами не считались.

Толкаясь днями на казарменном дворе в ожидании переклички, я смотрел на годных — настоящих, которые уходили на «сборный пункт», а оттуда на муштровку в казармы, чтобы, наловчившись нужным приемам, идти убивать. И среди бородатых сверстников моих я заметил о ту пору — в третий год войны, — что о России, которую защищать от врагов и собрали нас всех, и годных и негодных, о России не было речи, а было одно:

— Все равно, скоро войне конец.

И эта мысль о скором конце, — даже срок ставили: весна! — примиряла людей моего возраста, семейных и уж тронутых нелегкой мирной жизнью, озабоченных, с их трудной участью.

— Войне скоро конец.

V

МЕЖДУ СЫПНЫМ И ТИФОЗНЫМ

В туманное петербургское утро, когда каждый поворот, каждый звук и оклик, как этот желтый невский туман, подымают в душе неизъяснимую тоскущую тоску и скорбью переполняют сердце, в туманное, любимое утро ввергнут был в госпиталь и сорок четыре дня и сорок четыре ночи живой, только негодный, провел я среди умирающих и мертвецов.

Когда после ужина больные укладываются по своим койкам на сон грядущий и белые ночные сиделки примащиваются на лавку подремать до полунощного звонка, выхожу тихонько из палаты, осторожно иду по каменным гладким квадратам, мимо запертого телефона, бесконечным, как в крещенском зеркале, сводчатым коридорам.

Там в конце открытая палата — под голубым матовым огоньком тифозный и два крупозных, а в окно им с воли зеленый, прыгающий под дождем фонарь. Ни фонаря дождливого, ни огонька они не видят — малиновые, зеленые, красные шары под потолком, и пудовая лапа давит грудь.

В углу, как свечка, всю ночь сестрица.

— Спите, чего вы? — шепчет сестрица.

А мне что-то и сна нету.

Иду на другой конец — бесконечен, как в крещенском зеркале, сводчатый коридор, — там в душных бинтах сыпные и запах мази.

Наша палата — «камера», так я говорю себе, потому что есть что-то общее между тюрьмой и госпиталем, или эти окна с решетками и уйти нельзя? — наша палата в середке, наши соседи — туберкулез и такие, как мы, кто с сердцем, кто с животом. И из нашей палаты прямо через сводчатую широкую площадку-сени ход в уборную и к той двери, через которую никто еще из заключенных не выходил, а только выносят.

Редкую ночь не слышу, как звенят колесики кровати — это катят кровать с помершим из палаты на площадку к уборной, и редкое утро робко не пройду мимо ширм, за которыми лежит закрытый простыней покойник.

Утро, когда после ночи боль резче и часом не смотрел бы на свет, наше утро, когда в коридоре колют сахар, разносят хлеб и кипяток по палатам, а из палат мочу, а там на воле туманы, любимое петербургское утро, и сквозь туман я вижу госпитальный двор, промокающие дрова и огонек на кухне, наше утро — оно трепетно, как поздний вечер.

Тут приходит из мертвецкой сторож Андрей одноухий, на нем огромная серая куртка, как на пожарном, он притащил казенный коричневый гроб, выйдут сиделки из припарочной, положат покойника в гроб и в ту вон дверь —

И останется одна дощечка — по черному белым: палата, отделение, имя и болезнь по-латыни. Фельдшер Виталист Виталистыч отметит в книге, лабораторщик Гасюк погасит белую надпись.

И сколько «последних минут», сколько жалкого беспомощного детского крика «последних минут» за все эти ночи!

И какая ни будь распаскудная твоя жизнь, а какая она! — расставаться не хочется. И какие бывают на свете люди — и обидчики, и жестокие, а как придет эта минута, все как дети.

*

С вечера, когда в коридоре пустеет и наши халаты синие и коричневые красятся в черное, а сиделки в белое, — беспокойно в коридоре вечером.

Это она выходит из своего угла, — я не знаю, где ее дом, может, в тепле у банщика Вани, Ваня чего-то долго по утрам не отворяется и стучи не стучи, не пустит в теплую ванну, — она выходит в сумерки, я ее чувствую, как чувствуют обреченные, для которых с каждым ее шагом постылеет свет: все им не так, все не по них! — она идет, необыкновенная, пробирается по скользким каменным квадратам с крепкой верной веревкой.

От всех нас, входящих в госпиталь, отбирается в приемном наша вольная одежда. И вот сосед мой хиромант Шавлыгин, захлестнутый тугою петлей, цепляясь за последнюю нить жизни, вспомнил о сапогах.

Он был при последней минуте, уж шаги слышал, и смертный вихрь веял на него.

«Пришли, принимайте!» — сказал кто-то.

И к двери палаты подошли сиделки, ее сиделки, несли на плечах гроб, и свеча в руках первой заколебалась под вихрем.

— Давайте сапоги! — задыхался Шавлыгин, глотая отравленный воздух.

Думал несчастный, будь сапоги на ногах, в сапогах выдерется он из петли, выскочит на волю.

Нет, умирать никому не хотелось.

Уж, кажется, какую муку принимали сердечные: один кашель их — да это пилы, сверла и зубья всякие, разрывавшие по ночам грудь! — думаешь, хоть бы конец, чего так-то мучиться. А и они упирались.

И другой сосед мой монтер Фигуров, когда она захлестнула его, очень был слабый, а вскочил с койки, ноги-то худые, одни ноги видно, так и впился ногами в пол.

— Пустите!

Да уж куда там, ее не осилишь.

И отлетела душа его хрупкая, как электрическая лампочка-тюльпан.

Был монтер Фигуров высокий, рослый, а как в гроб класть, подобрался весь, как заяц, а руки сложенные крестом, как перламутровые.

Жизнь наша нелегкая, тревожная, сколько огорчений одних! — на белом-то свете жить, если бы всё показывали, как оно будет, пожалуй, почешешься, соглашаться ли, а как стукнет конец, расставаться не хочется: какую-нибудь травинку вспомнишь, ну самую обыкновенную, жгучую крапиву, которая около дома росла, вспомнишь — Господи, так бы на нее и смотрел все!

Умирают за того, кого любят, и за то, что любят, умирают из чести и умирают по долгу.

Но нешто много таких, кто любит так, чтобы умереть, и таких, для кого есть честь, и много ль найдется в наш нищий день, кто бы до конца исполнил свой долг?

В уборной у нас курилка, там же и клуб.

Тут всякие истории рассказываются, тут и философия.

Я спросил соседей моих курильщиков:

— А как на войне? Как на войне умирают?

И сколько ни рассказывали соседи, я из всех рассказов понял одно; хоть и идут на смерть «по присяге», а умирать никому неохота. И еще я понял, что только тот смеет призывать к смерти, только тот, только тот, — и это из всех слов вопияло! — кто сам готов по всей правде идти и умереть.

— А то много таких, — серчал Тощаков с простреленным боком, — сидят в тепле, сыты: «идите, братцы, помирать за родину!» Пожалуйте, сам попробуй!

*

«Мандолинщик пленный из Германии», — так почему-то в первый мой день меня встретили в нашем уборном клубе курильщики. Или ожидали такого мандолинщика, и я за него сошел: я будто бы попал в плен германцам, а теперь за негодностью назад в Россию выпровожден.

На мандолине я играть не учился и не умею (это Лоллий Львов!), но это неважно, за кого бы ни считали. Даже, пожалуй, мне это на пользу: песельник, мандолинщик, скоморох — «веселые люди», как в старину их на Руси величали, в тяготе житейской, среди жестоких буден, случайных и немилостивых, влекли к себе своим искусством, растравляющим и отводящим душу.

И я много наслушался о житье-бытье — о горьком и бестолковом, о темном и щемящем.

Не раз я о войне спрашивал, я спросил и о враге:

— Как насчет врага? Какой он, очень страшный?

И из всех рассказов одно вынес, что врага-то по-настоящему нет никакого, а что воюют, потому что так нужно.

— Потому что присяга — должóн; и он по присяге.

И с какой нежностью, словно о малых ребятах, передавали о пленных: и как чаем поили и как хлеб давали.

А ко всему одно, одно и неизменно, ко всем рассказам:

— Скоро и войне конец.

И даже срок ставили — вот чудеса! — весною.

Помню, кто-то из курильщиков, соседей клубных, за гонимой папироской философствовал, как там на войне в тяготе да в опаске думается.

Всякому-то кажется, вот только бы вернуться, и пойдет уж новая жизнь, и в письме другой пишет о этой новой

жизни, и если выпивал да крут был, клянется, ни в жизнь ни столечко не выпьет и никогда не обидит, только бы Бог сохранил. Ну, а случаем вернется домой на побывку, и прощай ты, новая жизнь, пошел по-старому.

— Человека ничем не прошибешь! — сказал черный Балягин; мы его тараканом звали, черный, и жизни ему оставалось до первой оттепели.

— Неужто ничем?

— А Сибаев? — заметил кто-то.

— Какой Сибаев?

Шел я из лаборатории после «выкачивания», в глазах зеленело, иду — хоть бы до палаты добраться! — а меня за руку Тощаков и показывает:

— Сибаев из 31-й.

Я о ту пору так только взглянул: вижу, молодой, рослый, халат до колен. Потом уж разобрался.

Сибаев контуженный ходил по коридору, не подымая глаз.

До войны «фюлиган», как говорили про него соседи, так жаловалась и его родная мать. Мать его прачка, и так работа нелегкая, да еще от сына горе: что заработает на стирках, лодарь все пропьет, да и поколачивал. А тут, как случилось, снаряд разорвался, его словно бы всего передернуло. Вернулся он домой к матери и совсем как не тот: станет на колени, все прощенье просит, и такая память вдруг, все-то припомнил, как измывался, как колотил, и просит, клянется, что никогда уж не будет так, и только бы поправиться, все сам делать будет, беречь будет.

Мать не знает, что и делать, она все простила, и нет злой памяти, ведь она Бога-то молила, чтобы только не так уж сын-то ее непутный поедом ее ел, ну, пошумит немножко, ничего, а он — на коленях. Мать все простила, а он помнит, забыть не может, сам себе простить не может.

«Господи, зачем это я сделал? Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть!»

Сибаев из тысячи тысяч ничем не прошибаемых один прошибленный ходил по коридору, не подымая глаз.

— Это совесть, — сказал про него Таракан, — пропадет!

Белая зима настала. Покрепчало и в палатах и сердечный кашель поутих — и е й отдых: то-то, должно быть, приятно

у банщика Вани в горячей ванне! А на Наума подул с моря ветер и зажелтело на воле. И опять ночами зазвенели по коридору колесики кровати, опять поутру на площадке ширмы и мертвецкий Андрей одноухий в серой пожарной куртке.

Заглянул я за ширмы, а там под простыней — Таракан!

А Сибаев держался, ходил по коридору, не смея поднять глаз.

*

И когда по испытании в конце госпитальных дней, в канун последней комиссии лежал я пластом, как мои обреченные соседи, вспоминались мне разговоры и мои думы о жизни и смерти, и о такой любви и о такой чести и долге, ради которых умирают, и о войне, которую воюют, потому что так надо «по присяге», и о враге, которого по-настоящему нет никакого, и опять о смерти, к которой призывать смеет только тот, кто сам готов по всей правде идти и умереть, и о жизни, будь она самой жалкой и ничтожной, распаскудной, но для каждого единственной и важной, неискупаемой и целым миром, а в глазах стоял Сибаев, из тысячи тысяч непрошибаемых, один прошибленный с своей совестью, а эта совесть одна могла бы легко и просто развоевать и самую жестокую войну и в мирной жестокосердной жизни, и на бранных кровавых полях, и разрешить всякую присягу, и вернее самого верного динамита разворотить и самые крепкие бетонные норы, куда запрятались люди, чтобы ловчее бить друг друга. Эта совесть одна могла бы своим безукорным светом уничтожить и самую смертную тьму.

— «Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть!»

VI

ОГНЕННАЯ МАТЬ-ПУСТЫНЯ

На Святках смотрел картину Петрова-Водкина: большая в полстены, изображен окоп, — вышли, идут. Лица всё знакомые, их увидишь и без окопа, всякие, и благообразные, и зверские, и остекленевшие, а один выскочил, щеки надуты, видно хлыстом погнали, с перепугу ничего не понимает, а посередке Андрей Белый — подстреленный!

Но не в этом суть картины, не в лицах, не в глазах, а в земле и небе. Эту землю и небо видит подстреленный, от которого душа отлетает, и ноги его чуть от земли, как на иконах пишут.

Я смотрел на картину и думал:

«Что это за небо такое глубокое? Что за земля такая черная и такая зеленая неправдашная?»

Есть старинный образ — Три московских чудотворца — стоят они наги, а перед ними Москва-река течет, а за рекой московский Кремль с башнями, а направо вверху Троица, а осеняет чудотворцев дубрава.

Да эта самая дубрава, она и тут на картине — это мать-пустыня, огненная мать-пустыня с небом нездешним и зеленой землей.

*

На Ильин день по-старому, на Спасов по-новому, по царской воле и слову вышел русский народ со всех концов русской земли на ратное терпение и смерть.

Русский народ по судьбинному суду оставил дом и пошел в пустыню.

Мать-пустыня, куда уходили только избранные, горькая, огненная, по судьбинному суду открылась перед всем русским народом и избранным и призванным и заключенным.

Будут гадать и спорить, кто огонь пустил землю жечь, запалил мир со всех концов, который царь или какие воротилы, и для чего, и докажут: такой-то царь или такие-то воротилы, или ихняя шайка воровская и с таким-то умыслом, и потому-то — но почему земля изрыта и нет дома без потери и столько несчастных недобитых осталось доживать в мире убогий свой век — суд судьбинный кто разгадает?

Огненная мать-пустыня с постом, терпением, с унынием пустынным и искушением, и прекрасная мать-пустыня с дубравой и густыней, с райскими птицами и цветами, какие вспоминаешь да во сне снятся, ты открыла по судьбинному суду врата и перед русским народом перед землей — родиной на грозного Илью по-старому, на Спаса Милостивого по-новому!

VII

ЯЗЫК ЗАПАЛ

Справили рождественскую кутью — постную: после всенощной, как показалась звезда, сели за стол.

Сосед Пришвин хлеб принес.

Под новый год справили кутью — «богатую».

Сосед Пришвин хлеб принес.

И «голодную» кутью — под Крещенье — справили.

Сосед Пришвин хлеб принес.

Когда догорели белые свечи перед Неопалимой Купиной, зажгли на елке красные. Прокофьев на рояли играл — «скифское». И когда он играл, не верилось, что в мире беда с жестокой войной: одни, как звери, сидят в норах, подсиживают врага, как бы побольше истребить, а другие точут и льют, и пилят, готовят оружие поострее да крепче; и не думалось, что другая беда уж на пороге, караулит голодная.

Сосед Пришвин всякий раз твердит:

«Запасайтесь, скоро хлеба не будет!»

Не верилось, не думалось.

А и в самом деле, и как это так? Или это делается, никого не спрашивая и ни с кем не уговариваясь по тому же по самому, почему музыка раскрывает дверь и выходишь из холодной норы в звездный сад.

Обещал Пришвин крупчатки достать, чтобы уж была масленица: «его мука, его и икра, а блины будут наши!»

С тем и Святки проводили.

Музыканту честь за музыку, соседу за хлеб и посул.

На Викторина к священнику Викторину на именины пошли. Потащили с собой и соседа — достал-таки муку! — и еще с шлиссельбургского тракта скульптора Кузнецова.

К ужину, чего запасла матушка, всё на стол, милости просим: была колбаса от «Шмюкинга», Чеснокова, сыр романовский, грибки да капуста Зайцева, пастила прохоровская, заливные рябчики собственного приготовления, а торт ивановский.

Обещал прапорщик Прокопов вина достать, сам пришел, а вместо вина — тянучки!

Перед ужином слушали пение: Леонид Добронравов поет вроде как Шаляпин, и как возьмется за Хованщину либо за Бориса, век бы слушал — вся она тут Русь с московским Кремлем и пустыней огненной.

А по Борисе сели за ужин.

До Рождества еще убили Распутина — больше месяца, а память о нем все еще занимала новостью. Одни его звали ласково, как несчастного, Гришей, другие строго — Григорием, а третьи и особенно те, кто при жизни подлипал и подхалимил, бранно — Гришкой.

— Гришка. Одна нога во дворце, другая в церкви.

— Правил Россией хам, сапоги бутылками в ботиках, а вокруг шайка шарлатанов и безответственных проходимцев.

— Для Распутина Россия — село Покровское.

И так и этак шпыняли покойника.

От Распутина прямой ход к Царскому.

И за вкусной Чесноковской колбасой повторялось всякое — и о измене, о радиотелеграфе — «прямой провод из Царского в германскую ставку» — и о министре Протопопове, в которого вселился дух Распутина, и о великосветском заговоре.

Протопопица Пирамидова утверждала, что мы накануне дворцового переворота.

Приятель с шлиссельбургского тракта вывел к настоящему: он рассказал, как на заводе у них пулеметы поставлены, а на Голодае сарты под замком держутся для усмирения.

— 14-го февраля наши все пойдут.

Так от Распутина через Царское и измену к 14-му февралю, ко «всеобщему восстанию», от колбасы до торта ивановского и доелись.

Тут самовар подали.

Именинник, хлопотавший за ужином вместе с матушкой, присел к самовару.

— А вот какое есть пророчество, — провещался именинник, — говорят, будто Гриша сказал царю: «когда меня не будет, все вы распылитесь!» Стало быть, раз 14-го февраля всеобщее восстание и пулеметы... — и хлебнув горячего чаю... язык у него запал.

VIII

ВЕЛИКАЯ ТОЩЕТА

В Прощенный день пришла Акумовна и прямо бухнулась в ноги.

На Акумовне черный ватошный апостольник и вся она черная.

— Бог простит, Акумовна.

Прежнее время присаживалась старуха к столу и за чаем начинались разговоры о житье-бытье, и прошлом, и теперешнем, и как Акумовна по весне в Петербург за «старшину» ездила, мальчика привозила — «мозг у него взбунтовавши», и как в деревне все-то до щепочки повынуто и больше житья нет — «солдат поставили!» — и о безумной генеральше, хозяйке, под замком у которой голодом высиживает Акумовна по целым суткам, о соседских угловых барышнях из чайной, и о их легкой жизни с «ханжой» и смертью собачьей, и о бдящем «старшем» Иване Федоровиче, и о швейцаре Алексее, о всех делах темных и делах бедовых, о случаях и напастях Буркова дома — всего Петербурга.

— Бог простит, Акумовна, Бог простит.

Поднялась старуха, растопырила по-лягушачьи черные костлявые пальцы, по-птичьему разинулась.

— Ой, что будет-то, Господи, что будет-то!

И как стала, так и стояла черная — может, в последний раз? — И рот ее полый (десной ест!) разевался по-птичьему, а пальцы по-лягушачьи растопыривались.

Двенадцать лет назад, 9-го января, «когда дворники на Невском сметали с тротуара человечьи мозги с кровью», беда пронеслась, цела и невредима осталась Акумовна доживать свой век, но то, что произойдет послезавтра —

— 14-го все до единого пойдут.

— Куда же пойдут?

— В казенное... в это... — Акумовна еще больше разинулась, и в горле ее пересмякло, — а не 14-го, так на будущей неделе в четверг.

Сказать ей страшно, страшнее выговорить. И не за себя она боится, ей — чего? — за племянников, пойдут и ничем не удержишь, а вернутся ли, Бог знает.

Да еще ей страшно, она и сама не знает.

А все оттого, что есть нечего, хлеба нету, булочные заперты.

А хлеба нет оттого, что война.

Прежнее время наряжал я Акумовну в елочное серебро, так в серебре старуха и чай пила, а тут и не до чаю, не до серебра.

— Ой, что будет-то, Господи!

А непременно будет, весь Бурков дом знает — весь Петербург.

IX

ХЛЕБА

Ждали вторника — 14-го.

Писали в газетах. Предостерегали.

«Кроме худа, ничего не будет!» — предостерегали.

От слова стало, от слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крик, ни воп, ничего не поможет.

Поутру во вторник смотрю в окно — метет.

«Нет, — думалось, — ничего не выйдет».

И правда собрались студенты да курсистки на Невском, пропели «Отречемся от старого мира» — то-то молодость, то-то бесстрашная и бескорыстная: силы растут, кровь кипит, все насмарку, все заново, а новое так легко и прекрасно — «Отречемся от старого мира!» И сгинули. Метель смела.

И больше, кажется, никто уж ничего не думал и на выступления рукой махнул. Жили, как жили в бескормной тощете, ропща и жалуясь, с одной надеждой: скоро война кончится.

От слова стало, от слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крик, ни воп, ничего не поможет.

*

В воскресенье вечером было «знамение» — —

Появился в Петербурге из Ростова-великого купец Фролов, знакомый Чехонина.

Пришел Чехонин, привел купца. Купец как купец, вид благообразный, разложил он на столе книжечки всякие, пошарился, вынул из кармана бычий рог, приставил себе рог к виску.

— Бог — бодать — бык. Бог есть бык.

И так толкуя Писание таким выковором из букв, такое понес, не дай Бог.

— А вы в Бога верите? — перебил я.

— Бог бык, — чего-то все радуясь, сказал купец, — нет Бога, разум.

— Какой разум?

— А вот тут, — и показал на лоб.

И снова понес выковор свой толковый, уничтожая Писание и ветхое, и новое.

И не упомню, на какой книге, не вытерпел я.

«Бог — бодать — бык. Бог есть бык!» — звенело в ушах, когда от ростовского толковника и след простыл.

*

Хлеба в доме не было.

Пришвинская мука на блины пошла. Хлеба не было. И Пришвин пропал.

Хлеба не было да и круп оставалось всего на донышке. Хоть бы круп достать!

Думал, в понедельник пройду на Надеждинскую, в литераторский кооператив: может, выдадут. Опять беда с деньгами. Так до четверга и довел.

И совсем из головы, что Акумовна-то в Прощенный день толковала, прощенье прося: «не 14-го, так на следующей неделе в четверг», т. е. 23-го.

Забыл, забыл я о 23-м!

И не помню, что мне под этот день снилось. Помню из газет: в тот день выскочил какой-то Вейс и очень осердился, как смели без него «хлебные карточки» готовить, и что он этого не допустит. И еще помню статью В. В. Розанова об автомобилях, как наша «радикальная демократия» спит и видит захватить автомобили и кататься. А главное и это, как «Бог — бык» в воскресение, засело в памяти: «государь уехал в ставку».

*

По обеде, чем Бог послал, попил я чайку и стал в путь снаряжаться, вынул мешок. Есть у меня такой: как по этапу гнали когда-то, был грех, этот самый мешок мне верную службу служил. За странствиями по белому свету все, кажется, перетерял я, а мешок цел, служит. Взял я этот этапный мешок и в путь.

Забыл, забыл я о 23-м!

У Казанского собора трамвай стал.

И впереди стоит.

Подождали, подождали, кто-то соскочил, а за ним другие. И я с мешком. А впереди стена. И казаки.

Хотел я на Михайловскую проскочить — надо же круп-то достать! — да нет, никак не пробраться. Тут и полиция. Не пропускают.

И пошел я за народом.

Молча шли. Одна надпись:

— «Хлеба!»

На Аничковом мосту оттеснили к решетке, я на Фонтанку. Прибавил шагу.

Тревожно было на воле, — так никто не прохлаждался, спешили.

Какая-то женщина вышла из ворот с ребенком.

— Назад! Куда? — закричал на нее с сердцем какой-то, — подстрелят!

А никто не стреляет, там на Невском шли молча и только надпись:

— «Хлеба!»

С грехом пополам добежал я до Надеждинской, очень беспокоился: «ну как лавку-то запрут, как без круп домой идти?» Да и дума была: «как теперь домой идти?».

А в лавке ставни закрывают, боятся: разгромят!

Да не разгромят. Никто и голоса не подает и рук не подымает, идут молча и одна надпись:

— «Хлеба!»

Нет, мне не верят, боятся.

Кое-как свесили круп. Уложил я в мешок. Черным ходом выпустили. Напугались и лавку заперли.

А там шли молча, подходили к Знаменью. И одна надпись:

— «Хлеба!»

Одни рты:

— «Хлеба!»

До Михайловской успел в трамвай вскочить. Дальше не пойдет. И пошел я по Невскому, понес мешок.

На Невском, как в праздник. Народ и казаки. Едут совсем рядом, а ничего. Нет, не так бывало. И ничего не страшно.

Вышел я ко дворцу. Иду, тащу мешок: «экий, все руки оттянул!» На мосту остановился передохнуть. А над белой Невой звезды —

И как увидел я эти звезды, и на душе так легко, точно прорвало, и вот — легко!

Совсем поздно вернулся я домой.

Рассказываю. А на душе легко и ничего не думается.

— Да это революция! — услышал я.

— Революция?

Пришел сосед Пришвин, хлеба не принес.

Я и ему, что на Невском видел, и о хлебе.

— Да это революция! — опять слышу.

Неужто революция? — И верит и не верит сосед.

Пили чай пустой с крошками, гадали, что дальше, а на душе было так легко, и я ничего не думал.

Я видел белую просторную Неву и над Невой звезды — —

X

СУД НЕПОСУЖАЕМЫЙ

Та душевная легкота, какую чувствовал я, когда вдруг увидел звезды над Невой, канула в душе, и пасмурное утро февральское замутило всякий звездный свет.

На душе туманно, а великопостный благовест внятен даже и за двойной рамой.

Толпы, собравшиеся вчера на Невском, безликие рты — пасть, которую надо было заткнуть куском хлеба, пока что молчаливые, вышли и сегодня, выйдут и завтра. И стреляй, не стреляй — накормить голодного надо, голодную собаку и ту жалко, а тут душа человеческая, и еще потому надо, ведь, голодный, что бешеный.

Молчаливые толпы — голодные рты собрались от застав и с трактов к петербургским мостам.

Сосед Пришвин хлеба не принес.

Что-то будет!? — Гадали. Что будет, чем кончится?

Сосед Пришвин с пятницы засел за «Французскую революцию». Все говорили о революции.

Туманно было на душе.

Я продолжал писать старинную повесть о Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском, мне хотелось не-

пременно кончить к какому-то сроку, и я боялся, что не успею.

Туманно было на душе, и внятно: я прислушивался, точно ждал чего-то.

*

В субботу до всенощной приезжал с Охты Иван Николаевич Пантелеев, спутник наш на старые могилы в Рим — в канун войны привелось побывать в Риме, и память о нем неизбывна.

— На Охте пристава укокошили!

Иван Николаевич молодой, здоровый, — поглядишь на него, сам помолодеешь, и как стал он рассказывать о своей Охте, показалось тогда, так вот и распахнется дверь и выпустят всех на волю.

Мечталось о «воле», как о хлебе.

Попили мы чайку с Иваном Николаевичем, вспомянули Рим, старую Аппиеву дорогу, потолковали о войне — пожелали ей скорого конца, пошел я провожать гостя, а кстати, думаю, газету куплю. Попрощались, вышел я на Средний проспект и хоть бы один газетчик, пустынно, и трамваи без огоньков один за другим — в парк.

И нестрашным показался мне патруль: шли солдаты, нос в землю, тяжело.

А неужто и вправду, вот так и распахнется дверь?

Мечталось о «воле», как о хлебе.

*

В воскресенье выдался ясный день с морозцем.

И было «знамение» над Петербургом: явились на небе четыре багряных солнца, серебряный пояс опоясал небо, и по поясу против багряных пять белых солнц, а от солнца к солнцу радуга, а над радугой венец.

Я прошел до Казанского собора, а с улиц вылезали и ползли мне навстречу — лица необычные: перекошенные, передернутые, сухие, колчепыги, завитнашки, — это ли обида выползала из своих скрытий, углов и норей — сползались придушенные и придавленные — обида выходила со своей горечью творить суд непосужаемый.

Вечером пугали водой: вода станет, а на Неву не дадут с ведром ходить. Большое было смятение по дому.

А у меня на душе, как туман.

До поздней ночи писал я старинную повесть, и лег с думою о грядущих грозных днях.

И приснилось мне:

— — надел я, как маску, картину Гончаровой «Ангел, страж Софии цареградской» и синюю, расшитую шелками, китайскую кофту на красном шелку, поднял суконный черный воротник и пополз на четвереньках. Слышу, говорят:

«Потушите огонь!»

И несколько раз повторяет:

«Потушите огонь!»

А я и в маске, но мне все видно: освещенная комната — очень светло, а электричество не горит. Стучат. Хочу зажечь, кручу выключатель. Нет, не горит.

И очутился я в лодке. Море. Синее китайской кофты. И солнце. Больно смотреть. Лодка летит. Слышу:

«Я буду сеять по небесному полю!»

Я посмотрел через глаза свои назад: там облака — облака ползут, как те на Невском, перекошенные, передернутые, сухие, колчепыги, завитнашки.

«Как же я буду, — говорю, — сеять по небесному полю?»

Лодка летит.

И впереди, куда летит моя лодка — грозовая туча. Туча растет — ползут облака. Вот завились и, вливая в пучину великий вал — «Душу вы мою размозжили!» — погасили свет.

*

Поутру в понедельник приходит Терентий Ермолаич, полотерный мастер, по счету получить.

— Ну, что, — говорю, — как на Невском?

А он смотрит весело и шинель его солдатская расстегнута.

— Войне конец.

Не знаю, такой хмурый, выпрямился.

Рассказал он мне, как вчерашний день у Знаменской

солдат один из волынского полка стрельнул, «да в свою бабу и угодил».

— Спохватился дурак, да поздно. Заплакал. Тут все и повернули ружья да в городовых. Какая же война? Все продано.

По обеде вышел я на волю — чего там на воле?

А там земля шаталась.

И вековая стена вот-вот рухнет.

Пробрался я к Семеновскому мосту и повернул на Фонтанку к «князю обезьяньему» М. М. Исаеву. Посидел немного и домой. Выхожу из ворот.

— Матушки, горит! — закричала старуха, шла она шаталась с своим шитым мешком, чиновница.

— Что горит?

— Окружный горит.

«Окружный горит!» Посмотрел я вверх, а там дым — длинный — идет — и идет —

— Окружный горит и Комендантское! — сказал студент.

— Потушите огонь! — слышу.

— Предварилка горит! — крикнула барышня, раскрасневшаяся, бежит она по Фонтанке к Литейному.

Петербург горел — горели черные гнезда: суд, война и неволя.

Земля шаталась.

В седьмом часу зажег я лампу, присел к столу повесть оканчивать о Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском и вдруг слышу, точно ребятишки что-то перекатывают — шарики? И вот опять — шарики катятся! Открыл я форточку. И понял: не ребятишки, это у нас стреляли на Васильевском Острове.

И туман, заволокший мне душу, рассеялся, точно эти звуки были утренним светом, а сердце, вздрогнув, робко дрожало.

И всю ночь я слушал.

Будто летел — с волною в грозу.

XI

НА СВОЕЙ ВОЛЕ

До рассвета всю ночь и с рассветом, как ночью, неугомонно — или конца не будет? — на воле точно ребятишки перекатывали — катали шарики.

И от этих слепых игрушечных шариков, суд творивших непосужаемый, сердце робко дрожало.

Стреляли по нашей линии. И казалось, около дома — в наш дом стреляют. Прохожие и солдаты забегали во двор, жались под аркой. Тут же и ребятишки: им очень весело — от каждого выстрела они шарахались во двор и опять пробирались к воротам — очень весело!

Стою у окна — если б на волю! Да куда уж, и носа не высунешь. Повести моей оставалось конец, и я сел писать. И к обеду кончил — о Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском.

Во двор вбежали солдаты: было подозрение, что у нас на чердаке городовой спрятался. Я заглянул в окно (живем мы как раз под чердаком), а уж солдаты ружья подняли — —

Беспокойно было на воле.

*

Яркий солнечный день.

«На своей воле» ходил народ с темным сердцем и открытым, с доброй волей и злым умыслом.

Стояли кучками, слонялись. Ну как на Пасху. И красные лоскутки у всякого — пасхальные.

— Теперь нужна еремеевская ночь, — говорит какой-то, Бог его знает, переплетчик, и смотрит на молодого солдата с таким белым нежным лицом, как у барышни.

Солдат не понимает и только чувствует что-то страшное в этом имени — «еремеевская!»

— Если Родзянко сказал, что так надо, значит уж так надо! — отвечает он растерянно, будто оправдываясь за вчерашний день и ночь.

Вдруг совсем рядом над самым ухом закатались эти шарики и, как на зов, откуда-то выбежали солдаты — ружья наперевес. И было чудно смотреть, как они бежали, и словно не по-настоящему, а в игру такую играли. Они

остановились против соседнего дома, подняли ружья — и ахнули в окно.

— Все Вильгельм, — сказал какой-то, пряча руки в карманы, зябкий, — без него ничего бы не вышло. Всех царей посшибает.

— Какая ж теперь война? — весело заметил солдат.

— А без войны сидели бы вы дураками еще тысячу лет.

Мчится автомобиль — красный флаг парусит — одни сидят, другие стоят, третьи прилегли: ружья прямо на тебя.

А за ним другой, весь облеплен, и кого только нет — все красно и пестро.

— Вот времечко-то настало! — и верит и не верит баба, — наш брат на муфтабиле катается.

— Вокруг солнца круги были, мужчины говорят, никогда не бывало такого! — слышу о знамении, — явились на небе четыре багряных солнца, серебряный пояс опоясал небо и по поясу против багряных пять белых солнц, а от солнца к солнцу радуга, а над радугой венец.

В кучке всяк о своем: кто о знамении, кто о вчерашнем, кто о войне, кто о нашей бескормной тощете.

— Вчерашний день выпустили. А он и говорит: «Не достоин я жить на свете, я убил человека!» Просит в тюрьму опять посадить.

— Ой, что было-то. Тут хлопает, там хлопает, над головой летит. Накладены трупы кучею.

— С селедки-то во рту одервенеет! — замечает раздраженно.

— С первого шага в бою. Какая ж война!

— Если Родзянко сказал, что так надо, значит, уж так надо.

— Штурмана поймали! — с радостным криком выскочила из-под ворот горничная.

И все бросились за ней во двор.

Беспокойно было на воле.

*

Иду за народом на ту сторону.

И чем дальше, тем чаще и ближе эти перекатывающиеся шарики: тут хлопает, там хлопает, над головой летит.

Гнали партию городовых. Темная толпа улюлюкала. И какие-то звероподобные бабы налетали: больно руки чешутся!

— Куда это их?

— Да куда-то в Думу пихают.

Одного городового везли на санках — на таких санках кладь возят — лежал он ничком привязанный и разможженная нога его болталась в крови. Два солдата сидели по бокам и один из них сломанным прикладом долбил его по шее.

Бабам посчастливилось, бросились они к санкам — дорвались звероподобные! — и вцепились несчастному в уши.

Беспокойно было на воле.

Автомобили с лежащими солдатами, целившимися прямо в тебя; автомобили со всяким сбродом, увешанным красными лоскутками; солдаты, бегающие с ружьями наперевес, словно не по-настоящему, а в игре, и эти перекатывающиеся шарики — одно и то же и на Невском, и на Морской, и на Фонтанке, и на Гороховой.

Пошатываясь, шел навстречу здоровенный солдат.

— Какое дело! — остановился он, — стрелять придется.

— В кого?

— В кого прикажут.

— Да разве можно в своих стрелять?

— Верно, нельзя! — и шатаясь, пошел, бормоча.

Беспокойно было на воле.

Народ валил к Думе, как к празднику.

На Пушкинской у сквера перед памятником Пушкина на снегу лежал какой-то: лица его не было видно, ноги он поджал к подбородку, и окровавленной рукой закрывал глаза, словно прятался от яркого света.

— Вот денек, — кричала звероподобная, — рубль дала бы, живого городового увидеть!

Автомобили с лежачими солдатами, целившимися прямо в тебя; автомобили со всяким сбродом, увешанным красными лоскутками; солдаты, бегающие с ружьями напере-

вес, словно не по-настоящему, а в игре; и эти перекатывающиеся шарики — одно и то же и на Пушкинской, и на Загородном, и на Забалканском.

— Господи, когда это ссориться перестанут? — сказала простая душа.

Добивали.

И пожары дымили вечер. Горели участки. И наша Суворовская часть горела. То-то ворам пожива и праздник.

С ночным морозом замерзали добитые и недобитые, кто на крыше, кто в проруби, кто в подвале.

И те, у кого был зуб на соседа, выходили в потемках с чем попало своим судом расправляться.

— Кровь отмщается! — сказал кто-то.

— Кому?

— Да кому прикажут.

Передо мной стоял здоровенный солдат, пошатываясь.

*

Недалеко от дому я бросился вместе с другими под ворота: видно, еще не всех добили и вот опять — или кто так, здорово живешь, попугать?

Я прошел во двор. В сторожке горел огонек.

Тихонько отворил я дверь — пить мне очень хотелось.

Перед образом горела лампадка. Две женщины сидели у стола, одна немолодая, дворничиха, должно быть, а другая совсем молодая. Дворничиха рассказывала, как вчера странник старичок приходил к купцу.

— Вывел старичок его во двор: «Посмотри, говорит, Тимофей, что видишь?» А Тимофей-то Яковлевич как глянул и видит, ровно море на небе, вода льется. «Воду вижу, дедушка». «Это потоп будет». Постояли немного. И опять старичок: «Посмотри, что еще видишь?» Тимофей Яковлевич посмотрел на небо, а небо, как огонь, горит и падает огонь. «Огонь вижу, дедушка». «Огонь падет на землю».

И зашептала дворничиха, ничего разобрать не могу: должно быть, еще что-то показывал странник.

— Ой, Господи, Никола милостивый!

— «Что видишь?» — продолжала дворничиха внятно,— а Тимофей Яковлевич посмотрел на небо: «Хорошо, го-

ворит, дедушка, так хорошо». «Ну, и хорошо будет на Руси, друг, да не дожить нам до этого времени».

Со вспугнутым сердцем, как перед бедою, и трепетно — «хорошо на Руси будет!» — я вышел.

На улице было пустынно, только солдаты.

— К Кривоносову, там погреемся! — кричал солдат у наших ворот, скликая солдат.

XII

КРАСНЫЙ ЗВОН

Город святого Петра — Санктпетербург!
Полюбил я дворцы твои и площади,
тракты, линии, острова, каналы, мосты,
твою суровую полноводную Неву
и одинокий заветный памятник
огненной скорби —
Достоевского,
твои бедные мостки на Волковом,
твои тесные колтовские улицы,
твои ледяные белые ночи,
твои зимние желтые туманы,
твою болотную осень с одиноким
тонким деревцом,
твои сны,
твою боль.
Полюбил я страстные огни —
огоньки четверговые
на Казанской площади
и в стальные крещенские ночи
медный гул колокольный
Медного всадника.
Разбит камень Петров.
Камень огнем пыхнул.
И стоишь ты в огне —
суровая Нева течет.

*

Я стою в чистом поле —
чистое поле пустыня.

Я стою в чистом поле —
ветер веет в пустыню:
грём и топ,
стук железа.
В копотном небе вьется:
крылье, как зарево.
хвост, как пожар.
Наскочья нога ступила на сердце —
рас-
ка-
лена
душа.

*

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
зацвели твои белые сугробные поля
цветом алым громким.
По бездорожью дремучему
дорога пролегла.
Темные темницы стоят настежь —
замки сломаны.
Или горе-зло-кручинное до поры
в подземелье запряталось?
Или горе-зло-кручинное
безоглядно в леса ушло?
Твоя горькая плаха на избы разобрана,
кандалы несносные на пули повылиты,
палач в чернецы пошел.

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!

Зашаталась русская земля —
смутен час.
Ты одна стоишь —
на голове тернов венок,
ты одна стоишь —
неколебимая.
По лицу кровавые ручьи текут,
и твоя рубаха белая,
как багряница —

это твоей кровью заалели
белые поля.
Слышу, темное тайком ползет,
пробирается по лесам, по зарослям
горе-зло-кручинное,
кузнецы куют оковы
тяжче-тяжкие.

*

Родина моя просторная, терпеливая и безмолвная!
Прими верных, прими и отчаявшихся,
стойких и шатких,
бодрых и немощных,
прими кровных твоих
и пришлых к тебе,
всех — от мала до велика —
ты одна неколебимая!
из гари и смуты выведи
на вольный белый свет.

XIII

ПЛАКАТ

«Господа наши друзья, гостьи и гости, посещающие нас! Напоминаю всем, кто приходит к нам, что мы оба — люди больные и физически и нервно; напоминаю, что мы с начала войны и до сих пор находимся на краю гибели: мы ничего не имеем, кроме заработка, а заработок наш с войны очень уменьшился. Наше тяжелое матерьяльное положение окончательно расшатало наши нервы. В эти великие и необыкновенные дни мы все должны беречь друг друга. Помните, что культурных людей у нас так мало, а тьмы так много. Чтобы нам не погибнуть, чтобы иметь возможность работать, мы просим:

не говорите у нас по телефону —

это убивает! По телефону можно говорить в аптеке, в подъезде и т. д.»

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

I

ПРЯНИКИ

Сосед Пришвин, пропадавший с самого первого дня в Таврическом дворце — известно, там в б. Государственной Думе все и происходило, «решалась судьба России» — Пришвин, помятый и всклокоченный, наконец, явился.

И не хлеб, пряников принес — настоящих пряников, медовых!

— По сезону, — уркнул Пришвин,— нынче всё пряники.

К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.

Один полк привел «великий князь» — и об этом много разговору.

С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Родзянке.

Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя —

— Родзянку.

Родзянко — был у всех на устах.

И в то же самое время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе — «Совет рабочих и солдатских депутатов».

Тут-то, — так говорилось в газетах,— «Керенский вскочил на стул и стал говорить —»

Я заметил два слова — две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры:

— смогу.

— всемерно.

И Родзянко пропал, точно его и не бывало.

К Таврическому дворцу с музыкой водили войска.

С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Керенскому.

Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя —

— Керенского.

Керенский — был у всех на устах.

И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь:

— нож в спину революции!

А красные ленточки, ими украсились все от мала до велика, обратились и совсем незаметно в защитный цвет.

И наш хозяин, не Таврический и не Песочный, другой, таскавший меня однажды к мировому за то, что в срок не внес за квартиру 45 рублей — а ей-Богу ж, не было чем заплатить и некуда было идти! — старый наш хозяин — человек солидный, а такой себе бантище прицепил пунцовый, всю рожу закрыло, и не узнать сразу.

Носили Бабушку —

Вообще, по древнему обычаю, всех носили.

Жаль, что не пользовались лодкой, а в лодке и сидеть удобнее и держать сподручней.

Поступили, кто посмышленее, в есеры:

— в то самое, — говорили,— где Керенский.

«Бескровная революция, — задирали нос, — знай наших!»

«Бескровная, это вам не французская!» — дакали.

Демонстрации с пением и музыкой ежедневно.

Митинги — с «пряниками» — ежедневно и повсеместно.

Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка — «пряники»:

земля,
повышение платы,
уменьшение работы,
полное во всем довольство,
благополучие,
рай.

Пришвин — агроном, человек ученый, в Берлине по-

немецки диссертацию написал, Dr. M. Prischwin! — доказывал мне, что земли не хватит, если на всех переделить ее, и что сулимых полсотни десятин на брата никак не выйдет.

Я же никак не агроном, ни возражать, ни соглашаться не мог, я одно чувствовал, наседает на меня что-то и с каждым днем все ощутительней этот насед. И, не имея претензии ни на какую землю и мало веруя в пряники — наговорить-то что угодно можно, язык не отвалится! — карабкался из всех сил и отбивался, чтобы как-нибудь сохранить

свою свободу
самому быть на земле
самим.

И красную ленточку — подарок Николая Бурлюка,— надписав «революция», спрятал в заветную черную шкатулку к московскому полотенцу — петухами московскими мать вышивала, и к деревянной оглоданной ложке — памяти моей о Каменщиках, Таганской тюрьме.

*

— — остановился у Н. С. Бутовой в Москве в Успенском переулке. Жду С. П. И вижу, Ященко пришел. Так — моя кровать, а он на диване лежит. Входит Н. С. Бутова.

«Это небезызвестный профессор Ященко, — говорю, — пришел ночевать».

И мне очень перед Н. С. неловко: ведь она его совсем не знает!

А вот и утро — — я иду по Садовой мимо С. В. Лурье на Землянку. Против церкви Николы Ковыльского два городовых и околодочный — и все в белом по-летнему. «Городовых уничтожили, а они стоят!», стал я против — рассматриваю.

Но тут как пошел народ, как пошел — меня и оттеснили.

Барышня Пуга́вка тянет за руку, а в руках у Пуга́вки диплом, в трубочку свернут: хочется ей непременно, чтобы я посмотрел. А я не могу разобрать — ведь ночь! — ничего не вижу. Подошел к фонарю —

«Ничего не понимаю!»

«Я кончила балетную ботаническую школу».

Догоняю С. П. А меня мальчик да девочка нагнали.

«Мы дети Фриды Лазаревны и Я. С. Шрейбера!»

«Вот, — думаю, — С. П. удивится».

— — девочка беленькая, на мышку похожа, а мальчишка черненький, а за ними борода треплется —

«Оторвалась, значит, от Якова Самойловича, самостоятельно теперь —»

Идет навстречу Пильняк: ноги серебряные, кончик носа серебряный — весь блестит.

Оказывается, что же вы думаете, тоже ночевал у Н. С. Бутовой.

«И Гершензон, и Бердяев, все там».

«Бедная, — думаю, — Н. С., этакую ораву!»

И вижу Успенский переулок, церковный двор. Из квартиры Н. С. Бутовой выносят ковры. А Лев Шестов клетку несет.

«Ты, — говорит, — на мне ездил, теперь я на тебе покатаюсь!»

Помогаю какой-то ковер нести персидский. Вниз несли — очень тяжелый! — а когда донесли, очутился я наверху. Вхожу в комнаты, а следом за мной келейник из Андрониевского монастыря — он принес ветчины и хлеба —

«Тут кормить не соглашаются».

II

ПАЛОЧКИ

Прачка, немка Лизавета, столько лет стиравшая у нас на Таврической, точная и аккуратная, на Остров ходить отказалась. Пришла другая; новая: на вид ничего, старый человек, поверить, казалось бы, можно.

И выстирала. Просит вперед денег ей дать.

— Ей-Богу, — говорит, — в пятницу гладить приду!

Ну, дали ей денег, все — сколько полагалось, а она и надула.

Тут по двору ходит, скалится.

— Пойди,— говорит,— жалуйся! Куда пойдешь?

И вспомнился мне разговор со старшим дворником: принес постановление домового комитета.

«В доме у нас,— сказал он,— все идет дружно, только интеллигенция против!»

«Кто ж это?»

«Да вот сам хозяин... насчет земли не согласен».

Может, думаю, и эта старуха тоже насчет земли хлопочет — — только этажом ошиблась!

И еще вспомнилось, такое ж — со швейцаром.

«Вот землю теперь трудящимся,— сказал швейцар, — я тоже получу!»

«Зачем вам земля? Ведь вы всю жизнь в городе живете и не знаете, что с землею делать?»

А он подумал, и словно б и согласен, потом вдруг нашелся:

«Ну, я деньгами согласен получить».

*

Пошел я в парикмахерскую постричься и напоролся на митинг.

Главный мастер кричит:

— Теперь такое время, надо рвать. А то поздно будет.

И я подумал:

«А земля-то, пожалуй, и не причем, тут верно вот это — — а то поздно будет!»

*

Из парикмахерской шел так — по улице.

К красным флагам привыкли. Трамвайный путь расчищают.

На трактире надпись:

> *в виду свободы объявляю: мой трактир свободен для всех солдатов. Солдаты, приходите, кушайте, пейте бесплатно, а также желающие из публики. Да здравствует свобода!*

Столпились кухарки.

Какой-то шутник из прохожих:

— Требуйте 98 рублей в месяц, а миритесь на 30-и.

Сам смеется. Но смех его — всурьез.

— Намедни тоже, выискалась барыня растрепа. Собирала по полтиннику, записывала в общество, тоже сулила 98 в месяц. И адрес указала на Фурштадской. А когда пошли, там такой и нет.

— Теперь такое время.

— А то поздно будет.

— Я не подданый, чтобы день и ночь работать! — угрожал кому-то ломовой.

Нестройно кучка народу — душ около сотни — демонстрирует мимо Исакия.

Два красных флага·

«да здравствует с-д. р. п.» и «земля и воля».

Царь вампир из тебя тянет жилы,
Царь вампир пьет народную кровь...

— Товарищи, присоединяйтесь! долой буржуазию! шапки долой! — выкрикивает без шапки.

А рядом солдат с ружьем:

— Сказано: шапки снимать. Снимай шапку!

Я снял шапку.

И какие-то два прохожих сняли.

И вдруг мне показалось, один из моих глазеющих соседей как гаркнет —

Бо-же ца-ря...

царь вампир из тебя тянет жилы,
царь вампир пьет народную кровь...

— Пойдем! — и оба пропали.

Смеркалось — весенняя тяжелая сумерь волной накатывала.

И я вспомнил, как в 14-м году в войну один поперечный поэт — А. И. Тиняков — тоже вот гаркнул на всю Фонтанку:

«Да здравствует император Вильгельм!»

Пение едва доносилось и только какой-то «рарпир» и «нарров» врывались в уличный шум.

Я надел шапку и пошел.

*

Нет, не в воле тут и не в земле, и не в рыви, и не в хапе, а такое время, это верно, вздвиг и взъерш, решительное, редчайшее в истории время, эпоха, вздвиг всей русской земли — России. Это весенняя накатывающая волна, в крути вертящиеся палочки — самое сумбурное, ни на что не похожее, весеннее, когда все летит кверх тормашками, палочки вертящиеся —

И я стиснулся весь, чтобы самому как не закрутиться такой палочкой.

Россия — Россия ударится о землю, как в сказке надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему миру:

— Аз есмь.

— Но можно так удариться, что и не встанешь.

— Все равно, не хочу быть палочкой!

— Теперь это невозможно: или туда или сюда.

Я не все понимал, что говорилось во мне, и часто просто слов не было, а какая-то круть туда и сюда — обрывки слов.

А все сводилось: чтобы не растеряться и быть самим под нахлывающей волной в неслыханном взвиве вихря.

И что я заметил: звезды, которые я видел в канун, погасли, вихрь овладевал моей душой.

— Да, я бескрылый, слепой, как крот, я буду рыть, рыть, рыть —

*

Вечером сосед Пришвин рассказывал о всяких чудесах.

Рассказал о арестованных городовых, которые собрали между собой по подписке 215 рублей —

«на нужды революции».

И я себе представил, как эти городовые, усатые, в сапогах, а кто и в женском платье — и такое со страху бывало! — надо же как-нибудь выкручиваться... такое время —

«на нужды революции!»

— А в Царском на митинге городовой вышел в солдатском: «Я, говорит, иду на фронт, не все мы такие, зачем же на детей позор? Я могу быть убит!» «А когда будешь убит, тогда и говори!»

— А как же с деревней?
— Ничего, в деревню поехали: «тучи!»

*

— — едем в Москву —
«Чем чернее труд, тем больше прав на свободу, вы кто такой?»
«Я? — и не долго думая: — я, — говорю,— отходник: и в Киеве и тут приходилось...»
«Получайте билеты».
Попали на Плющиху в Новоконющенный к Льву Шестову.
Шестов над спиртовкой, поставил чайник.
«Революция или чай пить?»
И сам глазами смеется:
«Помолчи, — не дает ответить, — такое время, лучше помолчи».
На Зубовском бульваре на ларьке продают белые хлебы.
Я выбрал три хлеба — как большие рыбы.
«Сколько?»
«По рублю».
Схватил я у ларечника колун, да на торговку:
«По-рублю!»
«За все — 50 копеек».
А сама так смотрит — и задаром отдаст! — так, только одни сверлки — глаза.
Опустил я колун — и всего-то у меня полтора рубля! — все и отдал.

III

О МИРЕ ВСЕГО МИРА

Третья неделя и с каждым уходящим днем входит новое — жуткое.

И эта жуть представляется мне всё от праздности: на улицах, мне кажется, не идут уж, а «ходят».

Углубляется революция, — так сказала одна барышня из редакции.

И как была счастлива!

Я видел о ту пору счастливых людей: и их счастье было от дела.

— Революция или чай пить?

Другими словами:

— Стихия — палочки вертящиеся? — или упор, самоупор?

Те, кто в стихии — «в деле», — они и счастливы. Потому что счастье ведь и есть «деятельность».

И скажу, до забвения видел я тогда таких деятельных — счастливых.

Чай-то пить совсем не так легко, как кажется! Ведь чтобы чай пить, надо прежде всего иметь чай. А чтобы иметь чай — —

Есть, впрочем, одно утешение: эта стихия, как гроза, как пожар, и пройдет гроза, а ты останешься, ты должен остаться, вдохнув в себя все силы гроз.

— Но грозой может и убить!

Пришвин — увлекающаяся борода, — так его прозвали на собраниях, «увлекающейся бородой», — Пришвин всё в ходу, не мне чета, но тоже не в деле, и вот приуныл чего-то.

«В мясе-то копаться человечьем — все эти вертящиеся палочки — вся эта накипь старых неоплатных долгов — месть, злоба — весь этот выверт жизни и неизбежность, проклятия — революция — нос повесишь!»

Соседки наши, учительницы, обе тихие, измученные.

Я часто слышу, как старшая жалуется:

— Несчастье мое первое, что я живу в такое время.

А другая кротко все уговаривает:

— Очень интересное время. После нам завидовать будут. Надо только как-нибудь примириться, принять все. И разве раньше лучше нам было?

— Да, лучше, лучше, — уж кричит.

И мне понятно:

«Как хорошо в грозу, какие вихри!»

И мне также понятно и близко:

«В мясе-то копаться человечьем — все эти вертящиеся палочки, — гроза, раздор, тревога и самая жесточайшая месть и злоба, выверт жизни — революция».

— Хорошо тому, кто при деле, а так — —

— Представляю себе, как вам трудно! — мне это та барышня сказала редакционная.

— Когда происходят такие исторические катастрофы, какой уж тут может быть счет с отдельным человеком! — на все мои перекорные рассуждения ответил Ф. И. Щеколдин.

— Да, потому и наперекор: ведь катастрофа-то для человека, а человека топчет!

— Видел я на старинных иконах образ Иоанна Богослова, — заметил археолог И. А. Рязановский, — пишется Богословец с перстом на устах. Этот перст на устах — знак молчания, знак заграждающий.

— Бедные счастливые палочки, куда вихрь понесет, туда и летите!

Палочками разносились по белому свету семена революции.

*

А сегодня Пришвина и не узнать.

Сегодня — 14-ое марта: знаменательный день:

ко всему воюющему миру обратились с призывом о мире —

— Посмотрел я, — рассказывал Пришвин, — рожи красные: чего им? Какая война? Домой в деревню, к бабе. Конечно, мир.

И я почувствовал, что оживаю.

Ведь я словно умер, и вот опять родился, учусь говорить, смотреть —

Сегодня я в первый раз стал писать.

А какая весна на воле!

*

— — вижу образ Божьей Матери — венчик на образе из чистого снега; выдвигаю ящик бумаги достать и вытянул ногу — шелковая тонкая туфелька. А живем мы не в доме — над домом. Леонид Добронравов поет: *Величит душа моя Господа!*

IV

ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ

О похоронах жертв революции говорили давно.

Спорили о месте: хотели первоначально на Дворцовой площади похоронить, да, говорят, Горький вступился, и постановили на Марсово поле нести.

Пугали всякими страхами: и то, что пулеметы будто на крышах не все сняты и, как пойдет процессия, тут и начнется стрельба; и того еще боялись, что нужен порядок, а как его сделать? — никто никого не слушает.

Накануне прибежала к нам во двор девчонка из соседнего дома, предупреждает не выходить на улицу:

— На 17-ой линии с седьмого этажа с крыши только что сняли пушку!

А случившиеся при этом страховоды подтвердили:

— Из Москвы в одну ночь пешком целый полк пришел: бегут с войны.

23-го марта ровно месяц, как началось.

23-го марта и состоялись похороны.

Без колокольного звона несли красные гроба.

А если бы знали, какой есть погребальный перезвон — в старых русских городах, в Сольвычегодске и нынче звонят, — большое искусство!

На Марсовом поле говорили речи и из всех запомнилось — В. И. Засулич:

«о втором издании русской революции».

Сумрачны были эти похороны, как и день сумрачный.

*

На углу 14-ой линии какой-то самозваный милиционер, пользуясь случаем — народ на похоронах! — залез в квартиру на самый на верх.

Была одна женщина в квартире с детьми, подняла крик. Соседи — одни женщины оставались — на крик бросились, навалились на «милиционера» и потащили вниз.

Крик поднялся на всю линию.

Собралась толпа.

— Голову ему снять мерзавцу!

Ну, а тот просит, винится:

— Не снимайте, — говорит, — головы моей! — просит.

Страшно, когда человек на тебя бросается, а страшнее того, когда схватят тебя, бросающегося.

— Голову снять!

Одно твердят, не слушают ничего.

Вот это-то и есть самое страшное: не слушают! — не слышат слов твоих.

Кричали, кричали — слава Богу! — повели в комиссариат.

*

Сумрачны были похороны и красное не красным, сумрачным смурило.

А когда наконец стали расходиться, все только и говорили, что о порядке.

И иностранцы, говорят, дивились нашему порядку.

— Первый смотр революционного пролетариата!

*

Скажу о порядке —

Чем-чем, а порядком мы всегда славились.

И летописный беспорядок — «наряда» будто нет! — и прославленная московская Ходынка, все это так — либо со зла, либо себе на уме сказано.

Через месяц в Саратове — все газеты облетело!

В Саратове на Петиной улице спозаранку образовывались хвосты — очередь перед публичными домами — публичные солдатские хвосты: 40 человек на одну женщину, как раз, стало быть, наоборот песни. И бывали случаи, что даже выскочит на улицу которая: «Спасите, больше работать не могу!» Ну, а уж зато порядок — такой был порядок, что иностранные корреспонденты, когда дознались, то не только дивились, а и завидовали: в Европе ничего подобного не бывало! Конечно, культурные-то народы без привычки полезли бы, как скоты, и передрались бы друг с другом из-за.

А еще позже в Ташкенте.

В Ташкенте самосудом прикончили Коровиченку. И когда лежал он на полу, истерзанный, при последнем издыхании, образовался опять-таки, скажу, хвост — оче-

редь — пускали за 30 копеек по очереди плевать в лицо умирающему — хвост плевательный.

Шли, платили 30 копеек и плевали, и был порядок — математический.

V

СВЯТАЯ

На почте какой-то мальчик с пачкою заказных писем уступал очередь одиночным письмам, и только когда все прошли, подошел к окошечку с своею пачкой —

— ко всеобщему удивлению!

Был у нас Вяч. Шишков, б. сибирский атаман, и денег предлагал и муки пообещал на Пасху —

— какая редкость!

Хлебные хвосты растут.

Говорят, скоро хлеба совсем не будет.

Лег я и лежал с открытыми глазами: столько наслушался я горьких жалоб, столько слез увидел, в глазах черно.

*

Благовещение праздновали три дня.

Лед не скалывался по улицам — лужи, кучи, грязь невылазная — что-то от Пензы, Вологды, Устьсысольска и никак не петербургское.

По чистоте Петербург был ведь первый после Берлина!

Увлекающаяся борода — Пришвин — с того самого дня, как кликнули клич о мире, ходил в раже и ничего не замечал, так и пер по грязище.

По-прежнему к Таврическому дворцу демонстрировали.

Но из всех демонстраций, о которых читали в газетах, всякому запомнилась демонстрация детей.

Они пришли, как водится, со всем весенним шумом, принесли «пифагоровы штаны» и «удельный вес», и что говорили, не знаю, а наказ им памятен:

«зорко следите за правительством!»

*

Пасха была ранняя.

И праздновали Пасху, кто сколько хотел.

— Вот немцы, те сумели бы устроиться, а у нас только палка — без палки ничего. Так всё и распразднуют.

Пришвин как будто соглашался: бывалый, сколько лет жил в Германии, знает, что такое «немецкое дело».

— У немцев, посмотрите, едет ли желтый почтовый автомобиль, какая важность у почтового чиновника: Reichspost! — или обратите внимание на вагоновожатого, вам покажется, не простой вагон ведет он, а какой-то особенный, и случись что, все разрушится — Германия! — весь мир, или когда сдаешь заказное письмо, ведь с твоим письмом так мудруют — так наклеивают и подписывают, словно в твоем письме сама судьба — Германии! — всего мира. У немцев нет этого маленького дела, маленького человека — «должность моя маленькая, сам я маленький человек!» — нет этой нашей русской сгорбленности и пришибленности, и эту походку трусцой, семенящую, где вы ее там встретите? Да, такие не распразднуют свое добро.

Пришвин соглашался, но его будоражил и веселил этот взвих или, как твердил Иванов-Разумник, скифский вихрь, буря — пьянящая китоврасова музыка — безумье, когда все ни на что, а так — рывь, колебание мира, и все эти взвихнутые вертящиеся в вихре палочки — танец бурь, танец битв, крутящейся крути все круче и круче — танец революции.

А кроме того — Пришвин охотник — весна! — ошалел, потянуло на землю к траве и лесу.

На Пасху у нас все было — Шишков, как всегда, и мучное слово сдержал.

Встретили Пасху с Пришвиным.

На второй и третий день было большое сборище, как всегда.

Как всегда, Федор Иванович Щеколдин и Наталья Васильевна Григорьева, Леонид Добронравов, И. А. Рязановский, А. М. Коноплянцев, Р. В. Иванов-Разумник.

Приходил и Александр Александрович Блок — и это в последний раз был он в моей серебряной игрушечной комнате — в обезвелволпале (в обезьяньей великой и вольной палате).

Блок, для меня необычно, в защитном френче, отяжелелый, рассказывал о войне —

«какая это бестолочь идиотская — война!»

И за несколько месяцев — служил он в каком-то земском отряде — навидался, знать, и наслышался вдосталь!

И была в нем такая устремленность ко всему и на все готового человека, и что бы, казалось, ни случилось, не удивишь, и не потужит, что вот еще и еще придет что-то.

А что-то шло — это чувствовалось — какой-то новый взвих —

Ведь и за этот месяц уж чувствовалось, что дальше так продолжаться не может, и можно на все решиться, только бы перемена и, что бы ни произошло, все будет лучше —

Я слышал, как одни ждали немцев, я скоро услышу, как другие будут рады Корнилову, а третьи — что бы там ни было — главное, конец войне! — и таких большинство, обрадуются Ленину и встретят Октябрь ладно.

VI

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

На четвертый день Пасхи умер доктор А. Д. Нюренберг.

Это первая смерть моего возраста — мы родились в один год и в один месяц.

Живой человек — бессмертный, казалось! — и в несколько дней всему конец.

Добрый он был человек — такими добрыми родятся только очень талантливые — и умница.

Лежал он на Фонтанке в тесной Кауфманской часовне.

Я пришел спозаранку.

Какие-то старушонки, спешившие за мной, — дорога к часовне путанная — стояли у стены, трясли головой, жалко смотрели красными от слез старыми глазами.

Много приносили венков и так цветы —

А эти старушонки ничего не принесли — они только сами пришли с Острова за Калинкин мост на Фонтанку — принесли свой непосильный труд и жалость.

Я помню, что-то он рассказывал о старушонках и о беде их несчастной, о своих соседях.

Я смотрел на желтый крепкий лоб — какой умный упор! Но глаза, закрытые плотно, не светили. И только брови — одна к другой — чернее еще чернелись.

И мне вспомнилось: приехал он однажды после приема, лег на диван в нашей тесной столовой — просто так полежать; я пошел к себе, занялся письмом и совсем забыл; вхожу зачем-то в столовую, протянул руки, чтобы на стул не наткнуться — чуть-чуть огонек от лампадки светит — а он с дивана тихонько руку да за ногу меня — и поймал!

И с этих пор и не знаю, отчего это бывает, я почувствовал что-то такое доброе в его душе, и еще понял тогда же, и тоже не знаю, отчего это бывает, что одинок он в сутолке своего дела и, хоть большая гремит слава, а счастья нет и нету.

Старушонок совсем к стене прижали.

Все приходил народ — пациенты — очень много, всю часовню набили и венков много — весь в цветах.

Последние цветы — последний поклон молчаливый и — безответный.

Я все смотрел на желтый крепкий лоб и думал и тихо покорно мирился со смертью:

> «в суете своего дела очень он устал, а теперь ничего не надо, вот и лежит спокойный непробудно — телефон не разбудит и торопиться некуда».

И еще думалось:

> «трудно очень жить стало, так трудно, что просто иногда завидно — мертвому завидно: не могу я быть ни палачом, ни мстителем, ни грозным карающим судьей, и всякая эта резкость «революционного» взвива меня ранит и мне больно — моей душе больно».

На кладбище я не пошел — очень далеко, надо по железной дороге! — а проводил, как выносили.

И все я смотрел — провожал.

Венок из маленьких синих цветков, подвешенный на колеснице, подпрыгивая, лучился синим.

Солнечный весенний день.

*

VII

МОЛЧАЛЬНИК

Не все на Руси крикуны и оралы и не всякий падок на крик.

Сказать о русском человеке, будто пустым крикливым словом взять его можно с душой и сапогами, это неверно.

И не одна только примазавшаяся гирь и шкурническая мразь сидит нынче по русским городам и верховодит.

Приехал И. С. Соколов-Микитов, солдат — летчик с фронта — большой молчальник, слова не выжмешь.

— Какими, — говорю, — судьбами?

— Выбран делегатом в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Ушам не верю.

— Кто же выбрал?

— Шестнадцать тысяч за меня, как один. Вот и послали.

И рассказал мне, как на собрании у них первыми крикуны повыскакивали и стали бахвалиться: кто чего может! А он, Микитов, молчком сидит, и только потом обмолвился, что, мол, зряшное это все бахвальство-то, ни шапками не закидаешь, ни горлом дела не сделаешь. И как стали выбирать, крикунов-то взашей, а его на атаманское место в Совет.

И вправду Соколов-Микитов большой молчальник и, коли скажет, бывало, с толком скажет, не даст в обиду и прок был.

Но скажу, что вышло: и не то что бы закричали его крикуны и оралы, но сам-то он перемудрил и до самого конца, как в моряки поступить балтийские, три месяца ходя в Совет, не проронил ни слова.

Слово — серебро, молчание — золото, а если уж чересчур, то просто — сом-молчальник!

VIII

ТУРКА

А бывают на свете люди, и тоже про них не скажешь, что из породы они человеческой, ну, как рисуют человека на картинках «возрасты человеческой жизни», нет, это не

человеки, а сказочные люди, о которых всякий в книжках читал — в сказках, и вопреки здравому рассуждению верил, что они на самом деле есть.

Я знал такого, кличка ему Турка. Туркой все его и звали — Илья по имени, по прозвищу Турка.

Обыкновенно появлялся у нас Турка перед наступлением какого-нибудь важного события.

И вот в апреле появляется Турка.

Турка рассказал о демонстрации, с которой он только что — первая в Петербурге демонстрация с черными флагами.

— Денег столько, сколько подымешь, а земли столько, сколько обежишь.

А заодно рассказал Турка и о приятеле своем, тоже турке, — не то в Рыбинске, не то в Кадникове.

Турка в географических названиях всегда путал и начнет другой раз про Чернигов, а сведет на Кинешму, тоже и в именах, а что до численности уж подлинно обсчитывался — из одного выведет три, а из трех всю дюжину.

Так вот где-то в Кадникове жил-был этот турка Киреев Григорий Сильвестрович.

— Человек одинокий, жил Киреев тихо и смирно, торговал рыбой и одного дожидался в одиночестве своем — праздников: сначала Рождества ждет, потом Благовещения, потом Пасху и т. д. И вдруг нежданно-негаданно грянула революция и все перепуталось и так перевернулось, ни с того, ни с сего выбирают его в городские головы, и вся Кинешма от мала и до велика — «здравствуйте, пожалуйста, Григорий Еремеевич, быть вам головой!» Он и растерялся: еще б, головой!.. И в один прекрасный день после головинных поздравлений ясно почувствовал, что не одна, а целых две у него головы: одна собственная его, Киреева, которая ест кушанья и разговаривает, а другая — другая голова городская.

— Ах, Турка, Турка!

— И это бы все ничего, — продолжал Турка, — ну что ж такого, две головы, да хоть бы и три, я бы и девять носил, даже с девятью хор можно устроить и концерты давать: пою за десятерых! Но дело обернулось куда хуже, другая-то голова городская оказалась водяной: воду из нее льют, улицы поливают. Это его окончательно

и сбило. И теперь собирается прямо из Ельца и со всем многочисленным своим семейством в Петербург: хочет представиться в петербургскую пожарную команду и послужить делу революции, как неистощимый и непрерывно действующий самополив!

Турка вращал огромными турецкими белками и в ус свой черный по-турецки улыбался.

— Ах, Турка, Турка!

Сколько ему, Турке, еще в жизни ночей!

Это из тысяча-и-одной-ночи прямо со страниц из картинки вышел он и очутился в России, а из России перекочевал в Европу, а из Европы в Китай, потом в Сибирь и опять в Россию.

Турка считал себя причастным к русской литературе; когда выходила замуж дочь Глеба Ивановича Успенского, Вера Глебовна, за Савинкова, он был шафером, а затем некоторое время жил в одном доме и по одной лестнице с Павлом Елисеевичем Щеголевым на Большой Дворянской, и кроме того любил посмотреть редкие русские книги в книжной лавке у Якова Гавриловича Новожилова.

Турка, окончив Петербургский университет и отсидев в Крестах за «беспорядки», поехал в Германию — Турка тоже «доктор», только не агрономические науки изучал он, как Пришвин, а по апретурному делу — химик.

Из Германии Турка вернулся в Херсон к отцу и занялся торговлей — в Херсоне первая была их лавка: всякие и самые тонкие английские сукна.

Турка во всех влюблялся и в Турку влюблялись, и было у Турки тысяча невест, а на тысяча первой Турка собирался жениться.

И не женился.

Сколько ни объяснялись, сколько ни говорили друг с другом, а до конца никак не могли договориться и по очень простой причине: Турка туг был на правое ухо, а невеста на левое с глушинкой.

Так и не женился.

А помер отец, осталось все Турке, как старшему, а Турка передал торговлю братьям, а сам пустился свое счастье искать.

Заманила его на восток икра — «красная кетовая икра!»

И повезло — на икре большое состояние нажил.

И уж собирался было в Японии дом строить из фиговых листиков, а мне сулил китайских богов и японскую разноцветную тушь, и вот случилась буря — кетовые корабли потонули, и уж в 4-ом классе прикатил Турка в Петербург, — начинай сначала!

И была его турецкая жизнь полна самых таких головоломных нечаянностей: то он какие-то гайки продавал, то табашным делом занялся, — но все как-то так выходило, что вот-вот на небеса взлетит, хвать, корабли ко дну, начинай сначала!

Когда началась война, Турка ходил к Зимнему Дворцу, стоял на коленях.

Турка просился в добровольцы, мешок собрал с бельем и сухарики припас, но почему-то ему отказали, и как ни добивался — отказали.

Ведь Турку заманивала война, как кета, как гайки!

А когда в 1916 году добровольцев запретили и уж больше перестали принимать, Турка бросил место — а место он занимал важное в Сибирском Банке — и, наперекор всяким запретам, опять пошел добиваться.

И приняли-таки, добровольцем угнали в Финляндию. — Турка торжествовал! Турка готовился «принять бой!» — но тут произошла революция, товарищи Турки, и не сговариваясь, тихо и смирно кончили войну и разбежались по домам.

И Турка кончил войну и вот появился —

Когда-то при открытии первой Государственной Думы Турка, чтобы пробраться посмотреть поближе, взял извозчика и поехал. А там около Таврического дворца ждали членов и, когда замечал кто особенно чтимых, выкрикивалась фамилия, и все враз бросались к извозчику или к автомобилю, вытаскивали и качали.

В сухопаром Турке был опознан Максим Максимович Ковалевский, и Турку качали при всеобщем одобрении и при дружном крике:

«Да здравствует Максим Максимович!»

И теперь при возвращении из Финляндии повторилось с Туркой то же недоразумение: когда подошел поезд,

Турка не без робости выглянул из вагона, собираясь тихонько и не через вокзал, а путями пробраться на улицу, но к великому изумлению увидел на платформе огромную толпу, устремленную как раз к его вагону.

В Турке опознан был известный революционер Барладеан Алексей Георгиевич, которого ожидали из Женевы.

Турку вытащили из вагона — Турка цепкий, сопротивлялся, не помогло! — и на руках понесли через весь вокзал к автомобилю, окруженному сочувствующей толпою.

Но что всего чуднее: Турке говорили приветственные речи!

Турка по-восточному прикладывал руку то ко лбу себе, то к сердцу, держась золотого молчального правила.

Но в конце концов вынужден был нарушить молчание и сказал единственный стих по-турецки, единственно, что знал турецкого из Микаэля Тер-Погосяна:

айда илда
бир барым
аква уйма
чипиим

акалчиген
сен алдын
чойма сакла
чипиим

Все остались очень довольны и под крики: «Да здравствует тов. Барладеан!» — отвезен был Турка прямо в Таврический дворец.

— Только воспользовавшись нуждой, удалось сбежать, но с фуражкой пришлось расстаться.

Тут Турка вдруг стал на колени.

Тысяча-и-одна-ночные глаза его наполнились слезами, и, по-восточному прикладывая руку то ко лбу себе, то к сердцу, он повинился, что на демонстрации сам он не был, а только слышал.

Я видел, тысяча-и-одна-ночная душа его рвется прямо под черный флаг —

*

— — я спросил: как же их хоронят? — А хоронят так: на нос мокрую тряпку, а едят они черный хлеб с молоком — —

IX

ЛЕНИН ПРИЕХАЛ

Разговор один слышишь, у всех одно:

— о Ленине.

Забыли Совет рабочих и солдатских депутатов, грозу и страх, забыли Чхеидзе, председателя Совета — все пропало —

— один Ленин.

— Ленин приехал, ну теперь начнется!

— Что-то будет: Ленин приехал!

«Ленинец» — вот что стало грозою и страхом —

— большевик.

В трамвае насторожились.

И не знаю, за что, а должно быть, вид у меня такой, ехал я тихо, а меня хотели вывести.

— Таких надо за шиворот тащить! — кричала какая-то дама.

Вот уж подлинно, у страха глаза велики.

— Если Ленин от Болотникова, Блейхман от атамана Хлопка! — сказал археолог Иван Александрович, переводя события современные на Смуту XVII века.

А сегодня наш швейцар заявил, что он тоже большевик:

— Мое социальное убеждение такое, что каждый должен помереть на своей собственной постели.

*

Мне надо было на Невский, вскочил я в трамвай и поехал.

И все ничего. Заглядывали с любопытством на волю: обгоняли трамвай броневики — солдаты с винтовками.

Но не верилось, чтобы произошло что-нибудь — февральской тревоги не было.

Возле Зимнего дворца трамвай остановился.

И я увидел тот Финляндский полк, который пугал меня в феврале перекатывающимися шариками — стрельбой неугомонной.

Вся власть советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Плакаты — надписи несли высоко над головами — всем видно:

— Вот, подлецы, Ленина им надо!

— Началось! При чем Милюков?

— А вы читали, что сказал Милюков?

— Что ж он сказал?

— Война без конца.

— Не без конца, а до победного конца.

— Я не русский, но мне вчуже стыдно за Россию: что у вас делается!

— Вон — вон из вагона!

Поднялся шум: кричал и рабочий, кричал и господин, кричала и дама — одни заступались за иностранца-офицера, другие поддерживали рабочего.

— Уходите! Сейчас стрелять будут!

Милиционер вошел в вагон и кончил все споры.

Пришлось вылезать.

Демонстрация шла по Невскому — —

Вся власть советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Часа через два, когда все окончилось и без всякой стрельбы, я возвращался домой.

Трамвай битком набит.

— Вино грабили солдаты!

— Это не может быть, солдаты?!

— Как же не солдаты, сама видела: родной племянник.

— Нет, так нельзя! — рабочий повернулся к солдатам, — Щегловитов сидит в Петропавловской крепости, а Милюков с ним чай будет пить. А нам надо такого, чтобы со мной пил.

Вся власть советам!
Без аннексий и контрибуций!
Да здравствует мир между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Много говорили и пугали.

Но у меня не было того чувства, чтобы совершилось что-нибудь, произошел бы сдвиг.

Что ж, долой Милюкова, а кого на место Милюкова — —?

— И как была война, так война и останется.

И опять начнется — опять финляндский полк — опять «долой» — —

— Ленин возьмет верх, посмотрите! — сказала С. П. Но этому никто не верил.

*

— — какая-то женщина обирает билетики: по билетику что хочу, то и спрошу.

«Кем я был?»

И сейчас же ответ мне готов:

«Родился в Скандинавии в 1561 году, а имя Сергей».

X

СТАЛЬ И КАМЕНЬ

Были у Веры Николаевны Фигнер.

Затевает она сборник «Гусляр».

Я уж раз ее видел на первом «скифском» собрании в январе у С. Д. Мстиславского.

Закал в ней особенный, как вылитая.

Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто

выдираются из опута, другие же, как сталь — холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля беспощадна.

Я чего-то всегда боюсь таких.

Или потому что сам-то, как кисель, и моя воля — не разлучная.

И, говоря, мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают и через эту холодную сферу.

Как-то весной еще до войны в «Сиренско-Терещинковский» период жизни нашей провожал меня Блок и разговорились мы как раз о таком вот, — очень помню, на Троицком мосту, начиналась белая ночь.

— Не представляю себе, как вы можете разговаривать, например, с Брюсовым?

Блок это понял хорошо.

Но Веру Николаевну я больше слушал и старался отвечать по-человечески, а это было очень трудно, и выходило очень глупо.

Веру Николаевну я слушал и смотрел так, как на «живую» память.

Ведь с ней соединена целая история русской жизни — совсем недоступная моей душе сторона, выразившаяся для меня в имени — «первое марта».

Я это всегда представлял себе — «от убийства до казни» — как сквозь густой промозглый туман, по спине от зяби мурашки и хочется, чтобы было так, если бы можно было вдруг проснуться.

И не это, а неволя — Шлиссельбургская крепость — долгие одиночные годы смотрели на меня, и я не мог поверить, — такое терпение, такая крепь! — и верил.

Вера Николаевна предлагала нам на лето ехать к ней — в Казанскую губернию.

И я видел: деревенские вести тревожат ее — в деревне кавардак.

*

Узнал из газет, что приехал Савинков.

А сегодня днем на звонок отворяю дверь — Савинков!

Сколько лет не видались. В последний раз в 1906 году весной, перед Севастополем — — А все такой же, нет, еще каменнее, а глаза еще невиднее, совсем спрятались.

Разговорились о стихах — Борис Викторович стихи писать стал, — о поэтах, о Маяковском, о Кузмине.

А я все хотел спросить: помнит ли он, как еще в Вологде однажды я вот, как теперь, этот вопрос:

«Революция или чай пить?»

Понял ли он — двадцать лет прошло! — что меня тогда мучило?

В Вологде, где было так тесно, я чувствовал в себе, как и теперь, этот упор —

быть самим собой.

И я не спросил, — так стихами и кончили.

А с Савинковым мне легче говорить — или потому, что много переговорено за вологодскую жизнь?

А еще легче — вспоминаю теперь — с Каляевым.

Помню навсегда, как Каляев цветов мне принес, и это тогда, как за «чай»-то мой поперечный очутился я и в тесноте, и совсем один.

А уж совсем мне легко с Розановым.

XI

И ЗАБОТ

Вешний Никола отдарил.

На Николин день по всей России прошел снежный ураган.

Приезжал Гржебин — он печатает мою книгу «Николины Притчи», в ней собраны русские легенды о Николе.

А Никола — это наш русский народный бог.

И до чего странно и дико — такую русскую книгу ни один русский издатель не принял — все отказали, и один-единственный не отказал Зиновий Исаевич.

Я смеялся:

— Еврей принял русского Николу, а русские отшвырнули своего Николу сапогом!

А Зиновий Исаевич раскладывал по столу, как камушки раскладывают, чехонинские картинки — тончайшие сплеты в буквенную Николину ризу.

— Зиновий Исаевич, и вас и ваших детей Никола за это оградит, есть такой старинный апокриф.

— Ну, а как вам эта буква?

Гржебин, будто уральским камушком, играл чехонинской буквой, нарисованной беличьей кисточкой.

*

В доме у нас беда: захворала С. П.

И вот уж неделя в тревогах и заботах.

Смутно и больно.

Не дай Бог! и здоровому-то «без дела» трудно, а захвораешь — — в этом вихре-то беспощадном, ведь, все как ослепли.

*

Пошел посмотреть на Невский — «Заем свободы».

Бедно что-то очень и призывы незвучны.

Нет, слово «война» — пугало и даже свободой не скрасишь.

— Ишь, нарядились! — слышу из толпы голос.

Нет, этого народ не одобрит.

И мне чего-то неловко за знакомых, которых я видел в процессиях, наряженных невесело.

Звонил Блок.

Говорили о «Новой Жизни», о Горьком.

— Горький правильно, только путанно, — сказал Блок.

На углу 15-ой линии и Среднего агитатор — за кого не знаю, а выбирают в Городскую думу.

— Спирт без книжек, хлеб без очереди, сахар без карточек.

И до чего эти все партии зверски: у каждой только своя правда, а в других никакой, везде ложь.

И сколько партий, столько и правд, и сколько правд, столько и лжей.

И, как вот сейчас, идут выборы, и если всех послушать, и уж никакой правды не сыщешь; всякий всё обещает и один другого лает.

А ничего не поделаешь: радоваться нечему, но и горевать не к чему —

Ведь это ж жизнь: кто кого? чья возьмет? — в этом все и удовольствие жизни.

Да, «без дела» беда.

Смотрел я на агитатора: живет, жив, счастливый человек.

— Спирт без книжек, хлеб без очереди, сахар без карточек.

*

Помню, когда началось, в каком я был волнении: ответственность, которую взял на себя русский народ, и на мне, ведь, легла тысячепудовая.

Что будет дальше, сумеют ли устроить свою жизнь — Россию! — столько дум, столько тревог.

Душа, казалось, выходит из тела — такое напряжение всех чувств.

Третий месяц революции.

И от напряженности вздвига всех чувств я как весь обнажен.

Совесть болит —

По-другому не знаю, как назвать мучительнейшее из чувств: все дурное, что сделал людям, до мелочей, до горьких нечаянных слов, все вспоминаю.

И жалко всех.

Вот уж никакой стали, никакого железа — весь мир, все вещи как слились со мной, прохожу через груды, отрываясь, протискиваюсь, и за мной тянется целый хвост, а к рукам от плеч и до пальцев тяготят тягчайшие крылья и сердце стучит, как тысяча сердец всего живого от человека до «бездушной» вещи.

И мне жалко всех.

*

Поздно вечером возвращался я домой по Среднему проспекту.

Сумерки белой ночи — фонари кое-где зажгли.

Шел я быстро, торопился домой.

По слепоте не раз натыкаясь на встречных, всматривался, чтобы быть осторожней.

И вдруг вижу: на меня прямо какая-то груда.

И наткнулся.

И ясно, как только могут вдруг близорукие, я все различил.

Замухрыстый солдатенка — шинель в накидку — и с ним, шинелью прикрывал он, девочка лет двенадцати.

Они переходили на ту сторону — к баням.

. . . .

Еще сумернее становилось, от редких фонарей слепее, еще чаще натыкался я, совсем плохо различал дорогу.

Но как ясно я видел!

Я видел наваливающуюся на меня груду — плюгащий солдатенка и, совсем как стебель, девочка, прикрытая шинелью.

XII

ОТПУСК

Перед нашим отъездом в конце мая, — а мы решились ехать на лето в Берестовец — поехали к В. В. Розанову прощаться.

Сопровождал нас И. С. Соколов-Микитов: под его глазом вечером не так опасно.

Первое знакомство с Розановым в 1905 г. на Шпалерной и вот теперь опять на Шпалерной, только не та, другая квартира, и, как оказалось, в последний раз.

Пошли мы к нему прощаться — такое время: уедешь, а вернешься и не застанешь, или уедешь и сам не вернешься, и не потому, что бы не хотел —

Не хорошо, бегут из Петербурга, — началось это с год — побежали от страху: немцы придут! А теперь: революции страшно — надвигается голод.

Глупые! разве можно убежать — от судьбы никуда не уйти.

Дома застали Василия Васильевича и Варвару Димитриевну.

А детей не было: уехали куда-то — пустое гнездо.

В. В. отдыхал, подождали, посидели с Варварой Димитриевной.

А скоро и вышел, и какой-то, точно после бани, чистый: это В. Д. ему сказала, чтобы не в халате, принарядился.

Очень озабоченный, и игры этой не было розановской.

Конечно, злободневное сначала, без этого не обойдешься, и, конечно, по русскому обычаю, с осуждением — о правительстве само собой — «временное правительство».

В. В., как немногие, правильно произносил, на последнем ударяя: временнóе, а не временное, как языком чесали.

— Временное правительство под арестом.

Ведь какое бы ни было правительство и самое ангельское, все равно будет оно всегда осуждаемое, все равно, какая бы ни была власть, а как власть — ярмо.

А человек в ярме — человек брыклив.

И только закоренелый раб и скот рад узде — ярму.

О временном правительстве, о псевдонимах, которые верховодят.

— Подпольная Россия на свет вышла.

И о народной темноте и солдатской теми, и о Ленине — о пломбированном вагоне, и о дворце Кшесинской, и о даче Дурново, где засели анархисты.

Ну, все, что говорилось в те первые три месяцы революции.

На этом политика кончилась.

В. В. показывал монеты — свое любимое, говорил и о египетской книге — свое заветное.

И о нездоровье — раньше никогда — прихварывать стал; склероз! — и о докторе Поггенполе, на которого вся надежда.

Пили чай, хозяйничала Варвара Димитриевна, как всегда, как и в 1905 г., хоть и не то — вот кто изболел за эти годы!

Чай примирил и успокоил.

И не будь нездоровья, В. В. пошел бы посмотреть — в 1905 году куда не ходил! — а теперь куда еще любопытней.

Я рассказал о вечере: устраивается на Острове такой с лозунгом танцевальный:

Будем сеять незасеянную землю!
подростки бесплатно,
дамы — 50 коп.

На минуту игра, как луч, — лукавый глаз.

Сколько б было разговору: семя! — семенная тайна! —

И опять погасло, глубокая забота.

— Мы теперь с тобой не нужны.

И сначала брыкливо, потом горько, а потом покорно:

— Не нужны.

И покорно, и тяжко, и убежденно, словно из-подо дна вышло, последнее — приговор и отпуск.

Варвара Димитриевна тоже очень беспокоится: стал В. В. прихварывать, — все может случиться.

— Доктор говорит...

И как это несоединимо — человек всю свою жизнь о радости жизни — о семени жизни — о жизни —

— Доктор говорит, сосуды могут сразу лопнуть, и конец.

Так и простились.

От Троицы-Сергия получили мы от Розанова Апокалипсис — несколько книжечек с надписью, но уж увидеться нам не пришлось.

*

Я долго все поминал:

«не нужен... мы с тобою не нужны».

Как! Розанов не нужен?

Теперь, в этой вскрути жизни, мечтавший всю жизнь о радости жизни?

Розанов или тысяча тысяч вертящихся палочек?

— Человек или стихия?

— Революция или чай пить?

А! безразлично! — стихии безразлично: вскрутит, попадешь — истопчет, сметет, как не было.

Вскруть жизни — революция — — и благослови ты всю жизнь, все семена жизни, ты один в этой крути без защиты и тебе крышка.

Так Розанова и прикрыли.

«Розанов, собирающий окурки на улице!»

Что же еще прибавить — — разве для некурящих! — тут все лицо и слепому ясно.

И прикрыли.

— А зачем, — скажут, — повернулся спиной, отверг революцию?

— Отвергать революцию — стихию — — как можно говорить, что вот ты отвергаешь грозу, не признаешь землетрясения, пожара или не принимаешь весну, зачатие?

И мне слышится голос отверженного и прикрытого, и этот голос не жалоба, не проклятие, голос человека о своем праве быть человеком:

— Одно хочу я, раз уж такая доля и я застигнут бурей, и я, беззащитный, брошенный среди беспощадной бури, я хочу под гром грозы и гремящие вихри, сам, как вихрь, наперекор —

прилетайте со всех стран!
вертящиеся, крутитесь, взлетайте
жгите, жгитесь
соединяйтесь!

— — я свободный — свободный с первой памяти моей, и легок, как птица в лете, потому что у меня нет ничего и не было никогда, только это вот — еще цела голова! — да слабые руки с крепкими упорными пальцами —

прилетайте!
соединяйтесь!

— я наперекор взвиву теснящихся вещей, с которыми срощен, как утробный, продираясь сквозь живую, бьющуюся живым сердцем толчею жизни, я хочу этой же самой жизни, через все ее тысячекратные громы под хлест и удары в отдар —

п р о к у к у р е к а т ь   п е т у х о м

В ДЕРЕВНЕ

I

Судя по проектам и письменным распоряжениям, можно было бы ждать не такого.

Правда, всю дорогу — от Петербурга до Крут — в наше купе никто не вошел, но ехать под грозой с дубастаньем в окна и криками —

клюк-топ-дробь-мат

Думалось, уж лучше, пожалуй, и без всяких удобств, а попросту, как бывало, в III-м классе, или совсем не ворошиться, а сидеть на Острове и ждать погоды.

На крыше — разбегавшиеся по домам солдаты, как клюватые птицы —

мат-дробь-топ-клюк

Когда в первые дни войны мы возвращались из Берлина в Петербург, дорога была такая — я боялся загадывать на завтра и только думал на сейчас, так и теперь, удаляясь за тридевять земель от Петербурга, нет, еще неуверенней —

клюк-топ-дробь-мат

И по пути я уж всеми глазами видел, что война сама собой кончилась, и нет такой человеческой силы повернуть назад, одна есть сила — «никакой войны!» — сила нечеловеческая — войнее всякой войны —

революция —

*

революция — пробуждение человека
в жестоком дне,
революция — суд человека над человеком,
революция — пожелания человека человеку.
Красна она не судом
— жестокая пора! —
красна озарением
— семенной весенний вихрь! —
пожеланиями человека человеку.
«Взорвать мир!» — «перестроить жизнь!» —
«спасти человечество!»
Никогда так ярко не горела звезда —
мечта человека
о свободном человеческом царстве
на земле,
Россия в семнадцатый год!
но и никогда и нигде на земле
так жестоко не гремел погром.

*

Полем было ехать хорошо, несмотря на ветер.
Птицы по-прежнему поют.
По-прежнему земля зеленеет.
Поле чистое — —

По дороге на селе собрание: агитатор — из пришвинской «тучи» — разъясняет собранию о буржуазии.

— Говорить надо не буржуа, — учит, — а буржуаз.

И в другом селе тоже, говорит петербургский, тут все петербургские «из тучи», о интеллигенции.

— Интеллигенция, — учит, — это ненормальное явление в природе. Интеллигенция нам не говорит правды. Интеллигенция, если при старом режиме и бывала откровенна, откровенность ее была продажной. Интеллигенция при катастрофическом столкновении классов должна погибнуть.

Едем дальше, третье село — и в третьем селе — в третьем селе солдат:

— Долой царя, да здравствует само-державие!

За войну отстроили новую каменную церковь.

Старая деревянная с колонками стоит — запустела. И старик священник помер. Новый на его место, но уж в новой церкви, в войну определился, молодой.

— Царская теличка! — ухмыльнулся кучер, — умора!

Поп был из молодых да ранний, и как пришла революция, очень испугался: первого ведь будут громить попа! Собрал он народ в церковь и все, что слышал: и быль и небыль, и о распутинских чудесах, и о подземном телефоне в Царском Селе — из Берлина прямо в Петербург! — все вывел на чистую воду, а закончить решил Кшесинской — самое громкое имя, недаром в ее дворце Ленин засел. А как сказать: «балерина?» — не поймут. Придумал: скажу, «певичка». И сказал:

«Царская певичка, царь для которой дворец построил!»

И пошло гулять по селу:

— Царская теличка, царь для которой дворец построил!

Проехали лавку — надпись все та же:

*

воспрещается лущить семечки
садиться на прилавок если много
людей без дела не надо входить
в лавку за непослушание будут
подвергаться административному
взысканию

*

Я встаю в 9 часов. Курю, записываю сны и прибираюсь. В 11—12 часов пью чай с хлебом. После чаю минут на десять выхожу в сад. И опять в комнату и занимаюсь до 3-х. В 3-и обед. После обеда ложусь с книгой и читаю до 5-и. В 5-ь пью чай, и опять с полчаса читаю. Потом пересаживаюсь к окну и занимаюсь до половины восьмого. С половины восьмого до 8-и (не всякий день) гуляю в саду по дорожке от слив до амбара. И домой, зажигаю лампу и занимаюсь до 9-и. В 9-ь пью чай. После чаю читаю газеты или рисую, или опять пишу до 12-и.

Так все дни — и теперь, и когда случалось раньше попадать летом в деревню.

*

Когда я выхожу на улицу, вещи убегают от меня, и подымаются стены, где казалась мне одна ровь и гладь, какие-то лестницы без перил громоздятся навстречу, на которые (и без перил), а изволь лезть! — и мосты, которых я боюсь, и хоть на четвереньках, а должен перейти. И когда все это я проделаю и только что подойти к двери — дверь под носом захлопнется.

Как помню себя, я все делал, чтобы обходить улицу. И первая катастрофа в моей жизни произошла именно потому, что я вышел на улицу.

И это вовсе не уродство, а верное мое чутье к жизни: как помню себя, я всегда что-то выделывал над собой, обрекая себя на добровольное заточение —

с правом выхода, когда хочу.

Затвор стал стеной, моим рогом, моим жалом, моей иглой, моим копытом и моей стихией.

И вовсе не от нелюдимости и отчужденности от мира.

Я люблю все живое в мире — а ведь все живое, что светит, а светит все от крупных звезд и до мельчайшей песчинки и от большого слова до мимолетной мысли:

я люблю солнце, звезды, ветер, землю —

я люблю зарю и дождик, камни, деревья, траву и речь, и смех человека —

и горы, и море, и птиц, и зверей, и человека —

и все, к чему прикоснулась рука человека, — от искусства человека.

Нет, вовсе не потому, как крот, сижу я в норе и, вздрагивая, выхожу на волю.

Без кротовой норы — без моего затвора я еж без игл, конь без копыта, петух без шпор.

Вещи, которые убегают от меня там, тут сами приходят ко мне, но какие странные! — обыкновенные же долго не держатся: посуда выскальзывает из рук, и сколько я этого добра перебил от лампы до кувшина и от банки с вареньем до цветочной вазы! — нет, не такие, а сучки какие-то, палочки, как рожи, и рожицы, как палочки, зайцы, мыши, пауки и ни на что не похожее, вот что само приходит.

Я помню одного глиняного конька-свистульку, его я

дарил ребятишкам — дети всегда смотрели на эти ни на что не похожие вещи верным глазом, как на живое, — я дарил конька, а он возвращался ко мне.

Когда я иду по улице, а передо мной, в вихре свертываясь, несутся прочь от меня вещи и улетают, я иногда с ужасом думаю: а что как вдруг все они станут! и я, конечно, крепко ударюсь и расшибу себе лоб!

И также в моем затворе эта мысль вдруг приходит, и я настораживаюсь: а что как вещи, которые бегут от меня, хлынут оттуда ко мне и, конечно, задавят?

И эта мысль, нет, не мысль, смутное чувство такой мысли держит меня в постоянном напряжении.

Я иду быстро, но очень бережно, как большие звери, а перехожу на другую сторону, как заяц, кругами.

И от каждого резкого или случайного звука сердце у меня стучит, как птичье.

И я не могу гулять — как это принято среди людей, и среди рыб, и среди зверей — я только могу идти зачем-нибудь, чтобы как можно скорее забиться в свою нору, откуда я могу, когда хочу, тогда и выйду.

В тюрьме — в прошлом моем — я не нуждался ни в какой прогулке и мог бы не выходить месяцами из камеры, в тюрьме меня тяготило не это, я мог бы без жалобы высидеть годы, меня мучило насилие над моей волей, принуждение, я не мог, когда хочу, выйти.

В тюрьме, к моему счастью, я попадал всегда в одиночку, и всего несколько раз загоняли меня в общую, а это то же для меня, что на улицу — в стихию грозную и беспощадную.

На людях — так скажу — я пропал бы.

На миру — и так скажу — потерялся б.

И свидетельство мое о всеобщем восстании в величайший год русской жизни есть свидетельство так приспособившегося к жизни, а иначе и невозможно, что как раз самое кипучее — события великих дней оказались закрыты для глаз, и осталось одно — дуновение, отсвет, который выражается в снах, да случайно западавшее слово в неоглушенное шумом ухо, да обрывки события, подсмотренного глазом, для которого ничего не примелькалось.

И суд мой есть суд тоже человека, только забившегося

в нору, для непрестанной духовной работы, с сердцем — почему не сказать? — птицы, вздрагивающем при каждом уличном стуке и стучащем ответно со стуком сердца всей страды мира.

II

— — пришел Пришвин на себя не похож расстроенный: хохол взбит, из носу волос, из ушей волос.
«Я каменный мост проглотил!» — сказал раздельно не своим голосом, зевнул и пропал.

*

В селе Гребенникове во время молебна один крестьянин разбил икону Николы. Крестьяне постановили удалить его на поселение и доставили в тюрьму. Уездный комитет вынес постановление: «Гриценко, разбивший икону, должен умереть голодной смертью!» Постановление приведено в исполнение.

*

Слушаю пение и как-то не верится: все врозь — и не замечают. А может, это-то «врозь» и есть настоящее?

Бараны прошли — пыль, как дым —

по у-ли-це мо-сто-вой

III

— — сели обедать, Маша объясняет, почему она запоздала с обедом:
«Ничего еще не готово, только цыплята!»
Я запихал себе в рот целого цыпленка, давлюсь, рукой помогаю, а никак не проглочу. Вижу — Андрей Белый: его подвязывают к трапеции, и он кружится, как мельница, совсем голый — по

телу редкие волосики вроде куриных, когда курицу ощиплют.
И я бегу из «Рядов» — лавки заперты — а сзади пожар, около нашего дома горит!
«Стоило мне, говорю, только выйти, как беда случилась, и это постоянно!»

IV

— — две московские церкви стоят рядушком: одна — Троица с огромным иконостасом — «Называется Улей».
А другая:
«Духовская».
В церкви идет служба.
Стал и я подпевать. И Чехонин тоже поет. (Чехонин только так называется Чехонин, на самом же деле — художник Реми).
И попал я в длинную прихожую: мне обязательно надо видеть Познера. Слышу разговор: всякий старается показать, что он есть самый из всех умный и все знает. Догадываюсь, что это Редакция.
И очутился я в саду у пруда около чудесной яблони.

V

— — сидит на камушке Андрей Белый: на нем германская шапка без козырька и солдатская шинель с эполетами; эполеты — это два перекрещивающихся шнурка с маленькими черными орлами на конце, под орлами красные лоскутки, орлы свешиваются с плеч. И не в 9-ой он армии, а в 8-й офицером. Нос необыкновенно заостренный, как у Гоголя, а смеется, как Шишков.
«Что же ты теперь делаешь?»
«Солдат кормлю!» — и улыбается, как Шишков.
«Ишь, ведь, думаю, как: Андрей Белый поваром сделался!»
Входим к П. Е. Щеголеву.

Там В. А. Жданов: он такой же, как в Вологде, только совсем седой.
Андрей Белый здоровается.
«Андрей Серый», — рекомендуется Андрей Белый.
«Владимир Анатольевич Жданов».
И они целуются.
И я поцеловался.
И когда целовался, подумал:
«При встрече после долгих лет надо целоваться подольше!»
«Как вы изменились, — говорит Жданов, — как напоминаете вы мне доктора Аусгусса и тут в щеках: Dr. Ausguss! — А это кто?»
«А это, — говорю, — Любовь Николаевна, сестра Надежды Николаевны, вашей жены».
И думаю:
«Что же это он не признает, неужели спутал?»
«Аусгусс! Аусгусс! — Жданов качает головой, посматривая на меня с удивлением, — какое сходство!»

. . . .

Мы в длинной комнате, у нас такой нет, и я знаю, что это не наша квартира.
Входит В. В. Розанов.
«Покажи мне кого-нибудь из 10-й армии!»
«Да кого ж я вам покажу, Василий Васильевич?»
«Ну, скорей, скорей. Дело важное, я здесь и напишу».
А я думаю:
«Кого ж мне показать: Виктора (моего брата) — ничего от него не добьешься, Соколова-Микитова — слова не выжмешь!» А Розанов очень волнуется, не присядет, а семенит так нетерпеливо.
И я понял: что-то очень важное происходит.

. . . .

Мы занимаем огромную квартиру и живем не одни. У нас есть верх, куда ведет лестница из коридора, и внизу кухня. Квартира наша напоминает Версальский дворец.

Я говорю швейцару:
«Зачем зря горит электричество?»
А он мне тихонько:
«Димитрий Петрович Семенов-Тяньшанский мне сказал, чтобы я жег побольше, а то Сергей Александрович Есенин и так ничего не платит».
«Да позвольте, говорю, ведь квартира-то моя, не Есенина!»
И подымаюсь наверх.
Тут какая-то дама, должно быть, это и есть сама Frau Nelke, и с ней Леонид Добронравов.
«Вам Добронравов больше всех из писателей нравится?»
«Да-а, — я не нахожу, что ответить, — да, он хорошо поет».
И подаю ноты: написаны рукой и красным, и черным.
«Пожалуйста, обратите внимание на это, это Андрей Белый с войны привез».
Добронравов поправил пенсне:
«Это марш 13-го года».
Сели пить чай. С. П. разливает чай.
Вдруг мне показалось, что с ней что-то плохо, я бросился вниз.
Лестница и коридор, как в бане, с потолка течет.
Я в комнату — вроде как чуланчик.
И вижу, Лев Шестов сидит у стола.
«Вот, думаю, неожиданно: вернулся так рано!»
«Иди, говорю, наверх, там дамы: Frau Nelke, Добронравов...»
А он безнадежно:
«Давно этим не занимаюсь!»
И пошел наверх.
А я на улицу. Перешел на ту сторону.
Там С. Я. Осипов живет.
С. Я. Осипов в матросском, а поверх золотая венгерка с красными шнурами, а сзади торчит препорядочный хвост, должно быть от барсука отрезан. С. Я. Осипов согласен, он пойдет со

мной, только я должен наперед телефон исправить.
«Коробка испортилась, которая на стене висит». Полез я коробку прочищать и снял крышку, продул, а надеть не могу.
А меня торопят.
Я так и сяк —
«Да скорей же!»
Нет, ничего не выходит.

VI

— — решаю купить себе всяких сластей: «продажи больше не будет, лавку закроют через пять минут!» Я заторопился. И мне отпускают, да только очень медленно; медленно развешивают: в сахарной пудре как крупинки шоколад. Боюсь, не успеют. Продавщица на А. Д. Радлову похожа, а помогает ей Бруно Майзельс — sanftester Bruno! — так его все называют, кротчайшим! Пошел дождь. В лавку набирается народ.
И вдруг вижу — и боюсь сказать себе — доктор Нюренберг!
Весь он, как в волшебном фонаре, весь истонченный, почти прозрачный и совсем молодой: усы не подстрижены, а на самом деле легкой черной чертой, и целы все зубы. На нем легкий сиреневатый пиджак и шелковый тончайший галстук.
Он прямо подходит ко мне и, улыбаясь, трясет мне руку. И я вижу по его взгляду: он спрашивает, узнал ли я его, и сам же без слов утверждает, что это он.
«С. П. — говорю я, — Арон Давидович!»
С. П. о чем-то говорит с ним. Он очень оживлен. Но сразу видно, что он нездешний.
«Как это, думаю, никто не замечает!»
Срок кончился: сейчас запрут лавку.
Мне завернули небольшой пакет.
«6 рублей, — говорит Анна Димитриевна, — 4 за товар и 2 за услуги: Бруне рубль и мне».

«Какие обдиралы!» — подумал я и вынимаю деньги.

«Ничего подобного! — Анна Димитриевна швырнула мой пакет, — вот если бы вам дали денег...»

Втроем мы вышли из лавки.

Идем по улице, потом по дорожке — будто в Париже в Булонском лесу, а видно море.

«Мне пора!» — сказал Нюренберг.

«Почему?»

Но я это не сказал, он и так понял и только пожал плечами. И стал вдруг сурьезный: видно, ему хотелось бы сказать, да он не мог. И стал прощаться.

С жалостью смотрел он в глаза и долго тряс руку, как Савинков.

И я заметил, как он старается, чтобы рука моя не прикоснулась к нему, а делает это он так потому (он передал это мне без слов взглядом) —

— потому что, прикоснувшись, я почувствую скелет мертвеца, а это очень страшно!

. . . .

Пасмурный любимый день.

В одном из нюренбергских соборов на серой каменной колонне подвешена картина: карта земли — вся война.

Вся война нарисована кровавой до просачивания красной и черной дымящейся краской. А около Вены небольшой медальон, тусклый с маленькими фигурками, — рисовал Кустодиев.

Ааге Маделунг, датский писатель, говорит мне: «Стоит вам вписать свое имя в этот кружок, и война кончится!»

И вижу, Горький: переминаясь, поет и что-то очень веселое поет, а слова как «со святыми упокой».

*

Сидит Буц, головой трясет, язык высунул —

На солнце нашла туча и, как снежинки, полетели лепестки на зеленый двор.

Высоко летают коромысла.

Юзеф косу точит, кукует кукушка.

Буц улегся.

И сторожевой трещоткой затрещал аист.

Больше солнце не выйдет, и закат будет туманный.

VII

— — я должен был нарисовать декорацию.
И начал ее делать: я нарисовал огромную обезьяну. И тут я увидел: лишний кусок посередке вбок пошел. Тогда я от него вниз еще нарисовал обезьяну. И получилось две головы обезьяньих.
«Вот, думаю, какая ерунда вышла!»
«Да лучшей и не надо! — говорит Философов, — прямо в Париж к Дягилеву».

VIII

Сегодня ветерок подул и летит — акация! — последние лепестки.

IX

Лег поздно из-за газеты, и не мог заснуть.

Ночью стонал кто-то, и мне казалось, что это С. П. И я очень затревожился и все лежал и курил, готовый, если вдруг что, подняться.

И когда я лежал, незаметно, уходила ночь, и рассвет выражался в колебании, точно
дом — корабль,
а ночь — море.

Потом я увидел шторы и слышу первые клики птиц и шаги.

*

— — умер отец И. А. Рязановского, его несли в цинковом гробу; гроб закрыт крышкой, и только

голова вне гроба поставлена вперед, как на саркофагах: седая голова с длинной бородой.
Я это видел из кондитерской, где мне сначала не хотели отпускать печенье, но потом по записке И. А. Рязановского выдали. Я взял еще граненую бутылку водки.
«Для гостей пригодится!»
И увидел Святополка-Мирского: он сидит у моего брата Николая в Большом Афанасиевском переулке, один, за большим столом, и клюет носом.
«Дмитрий Петрович! — бужу я его, — как вы сюда попали?»
А он точно в рупор:
«Я комендант Николаевской дороги, сижу на дежурстве, билетов нет».

X

— — переезжаем на новую квартиру.
Сначала я поселился в какой-то общей комнате «больничной», там стоят «койки»: Б. В. Савинкова, Walpol'я и Williams'а. Потом я перенес свою кровать куда-то в противоположный конец коридора. Тут ушла у нас прислуга — я ей и рису дал, просил остаться, но она ушла. И прислуживает нам наша старая нянька покойница Прасковья, и служит она нам, невидима для нас. И опять мне надо тащить мою кровать, и теперь уж в отдельную комнату. Оказывается, мы будем жить в комнате, соседней с Замятиным, и платить будем 20 руб. в месяц.
Входит Замятин: он только что вернулся из Англии, он маленького роста, в цилиндре и совсем старый, а губы как накрашены ярко-лиловым; он запер на висячий замок свою комнату, прощается.
«Куда же это вы?»
«По нужде, — и, сняв цилиндр, раскланялся, — извините!»
Наша комната на 6-м этаже, она в виде театральной ложи, но без барьера и пол очень шаткий, т. е. попросту легкая настилка, которая выходит,

как крыша, над партером, и каждую минуту от неосторожного движения или просто под нашей тяжестью крыша провалится, и мы полетим в партер.

Вещи уж летят: упал комод, стол, стулья — —

Но я хочу оправдать наше такое опасное житье: «У нас, — говорю, — два выхода!»

И узнаю, что министром внутренних дел вместо Авксентьева назначен Сергей Порфирьевич Постников.

«Потому что он единственный имеет власть!» При этом подразумевается, что власть вовсе не дается назначением — ведь любое и самое высокое место можно унизить! — власть это личное качество.

«И с такой прирожденной властью именно и есть Сергей Порфирьевич Постников!»

Так уверяет меня М. В. Добужинский: он тоже с нами на крыше и в руках у него кисточка, которой он дирижирует.

XI

Много мне сегодня снилось, но память о сне спугнули.

Писательское ремесло это ужасно какая недотрога: улитка, ежик, которого никак не погладишь.

Пустяки последние, слово, движение могут сдуть всю воздушную постройку.

И не знаю, у всех ли это так, но у меня — сущее несчастье.

И вот пустяками все разрушено до беспамятства. Одно помню, комар зудел, точно плакал.

*

Когда обвиняют всех только в разбое, только в корысти, хочется наперекор обелять даже и ту тьму, которая есть.

Обвинители обыкновенно обвиняют сами-то из-за своей корысти.

*

— Чего вы траву мнете?
— Нам теперь права даны.
— Ведь он же дерево!
— Из-за вас деревом сделался.

XII

— — ехал я с Гординым в лодке, лодка закрыта крышкой, крышка, как опрокинутая лодка. На одном краю стояли мы, и очень было страшно: вот-вот лодка перекувырнется.

Гордин рассказывал, как он пишет романы. Ну, все как в жизни:

«Ночью я занимаюсь романами, а днем пишу. А потому мои романы так живы, и особенно последний: «Любовь к трем апельсинам».

Тут появился И. П. Пономарьков регент и Петр Прокопов и заспорили друг с другом, долго спорили, и всё о философии, как всегда, а потом, как всегда, запели: «Был у Христа младенца сад» — Прокопов — тонко, Гордин — потолще, а сам Пономарьков — толстым голосом. И, как всегда, повторили песню раз десять.

Очень было страшно.

И вдруг очутились мы в автомобиле на Каменноостровском, слезли около трамвая, и тут автомобиль заняли кондуктора, и мы остались с носом. Было, должно быть, очень холодно. Гордин попросил старуху-торговку пальто себе — тут и ларек ее — и старуха дала ему какое-то пожелтевшее драное и стала упрекать.

«Чего захотел, — ворчала старуха, — мало ему печки, затопи улицу!»

И я увидел, что Гордин в женском платье, и никто не подозревает, что он наряжен.

А старуха такое понесла, не дай Бог. Гордин в слезы.

«Чего ж, думаю, не возразит!»

«Ничего, — отвечает, — я напишу об этом: я

напишу «Любовь к трем апельсинам», и поступлю в «женский батальон смерти».

Все по каким-то улицам ходил я. В дом вхожу, на самый на верх: тут Кузмин М. А. и Юркун, и Зноско-Боровский, и Сухотин, и Святополк-Мирский, и Михаил Струве. И я очутился в Москве в Сыромятниках. Все лежат в зале и Блок.

«Александр Александрович, — говорю, — Михаила-то Ивановича министром иностранных дел назначили!»

«Господи, что же это такое, — Блок очень встревожился, — по делу Бейлиса?»

Я разыскиваю в клинике и сам не знаю кого. В сыпном отделении прохожу коридором: все служители, как и больные, в повязках и даже городовой.

Очень было страшно.

А когда выбрался, встречаю на Литейном мосту Вл. Вас. Гиппиуса, здороваюсь, и в эту минуту Гиппиус сливается с Курицыным, а Курицын превращается в Кондурушкиных. И все вдруг истлело.

*

Как успокаивает, когда в теплый летний день слышишь, как пилят дрова.

XIII

— — жду очереди сниматься, много нас ждет и П. Е. Щеголев. А снимает Д. С. Мережковский и снимает очень медленно: какой же Мережковский фотограф!

Наконец и моя очередь: меня усаживают в кресло, а сзади садится Лундберг — всех так и снимают на фоне Лундберга. И бежим мы куда-то и на каком-то мосту неизвестно зачем, так по пути, отсек я голову Тинякову, бросил голову и опять бегу, стираю кровь с пальцев.

Надо ехать в Ессентуки, — С. П. приедет по-

том, — нас четверо: Андрей Белый, Владимир Диксон, К. А. Сомов. Багажа у нас никакого нет, только ноты. Мы будем играть коротенькие пьесы с музыкой, пением и танцами. Осталось мало времени, а собираемся мы из Сыромятников.
Я хожу по огороду около Андрониева монастыря, на грядах кучи яблок — «черное яблоко».
«Чернов собрал из ломаного железа!»
И вдруг откуда ни возьмись, идет Тиняков —

*

Когда свинья ест, она хвостиком помахивает.

XIV

— — сегодня мое рожденье: на окне у Маяковского на стекле пальцем написано. А окно выходит в сад. Много собралось народу, кого только нет!
И едем мы в трамвае — полным-полно, висят! На мосту трамвай сворачивает с пути и идет около самого краю, перил нет, того и гляди полетим в воду. Я-то на площадке, выскочу, а вот С. П. в вагоне —
и это меня мучает и то еще, что не пригласил Шкловского: нет его ни в вагоне, ни на площадке.
«Андрей Белый хвостик себе переломил, — говорит Ольга Елисеевна, — и теперь он как ангел, in eine hohere Region hinaufgestiegen!»
И вот я один. Сумрак, дождик. Едва различаю дорогу.
Кто-то похожий на Аркадия Зонова тихо:
«А я останусь еще на день, с Илиодором поговорю».
И вижу, подходит монах.
Должно быть, это и есть Илиодор! — стараюсь рассмотреть лицо, а очень темно.
«Может, и мне остаться?»
И иду дальше.
Два монаха навстречу такие же, как тот, Илиодоры.
«Нет, — говорит один, — выход есть».

XV

— — речь шла о клятве и присяге; в нарушении клятвы и заключалась вся суть событий — вся революция.

И я попал в какое-то училище, и там учат гимнастике: учит Балтрушайтис, а распоряжается Брюсов.

И меня заставили прыгать через «кобылу». Мне очень трудно, а прыгаю.

И вдруг появляется Вячеслав Иванов и торжественно объявляет:

«Урок кончился! Сейчас начнут делать прививку комариную!»

*

Никакие и самые справедливейшие учреждения и самый правильный строй жизни не изменяет человека, если что-то не изменится в его душе — не раскроется душа и искра Божия не взблеснет в ней.

А если искра Божия взблеснет в душе человеческой, не надо и головы ломать ни о справедливейших учреждениях, ни о правильном строе жизни, потому что с раскрытой душой само собой не может быть среди людей несправедливости и неправильности.

XVI

— — купил я себе ботинки очень дорогие за 100 рублей и еще за 150 на Невском в табачном магазине у Баннова.

Шел я к Александро-Невской Лавре с Ф. И. Щеколдиным. Строят дом, как игрушечный, раскрашивает Владимир Бурлюк. Здесь же сидит и Петров-Водкин и с ним Клопотовский: Клопотовский весь татуирован. «Художник должен поменьше рассуждать, тогда и выйдет картина!» — сказал Петров-Водкин и ткнул пальцем в Клопотовского. Идем дальше —

Ф. И. Щеколдину надо к Нарвским воротам. А

я совсем запутался и не знаю, как это ему показать.
«Да вон налево!» — говорить хозяйка Пришвина Копец: вместо брошки у нее «обезьяний знак», а на руке пришвинский сюртук для продажи.
И я соображаю, что вышли мы к Покрову — Покровский рынок!
Где-то за городом иду — места незнакомые — редкие постройки, памятники, надпись: «строил художник Лев Бруни». Много цветов. И я повернул назад.
Навстречу католическая процессия — одни маленькие девочки. Поют Марсельезу по-французски. «Зачем же это они поют такое?»
«Это святая песня!» — говорят мне.
И я вхожу в прихожую и прямо на зеркало.
По соседству в открытую комнату — я вижу это в зеркало — входит В. Ф. Коммиссаржевская с мужем: муж ее инженер.
Оба говорят мне, чтобы я пришел к ним непременно.
И я попадаю на дачу Дурново.
У меня в руках рукопись: «лирическая проза» — воззвание, которое написал я для К. Ф. Залита. Залит сидит у стола и чистит, как картошку, ручные бомбы.
«Это воззвание, — говорю, — можно напечатать через мужа Коммиссаржевской и расклеить на Васильевском острове!»
«С добрым утречком! — отзывается Залит и, не подымая головы, продолжает работу, — Bleichmann ist schon gestorben!»
Танцуют.
«В такое время танцуют!»
И говорю громко:
«Ведь это весна!»
Среди танцующих — И. Гюнтер, Шкловский, Ховин, Пуни, Пунин и Богуславская.
А играет М. В. Сабашникова.
«Слышу ваш голос, — говорит Коммиссаржевская, — и думаю: что же это вы не заходите к нам!»

Я оборачиваюсь и вспоминаю рукопись: «лирическая проза».
И вижу в зеркале: И. А. Рязановский в пожарной каске верхом с портфелем едет на Выборгскую сторону в «Кресты».

XVII

— — угощаю И. А. Рязановского яблочным пирожным: на сковородке прямо ножом целые поджаристые круги снимаю.
Слышу, наверху стучат.
Иван Александрович испугался: кто может стучать?
Тихонечко на цыпочках пошли мы в кухню — там плотники работали на кухне.
«Клим!» — покликал я.
Но никто не ответил.
«Климушка!» — пропищал как-то заискивающе И. А.
Кто-то отозвался:
«Готово, — и опять, — забираем!»
«Что?» — у И. А. дрожали коленки.
Да, это, конечно, был Клим.
И мы пошли наверх.
«Я говорил, что Клим!» — И. А. покраснел весь: страх его прошел.
Без пиджака, подпрыгивая, шел он сзади.
Оказывается, лопнул водопровод и вот Клим заколачивал стену.
От лестницы по правую руку стена вся в картинах. Некоторые пришлось опустить и внизу их закрыли бочкой.
«Ольга Михайловна Альтшулер сказала, чтобы эти яблоки сохранить!» — показал Клим на покосившуюся картину, на которой были нарисованы какие-то собачьи хвосты в крапиве!
Кроме Клима со стеной работали еще три плотника. Клим что-то рассказывал.
«А главное произойдет в пятницу!» — сказал

Клим и, поплевав себе на руки, ударил топором о стену.
И. А. присел, и из него вдруг пошел дым душный и едкий — —
А я очутился в магазине.
Продавщица Ольга Михайловна: одна нога утиная, другая куриная. А помогает ей Е. С. Пинес. Весь магазин завален яблоками. На стене надпись: «не для продажи».
В магазин входит мальчик.
«Glasspapier!» — говорит он.
О. М. завертывает что-то, а Пинес подает счет. Это большой лист с картинкой: нарисованы куры, а подписано — «вся власть советам».
Первая цифра — 1 р. 60 к. и затем колонкой мелко, не разобрать.
И выходит так: старые ботинки не починили, а сделали новые и эти новые продали, и теперь возвращают мне непочиненные старые, и я же должен заплатить и за новые проданные и за починку.
Я положил счет в карман:
«Я покажу это в Совете».
«Ради Бога! не делайте!»
«Нет, я это сделаю».
И снял я ботинки, швырнул в яблоки и в одних чулках вышел.
О. М. догоняет меня — одна нога утиная, другая куриная, — схватилась за руку:
«Не ходите!»
И вижу: очень взволнована.
«Не ходите! — просит, — там озеро, такая глубь, одни раки плавают».
А я никак не пойму: куда не ходить, какое озеро, какие раки?
И вдруг вспоминаю: «Glasspapier!» — и говорю: «Что же это Ефим Семенович давно яблоками торгует?»
«Какими яблоками?»
И вдруг, отпрыгнув, стала на кочку — одна нога утиная, другая куриная.

. . . .

В Москве в Успенском соборе стою на галерее. Тут же и Пришвин: Пришвин самовар ставит — углей нет, стружками. Иду вниз.

«Снимите шапку!» — говорит кто-то.

И я вижу, все в шапках и я в шапке.

Снял я скорей шапку, пробираюсь через народ к середке.

А. Г. Горнфельд у решетки с папиросой.

«С папиросой нельзя в церкви!» — говорит Горнфельд и мне так показывает, словно б я курил, а он не причем.

У мощей Ермогена С. Ф. Платонов и с ним Д. А. Левин.

Кончают молебн.

И мы выходим втроем.

Около церкви «Двенадцати апостолов» странник раздает книжки. И на одной книжке он надписал что-то. И подает Д. А. Левину. И тут я догадался, что не Левин это, а Левиным замаскирована какая-то преследуемая великая княгиня, и оттого все лицо ее краской измазано под Левина.

У колокольни Ивана Великого садятся обедать. Я отказываюсь. С. Ф. Платонов благодарит меня за отказ и подвигает себе большую миску со столбцами XVII века: они как макароны в сухариках.

«Покажите, — говорю Левину, — книжку мне с надписью».

«Хорошо, после дождика», — и смеется, лицо накрашенное.

. . . .

В Успенском Соборе стоим: много народу.

В Левине узнали, но не показывают виду, только смеются.

«Мне нужно к М. М. Исаеву», — говорит мне Левин.

«Он добрый человек».

«Ну, нет, я у него в кухарках служила!»

*

По постановлению татарских и лезгинских комитетов в городе Закатале, вдовцы и вдовы, имеющие детей и внуков, обязаны вступать в брак.

Три вдовы, отказавшиеся выйти замуж, заключены в хлев и будут содержаться в хлеву, пока не согласятся на брак.

XVIII

— — К. А. Федин страшно растерянный.
К П. Е. Щеголеву взволнованно:
«Зачем этих дураков позвали?»
«Да мы сейчас партию с ними устроим!»
И раскладывают ломберный столик —
В вагоне тесно и неудобно. Еду я, неизвестно куда, и зачем, не знаю, — знаю, долго мне ехать.
К. А. Федин разложил картинки:
«Это — вдоль и поперек».
«А это — сзади наперед».
«А это — вверх и вниз».
Одни палочки, а рисовал Луначарский.
«Луначарского, — говорит Федин, — в Городскую думу выбрали; три миллиона мужского населения, не считая переходного возраста, женщин и детей».
«А Павла Елисеевича, — говорю, — никуда еще не выбрали?»
«А это —» — Федин развернул еще картинку.
Входит старший дворник Антипов Иван Антипович.
«Вы дрова брали?» — говорит мне.
«Нет, — говорю, — не брал».
«А то, может, брали? Да я так спросил на счет билетиков».
«У меня и книжки-то нет! да и зачем же я буду скрывать, что вы!»
«Интеллигенция, — говорит дворник, — интеллигенция против».

Тут какая-то Маша, должно быть от уполномоченного Семенова, показывает мне на стол.

А на столе нарисована рожа и всякие крендели выведены не то иодом, не то тем желтым, чем письма мазали, цензуруя.

«Это дворник, — говорит Маша, — дворник, как придет с дровами, так рисовать».

И входит Бабушка (Брешковская) и с ней М. И. Терещенко: Терещенко — желтый такой весь...

«Вот посмотрите, — Прокофьев развернул ноты, — мое сочинение: «Бабушкины сказки!»

*

Пасмурно и свежо, большой ветер.

Ничего не писалось за весь день, только рисовал.

Оттого, что был дождь, мальчик не пойдет за газетами, так и не узнаем, чем окончилась воскресная демонстрация в Петербурге.

Тучи идут валами —

А птицы все-таки поют и куковала кукушка.

Все утро по двору конь ходит — еще бы, сколько за все эти жаркие дни всяких мух перекусало!

Последнюю неделю я совсем не выхожу из комнаты.

Смотрю в окно — —

Ничего мне не хочется: ни писать, ни читать.

XIX

— — я залез на галерею высочайшего театра: «концерт С. В. Рахманинова».

М. А. Дьяконов говорил мне — «три миллиона ступенек, не считая приступок и заходов» — а я насчитал одних приступок до миллиона.

Места надо занимать с налету, как в игре «в свои соседи».

Я бросился, куда попало, и наскочил на Шаляпина.

«Все предки мои до двенадцатого колена носили фамилию Шаляпиных, а Дьяконов опровергает».

«Что ж говорит Дьяконов?»

«Да ничего не говорит».

Вступился Горький:

«В нашем роду, — сказал А. М., — с незапамятных времен всегда были Пешковы и никаких Горьких. Дело это сухопутное и невооруженным глазом не разобрать».

Но тут П. Е. Щеголев деликатно согнал нас с места и, усевшись поудобнее, развернул газету.

А я попал в Таганку в Глотов переулок. Я должен ходить за царскими детьми и караулить: их пятеро и все они маленькие, лет так семь-восемь, в белом —

«Плохо, думаю, дело, какой же я караульщик!»

А Ида говорит:

«Ничего, мы справимся. У А. А. Архангельского сбоку три ноздри выросло».

XX

— — пришел в театр на оперу и вижу, сидит в первом ряду П. П. Сувчинский, грибы чистит, поганки.

Я с ним поздоровался и сел рядом.

«Сам собирал, — сказал Сувчинский, — по новому способу, в закрытом помещении».

И прохожу я с Шаляпиным к самой рампе.

Поет какая-то певица — сдавленный голос, а сама улыбается.

Вышла другая —

Шаляпин вынул тетрадку и пишет ноты: красным и черным.

«По новому способу, — говорит он, — новая опера: «Рахат-лукум».

И напевает.

Сергей (Ремизов) рассказывает о новой московской квартире: там он и поместит нас.

Мы взяли билеты и поехали на вокзал.

Дорогой заехали в ресторан. Там и актриса — сдавленный голос.

«Нам надо торопиться на поезд».

И прощаюсь.

Актриса поцеловала мне руку.

«Не вытирайте пожалуйста!»
И мы попали в квартиру доктора Срезневского. Приемная в виде фонаря, как в редакции «Новой Жизни», а в оконную раму вделан образ — «Глава Иоанна Предтечи», а под образом сидит художник Егор Нарбут и курит трубку.
Я зачем-то раздеваюсь.
А Нарбут Владимир торопит.
И я опять оделся.
«Выехать очень трудно, — говорит он, — а главное, наш поезд мог давно уж уйти».
Мы идем пешком и не уверены, куда повернуть.
И вдруг видим зеленый забор.
«Святая София, — говорит художник Нарбут, — идем правильно».
Мы очень обрадовались, перешли по рельсам со спуска в гору и идем насыпью.
И вот откуда ни взялся мальчишка-вороватый, жалуется, на меня показывает.
«Этот, — показывает на меня, — бросил коробку с порошком!»
И вижу, народ собирается.
А мальчишка вертится, жалуется, подстрекает:
«Коробку с порошком!»
«Да это, — говорю, — желтая коробка из-под банновских папирос, в ней просыпанный зубной порошок и карлсбадская соль».
Не верят.
И всё тесней окружают меня.
«Коробку с порошком!» — и уж не вертится, а кружится, как волчок, мальчишка.
«Хиба!» — сказал Нарбут.
И поезд тронулся.

*

После дневного дождя, когда ветер расчистил полоску на закате и ожили птицы, в первый раз затрубили жабы на болоте.

Когда я на ночь тушу свет, начинается звон — точно где-то далеко в набат бьют: звонит комар.

XXI

— — мы были в Иерусалиме, потом на Афоне. И решили дома отслужить всенощную. Из Иерусалима у нас свечи, а с Афона забыли. В коридоре стоит Распятие и перед ним красная лампадка, я сам зажег эту лампадку.

Ждем Верховских со всеми детьми.

Борис Пастернак в углу сети чинит.

Думаю, тесно будет!

И очутился в Греции. Там война. И вижу Елизавету Михайловну Терещенко: вся заплаканная, а чему-то радуется.

И вот где-то, не то в Пензе, не то в Устьсысольске, в учительской комнате профессор Я. Я. Никитинский и с ним какие-то, на А. М. Коноплянцева похожие. Идет спор: хотят вычеркнуть Гоголя.

И постановление вынесли: вычеркнуть!

И вижу, Г. В. Вильямс в солдатской шинели, он вышел на балкон, поднял черное знамя и сказал: «Запрещаю выходить на улицу и собираться в собрания!»

«Как же, думаю, всенощную-то служить?»

И вижу: в коридоре Распятие, красная лампадка, и Сергей молится.

Монах рассказывает мне о чудесах афонских, как его на Афоне исправили: был он неспособен по рождению...

Монах при этом двусмысленно подкашливал и подмигивал в угол, где сидит Борис Пастернак и чинит сети.

«Пойдемте, поищем!» — сказал он Пастернаку. И оба пропали.

Народу к службе собирается много: Алексей Толстой, Ф. И. Щеколдин, С. М. Городецкий, Ященко в крылатке, Бердяев, Вышеславцев, Сеземан.

Кто-то, я не вижу, рассказывает, что Сергей помер. «Совсем поседел и помер».

*

Чтобы увидеть домового, надо в Великий четверг понести ему творог на чердак, — так и сделала одна и хоть видеть его не видела, а ощупала-таки: мягкий!

Если он скажет: у-у-у! — это хорошо.

А если: е-е! — это плохо.

Одна баба не велела сор из избы выметать, а велела заметать все в угол. А в Великий четверг, когда осталась одна, надела она белую рубаху и плясала на этом сору два часа — всю всенощную. И стал к ней по ночам прилетать золотой сноп: прилетит и рассыплется!

XXII

— — безулыбная старуха Прасковья Пименова влезла в духовку.

Вошел Клюев: он в огромной соломенной шляпе, в поддевке, но уж без своего серебряного креста: «Страха ради революции».

У нас стоит инструмент: не то это арфа, не то гусли, — и никак не подойдешь.

«Не арфа и не гусли, — объясняет Клюев, — а самопишущее перо Adler, без чернил пишет!»

Мы ходим вокруг инструмента, но потрогать нет никакой возможности.

П. С. Романов и И. В. Жилкин рассматривают материи.

«Революция, — говорит А. С. Рославлев, — это перекоп всей земли; она встряхнет все до основания. Надо разбить все стекла, посшибать с колоколен кресты и по возможности перетасовать все население: первые да будут последними и последние будут первыми. И тогда начнется новая жизнь!»

А я сижу один и со мною Н., только она гораздо меньше, чем на самом деле, она меня слушает, а я ей рассказываю о нашем трудном житье-бытье.

И начинается словесное: все вещи исчезли, одни слова —

«деление состояний души».

И я прохожу от обыденного к истонченной сложнейшей отвлеченности, а в житейском подымаюсь с Земляного вала в Таганку.

*

Проснулся, еще ночь — лунная холодная ночь — и слышу, поют — —

Это была какая-то ведовская песня: женские охрипшие голоса врозь с мужскими.

Я долго лежал, не могу заснуть, все слушаю: голоса скакали, крутились, «катали», как тут говорят, пели купальские песни.

XXIII

— — задано два сочинения: по русскому и по закону Божьему.

Священник Г. Ф. Виноградов от Николы-красный-звон читал молитву с особенными ударениями. Все стояли на коленях. А я отдельно за колоннами и тоже стал на колени. Я думал, что это затеяно больше для рекламы, чтобы побольше было разговору, но И. А. Рязановский, наблюдавший с колонны, показал мне знаками, что это делается по инструкции Тинякова и Исаева.

И я стал в очередь: справиться о моей рукописи. И все не так делаю: те, кто стоял куда сзади, давно меня перегнали, а я топчусь на одном месте и уж нет надежды дойти до редакции.

Вижу падчерицу Розанова Александру Михайловну: она получила ответ — «принята».

Хозяин дома Ф. Ф. Фидлер.

Я подымаюсь по лестнице — лежат на кроватях: Рославлев, Андрусон, Ленский, Годин, Цензор, Муйжель, Яблочков, Свирский, Котылев и Л. Кормчий.

«А, — говорят, — теперь вы у нас будете!»

«С нами! с нами!»

И как черти возятся.

Муйжель насадил себе на хвост Година и Рославлева, как на кол, потряхивает, а те гогочут.

Котылев голый — на голое смокинк, распоряжается.
«С нами! с нами!»
Иду дальше.
П. А. Митропан показывает на руку:
«Тайна знака, — говорит он, — тайный знак».
Иду дальше.
М. А. Кузмин: он росту, как Рославлев, и с длинной черной бородой, ест редиску.
«В школу прапорщиков мне нельзя поступить!» — говорит он.
«А как же Пяст?»
«Тайна знака, — вспоминаю, — тайный знак».
«А вас в Обуховскую больницу положат на испытание».
Спускаюсь вниз —
«По глазам! Зачем же в Обуховскую?»
Виктор (Ремизов) объясняет: он слышал, как надо это делать.
«Надо натощак выпить бутылку коньяку». Но для чего это? — для того ли, чтобы ничего не видеть, или для общего ослабления? — непонятно.
«Да я один не могу выпить бутылку!»
И тихонько спустился под лестницу —
А там И. А. Рязановский.
Этакую — куда выше шкапа такое сделал толстыми кругами и сам вокруг ходит, как кот, доволен —

XXIV

— — примостились на площади в палатках, площадь длинная — Сухаревка.
Пасмурно — мглистое московское утро.
На другом конце площади мучают.
«Мучают, — говорит кто-то, — казнь особенная».
Особенная издевательская казнь: кроме всяких уколов и подколов, — это пустяки! — заставляют еще делать человека такое, что ему особенно трудно и даже противно.

И доводят жертву до последнего отчаяния, и уж несчастный умоляет о смерти.
«Смерть с удовольствием!» — объясняет кто-то.
Или лишат человека света, а потом выведут из погреба и тот свету обрадуется и начнет благодарить.
«Казнь с благодарностью!» — объясняет кто-то.
На другом конце площади мучают.
«Казнь с благословением!»
Отнять у человека все и потом дать ему крупицу, и как за эту крупицу будет тебе благодарен, больше, благословит тебя.
Отнять у человека, и тогда он оценит, какое благо имел он и не ценил.
И самая жарчайшая память и самая глубочайшая благодарность и восторг перед жизнью и благословение смерти — все человеческое рожденное, все голоса полногласно звучали на другом конце площади, где мучали.
Как карандаш чинят, так стругали мясо души человеческой.
И негодуя, и возмущаясь, мы пошли домой.
Воскресенская площадь — пустынно, как ночью, и мглисто, серый московский день.
Вдруг откуда-то городовые, и один ко мне: «У вас будет обыск, — говорит, — ваши рисунки подсмотрели!»
И побежал, и за ним другие.
Я понял так, что они бегут на площадь казни, а после обыска и меня погонят туда же.
Но что же такое мои картинки? Какой же я художник? И если я нарисовал «свободу печати», ведь без подписи никто не поймет, что «изнасилованная птица» и есть свобода печати!
А Совет и лозунги я нарисовал зеленым, и если у меня везде одни рожи, но я только и умею рисовать рожи — рожицы кривые.
«Все равно, — говорит кто-то, — ты не смеешь рисовать и кривые, все равно и твоя участь — площадь. Есть особенная «художественная казнь» —

для писателей — это отрывать и рассеивать, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не оставляя в покое, ни на минуту не давая человеку сосредоточить мысли».

«Но ведь все это я уже раз пережил!» — хочу как-то выпутаться.

«Все равно, не считается. Да и поделом!»

В каком-то коридоре — похоже, как в Аничковом дворце, где выдавали авторские за постановки — Мне предлагают новенькую студенческую шинель.

А есть рваное пожелтелое пальто, лосное от селедок и керосину.

Я взял рваное, нарядился и пошел домой.

Там кровать и около вещи свалены.

«Это Сергея (Ремизова) кровать и вещи его, — говорит кто-то, — скоро ему в дорогу».

И чего-то мне страшно стало, я к двери — ведь это в Сыромятниках, все двери знакомы! — а дверь заперта. Ищу ключ.

Чуть освещено — одна кухонная керосиновая лампа с закоптелым стеклом.

Над дверью широкое стекло.

И вдруг вижу: голые ноги сверху — я уж такое видел раз в госпитале, когда в гроб клали.

И стена разошлась, как провал — —

чуть светает, осеннее утро. Замоскворечье в тумане — Ордынка, Полянка, Болото.

К Благовещенскому собору собирается крестный ход.

— Караул!

— ул!

— ул!

Толчемся в прихожей у Садовского, в комнаты он не приглашает.

Иду в нашу новую квартиру.

Оказалось, из моей комнаты есть ход (стеклянная дверь) прямо на волю.

«Как же, думаю, до сих пор мы и не знали про этот ход!»

Иду за стулом через коридор мимо чужих комнат — все стеклянное. Взял стул и назад. Спускаюсь по лестнице. А за мной какая-то по ступенькам на одной ноге, напевает:
«Вера-Степанова! — Вера-Степанова!»
Обернулся я:
«Гриневич?» — говорю.
«Нет, — смеется, — наша!»
«А знаете, — Садовский от удовольствия потирает руки, — Л. А. за третьего вышла! Пришвин очень обижен: его чести будто бы лишили!»
«Ну, что за пустяки, — говорю, — при чем честь!»

XXV

— — загорелся соседний дом, пожар залили, а у нас все стекла побиты.
Соседи наши немцы, мы зашли к ним — все перевернуто, смотреть жалко.
«Ну, думаю, они поправятся, а мы так и будем с разбитыми окнами!»
И поехал я на автомобиле с А. С. Смирновым — повез кукольную пьесу. Тут, откуда ни возьмись Котылев.
«Я, — говорит, — в каиниты поступил. Теперь революция: всё на свет, всё вверх тормашками!»

XXVI

— — каждый из нас должен нарисовать проект воздушного корабля.
И все мы идем по очереди со своими проектами — у каждого в руке свиток.
И летим —
И все ничего — мы летим и не знаем куда, а надо, как оказывается, непременно в Романов-Борисоглебск.
А когда прилетели в Романов, оказывается, должны еще делать экскурсии в окрестностях.

Лететь вверх — очень тянет вниз, а вниз — ужасно.
Я сидел на самом дне, — весь корабль сделан был из тончайших пластинок, на еще тонейших рельсах, без мотора.
Корабль выплыл над рекой и повис.
Я выглянул на волю: пасмурно.
А кто-то говорит:
«Вот, поди, душа в пятки ушла!»
И куда бы мы ни прилетали, везде опаздываем: поздний час, все закрыто, одни туманы.
Мне дали розовое трико, я должен его передать, а кому, не знаю. И сижу дурак дураком. Навстречу Аверченко.
«Я давно хочу с вами познакомиться, — говорю ему, — у вас есть бесподобные вещи».
«Это не я, — конфузливо отвечает Аверченко, — это Петр Пильский».

XXVII

— — в церкви очень светло не от свечей, а такое устройство.
Служат в левом приделе. Все молитвы читает Вячеслав Иванов. Служба такая: священник задает вопросы, на которые отвечает В. И. Только необыкновенно тоненьким голосом. Потом он выходит на амвон и там читает, и уж потолще. Всё по-русски.
Похожий на Н. М. Минского вертится около столиков как-то само собой, как парикмахеры щелкают ножницами, как кельнера стаканами — само собой.
«Можно достать лаку! — говорит он мне, — и красного и черного».
И я ясно вижу: он весь заросший чернейшим японским волосом и только на лице три белых полоски — на лбу и по щекам.
«Я также знаю, — говорит Н. М. Минский, — верное средство красить волосы».

Входит учитель географии доктор Геровский и предлагает заняться всеобщей гимнастикой.

XXVIII

— — на Васильевском острове на 14 линии в доме Семенова-Тяньшанского есть галерея с садом. И так как очень жарко, я туда на ночь и хожу.

Швейцар сказал мне, что это стоит больших денег, но я ничего не плачу.

Тут живет и Н. К. Рерих. Я заглянул к нему — обедает, много варенья на столе.

Встречаю какого-то маленького красненького, вроде Беленсона.

«Не хотите ли, — говорит, — сняться?»

«Что ж, давайте».

«Я снимаю только нагишом».

И — входят музыканты, а впереди Пришвин с трубой.

«Wetterprophet! (предсказатель погоды), — заявляет о себе Пришвин и, обращаясь к музыкантам, — интернационал!»

XXIX

— — Рошаль и Коллонтай назначили меня и Блока на какую-то театральную должность: не то при Ал. Ил. Зилотти находиться, не то Ал. Зилотти при нас находится — «на усмотрение др. А. Л. Зандера» — так написано в бумаге.

Мы поехали в Киев и с нами Нина Николаевна Сеземан. Начинается всенощная, поет тысячный хор под управлением Кошица:

«Благослови, душе моя, Господа».

Но мы стоим не в церкви, а на Киевском мосту под деревом № 1072.

XXX

— — у меня с живота снялась какая-то шкурка и я почувствовал необыкновенную легкость. Доктор Афонский сказал, что такое случается, как в частной жизни, так и в общественном организме. «И совершается неизбежно и безболезненно».
Я сел на океанский пароход — трубы, страсть и глядеть, и все вычищено, как зеркало. Я ходил по палубе, а когда задумал спуститься в каюту, попал в такое место, откуда только и есть, что прыгай в воду. Пояса и лестницы тут же, все свалено в кучу, но мне кричат:
«Прыгай в воду!»
Я не решался, я стоял, не зная, что делать, видел воду — узкий пролет и воду, зеленоватую и быструю.
И пошел опять на палубу.
Кто-то сказал, что я индеец.
И тотчас выскочили индейцы и окружили меня.
Я иду по улице с Сергеем (Ремизовым), мимо малиновой церковки с синей, золотыми звездами, главой — открытый алтарь, около царских врат священник — «предсказывает!» — волоса у него все в шпильках для завивки. Перед ним какая-то женщина.
Сергей подошел первый, я за ним.
Священник посмотрел на меня, и вижу, недоволен. «Посмотрите, — сказал он, — сколько внешней скорби, а на самом деле индеец!»
Тут я вспомнил, что на пароходе я был индейцем, действительно, стало быть, все знает, и мне стало очень неловко.
И слышу, как говорит он С. П.
«Вот эта настоящая!»
И я понял до отчетливости разницу между «индейцем» и настоящим.
И идем мы с В. В. Розановым к часовне Боголюбской — «к Боголюбской невесты ходят перед венцом!» — а мы по белоснежному-то пути гря-

зищу тащим индейскую, ободранные индейцы, «неблагородные», как говорил Розанов, подразумевая это «индейство».

А далеко еще часовня, и жалко мне Розанова.

«Сердце-то какое черствое, — говорит он, захлебываясь, — хоть немножечко бы теплоты. Давай покурим».

А навстречу черномазый: это и Тиняков, и Пимен Карпов вместе.

«Между нами было одно неприятное недоразумение, которое всегда оставалось. Теперь я сдал экзамен, и вот говорю вам: «теперь я свободен».

XXXI

— — на вышке в левом углу, отгороженный тоненькой щелястой переборкой, рисует А. Я. Головин и еще два художника.

По соседству пожар. А они, не обращая внимания, рисуют. И только когда задымилась стена, они выскочили.

«Что ж это вы, — говорю им, — от вас все видно и вы так поздно спохватились, ведь там же вещи, все теперь сгорит!»

Мы спустились вниз.

Там проходы, как на Николаевском вокзале.

Говорят, что огонь проник и в нижнее помещение.

А внизу мои книги и рукописи, но туда никак не пройти.

Ф. И. Щеколдин с Н. П. Рузским у столика чай пьют и о чем-то рассуждают, и к ним подсаживается А. И. Зилотти.

«Петербург, — говорит Зилотти, — неприступная крепость. И взять его могут только свои».

Я вхожу в нашу комнату: одни обгорелые стены.

«И все мои рукописи пропали, а ведь могли бы спасти! Соседи успели всё вынести!»

В соседней комнате М. Н. Бялковский объясняет что-то по карте П. Е. Щеголеву.

Щеголев слушает с недоверием. И я это ясно

вижу, а Бялковский не догадывается и вовсю старается.

«Петербург неприступная крепость, — слышу, — и взять его нельзя, только... свои».

Входит А. М. Горький, а за ним З. И. Гржебин. Гржебин в ночном колпаке с аистами.

«Это мне из Германии Вейс привез!» — и прихорашивается.

«Педагогическое средство, — говорит Горький, — только немцы такое и могли сочинить».

«А я Алексею Толстому подарил московский колпак вязаный безо всего, жалованный колпак».

Обедать надо, а на столе одни обезьяньи хвосты.

«Доктору Владыкину Менелик, негус абиссинский, подарил, — вспоминаю, — Толстова еще судили за это!»

«А зачем хвост обрезал?!» — говорит Горький.

«Это не Толстой, это все Копельман!» — Гржебин закусил от хвоста кончик, и как над спаржей трудится, а хвост крепкий, не поддается.

«И все погорело, все книги и рукописи, одни хвосты остались!»

А я не знаю, что сказать:

«Вот, — говорю, — Алексей Максимович, у Андрея Белого сидельный хвостик отпал».

А Горький хмурый, только губами ежит; и весь-то в заплатах, а пиджак новенький.

«Надо поговорить с Ладыжниковым: Иван Павлович в курсе дела. Следует издать. Бесплатное приложение».

Прохожу по коридору. Народу, как на вокзале. Заглянул я на себя в зеркало — на голове красный колпак с кисточкой, а лицо заостренное, лисичье, а росту с Пинкевича.

*

Проходили нищие по селу с кобзой, пели старинную думу о Почаеве.

Какой степью повеяло половецкой!

Какой свет — угрские звезды!

— — приценивался к старинной рукописной книге с миниатюрами, украшенной, как Годуновская псалтирь, тончайше золотом, 50 рублей просили. Когда раскроешь книгу, голоса слышатся, сначала урчанье, а потом явственно, и целый хор поет под орган.

Купил книгу Я. П. Гребенщиков, я ему 25 рублей дал.

И два раза я возвращался к Я. Г. Новожилову, все мне хотелось себе какую-нибудь такую книгу купить, но сколько ни рылся, ничего нет, одни сочинения Шебуева.

Идем по Москве, я хочу показать Сергею (Ремизову) церковь Николы-в-Толмачах.

На заборах «Заем свободы». И не можем никак найти.

«Как же так, думаю, не можем найти!»

И сижу я в комнате, вот уж 35 дней сижу в заточении.

И слышу, зовет кто-то.

И под самым окном как прыгнет через забор — —

И вижу Неглинный проезд, под венецианским балдахином весь в серебре с шитыми львами идет Б. К. Зайцев, полные горсти семечек, сам кланяется, налево-направо кожуркой поплевывает.

«Удивительная вещь, — говорит И. А. Рязановский (он с процессией, на голове его белая чалма и цветы в руках), — видел я во сне, вышел из меня кал, а девать его некуда, завернул я в газетную бумагу, ну, никакого-то признака, и понес, зашел за памятник Сусанину. А Петровна и говорит: «Боюсь я, Ванечка, с тебя еще пошлину возьмут!»

«Это к деньгам, — говорю, — что кал во сне, что грязь видеть — к деньгам».

А народ идет и идет — и все на Красную площадь.

Проехал верхом на слоне Жилкин, проскакал на пожарной кишке летчик Василий Каменский, про-

тащили на аписах Брюсова, в золотом башлыке проплыл Вишняк с Кожебаткиным — черные птицы, хвосты рублены. Пронесли на пурпуре Куприна, за Куприным Бунина. А вот и Шестов — ведут дружка! — тридцать-и-пять арапов ведут под руки.

«Ей, — брычат, — чай так чай!»

И опять слышу, зовет кто-то.

*

Неизвестной дамой пущен был слух:

«Разъезжает по Киеву в собственном автомобиле начальник штаба Вильгельма!»

Толпа поверила. И арестовали какого-то борзенского помещика с кабаном.

XXXIII

— — В. А. Сувчинская с кулаками наскочила на меня: отдай ей ручку!

«Да вы, — говорю, — мне подарить хотели!»

«Мало ли что хотела!»

«Вера Александровна, как же это...»

«Да так, отдавайте!»

Не дает и слова сказать.

А лежала на столе какая-то сломанная, огрызок.

«Ладно, — говорю, — сейчас!»

А сам этот огрызок бумагой и прикрыл.

«Не завертывайте!»

А я уж завернул и подаю —

И вижу, Лариса Рейснер, хочу сосчитать деньги — у меня их вот какая пачка!

Донес я до самой двери и около двери, где сидит ночной сторож, и, как это случилось, не знаю, потерял.

«Не положил ли я вам случайно в карман?» — спрашиваю сторожа.

*

Сон был прерывен и тревожен; понаехали гости и один ночевал по соседству. Поздно лег, а заснул и того позже.

Получены газеты с описанием «июльского» Петербурга: все живо представил себе.

XXXIV

— — Иванов-Разумник написал какую-то статью, статья очень понравилась Шестову. Я об этом рассказываю Иванову-Разумнику. Мы в Москве, в лавке, я жду лимона. А мне дают брусничной эссенции.

«Погнали на войну! — кричат, — всех! всех! всех!»

«Разумник Васильевич, — говорю, — спасайся кто может!»

Да скорей из лавки на улицу.

А по улице и всё верхом на конях гимназисты.

XXXV

— — приехал к нам из Петербурга Н. Н. Суханов с докладом. Он очень помятый и встрепанный, все на часы смотрит: боится опоздать.

Нарядили меня в студенческий мундир и заставили играть, но я не могу суфлера слушать и все свое. Наконец, надо же уходить.

И слышу аплодисменты.

Вышел, раскланялся и прохожу по коридору.

Это баня, а содержит Е. А. Ляцкий.

«Самая гигиеничная, — объясняет Ляцкий, — П. П. Муратов всякую субботу посещает, лучшие итальянские мастера зафиксировали в памятниках искусства, не баня, а золотая баня».

Я занял номер, и еще номер для Д. Д. Бурлюка.

И вдруг выходит — Господи! — один зуб — один зуб посередке.

*

Разговор зашел о захватах: что все началось с захвата — революция и есть захват! — и что вот Курлушкина Бог наказал.

А я подумал: о захватах вообще лучше помалкивать, кто не грешен? — и о наказании Божьем не судить человека, ведь завтра придет и твой черед и ты будешь наказан, нет, о наказании, как и о всякой беде, надо принимать сердцем, не злорадствуя, а жалея.

XXXVI

— — обедали с Ю. К. Балтрушайтисом на Курском вокзале.

Тут был и Гершензон и Рачинский и Бердяев и Шестов — весь столп московский. А потом попали в какой-то дом — и полезли наверх, уж лезли-лезли, едва ноги идут, а поднялись на какую высоту — не знаю, очень высоко! а спустились сразу.

А нам говорят:

«Вы попали в публичный дом!»

Вот тебе и раз!

МОСКВА

I

А знаете что: все это неправда или не вся — и если говорить по самой правде —

этот вихрь и есть то, в чем я только и могу жить.

Только мне так мало сил отпущено и я просто по верному житейскому чутью отбрыкиваюсь от всякого «движения»:

ведь, если бы я, как все люди, пошел бы ходить, у меня оборвались бы жилы!

Да, мне не надо никакой этой тишины и ровности, никакого благополучия.

Когда я попадаю в провинциальный город, я это всем существом моим чувствую.

И если бы какой благожелатель поселил меня в вечную санаторию, чтобы я и пальцем не пошевельнул, и все мне будет — и чай и кофе вовремя, и на почту не надо ходить заказные письма сдавать —

или такое тихое местечко нашлось бы на земле где-нибудь на Тихом Океане — ein ruhiges Plätzchen für brennende Cigarren — или —

и было бы это все равно, как если бы приговорили меня к медленной, но верной смерти: я начал бы слоняться, отек и, наконец, заснул бы.

Слава Богу, беда всей нашей жизни всегда спасала меня!

*

Поздно вечером приехали в Чернигов.

От вокзала через весь бесконечный мост шли пешком до самой «Москвы».

Темь — лесная. Ночь хмурая. Шаршавые кусты по дороге. И птицы. Мне казалось, там в беззвездной ночи — черные.

Точно раз уж во сне я видел такую дорогу!

Волоча огромные сундуки, обгоняли безликие черные. Редкие экипажи сквозь — шарахающиеся пешеходы. Одинокие внезапные фонари вдруг — бездонные канавы в репее.

Я нес старый лопнувший чемодан. И нетрудная ноша тяготила: развязавшийся ремень путался под ногами, путал наше беспутье.

«Зачем, зачем это все? Зачем в такую ночь? И идти?»

Так бы вот остановился или проснулся бы!

Да, в детстве я во сне видел такую дорогу. И не раз снилось. И это был самый мучительный, самый изводящий из снов.

С этим сном соединялся у меня конец — конец света, конец жизни, «светопреставление»:

> Дорога, беззвездная ночь — солнце померкло, луна — прекратила свет! — и только демонские внезапные глаза, как эти — — — огни одиноких экипажей.
>
> «Зачем, зачем это все? Зачем был этот мир и вот конец?».

И не только во сне, на всех гранях моей жизни это чувство беззвездной дороги — беспутья прожигало болью:

> и тогда в Москве перед Каменщиками — первой моей тюрьмой —
>
> и тогда на этапе — от Пензы до Устьсысольска —
>
> и потом — потом это будет в августе 21-го года в скотском вагоне от Петербурга до Нарвы, когда поедем из России.
>
> «Зачем, зачем это все? Зачем в такую ночь — ?»

Дорога от вокзала через мост до «Москвы» показалась бесконечной, а по остроте на всю жизнь.

II

Поутру у Спаса — в древнейшей русской церкви Мстислава Тмутараканского.

Служба кончилась. Только кучка богомольцев — женщин в белом в белых обмотках: старые они или не такие уж, не разобрать — ветром и солнцем обожженные лица и руки.

У мощей молился старик священник.

Так молятся у кого ни души на земле и некому сказать — а ведь у всякого есть, что непременно сказать или о чем попросить —

Принял я в сердце и эту молитву.

Мы вышли.

Белые стены собора, белые, как мазанки. А кругом зелень — тополя. Шумят — шепчут.

Есть тишина около храмов. И даже если и камушка не останется, все разрушит время — я это чувствовал в заповедных рощах, где когда-то стояло капище с идолами — такая вот тишина и только шумит роща —

Принял я в сердце и эту тайную тишину тайн.

Пошли по городу.

В лавках пусто: где распродано, а где одни подскребки.

— Война съела!

— Война! война! война!

Одна эта жалоба — единственный припев.

Поглазели на Троицкую горку — там первая на Руси стоит церковь — Ильинская в честь Громовника Ильи: Святослав построил.

И дальше.

В Казанском саду, где поет по весне соловей, ни души.

Пасмурно, пустынно —

или это от пасмури пустынно?
или война все съела?
или гроза идет и вот притаились — революция?

А хорошо, когда гроза идет — не думаю, чтобы из-

менялся человек: каким зародишься, таким и помрешь. Знаю, и самая грозная из грозных — революция — взвих и встряс — ничего не изменит, но я также знаю, что без грозы пропад. И хочу, чтобы нет-нет, да, я хочу, чтобы ударило — ударило крепко так, чтобы взвизгнуть, схватиться за голову хоть однажды, иначе наше замельчавшее, псивое житье отравит всякую жизнь.

Да, хорошо, когда идет гроза — —

Да, это так.

Повела меня С. П. на Гончую улицу.

Вот этот серенький дом — тут она родилась. Дом как нежилой, а в окнах цветы.

С Гончей по пескам вышли к Гимназии.

Здесь она училась — — какая неприступная казенная крепость!

и неужели кончилось все это?
или одно кончили, другое придумают?
если бы в человеке можно было перекувырнуть
это — самое — !

Постояли, поглазели на гимназию.

И сколько вспомнилось! И странно, все-то и самое нелегкое, а как легко!

И должно быть, из подали последней, а в последнюю минуту все как-то так вспомнится — и нелегкое совсем легко! а потому — потому что больно уж жизнь-то сама хороша!

Да, это так.

«В гимназии, — рассказывала С. П., — не позволяли книг из частной библиотеки брать, только из гимназической можно. А мы все-таки брали и читали тайком. Захотелось прочитать роман Ясинского «Вечный праздник»: слышали, из черниговской жизни. Пошли в библиотеку Идлис, спрашиваем: «Вечный праздник Максима Белинского»? Полез библиотекарь на полках искать. А одна гимназистка очень любила иностранные слова — «Максим Белинский, говорит, это псевдоним!» А библиотекарь на книгу-то как раз и напал: — «Нет, говорит, его зовут Иероним!»

Ну, видел я гимназию, надо посмотреть и запретное — библиотеку.

Отыскали библиотеку — библиотека Идлис! — на полках книги, а Псевдонима уже нет, другой.

И пошли в «Москву».

*

— — Ф. К. Сологуб и Н. Г. Чернявский сидят в столовой — у нас только и есть одна теплая комната, эта столовая. Входит Керенский.

Один раз я его видел в редакции «Сирин» на Пушкинской, а он все такой же и так же говорит очень громко — если сравнить с Ивановым-Разумником, просто кричит.

«Александр Федорович, — говорю, — вы теперь всё можете! Есть у меня три желания: первое — часы с кукушкой, а второе — дудочку-кукушку, такие до войны в Карлсбаде продавались, и третье — воздушный яблочный пирог!»

«Дудочку-кукушку я смогу!» — сказал Керенский.

*

Сны наползали и пропадали: пропал Сологуб, пропал Чернявский, пропал Керенский, и я очутился не в столовой — этой единственной нашей комнате, а в подвале.

*

— — в одном углу В. Н. Ивойлов (Княжнин) на корточках караулит мышь, а на другом конце в углу на корточках же Зоргенфрей (Зор) караулит Ивойлова.

В подвал набираются незнакомые.

«Где это мы находимся?» — спрашиваю.

«Точно сам не знаешь: в Кузнечном переулке».

«Почему же в Кузнечном?»

«Как почему?»

И упрекают меня, что я не желаю рассказывать о китайцах.

А я, ей-Богу же, о китайцах ровно ничего не знаю.

«Вы, — говорю, — спутали: это проф. В. М. Алексеев китаец».

И снимаю с себя одежду за одеждой — кожи, шкуры, дерюги, шкурки.

И вдруг откуда-то наш хозяин М. Д. Семенов-Тяньшанский:

«Отопления нет! — язык высунул, — ни дров, ни угля. Я буду освещать дом водой!»

III

К ночи приехали в Круты.

В тесный узкоколейный вагон неосвещенный, тыча фонарем в лицо, солдаты —

проверка документов!

Мне всегда чего-то страшно, когда я отдаю свой паспорт — или от неуверенности и путаницы, напуганный путаницей? или эти ружья, против которых безоружному всегда неладно? — а тут и темь и теснота и фонарь.

И еще поразило меня: что-то было от стрелецкой Москвы.

И этой смертобойной стариной открылся наш путь на Москву.

И опять тополя — чего шепчут? — черные в черное в звездах.

Попрощался я с тополями.

И на вокзал.

А там — нигде так война не прет, как на вокзалах! — загромождено, завалено, загажено, зашмыгано, а в буфете всё моментально расхватывают — война и — революция, прущая войной против войны.

Билеты выдали, а в поезд не попасть.

А надо! — и вкарабкались.

Так и на крыше вот ездят: надо и полезешь!

Из «Международного» нас выпроводили сейчас же — в первом классе перед уборной в проходе стали.

И так до рассвета.

В Бахмаче протиснулись в вагон. И уж тут в проходе прошел толкливый тягучий день и бесконечная бессонная ночь до самой Москвы.

Голова от боли раскалывалась.

*

Разговоры о войне, Керенском, большевиках.

Частятся «хам» и «сволочь».

Сначала я о своем думаю, но разговоры затесняют свое.

И одно только свое остается: что вот эти «не хамы и не сволочь» — они лежали и день и сейчас лежат! Это всё военные петербургские и с ними какая-то барышня, знакомая их знакомых, они, пресытившись, не знают уж как еще и лечь, чтобы совсем как дома, а С. П. дремлет на картонке в проходе.

. . . .

— люди совсем не изменились. Такое на свете делается, так все кругом угрожает, им угрожает! а они, как и раньше, болтают всякий вздор, и никакого чувства у них нет, что вот надвигается что-то страшное, и неизвестно, чем все это кончится.

— — а кончится плохо. И пусть будет плохо!

— — легкость — легкость поразительная —

— — им надо потыкать носом, тогда они, может, еще и поймут, а так — ничего!

И голоса замыкаются — много голосов — в цепь.

— — гибнет Россия, чувствую —

— — а какая она будет, не знаю —

— — и не на ком остановить глаза, люди пропали —

— — кто пропал? И разве было что — ?

— — республику еще никто не установил, а республиканские войска бегут —

— — убийства, насилия, грабежи, все есть, все, все. А еще и похуже будет —

— — тут напрасно одних большевиков обвиняют — впрочем, всегда кого-нибудь обвиняют! — а если подумать: ведь жизнь-то одна, мало кому охота помирать. А есть и такие, в прежнее время и пошли бы, а теперь —

— — промышленная жизнь остановилась, голод. Такая русская свобода не дорога —

— — на власть революционной демократии посягнуло не безумие, а самое трезвое рассуждение —

— — слушаться-то кого нынче? Никто никого не признает. Коли бы правда была — !

— — война — война — война —

— — и доконают — !

— — да уж хуже того, что есть, едва ли было когда —

— — неумелость, недуманье —

— — на скачках встречала в Красном —

— — сволочь — хамы —

— — а ведь вот палкой опять загнали в окопы —

— — был порядок да сплыл. Темные силы —

— — ну за это еще будет: повоюют —

— — всю Россию, как шаром огненным, покатят. Много кому придется расплачиваться. Жалко, кто так пропадет —

— — и никто ни в чем не уверен —

— — в большевиках —

И вдруг на «большевиках» все обрывается и один голос жалкий жалующийся тянет бесконечно:

— — ф — о — р — м — у — л — е — в — и — ч — —

*

> — — высокий берег — там наверху деревья. Дорога вся изрыта водой. Ямы от водоворота. Где были огороды, точно граблями проведено. Углы клунь снесены водой. Плетни валяются. Озимое так все вымыло, точно и не сеяли. Овраги — —
>
> «Как поступить с вашей квартирой, — говорит Формулевич (он же и Степпун), — передать ли ее частным лицам или общественному учреждению?»

«А где же мы жить-то будем?»

«Воздержание от еды — единственное средство».

И Степпун пропал в овраге.

А я полез на берег.

IV

В Москву приехали заполдень.

Путь нам в Таганку — взяли извозчика: 14 рублей!

А что если бы кто сказал тогда, что в 20-м году осенью за такой же конец заплатим не 14 рублей, а десять тысяч!

Было смутное чувство пропада, но не представляли себе, до чего можно дойти.

И так во всем.

Папирос купил: что раньше стоило 20 штук 18 копеек — говорят, «почти даром»: 35 копеек!

И ясно было одно: это — война, расплата за войну, которую *наперекор* продолжали.

И терпелив же человек —

И не в большевиках тут — — если бы не было большевиков, их надо было бы выдумать, так что ли? —

> чтобы прекратить, наконец, эту кровавую железную игру «до победного конца».

Такое услышал я с первых же московских дней от терпеливейших и самых смирных в Таганке.

— Ты большевик! — говорили мне, припоминая мое прошлое.

И это говорили все, кто меня знал еще по Москве, и говорилось с надеждой и сочувствием.

Сначала я разъяснял, что это было в те допотопные времена, когда —

— Когда еще Владимир Ильич не отделился, и была единая и неделимая социал-демократическая рабочая партия «с.-д.».

В Петербурге ходил рассказ, как в начале революции, когда было принято причислять всех к какой-нибудь партии и А. Н. Бенуа попал в большевики за участие в «Новой Жизни», К. А. Сомов будто бы полюбопытствовал, кто же он-то теперь?

«Ты, Костя, — ответил Бенуа, — меньшевик-интернационалист».

Вспомнив Сомова, я уже самостоятельно стал подбирать себе кличку помудренее.

— Не большевик я, а националист-интернационалист...

Но это никого не убедило.

И я остался большевиком, что и ясно и вразумительно: с большевиком соединялось тогда «долой войну», а это так всем хотелось в той Таганке, куда я попал.

V

В Таганке мы остановились у моего брата Виктора.

Я думал расспросить его, как там на войне с революцией — но его в Москве не оказалось: где-то на войне корпел.

*

Мой брат Виктор — из запасных прапорщик, до войны служил в Банке. За войну два года просидел в окопах. В последнее наше свидание — прошлой весной — много чего порассказал мне. И из его слов я уже тогда понял, что скоро все кончится —

и кончится не просто!

Человек он тихий, вытишинный в Банке, — я не раз слышал от него и много горького о его службе, — и, слушая его рассказы о войне, я тогда подумал:

«А когда кончится война и он вернется в Банк, как он примет свою службу — так ли покорно и смолчно, как раньше?»

И мне было ясно: если прорвало такого терпеливого и безобидного и, стало быть, войне конец, то, кончив войну, такие вот жить по-старому не согласятся —

и там, где они молчали, ответят,
и где гнулись, не смолчат,
и где уступали, пойдут против.

Нянька Кондевна рассказывала о войне, как с офицерами солдаты расправляются. Про это я уже слышал и читал.

— Да ведь он же не настоящий офицер!

— Ну, на это не посмотрят! В. М. гóриться нечего, он с ними, как свой, его не тронут.

Да — не тронули!

С войны он вернулся в Москву и в начале 20-го года — в самый тягчайший год страды — уже красноармейцем погиб где-то «под Колчаком».

Что-то в нем было похожее на Льва Шестова.

Не в философии — никакой философией он не занимался — он знал бухгалтерию и еще в училище (мы вместе учились) умел решить любую задачу, и самые сложные вычисления, не как я на бумажке, в уме делал.

Нет, с Шестовым у него было сходство в житейском.

В редкие наши свидания он учил меня уму-разуму,

желая помочь мне в моей кавардашной жизни, а мне всегда было чего-то чуднó: или потому, что советы — «ум-разум» и от самого доброго желания, а имели очень мало — я чувствовал — житейского.

Шестову, занявшему большое место в литературе, удавалось, но Виктору в его подчиненном положении банковского служащего — ничего.

И единственно, что он раз сделал, это когда меня в допотопные времена гнали по этапу через Москву: он пробрался к арестантскому вагону и передал мне карандашей, перьев и ручек, добытых, как говорилось у нас в 19-20-м году, «через преступление».

«Смеяться тут нечего, — говорил, бывало, — хочешь помочь человеку, а он дурака валяет: вздумал писать деловые письма с завитушками, а никто ведь ничего не понимает! А с воскресенским дьяконом я тебе очень советую познакомиться».

Дьякон, конечно, мне незачем, но у него-то, по каким-то непонятным мне соображениям житейским, связывалось с этим знакомством полезное для меня во всех отношениях.

И еще: как-то он написал мне — вообще-то он не писал ничего, кроме поздравительных писем (святцы знал, как бухгалтерию!) — «что если будет уж очень тяжело, чтобы я имел в виду, угол для меня всегда у него найдется!»

Нянька Кондевна о своем рассказывала, как ее муж Устин помирал:

> как мучился, приобщить бы! а он язык высунул (колдун был!); ему на шею росный ладан повесили, а они (черти) его крючьями стащили с лавки и под печку, все кости гремят — — и тут память у нее отошла.

— Дети, без хлеба, три вязанки соломы — одной пришлось гóриться. Ну, а теперь слава Богу: корова у помещика в саду пасется, теперь ничего.

Ночью была гроза настоящая: сначала гром гремел, потом как запустит дождь — —

*

> — — иду по дорожке в саду. Вижу, череп лежит. Нагнулся: череп. Взял его в руки. Иду и разбираю —

и в траву откидываю кости. И когда разобрал весь, говорят мне: «Это ваш череп».

«Как же так, ведь я жив!»

«Череп ваш».

И я подумал:

«Мой череп — удивительное дело, при жизни! надо сберечь».

И опять я иду, сбираю кости, чтобы череп составить — свой.

VI

В прежние годы проездом в Петербург мы останавливались в Москве не в Таганке, а у другого моего брата Сергея.

Но вот уже несколько лет у него не было «угла»: он попал в большую беду и два года ходил по Москве без должности, и «угол» у него был только для ночлега. С войны, когда стали забирать на войну, ему, как «негодному», удалось получить место сначала на Товарной станции на тяжелую работу, потом в управлении на Домниковской улице. Там же поблизости в Сокольниках он и комнату снимал.

Прямо со службы пешком пришел он в Таганку.

Он рассказывал о Москве — о революции, о няньке Кондевне, которая в революцию просила городовова ей показать, «чтобы дать ему хоть подзатыльник», — о моем ученике городовом, который хотя и не выдержал экзамена на околодочного, зато медали все выслужил, какие только полагались для ношения, и вот очутившийся на старости лет — лучше бы и медалей не носить! — и о своей службе на Домниковской: с революции ему повышение!

— Теперь уже не то.

Да, не то: он одет лучше — не так, как тогда! и смотрел не так — прямей.

От революции в Москве разговор перешел просто к Москве — всегдашнее московское.

— Нет, ты не любишь Москвы, — сказал он мне, — какая это любовь: жить постоянно в Петербурге! Вот я — я без Москвы просто жить не мог бы!

Да — это была настоящая любовь.

В начале 20-го года — в самую тягчайшую страду — он все-таки решился уехать из Москвы: поехал к своей дочери в Мелитополь, дорогой захворал тифом и помер.

Этот брат мой, ни на кого из нас не похожий, с детства писал стихи, сначала «пушкинские», потом «футуристические», и никогда ничего не печатал; хороший голос был у него, одно время учился в Филармонии, но актером не сделался; вообще никем не сделался — просто был везде (а он должен был поступить на службу) случайным, «временным», а когда захотел во что бы то ни стало сделаться, как все, из этого ровно ничего не вышло. Хуже того, совсем плохо — без должности-то ходил по Москве два года, вы это понимаете, имея «угол» только для ночлега! С детства гимназистом он начал курить и с папиросой мог часами сидеть у окна, мечтая. Он приезжал ко мне во все мои ссылки: в Пензу, в Устьсысольск, в Вологду. А в пензенскую тюрьму он передал мне т ы с я ч у штук апельсин, — по-московски!

Да, без Москвы он не мог жить.

*

Я пошел его провожать к Новоспасскому монастырю — оттуда трамвай в Сокольники.

Обыкновенно он провожал меня в Петербург, а на этот раз мне пришлось — в первый раз в жизни он получил отпуск на две недели и вот собрался уехать —

«подышать вольным воздухом!»

Трамваи ходили редко, пришлось ждать.

Опять заговорили о Москве — революции и о прошлом.

И вспомнив, должно быть, свои тягчайшие годы «без должности», он вспомнил и еще что-то и вдруг точно обрадовался:

— Ведь ты ж большевик! — сказал он, — как же по-твоему?

Но я не успел объяснить: подошел трамвай.

Так и простились.

Было 8 часов — последний трамвай в Сокольники в 8-мь — я нарочно медленно пошел домой: на Воронцовской

можно было у одной старообрядческой «чернички» получить молоко «в 8 часов».

А приди я в 8, молока мне все равно не дали б — часы по военному времени подведены на час! — потому что грех: грех давать, раз признаю я новые, а не старые «коровьи», по которым часам корову доят, доили и будут доить «во веки веков».

«Большевик!»

Я шел мимо трактира — это к Спасской заставе — трактир третьего разряда «Гроб» —

И вдруг спохватился:

«Такое время — может, никогда не увидимся. Вот посидели бы в этом «Гробу» и я разъяснил бы все это — какой большевик — —»

И я еще тише пошел.

На Новоспасском часы как стояли.

VII

В Москву мы приезжали, как на кладбище.

Я ходил по старым местам, о которых только у меня память. И я видел, как с каждым годом остается все меньше этих крестов.

За войну особенно много исчезло, за революцию еще больше — и это как-то само собой.

На углу Землянки и Николоямской не было пивной, даже никакого признака не осталось — в других местах с запрещением переделались в чайные.

— Тут была пивная Алексея Ивановича Горшкова? — спросил я.

И никто ничего не знает.

Какой-то догадался:

— Это не тут, это у бань: Горшков! как же, Горшкова знаем.

А я знал твердо, что у бань и пивной-то никакой не было.

Около бань, проходя через мост, заглянул в Яузу —
и Яуза как будто помелела.

А кругом пустырь застроен, от огородов и травинки не осталось, и стройка заслонила Андрониев монастырь —
может, и колокола уже не слышно?

Тоже и городовоьскую деревянную будку снесли — каменный стоит красный дом.

А вот и ворота — —

Обыкновенно мы ходили к матери в Сыромятники с братом, этот раз и последний — одни.

Сергей предупреждал, что в Сыромятниках очень встревожены моим приездом: с годами забытое всплыло теперь с революцией мое прошлое в виде пугалы «большевика», который сделал революцию, да то ли еще наделает! — смутно всеми чувствовалось, что идет и непременно придет самая-то настоящая гроза.

Сергей смеялся, будто не велено мне и чаю давать, если приду. (Мать жила у родственников и хоть совсем отдельно, но, как больная, сама не могла распоряжаться.) Я не хотел верить — отвык за эти годы, но, припомнив всякие мелочи из стародавнего московского житья, был ко всему готов.

Мать узнала меня.

— Вы родились в февральскую революцию (1848 г.) и вторую дождались февральскую, и еще дождетесь.

И стал ей рассказывать всякие небылицы, чтобы развеселить: о китайцах (в Москве о китайцах много говорилось еще в канун революции), о республиках, объявлявшихся в ту пору самым неожиданным образом, о «сыромятнинской» республике —

— Ты всегда вот такое скажешь...

Она не знала, верить или не верить, и что правда и что так.

Она не могла уж ходить, а сидела. И за год, мне показалось, еще больше сгорбилась и стала совсем маленькой.

Она вдруг заволновалась:

отчего так долго не несут чаю?

Прислуга смущенно что-то ответила:

не то с самоваром неладно, не то самовар не готов.

— Не надо мне чаю! — сказал я, вспомнив: «не велено чаю давать!»

Мать уж не одна была.

И я сразу понял, что появилась гостья из-за меня. И у меня пропала всякая выдумка, всякий разговор — развеселить. И я замолчал.

А она заплакала большими слезами без всяких слов.

*

Тяжелая жизнь у нее была, тягчайшая. — Я это еще в детстве понял, только поздно уж. И потому виню себя: и мой есть камень! Я всегда помню ее с книгой — первый глаз мой к книге отсюда. И мое пристрастие к немецкому — с детства я слышал о Германии и немецкие слова: мать училась в немецкой школе и могла «думать» по-немецки. Ни мои мечты, выражаемые мною резко, ни мой «большевизм», ни моя ссылка ничуть не смутили ее. Поздно уж понял я — еще в детстве — что мы, дети, сломили ее жизнь и я, последний, «нежеланный», последней каплей переполнил меру и вот человек сломился.

В 1919 году в феврале она померла. Похоронили ее мои братья. А я и на похороны не мог приехать — это совпало с моим арестом, когда были арестованы Р. В. Иванов-Разумник, Блок, Петров-Водкин, А. Штейнберг и М. К. Лемке. Выпущенный с Гороховой, я только мог написать (не знаю, дошло ли письмо!) — я просил положить за меня три поклона:

первый — что уж своим появлением на свет переполнил я горе;
второй — что поздно понял: за свой камень;
и третий — за то, что жизнь дала мне, а лучше жизни ничего нет на свете.

*

Я шел по Москве в Кремль — в Успенский собор ко всенощной. Шел под звон колоколов — вся Москва звонила: завтра Ильин день.

Мне было чего-то необыкновенно.

И как часто со мною бывает, оттого ли, что привык писать вслух, я все время мысленно разговаривал.

«Революция или чай пить?»

«Чай пить...»

«А вот на ж тебе: нет тебе чаю!»

«Революция взяла верх!»

Я шел по старой дороге — мимо дома Вогау, разгромленного в канун революции (а какой дом! — одни стены остались), мимо Ивановского монастыря — пристанища хлыстов, где когда-то «радел» первый московский сыщик Иван Осипов — Ванька Каин, Хитровкой — пристанища

московской голытьбы, к Варварским воротам мимо часовни Боголюбской и дальше Варваркой мимо палат Романовых с таинственным провалом Зарядья, Старыми рядами — на Красную площадь мимо Лобного места к Спасским воротам с медведями на башне —

VIII

В Успенском соборе служба началась.

На стихирах пели «знаменный» догматик — из веков повеяло: какой строй и строгость! Потом Лития. Я ее особенно ждал. Столповое пение басами.

Это уже до жути вековое, точно все поднялись — и Петр и Алексей и Иона и Филипп — и вот тянут с соборянами на басах в унисон:

— Господи помилуй — Господи помилуй —

У ящика за свечами стоял знакомый, вместе учились.

Он тоже меня заметил и улыбнулся: он тоже любил это и чувствовал и строй и строгость.

После Литии я вышел.

Вышел и знакомый — он занимал в Москве большое место; в Кремле был как дома.

На Иване Великом звонили второй звон — века выговаривали на колоколах.

— Революцию мы встретили звоном. Ты звонаря-то нашего знаешь? — и он назвал не то Гутман, не то Гросман, — ну, и хватил — во все!

Выходя из Собора, я заметил около двери на стене заборную «гнездовую» надпись, и теперь, когда возвращались в Собор, я показал знакомому.

И вместо ответа он такую загнул «матовую» крепь, даже надпись — мне показалось — сама собой стерлась, как и не бывало.

Повел меня в алтарь. И хоть я не раз видел всякие святыни, опять посмотрел и всё потрогал. В алтаре он меня знакомил — раньше, когда случалось бывать, никогда.

Он точно чему-то обрадовался.

— Большевик! — прибавлял он к моему имени, — это у нас большевик.

Из алтаря повел в приделы, где расчищались фрески.

Там постояли — рассказал он мне о работах и о всяких трудностях казенных.

— Если все ладно пойдет, работы уж не те будут. Теперь не то!

Вышли, стали с народом впереди.

— Надо непременно снять с икон ризы. Все равно и так сдерут. А без риз даже лучше.

Уже третий звон звонили.

Колокола врывались в «Хвалите» — «Хвалите имя Господне!» —

колокольным «красным» звоном в лад.

Знакомый тихонько рассказывал о старине, о долгой службе под Успеньев день, о столповом распеве — о такой русской старине, которую для гордости же нашей «своим русским добром» беречь надо, как Рублевские иконы.

— Ты как думаешь, много еще чего будет?

— Такое! — и он рукой махнул, — надо ко всему быть готову, — подумал, — чего ж бояться-то? А убьют, так убьют.

После великого славословия я простился.

Но домой не пошел, а остался на площади: я все смотрел, вглядывался в ночь.

Всенощная кончилась — темными стаями расходился народ.

Только в Архангельском Соборе горели огни — неугасимые лампады.

А там на Иване Великом огромный колокол — глазатый пустыми окнами.

А там — звезды, как осенние.

И вдруг я понял, что все это — — прошло —

эта Россия — —

*

Широка раздольная Русь, родина моя,

принявшая много нужды, много страсти, — вспомянуть невозможно! — вижу тебя: оставляешь свет жизни, в огне поверженная.

Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом — громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.
Были казни, была и милость.
Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.
Где ныне подвиг? где жертва?
Гарь и гик —
Было унижение, была и победа.
Безумный ездок! хочешь за море прыгнуть из желтых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень, — над Невою, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне и в явь.
Брат мой безумный — несчастлив час! — твоя Россия загибла.
Я кукушкой кукую в опустелом лесу, где гниет палый лист: Россия моя загибла.
Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка, — поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: родного брата выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпелось братнино иноверное иго.
Была русская вера искони изначальная.
Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за русскую веру в срубах сжигали себя.
Где ты, родная твердыня, «Последняя Русь»?
Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.
Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?
Или нет больше на Руси — «Последней Руси», бесстрашных вольных костров?
Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он в проклятом грехе любил свою мать — Россию, сложил неизбывную песню:
у Троицы у Сергия было под Москвою...
на костер пойдешь — —

*

Широка раздольная Русь, вижу твой краснозвонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная

девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья, а не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон.

Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира — всей земли?

Один слышу гик —

Ты горишь — запылала Русь! — головни летят.

А до века было так: было уверено — стоишь и стоять тебе, широкая и раздольная, неколебимою во всей нужде, во всех страстях.

И покрой твое тело короста шелудивая, ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над своими лесами, над ковылевой степью, взбульливою.

Так пошло, так думали, такая крепла вера в тебя.

Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать земной рай, жены и мужи, праведные в своей любви к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая свое дело, сея вражду, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.

Ныне в сердцевине подточилась Русь.

Вожди слепые, что вы наделали?

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули.

И вот слышу гик —

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься!

Русь моя, русская земля, родина, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена — горишь!

*

О моя обреченная родина, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя царская багряница упала с твоих плеч.

За какой грех или за какую смертную вину?

За то ли, что свою клятву сломала, как гнилую трость, и потеряла последнюю веру, или за кровь,

пролитую на братских полях, или за кривду — открытое сердце не раз на крик кричало на всю Русь: «нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, когда пинают и глумятся над твоей святыней, ты и ныне безгласна.

Безумное молчание твоих верных сынов вопиет к Богу, как смертный грех.

О, моя поверженная родина, ты руки простираешь — —

Или тебя посетил гнев Божий — Бог послал на тебя свой меч?

О, моя бессчастная родина, твоя беда, твое разорение, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду — не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят твою душу.

О, моя горемычная родина, мать моя — униженная!

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным — —

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и твою неправду.

«Я не русский, нет правды на русской земле!»

Но теперь — нет, я не оставлю тебя и в грехе твоем, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя, — я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На твои молчаливые звезды я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе драгоценные уборы, чтобы стала ты

светлее и радостней. Из твоих же самоцветных камней, из жемчугов — слов твоих, я низал белую рясну на твою нежную грудь.

О, родина моя, наделенная жестокой милостью ради чистоты твоего сердца, поверженная лежишь ты на зеленой мураве, вижу тебя, в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались. Я затеплю лампаду моей страдной веры, буду долгими ночами трудными слушать твой голос, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех, навсегда со мной останешься в моем сердце.

Ты канешь на дно светлая.

О, родина моя обреченная: Богом покаранная — Богом посещенная!

Сотрут твое имя, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет? Я душу сохраню мою русскую с верой в твою страдную правду, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое — речь твоя будут жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесеньи.

*

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? — Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия.

Опостылела бездельность людская, похвальба, залетное пустое слово.

Скорбь моя беспредельная.

И время пропало, нет его, кончилось.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло.

И из бездны подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда над его головой с семью лучами, и страшен он.
«Погибни во имя мое!»
И нет спасения свыше.
И тянется замкнутая слепая душа, немыми руками тянется в беспредельность — —
И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы.
Ничто не избежит гибели.
О, если бы избежать ее — — !
Каждый сам в одиночку несет бремя своего проклятия — души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.
Тьма вверху и внизу.
И свилось небо, как свиток.
И нету Бога.
Скрылся Он в свитке со звездами и солнцем и луною.
Черная бездна разверзлась вверху и внизу.
И дьявол потерял смысл своего бытия, повис на осине Иуды.
А все зачем-то еще живут.
И чем громче кричит человек, тем страшнее ему.
Как дети они, потерявшие мать.
И не понимают той скорби, которая дана им.
Скоро настанет последний час, скоро пробьет —
Без четверти двенадцать!
Слышите? Нет ничего, ни Кремля, ни России — ровь и гладь.
Приходи и строй! Приходи, кому охота, и делай свое дело, — воздвигай новую Россию на месте горелом.
А про старое, про бывалое — забудь.
Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего не найти.
Единый конец без конца.

*

Русский народ, что ты сделал?
Искал свое счастье — —

Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз.
Поверил — —
Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся.
Землю ты свою забыл колыбельную.
Где Россия твоя?
Пустое место.
И где твоя совесть, где мудрость, где твой крест?
Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины моей, молился «святой Руси».
Теперь — — несу кару, жалок, нищ и наг.
Не смею глаз поднять!
«Господи, что я сделал!»
И одно утешение, одна у меня надежда: буду терпеливо нести бремя дней, очищу сердце и ум и, если суждено, восстану в Светлый день.
Русский народ, настанет Светлый день.
Слышишь храп коня?
Безумный ездок! хочет прыгнуть за море из желтых туманов, — он сокрушил старую Русь, он подымет и новую из пропада.
Слышу трепет крыльев над головой.
Это новая Русь —
Русский народ! настанет Светлый день!

*

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях, стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность, в черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть.
Поймите, жизнь наша тянется через силу.
Остановитесь же, вымойте руки, — они в крови, и лицо, — оно в дыму пороха!
Земля ушла, отодвинулась.
Земля уходит — —
Лечу в запредельности.
На трех китах жила земля. «Был беспорядок, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали».
Все перепуталось.

Лечу в запредельности.

Отказаться от осязаемой жизни, пуститься в воздушный мир, кто это может? И остается упасть червем и ползти.

Обгоняю аэропланы —

Стук мотора стучит в ушах.

Закукурекал бы, да головы нет: давно оттяпана!

Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле, это проклятие.

И это проклятие — удел мой.

*

Все разорено, пусто место, остался стол — во весь человечий рост велик сделан.

Обнаглелые жадно с гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь — прощальный, поминальный пирог.

И рвут, и глотают, и давятся.

И с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли. И норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую

русскую землю.

В-е-е-е-ч-н-а-я п-а-а-м-я-т-ь.

IX

Путь из Москвы в Ессентуки был так же неуверен, как из Чернигова в Москву.

Все растормошено: станции, вокзальная публика, пассажиры.

Не революция — «революция везде прошла мирно», война, ее хвост, выворачивающий нутрь России — развал, распад, раздробь.

И в вагоне не поймешь, о чем больше: о войне или революции.

В Ессентуки приехали с большим опозданием и, оказывается, сейчас же надо билеты обратно —

а то уж на несколько недель все распроданы!

Эта новость куда важнее, чем Государственное Сове-

щание и выступление Корнилова, и с этими обратными билетами много связано и хлопот и страхов.

И в санатории, как и везде, та же растормошенность и то же «по военному времени».

Революция вылезла забастовкой: забастовка «служащего персонала», а во время Корниловского выступления — в «шпионстве», когда, пользуясь удобным, сводили счеты.

Прошлым летом в санатории жил В. Г. Короленко. Ни тормошащая война, ни забастовка не изгладили о нем память. И через год много об этом говорилось и почему-то ждали, что и опять приедет.

— Вот если бы был Короленко, этого не допустили бы! — часто слышишь.

На видном месте висело несколько групп, где был снят Короленко и с ним все, кто только успел записаться у фотографа.

*

Прошлым летом В. Г. Короленко жил в санатории д-ра Зернова, и дорожка к нему была протоптана: не было, кажется, ни одного из приезжих, кто бы не прошелся по ней — если и не к самому Короленке, то по крайней мере к дому так посмотреть, не пройдет ли, не выглянет ли?

Те, кто жил в доме по соседству с Короленкой, были счастливейшими людьми и столь же счастливыми считались все, кому удавалось в столовой сидеть за одним столом с Короленкой.

С Короленкой мог познакомиться всякий и очень просто: или просто подойти, когда он шел к источникам, или через Митропана.

П. А. Митропан, молодой прапорщик, тогда начинающий писатель, лечился в Ессентуках: он из Полтавы, близко знал Короленку, и Короленко любил его: с удивительно чистыми глазами, кроткий, никакой не военный, но и не расхлябанный, крепкий и в плечах и в слове.

С Митропаном я сейчас же познакомился, а с Короленкой я только здоровался.

Разговаривать так, как с Митропаном, я не мог: мало ли когда глупость какую скажешь или чего сморозишь, с Митропаном все сойдет, а с Короленкой так неловко.

Мне Короленко представлялся, да так оно и на самом

деле было, — очень занятым человеком всякими тяжелыми и трудными делами других людей и не безразлично, а с сердцем — «с желанием» и с думой о каждом таком деле.

Таких людей мало и редки, и бережно подходишь к таким.

Я не знаю, должно быть, это и всегда так было, но, начиная с войны, особенно стало резко выступать, а уж в революцию совсем выперло: самые вопиющие поступки, самые позорные дела стали объяснять, а тем самым и успокаиваться, ничего не значащими словами вроде «по тактическим соображениям», или «военное время», или «революция», или «с массовой точки зрения».

И то самое, что без «тактического соображения», без «военного времени», без «массовой точки зрения» просто называлось убийством, предательством, подлостью, тут сходило за обыкновенное и принятое и нисколько не возмутительное, о чем можно было говорить легко и даже с улыбкой.

И такое с войной стало входить в самую сердцевину человеческого.

И когда я думал о Короленке после встреч в столовой, на дорожке и у воды, как он смотрит и отзывается, мне ясно представлялось, насколько чужд он всему этому — и вот в чем отличие его, и потому-то дорожка к старому зданию санатории протоптана и потому же столько счастливых людей ходит в Ессентуках.

Я думаю, не потому только, что Короленко «знаменитый» русский писатель, так всех тянуло хоть пройтись по одной с ним дорожке; конечно, и такие были, но именно вот это — это отличие: его встреча и его проводы «человека», с которым сталкивала судьба —

> человек есть человек и при всяких «соображениях» и при всяких стихийных явлениях и при каждой точке зрения остается человеком, который может не только есть и пить, но которому больно и мучается.

У нас случилось несчастье: умерла мать С. П. Телеграмму переслали из Петербурга. С. П. была в отчаянии.

А ехать все равно невозможно: и поздно и по такому затору (военное время!) в неделю не доберешься, да и С. П. лежала больная.

Наша соседка учительница Надежда Павловна из всех самая счастливая: она нежданно-негаданно встретила, как сама выражалась, «светлую личность» и могла разговаривать, а кроме Короленки в той же санатории жил Ив. П. Чехов, и она, как и многие, смотрела на него, как на Антона Павловича.

Надежда Павловна, хорошая барышня, рассказала Короленке. И Короленко пришел к нам.

Конечно, и по его мнению, ехать невозможно было.

Обыкновенными словами говорил он об этом и так еще рассказал о деревне, как он когда-то косил.

И от его слов стало покойно и мирно.

В тяжелые минуты даже и без слов один взгляд человека может многое сделать для души!

Потом, когда С. П. оправилась, она часто встречалась с Короленкой.

Я купил красного зайца: необыкновенно — красный! а ус черный, глаза — пуговицы черные и без хвоста. Заяц изумительный: «он смотрел и все понимал». И я не расставался с этим зайцем и всем его показывал, теребил за ус и повертывал.

— Владимир Галактионович, — не удержался я, — какой чудесный заяц, погладьте!

Короленко взял моего зайца и совсем ласково спросил меня, смотря еще ласковее:

— Вы убеждены, что неодушевленные предметы чувствуют?

Для меня в ту минуту было это так несомненно, я так носился с этим зайцем, и на такое у меня просто не было слова ответить.

Короленко уехал в Полтаву еще в теплые дни.

А мы, сколько нас оставалось, в первые холодные, развозя всякий по своим местам память о необыкновенном человеке, в душе и слове которого столько тепла и света — покоя и мира.

Потом в Германии однажды летом в Breitbrunn'е на Ammersee посчастливилось нам встретить Маргариту Моргенштерн и познакомиться с Michael Bauer'ом, редчайшим человеком — большого света!

Что-то родственное с Короленкой, только я так бы сказал: у Короленки не было «слова», а у Бауера такое «слово», которое различает и именует.

У меня нет **такого слова**, я чего-то не знаю и только чувствую, и потому, говоря так, я только намекаю, чтобы как-то сохранить образ человека.

Встретить *человека* — это великое счастье!

*

И вот самые важные дела — «билеты обратно» и «ванну достать» (по военному времени и революции это не так просто!), и всякие события — «Государственное совещание», Корнилов, пропадали, когда начинал кто вспоминать о прошлом счастливом лете — о Короленке, который тут вот жил в старом здании, а обедал за вот этим самым столом, и все его видели и могли с ним разговаривать, а вон и карточка, где сидит он с Ив. П. Чеховым, а кругом все, кто успел записаться у фотографа.

А фотограф, восчувствовав, кого ему посчастливилось снять, вспоминая, хватался за голову: почему не снял больше карточек и во всех видах и положениях — а то нет ни у источников, ни около ванн, ни в аллее на прогулке.

— Скажите мне, что я дурак! — в отчаянии говорил фотограф, развесив и со вне и внутри своей фотографии карточки, где все мы были с Короленкой и Ив. П. Чеховым.

В рассказах всякий старался: повторял слова и сказанные Короленкой и не сказанные Короленкой.

Да, великое счастье встретиться с человеком!

И это на всю жизнь.

X

Из газет:

«Я повторяю, что внутренние враги именно капиталисты, большие и малые, и разные торговцы».

«Я предлагаю съезду на местах произвести баллотировку, и каждый, на кого падет жребий, должен убить одного буржуя».

«Я готов даже сейчас убить одного буржуя!»

*

На состоявшемся митинге было решено: убить трех служащих, а остальных избить хорошенько и прогнать сквозь строй.

*

Минаева нарядили в женскую юбку, на голову надели мешок, а в руки дали лопату с надписью: «За тридцать серебренников продал свободу!» В таком виде до поздней ночи водили несчастного по селу, заставляя кричать:

«Я член продовольственной управы за тридцать серебренников продал Временное правительство!»

*

Монах Иннокентий поселился в саду Липовецкого монастыря, сад окрестил «раем», а себя Христом: «он на белом коне поедет на фронт и прекратит войну!»

XI

— Извините, пожалуйста, вы господин Короленко?

— Не-ет, какой я Короленко!

— А мне сказали, тут Короленко!

— Бы-ыл, только это в прошлом году.

— Экая досада... А может, в Пятигорске?

Я посоветовал написать в Полтаву, если какое дело: Короленко ответит.

Так и разговорились: оказалось, служащий от Перлова, приехал лечиться — сколько лет собирался и вот с революцией выбрался.

Помню, в Пензе был один, днем переряживался он китайцем и китайцем стоял в магазине для привлечения публики, и ни слова по-русски, и заговорит только после службы, как оденется опять в «гражданское» платье.

Я обрадовался встрече — что-то мне напомнило того пензенского китайца! — а с таким разговаривать не соскучишься, он свое дело знает, и стал я расспрашивать, какие бывают чаи и в чем какая разница и всякие названия, что такое «тюльпан» и что такое «роза», и почему «любительский», почему обертки разные, — разноцветные, и что все это значит?

Объясняя мне всякие чаи — сорта и названия (все дело в названии!), он нет-нет да чего-то спохватится.

— Тут одно дельце, — не вытерпел, наконец, и вынул из кармана лоскуток бумаги, — приятель в Кисловодске, т. е. не то что приятель, хотел помочь человеку через господина Короленка, и такой вышел ералаш. Можно вам оставить для просмотра? Человек-то хороший, а сомневается. Что-нибудь исправить или как думаете?

*

«Я нижеподписавшийся московский купец варшавской фирмы «Свет» по взаимному согласию с Марией Степановной решили жить гражданским браком, а потому я обязуюсь выполнить следующие условия:

1. Во время пребывания на курорте в Ессентуках выдать ей за месяц с 10-го августа по 10-е сентября пятьсот (500) рублей.

2. Когда переедем в Москву, я буду выдавать, пока не будем жить вместе, по 500 руб. в месяц.

3. В обеспечение ее дальнейшего существования я обязуюсь за каждый прожитый год со мной выдавать ей или вносить на ее имя в Государственный или Частный Банк по 5.000 руб. (пять тысяч рублей), начиная считать первым годом с 1 августа 1917 г. по 1 авг. 1918 год, если между нами не произойдет разногласия.

4. Если Мария Степановна пожелает взять своих двух дочерей, я согласен и обязуюсь дать им полное содержание и воспитание, а также обеспечить в будущем.

5. В случае моей смерти я завещаю ей, как гражданской жене, ту часть моего состояния, какая полагается по закону гражданской жене.

6. Марья Степановна со своей стороны обязуется быть любящей и верной гражданской женой, а кроме того обещает она, пока не будем жить вместе, приходить ко мне каждый день.

Подпись.

Я нижеподписавшаяся на все вышеуказанные условия согласна и обязуюсь всё исполнять, как честная гражданская жена».

XII

Проходил медведчик с медведем — медведь Шурка — с медведем и с обезьяной.

Пел медведчик медвежью песню — песней и начиналось.

А медведь показывал —

как кисловодские кухарки ходят,
как барышни танцуют.

Это я все с балкона видел в соседнем саду.

*

Иду ужинать в столовую: медведчик, вижу — медведчик с медведем и обезьянка — обезьянка идет — старается по-медвежьи — —

А сзади ребятишки:

и страшно и любопытно,
и хочется поближе и медведь съест!

Я пошел с ребятишками сзади.

Впереди медведчик с медведем, за медведем по-медвежьи обезьянка, а за обезьянкой нас ватага:

и страшно и тянет!

*

Не видно ни Бештау, ни Верблюда, ни Быка. Я больше всех люблю Верблюда. Дождь.

В Пятигорск за билетами.

Очередь — хвост или, как в Германии, die Schlange — змей.

Прошлись по дорожкам Лермонтова, заглянули во все уголки, где жил он, и туда, где была дуэль.

И опять в хвост.

Я думал о Лермонтове — о лермонтовской «прозе»: игольчатой, светящейся демонской иглой.

Подходит девочка-нянька и с ней две совсем маленькие:

— Запишите!

— А вам куда ехать?

— Никуда.

— Зачем же вас записывать?

— Запишите!

— Да куда же?

— На материю.

И только я ей сочувствую — смеются! —

— Керенский убит, Корнилов диктатор.

— Диктатор Каледин, а Корнилов объявлен изменником: а за то, что солдатам обещал в неделю кончить войну, отдал Ригу.

Сегодня Ивана Постного — «Пляс Иродиады»!

— Если в этот день поститься, голова никогда не будет болеть.

— В Бологове путь закрыт.

— Посредники: Алексеев и Милюков.

Ну слава Богу, билеты в Петербург есть.

И я в тысячный раз говорю себе: «никогда никуда!»

*

К вечеру прояснилось — билеты тут! — ожил Бык и Верблюд. Я и Быка люблю! А там в тумане — дымящийся демонский «мохнатый» Машук.

Я шел по аллее к лавкам купить табаку.

Меня остановила маленькая девочка.

— Стань, — сказала она, — я тебя сниму.

Я посмотрел в ее лукавые глазенки.

— Ну, снимай! — говорю.

Она вынула коробочку, пальчиком там повела, как фотограф делает.

— Готово! — и подает виноградный листок: — вот ваша карточка!

Навстречу шли солдаты: впереди в штатском — вели офицера.

Видно: очень взволнован, молодой еще; загар в лицо бросился.

— Смотрите, солдаты! А я думала, их уже нет! — крикнула вдогонку какая-то простая женщина.

А я вспомнил из газеты — Церетели:

«Несознательные элементы армии!»

И пошел дальше за солдатами — билет тут и виноградный листик!

Точное есть по-немецки слово «verhaften» — задержать» — что-то близкое с нашим «схватить».

И мне неспокойно стало — чего-то неловко.

«Революция — контрреволюция, verhaften — схватить...»

XIII

В горячие дни — а теперь опять все горит — я чувствую, идет со свежим утром, с туманами, а ночами вся-то звездная —

осень.

И в мое окно —

кремнистый путь блестит —

*

Сегодня во время ужина обходил столы какой-то офицер из санатории, собирал на больного учителя. И этот учитель с ним же — докторское свидетельство показывал: куда офицер, туда и учитель.

Горло завязано и так смотрит — ну, так как-то — и до чего так эта беда унижает!

Смотреть больно.

Так вот оно что это значит —

кремнистый путь блестит —

*

— — мы живем в Зимнем дворце, там же и Иванов-Разумник. У меня в комнате замечательный ковер — красный пушистый бобрик. Карташев читает свою драму о кофее — «карташовский кофе»: первый кофе — настоящий, а когда воды подольют — «карташовский». Бывшие царские лакеи обносят кофеем. Отхлебнул я — кофе карташовский! Карташев читает драму. В конце первого акта появляются ведьмы. И на самом деле они явились, я это почувствовал. А Карташев стал раздеваться: на нем холщовые штаны, он их снял через голову. И пропал. Пропал и Иванов-Разумник. И хозяин Александр Федорович Керенский, который зашел было пьесу послушать. И я остался один. И вот они стали заходить кругом — я не шевелился, как скован, ждал, — и одна за другой стали они вокруг. Я видел только лица — какие, ой, какие — беспощадные! Если бы я протянул руку, моя рука отсохла бы. Они смотрели — буравчики буравили из стеклянных глаз. А сила их была неподъемная.

Какие слова? какое чувство — — ну что вы? что вы хотите?

. . . .

И я открыл глаза — луна! — в окно —
кремнистый путь блестит —

XIV

И опять дорога — Ессентуки — Москва — Петербург — и еще неувереннее и суматошнее.

Поезд подолгу стоит в пути — «топлива нет». А перед нами было крушение: товарный сошел с рельсов.

— По инерции, — объяснил кондуктор и чего-то задумался, — нет, Василий Иванович, этот номер не пройдет.

И долго повторял, добродушно укорял Василия Ивановича.

— Не Василий Иванович, — поправил какой-то, — а Александр Федорович!

— Александр Федорович, — обрадовался кондуктор, — Александр Федорович *Керенский.*

По дороге вдогонку, как шлепки, солдаты:

— Бей буржуев!

А в вагоне путаница: кто с плацкартой, кто без, не разобрать.

Одну ночь я проспал наверху, «схвостившись» (по-современному: «сконтактовавшись») с соседом, а другую вот сижу на тычке.

*

— — личное оскорбление, — тянул какой-то жулик, — совесть не позволяет —

— — стыдно и грех, за рукав тащут: не поступишь в союз, тебя мешком закроют —

— — готовы шкуру содрать —

— — а у меня кружку украли: поставил греть у источника, хватился, нет, украли —

— — речами Керенского кричит бессилие —

— — накачнется на шею, в острог попадешь —

— — солдаты шли из-под палки, а когда палку взяли, они и разбежались —

— — не все —

— — Маша без души осталась из-за штиблетов: украли! —

— — хоть в бутылку полезай, деваться некуда —

— — озоровали... свобода! свобода для пьянства, лежи на боку! —

— — я мальчик молоденький, пятьдесят лет у хозяина служил, без Бога не до порога —

— — от одеколону дурман на полчаса —

— — ноги у него обвязаны вроде шпиона, — солдатский депутат —

— — нет, это хорошая барыня —

— — когда лучше было: при царе или теперь? —

— — и тогда и теперь —

— — нет, не так —

— — нет, теперь лучше: я возьму у тебя мешок и мне ничего не сделают, а при царе в суд —

— — русское царство затеснится, русское слово уйдет под спуд, русским людям одно останется — молитва —

— — я больше всего люблю танцы: как они красят самого обыкновенного человека. А оттого, что в движении полет: хоть чуточку от земли —

— — это как бы умер любимый человек. И вот эти дни прожил я, как у постели умирающего. Сердце мое было расколено. А сегодня я понял и принял судьбу, как очищающую кару —

— — да, или умереть, или принять —

— — а она совсем с толку сбилась. Говорит уж сама с собой, и не с собой, а с тряпками. «С людьми, говорит, уже не могу, так с тряпочками!» —

— — вот вам бескровная революция —

— — или умереть, или принять —

— — на трех китах жила земля. Был беспорядок, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали. Все перепуталось —

— — приехал батюшка молебен служить. Всегда служил на Троицу. А тут встретили неодобрительно. А двое парней — беглые с войны — взяли да и выкололи глаза Николе: «Этакую икону, — говорят, — самим можно написать, это дело человеческих рук!» Была засуха да

вдруг ливень и с градом. Возвращались парни из деревни, перекувырнуло лодку, они и утонули. И ехала с ними девчонка, ту волной к ракитам прибило, одна она и уцелела: нашли полумертвую — оглохла и ослепла —

— — а девчонку-то за что? —

— — —

Я заглянул в окно — Москва! — а ничего не видать: дождь.

XV

На вокзале в Петербурге встретил нас Иван Сергеевич и Любовь Исааковна: И. С. по обыкновению молча, а Любовь Исааковна и удивленно (как могли мы назад приехать, когда все уезжают и она сама уже на отъезде!) и встревоженно:

— Курица 5 рублей!

«Курица 5 рублей!» — дело не в курице, и в мирное-то время, когда она стоила 75 копеек, когда мы ее покупали! дело в рублях.

И не в пяти рублях, а в ста пятидесяти!

Дома нас ожидало много неприятных и неожиданного и всё с рублями: сейчас же явился старший дворник — платить за квартиру, но главное-то эти полтораста...

> Перед отъездом загодя я дал их знакомому, чтобы тот внес в срок, а знакомый-то, и такой всегда точный, а тут за делами, должно быть, забыл и уехал, и вот надо опять платить — требуют! — и нечем.

Посмотрел я на свою комнату: рыжие тараканы.

Без нас наползли: плохо! Это нищета ползет.

А все-таки дома, это я так почувствовал в первый же день.

Тяжело там — хотел сказать «по заграницам!» — тяжело по «градам и весям», где всем есть до тебя дело и никому до тебя.

Осенний ясный день.

И только жуткий вихрь носится над Петербургом.

XVI

Который день я с утра выхожу из дому —
надо достать этих денег!

Не знаю, что и делается на свете, не успеваю прочитать газету.

Заглянул случайно: «Демократическое совещание» — и запомнилось из слов:

«Да здравствует бессмертная революция!»

А надо достать денег — 150 рублей! И еще объясниться, что нет таких денег, но что непременно заплачу.

И все «бегут» из Петербурга: кого пугает революция («что еще будет!»), кого голод («с продовольственным вопросом не справятся!»), кого немцы («взяли Ригу, возьмут и Петербург!»), а с немцами — аэропланы! И не знаю уж, кого просить.

— Да здравствует «бессмертная» революция!

XVII

Сегодня в первый раз с нашего приезда затопил я печку.

Иван Сергеевич из дому получил посылку: масло, мед и еще что-то, не помню.

Когда я стоял у плиты, — пасмурный день, моросит с утра, — я почувствовал вдруг, как мне — как через голову мою черное что-то прошло, точно черное облако.

Сразу же схватился — это было глубочайшее чувство.

И прошло — и только осталось: чего-то мне тоскливо.

И я подумал, это от всех дней беготни, объяснений, просьб, отказа, от этих дней, когда с утра выходил из дому, чтобы просить.

Вернулась домой С. П. — она тоже все эти дни ходила — сели обедать.

«Иван Сергеевич посылку получил!» — а мне все равно.

Пасмурный вечер. Ко всенощной зазвонили. Завтра воскресенье.

Хотели к Федору Ивановичу пройти — это Ф. И. Щеколдин нас выручил: неловко нам было обращаться к нему, ведь он и те 150 пред нашим отъездом дал! — Ф. И.

на Кронверкском, где Горький. Боюсь: сыро, дождик, темно.

И не пошли.

Попили чаю одни.

Позаниматься бы, а ничего не делается. И на месте не сидится.

И стал я оклеивать стену «серебряной» бумагой — из-под шеколада мне собирали, много у меня ее было.

И так до глубокой ночи — и спать не хочется.

Лег все-таки —

XVIII

— — распростертый крестом, брошен лежал я на великом поле во тьме кромешной, на родной земле. Тело мое было огромадно, грузно, неподвижно; руки мои — как от Москвы до Петербурга.

Скованный тяжестью своего поверженного тела, я лежал колодой, один, покинут, в чистом поле на русской земле; и были ноги мои, как от гремучей Онеги до тихого Дона.

Огненная повязка туго — венчик подорожный — «Святый Боже» — туго крепким обручем повивал мой лоб; и сквозь кости пламя жигучим языком жгло мне мозг.

И вот стужа невыносимая, холод невозможный — в звездах в крещенские ночи, помню, ударит, бывало, мороз, — такой вот мороз, но беззвездный, во тьме кромешной заледенил мне сердце. И я весь так и затрясся, так всем своим скованным, своим брошенным телом, немилосердно — ув-в-в! — стучу зубами.

И слышу из тьмы бесприютной холодной ночи старый дедов голос:

«Собери-ка, сынок, кости матери нашей, бессчастной России!»

А я трясусь в злой стуже, а жгучий огненный венчик жжет мне мозг, я — кость от кости, плоть от плоти матери нашей, бессчастной Руси. И принимаюсь я загребать кости со всего великого поля в одну груду. А их так много, костей разных, гору нагоришь.

Загребаю я кости, спешу, и знаю, одному никак невозможно, и также знаю, что надо, а не соберу — всё пропало, знаю, собрать надо всё вместе и вспрыснуть живой водой, и тогда оживут кости и снова станет, подымется моя бессчастная, покаранная Русь.

«Собирай, сынок, потрудись!» — слышу опять дедов старый голос.

Подняться бы и все бы, кажется, справил, да сил больше нет, — из последних, Господи, крестом распростерт лежу в чистом поле, и нет сил подняться.

Загребаю, спешу, загребаю — кость к кости, а конца не вижу. Совсем обессилел, не могу уж. Пластом лежу неподвижно.

На минуту стужа отпустила меня и только тут горит.

Открыл я глаза, смотрю — —

А на холмике — так церковка, а ко мне холмик — старик, вижу, старый, волоса под ветром растрепались, оборван весь, а глаза запали, горемычные.

Да это Никола наш, Никола Милостивый! — узнаю я, — вышел, стоит горемычный над поверженной бессчастной Русью.

Тут какие-то парни лезут на холмик, гогочут.

И один говорит другому:

«Павел, дай ему в морду!»

И я вижу — парни лезут, гогочут — а он горемычно стоит, как не видит, и вдруг выпрямился весь и глаза загорелись гневом.

А Павел — — Павел поплевал на кулак, пригнулся — —

*

«Жажду! Жажду!»

Я сполз с кровати, поставил на спиртовку чайник — воды себе скипячу — утолить мою лютую жажду.

И едва дождался. Казалось, часы прошли, пока не закипело.

Стакан за стаканом — глотаю большими глотками — огненные куски!

Неутолима жажда моя.

«Жажду! Жажду!»

Дополз я до умывальника, открыл кран, полил в пригоршню холодной воды — и вода в моих руках обратилась в пламя.

Пламенем я умылся.

«Жажду! Жажду!»

Слышу, говорят:

— Уксусом натереть надо.

А я, валясь на кровать, как последней милости прошу:

— Уксусу бы мне выпить!

И тут опять стужа напала на меня и затрясла немилосердно, — и я трясусь всем моим измученным телом, немилосердно — ув-в-в! — стучу зубами.

*

Я вскочил с кровати — спиртовка пылала: отверстие, куда вливают спирт, забыли закрыть, и вот с двух концов пылало.

И не духом, руками я погасил пламя.

Мои руки, как пламя.

Кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

И в смертной тоске я подбираюсь весь, свернулся в комок: стужа хлещет меня, а голова, как спиртовка, подожжена с концов, пылает, — вот разорвет.

— Приехал из Москвы скопец Иван Дмитриевич, — говорит сосед матрос Микитов, — на Москве украли царь-колокол!

«Украли царь-колокол?» — повторяю, и обида жжет, — «когда зазвонит царь-колокол, восстанут живые и мертвые!» Вот тебе и восстанут! А вот возьмет дворник метлу хорошую и сметет всех воров с русской земли, как сохлые листья, сметет в помойку».

И опять кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

А Иванов-Разумник с пудовым портфелем, как бесноватый из Симонова монастыря.

— Это вихрь! на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир. И у кого есть крылья — —

— Уж народ-то больно дик, ничего не поделаешь! — горюет Шишков, простуженный.

Тут и Замятин, вижу, в сереньком, только что из Англии вернулся, еще на человека похож, осторожно прислушивается.

И Пришвин с электрическим самоваром в руках.

— Михаил Михайлович, — прошу, — дайте ваш электрический самовар на одну ночь, спирт у нас кончился.

— Я вам молока пришлю. Два рубля бутылка.

А сам крепко держит самовар, не выпустит.

— У Ивана Алексеевича халтура поправляется, — смеется Микитов, — продал два вагона кофею, а кофий — из голубиного помета.

«Да, как сохлые листья в помойку! — повторяю я, и обида душит меня, — погубили Россию! Последние головни горят. И осталось русское сердце — сапогом его! — и слово — да черта с этим словом, пиши и говори по-тарабарски! Кара? Нет, это суд Божий. Царь-колокол воры украли!»

И опять кричу:

— Не берите руками горящие предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно: мое слово воры украли!

И я лежу, свернувшись в горящий комок — последняя головня.

А из соседней комнаты слышу: это «дебренский старец» Иван Александрович о России — о чем же еще? — о России, ведь о ней все думы.

— У России душу вынули.

И слова его, как гвозди.

И вдруг я увидел — и мне в огне моем стало покойней, — в ногах у меня по стене длинная повисла змея:
голова змеева, а рот человечий!
внимательно так смотрит, надолго повисла, крепко.
И я понял: — что страж мой, и будет со мной неизменно.
И за шкапом показались две морды:
уши ослиные, борода козья, а глаза умные песьи — кланяются.
И из-за железной печки мелькает и вьется — —
И я понял: мне не подняться.

*

Вижу нашу тесную прихожую — —
Входит Микитов, огромный, черный, в черной балтийской матроске:
«Я три ночи не спал, — места себе не нахожу, так и побежал бы. И бежал бы, пока хватит духу. Нет, Россия не может погибнуть! Земля дремучая — по кустам, по ельнику прячется дремучая сила, молчит. Только ее имени не знаю. И как назвать? Иду я по Невскому, руки горят — —»
«Иван Сергеевич, — говорю, — посмотрите: прогнивает от неправды человеческое сердце. Кровь — три года нож и пуля! — кровь и грязь — все хватком, все нахрапом, «не обманешь, не купишь!» и нет милостыни мира, только для себя, — озверело наше сердце. Бессовестье душит Россию. Гневом дремучего сердца обличите вы эту неправду, эту ложь, кровавую мару».
А он ничего. Вышел и дверь прихлопнул.
И вижу, опять входит, несет кожаную подушку в белой наволочке и в угол ее, потом принес другую, а потом третью и всё в угол, одну на другую.
Белые подушки поднимаются в углу, как белая крышка гроба.
Белую крышку гроба вижу в углу нашей тесной прихожей.

*

Лежу в огне, горю — стужа больше не трясет — стреляет в ухо, горю.

Горю в огне. Кашель душит, — рвет глотку. Душит ржавь.

И не могу остановиться, не могу остановить мысли: они — как вихрь.

И я выговариваю все мои мысли: боюсь, разорвет.

Я говорю, говорю, говорю и не знаю, чего говорю, я выговариваю мысли: они как вихрь. Стой! передохнул и опять: не то разорвет, — говорю, говорю, говорю.

Я жду чего-то.

Приходят в дом, слышу, стучат дверью, но разговора не слышу, как онемели. Все затаилось, ждут чего-то.

За стеной, в соседней квартире, ребенок плачет, — помню, по весне появился на свет, — плачет и плачет. Потом девчонка-нянька, укачивая, поет песню. И мне чего-то жалко, жду чего-то и чей-то голос зовет:

дам тебе я на дорогу —

Лежу в огне, горю. Стреляет в ухо. Душит ржавь. Горю.

Мой неизменный страж — змея.

Змея по стене в ногах.

Седой дым ползет. За дымом комнату не узнаю. Просторная и высокая, не та. Седой дым ползет по потолку.

«Просто, — говорю, — белая рубаха, кипарисовый сольвычегодский крест, дощатый гроб».

И чей-то голос зовет:

дам тебе я на дорогу —

И чего-то жду, и жалко мне.

Сторожит змея —

горько раскрыта пасть.

И ходят по углам в дыму, прячутся, крылят —

один, как на ходулях, маленький, пузатый,

торчит пупок.

И опять говорю, говорю, говорю — мои мысли, как вихрь: разорвет — говорю, говорю, говорю.

*

Поздно вечером приехал доктор.

Первый раз вижу. (Афонский — он меня знает — приедет только завтра.) А этого позвали, я понимаю: очень со мной беспокойно.

Доктор слушал, нырял, выстукивал.

— Крупозное воспаление. Левое легкое — на почве алкоголизма.

Тут я как очнулся: всю вижу, комнату, только сквозь дым.

— Я не пью!

— На почве алкоголизма.

— — —

Закрыл крепко глаза и покорился.

А в доме совсем затихло, и по соседству тихо.

*

Лежу под огненным покровом.

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

А я покорился.

И представляю себе, — «на почве алкоголизма»!

— ночь, я иду в Москве по Долгоруковской, пробираюсь к знакомому кабаку, «где торгуют дольше, чем в других». Я знаю такие кабаки. Осень, грязь, луна серебрит булыжник. Остановился у фонаря, крепко зажал в руке медь — —

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

Зажег я огарок, поставил на стул, плюхнулся на диван. Догорает, чадит, а потушить не могу. Опустил я палец в раскаленный подсвечник — —

— Матерь Божия, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

В отхожее место в угол я запрячу бутылку, запрусь. Господи, измаялся я и нет мне выхода! И вижу, сижу я у Спасской заставы в «Гробу» — трактир третьего разряда — и Мозгин Мишка со мной, остекленел весь, пропиваем крест. В Новоспасском монастыре ко всенощной звонят.

— Матерь Божия, спаси, спаси!

И не могу я подняться, лежу пригвожденный под горящим покровом, жестким, как из чертовой кожи, не могу стать с огненного креста моего, из костра палящего, а стать бы мне на ноги и в последний раз —

последний раз

поклониться до самой земли

сердцу человеческому, изнывшему от обиды, утраты, раскаяния —
сердцу, задохнувшемуся от неправды нашей, — сердцу, щадящему и жалостливому во власти беспощадной суровой судьбы, — сердцу, надрывающемуся в смертной тоске —

Тройным рыданием зарыдал бы я — —

*

— — пробил я черепом дно моего дощатого гроба, полетел сквозь землю — на мне белая рубаха и крест кипарисовый —
«Мать сыра-земля!»
— — вниз головой лечу в земле через земляную кору — кости и черепа, куски тела, персть и прах — чую состав земляной, сырь, чую запах земли —
«Мать сыра-земля!»
— — прорезаю земляную кору, недра земли — песок и камень; камень пробил, сквозь камень лечу — в огонь.
Огонь, как море в грозу!
Нырнул в огонь,
И иду под огнем, как под водой, иду в самую жгучую глубь. И как из шайки, окачивает огнем. Сердце, как голубь, вот дух перервет.
И вдруг вижу: над головой синее небо и сквозь небесную синь светят звезды!
К звездам высоко лечу над землей — на мне белая рубаха и крест кипарисовый —
«Сестры-звезды!»
Я лечу над землей, звезды горят, и память горит! как звезды —
о тех, кто тоскует —
кто не находит места себе на земле —
кто глухими ночами безнадежно бьется о стенку и просит и молит безнадежно — —
«Сестры-звезды!»
В вихре несусь я за звезды — дух во мне занялся и сердце стучит — в звездном вихре несусь я.

Все мне странно — и огненный столп, и косматые звезды, и, как огонь, золотая парча, и крылатые очи.
Золотые запрестольные иконы, ликов не вижу, золотые крутятся в вихре, но я узнаю: это ангелы Божьи!
И я руки мои простираю:
«Здравствуйте, ангелы Божьи!»
И подают мне ангелы Божьи свои горячие руки.
И я, как подожженный, взвиваюсь огнем и огнем несусь в небеса.

*

Был доктор Афонский. Стучал и слушал. Какой он чего-то сурьезный. Завтра кризис. Велел канфору вспрыскивать и банки.

Когда смеркалось, вошел Философов. Вошел он как-то боком и стал боком, на меня не смотрит.

Или дым мне глаза застилает?

— Дмитрий Владимирович! — здороваюсь.

И вспоминаю, как в Вологду посылал он мне «Мир Искусства», и как в первый раз я пошел к нему в Басков переулок (это в первый самовольный приезд мой в Петербург, который я тогда же с первого дня полюбил).

Хочу спросить о Савинкове.

А Философов не дает говорить.

И правда, мне говорить очень трудно.

— В «Русском историческом журнале», — говорю, — есть о московской бане XVII века. «Бани древяни; пережгут камение румяно, разволокутся нази, облиются квасом уснияном, возьмут на ся прутье младое, бьются сами...»

И вспоминаю Розанова, Егоровские бани в Казачьем, соседи мы были.

— Розанов в Сергиев посад переселился! — говорит Философов.

И слышу, Савинков:

— Я всеми грехами грешен, но родине и свободе я не изменял.

— Борис Викторович, а что такое свобода?

И вижу, страж мой — змея на стене в ногах: горько раскрыла пасть:

«Свобода?»

И я ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы упереться и откашлянуться. Ржавь меня душит.

«Свобода! — Был человек связан и скован, освободили: иди, куда знаешь! делай, что хочешь! — ну, веревку и прячешь, а то не ровен час, вон крюк в потолке крепкий — —»

А на воле подымается ветер, в окно стучит, вольный.

Когда ставили банки, очень было страшно: пламя синим языком стоит в глазах.

А на воле ветер так и рвет, так и стучит.

Слышу:

— Печку невозможно топить, очень сильный ветер.

На воле ветер — все семь братьев вихрей — стучит железный, крутит, вьется над домом, над Островом, над Петербургом.

«На Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир».

И ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться и откашлянуться. Ржавь меня душит.

*

Я стою в горной долине не то в Шварцвальде, не то в диком Урале, не то на Алтае.

Там на вершине в темных тучах буря ломает небо и свистит ветер ужасно, вьюжным свистом трясет долину.

Я весь в белом, золотая стрела пронзает мне левое ухо, и другая стрела в правом боку, и третья вонзается в самое сердце.

Три гвоздя вбиты мне в голову и лучами торчат поверх головы, как корона.

Я знаю: я прошел через землю сквозь самые недра, через огонь, я был в царстве звезд и от звезд в звездном вихре за звезды на небесах. Я прошел все мытарства, я сгорел на огне боли и смертной тоски, я взойду на вершину. А там шум, свист, грохот, там буря ломает небо —

И я взял трость — эта трость огромадна, как мачта, — я поднял ее до самой вершины.

«Эй, кто там! Отзовитесь!» — крикнул я, рассекая свист ветра.

И увидел: как на зов мой из клубящихся туч весь в малиновом наклонился ко мне с вершины, щурится — нос утиный.

И я напряг всю мою силу, духом вбежал я вверх по мачте, и стал на вершине.

И стоял среди бури под обломками неба, затаил всю мою боль — сердце мое истекало кровью, из прободенного ребра сочилось, а голова в гвоздях пылала.

Я собрал весь мой голос и крикнул окровавленному миру:

«Станьте! Останови-тесь! — на четыре стороны кричал я с вершины, и голос мой рассекал свист ветра, — пробудитесь к жизни от смерти, откройте глаза, залепленные братскою кровью, переведите дух ваш ожесточенный! Кровавая Мара́ третье лето жрет человечье мясо, лакнула крови и пьяна, как рваное злосчастье, ведет вас; в руках ее нож — на острый нож. Вы, братья! в мире есть правда, не кровава и не алчна; она, как звезда, кротко светит на крестную землю!»

Я кричал, рассекая ветер, я кричал всему миру от моря до моря.

И слова мои были как кровь, как огонь, как камень.

И со словами я выплевывал мою кровь и огонь и камень в жестокую долину, где решали судьбу бездушный нож да безразличная пуля.

А над моей головой ломалось небо и свистел ветер ужасно.

И вот, как от удара, сшибло, и я упал.

*

Свет светит и небо без облачка чисто — я лежу у моря на жари́не —

Пустынный остров — Оландские острова.

Крупная брусника ковром устилает остров.

Я весь в белом, золотая стрела пронзает мне ухо и другая прободает мне бок и третья вонзилась в самое сердце, а на голове моей три гвоздя лучами, как корона.

Я лежу на жари́не в бруснике — и правое крыло мое висит разбито.

— — — — — — — — — — — — — — —

*

— Фиандра, содержатель веселого дома в Александрии и продавец всяких восточных лакомств, в воздухе раскинул над землей свою палатку, поставил вверх ногами — не знаю, чего поставил, огоньки какие-то, — а вверх ногами он поставил так... — Фиандра чего не придумает! — завел медведчик свою гнусавую волынку — огоньки замелькали, завыла волынка, и все задвигалось, зашевелилось, как в первый день творения.

И пошла жизнь.

Я прохожу коридором мимо растворенных комнат — комнаты битком набиты, и все это москвичи из прошлых лет, я знаю их в лицо, и не знаю по имени, это с Бронной и Пречистенки, актеры, актрисы, акробаты, клоуны, натурщицы и просто так, жаждущие искусства и из ночных кофеен с ледяными эфирными руками. Они высовываются из дверей, и глаза у всех раскрыты. На мне белая рубаха, золотые стрелы и гвозди короной.

«Где, — говорю, — моя комната?»

Тут выскочил какой-то — сюртук на голое тело, показывает: «вон та со ступеньками!»

Комната со ступеньками — моя комната: тесна и без окон, белая-не-белая, плесень густо покрывает стены, и совсем пустая, ни стола, ни стула, ничего, и крашеный пол забрызган известкой.

И пала мне на сердце тоска.

Стою, как в погребе, — такая тоска! — а за дверью прячутся, подсматривают: «что, мол, будешь делать в своей комнате, как вывернешься?» — и, слышу, воет волынка-медведчик! —

И не знаю я, на что и решиться, и тоска заливает мне душу.
«Спасите! — Спасите меня!» — простер я руки к белой сырой стене —
И сорвался.
И лечу вниз головой через глубокую непроглядную тьму, вниз головой на землю.
И вот я на земле — —

Я лежу на земле, обтянутый сырой перепонкой, и не разбитое крыло, прячу я за спиной мою переломанную лягушиную лапку.

Комната освещена ярко. Около моей кровати что-то делают, копошатся. Не пойму ничего. Потом чувствую, как снимают с меня белье: переменить надо свежее.

Кризис наступил.

И мне горько до слез, что упал я и туда не вернуться, что нет ни крыльев, ни золотых стрел, и тех слов не повторить уж, а лежу я — обтянутый сырой перепонкой, и прячу за спиной мою перебитую лягушачью лапку.

Посмотрел я на стену, а змеи нет —
залила огонь и уползла!

Вижу шкап, на шкапу картонка.

И мне горько до слез, что лежу я, глотаю ртом воздух, как лягушка.

И в горечи моей я подбираю мое постылое перепончатое тело, чтобы быть совсем незаметным, и ищу такую точку, так скорчиться мне и извиться, чтобы легче откашлянуться.

*

День тяжел, а ночь для меня ужасна. Я боюсь ее душной: не могу отхонуть от кашля.

И измучил я всех. —

Верчусь, как вьюн.

«Простите меня за все эти кашли мои!»

Подобрался, чтобы незаметнее быть, совсем скорчился.

*

Вижу я Невский — вода — весь Невский в воде.
«Или Нева разлилась?»

А я не боюсь воды, смело иду и за мною народ бредет — по колено в воде. Дошли до купален. Тут все и разбрелись.

Я дальше пошел. А там снег, тихо падает снег и ложится на землю чистый, как в крещенский сочельник.

И я чую: тишина, как этот чистый крещенский снег, ложится мне на душу.

*

Вот беда! Ночью, — теперь я не так уже кашляю, — когда все заснули, прискакала Баба-Яга и подменила мне ногу.

И я ничего ей не мог: ни сказать, ни остановить. Есть у меня дудочка-кукушка, покуковать бы, да как на грех куда-то засунул под подушку.

И вот правая нога у меня не моя, — костяная!

*

Лежу с костяной ногой —

В воскресенье, даст Бог, и встану.

Неловко с костяной-то, да как-нибудь уж.

Лежу, потрагиваю ее, костяную, пеняю Яге:

«Ну, что за радость, добро бы какую взяла богатырскую, а то...»

Очень мне есть хочется.

Все прошу ухи — «демьяновой».

Уж ходил Микитов в Андреевский рынок, да опоздал; с пустыми руками вернулся.

А ночью долго я заснуть не мог: и голодно, и сна мне что-то нет, Гоголя читал, «Вечера».

И только завел глаза, вижу: лежу в нашей комнате, как и въявь лежу, а по бокам у кровати морские черти. Потрогал: черные, шелковые.

«Черти, — говорю, — балтийские, наловите мне рыбу!»

А они и говорят:

«Никак невозможно, завтра воскресенье, а под воскресенье заказано нам рыбку ловить!»

*

В воскресенье я поднялся, и робко пошел на своей костяной ноге —

Белый свет, — благословен ты, белый свет! — а мне больно смотреть.

«Сестра моя! не достоин я рук твоих и забот твоих. Прости мне жестокое слово и нетерпение мое. Один виновен — один и должен нести!»

Белый свет — благословен ты, белый свет! — а мне больно смотреть.

XIX

Тот день для меня был роковой: я захворал крупозным воспалением легких.

Захворал о ту же пору А. И. Котылев, не знаю за что не раз выручавший меня в моих литературных делах в самое крутое для нас время. И слышу, помер.

А меня спасло.

С. П., ухаживая за мной, не вынесла, и последние дни мы оба лежали.

И это для меня было самым тяжким: ведь всё из-за меня! — и я ничем не мог ей помочь.

За неделю, как я поднялся, я написал вот эту мою память о снах и видениях за болезнь «огневицу» и «вечную память» — слово мое, переговоренное «без слов» тогда еще там ночью в Кремле после всенощной.

У меня такая крепь на душе — поет. И мне все любо. Сколько во мне сил сейчас. Чего-то радуется. Слушаю, смотрю —

и чей-то голос зовет меня —

Дом наш переполнен любовью. И эта любовь мне светит.

А сегодня я встретил человека — нежнейшей души.

Это И. С. Биск — старый знакомый С. П. — приходил прощаться.

XX

Вчера опять началось выступление. Но, кажется, есть и прок: будут говорить о мире. Сегодня арестовано «временное правительство» — узнали после обеда.

25 минут 10-го вечера (по моим) с Авроры выстрел!

«Наконец-то Владимир Ильич взял власть!»

Видел во сне землянику: целая корзина, да мыть надо — грязная. И розу, которую положили С. П. Уписывал я, как кот, куренка. А живем в гостинице.

На другой день из газет:

> «В час ночи в квартиру Цвернера, находящуюся в 6-ом этаже д. № 13 по Демидову переулку, влетел артиллерийский снаряд весом около 10 пудов. Пробив стену, снаряд упал на письменный стол. Так как взрыва не последовало, то обошлось без жертв».

ОКТЯБРЬ

I

56 дней — 8 недель высидел я в комнатах после болезни. Я прислушивался к воле за стеной, слушал рассказы с воли и писал *«Россию в письменах»*, по обрывкам документов из «ничего» воссоздавая старую Россию — ее потревоженных китов, без которых она немыслима:

«баня — печь — ковш — базар — полиция — псалтырь — часовник — патерик — сундук — крест — грамотка — столбец — гадальные карты — странник — оракул — письмовник — календарь — святцы — помещик — азбука» и т. д.

Да потихоньку сидел над «*Временником*» —

«всеобщее восстание!»

Так и шли дни, перевиваясь снами.

*

Поздно вечером разговаривал с А. А. Блоком по телефону: ему кажется все таким мирным. А я ничего не знаю. Тогда (в феврале) была легкость и тревога — рушилась вековая стена. А теперь — даже весело: что-то из всего из этого выйдет? И надолго ли хватит? Смешение тьмы, дикости и самых ярких пожеланий.

— — у нас в доме обыск. Солдаты в турецких шапках.

А главный — женщина.

«Вы ездили на Кавказ до станции Семлёва?»

«Ездил», — говорю.

И понимаю: тут не в Кавказе дело и не в Семлёве, тут что-то еще! И действительно, не успел я ответить, как солдаты в турецких шапках пропали,

а я жду поезда. И замечаю, что по спешке набрал я в дорогу много лишнего: рваные калоши, линючую новобранку, гимнастические гири, всех цветов сартские тибетейки, ключи, чулки, банки из-под какао. И все это я выбрасываю, спешу — а вещей гора! А за вещами у золотого пчелиного домика А. А. Блок на костылях:
«Малина, — говорит, — спелая»!

II

Ничего не знаем, как после большого праздника, когда газет не бывает. Министры Временного Правительства сидят в Петропавловской крепости. Жалко мне М. И. Терещенку. Звонил Блок: тоже о Терещенке. Вспоминали «Сирин» и все те годы сиринские — какие далекие!

— — входит Владимир Унковский, за ним мальчик из магазина: несет ему пальто зеленое —
«Достоевского!» — говорят.
Керенский наряжен монахом. И какой-то еще весь изможденный, а зовут его Загафедин. Я подумал, этим именем назову какую-нибудь мою игрушку — загафедин!
«А зачем царя спихнули? Надо самим лучше сделаться, а потом и решать!» — говорит Загафедин.
Керенский брезгливо:
«Сам насмóродил!» — и оправляется: непривычно ему в монашеском.
«А сказали бы домой идти, и винтовку бросил бы!» — Унковский, в зеленом пальто Достоевского, юркнул в картонку.
Я умылся грязной водой, а Чуковский плачет. «Мне, думаю, нехорошо, а ему — к прибыли». А он все плачет.
«Купил — говорит, — карету, а лошадей нет! купил кольца для кур, а и кур нет!»
И опять входит мальчик — который принес Унковскому зеленое пальто Достоевского. Посылка от Ф. И. Щеколдина! И сам Щеколдин появился.

Распаковали посылку: а это высокий горячий кулич и коробка с напильниками. Щеколдин осмотрел кулич и напильники и скрылся. И еще несут посылку: от А. Н. Рябинина. Это яблоки — и все-то прелые, лежалые!

Пасмурный облачный день. Тихо необыкновенно и только слышно, как звонят к обедне.

«На худой конец за сорок верст слышно!» — подал голос Унковского из картонки.

Сели в автомобиль и поехали.

III

Умер наш домовый хозяин Д. П. Семенов-Тянь-Шанский. Вчера он у нас читал свой «Временник», собирался прийти оканчивать сегодня вечером.

— — в Петербурге переворот, бегут солдаты, и у всех у них новенькие блестящие погоны:

«Мы теперь все офицеры»!

И входит Д. П. Семенов-Тянь-Шанский с рукописью.

И вижу я: хочет он оплести нас шерстью.

IV

Получено известие из Москвы, будто во время переворота сожжен Василий-блаженный.

— Что же это такое сделали? — Ф. И. Щеколдин плакал, говоря по телефону.

А я не верю — не хочу верить. «А если? если остались одни развалины, они будут святей неразрушенного. Нет, только бы что-нибудь осталось!»

Приходил П.: он очень смущен, оторопленный:

— Не бежать ли нам?

— Да нам-то чего?

Вот так все и разбегутся.

О хлебе: «хлеб тяжкóй», это с соломой: «хлеб грядовой», это с мякиной.

— — мысли бежали так быстро, не выговариваясь,

одним чувством! И я увидел Р. В. Иванова-Разумника. И дважды вместе съездили за границу: сначала в Рим, и назад, потом в Париж и домой. Что было дорогой, не помню, только помню — попались нам сербские солдаты. А у Аверченки парикмахерская и аукцион. Я принес картину Бориса Григорьева и не знаю, кажется, ее уже продали. И что странно, самому же Борису Григорьеву с придачей Добужинского. Добужинский тут же выдергивает канву из вышивки — «мед и яблоки», такая картина. З. Н. Гиппиус спрашивает, «откуда я знаю, как она верует?».

«Ничего подобного, — говорю, — это все М. К. Вольфсон: 5-ая глава из Евгения Онегина, выжать 6 лимонов!»

И вижу: М. К. Вольфсон на закорках у Лундберга подымается по лестнице с Сахаровым, а за ними Шпет трусит.

«Все мы теперь ездим в 3-м классе!»

«Ничего подобного, — говорю, — вы не сидите в 3-м классе!»

И идем с П. Е. Щеголевым, как когда-то в Вологде: хочется ему купить говядины и непременно в немецкой колбасной. А кругом мухи целыми грядами. Навстречу Чуковский с Чулковым: Чуковский — 70 000 процентных бумаг, Чулков — красное (церковное) вино.

«Мы приискали себе место!» — сказали оба.

V

Раскинув руки крестом:

«Я хотела бы, чтобы меня разорвали за вас!»

А другая, закрыв ладонями лицо:

«Умереть за дух Божий в человеке, а не за красные рожи!»

Какой-то, напившись на обыске, решительно заявил:

«Мне пора уходить!»

Когда теперь встречаются, всегда спор, а спор — одно оскорбление. Приходится доказывать, что ты человек, — а ведь все идет против этого признания.

— — я взял у А. А. Блока книжку с картинками. Мы в лесу, сидим за столиком. Промелькнул монах и скрылся, а вижу — вылезает из оврага. Я и говорю:

«Александр Александрович, жаловался мне монах, что выгоняют их из монастыря!»

А на улице народу, не пройти — все, задравши голову, смотрят:

«Эроплан летит!»

В окне ораторствует Иванов-Разумник: опять восстание в Петербурге.

Юрий Верховский («Слон Слонович») уж в доме картошку чистит, а на полу на корточках Виктор Ховин подбирает кожурку и все кучками складывает. Встречаю Николая II-го у ворот Александровского Коммерческого училища в Бабушкином переулке на Старой Басманной. Он меня спрашивает: «служил ли я где?»

«Нет, — говорю, — нигде. Я нетрудовой элемент».

«А Василий Васильевич?»

«Розанов — —?»

«Его еще нет, — перебивает Добронравов, — со Степуном застрял в лифте на Таврической!»

«Да теперь, — говорю, — нигде и лифты не ходят».

«З-а-с-т-р-я-л!» — повторяет Добронравов, выговаривая в разбивку.

VI

Присел к столу — если бы имел дар слезный, я заплакал бы! Который день С. П. лежит — припадок печени. И никого, одна моя уродливая тень.

— — доктор Ланг живет на море; исследование показало, что у него жесточайшее малокровие. И. С. Соколов собирает посылку: все в пакеты завертывает. И тут же около примостился А. А. Блок и И. А. Рязановский: кораблики и коробочки из бумаги свертывают, бормочут чего-то:

«Полотилин — платвушка —»
«Отпанет — отпадет —»
«Хапка — тяпка» —
Я подошел к Авксентьеву да пальцем его в живот, — а из него пакля.

VII

Первый долгий поход на волю. Был на Кронверкском у Ф. И. Щеколдина. Шел пешком больше часу. С непривычки все странно. Вечером заходил наш новый хозяин М. Д. Семенов-Тянь-Шанский:

«14-го декабря в деревне убили его брата поэта Леонида Семенова».

Среди ночи раздался страшный взрыв: горел склад на Гутуевском острове.

— — черт сел мне на живот. Пятками по бокам колотит. (Вместо ног у него копыта.)
«Что ты это делаешь?» — говорю.
А он достал из кармана топорик, да как звезданет —
«Что ты делаешь?»
«Рубли достаю».
«А нельзя ли переждать — хоть день!»
«Никак нельзя, — и сам топориком работает, — хуже будет, как на пятаки меняться будут».

САБОТАЖ

Жил маленький человек Акакий Башмачкин, его никто не боялся — чего хуже? А он писал себе в Департаменте и всех боялся. Так искони повелось:

Акакий Акакиевич Башмачкин всех боялся.

А как пошел голод да холод — холод да голод, а тут еще прижим да нажим, да зубило, и остервенел маленький человек Акакий.

И говорит себе Акакий:

«Жизнь моя пропащая, а дело мое малое, так втолковали нам искони, погибать так погибать, не хочу работать, да и все тут».

И пошел маленький человек, пошел Акакий Башмачкин к себе к Калинкину мосту..

И опустел Департамент и все отделения — и первые и последние.

Так что же вы думаете? — к нему, ко мле-то департаментской, сами тридцать-и-три большие брата подступили:

— Возьми, — говорят, — товарищ Башмачкин, дела опять, пожалуйста!

А он им — и до чего осмелел человек! — Гоголь, ты слышишь ли — —!

— Да вы же говорили, что дело мое маленькое, а я — мля, сами и делайте: чай, сумеете!

И связали за это маленького человека Акакия и в тюрьму подвальную посадили: изморозят, изморят — забоится! А ему хоть бы что — хуже не будет.

— А кто вот делать-то будет, вы, разумные, вы, большие головы!

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ

ИСКРЫ

Тяжко на разоренной земле.
Родина моя!
Душа изболела.
«Если бы были такие могилы, куда бы клали живых, — я лег бы».

Душа не острупелая, душа не задохнувшаяся в мертвых тисках еще живая ищет чудес.
И в этом ее последнее спасение. Хочет воплотить не бывшее, но всем сердцем желаемое и всем духом требуемое.
Посмотрите, как бьется живая, как плясица-птица в руках, и смотрится в ночь, не мелькнет ли?
Но нет света.
Ниоткуда не светит.

«Неразумная, есть свет! и этот свет вечно горит изнутри, из тебя же самой!
Ты жаждешь, хочешь приблизить срок, твори же из твоей мысли».

И вот восстал и бродит по Руси призрак великого чаяния истинной веры, истинной свободы.
Если б поджечь цельным огнем, какие б запылали костры!
Не костры, бессильные искры, как потухающие угольки, сыплются по снегу и сверкают.
Там —
Как ложные звезды.

Я протянул руки —
И пали искры и обожгли мне ладони.

I

РУКА КРЕСТИТЕЛЕВА

Соседка Анна Ивановна хорошая женщина, муж ее солдат.

Частенько заходит к нам Анна Ивановна, и особенно по утрам.

И всегда с новостями: о таком в газетах не пишут.

Как-то до Николы еще растапливаю я печку, — дымит она у нас, не дай Бог! — сам на угольки дую, сержусь на печку, что такая нерастопка.

Тут Анна Ивановна входит:

— Слышали, что во дворце-то?

— Еще что? — сержусь на печку.

— Руку разрубили.

— Какую руку?

— Предтечи, Крестителеву.

— Что вы говорите?

— Тесаком Крестителеву. Во дворце.

«Крестителеву!» А и в самом деле, рука-то Предтечи в Зимнем дворце, в дворцовой церкви Нерукотворенного Спаса: в Зимний дворец привезли ее мальтийские рыцари в дар императору Павлу. А шесть веков назад видели ее земляки наши, паломники, в Цареграде. А в Царьград попала она из Антиохии. А в Антиохию принес ее евангелист Лука из Самарии. Вот какой долгий путь до Невыреки.

> А какие бывали гонения! Но и в самые жесточайшие, когда Юлиан велел сжечь тело Крестителево, руку, крестившую Христа, пощадил, не велел трогать. Так и сохранилась. Сколько веков! Рыцари уберегли.

— Нет, — говорю, — больше на белом свете рыцарей. Вот беда!

— Вынули из раки и тесаком разрубили по суставам! — все еще ужасалась Анна Ивановна.

> А какие чудеса бывали!
>
> Обложил Антиохию Змей, и такой ужасный, — от страха помирали. И всякий день пожирал Змей по непорочной девице. Сколько горя! А был в Антиохии один купец, очень любил свою дочь,

и так не хотелось ему отдавать ее Змею. Настал черед. Что делать? Пошел купец в башню, — в башне хранилась рука Крестителева, — пошел просить Крестителя, — все отказались, нет управы на Змея, некому помочь! Помолился он Крестителю и как стал прикладываться, тайно сустав из мизинца и выкусил. И уж ночью смело повел дочь к Змею. Не боится Змея: сохранит Креститель! А Змей уж пасть разинул, вот поглотит. Тут купец косточку ему, что выкусил-то, да прямо в пасть. А из Змея дух вон.

— Разрубили по суставам, и всякому досталось по косточке, — продолжала Анна Ивановна, — Фирсова солдата помните? Водопроводчик. Взял Фирсов косточку, да себе в карман и сунул. А она карман-то и проела, насквозь прожгла и ушла!

Анна Ивановна покачала головой, и в глазах ее засветилось кротко:

— Видно, в недостойных руках была!

II

СВЯТОЙ КОВЧЕЖЕЦ

Вы знаете Сверчкова? — веселый человек. Со смеху уморит, как начнет свои турусы. И легко с ним: никакой притворенной скотины не чуешь, — осматриваться нечего.

В делах деловых человек незаметный, — маленький чиновник и, конечно, никто его на руках не носил и не понесет, разве на Смоленское. Впрочем, был и один грех: нынче во время майских въездов, возвращаясь из Озерков, вознесен был на руки и на руках высоко над головами проплыл по воздуху от вагона через вокзал до автомобиля, — спутали с кем-то из эмигрантов, возвращавшихся с тем же поездом из заграницы. Правда, вид у него заграничный, и бородка зайцева.

*

Идет Сверчков по Старому Невскому.

Зима нынче выдалась теплая, и драповое его пальтишко к самой поре.

Идет он, насвистывает, — веселый человек! Не на службу, так идет.

Навстречу солдат — столкнулись глазами.

Солдат приостановился.

— Не хотите ли купить, товарищ, хорошая вещь, — наклонился, шепчет: — из дворца!

Да из кармана и вынул.

Всматривается Сверчков: маленький ящичек серебряный. Раскрыл, — а там что-то такое крошечное, вроде пылинки и под слюдой.

«Что бы это такое, думаю, понять не могу: пылинка! И знаете, сердце у меня заболело: да ведь это, думаю, мощи!»

Сверчков давным-давно ни в какую церковь не ходил, а этой весной, нацепив красный бантик, в великую пятницу, как на масленице, в карты дулся.

И вдруг сердце заболело: «мощи!»

А солдат сообразил, глядит нагло:

— Меньше ста не возьму.

«А у меня всего сто и есть, больше нет, последнее, всё. Да, думаю, мощи! Бог знает, в чьи руки попадут! Вынул кошелек и всё отдал, а ковчежец сюда спрятал, держу крепко».

— А это не купите ли?

Солдат еще что-то вынул, да Сверчков уж ничего не видит: все равно, последнее, ведь, отдал.

— Сколько?

— Двести!

— Не надо!

Мелькнул и исчез солдат, будто и не бывало.

III

БЕЛОЕ СЕРДЦЕ

Ждал я трамвая.

Никак не могу войти: висят, толкаются. Трамваев десять пропустил, и все неудача.

Вижу, старуха стоит, как и я, ждет. Древняя бабушка. Посмотришь на такое лицо, и кажется, век оно таким было, — век была бабушка бабушкой: морщинки малень-

кие, беззубая и очень добрая. Я посмотрел попристальнее: терпеливо стоит, и видят ли что усталые глаза? Да, увидели!

— Не оставь меня, — сказала бабушка, — вместе поедем на трамвае. Никак не могу попасть.

— Хорошо, — говорю, — поедемте, только долго нам стоять тут: толкаться не хочу, висеть...

— Сохрани Бог! — перебила меня бабушка.

Да, бабушка видела, что не одна она.

С нами барышня стояла, и по всему было видно, что она с нами. Но барышня больше не могла выдержать, и когда подошел еще трамвай, вдруг переменилась — и куда девалась вся ее кротость! — стала сама трамвайной, и вижу — повисла.

А наше дело было отчаянное, хоть пешком иди.

— Пойдемте, бабушка.

— Не дойти.

А и вправду, не дойти старухе: стояли мы на углу 9-й линии, а бабушке путь в Новую деревню.

Победил я мое отчаяние, решил еще ждать, а бабушка, видно, давно победила и ничуть не отчаивалась, терпеливая.

И дождались: впихнулись, и не на прицепной, а на передний.

*

Трамвай полон, сесть и не думай. Всё солдаты. Я-то ничего, хоть висеть и не могу, а стоять мне ничего, вот старуха-то как: совсем-то согнулась и ноги не слушают, — как былинку, ее при всяком толчке так и кидает.

— Хоть бы бабушке кто место уступил! — говорю седокам.

Я в трамваях не раз так говаривал и проку не очень ждал. Но тут повезло: поднялись два матроса.

— Найдутся добрые люди, садитесь!

И уселась бабушка, — нашлись добрые люди!

И до чего, скажу вам, хорошо человеку, когда он так вот, как эти матросы. Я посмотрел на них и почувствовал, что и стоя им сию минуту хорошо, как и бабушке.

А бабушка, как отсиделась немного, так и заговорила.

И не так громко она говорила, а каждое слово ее было

внятно, — в голосе ее было очень много такого, от чего вот и матросам, уступившим бабушке место, хорошо было: самые жестокие слова шли у нее от белого сердца.

Бабушка о себе рассказывала, как и откуда она в Петербург появилась, и о своей жизни тяжкой и кругом одинокой. И во время рассказа, спохватываясь, подымала она глаза ко мне:

— Так не оставь же меня, — вместе выйдем!

— Вместе, вместе, бабушка! — повторял я.

И те два матроса, покачиваясь от толчков, без слов повторяли за мной:

«Вместе, вместе!»

*

Тяжко ей на белом свете, она так и сказала, — «тяжко». Не здешняя. Родина ее теперь, как на краю света, под Ковно. Много раз ее выгоняли: всё говорили, что немцы идут. Да все обходилось благополучно: соберется бабушка выселяться, сложит добро, а пройдет день-другой, и все по-прежнему, и никуда не надо.

— А как уж обидели меня, так я и ушла.

— А кто же вас, немцы?

— Нет, — бабушка что-то вспомнила горькое, вижу, а сказала еще добрее, — свои робята.

Седоки солдаты переглянулись.

И голос ее еще стал внятнее.

И присмирели чего-то, весь вагон, никто не выходит. Или всем один путь?

— Домик у меня был. Думала, так там и помру. Совсем я одна на белом свете. Была дочка, шестнадцати лет померла. А другая дочка вышла замуж, годок пожила и померла. Было три сына, тут на заводе работали в Петербурге. Как помер мой старик, четыре дня не хоронила, ждала, вот приедут. И не приехали. Видно, телеграмму не получили. А потом, как война началась, всех сыновей на войну взяли. И сколько я писала и спрашивала, — ничего о них не знают. Как камень в воду.

— А может, в плену они?

— Нет, пропали.

И опять что-то горькое вспомнила, а заговорила еще добрее.

— А как пришли робята, да как запалили мой домишко, так и полыхнуло. А я плачу: «Ой, не жгите, прошу, оставьте!» «Ты с немцами жить хочешь, ты — немка, мы тебя в огонь бросим!» А я думаю: пускай бросают, мне и так тяжко, а всех угодников Божьих жгли. Стою так, думаю, а они рассуждают, — один говорит: «Бросим ее в огонь!» А другой: «Не нужно!» А как дом сгорел, я и пошла. Три месяца пешком шла.

*

Бабушка чего-то задумалась.

Вспомнила ли она свой дом, — там, на краю света, одни головни под снегом лежат!

Или о сыновьях задумалась, — тут где-то на заводе работали и теперь там, — там под снегом лежат!

А я подумал, глядя на сгорбившуюся затихнувшую старуху, — весь вагон глядел на нее.

«Бабушка, ты своим сердцем с потерей и утратой, белым сердцем приняла всю свою горючую судьбу, — а и вправду, разве скажешь так, как сказала ты о своих разорителях: с в о и р о б я т а! — и вот одна ты на белом свете со своим белым сердцем, и тяжка твоя жизнь, твои последние дни, и кто утешит тебя? Кто нас утешит? Бабушка, это я за всех говорю, всем, всем, всем. И кому легко, кому счастливо, кто может быть счастлив на твоем белом пожарище, на белой могиле твоего погубленного мира? Какой зверь или какая оскаленная косматая душа или душа придушенная, как трухлявый червивый гриб, или сердце, как оглоданная сухая кость? Нет, вот все мы тут, и если умом кто не понял чего, сердцем-то все почувствовали, каждый из нас, всю твою свинцовую тяжесть, весь крест наш».

— Ты не беспокойся, — сказала вдруг бабушка, — одна женщина в Москве сон видела. Приснилась ей Царица Небесная и сказала: «Держава Российская в моей руке, иди и ищи икону такую, как я перед тобою стою». Та женщина и пошла по всей Москве, по всем домам ходить, — нету нигде. А наконец, в селе Коломенском, под Москвою, пошла она в такую церковь, еще при царе Иване Грозном строилась. Много там икон, — как мертвых хоронят, оставляют иконы в церкви, — внизу лежали.

Перебирала она их, перебирала и вдруг крикнула: «она самая!» И теперь эту икону по Москве возят, молебны служат, списывают. И я видела: вверху, как радуга, и Саваоф, а потом облака, а потом Царица Небесная в порфире и короне, в одной руке — скипетр, в другой — земля.

Тут пришла пора выходить бабушке.

Я довел ее до остановки, усадил в другой трамвай. Простились. И пошел я в нашу петербургскую темень, понес сквозь темь белое — тихий свет уверенной веры.

ГОЛОДНАЯ ПЕСНЯ

Если что еще и бодрит дух мой, это скорбь. И эта скорбь связывает меня с миром. Скорбь же дает мне право быть.

Мои гости — беда и несчастье. И глаза мои — к слезам, как мои уши — к стону. А сердце дышит болью.

И я знаю, торжествующий и довольный никогда не постучит в мою дверь. Я знаю, ко мне придет только с бедою.

И сам я возвращаюсь с воли всегда потрясенный, с затаенной болью от встреч.

*

Вот говорят, Петербург гнилой и туманный, нет, в Петербурге бывают дни ослепительные.

И в такие дни, когда все так ярко и ясно, моей душе особенно больно.

В Прощеный день по обедне шел я по Старому Невскому.

Было так вот ярко — заморозки, резкий ветер, режущее солнце. Путь мне был долгий. На другой конец шел я. Мысли — с ними не расстаюсь я в моей неволе — мои думы о делах человеческих, о нашей бедной жизни, о проклятой судьбе и человеке, не родившемся еще человеком, вольные, свертывались они в жгут и резче ветра, больнее режущего солнца неслись в моей душе.

Глаза мои были напряжены до слез и от солнца и от всматривания — не было лица, тень от которого не падала бы на меня, всех я видел и различал каждого. И слышал

много звуков, и из всех звуков в шуме один звук вонзился в меня —

— тла-да-да-да-да —

Я шел по солнечной стороне — кто это? откуда звенит? — перешел на другую —

— тла-да-да-да-да —

— сверлило в ушах.

На углу Полтавской в тени стоял китаец: судорожно подергивались его ноги, колотили в промерзшую землю. Голова его была обнажена — череп, обтянутый кожей, а впалые глаза закрыты — слепой китаец. Слепой, съежился весь, рука вцепилась в рваную шапку —

— тла-да-да-да-да —

Это китаец звал о помощи, просил, слепой и замерзший.

И звук его зова — не гортанная переливная старая речь Китая — один голодный звон — голодная песня из тени наперекор резкому ветру звенела по режущему солнцу —

— тла-да-да-да-да —

И когда я подал милостыню, стало мне перед ним так стыдно — да лучше б никогда мне не видеть и ничего не слышать! — почуял я в нем брата, которому, как и себе, ничем не могу помочь.

Толпа плыла широким потоком навстречу, ощеривались толстые рожи, лоснились щеки, напитанные кониной, мешочным жирным блином и сметием всяким, сдобренным приторным американским вазелином.

И один резче ветра голодный звон — голодная песня —

— тла-да-да-да-да —

*

— Брат мой голодный из поднебесной страны, пережившей много веков, неизвестных и самой старой Европе, здесь никому ты не нужен —

— Брат мой замерзший, ты понимаешь, что такое слово? Тебя научили с колыбели чтить слово и книгу. Слово здесь, как ты голодный, не нужно —

— Брат мой терпеливый — —

— тла-да-да-да-да

— тла-да-да-да-да

Свиная толпа с пятаками, самодовольная, широко плыла навстречу —

— — —

— —

— Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая, хоть что-нибудь в моей жизни и в моей воле, можешь ли ты вызвать под своим тупым черепом хоть отдаленные мысли, хоть намек о моем труде, который тебе так же нужен, как нужен голодный китаец, как нужно слово и книга? Знаешь ли ты хоть что-нибудь о той боли, какая жжет меня, и о той тревоге и муке, в которой проходит жизнь моя и наяву и во сне? Снились ли тебе мои сны, и играло ли твое сердце от радости, заливавшей мою душу, — радости, от которой светится весь мир, дышат камни, оживают игрушки, глядят, разговаривают звезды! и разрывалось ли твое сердце от тоски и скорби, которая обугливала всякий блеск и свет? Нет, ты дрыхнешь и тебе ничего не снится, нет, ты не страждешь, ты только орешь от голода и визжишь от похоти. И нет звезд над тобой. Как же ты, нищая духом, смеешь посягать на мою волю и распоряжаться моим трудом, который есть одна живая боль? И еще скажу тебе, понимаешь ли ты, что я, последний нищий, щелкаю голодным языком, и мое тело измождено, душа измучена, кожа с нее содрана — ты не понимаешь? — понимаешь ли ты, что под видом благодеяния всему народу ты запускаешь лапу не в карман мой, который пуст, а лезешь к моей шее, к моему кресту, который тяжелее золота и горячее огня —

— тла-да-да-да-да —

— Брат мой голодный, вот ты в тени стоишь, слепой, замерзший, а я иду — еще могу идти! — и никому не нужный, а иду — наперекор резкому ветру против режущего солнца —

— тла-да-да-да-да —

ЗНАМЯ БОРЬБЫ

I

С утра метель. С винтовками ходят — разгоняют. Вчера арестовали Пришвина. Иду — в глаза ветер, колючий снег — не увернешься.

На Большом проспекте на углу 12-ой линии два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты.

— Боитесь, — кричит, — чтобы не узнали, как стреляли в народ!

— Кто стрелял?

— Большевики.

— Смеешь ты — —?

И с газетами повели ее, а она горластей метели —

— Я нищая! — орет, — нищая я! ограбили! меня!

— — —

На углу 7-ой линии красногвардейцы над газетчиком. И с газетами его на извозчика. А пробегала с газетой — видно, послали купить поскорее, успела купить! — прислуга, и ее цап и на извозчика.

— И ты — —!

А она, как орнет, да с переливом —

и где ветер, где вой, не разберешь.

— — —

Около Андреевского собора народу — войти в собор невозможно.

— Расходитесь! — вступают в толпу красногвардейцы, — расходитесь!

— Мы архиерея ждем.

— Крестный ход!

— Расходитесь! Расходитесь!

Толчея. Никто не уходит.

Какая-то женщина со слезами:

— — хоть бы нам Бог помог! —

— — только Бог и может помочь —

— — узнали, что конец им, вот и злятся —

— — какой конец — — !?

— — с крыш стреляли —

— — да, не жалели вчера патронов —

— — придет Вильгельм, — поддразнивает баба, — и заставит нас танцевать под окном: и пойдем танцевать! —

— — большевики устроили: каждый пойдет поодиночке с радостью —

— — — тут его и расхрястали —

— — — заснул на мостовой —

— — — взвизгнул, как заяц, и дело с концом —

— — —

Идет старик без руки и повторяет громче и громче:

— Наказал Господь! — Наказал Господь!

— Что? Что?

— Наказал Господь.

Старуха, протискиваясь:

— Что говорит?

— Да наказал Господь и погодку плохую послал.

— — комната: от окна к двери покато. Я его едва различаю: такой он прозрачный и вялый, но я в его власти. Он чего-то себе задумал: то к столу подойдет, то к окну. Взял булавку и ко мне: хочет мне в палец всадить. Я ему говорю: «Перестань, ну что такое булавка? ну, воткнешь — — ! — уговариваю. Положил он булавку. И опять ходит. Знаю, что на уме у него — ищет что-то, чем бы больно уколоть меня. Подошел он к столу — а на столе моя рукопись! — да спичкой и поджег. Не велика, думаю, беда, скоро не сгорит! А сам рукой та́к — и огонь погас. И тут я заметил, что около стола наложены кипы бумаг, смоченные горючей жидкостью. И понимаю, не в рукописи дело, а метил он в эту кипу: перекинет огонь и вспыхнет. А вот и не удалось! Скучный он бродит и такие у него мутные глаза — ищет. Взял золотое перо —

«Ну зачем?» — говорю.

А он как не слышит — он меня за руки: и всадил перо мне в палец.

II

Елку не разбирали, стоит не осыпается.

На Рождество у нас было много гостей: Сологуб, Замятин, Пришвин, Добронравов, Петров-Водкин. Достали хлеба — на всех хватило.

Сегодня в газетах о убийстве Шингарева и Кокошкина:

«— — — когда они явились в палату, где лежал Ф. Ф. Кокошкин, Кокошкин проснулся и, увидев, что на него нападают, закричал: «Братцы, что вы делаете?!»

Долго разговаривал с Блоком по телефону: он слышит «музыку» во всей этой метели, пробует писать и написал что-то.

«Надо идти против себя!»

После Блока говорил с С. Д. Мстиславским о Пришвине.

— Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке!

> — — судят Пришвина. И я обвиняю.
>
> «Так что ж я такого сказал?» — не понимает Пришвин.
>
> «Да разве не вы это сказали: «надо их пригласить: люди они полезные в смысле сахара»?
>
> И жалко мне его: знаю, засудят. Подхожу к Горькому — Горький плачет.
>
> И тут же Виктор Шкловский, его тоже судят.
>
> «А я могу десять штук сразу!» — сказал Шкловский. И, вынимая из кармана картошку, немытую, сырьем стал глотать — — а из него вылетает: котлы, кубы, кади, дрова, горны, горшки — огонь!

III

Сегодня необыкновенный день: немцы вступают в Россию. Проходя по Невскому, видел, как на пленного немецкого солдата бабы крестились.

В Киеве убили митрополита Владимира.

Я его раз видел — в Александро-Невской Лавре на вечерне в первый день пасхи: он «зачинал» пасхальные стихиры особым московским распевом — «Да воскреснет

Бог и расточатся врази его». Все это надо бы сберечь — и эту «музыку» для русской музыки.

Да, теперь и я тоже слышу «музыку», но моя музыка — по земле:

«тла-да-да-да-да» голодной песни!

Каюсь, не утерпел, съел просвирку: четыре года берегли, белая, Ф. И. Щеколдин из Суздаля привез! А я размочил и съел. И вспомнилась сказка: три чугунных просвирки, и надо их сглодать, и когда сгложешь — — а я съел!

— — мне приносят мои картины: их несут на шестах, как плакаты. Я взглянул: да что же это такое? — квадратиками ломтики — сырая говядина! — рубиновые с кровью! И подпись: «бикфордов шнур».

IV

В Москве при заходе солнца из солнца поднялся высокий огненный столб, перерезанный поперечной полосой, — багровый крест.

— — мы живем в гостинице и занимаем большие две комнаты. Утром. Слышу, стучат. «Надо, думаю, посмотреть!» И иду через комнату, а на полу кровь. Я вытирать — не стирается: большой сгусток — как вермишель.

V

Приходили с обыском красногвардейцы —

— Нет ли оружия?

— Кроме ножниц, — говорю, — ничего.

Глазели на мою серебряную стену, усаженную всякими чучелками.

— — в Москве в Сыромятниках пруд и полон пруд блинами — блины, как листья кувшинок. Это нам в дорогу: мы собираемся ехать в Москву. И. В. Гессен спрашивает:
«А в Петербурге как у вас с прикреплением?»
(«Прикрепление» — отдача хлебной и продукто-

вой карточки в Продовольственную лавку: дело очень трудное — надо успеть вовремя, а большая очередь!).

«Н. А. Котляревский, — говорю, — в Академии на чугунной плите чугуном припечатал!»

Последняя ночь, завтра в путь. Собрали мы корзинку.

«А как же с блинами?» — жалко бросать. Заглянул я в окно: а на пруду лодки — сетками, как бабочек ловят, блины собирают.

VI

В Бресте подписан мир с немцами. Видел во сне М. И. Терещенко: на нем драная шапка и пальто вроде моего. А сегодня, слышу, его выпустили из Петропавловской крепости. Вчера сбрасывали с аэропланов бомбы на Фонтанке.

— Задавит, — говорят, — нас немец!

И называют число — 23-ье марта:

— 23-го марта немцы займут Петербург!

Разбегаются: кто в Москву, кто куда. Улепетнул и Лундберг, чудак!

Третий день, как лежит С. П.: опять припадок печени. Горе наше горькое!

— — Ф. Ф. Коммиссаржевский сказал, что неделю назад сошел с ума актер А. П. Зонов — помешался над вопросом: «какой роман труднее?»

И вижу: женщина с провалившимся носом, черная, караулит Зонова. Входит Л. Б. Троцкий, подает телеграмму — а там одна только подпись отчетливо по-немецки: «Albern».

VII

В Москве у Никольских ворот по случаю 1-го мая образ Николы завесили красной материей с надписью: «Да здравствует интернационал!»

«И вот без всякой естественной причины в несколько минут завеса истлела и стал виден образ: от лика исходило сияние».

— — Яков Петрович Гребенщиков реквизировал дом на горе. Какая гора, я не знаю: очень высоко, — может, Эверест! И дом так устроен, что часть комнат — под горою и выходят окнами к морю. Мы выбрали себе комнату наверху. И оказалось, что это кухня, только совсем незаметно — без плиты с особенными шкапами, в которых кушанье готовится само собой:

«Поставь, завинти, а через некоторое время вынимай и ешь, сколько влезет!» — объясняет «инструктор» инж. Я. С. Шрейбер.

В кухне Яков Петрович не посоветовал нам селиться. «Берите, — сказал он, — другую комнату: здесь будет вам очень жарко». И мы выбрали самую крайнюю с огромным во всю стену окном на море. И вдруг шум, с шумом открылось окно. И вижу, подплывает корабль. А из корабля трое во фраках, один на Г. Лукомского похож, а другие — под Сувчинского: тащут какую-то: — совсем пьяная, валится! А меня не видят.

«Затянись!» — говорит Лукомский.

«А наши вещи?»

«Крепче — — всё».

И вижу, корабли — уплывают: корабли, как птицы, а белые — как лед.

VIII

Я пишу отзывы о пьесах и читаю. И когда читаю, почему-то всем бывает очень весело и все смеются. Написанное откладываю для книги, которую назову «Крашеные рыла».

— — в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь — с большими запретами: очень много чего нельзя. Поздно ночью я вышел из своей комнаты в общую. Это огромная зала, освещенная желтым светом, а откуда свет, не видно: нет ни фонарей, ни ламп. Только свет такой желтый. В зале пусто.

Два китайца перед дверью, как у билетного столика. Дверь широко раскрыта.

И я вижу: на страшной дали по горизонту тянутся золотые осенние березки, и есть такие — срублены, но не убраны — висят верхушкой вниз, золотые, листья крохотные весенние. «Вот она, какая весна тут!» — подумал я. В зал вошли пятеро Вейсов. Стали в круг. И один из Вейсов, обращаясь к другим Вейсам, сказал:

«Господа конты, мы должны приветствовать сегодняшний день: начало новой эры!»

«Господа конты! — повторил я, — как это чудно: конты!» И подумал: «это какие-нибудь акционеры: у каждого есть «счет», и потому так называются контами. А сошлись эти конты, потому что тут единственное место, где еще позволяют собираться». И не утерпев, я обратился к Д. Л. Вейсу (Д. Л. Вейс служил когда-то в издательстве «Шиповник»):

«Почему вы сказали: конты»?

И вижу: смутился, молчит.

«Я об этом непременно напишу!» — сказал я.

«Очень вам будем благодарны, — ответил Д. Л. Вейс, — у нас торговое предприятие».

И вдруг вспоминаю: не надо было говорить, что напишу, — писать запрещено! И начинаю оправдываться; и чем больше оправдываюсь, тем яснее выходит, что я пишу и, конечно, напишу. И совсем я спутался. И вижу: дама в сером дорожном платье — жена какого-то конта. Я ей очень обрадовался: я вспомнил, что эта дама помогала нам перевезти наши вещи сюда.

«И Б. М. Кустодиев тут, — сказала она, — он тут комнату снимает!»

Успокоенный, что дурного ничего не выйдет из моего разговора, я пошел к входной двери. И тут какой-то шмыгнул китаец — и мы вместе вышли на маленькую площадку — —

Перед нами огромная площадь — гладкая торцовая. Желтый свет. А по горизонту далеко золотые березы. Китайцы старательно скребут оставшийся лед.

«Это в Германии их приучили в чистоте держать!» — подумал я. И вижу, из залы выходит очень высокий офицер, похож на Аусема. Да это и есть О. X. Аусем, я его узнал. Но он не признает меня.

«Вас надо в штыки!» — сказал Аусем.

А я понимаю: он хочет сказать, что я должен отбывать воинскую повинность.

«Никак не могу!» — и я показал себе на грудь.

«У нас все заняты, — ответил Аусем, — одни орут... да вы понимаете ли: «орут»?

«Как же, одни пашут...»

И мы вместе выходим в зал.

«Вы из Кеми?» — спрашивает Аусем.

«Нет, — говорю, — я из Москвы».

«А где же ваша родина?» — он точно не понимает меня.

«Я — русский — Москва — Россия!»

«Ха-ха-ха!» — и уж не может сдержать смеха и хохочет взахлёб.

И я вдруг понял: а и в самом деле — какая же родина? — ведь «России» нет!

IX

В ночь на Ивана Купала (по старому стилю) началась стрельба. Вчера убили графа Мирбаха. Я собрался в Василеостровский театр на «Царскую невесту», один акт кое-как просидел да скорее домой. Стреляют! И когда идешь, такое чувство, точно по ногам тебя хлещут.

— Восстание левых с-р-ов!

— — наверху в комнате стоит около стола Блок.

«Я болен!» — говорит он.

И вижу, он грустный. И тут же Александра Андреевна, его мать, в дверях.

«Лепешки, — говорит она, — по 3 рубля: два раза укусить».

О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ

От слов Гераклита Ефесского

Есть суд над всем, что дышит, живет и растет,
суд огнем.
Огонь
последний судия — все судит и все разрешает.
А молния — кормчий.

Последнее испытание
через огонь.
Огнем
очищается персть.
А молния кормчий.

Пожжет огонь все, что горит!
В огненном вихре проба для золота
и гибель пищи земной.
И вместо созданного останется
одно созидаемое —
персть и семена для роста.

Все, что дышит, живет и растет,
станет дымом.
И ты своими ноздрями почуешь:
противоборствующее — соединяет,
а разнообразие преображает в гармонию,
гармония возникает из борьбы.

Молния — кормчий.
Огонь очистительный!
А справа идет его брат
— война —

царь и отец всего,
властитель над богами и людьми;
творя новое право и новую жизнь,
указует судьбу рабов и свободных.

Вечная распря
— война! —
движет весь мир,
распределяет долю.
И все возникает из распри и судьбы.

Все совершается в круге судьбы.
Всякий свет побеждаем.
Свет же последнего суда неизбежен.
И куда убежишь от осиянности?

Сама судьба полагает предел совершения:
безмерно взлетевший низко падет.
И каждому — по его духовной потребе:
ослы солому предпочтут золоту.

Все совершается в круге судьбы.
Люди, звери и камни родятся, растут,
чтобы погибнуть,
и погибают,
чтобы родиться.
Всякий гад бичом Бога пасется.

И сила через судьбу становится правом.
В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
Право правит вселенной,
силой давя на человека.
Разорение права — пожар.
Его ты залей скорей, чем пожар!

В начале была сила,
по судьбе сила стала правом.
И что бы сталось без права?
Хаос, распадение, пыль.
Да станет народ за право,
как за родные стены!

Судьба всемогущая!
Великое единство пути!
          вверх и вниз,
          спасения и гибели!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?
Не слабые духом, слепленные из грязи,
          свиньи в золоте,
куры, купающиеся в пыли и золе.
          Судьба! всемогущая!
Кто тебя минует, кто тебя избежит?

ЛЕСОВОЕ

Поднялись чуть свет. Для меня такая мука куда-нибудь ехать. Верно, и на тот свет также будет, но я покорюсь. Как, покоряясь судьбе, сейчас поднялся, чтобы ехать в деревню к Соколову. Деревня для меня тоже другой свет.

Терпеливо ждали трамвая на углу 7-й линии и Среднего проспекта около дома, где жил когда-то Ф. К. Сологуб. (Его выселили, и теперь тут Совдеп!) Поезд вышел около 10-ти. Места попались хорошие. И ни одного солдата — это не прошлогоднее, когда ехали в Берестовец: клюк-топ-дробь-мат. К вечеру приехали на станцию. Передохнули после вагонной встряски в опустелой чайной Ракосуя (хорошая фамилия!) и на лошадях — в Кислово. Путь 50 верст по-прямому, а по-косому — —? Мы ехали по-косому.

И опять поле (гляжу, как с того света!) — трава (трава растет и в революцию и после революции!) — деревья (помещичьи или крестьянские, им безразлично!). Я как будто проснулся: трава — поле — деревья! Я как из могилы — мне сказали: «иди на землю, живи опять!» — и вот я вышел.

Деревнями проезжали, везде лес сложен.

— Будет новая стройка!

Точно в лесное гнездо попал, когда совсем уж в ночь приехали, наконец, в дом в Кислово.

Лесавки, лесовое, лесное — —

*

Лесавки, лесовое, лесное — —

Уж очень мы дома изголодались, а тут столько хлеба! И хочется взять и неловко. Что-то снится, но не различаю. Или воздух действует? или не вжился? или еда?

Смотрю в окно — в сад:

«Как хорошо в Божьем мире!»

Всякий день меня водят на прогулку к «семи дубкам» (их всего-то два, но так по привычке говорится, к семи — пять в революцию срезали на полозья!). От «семи дубков» на «лысую гору», с лысой горы в лес.

По камням я ходить умею, а по земле трудно — нога подвертывается. Иду несмело, смотрю по сторонам:

«Как хорошо в Божьем мире!»

*

Пекли хлеб из новой муки: хлеб зеленоватый. Ели так, чтобы на год! — не жаловаться.

Читаю единственную газету: московскую «Бедноту».

*

В хлеб въелись, больше не манит: лежит на столе такой кусище — не смотришь. И непонятно, как это всю зиму — сколько об этом было разговору! Да, сытый голодного не разумеет!

Какой сегодня чудесный вечер — осенний. Ясно, тихо, — осенне. В саду и на лугу желтые цветы, как по весне, одуванчики — second второцветы. Днем прилетают с озера стрекозы в сад — «женятся»! В лесу тишина, птицы молчат, перепели все песни, и одна только не поет, а стонет —

«Как хорошо в Божьем мире!»

*

«Как хорошо в Божьем мире!»

Но я не могу долго жить в деревне. Этот черед жизни: едят, растут, женятся — зелено, грязно, тихо — лесавки, лесовое, лесное. Нет, не могу я по «естественным законам» и в постоянном страхе перед погодой.

Пора домой — на камни и голод!

И тянутся нетерпеливые дни: скучно — домой!

Я вспоминаю В. Ф. Нувеля: один-единственный раз за всю свою жизнь выбрался он из Петербурга не в Мартышкино, где жил Сомов, а в настоящую деревню, как это вот Кислово, и на лоне природы в ухо залезла к нему уховертка. И уж мне мерещатся везде эти нувелевские уховертки.

Вот и голода нет, одолела забота.

*

Лесавки, лесовое, лесное — — прощайте!

Сегодня вернулись домой в Петербург. Когда входили во двор, навстречу старик Успенский, и не здороваясь, голодный:

— Хлеб привезли? — спросил он и с завистью и с отчаянием.

За эти недели закрыты все «буржуазные» газеты и журналы! А идет зима — —

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ

«Вошли мы в щель четвертую — —»

День кончился — сутолка и бестолковщина!

день — наполненный голодными порываниями и самыми хитрыми изобретениями добыть какую-нибудь снедь; день — кружащийся между службой, стоянием в очередях, ожиданием и жалким обедом.

А когда-то я не думал о насыщении. Странно подумать, что это было когда-то. И странно думать, что я еще жив.

Вся боль моя канула — и вот, как пар, поднялась к ушам моим и глазам: и все, что я вижу, и все, что я слышу, проникнуто болью. Улица, встречные — люди, звери, машины — больно бьют меня по сердцу. И я не могу отвести глаз — они же не видят меня.

*

Ночь — петербургская. Ни огонька. Весь наш каменный мешок успокоился.

А за стеной шуршит, кашляет — это сосед мой бессонник.

Только вдвоем мы не спим: он — потому что душа у него ночная, душа его дышит ночью; я — моей работы никогда не окончить и рука коченеет, а я сижу, и погаснет тоненькая свеча (этот единственный свет!), а я буду так же сидеть.

Тут и мои книги — мало их у меня осталось! — Гоголь, Достоевский...

Гоголь: «поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его».

— Николай Васильевич! — какие огни? Или не слышите? Один пепел остался: пепел, зола, годная только, чтобы вынести ее на совке да посыпать тротуары. А потом растопчет чья-нибудь американская калоша.

*

Сосед умолк. А под утро, знаю, опять начнется — этот кашель его сверлящий.

Все замолкло — мертвый каменный мешок! — великое молчание свободы.

Как часто теперь я больше не чувствую свое тело: я как бы отделяюсь — великое молчание свободы! — и нет никаких желаний.

У меня было много приятелей — и все куда-то пропали!

Остался один: не забывает — зайдет, присядет к столу — одно ухо длинное, острое, а глаз, как три глаза! Говорит же он со мной половинкой своей обыкновенной с ухом и глазом обыкновенным: говорит о пайках, категориях, литерах. А другой половинкой ужасной так ужасно смотрит — —

— — —

Нет, сосед не успокоился, бессонник, опять закашлял.

— Федор Михайлович! Что я сегодня видел! — видел я издыхающую собаку: она сидела под забором как-то по-человечески и в окровавленных губах жевала щепку.

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ

I
КОНСТИТУЦИЯ

1. Обезвелволпал (обезьянья-великая-и-вольная-палата) есть общество тайное —

происхождение — темное,
цели и намерения — неисповедимые,
средств — никаких.

2. Царь обезьяний — Асыка-Валахтантарарахта-рандаруфа-Асыка-Первый-Обезьян-Великий:

о нем никто ничего не знает,
и его никто никогда не видел.

3. Есть асычий нерукотворенный образ — на голове корона, как петушиный гребень, ноги — змеи, в одной руке — венок, в другой — треххвостка.

4. Гимн обезьяний:

я тебя не объел,
ты меня не объешь,
я тебя не объем,
ты меня не объел!

5. Танец обезьяний: «вороний» — в плащах, три шага на носках, крадучись, в стороны и подпрыг наоборот с присядом, и опять сначала.

6. Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды.

7. Три обезьяньих слова: «ахру» (огонь), «кукха» (влага), «гошку» (еда).

8. Принято отвечать на письма.

II

МАНИФЕСТ

Мы, милостью всевеликого самодержавного повелителя лесов и всея природы —

АСЫКА ПЕРВЫЙ

верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова, объявляем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым, приверженцам нашим, что здесь в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались; а потому тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян бесхвост, надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отравителей в своем рабьем присяде, как будто откликающихся на вольный клич, но не допускающих борьбу за этот клич, не могут быть допустимы в ясно-откровенном и смелом обезьяньем царстве, и всякие попытки подобного рода будут караемы изгнанием в среду людей человеческих, этих достойных сообщников лицемеров и трусливых рабов из обезьян, о чем объявляем во всеобщее сведение для исполнения; дан в дремучем лесу на левой тропе у сороковца и подмазан собственнохвостно; скрепил и деньги серебряной бумагой получил бывш. канцелярист обезвелволпала cancellarius —

III

ЛОШАДЬ ИЗ ПЧЕЛЫ

— хождение по Гороховым мукам б. канцеляриста и трех кавалеров обезвелволпала —

ДОНЕСЕНИЕ

старейшему князю обезьянему Павлу Елисеевичу Щеголеву.

В ночь на Сретение, в великую метель и вьюгу по

замыслу нечистой силы или от великого ума человеческого, произведен был обыск в Обезьяньей-великой-и-вольной-палате и забран б. канцелярист обезвелволпала. И в ту же ночь той же участи подверглись три обезьяньих кавалера — К. С. Петров-Водкин, А. З. Штейнберг и М. К. Лемке; а на Карповке взят епископ обезьянский Замутий (в мире князь обезьянский Евг. Замятин), а на Забалканском кавал. обеззн. К. А. Сюннерберг-Эрберг, а на Загородном председатель (и не обезьяньей) — Книжной Палаты С. А. Венгеров. Поименованные: Сюннерберг-Эрберг, епископ Замутий и председатель Венгеров, допрошенные на Гороховой, отпущены по домам, причем во время допроса у одного из потерпевших съедены были котлеты, хранящиеся на случай в портфеле —

> *«точно не знал, что места сии обитаемы разбойниками!»*

На следующий день к ночи захвачен был кавал. обеззн. А. А. Блок, а другой кавал. Р. В. Иванов-Разумник отправлен со Шпалерной из Предварилки на Москву.

Поутру по обедне через обезьяньего зауряд-князя было донесено о ночном происшествии в обезвелволпале Алексею Максимовичу Горькому, и что делать: не вышло бы какой беды — написаны обезьяньи грамоты на глаголице! — а на глаголице и такие ученые, как Пинкевич, и даже сам Н. Н. Суханов не понимает! А гулявший последние часы на свободе А. А. Блок, несмотря на праздничный день, проник во Дворец к самому наркому А. В. Луначарскому с жалобой на обезьяню неприкосновенность обезвелволпала.

Так было ликвидировано, как говорится, восстание «левых с-р-ов» в Петербурге.

ОБЫСК

Сон: «пес в тазу» —

> огромный медный таз, как резиновый, наливаем кипятком, и в тазу стоит огромный пес, фурчит, а ничего; а тут С. В. Познер отпихнул ногой дверь и несет на блюде пирог.

Днем газета — в газете слова Спиридоновой: «слушай, земля!» И подумалось: «обыск!» Не обратил внимания: о ту пору обыскная мысль и надо и не надо лезла в голову.

С вечера мело — завтра Сретение! Зажег лампадку и при огоньке взялся за книгу — «Исследование о Михаиле архангеле». Читая, рисовал. И когда под крыльями подписывал: «Salve abductor angele!» («Радуйся ангеле-водителю!»), слышу, стук шагов по лестнице. Я зажег лампу и с лампой к двери —

«— — вооруженные до зубов ворвались чекисты — —»

Мне показалось, очень много и очень все страшные — «до зубов», но когда моя серебряная стена с игрушками зачаровала пришельцев, я увидел простые лица и совсем нестрашные, и только у одного пугала за плечами винтовка.

— Годится ли от лампадки закуривать? — заметил мне который-то.

— Да я спичкой огонек беру!

Но это все равно, хотя бы и нестрашные — и это всегда при обысках! — как будто нахлестнется на шею — и петля!

А в «Обезьяньей-великой-и-вольной-палате» ни хлеба, ни чего — все подобралось! — а только сухариков немножко, на случай болезни берег, да табаку собрал в коробку, так на донышке, черные сигарные листы, завязал всё в узелок, и повели —

А на воле метет!

ПОВЕЛИ В СОВДЕП

Захлестнулось — теперь никуда! — иду, как на аркане, и странно, как по воздуху, вот настолечко от земли! — фонарь — в фонаре свистит, ишь, запутался в трамвайной проволоке, ну! —

забегает — забегает — —

нет, не поддается!

— — да хлоп комок под ноги!

и ускакал.

Идем по трамвайным рельсам. Снег в глаза, а не холодно. Еще бы холодно!

— Куда?

Молчит.

Я оглянулся: а за спиной черно — черной стеной закрывает.

ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ В СОВДЕПЕ У ПЕЧКИ

— Придется подождать: приведут еще товарища!

Это сказал не тот, который меня вел, — тот, как снежок, прыгнул в метель — это другой.

Я забился в угол головой под лестницу. Между мною и моим стражем прислонена к лавке винтовка. Он подбросил полено в раскрасневшуюся печку — и красным пыхну́ло жаром.

Он — рабочий с Трубочного завода,
а я — —

— Саботажник?

— Нет.

— — —?!

Недоверчивым глазом посмотрел на меня вполуоборот и так недоверчиво-подозрительно и остался, а другой его глаз туда — в метельную темь.

«в этом доме до Совдепа жил Ф. К. Сологуб, и сюда под лестницу засидевшиеся гости спускались будить швейцара, и нетерпеливо ждали, когда швейцар крякнет — »

— Ведут!

Громко, без стеснения, распахнулась дверь —

К. С. Петров-Водкин!

Я ему очень обрадовался.

Съежившийся растерянно смотрел он из шубы, еще бы! ведь всю-то дорогу, как вели его, он себе представлял, что ведут его на расстрел — «китайцы будут расстреливать!» — и в предсмертные минуты он вспомнил все свои обложки и заглавные буквы и марки, нарисованные им для «Скифов» и «Знамени борьбы» — —

И вот вместо «китайцев» — я:

— Козьма Сергеевич!

— Трубку потерял, — сказал он, обшариваясь, и не находя.

Нас вели по знакомой лестнице — всё вверх — «к Сологубу».

У «СОЛОГУБА»

Ничего не видно

— храп — и ползет — —

Присели к столику, закурили и ни гу-гу. В двери окошечко — жаркóй свет. За дверью шумели «китайцы», потом «китайцы» по-немецки стали разговаривать, а потом «китайцы» замолкли —

— храп — и ползет — —

«— мы сидим в «зале у Сологуба», и мне ясно представился последний вечер у Сологуба на этой квартире: елка — тесно — какой-то пляшет вокруг елки, а елка вот тут, где сейчас мы сидим у столика.

«Кто этот молодой человек?» — спрашивает меня Е. В. Аничков.

А я и не знаю и говорю наобум: «Дураков!»

Артур Лурье и с ним Л. Добронравов у стенки там — а там М. А. Кузмин, О. А. Глебова-Судейкина, Теффи — — А вот и сам Павел Елисеевич Щеголев; а за ним П. Я. Рыс, а за Рысом на комариных ножках С. А. Адрианов —»

— храп — и ползет — —

Чья-то рука пошарила по столику. Ловко, как из отрывного календаря, оторванула — на столике книга! — и во тьме загорелся еще огонек.

«Беда, — подумал я, — коли надобность выйти!»

А какой-то, восставший из тьмы, стучал в дверь «китайцам» — а «китайцы» как вымерли. Так несчастный и откулачился от двери и упал во тьму.

И мы, обкурившись, опустились на пол.

И сон — и сквозь сон пить хочется! — сном затянулся, как папироской, беспамятно —

— — — — — — — — — —

и вдруг — распахнулась дверь и остренький тощенький, вскоча в комнату, затаратал, как будильник.

И я сразу проснулся.

ПОУТРУ

Да нас тут набилось — целый клоповник!

здесь сидел Иван Степанов Петров
лошадь из пчелы за спикуляцию

— — спекуляция? — говорит какой-то со сна с перемычками, — что такое спекуляция?

— — обольем тебя водой и заморозим — это спекуляция!

Яшка Трепач
чека — лка

— — свобода! она хороша, когда есть своя голова; а голова не то, чтоб была она свободная, а как сказать, настоящая голова, а не пыльный мешок.

— — натравливают, ну и каждый делается, как собака.

— — клюет свинство.

Поздравителям 1918 года:
б. полотеру — 2 р.
б. швейцару — 5 р.
б. водопроводчику — 1 р.
б. трубочисту — 1 р.

— — волки и те стадом ходят!

— — вчера заставили дрова носить.

— — тоже и воду, и прибрать все надо.

— — —

Осмотрел я стену, исписанную и карандашом и углем и мелом: телефоны, фамилии и всякие «нужные» и так изречения и «на память». И опять к столику, где ночью сидели. Тут и Петров-Водкин поднялся.

— Трубку потерял! — тужил он, никак не мог забыть.

Я взял со стола растерзанную книгу, служившую как отрывной календарь, — и сразу же узнал: это мои «Крестовые сестры».

— «Крестовые сестры!» — показал я Петрову-Водкину.

Но он ничего не ответил.

А я ничего не подумал — а прежде бы подумал да еще как! — я положил книгу назад на столик.

— — —

Хотелось мне списать со стены, а из «Крестовых сестер» выдрать страницу пожалел; на полу валялся примятый листок — на нем Петров-Водкин ночевал, вот на нем —

Яшка Трепач принес что-то вроде кипятку — Яшка Трепач староста! — но пить не из чего было.

— Скажите, пожалуйста, — обратились мы оба к Яшке, — долго нам тут сидеть?

— Если на Гороховую не затребуют, засядете надолго.

— Может, нас, как заложников, тут оставят? — в один голос сказали мы Яшке.

— Заложников? — Яшка окинул нас веселым глазом, — такую дрянь!

Вошел «китаец» и сказал чистым русским языком:

— Которых привели ночью — —?

Мы с Петровым-Водкиным выступили.

— Заложники! — поддал Яшка, — ну и народ!

— Нет ли хлебца! — остановил ледящий, которого вчера заставили дрова таскать на 6-ой этаж.

— Хлеб не отдавай! — окрикнул кто-то вдогон, — с Гороховой скоро не выпустят.

А когда мы с «китайцем» выходили из «залы Сологуба», в проходе столкнулись со Штейнбергом и Лемке: они ночевали в «кабинете Сологуба» —

Штейнберг — в женской шубе,
Лемке — с таким вот чемоданом, какие только в багаж сдают.

В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Нас принял тощенький остренький — я сразу его узнал, это тот, что во сне мне приснился: вбежал в камеру и затаратал, как будильник. Он отобрал у нас документы: паспортные книжки и удостоверения на всякие права.

Получить удостоверение — это большая работа, и я очень забеспокоился.

— Прошу вас, не потеряйте!

— Не беспокойтесь: поведут на Гороховую, отдам.

И он стал звонить на Гороховую.

ему отвечали и не отвечали.

А он все звонил.

— Товарищ Золотарь, неуёмная головка! — заметил который-то из стражи, ну, конечно, никакой не китаец, а самый наш откуда-нибудь с Трубочного завода.

Мы сидим перед столом в ряд:

Штейнберг в женской шубе,
Петров-Водкин — из шубы,
Лемке — с чемоданом, какие только в багаж сдают,
и я с узелком.

— Шесть месяцев в Кронштадте сидел, — объясняет Лемке, не выпуская из рук чемодана, — знаю по опыту.

На столе у товарища Золотаря огромная фарфоровая голубая лягушка — стоит она на задних лапках, «служит».

Я смотрю на эту голубую, ни на что не похожую, лягушку, и почему-то вспоминается мне такой нравоучительный рассказ из «Азбуки для самых маленьких», и я повторяю слова:

«— — пролил Лука чернила — плакал Лука»;

«— — съел Лука муху — плакал Лука»;

«— — кувыркнулся Лука со стула, стукнулся головой об пол — плакал Лука»;

«— — схватил Лука огонь, обжег пальцы — плакал Лука»;

— — —

А Золотарь звонит.

ПОВЕЛИ НА ГОРОХОВУЮ

«— — окруженный кольцом вооруженных до зубов чекистов — —»

И действительно, стражи набралось что-то немало: и милиционеры и красноармейцы и еще с Гороховой какие-

то. Но должно быть, все это только для виду — опытный глаз Яшки Трепача не ошибался! — нас посадили в трамвай, на прицепной. И везли до самой Гороховой на трамвае. А от трамвая шли мы врассыпную.

И это совсем не то — не та картина! — и встретя, никто не сказал бы про нас, как недавно еще говорили про «книгочия василеостровского», встретив его на Большом Проспекте, окруженного матросами: вел он матросов показывать Публичную Библиотеку:

«Якова Петровича, — говорили с сокрушением, — видели, говорят, на Большом Проспекте, борода развевается: вели его, несчастного, матросы расстреливать!»

ПО ЛЕСТНИЦЕ НА ГОРОХОВОЙ

Когда я поднимался по сводчатой лестнице мимо подстерегающих пулеметов, я представлял себе, что может чувствовать человек, никогда не проходивший ни через какие лестницы, ни в какие тюрьмы —

а ведь кажется, никого не оставалось из живущих в Петербурге, кому не суждено было за эти годы пройти через сыпняк или по этой лестнице!

Какие страхи мерещились несчастным, застигнутым нежданно-негаданно судьбою, и какой страх гнался и цапал со всех сторон, и не пулеметы, а сами нюренбергские бутафорские машины и снаряды пыток лезли в глаза, цепляя, вывертывая и вытягивая.

Петров-Водкин догнал меня со своим конвойным.

В ГОРОХОВОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Старичок-«охранник» бритый с зелеными губами — а вот кто, если бы смотрел, сколько бы увидел обреченных человеческих чувств! —

или когда такое творится (и эта не-обходимая лестница и этот не-отвратимый «прием»!) и уж не в воле человеческой, а судьба и суд, — и смотреть не полагается?

Не глядя, поставил он нас — Петрова-Водкина одесную, меня ошую — раскрыл книгу и под каким-то стотысячным

№-ом стал записывать одновременно и мое и Петрова-Водкина.

и кем был и чем есть и откуда корень и кость
и много ль годов живу на белом свете?

Потом отобрал документы, уже прошедшие через Золотаря, и велел подписаться в книге каждому порознь под своим №-ом.

И поддавшись всеобщему чувству — перед судьбой и судом! — я, как когда-то на вступительном экзамене в приготовительный класс под диктовкой — «коровки и лошадки едят траву» — вывел нетвердо, но ясно вместо «Алексей Ремизов» —

Алекей Ремзов

КАМЕРА 35-ая
КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ И САБОТАЖ

— «Алекей Ремзов?»

— Я.

— «Петр Водкин?»

— Тут! — отозвался Козьма Сергеевич.

Все тут были: и Штейнберг в женской шубе, и Лемке с чемоданом, какие только в багаж сдают. И еще незнакомые: одни сидели, других сажать привели —

баба с живым поросенком: шла баба по спекуляции, попала на обыск и угодила в контр-революцию;

дама с искусственными цветами: «дверью ошиблась» и попала в засаду;

балт-мор: наскандалил чего-то;

красноармеец из «загородительного отряда»: бабу прикончил, загораждая;

человек с огромными белыми буквами на спине — как слон! — беглый из германского плена;

да два «финляндца»: перебегали границу — прямо с границы.

Всякий рассказал другому свои происшествия; как и почему попал и попался. Но больше некому рассказывать.

— И долго ли нам еще тут томиться?

И наползают всякие страхи: за окном автомобиль стучит — «пары выпускает» — и я вижу, как прислушивается баба с поросенком и поросенок не пищит.

— Автомобиль пары выпускает, известно: расстреливают!

ОБЕД

Немножко поздновато, ну, когда целый день пост, тут, хоть и в полночь, а все обед будет, не ужин! Поставили миску на стол и ложку:

— Обед.

— Спасибо.

У Штейнберга ложка, а у Лемке в его чемодане целая дюжина, да вынул он одну (по опыту знает, больше не стоит!), да казенная. Сели мы вкруг миски и чередом в три ложки принялись за суп.

И поросенок оживился: хрючит, клычки скалит, хвостиком поддевает — ну, ему баба кусочек хлеба в пятачок сунула:

— Кушай!

Так всю миску и подчистили.

Унесли пустую миску, убрали ложки.

— И долго ли нам еще тут томиться?

А говорят:

— Подожди — следователь вызовет!

Первым вызвали Лемке.

Взял Лемке свой чемодан, и повели его с чемоданом куда-то в коридор. И пропал Лемке.

Пропал Лемке! — — а за окном автомобиль стучит — «пары выпускает» — —

— И есть тут, сказывали, — шепчет баба с поросенком, — находится надзиратель, петухом кричит: расстреливал и помешался — петухом кричит.

ДОПРОС

Что подумает баба с поросенком, когда придет и ее черед и ее введут в следовательскую к товарищу Лемешову!

Не следователь — Лемешов свой человек, баба это сразу сообразит по говору с его первых слов! — нет, а эти вот машины: телефонные коммутаторы и аппараты и синий свет от абажура, от чего машины еще стальнее. И из тьмы, куда не попадает этот свет, почудится ей, как прорезывается решетка тюремного окна, а за словами допроса стук автомобиля и из стука петушиный крик расстреливающего надзирателя.

Штейнберг дописывал свои показания, а мы с Петровым-Водкиным начинали.

И как там на «приеме», так и тут один запев:

чем был и что есть и какого кореня и кости
и много ль годов живу на белом свете?
— — —
— — —

Я писал завитущато — и перо хорошее и сидеть удобно и свет такой, не темнит и не режет! — и в конце подпись свою вывел:

с голубем, со змеей, с бесконечностью —
с крылатым «з», со змеиным «кси»
с «ѣ» — в Алексее
с «ижицей» — в Ремизове
и с заключительным «твердым знаком»

Штейнберга отправили назад в камеру, а нас с Петровым-Водкиным — в коридор.

Лемешов с бумагами проскочил наверх в «президиум».

ПРЕЗИДИУМ

Что такое президиум? Но этого никто не скажет — что такое президиум! — потому что никто его не видел и ничего не знает. И одно знаем, что там решается наша судьба —

это зубы и пилы и крюки и ножи и стрелы и

глазатые уши и зубатые лапы, это нос пальчетовидный и пальцы с зубами — синее, желтое, красное и черное, это — судьба!

Мы сидим в коридоре на чемодане Лемке — сам Лемке в камере — и очень хочется пить и еще такое, как бывает после допроса: как будто кто-то там внутри по внутренностям провел посторонним предметом — «механическое повреждение».

Ни к обыскам, ни к допросам не привыкнешь — я не могу привыкнуть! — и мне всегда чего-то совестно и за себя и за того свидетеля моих слов, кто меня допрашивал. И это не только в тюрьме, а и в жизни — на воле!

Нельзя ли сорганизовать чаю! — взмолились мы к служителю.

Служитель шмыгал по коридору без всякой видимой причины.

— Это можно! — сказал он и посмотрел на нас добрыми глазами.

И откуда что взялось: кипяток и чай — и такой горячий, губы обожжешь.

Развернул я мой узелок сухариков попробовать — «берег на случай болезни!» И с сухариками стали чай мы пить и пересказывать наши ответы на допросе —

никогда так не говорится, как после скажется, а что сказано, не выскажешь!

И когда мы так в разговорах горячий чай отхлебывали, из другой двери от другого следователя вышла баба с поросенком. И повели ее, несчастную, мимо камеры «контр-революции» в соседнюю — в «спекуляцию».

И видел я, как шла баба — — нет, о себе она уж не думала: один конец!

«А за что ему такое? — поросятине несчастной? в чем его вина, что ему здесь мучиться?»

У КОМЕНДАНТА

Лемке — с чемоданом,
Петров-Водкин — в шубе,
и я с узелком — —

терпеливо ждем в комендантской, куда нас привела судьба по суду.

Уж очень время-то неподходящее: пора спать, а тут затребовали бумаги! И комендант долго роется в груде. И отыскав, наконец, под стотысячным №-ом наши документы и удостоверения, выдал их нам на руки.

— Нельзя ли получить какой ночной пропуск, а то выйдем мы на волю, нас сейчас же и сцапают!

— Не сцапают!

И никакого нам пропуска не дали.

А тихо-смирно — ночное время! — провели по лестнице вниз и на улицу — на Гороховую.

Вышли мы на улицу, воздухом-то как с воли дунуло, шагу-то и поддало, и! — пошли.

ПОД МОСТОМ

Шли мы по улице — посередь улицы, где трамвай идет —

Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке.

А сугробы намело — глубокие!

Не мостом, идем прямо по Неве под мостом: незаметнее!

И видим: по мосту черные гонят каких-то — сцапали! Луна сретенская — так и зеленит. Незаметно идем, да тень-то от нас на пол-Невы.

— — то там промелькнет, то из сугроба выюркнет
черный по белому, по лунному — —

Выбрались мы на берег. Тут заколоченный магазин, а сбоку вывеска «чай и кофе» — прижались к «чаю и кофею» —

Да нет никого!

И опять пошли —

Петров-Водкин,
Лемке,
и я, цепляясь за Лемке —

— Тридцать лет с женой под ручку не ходил, а вот с Ремизовым пошел!

IV

РОЖЬ

— Скажите, Яков Гаврилович, где бы мне ржи достать?

— А вам зачем?

— Да у нас вместо хлеба всё овес выдают, надоело; хочу из ржи кашу делать. Вон И. А. Рязановский эту самую кашу, как лакомство, употребляет. Только что тяжеловато, говорит, а каша хорошая.

— На Знаменской попробовать если...

Яков Гаврилович книжный человек, своя лавка — и новые книги и старые, всё, что хотите — но он и в этом деле понимает: Яков Гаврилыч первый присоединился к лозунгу — «без аннексий и контрибуций!»

— Яков Гаврилыч, достаньте, пожалуйста. Я по таким местам не хож: меня везде чего-то боятся. И насчет табаку...

— Этот номер не пройдет, табаку не могу, некурящий, а ржи постараюсь.

Я отложил книги, какие у меня были понаряднее — с книгами приходится расставаться! — отсчитал мне Яков Гаврилыч денег за них тысячи советскими, связал книжки так, чтобы удобнее на санки положить, и мы простились.

— До свидания, Яков Гаврилыч, большое вам спасибо!

— До свидания-с! До будущего воскресенья.

А я ему еще раз вдогонку:

— Ржи-то!

— — —

*

В воскресенье опять я отложил книг, какие повиднее. После обеда пришел Яков Гаврилыч, забрал книги, а вместо тысяч — пакет ржи.

И вот, когда я, пересыпав рожь в коробку, свертывал бумагу — всякая бумажонка это драгоценность большая и зря бросать не годится! — вижу какие-то знаки не то эфиопские, не то глаголические, и отложил листки. А вечером пришел П. Е. Щеголев — «старейший князь обезьяний»! — разговорились о чем-то литературном, отошел я к полкам книгу какую-то отыскать, а он, как

всегда, «машинально» листки-то эти подозрительные со стола взял — —

— Откуда, — говорит, — это у вас такое?

— Что там?

— Да это ж обезьянье!

— Вот чудеса! — неужто обезьянье?

И сели мы с ним разбирать знаки — не то эфиопские, не то глаголические — обезьяньи: «донесение обезьяньего посла обезьяньей вельможе»:

*

«— — спешу уведомить тебя, друг мой, что «положение дел в великой белой империи страшно «изменилось: все люди вышли из скотских загонов «и объявили, что они человеки, но при этом «они стали разбрасывать нечистоты на площадях «и улицах, утверждая, что во всеобщем засорении «заключается истинная свобода. Вожди их гово- «рили, что людей единственно можно убеждать, «отказавшись от всякого принуждения, поэтому «никто никого не стал слушаться. И каждый стал «делать, что хотел. Ты знаешь, что у нас, в «обезьяньем царстве, свободно-выраженная анар- «хия, но она подчинена строгим правилам и вы- «работанным формам, которым каждый подчиня- «ется совершенно свободно. Например, хотя бы «при переправе через реку — все берут один «другого за хвост и таким образом переплывают «цепью. Каждый понимает, что иначе перепра- «виться нельзя, либо он утонет. Слабые же дети «переходят по живому мосту сплетенных обезьян. «Представь себе у людей — этих напыщенных «дураков! — совсем иначе: они стали не облегчать «себе жизнь, а затруднять, причиняя всевозмож- «ные насилия во имя свободы и заставляя каждого «заниматься несвойственным ему делом. Особен- «но нам, интеллигентным обезьянам, было смеш- «но, когда писатели скалывали лед на улицах и «разгружали барки с дровами. Нет, я никогда не «унижусь до того, чтобы когда-нибудь захотеть «стать человеком, как об этом мечтала моя ба-

«бушка, находившаяся в крепостном состоянии у «бывшего барона фон-Пфиферганга в городе «Штумбенбурге. Мы видим противоположное яв-«ление: наиболее почтенные из людей с удоволь-«ствием отказываются от своего человеческого «достоинства и, переходя в наши ряды, становятся «подданными великого Асыки. Нужно сказать «правду, превратиться из человека в обезьяну не «так трудно, хотя и нелегко отказаться от пред-«рассудков, связанных со чванной человеческой «породой. Преимущества же обезьян, если взгля-«нуть трезво, безусловно выше человеческих — —

*

«Обезьянье свидетельство заменяет визы во все «государства и дает бесконтрольный пропуск в «леса, в поля, в болота и прочие трущобы всего «земного шара.

«Дано сие свидетельство кавал. обеззн. (имя рек) «в том, что он поименованный кавал. обеззн. «имеет неограниченные права переходить, пере-«езжать и перелетать все границы и через любые «заставы, поставленные «свободолюбивыми» че-«ловеческими ячейками, и не связан никакими «обязательствами и клятвами и никому ничего «не должен — волен делать, что хочет, и думать, «как взбредет в голову, храня хвост».

V

АСЫКА

Нас стянули со всех концов света: из Австралии, Африки и Южной Америки, и я, предводитель обезьян, опоясанный тканым, гагажьего пуха поясом, ломал себе голову и рвал на себе волосы, не зная: как вырваться из цепей, которыми мы были скованы по рукам и ногам, и улепетнуть на родину! Но было уж поздно: прогнав по целине через поля, нас выстроили, как красноармейцев, на Марсовом поле, и герольды в золоте со страусовыми перьями на

шляпах, разъезжая по рядам, читали нам приговор. Нас, обезьян, обвиняли в непроходимом распутстве, злости, бездельничанье, пьянстве и упорно-зланамеренной вороватости, и, признавая необыкновенно блестящие природные способности к развитию и усовершенствованию, приговаривали: применить к нам секретные средства профессора Болонского университета рыцаря Альтенара, потомка викингов Гренландии, Исландии и Северного Ледовитого Океана. Со слепой материнскою любовью и негодованием следил я, как, по совершении всех шутовских церемоний, началась расправа. Эти «гуманнейшие умники» потехи ради прокалывали нас сапожным шилом и потом били железными молотками; а другим намазывали шерсть мягким и горячим варом, и, закатав в массе вара веревку и прикрепив ее к телу, продергивали в хомут свободной и сильной лошади и волокли по земле под гик и гам, покуда не издыхала жертва; третьим тщательно закалывали губы медными английскими булавками. И много еще было сделано, как обуздание — потехи ради. Когда же Марсово поле насытилось визгом и стоном, а земля взбухла от пролитой обезьяньей крови, а народ надорвал себе животики от хохота, прискакал на медном коне, как ветер, всадник, весь закованный в зеленую медь: высоко взвившийся аркан стянул мне горло — и я упал на колени. И в замеревшей тишине, дерзко глядя на страшного всадника, перед лицом ненужной, ненавистной, непрошенной смерти, я, предводитель обезьян Австралии, Африки и Южной Америки, прокричал гордому всаднику и ненавистной мне смерти трижды петухом.

ТРИ МОГИЛЫ

Первая могила — на Смоленском:

от сыпного тифа помер доктор Сергей Михайлович Поггенполь.

Точный и верный, знающий и любящий свое дело, железный, вот какой он был доктор железный! — «самый главный над всеми докторами», как определила его Акумовна, вещая старуха.

Ученые люди помянут его, расскажут о его науке, а я — как часто я думал: «если, не дай Бог, случится у нас беда, позвоню Поггенполю, буду просить его приехать (на Васильевский остров он никогда не ездил!), ну, чего бы ни стоило, все сделаю, только бы приехал!» — и теперь помяну его моей верой в его знание и верность.

*

Вторая могила в Александро-Невской лавре:

от сыпного тифа помер Федор Иванович Щеколдин.

Не могу я никак свыкнуться с этой бесповоротной мыслью о его смерти. С похорон вернулся домой, поставил самовар и подумал: «придет Федор Иванович, расскажу ему, как хоронили — — »

Не придет больше Федор Иванович, и на Пасху не жди —

Отпевали его в Исидоровской церкви. Лежал он в серебряном гробу под серебряным покровом такой же самый, только красный от сыпи, да еще этот белый широкий венчик на лбу, как повязка — как белый обруч! Да когда священник, прочитав «отпускную» — подорожие в безвозвратный путь, коснулся его руки, я видел, как

бессильно запрыгали квелые потемневшие пальцы — темные бесплодные прутья!

С Ф. И. я познакомился в ссылке в Устьсысольске: он был честнейший, самый надежный. И его знали во всех уголках России — знали как «Федора Ивановича, которому можно доверить и на которого можно положиться».

О его революционной работе расскажут в «Истории русской революции», я же помяну его великую честность и его любовь к березкам, да к полевым цветам — колокольчикам.

*

Третья могила — у Троицы-Сергия под Москвою:
помер Василий Васильевич Розанов.

Самый живой из старших современников, всеобъемлющий, единственный в русской литературе, и одинокий в бродячей нашей жизни.

Весной в революцию ездили мы на Шпалерную прощаться с Василием Васильевичем. Говорили в последний раз за самоваром о любимом его — о тайне кровной любви, собирающей живой мир, о монетах — старине драгоценной, и о докторе Поггенполе.

Напишут сотни книг, воспоминаний, станет Розанов — главой в «Истории русской литературы», я же помяну Василия Васильевича, нашего соседа, сердечность его и отзывчивость — много выпало в жизни ему беды житейской! — и благословение его *любви*, которой жив и крепок вечно раздорный человеческий, грешный мир.

ЗАЯЦ НА ПЕНЬКЕ

Все только и говорят: «один убежал, другой — бегу!». А кто и молчит, а глазами — в лес.

— — —

Чего же мне вдруг жалко стало?

А жалко мне пасмурного утра: я стою на лугу у леса — звонит монастырский колокол и кукует кукушка. Это было очень давно под Звенигородом в Спас-Сторожевском монастыре, куда еще детьми ходили мы из Москвы «на богомолье». Это было мое первое утро, когда я в первый раз услышал, как кукует кукушка. Вот чего мне жалко — расставаться не хочется.

*

— — —

Чего же я вдруг обрадовался?

Наклонился над самоваром угольков подбросить и так ясно представил северную устьсысольскую осень — яснейшие вечера с синей вечерней зарей, зеленые разросшиеся, как кусты, мхи, и жгучесть оторванности от всего мира.

*

Снилось: комната вся уставлена книгами и на полу книги; и в эту комнату поселяют меня одного; и жалко мне чего-то и не уйти никуда.

Как-то потерялся я. И уж не говорю, и слова мои — лишь отзвук сказанных.

*

— — — покорный судьбе, я подставляю спину под плети и лицо плевкам. И ничего не говорю. Я иду весь

прозябший, победив всякую стужу, иду улицей прямо — я знаю, ни в ком не пробудится милосердие и я упаду обессиленный. Я не знаю, зачем нужны все мои унижения и зачем весь мой страдный путь? За себя мне не страшно, не за себя — —

ЗЕНИТНЫЕ ЗОВЫ

Если что-то не произойдет — —
не прикоснется рукой к моему сердцу — я пропал. И в тяжелой вянущей тьме *как будто* беру я что-то — хочу материнскую руку прижать к сердцу.
И вижу:
паук!
И гляжу в высоту: «Крылатый паук, зашей рану на моем сердце!» И на зов мой спускается мохнатый холодный паук.
И тьма еще темней и еще безысходней.
А там — я чую:
колыхает рассвет!
К рассвету я обернулся, стражду из мрака: «Осени!» Молчит, колыхает рассвет.
И опять я прошу: «Дух высоты!» И слышу, как из белой волны звучит — (или это сердце мое?) «Не хочу!» (или шум крови в усталых ушах?) «Не хочу!».
И я во мраке томлюсь.
Железная птица с железным клювом —
звенит когтями, со стуком шевелятся острые перья. Зову железную птицу. (Она расклевала каменный мяч — освободила солнце, луну и звезды, это она продолбила в камне дыру — и брызнул свет на темную землю!) «Железная птица, белый ворон, ударь в мое сердце!» Шелестят железные перья, лязгает клюв: «Не хочу!»
— — — — — — — — — — — —
У! как ветер свистит в ушах! Санки мчатся по ровной дороге — волки — кони мои! — быстро несут. Там — искры зари мелькают. И как гул по пустыне из моря звон.
И вижу:
олень!
Копыта звенят, пробивают ледяную кору, не сгибаются ноги. «Железный олень, на рогах к заре подыми! И брось —

расколоти тюленьи кости мои в куски. Я духом упаду в водоворот глубины и по тонкой игле взовьюсь к высоте!»

олень подымает рога —
и зарею сверкает крест —

у! как ветер свистит в ушах! Санки мчатся по ровной дороге — волки — кони мои, — быстро несут к заре — —

Вербное.

Во сне: пришел Ф. И. Щеколдин, прочитал о себе в «Трех могилах» и остался очень доволен. В. В. Розанов тут же, спит на моем холодном диване под игрушками.

*

Вечером точно прошло что, и я почувствовал, как меня сжало всего и пьет. Борюсь, не хочу поддаваться. Во сне: О. Д. Каменева привезла мне туфли. (Нехороший сон!).

*

Я проходил по Набережной — Нева идет! И все смотрю — не я один: стоят на мосту, смотрят —

— Нева идет!

И отчего это глядишь, не оторвешься, когда «пошла река»?

«А когда у нас все установится и настанет тишь да гладь — «быт» — ведь, пожалуй, скучно будет!»

*

Ладожеский лед прошел. Растворил я комнату, закрытую на зиму.

И чего-то вспомнилось и затаилось.

И чего-то поется и не остановишь.

А вечером глядел, не отрываясь, на первомайские ракеты — от нас из окна всё видно. Как на реку, когда лед идет, смотришь, так и на ракеты — как летают огненные змейки и огненные птицы.

— — проснулись, а на улице городовые стоят: в ночь заняли Петербург, никто не слышал! Я спешу, точно скрываюсь от кого. От полиции? Не знаю. Я один иду. Сумерки. Захожу в какой-то садик, как у Казанского собора, и вижу: гроб несут. Я в сторону: а и тут несут другой. И куда я ни метнусь — несут покойников: черный гроб, а носильщики — сестры в белых косынках.

*

По пути домой встретил много странных людей — безногих, безруких, одноглазых: выползли на свет Божий, на солнышко. И я вспомнил, как в феврале перед революцией тоже вдруг появились. Или это обида выходит на улицу?

*

«Охотиться за водой!» Никто не поверит. А мы всякий день этим заняты — вода на 6-ой этаж не подымается!

*

Утром пошла вода. Я радовался, как радуюсь теплу и свету. Какое счастье, когда из крана течет вода!

И оттого ли, что такое утро выдалось счастливое, нахлынула на меня жарчайшая память.

Шел на Кронверкский и все думал:

«Чем жив человек, чем красна его изменчивая жизнь? Встречей — — ? Мгновенной ли любовью и разлукой? Верой и разочарованием? Или в измене и очаровании жарчайшая память, и эта память живит душу?»

Вернулся домой — а вода прекратилась.

*

Вывезет или пропад?

На первом месте агитационная литература, затем учебники, потом классики, а потом все мы еще живущие робинзоны. Не дождешься!

В прошлом году, когда закрыли все «буржуазные» газеты и журналы, это было очень жутко: ведь хоть изредка, а все-таки меня печатали, как гастролера, и тем «пропитание я себе добывал». Осень и зиму «побирались», должая, а потом вывернулись — появилось частное книгоиздательство — «девятое чудо света»! Но уж все, что получено, проедено. А теперь? Или пропад?

*

Увы! зеленая бочка, в которой воду бережем, течет! Надо будет дознаться, где течь? Это такое горе: опять в бутылках собирать — у нас 80 бутылок из-под Боржому.

*

Третий день горит электричество до полночи, вот счастье! А то ведь не успеешь и оглянуться — и опять во

тьме. Хожу в страхе: думаю о дровах. Чем будем топить? Редкий час не думаю. И как будем жить? Встаю поутру с отчаянием. Все силы уходят на то, чтобы что-нибудь достать из еды и как-нибудь быть на белом свете.

*

Обыск по всему дому: к нам забрались в 3 часа утра.

Моя серебряная стена с игрушками зачаровывает. Есть у меня деревянный волк-самоглот, к волку шарик привешен: если качать шарик, волк головой кланяется, а хвост у него подымается. Бабы влипли в волка: давай хвост ловить.

— Товарищи, перестаньте! что вы? дети, что ли? — отгрызнул главный: он и сам бы не прочь, да очень устал.

А бабы — я заметил — куда цепче! и всё трогают и во все коробочки глазом шмырят: «покажи!»

*

Приходили из Совдепа от Жилищной тройки по уплотнению буржуазных квартир. Ну, я вам скажу, если кто позарится вселиться к нам, так только себе в наказание. Изволь без воды! а таскать на 6-ой этаж тоже удобство!

*

Был трубочист, не бывший год!

*

В окно полыхает зарево — вот что еще тянет, как река и ракеты, не оторвешься и жутко.

*

Ранним утром с «Севастополя» выстрел: необыкновенно торжественное! и укатилось мягко-серебряно-звонко. И опять в тот же самый час пробудило — я услышал: та же торжественная песня — мягко-серебряно-звонко!

Стою в очередях по три, по четыре часа.

Когда шел в Чернышев переулок в кооператив «Севпроса», на Исакиевской площади начали путать проволокой; а когда возвращался, вижу, в Александровском саду расставлены пулеметы и около красноармейцы. А по набережной навалены мешки, а где и на дровах. Жалко дров — всё растащут! Ну, слава Богу, всё успел получить!

Одна эта мысль: «успеть бы получить, а там что будет, хоть кто хочешь, приходи, все равно!»

*

В очереди за хлебом в нашей продовольственной лавке какой-то рабочий ко мне тихонько:

— Отогнали!

— — —

*

Трамвай набит до невозможности.

— Господа, подвиньтесь!

Красноармеец, оборотясь:

— Господа под Гатчиной легли.

Баба с места:

— То-то и есть: господа легли, а одни хамы остались.

— А ты тише! Держи язык за зубами! А то знаешь: долго разговаривать с тобой не будем.

— Ишь какой выискался! И не боюсь я тебя. Что ж, останови трамвай, выведи меня и расстреляй! Такую жизнь сделали, только смерти и просишь.

Баба ворчит.

Красноармеец оттеснился.

А тут и остановка, стали выходить — места освободились.

Баба вроссыпь к стоявшей даме:

— Садитесь, пожалуйста!

И наклонившись к соседке:

— Я из той деревни, где они были. Верите ли, на Покров пришли! — и совсем шепотом: — офицер с погонами! А у нас на Покров много свадеб назначено, батюшка и спрашивает: «скажите, пожалуйста, можно венчать?» А офицер: «кого угодно, только не коммунистов!»

*

— Сны мне больше не снятся!

Я как-то спохватился: где сны? — Нету. Измученный ложусь я спать и сплю, ничего не вижу. Я делаю все — самую грязную работу, и не поспеваю делать своего. Сколько я думал и слышал, а записать и пустяков не удосужился.

Ожесточенные мысли приходят мне в ожесточении моем, отчаянии и унынии. Все мое время уходит на добычу, а венец дел — раз в неделю пообедать. Подумал: «подам прошение в Совнарком — расстрелять меня, как запаршивевшую собаку: все равно, ни толку от меня, ни пользы!»

*

Недалеко от дома —

— Нет ли у вас работы?

Я обернулся: сзади шла, должно быть, из прислуг.

— Что вы? какая у нас работа!

— Возьмите меня служить хоть даром.

— Да нам не нужно.

— Вы не обижайтесь! К кому же нам и обращаться, как не к вам — а вам и самим теперь нечего.

— Да уж как нечего!

И она меня до дому проводила, все рассказывала, как жить ей плохо: квартира у нее маленькая, а дров нет и керосину нет, и что было, все продано.

— Видно, с голоду помирать.

И я ничем не мог ей помочь.

*

Заседание в «Астории» о культпросвете среди «загородительных отрядов». Хозяин, молодой человек, высказал «гениальную» мысль:

— «Историю» надо писать так, как в издании «Сатирикона», и это должно быть заданием для нашей работы!

Вернувшись домой, я написал «о человеке, звездах и свинье». На следующем заседании я непременно прочитаю, это моя «история».

*

Сегодня у меня особенный день. Я проснулся и вдруг почувствовал — — ко всему миру, ко всей твари. Я точно проснулся. И готов все принять и подыму самый тягчайший труд. Я понял, что надо нести всю эту беду — нашей жизни. Надо! — — потому что *так надо*.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

На Петра было и Февронию, чудотворцев муромских, на другой день Купалы, запылал пожар в Ярославле. Началось запаленье с питейного дома — с ведерной да чарошной продажи. Погибло в огне много Божьих церквей, честных монастырей, белостенных купеческих домов, Гостиный двор и все лавки с товарами.

А как нет худа без добра — погорели остроги и канцелярии с делами и кляузой, да сгорели и кнуты с клеймами, штемпеля колодницкие, щипцы, чем ноздри рвут —

> «снасти, подлежащие ко учинению колодникам экзекуции».

Посылали в Романов, Пошехонье и в Кинешму —

— У самих нет!

Сидят поддозорцы в тюремной избе, утеклецы изловленные: не биты, не сечены, не клейменные. Нету и заплечного мастера.

— Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера: быть в штате при Ярославской Провинциальной канцелярии?

Растосковался заштатный мастер Григорий Кузьмин:

> «Кабы мне, заплечнику, лет десяток с плеч, я пошел бы охотою, день-деньской пьян, веселил бы мастерское сердце унылое. Зазвонят у Николы Мокрого, я надену красную рубаху, рукавицу цветную на руку, возьму плеть воловьих жил; два подмастерья пойдут за мной с веревкой и ремнями сыромятными; на черный помост взойду, стану у черного столба с железным кольцом: «Берегись, ожгу!» Засвистит мой кнут — под кнут деньги сыпятся. Брызжет кровь из спины — а не дрогнет рука. И вонзаются клейма, как кошка: *«вор»*. А теперь — худо видеть стал, ослаб, рука дрожит. Зазвонят у Николы Мокрого — в кафтанишке смуром, мятая шапка, озираясь, побреду, как вор, на площадь, стану в церкви в сторонке: «Господи! чудотворцы муромские! пес замуренный — черти осетили, Господи!»

Прислала Москва — Розыскная Экспедиция — тридцать кнутов да щипцы со штемпелем. А вслед и сам мастер пожаловал — Хлебосолов Никита Иванович.

ОКНИЩА

лица их — сама земля,
тело их — прилипло к костям,
до пояса отросли волосы,
по локоть бороды — стрелами на груди,
одежда изодралась от голода и тесноты —
лохмотья висят,
а голоса их — пчелиные

I

ФИФИГА

На улице вечером: стоят — прилипнут к стенке и смотрят на вас.

— — —

— — бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми, и мне хочется прощенье просить у всякого —

— — как задавит скука, и человек ничего не стоит —

— — три к носу, все пройдет —

— — своему горю как-нибудь помогать надо, что же делать — — !

— — напрокудил и к стенке лепится! —

— — не было совести и не заводилось —

— — около чужого несчастья руки греют —

— — с именем Божьим да топором —

— — с дороги берут — всякая дрянь люди —
— — и невинный и винный страдает —
— — лезут козы на изгороду!
— — камня бы им горячего дать!
— — что украл, то Бог дал —
— — сколько веревку ни вей, конец будет —
— — судьба наша без судьбы —

— — —

Идет девчонка с бутылкой, а впереди какой-то тоже с бутылкой.

Девчонка повернула на 12 линию, а тот было дальше — —

— Дяденька! — окрикнула девчонка, и слышу шепотом: — керосин тут продают.

И я подумал:

«Можно жить еще на свете!»

— — —

— А что такое фифига?

— А это такое, что наседает и никуда не скроешься; так и про человека говорят: «превратился в фи-фигу!»

— А что такое «медовые выплевыши» — очень, говорят, вкусные?

— Еще не пробовал.

II

НА УГЛУ 14-ой ЛИНИИ

Да, мы жили не так — это я потом тут понял до конца. Правда, и у нас бывало — — вот когда зимой воды не было и соседи нижних этажей, до которых вода доходила, верхним воды не давали: и не то, что воды жалко, а «ходят — студят комнаты!» И то все-таки, скажу, не все — —

Да, не так — — это я говорю о том круге драни и голи, где каждый тащил на себе, как мешок тяжелый, свой неуверенный обузный день — свою судьбу без судьбы.

На углу Большого проспекта и 14-ой линии стоит

женщина. Одета она прилично, т. е. все, что можно зашить и подштопать, все сделано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, как налитое, без кровинки. Она не просит словами, она чуть кланяется и смотрит —

и ей всегда подают.

В самый тискущий тиск и последний загон — много о ту пору мудровал человек над человеком! — когда, кажется, ну ничего не подскребсти, все использовано и завалящего не может быть, я видел —

подают!

А кое-кто еще и остановится, женщины больше: остановятся, поговорят с ней — должно быть, в угол, где она на ночь-то ютится, туда в этот ее ледник приносят ей, ну, что можно, что в силах человек сделать, когда у себя нет ничего.

И на лице у нее, как луч, светится.

И когда я это вижу, я уж иду на пяточках — мне все страшно: вот я что-то спугну, помешаю чему-то, как-нибудь своим ходом нарушу, задую — — свет.

*

Как-то проходя по Б. Проспекту, это зимою было, я старуху не увидел — померла, подумал.

«Так и померла, значит, в своем леднике!»

Неделя прошла, другая — старухи не было.

«А может, думаю, попала под декрет об упразднении нищенства?»

А сегодня гляжу, стоит! — чуточку поправее: там такое углубление есть в железной решетке забора, так в углублении прислонившись стоит, и по-прежнему кланяется — шея обмотана, обвязана, но аккуратно так.

А какая-то женщина остановилась. Что-то шептала — а та ей отвечает.

Слов не слышно, но глаза я видел — вообще-то я по моей слепоте глаз у человека не вижу, а тут увидел: я увидел и понял, что очень плохо было эти недели, очень больно — хворала, но вот понемногу прошло. И еще я увидел: была в глазах кроткая покорность вынести эти

тягчайшие дни — назначенные и неизбежные. А та женщина, я это тоже увидел, заплакала — от своего, конечно, заплакала: своего у каждого — через край!

И я тихонько пошел с обостренным глазом — слепой, различая мелочи незаметные.

И не знаю, куда мне деваться и что сделать, когда я так вижу, и не знаю, как поправить —

III

ЗАЛОЖНИКИ

А другой раз иду я, у меня, ну — как грудная клетка открыта и внутренности обнажены — горят. Я не голоден, мне ничего такого не нужно себе, и я иду совсем вне всяких гроз.

Так шел я по Среднему проспекту с такой обнаженностью горящей — и каждое движение, каждый поворот встречного был мне, как прикосновение к больному месту.

И вот недалеко от Совдепа на углу 7-ой лин. гонят —

— Кто эти несчастные? — спросил я.

— Буржуи заложники! — кто-то ответил.

И я вспомнил, читал сегодня в «Правде» — это вскоре после убийства Урицкого — «за одну нашу голову сто ваших голов!» И я подумал:

«Это те, из которых отберут сто голов за голову!»

Приостановился и смотрел, провожая глазами обреченных: их было очень много — много сотен.

«Должно быть, в «политике» так все и делается, — думал я, — не глядя делается! ведь, если бы смотреть так вот, как я, и всякое мстящее рвение погаснет — за голову сто голов!»

И вдруг увидел возмущенное лицо человека — возмущенный голос человека, кричащий:

«Убили! так нате же вам! ваших — сто!»

А тут вижу гонят — это как раз те, которые попали — обреченные сотни.

Каждого различать в лицо невозможно, но есть общее: это согнутость и тревога — не о себе! о себе-то никто

больше не тревожится, разве уж какой плющавый! — нет, о близких, у каждого ведь гнездо! — да еще недоумение: — — «не согласен, не согласен, что несу ответ!»

«Да, это в политике, не глядя, — на бумаге, по анкетам — — !»

Я провожал глазами этих обреченных — пришибленные шли они покорно по Среднему проспекту из Совдепа — —

«Не трудящийся да не ест!»

— — калоши мои оказались такая рвань, взглянуть страшно. Откуда, что — ничего не понимаю. Потом догадываюсь: на собрании в Театральном Отделе обменялся с А. А. Блоком и носил с месяц, подложив бумагу, и вот попал опять в свои, но уж разношенные здорово, — это все Блок. Мы идем по снегу, по сугробам — белое все. И на душе — бело. Далеко зашли. Да это Москва!

«Подождите, — говорит А. А. Блок, — посмотрю, можно ли?»

Я остался у крыльца, жду; а он в дом пошел. Я не знаю, кто живет в этом доме, но думаю, можно хоть чуточку передохнуть. А Блок уж назад — «Нельзя, — говорит, — пойдемте дальше».

«Не пускают?»

«Чужая мать».

И идем по снегу, по сугробам — белое все.

А на душе — не бело.

IV

ЛАВОЧНИК

В соседнем доме лавочка. Лавочника Микляева все знают. Только у Микляева и можно купить сахару, а больше нигде. Сахарные карточки появились еще в войну и все меньше и меньше выдают сахару и уж без Микляева не обойтись стало.

И все пользовались сахаром, только не всем продавал он.

Я не раз заходил в лавку, терся, выжидая, когда уйдут покупатели, и я останусь глаз-на-глаз с Микляевым. И выждав, начинал осторожно и отдаленно, а потом:

— Сахарку бы! (Так меня учили.)

Но всякий раз Микляев только головой покачивал:

— Нету.

И я уходил ни с чем.

Но я не жаловался, как никто из соседей по нашей линии: все равно, так или этак, а сахар достать есть где, и сахар будет.

А ведь и лавчонка-то тесная, темная и только всегда огонек от лампадки перед образом в углу над конторкой — прямо над Микляевым, а для нас она светится такими сахарными огнями, куда Елисеев на углу Караванной.

*

Начался учет, и по анкетам вышло, что лавочник Микляев — «лавочник» — буржуй, и, как «паразитический элемент», попал он в особый список и должен был отбывать «общественные работы».

Я его часто встречаю по утрам: он бежит на какую-то «общественную работу». А лавка его заперта и огонька не видно — когда же ему торговать! И замечаю, как прохаживаются мимо лавки, ждут: не блеснет ли огонек? Да напрасно ждут! Поздно вечером возвращается Микляев с работы, и не бежит, а медленно движется и прямо домой: устал — непривычно! — всю жизнь за прилавком и все на ногах и не уставал, а вот — —

И с каждым днем я замечаю, как он худеет — он как жердь: кожа да кости. И уж не смотрит на тебя, а раньше, бывало, встречаясь, раскланивались —

это как собака, она тоже не смотрит, околевая.

В нашем районе все его жалеют: ни сахару достать, ни спичек.

— Ну кому человек мешал! — говорит какой-то остервенелый: без сахару-то все опротивеет.

— Паразитический элемент!

А потом и лавка точно опала. В окно видно: все ящики сдвинулись или опрокинуты стоят и сор вокруг.

И хозяина что-то не встречаю.

Конечно, не молодой, трудно начинать жизнь по-новому — — а чтобы ну год-другой перетерпеть, вон Шариков тоже был «паразитический», а в конце концов дожил, дотерпел и в анкетном листике значится «нэпман» — красный купец, и как ни в чем не бывало.

«Граждане, хищнически расходующие воду, будут привлекаться к ответственности!»

V

АННА КАРЕНИНА

В «Вестнике Отдела Управления», где печатаются всякие обязательные постановления Петросовета, есть такой закон: там о перемене фамилий.

Каждый раз я с нетерпением жду четверга, когда выйдет этот Вестник, чтобы посмотреть, какие есть еще на свете «лошадиные» фамилии и на какие «нелошадиные» меняются. Очень интересно. И я думаю, это единственное, что есть интересного в газетах. Рассуждения — «политику» — я не читаю, а хроники — «случаев и происшествий» — нет: не полагается —

ведь в такое время все случай и все происшествие!

И немало попадалось мне фамилий такой звучности необыкновенной, очень-то и не представишься! А менялись: или на громкие литературные или на такое, уж никак не поймешь, почему. Но, читая этот Вестник и выискивая черт знает что, я никогда в лицо не видел человека, который назывался бы одним, а потом вдруг стал бы другим и как ни в чем не бывало.

И вот на нашем дворе объявилось!

*

Все знали Нюшку Засухину. Нюшка трамвайная метельщица — «трудовой элемент», существо доброе и кроткое: налитая, как пузырь — должно быть, от воздуха

такой румянец! — а нос не шишечкой (шишечкой это у Лизы), а самый наш доморощенный пятачок. Приходила она к нам хлеб продавать — доставала через кондукторов — потом колбасу, а потом эти самые «медовые выплёвыши» собственного изготовления. Но ни хлеба, ни колбасы, ни «выплёвышей» ни разу у нее не пришлось купить — очень все дорого. А она все-таки заходила к нам «сказаться»: показать «нелегальный товар».

Нюшке посчастливилось: получила она и не как-нибудь по усмотрению, а в «общем порядке» по своей трудовой карточке калоши. А это большая редкость и, если перепродать, цены нет. Но она никогда с ними не расстанется!

В воскресенье вечером — теплая погода, самое лето, да и часы на три часа вперед, воображаете? — Нюшка надевает калоши и с зонтиком выходит постоять около дома.

И так всякое воскресенье, выбежишь на улицу и непременно ее увидишь: стоит с зонтиком — калоши блестят!

И слышу: больше не Нюшка она Засухина, а Анна Каренина!

*

Зима 19-го года была самой лютой не по морозу, — эка, морозы-то и не такие бывали! — а потому что топить нечем было. Продавать же дрова нельзя — запрещено: дрова, как хлеб, товар «нелегальный».

Само собой и покупать не разрешалось, за это тоже: попадешься, не обрадуешься!

Но ведь, когда холодно, тут ни на что не посмотришь!

У кого деньги были или запасы всякие, что можно было продать или на обмен, те и хлеб и дрова доставали: за деньги все можно.

Нет, что ни говорите, не верю я, чтобы на нашей улице был бы когда праздник! — только на бумаге вывести все, что угодно, можно и не потому, что так есть, а потому что хочется, и без веры нельзя быть на белом свете.

«Богатые» — всякими правдами и неправдами за деньги или, как говорилось, «через преступление», простые же

люди — через «учреждения», ну, всякий, хоть сколько-нибудь, да добывал себе дров. А я и служил и тоже к учреждениям имел всякие отношения, но мне не везло: наобещать наобещают, да только этим и будь здоров!

Конечно, у всех было мало и сжигали всё, что ни попало. Ну, а когда даже и самого малого нет, тут уж только и смотришь, чего бы использовать на топку: со шкапами и полками покончив, за дверь взялся. Только это неверное дело и одному никак невозможно (хорошо еще нашелся добрый человек и дверь высадил чисто, а то беда! Но что поделаешь, надо что-нибудь выдумывать, и слышу — когда надо, уши-то вот какие становятся, как глаза у водолаза! — слышу я,

что надо идти к товарищу такому-то, и называют учреждение:

— Сологуб и Мережковский давно получают —

Понимаю, и Сологуб и Мережковский известные писатели, а мое дело маленькое — меня мало кто знает! — и рассчитывать мне на «исключение» не годилось бы, но опять-таки, говорю, когда надо, тут и не то что уши растут, а и язык, и все выражение наглеет.

Я и пошел.

Я стал все объяснять, как сейчас говорю, и об ушах и о празднике, которого на нашей улице никогда не дождешься, только о двери не сказал (все-таки начальство, неудобно!).

— Не знаю, — говорит, — как мне и быть, много я всем вашим давал, что на это товарищи-рабочие скажут? Опять же и Мережковскому надо послать...

И все-таки пообещал.

Вернулся я домой — счастливые минуты! — я думал, так вот сейчас и привезут. А долго пришлось ждать: за делами там забыли, конечно, — не я один и всем надо!

Я и опять пошел.

Понимаю, и не полагается мне никаких дров, и зря я это все затеял, но что же мне еще придумать: я и так мерзну, а уж тут совсем — замерзаю!

Пошел я напомнить —

— насчет дровец обещались?

— Хорошо, хорошо, — говорит, — я не забыл: дрова будут.

> Да, я вам скажу, все бы мы пропали, живи эти годы жизнь свою по декретам, но сердце человеческое, для которого нет никаких декретов, спасало нас.

И опять ждать-пождать, нету, и другую дверь я наметил — и вдруг под вечер привозят — счастливая минута! — привез милиционер, дрова сбросил с саней у ворот под аркой, и уехал.

— — —

Стою я над дровами — и не так их и много — а все-таки перенести к себе на такую высоту, на шестой-то этаж, сил у меня таких нету: попробовал, протащил полена два, запыхался и боюсь уж.

А все ходят, смотрят, дрова похваливают.

— Откуда?

— — —

А я все стою, отойти невозможно: отойдешь, кто и стянет. Прошу одного, другого помочь — мне это никак невозможно! — объясняю. И хлеб сулю. И никто не соглашается (я понимаю, надо хлеба много!) — не соглашаются: очень высоко и так за день все устали! А на ночь оставить дрова на дворе, нечего и думать: ведь не с кого будет спрашивать!

А все ходят, смотрят, дрова похваливают.

— Вот привалило счастье-то!

И еще раз сбегал, полено к себе снес наверх. Нет, больше не могу.

Я и возроптал:

«Уж если, думаю, человек захотел доброе дело сделать, так надо до конца делать, ну, что бы велеть этому милиционеру и не только привезти, а и перетащить дрова ко мне наверх, я бы ему весь мой хлеб отдал — »

Стою над дровами — жар-то прошел, как бегал-то я с поленьями к себе! — холодно стало.

И во дворе никого, а скоро и ночь.

И только в окнах чуть огоньки перемигивают — на меня мигают на счастливого, которому выпала такая удача, привалило счастье: дрова!

— — —

А шла с работы Анна Каренина, несла в руке огромную черную метлу да узелок с хлебом, вся-то закутанная, только ноздри из щек глядят. Знаю, устала, но я уж не думаю, не думая, прошу —

И что же вы думаете? — согласилась:

за тот хлеб согласилась, за который никто не соглашался!

Отнесла она метлу к себе — бросать зря нельзя, а то еще кто стащит! — и не раскутываясь, как была, так и вышла. Кликнула Лизу, и вдвоем взялись за дрова.

Я не заметил, как в мешке перетаскали они ко мне все поленья.

И вот тут-то, когда я отдал ей весь мой хлеб, произошло превращение: глаза ее щелочки расширились — такие — «Анна Каренина!» — и она в первый раз увидела всю мою серебряную стену с игрушками —

а ведь сколько месяцев приходила к нам и никогда ни разу не замечала!

— Какие это здесь растопыры, ай!

И уж забыв о хлебе, стала собирать разбежавшиеся глаза свои на каждом серебряном гнездышке, где, пришпиленные, как сидели, всякие разные игрушки —

— растопыры — собаки — птички сидят — кривоножки —

И оглядев всех — всех растопыр — никак не могла оторваться:

змея с раскрытой жалящей пастью жалом лезла в глаза ей.

— Сами и глазки садили?

*

— — вижу, А. А. Блок в красном китайском халате.

«Александр Александрович, вам бы надо женские ботинки, я с год ношу женские, и тогда на каблуках и костюм на вас совсем хорошо будет!»

А Иванов-Разумник:

«У вас всегда были подленькие мысли».

«Беспартийные должны советскую власть поддюживать!» — сказал Блок и стал оправляться.

И вижу: проходит — он проходит, как на сцене, а за ним народ — черный, и только один он в красном —

— — —

— — я в своей комнате с серебряной стеной, лежу на диване под игрушками. Дверь в соседнюю комнату открыта.

«Да помогите же!» — зову.

И слышу голос С. П.:

«Я позову сейчас доктора Поггенполя, ведь он же здесь!»

«Да здесь никто помочь не может, — отвечаю ей, — будут: так решено! будут расправляться со всеми, у кого нет полфунта революционности, а у меня только восьмушка!»

VI

ПОРТРЕТЫ

В Народном Доме висят два больших портрета, красками написаны — работа художника «ради существования».

Эти портреты, как я ни слеп, а сразу увидел, слоняясь по залу в ожидании собрания. Мне-то ничего с Васильевского острова, а другим с дальних концов на Петербургскую сторону, никогда вовремя не поспевают. Вот я и слонялся, глазея.

Какой-то из театральных рабочих проходил мимо.

— Кто это? — спрашиваю, показывая на портреты.

— Марья Федоровна и Петр Петрович! — скороговоркой ответил и так посмотрел на меня: откуда, мол, такой взялся «несознательный».

— Как Марья Федоровна и Петр Петрович! что вы говорите?

Понимаю: Марья Федоровна — заведующая ПТО, Петр Петрович — управдел, но все-таки —

— Скажите, чьи это портреты? — остановил я заведующего Народным Домом.

— Роза Люксембург и Карл Либкнехт, — отрывисто сказал он и посмотрел на меня: ну, мол, и чудак нашелся.

— Я очень плохо вижу, — поправился я.

И подумал: «а что ж, тот-то мне — или нарочно?»

И вспомнил, как мой ученик из «Красноармейского университета» самый способный — «политрук» — после моего чтения о Гоголе признался, что и он и его товарищи были убеждены, — что Гоголь еще жив и служит в ПТО — «член коллегии».

«Нет, конечно, не нарочно; и почему начальству не висеть на самом видном месте, так всегда было!»

Тут подошли запоздавшие и началось собрание.

А я продолжал думать о своем — о портретах:

Роза Люксембург и Карл Либкнехт!

— — —

Рассказывал мне один — за продовольствием ездит. (Теперь этим кто не занимается!) И точно не помню, но где-то по соседству в нашей же Северной Коммуне, когда дошла весть о убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта, в местной «Правде», по примеру петербургской, было написано все о тех же головах: «за нашу одну голову сто ваших голов!» Стали справляться по анкетным листкам и вышло, что никто не подходит: какие были буржуи — торговцы, лавочники, доверенные давным-давно или разбежались, или были использованы, как ответчики, за другие контр-революционные выступления в Москве и в Петербурге. Но надо же как-нибудь: так — никого — невозможно! И пришлось отобрать из «нетрудового элемента»: взяли пятерых учителей, больше некого.

И я себе представил, как эти несчастные готовились к смерти.

Ни судьи, кто их обрек на смерть, ни сами они, обреченные, ничего не знали — в первый раз слышат:

Роза Люксембург и Карл Либкнехт!

«нетрудовой элемент» — это еще куда ни шло: «трудящийся» — это тот, который руками делает, а они действительно только учили грамоте и руки тут совсем не причем;

но Роза Люксембург и Карл Либкнехт —

если бы Маркс-Энгельс! — все-таки что-то слышали, а про этих ничего. «Нет, не согласны!» Умирать, не зная за что, — умирать, чувствуя себя дурак дураком —

— — —

Я не знаю, может, мне нарочно рассказал этот «мешочник», но все это так вероятно и так возможно —

как вот Марья Федоровна и Петр Петрович на портретах, как вот Гоголь — член коллегии ПТО.

Только Роза Люксембург и Карл Либкнехт, пожалуй, не поверят —

«Чтоб избежать холеры муки,

Мой чаще хорошенько руки».

VII

БРАТЕЦ

Сегодня воскресенье —

Всякую субботу к нам приходит археолог И. А. Рязановский, я его кормлю крошками, собранными за неделю, он ночует в моей серебряной комнате с игрушками, и в воскресенье я его провожаю до Николаевского моста. Когда-то мы вели с ним археологические разговоры («страсть к археологии, по его мнению, есть любовь к современности!»), а с каждой субботой все меньше об археологии и больше о продовольствии, об очередях — и как надо все брать «урывом» и «с наскока»!

Ведь об этом теперь только и разговору, куда ни придешь и о чем бы ни заговорил.

«Я, знаете, Олексей Михайлович, — сказал он с горечью, но не без гордости, — я теперь умею ногой лягаться».

Я эти вспомнил горькие и гордые слова его, глядя, как шел он, простившись, шел не по-прежнему, а ногой подрыгивал, которой он — человечный из человеков! — научился лягаться.

Сегодня воскресенье — в три часа по воскресеньям на 12-ой линии у «братца» собираются. Я и подумал, пойду послушаю, о чем же теперь «братец» толкует, когда один у всех толк: еда и мороз.

Вот недавно приснилось: ветчина и колбаса —

под столом разбросаны ломтики. А ведь это для меня, что человеку научиться ногой лягаться!

На 12-ой линии я обогнал какую-то простую женщину и приостановился: мне показалось, что меня окликнули. Нет, это она не ко мне — она сама с собой:

— Всё испортили! — и в голосе выговаривалась горечь, — и если бы солнышко ниже было, солнышко тронули бы!

Я посмотрел на нее — а меня не видит! — и скорее пошел вперед.

*

Дом я сразу нашел, а квартиру никак не могу: это моя постоянная мука — всегда не в ту дверь.

— Где квартира № 1? — спросил я: хорошо, кто-то еще подошел.

Да это та самая женщина, которая о солнышке.

— А вы к братцу?

— Да.

— И я к нему. Тайком иду. Муж-то на заводе — «товарищ»! нельзя и слова сказать.

И я пошел за ней.

*

Комната просторная и уж полна. Кто на лавке сидит, кто так — у стены. Больше женщины. Чуть повыше пола помост, как кафедра, и аналой.

Я был раз в Гавани на собрании еще до войны и все тоже мне показалось, как тогда. И как тогда, вошел «братец» в белой, длинней чем обыкновенно, рубашке и крест на голубой ленте. И сразу, как вошел он, я почувствовал, что всем стало чего-то легче — чего-то мирно.

Пропели хором «Царю Небесный», «Отче наш».

И стал он читать евангелие. Читал он нетвердо, как дети. А открылось ему об исцелении слепорожденного, который ни сам не виноват, ни родители его не виноваты, а родился слепым для «дела Божия» — для «света миру». Кончил евангелие, начал рассказывать — как сказку сказывал житие из Пролога о преподобном Нифонте.

(Я это житие знаю — рукопись XII века — всё о демонах и мудреное!)

> У всякого есть ангел хранитель. И человек добр и бодр под его попечением. Но приходят демоны страстей: нашептывают в уши, тянут за язык, тащут за руки. И начинается кавардак. И длится до тех пор, пока к ангелу хранителю не придут на помощь другие ангелы и не начнут борьбу с демонами. Ангелов же надо вызвать человеку — вымолить, а вымолить можно только любовью. Черное же сердце — злобы, проклятия и мести — не только не вызовет своей молитвой ангелов себе на помощь, а подзовет еще злейших демонов и уж подлинно на свою голову.

На Нифонта наклеветали («нашептали демоны»), будто он только представляется святым человеком, а на самом деле он и вор и плут и мошенник. И вот люди, соблазненные демонами, стали гнать старца.

> Не дают житья ему: убирайся, говорят. Старец — святой человек! — все видит; видит и этих демонов, которые, незримо для других, мудруют над его гонителями — и стал на молитву. И молился, чтобы явились ангелы и отогнали демонов от несчастных опутанных людей. И явились ангелы — горяча была молитва и велика любовь старца к несчастным гонителям! — ангелы и турнули демонов. И когда демоны пропали, люди, гнавшие старца, как очнулись: что за причина? за что они несчастного гнали? — живет старец тихо, смирно, ничего худого не делает, не безобразничает, никого не смущает, на зло не науськивает и одно желание — помочь другому человеку! И оставили они жить старца да еще и извинение попросили: прости, говорят, добрый человек, мы обознались!

И окончив рассказ, как сказку — «мы обознались!» — и сам вдруг обрадовался: ведь все хорошо так кончилось — и гонители и гонимый помирились друг с другом!

Со всех сторон поднялось от обрадованного сердца:

— Спасибо, братец, спасибо!

— Ты наш апостол!

— Ты наш пророк!

— Нет! — и он сказал это громко и крепче и настойчивее, — я не пророк, я не апостол, я — тот петух, который запел, и отрекшийся Петр вспомнил Христа.

*

— — Андрей Белый в сером мышином, как мышь, молча, только глазами поблескивая, водит меня по комнатам — а комнаты такие узкие, сырые — показывает. И вывел в яблоновый сад. На деревьях яблоки и наливные и золотые и серебряные и маленькие китайские, я сорвал одно яблоко — а это не яблоко, а селедочный хвостик, я за другое — и опять хвостик. И очутился на лугу. А луг весь-то в продовольственных карточках самых разных цветов, как в цветах, и в удостоверениях с печатями. Но какого-то самого главного удостоверения у меня нет. И я все искал, схватывался, искал — нет!

VIII

МЫ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕМ

Когда-то их магазин был у всех на виду, самый дорогой — самый гастрономический самых соблазнительных деликатесов. Всю войну и начало революции торговля шла так бойко, словно нигде никакой войны и никакой революции нет и не ожидается.

А когда вышел декрет о запрещении частной торговли и стали закрывать магазины, и «гастрономический» был временно обращен в «комиссионный», назначенный для распродажи всяких случайных вещей, им тоже временно оставили одну заднюю комнату, и чтобы до них добраться, надо было пройти через все комнаты, заваленные старьем — через поношенные платья, держанную посуду и подозрительные редкости.

Но и в единственной — в этой задней комнате можно было найти все, что и раньше во всех комнатах, только товару, конечно, очень поубавилось, но зато было и такое, чего никогда у них не бывало: это — маленькие, необыкновенно вкусные черные хлебцы.

Продавали они только знакомым — старым покупателям да недавним, кого в лицо знали.

*

Рыща за добычей, я знал кое-какие закоулки, где никак не догадаться, что идет тайная продажа съестным, и где могли произойти самые неожиданные встречи — помирать-то голодом кому охота! — знал я и этот магазин.

Увы! дорогие Нюшкины выплёвыши мне как рыбий жир!

Я и пошел на Караванную за «хлебцами».

И что же вы думаете: все оказалось запечатанным — вся комиссионная торговля — весь магазин. Я заглянул во двор, а там надпись: на обрывке карандашом —

Эрнэ

Приоткрыл дверь — бывшая дворницкая, наверно! — и вижу: сидят —

их было трое — три продавщицы — и все целы и невредимы сидят в этой крохотной комнатенке.

— Как вы нас нашли?

— Нюхом, — говорю, — точно толкнуло что: нюхом вошел во двор и вижу вашу надпись, туркнулся —

И все-то у них оказалось, все есть, только куда меньше, и эти маленькие, необыкновенно вкусные черные хлебцы!

Да, вот этот изводимый декретами и никак не изводящийся «обиральный элемент», да доброе дарящее сердце, для которого нет никаких декретов, а то бы — пропад.

*

Прошло сколько — почему-то дни никогда так не бежали, как в те годы — месяц, а может, и больше, но как будто вчера. Не было денег, а тут как получил, и сейчас же на поиски: полголовы у человека, а у другого и вся была набита голодною волчьею мыслью достать еды.

Знал я одного человека, который свихнулся на этой изводимой и ничем не изводящейся мысли об еде: ведь при всяких обстоятельствах никогда не было по себе думать только об этом! «На пайках помешался!» — говорили о нем. И действительно, напуганный, что не хватит, он стал собирать «пайки»: всеми правдами и неправдами он тащил в свою комнату и ничего не трогал — боялся, не хватит. И без того то, что «выдавалось», было не первого сорта, подпорченное, а тут уж совсем в гниль пошло, но он не замечал — берег.

И вот, как заведутся, бывало, деньги — и первая мысль: достать еды.

И пошел я по привычной дорожке на Караванную. И во двор, конечно. И прямо к двери — в эту квартиренку кошачью, куда, выгнанный из «комиссионного» загона, забился, как в щель, когда-то самый дорогой — самый гастрономический самых соблазнительных деликатесов —

Эрнэ

А дверь-то заперта!

И чего я только ни делал — и звонил и стучал и царапался. (Я тоже понемногу научился «ногой лягаться» и еще появился у меня «нюх», чего раньше никогда не замечал!) А ничего — никакого ответа.

«Вот тебе и на, пришел, значит, и на них черед!» И подосадовал: «куда же мне теперь идти — ?» И больше, чем подосадовал, а с сердцем: — «сами-то, говорю, не голодом, а нажравшись, декрет писали, ведь голодом-то, я это хорошо понимаю, только мечтаешь — «будет же когда-нибудь и на нашей улице праздник!» — а когда какие-то хлебцы, вот — на один укус, но ведь больше нет ничего, и такое не позволяют продавать — конечно, сами нажравшись!»

И в сердцах повернул уж к воротам.

И вдруг навстречу — знакомая! — это одна из трех продавщиц. Узнала меня.

— Да ведь мы же еще существуем! Там — нас выгнали! — обыск был и все отобрали. Домкомбед у нас ничего: мы теперь в подвале.

И я пошел за ней.

Ход рядом, но еще ниже — в подвал:
темно, ничего не разберешь.

И в темноте — разбираю — две продавщицы сидят, и тут же разложены эти хлебцы — эти маленькие, необыкновенно вкусные, черные хлебцы — на один укус.

И та, которая привела меня, подсела к ним.

— Ведь нас никак нельзя извести, — сказали они в один голос, — мы тут совсем незаметны.

«Да уж ниже если, — подумал я, — так в землю — на тот свет!»

IX

ОТ РАЗБИТОГО ЭКИПАЖА

Поздно вечером шел я по трамвайным рельсам по Невскому — Невский раскатистый с ухабами большой дороги. И всякий, как и я, норовил ходить не по тротуару, а прямо. Ветер — ветер все тот же — резкий, пронизывал меня сквозь все мои шкурки. В перчатку засунул я мой документ — удостоверение и пропуск — и, как ветер, чувствовал я этот клочок бумажки у себя на ладони.

В необыкновенной шубе выше, чем в действительности, держась чересчур прямо, навстречу мне по рельсам же и не шел, а выступал Гумилев.

Я очень ему обрадовался: с ним у меня связана большая память о моей литературной «бедовой доле» и о его строгой оценке «слова»: он понимал такое, чего другим надо было растолковывать.

Гумилеву в противоположную сторону, но он пошел меня проводить.

Он говорил необыкновенно вежливо и в то же время важно, а дело его было просительное и совсем не литературное, а «обезьянье».

— Нельзя ли произвести меня в обезьяньи графы: я имею честь состоять в «кавалерах», мне бы хотелось быть возведенным в графы.

— Да нету такого, — ответил я, — чего вам, вы и так, как Блок и Андрей Белый — «старейшие кавалеры» и имеете право на обезьянью служку.

— Нет, я хочу быть обезьяньим графом.

«А и в самом деле, — подумал я, — графов не полагается, но если заводить, но только одного, и таким может быть только Гумилев».

— Моя должность, Николай Степанович, как вам известно, маленькая, — сказал я полуртом, боясь ветра, — я, как «бывший канцелярист обезвелволпала», спрошу — —

— Очень вам буду благодарен.

И, простившись, не пошел, а проследовал по рельсам.

Я обернулся: он шел чересчур прямо в своей необыкновенной шубе, шерстью наружу, как у шофферов богатых автомобилей — такой один он во всем Петербурге.

*

Я шел один под ветром и чувствовал, как ветер, свой документ под перчаткой у ладони — не дай Бог потерять!

Мне было очень холодно и жалобно.

На набережной образовалась гора из снега и никак не обойдешь. Я стал карабкаться. А трудно — скользишь, проваливаешься — а главное, не знаешь, может, идешь над ямой.

И вижу, сзади какая-то женщина, тоже карабкается.

— Вот по горам — по горам уж лазаем! — не выдержала она, подала мне голос, и по говору я понял: простая.

— Да, не знаешь, где ямы! — отозвался я ей полуртом, как Гумилеву.

— А зато все наше: и земля наша и небо наше и все безобразие наше!

— Трудная жизнь стала.

— Не жизнь, — подхватила она с сердцем, — а жестянка из-под разбитого экипажа.

И, как перышко, перепорхнула через яму.

А я по слепоте и неловкости моей, крепко прижимая пальцы к документу под перчаткой — «вот Гумилев бы!», подумал я, — шагнул — — и ногой провалился.

X

ДЕМОН ПУСТЫНИ

Единственная комната, которую мы кое-как еще отапливаем, это та, что рядом с моей — серебряной с игрушками. Я мерзну и вечерами сижу в шкурках, а сверх пальто, и всегда в калошах. На уголку стола около еды лампадка — ее огонек мне светит.

Табаку у меня часто не бывает — очень трудно его доставать стало — и я курю все, что ни попадет; пробовал и ромашку и шалфей. От шалфею хоть и душно, но не так душит. И часто болит голова. И тогда я обматываю голову мокрым полотенцем и уж вроде как в чалме сижу туркой.

А сплю я, не раздеваясь, в шкурках. И в снах мне снится все больше из жизни — заботы загородили мне все двери туда! —

> — — японский принц подарил мне все свои сочинения с раскрашенными картинками на японской бумаге. Все ПТО (Петербургское Театральное Отделение на Литейном) во вшах, кроме комнаты № 15, где выдают талоны на получение жалованья. В комнате, где мы собираемся на заседания, «члены коллегии» танцуют. Через стеклянную дверь в коридоре я вижу стол — очень белая скатерть и посуда серебряная.
>
> «Стучите хорошенько!» — говорит А. Р. Кугель и лезет бородой в мешок, из которого торчат селедочные головки — —

Тут наступила какая-то перемена: когда селедочные головы покрыли голову А. Р. Кугеля, все окуталось чернотой — пучина беспамятства. И вдруг я почувствовал, как отделился, и ясно ощутил свою обособленность ото всего, я точно вынырнул —

> — — я сижу в нашей комнате на уголку стула — поздний час, давно все в доме заснули и только мой огонек от лампадки светит. А я сижу с

завязанной головой и курю с промерзшей изнывающей беспредметной думой. И слышу, — шаги стучат по лестнице, подымается кто-то. И от этого стука («обыск!») запрыгал огонек — я его вижу: отражается в стеклянной дверце шкапа.

«Эх, думаю, — и не вовремя ж! Я и сообразить ничего не могу!» А уж близко, стучат — в нашу дверь стучат. Затаился я — знаю, понапрасно идут, ничего у меня нет, и какой-то пойманный страх. (Нет, ко всему можно привыкнуть, только — — не к обыскам!) И опять стук — настойчивый. И вижу, как мечется огонек от лампадки в стеклянной дверце шкапа. А надо отворить! — — И вижу нашу прихожую, только очень расширенную, как огромный зал. И входит человек, весь он в пурпуре, пурпурные опущенные крылья, как огромные легкие, висят, а внутри ничего нет, одна белая реберная кость, как вырезанная на гравюре, и лицо бледное такой бледностью, как у бедуина, опаленное и иссушенное жаром пустыни, и черная борода клином; а голова его, как на воздухе, не видно ни шеи, ни позвонков. Я посмотрел ему в глаза — и увидел через них то же самое лицо и те же глаза. А человек был один — и один он и как «тьма» — против меня одного — не человек, весь в пурпуре с пурпурными опущенными крыльями. И я, как пойманный, завертелся на месте — —

Два мира борются: мир новый и мир старый,
И красная волна корабль кренит
И над гнездилищем всех пролетарских маят
Гремит бетон, железо и гранит.
И на бетонном пьедестале
Мир пролетарский мы скуем из стали
В немногие бесстрашные года.

(Стихи на детской продовольственной карточке: Б).

XI
ИМЕНИНЫ

Если Михаил Михайлович Пришвин — «борода увлекающаяся», Ключов Тарас Петрович — «борода неунывающая». И не знаю, что чудеснее, а пожалуй — борода бороды стоит! И если Пришвин с лопарями на Печенге семгу ел — «с боков поджарена, в середке живая!» — а в степи с киргизами на звезды молился — «хабар-бар!», «бар!» — Ключов знал названия всех книг, какие только с незапамятных времен появились в России, и очень хотелось ему иметь первые издания и, не имея — ну, хоть бы одна попалась! — не унывал, ища —

> А вы знаете: уныние — это такая пропасть, как потянет — ступишь — и пропал. И подумайте: кто только ни поддавался за эти жестокие годы этому злейшему соблазну.

Самый из смертельных годов — вошьгод — 1919-ый! — а Ключов так сумел его проводить и так встретил новый, и когда он об этом рассказывал, просто не верилось.

— Собрались, всё библиотечная молодежь, и до утра песни пели!

А ведь об эту пору — послушайте! — ни детей не рождалось, не влюблялись, не женились и какие там песни! И встреча песнями нового года — а весна и въявь придет песенная! — еще больше подбодрили «неунывающую бороду» окощевелого Ключова.

— Вот постойте, — говорил Тарас Петрович, умиленный и растроганный песнями, — буду справлять свои именины, вот уж споем!

И вспоминая, как до утра новогодние песни пел, кому только ни поминал он о своих именинах.

— Да когда же это, Тарас Петрович?

— 10-го марта, не забудьте!

— 10-го марта, не забудьте, Тарас Петрович именинник! — передавали друг другу.

Признаюсь, тут и я постарался: страсть «творить безобразия» и в самые тягчайшие годы и в самые унылые часы жизни никогда не покидала меня.

Я всем, кого бы ни встретил, всякому рассказывал о Тарасе Петровиче, какая у него бодрость — под новый

год всю ночь песни пел! — «неунывающая борода»! Я всем и каждому толковал, что 10-го марта — не забудьте! — Тарас Петрович именинник: надо поздравить.

— Собирается пирогом угостить!

— Да мы незнакомы, — с сожалением говорил какой-нибудь, ни разу в глаза не видевший Тараса Петровича.

— Это ничего не значит.

— Все-таки неудобно.

Но этим не кончалось, я видел, как человек поддался, и мой именинный зов засел ему в голову, и, пользуясь растряской, я начинал уверять, что он хоть и незнаком с Ключовым, но Ключов-то его хорошо знает.

— И будет очень рад.

А с некоторыми я прямо начинал:

— О вас Тарас Петрович справлялся.

— Какой Тарас Петрович?

— Какой? Ключов!

И сразу переходил к именинам:

— Собирается пирогом угостить.

С января до марта время порядочно — и если за это время сам именинник старался, я, как видите, тоже действовал.

И когда дней за десять до именин стали ко мне заходить будто по делу, а между прочим (но это и было главное!) справиться — «запамятовал!» — когда точно именины-то Тараса Петровича? — и знаете ли, были и такие, которые ей-Богу же ни разу его в глаза не видали, а только через меня, я почувствовал что-то зловещее.

А когда накануне именин я встретил сестер Тараса Петровича и они мне напомнили о завтрашних именинах и как они собираются пирог печь и очень беспокоятся — дрожжей не достать! — и старшая заметила: «Народу-то назвал много, боюсь, пирога не хватит!» — я почувствовал себя очень неловко.

*

И вот наступил этот день —

Тарас Петрович сегодня именинник!

Я собрался спозаранку — так мне его сестры наказывали! — но когда я пришел, в его комнате уж набилось народу порядочно. Стояли, сидели и терлись около книг.

Тут я сразу же заметил и кое-кого из своих — соблазненных.

Разговаривали негромко. Имена учреждений, имена заведующих и из всех имен чаще самые громкие — «пищевые»: Пучков, Бадаев (подписи на продовольственных карточках), товарищ Молвин, Мухин, Ложкомоев и наш василеостровский Лукич.

Именинник в белой вышитой рубашке, подпоясанной ремешком, закрывая книгу своими спускающимися на глаза волосами, показывал книжнику — это «первое издание», которого он добился-таки.

Разговаривая друг с другом, нетерпеливо переминались, а некоторые, прислушиваясь, застыли с поджатыми губами, и у всех играло на лице умиленное предвкушение. И этого никак нельзя было скрыть. И книжник над «первым изданием» чмокал губою:

> из кухни проникал особенный дух свежеиспеченного пирога — сейчас самое время из духовки вынимать!

И, действительно, пирог готов! — сестры Тараса Петровича, раскрасневшиеся от печки и не без тревоги (хозяйский глаз сразу соображает!) попросили нас в соседнюю комнату.

И сейчас же мы обсели весь стол, и все-таки стульев на всех не хватило.

— Ничего, мы постоим! — охотно соглашались, забирая тарелку с кусочком пирога.

И на минуту все погрузилось в безмятежный чавк.

Я подобрал рассыпавшуюся по тарелке начинку, доел крошки и затаился: «не дадут ли еще?»

В комнату поодиночке входили новые поздравители. А за стеной слышно было, как соседняя комната нагружалась. Отъевшие вставали, уступая место. («Да, больше не попадет!»).

Еще три-четыре человека получили по кусочку — таким счастливым оказался инженер-металлург Шапошников, незнакомый Тараса Петровича! — а больше и никому: больше нет пирога.

— Мать-честная! мать-честная! — схватывался за бороду именинник.

Я видел, как учительница Валентина Александровна в своих веревочных туфлях, измерзшая вся, жалобно смотрела на пустую тарелку: может, найдется ей кусочек? ведь она никак не могла пораньше: ей очень далеко.

— Да нету, в том-то и горе, всё съели!

— Мать-честная! мать-честная!

Я видел, как С. Л. Рафалович — Рафалович, автор неподражаемых афоризмов, о чем я и объявил тотчас же, живший до войны в Париже и еще сохранивший вид хоть и потрепанного, но прилично одетого человека — в галстуке — поддавшийся моим соблазнам, пришел таки и старался глазами «нащупать» именинника, которого не знал в лицо, и поздравил Шапошникова.

А Шапошников, съев свою долю, растолковывал тоже съевшему чудеса электрофикации.

Но я уж не смотрел на Рафаловича — ведь ему и такого кусочка не досталось! — я видел по другим опоздавшим: какая обида и горечь и досада.

— Мать-честная! мать-честная! — схватывался за бороду именинник.

*

Я протиснулся в соседнюю книжную комнату, где мы пирога ждали.

И там — кого только не было! — и в валенках и в вязанках, как Валентина Александровна, и в сапогах, и со значками и без значков. И все ждали — я так почувствовал — как мы тогда ждали, ревниво посматривая на дверь, когда, наконец, позовут пирог есть?

— Да нету, в том-то и горе, всё съели! Вот разве чаю — «кавказский» из Севпроса!

В комнату доносилось звяканье блюдечков.

— — —

В теснейшем коридоре сорвалась вешалка.

— — —

Я кое-как пролез к двери — пения я уж не дождусь! Я отыщу свое и домой!

В кухню дверь была отворена — и там тоже сидели.

А когда, отыскав свою шубу, я вышел и спускался по лестнице, навстречу мне подымались какие-то незнакомые: по их оживлению я понял, что они к Тарасу Петровичу. А у ворот запыхавшийся Алянский:

— Александра Александровича Блока еще нету?

— Замятин пришел.

И уж мне казалось, все, кого я ни встречал по дороге, все торопились на именины.

Меня догнал наш уполномоченный.

— Бегу за Евдокией Ивановной, — сказал он на бегу, — начинаем песни петь!

XII

КАТЯ

В самый тиск, мор-мрак-мороз — — на черной лестнице кто-то постучал. Поднялся я, думаю: соседи насчет воды. А это не соседи, а незнакомая какая-то. Сразу заметил, что чересчур у нее все крупно и притом костисто: руки и ноги прямо неизмеримы, а лицо как из дерева, и только бледная улыбка на тонких заледенелых губах.

— — —

Просится принять в прислуги!

А какая там прислуга: на себя не хватает —

Да нет, она уж как-нибудь: ей карточку выдадут, будет хлеб получать, а главное, угол!

— Надо рекомендацию, — говорю, — сами понимаете.

Рекомендацию можно! Жила она тут же на острове, хозяева за границу уехали, но она пойдет и что-нибудь достанет.

И пошла.

И часу не прошло, вернулась. Сует паспорт — паспорт финский, по-фински написано: ничего не понимаю.

— А рекомендация?

Плачет:

— Никого нету — примите! — плачет.

Ну, что поделаешь — откуда же взять рекомендацию, коли никого нету, а главное, плачет!

И приняли.

Я думал, пойдет за вещами, а у нее и вещей-то никаких нет, даже подушки нет. Да и у нас лишнего нет, взял я с дивана подушку. Очень довольна — больше ничего и не надо. И сейчас же прописали — уполномоченный тоже

ничего не понял, что там в паспорте по-фински — да это неважно:

чернорабочая финка — а зовут Катя.

И поселилась у нас Катя.

*

Кухню топили раз в неделю — один раз в неделю обед готовили. А так в кухне мороз, но она холоду не боится. Подушка есть, хлебная карточка есть — как-нибудь проживет!

Катя про себя выражалась всегда в мужском роде: «я ходил», «я стоял», и когда, бывало, так станет рассказывать и смотришь на нее — стриженая (это после тифа!), костистая и такие вот ручищи! — просто язык не повернется называть Катя. Ну, а потом привыкли.

Домашнее — приборка комнат, мытье посуды — у нее не выходило, даже пустяки, подмести как следует не умеет, пришлось все до мелочей растолковывать. Но зато в очередях — это что-то беспримерно! — она могла простоять час, два, три и, если надо, в другой лавке столько же выстоит. И ничего. Вернется, как и устали нет, и никогда не пожалуется. Тоже и насчет дров, умела притащить столько! — другие на санках везут, а она на себе и всегда, конечно, лишку ухватит, чего и не полагается. (Это когда деревянные дома на слом давали на топливо!) Раз целую дверь приволокла. И так ловко разрубит, распилит, и лучинки нащиплет — чисто.

А вечерами, пока есть электричество, сидит себе в своей холоднющей комнатенке, книжку читает —

а читает она Пушкина — однотомный Пушкин.

— Ну, как, — спросишь, — хорошо?

— Очень хорошо.

И улыбается бледной улыбкой — по дереву.

Так жила у нас Катя с месяц, выстаивала часами в очередях, таскала дрова и ни на что не жаловалась. И в нашем леднике словно потеплило. Ну и понятно:

очереди — тяжелое дело, а дрова тягчайшее.

А потом Катя исчезла.

И день пождали и другой — нету.

— Катя пропала.

— — —

Остался Пушкин — однотомный. И рукавицы — невиданные, уж так велики, прямо великанские, и не только рука, две ноги войдут, не постесняются! Рукавицы эти я всем показывал и все удивлялись. А в Пушкине нашел два листка — письма. Пушкина я на полку, а письма в архив — когда-нибудь пригодятся:

«память о Кате».

А вот по весне иду я как-то по Невскому, навстречу красноармеец. Вгляделся — и что-то вдруг вспомнилось, да! — это лицо, как дерево.

— Катя! —

А она улыбнулась своей бледной улыбой — по дереву. Вижу, тоже узнала, только она совсем не Катя, это я теперь ясно вижу.

Тут только понял я и эти рукавицы и «очередную» неутомимость и насчет дров.

Но какое отношение к письмам? Да никакого. Письма лежали в Пушкине, а Пушкин не Катин — приблудный.

А какие чудесные письма! Особенно первое, Шпенглер добивался подлинных русских «народных» писем. Вот бы ему почитать, чего лучше. А из французов кто был бы в восторге, это Макс Жакоб! Автор письма пишет, как говорит, все произношение глазами видишь: писать ему собственно нечего, а написать надо, в этом вся и задача — и письмо есть.

А писано в канун революции.

> «1916 года апреля 2-го дня письмо ато извеснаго товарь. Захара Алексеевича к милому и дорогому товарищу Ефиму Ивановичу. Поздревляю я вас, дорогой товарищ Ехим Иванович, восокоторжественен. праздником Пасхою Христовой, желаю я вам, дорогой товарищ Ехим Иванович, встретить этот праздник в радости-весельи и также привести его, и уведомляю я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, што я по милости Божей нахожусь жив-и-здоров, чиво вам жилаю — всего хорошего в делах-рук-ваших. Затем посылаю свое товари-

щеское почтения и с любовию низкой поклон дорогому товарищу Евхиму Ивановичу, и желаю я тебе, дорогой товарищ Евхим Иванович, ат Господа всего хорошего в делах-рук-ваш. Затем уведомляю я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, што я покамист слава Богу нахожусь еще у доми, написал бы я тибя, дорогой товарищ Евхим Иванович, проприжав, но, хорошо неизвестна, когда будит, говорят, что в апрели месяци, ну никто не знает хорошо — ну! Еще уведомляю я тибе, дорогой товриш Евхим Иванович, что у нас очинь типло, погода хорошея, снегу уже давно нету, начали пахать уже 31 марта. Еще уведомляю я тибе, дорогой товарищ Евхим Иванович, што у нас узяли сейчас ратников первой разряди и вхвторой всего 3 года. Вот, дорогой товарищ Евхим Иванович, если я поеду и-в Киев, на-буду все ревно вам слать письма, я на вас никогда не забуду. Прошу я вас, дорогой товарищ Евхим Иванович, как получишь мое письмо, то дайте мне ответ: буду ждать с нетерпением атвету! Вот, дорогой товарищ Евхим Иванович, про призыв я узнаю всю правду на святой недели, тогда я вам напишу всю аткривенною прявду, будит призыв, или нет, вы тогда узнаете хорошо, — я тогда вам пришлю следующее письмо. Уведомляю я тибя, дорогой товарищ Евхим Иванович, хожу к вашему атцу гулять каждый день. Уведомляю я вас дорогой товарищ, что получил ат вас 2 письмо и вам шлю другой письмо. Благодару вам за письма, што шлете, не забываете, написал б я вам какия новости, когда б были — ну нету!»

XIII

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ

Он приходит ко мне всякий вечер —

Не потому он приходит, что его тянет ко мне, а только потому, что живем мы с ним на одном дворе в одном доме. Нас соединяет обязательное постановление запирать ворота в 9 или в 11, смотря как, да ночные пропуска,

без которых по гостям не больно расходишься. И остается двор — дом, где застигло, — где живешь и ничего за квартиру не платишь, и откуда ведет одна дорога в продовольственную лавку, где также бесплатно выдают тебе по купонам хлеб.

И вот как вечер, ему не сидится, и он, не выходя на улицу, ходит по знакомым. И я его жду всякий вечер с ожесточением.

*

— Вот у вас есть еще книги, — начинает он свой обычный разговор, — а я все продал! и у Б. нет ничего, тоже продал. Ваши книги можно было бы продать и очень выгодно: у вас есть редкие и с автографами.

— Я понемногу продаю, — в который раз я оправдываюсь, — но вы сами знаете, все идет за гроши. И есть у меня, с чем бы я не хотел расстаться: вот Срезневский, Тихонравов — кому это нужно? — а дадут пустяки.

Тогда он перечисляет знакомых, у которых есть вещи, но живут голодом.

— А всякую вещь можно продать.

— Но это не всякий может, а через комиссионеров дело неверное.

И я привожу случаи, когда брали вещи для продажи, а денег после никак не получить и нельзя жаловаться, а взявший продавать ссылается на обыск, когда не только чужие, а и свои вещи — все пропало.

Разговор переходит от «вещей» на «разницу»: «разница» — это тот излишек, какой получится, если деньги падают и сметы все время меняются: и не было учреждения, где бы периодически не полагалось этой «разницы» — добавка к жалованью; и разговор о ней, как о обысках, продовольственных карточках, пайках и о продаже вещей.

— Вы уже получили разницу?

— Нет еще.

— А у нас выдали!

И начинаются всякие рассуждения и подходы, как возможно и где еще можно добиться — получить «разницу». Бывали случаи самые неожиданные: можно ведь было представить себе эту «разницу» везде, смотря с какого времени начать считать!

От «разницы» к тому, что называет сосед «окопаться»: «окопаться» (вроде официального «забронироваться») значит иметь в руках всевозможные удостоверения на каждый и всякий случай.

— Вот, — говорит сосед, — как повезло Д.: окопался! Напечатал он рассказ, гонорар продуктами, ждет из редакции получить, а его в Уголовный розыск, в хозяйственном отделе выдали, ну, сушеные грибы, крупы немного — расписался, недоволен: обещали-то и икру и масло и сахару и даже вино! — а ему говорят — «вам, как младшему агенту!» Теперь он может удостоверение взять! А вам я советую в Горохре.

(«Горохр» — это городская охрана).

— Да у меня и так много.

— Нет, в Горохре это солиднее: мало ли, обыск —

И уж дальше идет невещественное: ему мерещатся везде чекисты.

— Сегодня встретил на Невском А.: в чеке служит!

— Не может быть.

— Я вас уверяю.

И начинаются всякие догадки и предположения, почему этот несчастный А. служит или должен служить в чеке. Я пробую возражать, но ничего не помогает, хуже. И мне становится неловко; мне кажется, что он и меня подозревает или завтра придет ему в голову такая же подозрительная мысль. И я ничего не говорю, только слушаю.

Наконец наступает последнее, после чего он уйдет, я знаю: это мои игрушки — «которые я должен продать».

— Если американцам, — говорит он, прикидывая в уме, и называет огромную сумму: эта сумма началась с тысячи, дошла до миллиона...

— — — ?!

— Нет, если вы дрожите над таким сокровищем, вы не так нуждаетесь, как все мы!

*

— — — и я начинаю раздумывать — я верю в американцев! Да, конечно, в конце-то концов придется — и я могу расстаться с моими игрушками — и получу миллион! Но кто мне его даст? кто это купит? кому нужны? в музей? Но ведь игрушек-то нет никаких, по-

нимаете!? а есть пыльные сучки, веточки, палочки, лоскутки и мои рассказы о них: когда я говорю, они принимают такой вид, какой мне хочется — и все видят! — и коловертыша и кикимору и кощу и ауку и скриплика и... — ну, всю эту серебряную живую стену. А сними я их со стены, и без меня никто не разберет, где и кто — кто коловертыш, кто коща, аука, скриплик: они без меня — — они только со мной живут, ишь, глядят! усатые, носатые, трехрукие, одноногие — — —

— ну, не отдам, не отдам!

Купит американец! Но это то же, что и знаменитая коллекция печатей нашего соседа!

И мне вспоминается этот чудак, про которого говорят, как и про меня, что он не так уж нуждается, если не может расстаться со своей «знаменитой» коллекцией! А скажу вам, как и про свои игрушки, все мы, кто его знает поближе, соседи — и ни для кого из нас не тайна, что вся эта знаменитая коллекция, все эти печати — фальшивые! И как мои игрушки существуют, потому что я, так и эти печати, потому что есть еще на белом свете такой чудак, есть вера его в их неподдельность.

Да, я могу расстаться с моими игрушками! И неужто найдется такой американец? И мое слово проникнет? И глаз увидит там, где ничего нет? И вот — миллион. А тот чудак — —? Тут дело безнадежное: какого надо дурака найти! чтобы поверил в чужую веру и фальшивое принял за подлинное! Да и не расстанется он со своей «знаменитой» коллекцией: ведь она для него в конце его дней, в его покинутости, во всеобщем труде безрадостной жизни, в его ненужности (ну, кому нужна теперь сфрагистика!) для него она — *единственное утешение,* и про всё это все мы знаем, знал и сам профессор Марков, и не можем не верить его верою — и какое надо черствое сердце, какую замухрысчатую душу! — и только не знает про это и никогда не узнать «благожелателю».

XIV

БЛАГОДЕТЕЛЬ

«Благодетель» это совсем не то, что «благожелатель» или «советчик».

«Благодетель», все равно как и почему, но это всегда реальное, осязаемое, «благожелатель» же — нечто призрачное и может быть очень живым и обольстительным, как сон.

«Благожелатель» всегда о тебе знает больше, чем ты сам о себе знаешь, он вообще все знает: а имеет он гораздо больше, чем сколько тебе отмеривает. (Пример из сегодняшнего: когда он говорит, что на такую-то сумму можно прожить сносно, это значит, что сам он проживает куда больше!) Как нечто призрачное, «благожелатель» безответственен: он всегда почтет долгом сказать, что где-то есть дешевая квартира, но никогда не скажет, где именно, а просто «есть» или сошлется на своих знакомых, которые знают. И при этом «благожелатель» неуязвим: ведь советуя, он желает добра, и разве шевельнется язык сказать — «замолчи»!

«Благожелатель» — это человек, которому, в сущности, до тебя никакого дела нет, но совсем не безразличен: он всегда осуждает тебя.

*

«Благожелателей» за эти годы я мало встречал, разве что этот несчастный сосед — —

За эти годы много я видел настоящего добра от людей — без суда и осуждения, без никаких требований, бескорыстно! Имена порастерялись, но чувство я сохранил и это чувство слилось у меня в слове «Россия» — Россия! пусть самая неожиданная и кавардачная! — и мне всегда больно, когда огулом осуждают все русское. Я вспоминаю добро, какое я видел от людей за эти годы, и это такое острое чувство моей памяти!

Люди делали добро — их как будто кто посылал ко мне в тягчайшую самую пору, или я сам шел куда-нибудь и уж не ждал, но там-то меня ждали. И все это я помню, сливая мою память в чувстве слова «Россия».

И не только за эти годы — в эти годы только особенно ярко и остро! — а и в мирные годы за всю мою жизнь много я видел доброго от человека. И коли уж вспоминать, скажу, бывали и «смехи», но без этого никак не обойдешься — не «протиснешься» в жизни.

Это еще до войны и революции: дал мне один добрый

человек 100 рублей, и что же вы думаете, за эти 100 рублей взял он себе такое право — приходил ко мне, когда ему вздумается (а не когда я зову), и сидел бесконечно и говорил неумолчно, и притом глупости. А другой — это во время войны — не раз благодетельствовал и всегда «продуктами», вместе, бывало, поедим чего, но в конце концов получил я от него счет за съеденное или, как он выражался, за «совместно потребленное».

Но за эти-то годы что-то не припоминаю, чтобы были «смехи»!

Был такой случай: пришел ко мне человек, ну ничего-то у самого нет, а пришел помочь, так он мне письмо принес — «может, пригодится!» Письма тогда я не прочитал, а теперь, когда всякая строчка, где о России — из России — русская — такая драгоценность! (Этого не поймут те, кто в России!)

Вот это письмо — в войну 1916 г. — «беженское». Храню, как дар человека, у которого это — все, и ему нечего больше дать.

> «Поздравляем вас с вашим чином, Милостивый Государь! До 4 июня мы про вас не имели никакого слуху. Но мы до той поры не забыли вас, но знать про вас не знали. А ваш портрет хоронили на долгую память. Мы всё ожидали от вас письма. Но вы наверное знаете, как мы страдаем и погибаем. И не прислали нам письма, а прислали нам подарок, которым мы были очень рады и заплакали, как дети. За что вы нас спасаете погибающих? Мы не знаем, за какую благодарность вы нам прислали столько денег! Как вы знаете про нашу жизнь? Мы даже не знаем, как возблагодарить вас за вашу милостыню. В чем мы вам отслужим за ваше добро? Я бы сейчас поехал до вас, если бы вы мне велели приехать. Я бы вам пошел служить теперь навсегда, потому что беженская жизнь надоела. Так что судьба моя только заставляет погибать. Работал я под мешками, чтобы добыть кусок хлеба. Но теперь я уже отработался, что приходится ехать на окопы. Бросаю больную мать и без руки отца! А сам

уезжаю, потому что скоро будут брать в солдаты. А наш брат уже не живет и нам без него очень скучно и неприятно. Но ничего не поделаем, что он помер. Мы все лечили его и старались его вылечить так, что все деньги на него выдали. Завез он нас в Астраханскую губ., но там был плохой климат, и он начал нас гнать назад, так что дорога стала 50 рублей. И теперь остались без копейки. Когда нас прогнали из Дратова, то сейчас всё на свои деньги. Коров у нас забрали даром, лошадей бросили. Свиней, курей, гусей оставили дома. И кошки наши остались. Когда мы выехали на Киновию, то я ходил домой, то кошки бросились мне на шею и всё мяукали и в их глазах было полно слез. Когда я уже удалялся совсем, то они бежали до церкви и вернулись. Благодарим вас за ваш подарок и просим вас, пришлите нам еще свою карточку на память. И дай вам Бог всего хорошего, и дай вам Бог, чего себе желаете. Все говорили, что вы не признаете Бога, но мы вас не забудем, пока не помрем. Я бы очень хотел видеть вас и поступить к вам на службу. И до свиданья!»

XV

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

1

НАЛЕТЧИКИ

Жадины — наши соседи по линии: отец и две дочери. Бедно они жили. И не теперь только, а и всегда.

Николай Иванович мне папирос давал. Ему по службе полагалось, а сам некурящий. Только очень неловко брать у него: ведь папиросы на обмен — очень выгодно. А зайдешь к нему, он сразу поймет: и сейчас же коробочку мне. А у меня уж и лицо дергается — и не могу не взять, беру. И не знаю, чем возместить этот дар, ничего такого у меня нет. А тут к какому-то революционному празднику выдали мне, по моей службе, румян и духов

немножко. Сначала-то я растерялся: куда такое? А слышу: если обменять, выгоднее папирос! Я и подумал: ну, вот и хорошо, отнесу-ка я Жадиным.

*

Старшая Анна Николаевна больна была — «свинкой». Стала выздоравливать, но еще лежала. Николай Иванович ушел на службу. А младшая Надя, она около сестры сидела, а вот как стало легче, она и решила пройти на Сенной рынок купить чего-нибудь — один только оставался еще не закрытым Сенной.

«Я тебя запру!» — и Надя вышла, заперла за собой дверь.

А Анна Николаевна осталась одна.

— — —

«Надя ушла, а я лежу, — рассказывала Анна Николаевна шепотом, долго она боялась громко об этом рассказывать, — и вдруг вбегает Надя: вернулась! (она всегда возвращается) — забыла мешок. Взяла она мешок: «ай, какой нехороший у нас на лестнице стоит!» И ушла — заперла за собой. Прошло так с полчаса, слышу, опять отпирает. Нет, думаю, это не Надя: может, Вера Ивановна, соседка — Надя ее встретила и ключ ей отдала, ну та сразу-то и не может отпереть. И слышу: отперла — входит. И сразу понимаю, не Вера Ивановна, мужские шаги — и много — не один. Прошли в кухню. — — Потом в Надину комнату. — — Потом в соседнюю. Думаю, кто из знакомых в Петербург приехал, Надя ключ дала. И вдруг на пороге какой-то молодой человек, одет хорошо —

«как, говорю, вы сюда попали?»
«очень просто: дверью».
«но ведь дверь была заперта?»
«что вы говорите! — дверь настежь!»
«нет, я знаю наверно: я была заперта!»
«— — молчи!» — и он револьвер на меня.

И вижу, вошел матрос и также револьвер на меня. Я вскочила. А они за мной. И загнали меня в угол.

«идите, ложитесь!»
«нет!» — говорю.

А матрос взял меня на руки и бросил на диван, где я лежала. Открыл чемодан — очень духами запахло! —

вынул веревку и стал меня связывать: связал руки, потом ноги —

«а теперь, говорю, что будет?»
«мы уйдем сейчас».
«а я как останусь?»
«а вас развяжут».

И вышли. И слышу, как в коридоре щелкали курки — — Потом шаги по лестнице. Прислушалась: ушли! И стала я понемногу веревку с себя снимать. Очень это просто: ослабила сначала на руках — и развязала, потом ноги. И вдруг подумала: а ну как они вернутся — увидят, я развязанная! И стала я себя опять связывать. Кое-как связала ноги, потом руки. И лежу, боюсь шевельнуться. И думаю: да что же это я с ума сошла, что ли? И сняла я с себя веревку, встала, пошла заперла дверь. И опять легла».

— — —

А Надя рассказала —

когда она вышла в первый раз, она увидела, возле дров стоит матрос, а когда вернулась, на лестнице этот какой-то нехороший; она взяла мешок и с мешком пошла к трамваю — трамваи редко ходят, приходится долго ждать — и тут она заметила, ждет тот самый матрос, которого видела около дров; а села в трамвай, матрос остался.

— И вот что странно, — сказал Николай Иванович, — ничего ведь не взяли: возле дивана на столе лежали часы — не взяли!

2

ПРИСТАЮТ

На углу 15-ой линии баба грибы продает.

— Сколько стоит?

— 40 рублей!

И когда Вера Ивановна платила, слышит сзади голос (спереди зуба нет!):

— Сколько стоят грибы?

Она обернулась:

— 40 рублей! — говорит.

— Ну и живи после этого.

— Да, жить трудно.

И с грибами пошла домой.

А тот без зуба — сзади.

— — — —

— Я хочу с вами познакомиться! — заговорил он.

— Что же знакомиться! Так не знакомятся.

— А как же? — и от неожиданности он остановился, и сейчас же и сообразил, — я уж за вами давно слежу! Пошли бы сейчас ко мне. У меня и продовольствие есть! — и это сказал он очень внушительно: «продовольствие!» — так бы и познакомились: я вам могу помочь в продовольствии.

— Мне не нужно продовольствия, я иду домой.

И пропустив дом — не хотела показать, где — остановилась она около единственной, сохранившейся еще «польской» прачечной, куда можно было зайти.

— Ну, вот я и домой пришла.

— Так и не пойдете ко мне — — а я так бы хотел!

— Нет, не пойду, я дома.

Но он не может примириться:

ведь у него же есть продовольствие!

— И чего же вам? — просвистюкал он, — или кто ждет вас?

— Муж.

— Так у вас муж? — — ах, как жаль!

*

Она шла на Невский за добычей: надо было табаку достать. А это дело очень трудное: никаких табачных лавок нет, все закрыты, и если найдется в какой-нибудь «комиссионной», да и то не всякому дадут — всё ведь из-под полы: «нелегально или по-русски сказать «подпольное».

А такой чудесный день — весна!

На мосту матрос:

— Позвольте с вами познакомиться!

И идет сзади.

— Позвольте с вами познакомиться!

И уж теперь рядом.

— — —

Перешли мост.

— Я хочу с вами познакомиться!

— Оставьте меня в покое!

Матрос, не обращая внимания:

— Вы спешите куда-нибудь?

— Да, спешу.

— Так давайте так: приходите в Александровский сад на эту скамейку сегодня в 6 часов вечера.

— Нет, не приду.

Не обращая внимания:

— Вместе бы пошли. Я знаю такое место, где можно кофе выпить и закусить.

— Но ведь я же с вами не знакома!

— Так и познакомимся.

На Невском все закрыто и «комиссионные» закрыты — и никуда-то ведь не зайдешь!

Дошли до Казанского собора — матрос не отстает.

— Ну, — говорит, — приходите сюда, в садик!

Не отвечая, она повернула на Казанскую и в первый попавший двор, будто домой, и там на лестницу.

А матрос остался внизу, подождал-подождал — непонятное дело:

«ведь он же знает такое место, где можно кофе
выпить и закусить!» —

плюнул и пошел.

*

На углу Троицкой женщина над ларьком: нитки, иголки, мыло.

Голос сзади (с зубами!):

— Мюр-и-Мерилиз, правда?

— Правда, — сказала она и, не оборачиваясь, быстро пошла по Троицкой.

Нагнал:

— Ах, как бы я хотел с вами познакомиться!

— Я спешу, — сказала она.

— Так я вас провожу.

Она в парикмахерскую — к б. Жарову: все равно, мыло надо купить.

В парикмахерских мылом промышляли и, конечно, из-под полы или, сказать по-иностранному, нелегально!

И купила она кусок, выходит! а тот (с зубами!) ждет.

— Скажите, пожалуйста, ваше имя: я давно за вами слежу.

— Маргарита Васильевна! — назвала Вера Ивановна имя своей подруги, с которой служила.

— Ну, вот, Маргарита Васильевна, не бойтесь вы меня! — и от чувств он всхлипнул, — я железнодорожник, за продовольствием езжу. На днях поеду, окорок привезу! — и он выговорил с особенным чувством это слово «окорок», вышедшее за эти годы из употребления, как «лимон» и «апельсин» — хотите, вам привезу?

— Нет, не надо! — и она подошла к дому, где жили знакомые: — я сюда, зайду к подруге.

— А вы где живете?

— Улица Гоголя, — и она назвала номер дома своей службы.

— Так можно и написать: Маргарите Васильевне?

— — —

И что же вы думаете: написал! И Маргарита Васильевна получила письмо. Ничего не понимает: изъяснение чувств с упоминанием продовольствия и про окорок — «окорок» подчеркнуто.

А дня через два идет «Маргарита Васильевна» по Невскому, а навстречу «Окорок». Страшно обрадовался.

— А я уж вернулся: целый окорок привез! Поделимтеся со мной. Давайте условимся: вы ко мне придете —

— Мне не нужно, — сказала «Маргарита Васильевна» и стала переходить на ту сторону к б. Гурмэ.

У Гурмэ продают теперь резиновые подошвы!

«Окорок» чего-то замешкался: или в изумлении перед «не нужно»? — но сейчас же сообразил, догнал.

— Да вы не беспокойтесь, Маргарита Васильевна, мои намерения честные: я вдовец.

— Мне муж не позволяет никуда ходить! — сказала «Маргарита Васильевна» ясно и понятно, чтобы было для «честных намерений» и ясно и понятно.

— Так вы зарегистрировались?

— Да. Зарегистрировалась.

— — —

XVI

РЫБИЙ ЖИР

> Я видел свет в этом мире, где, мне казалось, иногда, движут жизнью никакие «идеи», а «машина», и двигатель — «мошенник», в годы огрубения и отчаяния человеческого в войну и после, когда, казалось, сами небеса, истерзанные мольбой о помощи и мире, висели разодранными лохмотьями, а вместо «тихого света» электричеством сияла улыбающаяся всему миру «идеальная» рожа нажившегося на войне хлюста.
>
> Я видел свет и в самую темь нашей, от всего света «затворенной», жестокой жизни.

*

Надо было мне достать лекарство. А лекарство, что оставалось еще в Петербурге, взято было «на учет», и в аптеках редко чего выдавали. (Ведь все бесплатно!) И я проник к самому главному — в Комздрав (Комиссариат здравоохранения) за подписью, чтобы выдали. Так и день прошел. И уж под вечер я выбрался на Гороховую в аптеку: там был аптекарский склад и только там я мог получить лекарство.

В аптеке я застал хвост. И стал со всеми в дверях — все вижу. А выдавали по особым рецептам, как я узнал, рыбий жир. И за этим-то рыбьим жиром и была такая очередь.

Рвань последняя «вопиющая» — много навидался я бедноты в очередях и особенно среди «нетрудового элемента», т. е. людей не физического труда, в «Доме литераторов» на Бассейной, в «Доме ученых» на Миллионной и в «Доме искусств» на Мойке, да и сам я был неказист, но здесь — все были как на подбор. Ведь самая зима, а что-то очень уж легко и по-летнему — и вот всякие тряпки и лоскуты и какие-то облезлые хвосты торчали из самых непоказанных мест, а лица были отеклые, дергающиеся.

Мне особенно врезался в глаза очень высокий, выше всех — рыжий с вытянутой шеей: его очередь приближалась. И я уж не мог не следить за ним.

— Учитель Балдин, — сказал он, как-то вытянув шею, так вытягивают просители, так вытягивает, я это на улице здесь замечал в Париже, человек, у которого нет ничего, а идет он около всего, — учитель Балдин, — повторил он, — рыбий жир!

На прилавке ряд одинаковых пузырьков, как иод отпускают таких, не больше — и это был рыбий жир, за которым стояла очередь, и к которому вытягивал шею учитель Балдин.

Сам-то я не переношу этого жиру, меня от одного названия мутит, такое «органическое отвращение» я чувствую, и не только с иодный пузырек, а и капельки бы не принял — просто душа не принимает! — но за этого учителя Балдина, за его нищету, покинутость и предвкушаемое счастье я тогда принял душой и это самое для меня отвратительное.

Я за ним также вытянул шею и в последний раз, как он вытянул, когда протянул руку к пузырьку и губами как-то сделал уж беззвучно: поблагодарил, что ли, задохнувшись.

И вот все у меня перевернулось.

И я почувствовал, как свет хлынул — —

И этот свет, наполнив мне душу, озарил всю улицу — все улицы, по которым шел я из аптеки со своим лекарством.

*

Домой я вернулся уж совсем в темь. Никого у нас не было — никто не забрел. И в молчании лег я спать. А проснувшись, я сразу почувствовал, что во мне живо вчерашнее мое и этот свет —

Я вышел из дому.

Зима, эта невыносимая лють, которая, мне казалось, никогда не кончится, а вот — я не чувствовал! И те, кого я встречал по дороге, я не знаю, тоже наверно не чувствовали в эту минуту ни стужи, ни мороза: и то, что было у них от доброго сердца — от света сердца, поднималось встречу моему свету —

одни улыбались мне, как улыбаются только весною, другие уступали дорогу — —

*

Мне надо было за справками — ведь вся «затворенная» жизнь наша: прошения, справки и страх (всякие страхи!).

И там, где обыкновенно встречали сурово, мне показалось, отвечают, как на желанное, и чего-то вдруг радовались, может, и не замечая того. В приемных я не толкался дураком от стола к столу и не туда — я не ждал, меня пропускали.

В Отделе Управления, — это я так ясно запомнил — пришла какая-то женщина хлопотать о муже: «сапожник по пьяному делу!» — просит она освободить — и не словами она это просит, а вся, всё — с головы, и чего-то шепчет, вот в ноги поклонится. А я смотрю, не в глаза, а на бумагу — на прошение, замуслеванное, сколько прошедшее учреждений и рук попусту, и вижу: начальник пишет: «освободить».

И я чувствую, как свет мой переливает — — и вот произойдет и еще что-то, я уж не знаю, подымет ли меня на воздух или разорвет мне сердце.

XVII

ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ

Много было чудесного и чудодейственного в эти годы в России! И самые головокружительные мечты — земля вот-вот превратится в рай и настанет и на нашей улице праздник! — и самая неожиданная серая явь.

Как-то стали считать, сколько в месяц проживает каждый из нас по мирному времени, если «даровую выдачу» на деньги переводить, и едва до пяти рублей досчитали — а вот и нищие, а есть и самовар и кое-какие книги уцелели, а харахору — на квадрилион!

Когда, потом уж, в Ревеле в церкви я заметил, как стоят все понуро, униженные, первое, что я подумал: «как! разве русские должны быть такие? — русские должны стоять гордо!»

Да, и мечты за-звездные, и шибающая явь, и самая дикая расправа человека над человеком, и горячейшее дарящее сердце.

И «всем, всем, всем», и доморощенное дубоножие, и смех и грех.

— — —

— — — ну, вот по соседству под Петербургом — рассказывал мне пострадавший, служащий по культ-просвету: нарядили за ним негласное наблюдение и наблюдающие залегли в кусты против его дома; летнее время, не все печет солнышко, подул ветер — пошел дождик, а под дождем в сырости не очень-то сладко валяться, и вот как стемнело, вылезли они из-под кустов и в дом к поднадзорному-то чай пить, попили чайку, обогрелись и опять на работу назад в кусты, сам он их и от собак до кустов проводил! — — В Большом Драматическом театре (б. Суворинском) ставили б. короля Лира (пьеса очень понравилась, «потому что длинная»), перед началом какой-то, «перешедший на этот берег с октября», сказал разъясняющее слово о значении пьесы с марксистским подходом, а в заключение объявил, что Шекспира до сих пор запрещала цензура и только теперь впервые появляется на свет. — — Балтмор Костров, толковый и способный, со значком, возражая товарищам, которым, казалось, ни к чему знать такие грамматические тонкости, как сказуемое и подлежащее, сказал не без сердца: «Если мы свой родной язык не будем знать, то дойдем и до того, что потеряем и свою православную веру и крест снимем с шеи, какие же мы после этого коммунисты?» — —

В своей членской книжке Сорабиса (Союз работников искусств) на месте фотографической карточки я наклеил свой карандашом нарисованный автопортрет и подписался — и тут же печать поставили; и когда я показывал это мое изображение, закрывая подпись: «кто это?» — все без исключения отвечали в один голос: «свинка». Своим ученикам-красноармейцам для испытания их письменной способности я задал описать какой-нибудь сон, — и странно, все их сны заключались «пушкой», а у некоторых и во время течения сна «палили»! И когда я растолковал им эти «пушки», поднялся такой громовой хохот, которого наверно никогда не слыхивали стены б. военного министерства, где помещался красноармейский университет, и в холодющей комнате стало жарко — или

это от вареной мороженой брюквы, дух которой проникал сквозь и самые крепкие стены — —

Да, мечты! — ведь одно издательство «Всемирной литературы» чего стоит: изобразить по-русски всю мировую литературу! — и серая обидная явь: нет бумаги! Да, серая явь, пронизанная этим — я не подберу такого человеческого слова, вся бакалея, все съестное не выражают и тени самого духа, и я назову по-обезьяньи, подлинным обезьяньим словом — гошку! — где слышу и еду и чавк и крадь. Когда по весне среди бела дня вокруг солнца открылась радуга и над радугой загорелись венцы, как солнца, народ говорил: «к усиленной войне», как говорилось о пайке — «усиленный паек»! Это «гошку» пронизывало и самое солнце и небесные знаки! За Невской заставой появились «покойники»: голодные, они ночью выходили из могил и в саванах, светя электрическим глазом, прыгали по дорогам и очищали мешки до смерти перепуганных, пробиравшихся домой, запоздалых прохожих. А как-то еду я по железной дороге — в Петербург возвращался! — очень тесно, и только что под утро я задремал — и сразу проснулся от петушиного крика — вагон пел петухом! Но что произошло дальше, тут уж я ничего не мог сообразить: мешок пошел по вагону! а за ним другой! а за другим третий — так, и загребает, а ног не видно! — я видел, как сосед мой красноармеец глубоко и истово по-старинному перекрестился, и один из мешков попятился, хрюча, а другой, как рогом, боднул, и под лавку, и я вспомнил — Гоголь! —

Нет, ни один наблюдатель чудесной жизни, никакой Гоголь не увидит столько, как было в эти годы в России, когда жизнь вся ломалась и с места на место передвигались люди и вещи!

По Литейному с Виктором Шкловским шли мы с вечера из Дома Литераторов, и пришла мне в голову одна планетарная мысль:

«А что, — подумал я, — если бы в «Бесовском действе» электрофицировать ад — «тьму кромешную», какой бы поднялся кавардак и какая б была планетарная куролесина среди бесов!»

И когда я громко сказал об этом — эта мысль моя электрическая встрепнула Шкловского:

— Из-воз-чик!!! — как крикнет он во тьму на весь на пустынный Литейный, вроде как автомобильная шина лопнула.

— — —

А кони давно все пали,
а падлое мясо — синюю конину поели,
а съел кто — давно уж помер,
а покойников-прьнгунков электрических
— страх зазаставный! —
всех перестреляли.

ЗАГОРОДИТЕЛЬНЫЕ ВЕХИ

I

Новый год начался сном. В первый раз за сколько месяцев! Видел во сне ножницы, которые пропали и сколько дней ищу, не могу найти, и вот будто нашлись!

*

В очереди стоишь, разговаривают. Теперь меньше. Теперь стали дорогой заговаривать. Понятно, всё пешком, надоедает, а в разговоре и незаметно. А у другого очень накипело и хоть на ветер. И всякий ищет виновного и в своей и во всеобщей беде.

Вот и эта — кто она? Как-то понемногу все стерлось — уровнялось под последнюю рвань: может, бывшая лавочница, а может, хозяйка.

— — —

— — кто говорит: «уезжай отсюда!» А я говорю: «куда же я поеду, тут хоть место нагретое». А то говорят: «в Кронштат уезжай»! А я говорю: «Боже упаси, у нас страшно, а на этом острове еще страшней».

— — —

— — тут недавно возле Академии ученье было, один красноармеец и говорит: «Товарищи, не пойдемте на фронт, всё это мы из-за жидов деремся!» А какой-то с портфелем: «ты какого полку?» А тот опять: «Товарищи, не пойдемте на фронт, это мы всё за жидов!» А с портфелем скомандовал: «стреляйте в него!» Тогда вышли два красноармейца, а тот побежал. Не успел и до угла добежать, они его настигли, да как выстрелят — мозги у него вывалились и целая лужа крови. Я иду и громко плачу. Милиционер подошел и говорит: «иди в свою квартеру плакать». А я говорю: «когда это публично делается, то можно публично и плакать».

— — —

II

Умерла бабушка Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Константиновны. Помяну Ольгу Ивановну чаем: никто так не умел чай делать, как она! И оттого особенный уют был в доме.

III

А. М. Горький для «пищепитания» сочинил издать избранные произведения. И все мы «б. писатели» получили деньги — гонорар каждый за свою книгу — Мережковский, Сологуб, Замятин, Шишков, Муйжель, Чуковский — из Наркомпроса от З. Г. Гринберга, заместителя Луначарского. А сейчас я подбираю сказки для детей — Гринберг хочет издать в какой-то дошкольной детской секции. Ходил к Белопольскому в Госиздат, понес на пробу из «Посолони». И все ничего, да одна беда:

— Нельзя ли ангелов заменить!

— — — ?

— Ну, хоть звездами.

— — —

IV

Видел во сне И. Ионова: на столе у него будто разрешение на издание моих книг в Госиздате. А. С. Ионова тут же лежит: у нее, говорят, сын родился. А рядом сидит ее мать.

V

Первый день Пасхи. Когда ночью шли домой из Андреевского собора — это не ветер — это «вей» какой-то веял с моря.

Прежде я любил звезды и в звездах видел знак — я не мог разгадать, но непреодолимо тянулся к звездам. А теперь я полюбил ветер — «вей» — я его почувствовал, как когда-то звезды. И душа моя к нему — и через него моя связь со всем миром.

Я получил редкий подарок — «находка!» в мусоре — книга патриарха Никона «Мысленный рай». А когда я копнул переплет, там целые сокровища: скоропись XVII в.

*

В нашем доме у Вагоновожатого («вагоновожатый» — это Анна Петровна Плутицына за свой рост и тощесть необыкновенную) жильцы у нее матросы и водится хлеб и керосин. К Вагоновожатому ходит ее родственница Груша, б. горничная в Меблированных комнатах на Невском, а теперь «уборщица» в Советском доме. И всегда разговор о политике — «последние новости».

Я сидел у Вагоновожатого по случаю хлеба.

Говорили о яйцах: вспомнили, как на прошлую Пасху, когда каждому по карточке выдали по яйцу, Груша получила 18-ть! — «18-ть было меблированных жильцов и все разъехались перед Пасхой, по их карточкам она и получила». От яиц, как полагается, к политике: речь зашла о ликвидации безграмотности —

— Что теперь уж по декрету обязательно заставят каждого учиться!

— И не подумаю! что я, дура, что ли, учиться! — Груша с сердцем затянулась (Груша раньше не курила, только теперь, когда все стали курить!) — этому скоро конец! Ленин решил отстраниться от всяких дел: будет! «Я, говорит, больше не могу управлять: не могу видеть, как этот народ ходит голый, босый и голодный!» И отдал портфель. А евреи сказали: «А мы будем управлять, чтобы остаток народа перебить!»

— — —

VI

Всякий знает, что чертям дано гулять и мутить людей под Рождество (об этом у Гоголя все написано!), а на Пасху совсем не указано. Но бес и есть бес: бес исхитрился и выскочил из тартараров в самую святую полночь — и куда же? — да прямо в церковь.

Вот и послушайте!

Во время пасхальной заутрени свечка у меня таяла, я то и дело зажигал ее и тушил, хвать: нет шапки! Туда-сюда, нет нигде. И в конце концов нашел, но очень испугался —

конечно, это *он* вырвал у меня из рук «мутчик»!

А у мальчишки, который впереди меня, шапка так и не нашлась. Но самое ужасное: обернувшись вошью, вошью ползал *он* по спинам соседей, а стояли плечо к плечу и никак не устранишься!

На Кирочной, рассказывали, в домовой церкви вышел священник и прямо затянул «Христос воскресе». (Долго не разрешали служить и, когда разрешили, в последнюю минуту изловили какого-то попа, незнакомого, вот и напутал!) Кто-то крикнул: «Что вы, батюшка, не то!» А поп из царских врат: «Эй, черт!» И пошло — сумятица, вой, плёс.

В Казанском соборе какой-то «начиненный» подросток задумал поозорничать и хотел закурить от свечки — ну, и было ж: чуть не разорвали!

Конечно, это все *его* рук дело!

VII

Второй день как лежит С. П.: припадок печени. И нет воды. Измаялись, измучились. Не выхожу из дому, и ничего не придумаю. А сегодня выбежал в лавку. Господи! какой зеленый пух налетел и покрыл деревья. На 14-ой линии трава.

*

Буракова все любили. За его необыкновенный рост и силу, за добродушие, за уменье все сделать. И когда что случалось — поломается или и изъяна нет, а просто остановка! — всякий схватывался: позвать Буракова! И Бураков появлялся и с прибауткой отвинчивал, вставлял кусочки дерева или ковырял проволокой, и опять машина налаживалась. И казалось, не было дела, которое он не исполнил бы, и самое головоломное одолеет и неподступное возьмет.

Буракова далеко знали.

В революционные праздники на манифестациях обыкновенно он носил флаг, а в крестном ходу его можно было видеть с какой-нибудь тяжеленной иконой.

Бураков из белой армии, псковской, попал в плен где-то под Ямбургом и отбывал наказание в контракционном лагере, а из лагеря назначен был на общественные работы

в один из советских домов и служил он вроде дворника — «на все руки».

Как-то колол он на дворе дрова, и не знаю к чему, зашел разговор о царе: как царя расстреляли.

— Что ж, — сказал Бураков, — все это возможно и надо было ожидать, но только скажу вам: царь жив, и все это неправда.

— Да как же так неправда, это ж теперь все знают!

— А вы послушайте, что земляк-солдат рассказывал —

— — —

— Ехали наши солдаты из Германского плена. Сели они на параход в Стокгольме. Параход еще не отходил, сидят они ждут, и видят — идет какой-то военный. Подошел к ним: «Здорово, ребята!» Поздоровались. А он и говорит: «Вы меня не узнаете?» «Никак нет, не узнаем!» «Да я же ваш царь!» Тут они вглядываться — и видят: действительно, царь! только похудел, постарел, весь-то седой, с палочкой. «Ваше Императорское Величество, говорят, мы ваши верные слуги! Только что же это с вами такое случилось, и признать невозможно!» А он им по серебряному рублю дал каждому. И это истинная правда, потому что он мне рубль показывал.

VIII

Сижу в приемной Отдела Управления и жду. Жду поговорить. Так больше жить невозможно. И пусть нам дадут какую-нибудь квартиру: ведь у всех, кого ни возьми, хоть и плохо, а все-таки по-человечески, а у нас и здоровый-то не вынесет, дня не проживешь такой жизни. И вот я жду — — И когда же, наконец? Задержусь, опоздаю домой — пропущу час, когда в прачешной пустят воду и *никто не принесет* и останемся мы без воды! Ветер воет. Как воет! А когда шел, смотрел я на Неву — бежит. Завтра надо идти в Петрокоммуну за керосином, стоять долгие часы в очереди — а может, и откажут! По площади идти побоялся — там такой ветер. И как это мы зиму прожили! Думал иногда: нет, не вынесем! А как бы я хотел: ни у кого ничего не просить, так отдаться на волю, что будет; сгинуть — — и очень скоро. Эх, прозеваю

воду! И никто ведь не принесет! Опять завыл ветер — ветер древний! Проглянуло солнце и прямо в окно — на меня. Морит. И от курева дремлется. Только часы слышу ясно — — время идет все равно! Воду — воду пропущу!!

— — —

— Вы упали духом?

— Я? — вот вода у нас не подымается!

НА ДАРОВЫХ ХЛЕБАХ

Горы мусору у нас —
Надо вывезти сейчас:
Мусор в кухне не копи,
А сжигай его в печи!

I

НАХОДКА

Наступают теплые дни —
и весь Петербург звенит.
Цепляющийся зубильный звон, назойливый и точащий — железа о камень — звук стройки. И не найти уголка, нет такого дома — идешь по Невскому, и на Васильевском и на Песках и где-нибудь у Покрова — звенит.
Вечером в раскрытое окно каменный дых и парь домов и застоялая копоть труб, как глухая стена, и один — дышит один этот звук, точа — звенит.

Наступают теплые дни —
вот и белый май,
белая ночь,
цвет двух алых зорь — —
— много лет, как заглох, не звенит! —

И дети не играют в любимую игру — уцелевшие кое-где леса начатых построек растащены: печурошная железная саранча прожорливая за зиму подобрала все деревянные дома и доски.
Маленькие — те еще в песке строят свои волшебные песошные города.

Дым фабришных труб — невидаль, как стройка.
Рассеялись желтые петербургские туманы.
Вечер свеж и прозрачен — какие звезды! — и уличная тишина пустынна.

*

«Находка» — собака звонкая: ошейник на ней не простой, с бубенчиком.

И в вечерний освежительный час с высоты шестиэтажной видеть ее никак не увидишь, а слышно: звенит.

И поутру, когда колодезные жильцы спускаются во второй двор с чистым ведром в прачешную за водой, а с поганым к помойке, и сквозь ведерный звон звенит.

Только днем не звенит.

Илья Иванович Яичкин, хозяин Находки, заведующий, и днем ему дома не сидка: дело его хлебное — в лавке.

А Находка при нем неразлучно.

Заглянешь в Управу к Девятке — сидит Девятка с Попкиным, дела решают, — народы! телефон! содом! — и вдруг через всякий звон звенит.

А это и значит, что где-то тут в какой-то из комнат Яичкин за хлебным нарядом.

То же и в лавке, стоишь в хвосте — молчим или точит зубильная жаль — и вот под стук ножа и гирь зазвенит, и все очень понимают, что это сам Яичкин Илья Иванович.

Так и в Совдепе, ищешь ли комнату — за билетиком в очередь за дровами стать, или перегоняешься из комнаты в комнату за подписями и печатью, или просто тупорылой скотиной ждешь на авось, и опять зазвенит: Яичкин и здесь.

В 8-ь запирают ворота — была и такая крутая пора! — и уж не ты и к тебе никому, и телефон, пылясь, мертво молчит, раскроешь окно — там, глядишь, Галушин председатель примостился у окна — вечер теплый! — газеты: какой-нибудь уцелевший № за 13-ый год, — а против в окне уполномоченный Кузин ведомость составляет: списки жильцов —

прошел я Россию, сколько тюрем, острогов, не миновал секретной самой тесной, как мышеловка, сидел и в башнях — за какими ключами, затво-

рами! — но такой каторжной тишины и гробового спокойствия не запомню.

И вдруг звук, как шарик, рассыплется — мелкие шарики —

каждый шарик в орешек — стук орешек! — орешек в горошину — лоп горошина! — горох на крупинки — сей, лей, вей! —

все завьется, заструнится — звенит —

Мне-то не видно, но вижу, как Галушин и Кузин кивают: Илья Иванович Яичкин возвращается с работы — ему по его хлебному делу, как днем, так и ночью, ход не заказан.

*

Жаловался Яичкин на арифметику: мудра — не тверд.

Взялся за него Кузин, и одолел ее Яичкин, да так, что ни на какую стать.

С этого все и пошло.

И «вагоновожатый» — Анна Петровна Плутицына, у которой матросы живут, жилистая и рассудительная, именно на арифметику все и доказывала и от арифметики выводила всю Находкину бедовую историю.

А историю эту собачью все знали — от Управы и до лавки и от лавки до Совдепа и от Совдепа до Участкового бюро и от Бюро до комендатуры и от комендатуры до клуба, а от клуба по улице вдоль —

И даже Женя Кузин, который —

— «маленечко по нотам поет» —

и носит при себе, как трудовую книжку, пастуший билет: «пастушить ребятишек» — выдал я ему еще по весне с «обезьяньей печатью»! — и Женя может ее рассказать и со всеми подробностями и чудесами.

*

Илья Иванович уехал в командировку.

И узнали это не потому, что бы Яичкин ходил и объявлял по всем по семидесяти пяти квартирам снизу и доверху, а потому что звон бубенчика замолк.

В последний вечер звякнул — —

Я долго в тот вечер не спал — читать не видно, так сидел —

в белой ночи по бледному небу расцветали зеленью белые звезды — камушки изумрудные, и, не игля, лились лепестками.

Долго трудился Илья Иванович над чемоданом, укладывался, потом — я ничего тогда не мог понять — разрезал хлеб, целую форму, взвесил каждый кусок и стал раскладывать по полу рядком, а потом, держа за ошейник Находку, тыкал ее носом в каждый кусок и что-то приговаривал, уча, и так раз десять на каждом куске.

Находка становилась на задние лапки, служила, смотрела — —

Илья Иванович собрал крошки, запер шкап, присел к столу, подумал — вдруг встал и, в чем-то убеждая Находку, строго погрозил.

Тут вот в последний раз и звякнул бубенчик.

*

Дом наш — колодезь, каменный мешок, и из всех домов, таких же мешков, самый есть тихий.

И ничего-то у нас не случается.

Как-то однажды около полночи, когда все семьдесят пять квартир на сон ладились, распахнулось окно над Кузиным, и барышня Рыбакова сдавленно ухнула:

«Душат!»

Решили, пожар: и всякий, в чем застало, опрометью к прачешной воды набрать, чтобы тушить.

Конечно, вода никогда не мешает, но дело тут не в пожаре и вода не причем.

Давно подмечал старик Рыбаков, что хлеб пропадает, а жила у них еще прислуга, вот он и вышел перед сном на кухню, и что-то тут случилось —

или эти белые зазеленевшие звезды?

стал он шарить Пашу: хлеб искал. А рыбаковская Паша, всякий знает, одна на шестой этаж бревно стащит, Паша-то старика и ущемила, дочь испугалась и всполыхнула:

«Душат!»

Что еще?

Больше, кажется, ничего.

И вот — завыла собака.

Как ночь, так вой.

Не поверили, всякий сказал, косясь:

— Это там, не у нас.

А что ночь, то вой заливней.

И поверили:

— Не к добру: у нас.

Где, что, почему?

В доме собак нет — — Находка?

> Пятый день, как Яичкин уехал, а Находка при нем — неотлучно. А кроме того, никто и никогда не слышал, чтобы выла Находка, да она и не лаяла, она только звенела, а может, и залаяла бы где на солнышке, но в каменном-то мешке за такой оградой — —

Затаились, только уши одни.

И каждое окно, как ухо.

— Это у Яичкина! — первым догадался Кузин и, высунувшись, крикнул председателю.

Галушин, не замедля, откликнулся, точно и ждал того:

— Конечно, у Яичкина!

— У Яичкина! — отстенилось в колодце.

Тут уши опали.

И окна сразу закрылись.

*

Белые тени, белые ночи, заметались за окнами.

— К Яичкину забрались воры: чистят!

По лестнице воздушно в белой ночи: впереди председатель, за председателем уполномоченный, за уполномоченным два члена, за членами сотрудники, — и все были по-ночному налегке и только форменные кантовые фуражки бывших ведомств с серебряными подковками и лепестками значили, что не лунатики, а домовое начальство и в полном составе.

Я слышал звонкий голос Кузина, немилосердный стук.

И на минуту все замолкло — саплая надсадка — и, как конец, на весь колодезь треск.

У Яичкина в покинутой квартире замелькал огонек — и тотчас, как огонек, зазвенел бубенчик.

Ни воров, ничего —

одна-единственная Находка!

*

Полночи только и было разговору.

— Уехать и запереть собаку!

— И как она еще не сдохла?

— Человеку вытерпеть трудно, а собаке и подавно: завоешь!

— Ей камушек показали, так она, как кубарик —

— Залаяла, ей-Богу, сам слышал.

— Не предупредить, вот чудак.

— И сколько этого г...ща, весь пол!

— Да чего ей жрать-то было?

— Нашла себе чего: чай, заведующий!

— Да ведь всё на запоре, не такой.

И под все суды-ряды и пересуды одиноко звенел бубенчик.

*

На другой день вернулся Яичкин.

Яичкин вернулся раньше срока.

Не хотел верить:

ведь он же оставил Находке ровно десять фунтов хлеба — десять равных кусков хлеба ровно по фунту на день.

— Да столько и гражданское население не получает! — оправдывался Яичкин.

А после всяких споров, когда весь колодезь затих, я видел, как выговаривал он Находке, укоряя ее, что «все десять фунтов сожрала зараз, а не по фунту, как полагалось!» Потом спохватившись, бросился собирать с пола все собачье, наклал доверху «скороходскую» коробку из-под штиблет и поставил на весы —

весы показали 20-ть!

И уж чего ни делал — и тряс и дул — стрелка оставалась неколебимо: 20! — 20 фунтов!

— Откуда?

Яичкин отказывался что-нибудь понять:

— 10 — — 20 — — ?

Это было сверх всякого учета и не поддавалось никакой регистрации.

Находка стояла на задних лапках, служила, смотрела —

II

СЕРЕЖА

Мне еще очень жалко Гусева.

И оттого жалко, что вот на моих глазах за эти годы потихоньку опустился он — пропал! — и от прежнего Гусева и звания нет: борода какая-то пошла и совсем неуместно, и загрязнился-то весь, страшно взглянуть; такой когда-то манжетистый, а теперь в ночной сорочке безвылазно. Ничего ему не интересно, и говорить не о чем.

И когда он приходит ко мне, не приходит, а «притаскивается» с другого конца на Васильевский остров, мы сидим молча: я перебираю книги, а он что-нибудь подъедает — такое, что в прежние-то годы считалось заваляшим — ест и отдыхает с дороги. А потом: или «пора домой», или ложится спать, не раздеваясь, в шубе прямо на холодный диван.

Но иногда — это когда еды больше! — мы мечтаем. Мы мечтаем:

кого бы нам «еще» ограбить?

или — как хорошо было бы поступить нам в налетчики!

*

Люди разделялись на три категории:

одни получали «паек» и пользовались им ничего и, если бы еще могли где получить, не отказались бы;

другие получали неофициально — правда, таких было немного — и, пользуясь всякими «индивидуальными» выдачами и благотворительными аме-

риканскими посылками, осуждали тех, кто получал «в общем порядке» по службе;

третьи — ничего не получали, только по «карточкам»;

(были и еще, но таких наперечет, это которые из «благородства» или из «чести» отказывались от пайков, и которых обыкновенно деликатно подкармливали получавшие «неблагородно»).

Гусев получал только что полагалось по карточке.

*

К Гусеву зашел «некий» Сергеев. (Гусев с некоторых пор — от всеобщего утомления, должно быть, — прибавлял к именам «некий» или, опуская совсем имя, просто выражался: «некий!»).

Этот некий Сергеев приехал в Петербург ликвидировать свое петербургское имущество: кое-что оставалось у него еще с войны. В Петербурге он жить не намеревался: и голод и, того и гляди, немцы займут, нет, он поедет в провинцию, где и «сытно и в безопасности».

Ехать в провинцию «на хлеба и в безопасность» было одно время сущим поветрием, и сколько глупого народа так сослепу-то, очертя голову, бросилось по всяким медвежьим углам, чтобы рано или поздно замечтать о Петербурге, как о рае волшебном, где при изворотливости можно кое-что и достать, а главное, все-таки в большей безопасности: ведь одна «власть на местах», вопреки всяким декретам из «центра», могла как угодно и что угодно вывернуть по-свойски. Много несчастных попало тогда в провинцию.

Сергеев «ликвидировал» свое добро, т. е. рассовал вещи по знакомым: кому для сбережения, кому на продажу — или, прямо говоря, бросил свое имущество.

В самом деле, какое могло быть бережение, когда хоть бы голову-то сберечь, и то слава Богу! Всякая вещь могла попасть «на учет», и лишние, какие если завелись, надо было или прятать, а это не очень-то просто, или сбыть — а кроме того, беречь чужое можно только тогда, если

своего есть что поберечь, а уж когда своего-то нет ничего, тут такой соблазн!

— Что же касается продажи — эта операция «нелегальная», и продажа своего или чужого с риском попасть в комендатуру, а из комендатуры на Гороховую «за спекуляцию», нет, я думаю по всей справедливости право на выручку приобретает один продавец — а кроме того, если бы и вздумалось кому из «благородства» и «чести» не истратить эти деньги, а отложить выручку, то ведь через месяц, через два они ничего не будут стоить и, стало быть, никому уж —

Как и все отъезжающие в провинцию, и этот некий Сергеев дал маху с «ликвидацией», ну, да это неважно, не в этом дело: Сергеев был тот расчетливый дурак, которых на Руси немало водилось и до и после.

Жалко Сергееву Гусева — «вот, думает, дурак несчастный! и чего торчит в Петербурге?» — и говорит на прощанье:

— Николай Григорьевич, возьмите вы мой паспорт, пропишите меня, будто я у вас живу: все-таки будет у вас лишняя карточка. А там меня знают, могу и без паспорта.

Сергеев служил в войну в земском отряде — «земгусар», и было у него, кроме паспорта, еще удостоверение личности и проходное свидетельство да и еще какие-то документы на право передвижения — изобретение военного времени, подозрительного и расточительно документального, от которого пошла и вся наша волокита, а вовсе не потому, как это говорится, будто «в учреждениях сидят буржуазные ошмотки»!

— Так берите ж вы паспорт-то! а то ведь так пропадет, а тут — лишняя карточка.

И Сергеев положил на стол Гусеву свою паспортную книжку.

И расстались: Сергеев поехал в провинцию, где «и сытно и безопасно», а Гусев в Петербурге остался с паспортом Сергеева, по которому —

если прописать, выдадут продовольственную карточку, а в продовольственной лавке восьмушку хлеба.

*

Гусев от неожиданности и непривычки (это теперь мы с ним мечтаем!) даже и спасибо не сказал, а Сергеевский паспорт с правом на продовольственную карточку ему ой как на руку: оба они, и Николай Григорьевич и Вера Васильевна, сидели о ту пору в 3-ей категории, а 3-я категория — не больно разъешься.

I-ая категория — рабочие,
II-ая категория — советские служащие,
III-я — неслужащие интеллигенты,
IV-я — буржуи.

Буржуи, или вернее, бывшие буржуи получали восьмушку хлеба на два дня, интеллигенты — по восьмушке на день. Впоследствии и Гусевы, как советские служащие (понемногу все сделались советскими служащими!), переведены были во 2-ю категорию, и им полагалось по четверке в день, но пока что изволь быть доволен и восьмушкой!

Да, иметь лишнюю карточку им было на руку — только как-то неловко: ведь Сергеев-то уедет, и карточка, значит, подложная —

значит, подложной карточкой пользоваться — обманывать!

Да, не сразу это далось — это, как и насчет дров, сначала-то очень совестно, а потом свыкнется.

И это я не в смех и не в осуждение: что поделаешь, видно, все эти высокие «честные ценности» и «благородные скрижали», все это и хорошо и достойно блюсти при обеспеченной, и не какой-нибудь богатой с излишествами, а обыкновенной, достойной человеческого существования, жизни, и с таких «обеспеченных» при нарушении спросится, ну, а с голытьбы последней, с гусевской, ей-Богу же по справедливости грешно и требовать!

Гусев — это еще когда мы не «мечтали», а разговаривали, как «порядочные люди» — рассказал мне, как он тоже дрова «преодолел».

«Преодолел, как выражается Бердяев, — рассказывал

Гусев, — ведь быть честным в таком понимании принятом, это, знаете, такая роскошь, и не всякий может себе позволить. Настя у нас, наша последняя прислуга, доживала постылые деньки, питаясь гласно от трех матросов, что по выражению ее подруги Саши — «теперь это можно!» Вот и говорит она как-то вечером: «барин, постерегите!» Сначала-то я не понял, чего стеречь. А она показывает на черный ход к лестнице. Ну, я и пошел за ней. Стал в проходе, стою, караулю. В кухне чуть такой свет — керосиновая лампочка закопченная, около носу не разберешь. А Настя вниз спустилась, понимаю — «по дрова». Наши-то дрова кончились и купить не на что. Тогда, знаете, можно еще было покупать, не запрещалось. И сколько прошло, не помню уж, очень это тяжело, и вдруг слышу — шаги. Нет, это не Настя. И не знаю, что делать, так бы и провалился на месте! А тот, должно быть, тоже — и как увидел меня, да как шарахнется — дрова-то поленья по лестнице так и покатились. А это сосед: за тем же предметом! Так с месяц и согревались. Я караулил, Настя спускалась на промысел. Сначала-то очень было неловко, а потом и ничего: преодолел!»

Гусев дрова преодолел, теперь надо было и на паспорт решиться.

*

Самому идти к заведующему домом Казакову просить прописать Сергеевский паспорт неудобно — Казаков, это старший дворник под названием «заведующего». (Дворники и старшие и младшие были тогда упразднены!).

Настю послать — ?

> Еще при Керенском, когда одни стали «углублять» революцию, а другие каркать, что с революцией «Россия погибнет», Гусев как-то сказал Насте, что, если она такое услышит, пусть всем говорит, что не погибнет Россия, «потому что есть Пушкин, Лев Толстой, Достоевский». Насте легче всего дался Пушкин, Толстого она забывала, а над Достоевским мучилась, припоминая; но в конце концов одолела. — «Почему, Настя, не погибнет Россия?» А она станет, закатит глаза: «Пушкин,

скажет, эщэ Лев Товстой, эщэ — Достоевский». А когда большевики, как говорилось, «воцарились на престол» и так скрутило, только и слышно стало жалоба да ругаются, Гусев как-то и спросил Настю: «кто, Настя, теперь нами управляет?» И она вдруг стала, закатила глаза: «Пушкин, эщэ Лев Товстой, эщэ — Достоевский».

Настю послать? Ляпнет еще чего или такое накурлякает — да больше некого, только Настю!

Настю и послали к Казакову.

И пока Настя ходила в дворницкую — под Казакова была реквизирована квартира, и жил он не как раньше дворники и швейцары — в подвале, а как жилец, с которого «на чай» полагалось! — пока она там разговоры разговаривала, уж и страху и опаски натерпелись несчастные Гусевы:

а ну как Казаков узнает, что Сергеев-то уехал?

а ну как Настя скажет, и совсем невпопад, что-нибудь вроде — «Пушкин, еще Лев Толстой, еще Достоевский»?

а ну как —

— И зачем это мы всё затеяли?

Настя вернулась:

Казаков прописал!

— Прописал! Спрашивает: «а что ж, говорит, жена его, Сергеева, приехала?»

— Нет! не приехала, — чего-то оробел Гусев, — Марья Петровна не приехала!

И вдруг сообразил: значит, в паспорте и Марья Петровна записана и, стало быть, можно было бы и ее прописать, — вот и еще лишняя карточка!

— Не посмотрел, — жалко сказал Гусев, — а ведь можно было бы и жену прописать.

— Так надо прописать, — подхватила Настя, — лишняя карточка.

Но Гусев испугался и замолчал: на такое решиться сразу невозможно. Если бы заодно прописать обоих: и Сергеева и жену — дело другое. И успокоился: будет и одной лишней карточки! Но забыть не забыл, но и не поминал.

А Настя — в голову-то ей это втиснулось: «если бы еще жену прописать — еще лишняя карточка!» — Настя терпела день, другой — «да что ж в самом деле, у всех лишние карточки, и все это знают, а тут добро само в руки лезет, а не берут, отмахиваются!» — Настя взяла тихонько паспорт Сергеева да и пошла к Казакову: «еще чего, стесняться?»

> Настя крепкая и упорная: когда в первый раз выехала она из деревни в Петербург, — об этом сама она часто рассказывала, — «как села я в Витебске, а забрались мы в вагон загодя, так до самого Петербурга и не слезала с лавки; люди там по нужде выходят, а я думаю себе: нет, глупости, уж как села, так до Петербурга!»

— Жена Сергеева приехала! — срыву сказала Настя Казакову и положила на стол паспорт.

Что ж тут такого: жена к мужу приехала!

— Давно б пора! — Казаков пересмотрел паспорт: — все в порядке.

И прописал жену Сергеева —

> Марью Петровну Сергееву.

И стали Гусевы нежданно-негаданно получать по двум лишним карточкам — две лишние восьмушки хлеба.

И ничего —

> Да, конечно, ничего! «И давно б пора!» и «чего стесняться-то?» Неловко? Казаков узнает? Да что ж Казаков, дурак, что ли, или слепой? И какая хитрость, поди ж ты, прописать человека по настоящему паспорту, нет, вот из ничего чего устроить — а ведь целые дома прописывались с несуществующими жильцами (это впоследствии открылось), а о таком не мечтал и Гоголь! — да еще то ли будет!

*

С месяц все было хорошо и на другой ничего.

Настя не выдержала — «и Бог с ними, с Пушкиным,

Толстым и Достоевским: голодом пропадешь!» — собрала все свое добро и в деревню.

Да со своим добром и Сашину, подруги своей, подушку ухватила. Это потом Саша жаловалась: письмо просила написать Насте — «что когда *мать твоя* помирать будет, положи эту подушечку ей под голову».

Без Насти Гусевым самим оставаться больше стало. А вскоре оба на службу поступили и попали во 2-ю категорию.

И совсем уж ничего.

И вот, как на грех, случился очередной призыв красноармейцев: опять кто-то наступал — Колчак? Деникин? или еще кто? И надо же такому быть, как раз возраст Сергеева подходил под этот призыв.

Уполномоченный домкомбеда Михаил Михайлович Котохов все знает: и кто когда ложится, и у кого хлеб водится, и у кого кто живет — и действительно и так, для карточек числится.

Вон в доме Паршикова устроено в подвале вроде курятника — жерди, и на этих жердях, сидя, как куры, ночуют дезертиры. И это подлинно живые люди и лишь на ночь на случай обыска обращающиеся в кур, а Сергеев, хоть и прописан, а он вроде как неживой, и его на ночь на насест никак не спрячешь, и без нужды и по нужде никак не закукуречит. И это надо принять во внимание.

Котохов постучал к Гусеву.

— Сергеева надо отписать, — сказал он, не глядя, — его годы призывные. Пускай у вас одна жена его остается.

Гусев не спорил — Гусев и голоса подать не решился.

Конечно, досадно. И надо же случиться какому-то наступлению! И кого это там опять дернуло: Колчак, Деникин или еще кто?

Газеты мало кто читал: газеты не продавались, а наклеивались на углах для всеобщего пользования. Но наклеенные не всякому охота читать, да и трудно — набор слепой, да еще и от клея слилось — ничего не разберешь! Да и некогда околачиваться, ведь каждый час дорог и все часы

распределены: великое всеобщее стояние в очередях за добычей! И вот, когда наступал кто-то — так уж повелось — называли Колчака и Деникина. А уж в самом безгазетном круге, где вообще никогда газет не читали, там всё валили на одного Колчака: «на одной стороне, говорилось, Ленин-Троцкий, на другой Колчак». И всякий раз, как они начинали поединок, объявлялся призыв.

Так Сергеев, попавший в призыв, должен был действительно уехать от Гусева, и его отписали. И осталась у Гусевых одна Марья Петровна, жена Сергеева, — одна восьмушка, все-таки лишняя восьмушка!

*

Гусевы обедали раз в неделю.

Обыкновенно в субботу обмерзлая за неделю кухня оживала. Топливом служили доски от деревянных домов — домá на слом давались на дом по числу квартирантов, которые сами должны были разломать дом и развезти на себе по квартирам всякий свою часть и, дома распилив, пользоваться — кроме этих досок дожигали мебель: столы, стулья, комоды, ну все, что ни попадет, деревянное.

Готовили оба. Наваривали вот такую мисищу из мороженых овощей — а потом всю неделю подогревали на примусе. И целую неделю овощной дух держался в комнатах, а уж в субботу до слез и чоха.

Как-то после всенощной зашел к Гусевым Котохов.

Котохов изредка наведывал всех жильцов для порядку, и его всем, чем только могли, угощали: и искусственным медом, который иногда на паек выдавали да в некоторых кооперативах, и повидлой, тоже — редкая выдача! — и собственным изобретением — какими-нибудь лепешками из картофельной кожурки, и чаем, какой случался, — или «кавказский» или морковный или березовый или, еще такое было, какавелла — ни на что не похожее вроде спитого кофею.

Разговорились о том, о сем, и «какая жизнь стала несносная и не видно конца тяготе!» — это всегдашний

запев; а припев: «наступление, которое все перевернет!» — и тут даже ставили сроки «из достоверных источников»; а другой раз и такое приплетут и тоже из верных рук, будто «Петербург объявят свободным городом».

Можно сказать, за эти годы, живя только добычей, люди не теряли духа промышлять добычу — которая лишь поддерживала существование — единственно и только надеждой на какую-то перемену, верой, что что-то произойдет чудесное и перевернет жизнь или как-то изменит ее: потому что только поддерживать свою жизнь, т. е. быть скотом, с этим *человек* никогда не помирится! И это только потом уж, вспоминая, не пожалеешь, что жил в эти грозные грозовые годы, где бывало и такое не только в страх, а и в смех.

Котохов рассказывал о предполагавшихся обысках — Котохов все знает!

— Будут продовольствие отнимать — муку, если у кого свыше 5-ти фунтов, и сахар, если у кого найдется.

Советовал даже и меньшее количество припрятать.

— Лучше всего на верху печки.

От обысков к жилищной тройке по уплотнению квартир. А от уплотнения к политике — Ленин-Троцкий, и, как полагается, какое-то наступление; Колчак, Деникин. А от политики к пению.

Котохов пел в церкви на клиросе.

Гусев был большой любитель церковного пения, и его сочувствие настроило котоховское сердце на чувствительный лад.

— Посмотрю я на вас, — сказал Котохов, — ну как вы живете-можете! И эта восьмушка ваша несчастная! Если бы нашелся у вас знакомый доктор и согласится, например: Сергеева ожидает ребенка! — 1-ая категория: фунт хлеба.

— Фунт хлеба, ловко ли? — вздохнул Гусев.

А получить лишний фунт хлеба очень было бы ловко!

— Чего ж неловко-то? Со всяким может случиться.

— Так все-таки ребенок, куда же мы его денем? — заплетающимся языком сказал Гусев и от неожиданности и от всей несообразности предложения.

— Так ведь это впоследствии, такое не сразу. А пока только: ожидается, понимаете?

Как не понять — мысль изумительная! — и почему в самом деле Марья Петровна Сергеева не может ожидать ребенка?

И весь следующий день — воскресенье — Гусев звонил знакомому доктору.

Телефон, к счастью, действовал после долгого безмолвия — обыкновенно же при всяких наступлениях (Колчак, Деникин, Юденич), или угрозах наступления, телефоны выключались, или и не выключались, а что-нибудь испортится «по линии», и уже не дождешься, когда исправят.

И дозвонился: доктор обещал только на завтра.

Не прежнее время: сел в трамвай и приехал! — да и мало было докторов — кто уехал, а больше того перемерли в тиф.

*

Доктор Забругальский старый знакомый, но все-таки сразу Гусев не решился прямо сказать о своей просьбе. А начал пространно — свои наблюдения о притуплении чувств или, как сам он выражался, об «ослаблении проводника любовной эманации» —

что вот никто и не женится!

и, должно быть, от постоянного недоедания — проголоди! — и любовное желание прекращается, оставляя одно лишь воспоминание.

— А холод держит все члены в некотором как бы оцепенении... но бывают случаи и обратные.

Гусев любил подобие Гоголя, усвоив у Гоголя, впрочем, так всегда и бывает, не Гоголевское кованое серебро слов, не наполнение «предметностью» фразы, а лирический словолив.

— Например Марья Петровна Сергеева, вы ее у нас встречали.

— Не помню хорошенько, какая это Сергеева? — Позвольте, маленькая хромая?

— Да нет! Марья Петровна на балерину похожа!

Но доктор никак не мог припомнить. Потом из вежливости, что ли, я не знаю, отчего это иногда делается, вдруг сморщился:

— Припоминаю, на елке у вас...

— Марья Петровна Сергеева ожидает ребенка! — выпалил Гусев и, насколько позволяли средства, покраснел.

— Вот какая история, ну вот видите, а вы «притупление эманации»!

— И ей необходимо докторское свидетельство о беременности.

— Беременные — 1-ая категория — 1 фунт хлеба! — сказал доктор и причмокнул от удовольствия, — из-за одного этого следовало бы.

— Так вот я насчет свидетельства, — Гусев подложил листок, — сделайте милость, очень вам буду благодарен: на третьем месяце беременности Марья Петровна Сергеева, у нас прописана.

Доктор чего-то подумал —

> или понял и соображал, ловко ли? или нужна была какая-нибудь замысловатая фраза? или так полагается докторам: прежде чем писать рецепт или свидетельство, всегда обязательно подумать, хотя бы для виду.

— Ну, давайте.

И свидетельство было написано:

> «гражданке Марье Петровне Сергеевой, находящейся на 3-ем месяце беременности, для усиленного питания».

На прощанье, как бы оправдываясь, сказал доктор:

— Я не обязан помнить всех моих пациентов. И вы не беспокойтесь: кушайте 1-ю категорию.

*

Месяцы идут — время бежит, прямо непостижимо! 1-ая категория — лишний фунт хлеба! Добрый-то человек надоумил! Да уж скоро у Марьи Петровны и дитё на свет появится.

Письма редкие: редко о ту пору писали, еще реже доходили письма. Получилось письмо от Сергеевых — писала Марья Петровна:

жилось им не больно-то, а все-таки не голодали.

Раз Гусевы посылку получили от Марьи Петровны — крупа, а в крупе, крупой закрыто, нелегальная мука — муку запрещалось посылать.

Вот добрые-то люди!

Вот счастье-то, и не ждешь, а само и привалит: и 1-ая категория, и посылка дошла, и главное в целости — и крупа и мука!

А в один прекрасный день — срок кончился — и у Марьи Петровны Сергеевой родился сын.

В очередную ведомость на получение продовольственных карточек Гусев вписал в графе проживающих у них жильцов — Марью Петровну Сергееву с сыном.

— Как у Сергеевой сына-то зовут? — отгрызнулся Котохов: Котохов для порядку, такая деловая повадка, говорил с огрызом, и это всегда очень пугало и привычного и непривычного и даже тогда, если все было по-правильному.

— Сережей, — пролепетал Гусев, — Сергеем.

— — —

И стали Гусевы получать, кроме своих двух четверок, еще и по 1-ой категории «кормящей матери» и по детской карточке *А*.

И знаете, как-то для Сережи выдали им варенье — а давно не ели! — ой, с чаем-то вкусно! — они и блюдечки облизали: «спасибо!»

Вот она, Сергеева-то какая — Марья Петровна! — спасибо! — и за что это им такое?

*

Три месяца прошло, и за эти три месяца, кроме варенья, еще и конфеты и селедок выдали для Сережи, и Гусевы так привыкли, что у них растет мальчик, так уверились верой своей голодной, что, ей-Богу, случись присяге, присягнули б.

Но как это всегда бывает, даже и звезды крошатся, стираются горы, пропадают народы, и всякому человеческому благополучию наступает конец, а порядку — революция, пришел Котохов и не глядя сказал:

— Чтобы получить детскую карточку, впредь надо нести ребенка в Совдеп показать.

— А как же Сережа! — у Гусева похолодели руки.

— Детскую карточку иначе выдать невозможно.

— — —

Да если уж так надо, Гусев готов сам нести Сережу — «закутает его хорошенько и в Совдепе в очередь станет — и будет куковать — »

— — —

И Сережа «помер», — ничего не поделаешь!

И остались Гусевы с одной Марьей Петровной — и уж не 1-ая категория, а 3-ья — не 1 фунт хлеба, а восьмушка.

Помню, когда в эти годы я публично читал «Царя Максимилиана», всякий раз на словах царя затюремному сторожу о продовольствии сына Адольфа подымался несмолкаемый хохот — «Поди и отведи моего сына Адольфа в темницу и мори его голодной смертью: дай ему *фунт* хлеба и стакан воды!» Да ведь этот «фунт — голодной смерти» был бы для всех в эти годы великим благодеянием и лишиться такого — несчастье.

Вот несчастье! — Гусевы так привыкли — так свыклись с мыслью, что с ними живет Сережа! — и очень жалели, а ничего не поделаешь.

А когда пришла весна — весна после ледяной зимы теплом как взбесит! — и надо и не надо пошли жениться, и это не только в Петербурге, а и по всей России в третью весну после революции.

И там, в медвежьем углу, где когда-то вкусную пастилу делали, а теперь не делали, весна и без пастилы взяла свое, и Сергеев, как и многие прочие, поддался.

Сергеев тоже задумал жениться.

А женатому, чтобы жениться, надо развод, а развод это очень просто, лишь бы паспорт, а паспорт-то у Гусева: надо, значит, затребовать у Гусева паспорт.

«От *всеобщего потрясения,* — писал Сергеев, — задумал я жениться, и с Марьей Петровной вынужден развестись: необходим немедленно паспорт!»

Ничего не поделаешь: надо послать паспорт.

И вот с последней осьмушкой пришлось расстаться: без паспорта никак невозможно —

и Марью Петровну отписали.

Так «помер» Сережа и Марья Петровна «выбыла на родину».

И остались Гусевы на двух на своих законных четверках без никаких.

III

ТРУДДЕЗЕРТИР

На площадке 6-го этажа около самой дверцы лифта неизвестная собака навалила величайшую кучу.

Ее увидел первым Скворцов и почувствовал с ужасом не меньшим, т. е. прямо пропорционально. И чем больше Скворцов всматривался — а он стоял над ней, как вкоп, — тем сильнее становилось его чувство:

он уж видел больше, чем было в действительности, — он смутно чувствовал и все последствия: как из кучи вы́кучится полный нужник, и не миновать попасть туда — по шейку. Известно: одно к одному — деньги к деньгам, тоже и напасть на напасть! И еще: прилипнет, нипочем не отстанет! — примета верная.

Подходила очередь убирать Скворцову лестницу — по постановлению Домкомбеда все жильцы дома обязаны были по очереди исполнять всякие домовые повинности — и кучи, стало быть, никак не минуешь.

Случись это летом, за неделю подсохло б — бери хоть голыми руками! И зимою подмерзло б — и тоже труд невелик, скребком хвать и готово. А сейчас осень — а осенью, что весной, жди когда-то еще:

«хоть бы мороз поскорее!»

Вы не смейтесь, это дело совсем не плевательное и не ждет!

Целый день Скворцов по всяким добычным делам:

добыча — единственное дело и забота.

И что могло быть другого в эти годы блокады, внутренних наступлений и «опытных» декретов!

В Севпросе («Кооператив служащих в комиссариате Просвещения Северной Коммуны») выдавали мокрую картофель и еще что-то из подпорченных овощей, а вместо обещанной повидлы искусственный мед — зависть не включенных в кооператив.

Всю эту добычу чтобы получить, нужно было выстоять в очереди не малый час и отнести мешок домой.

После Севпроса пошел Скворцов в Петрокоммуну.

Там в «отделе распределения ненормированных продуктов» стоял он в медленном, упорном и норовистом хвосте с прошением о керосине:

«для вечерних работ».

И в Севпросе и в Петрокоммуне все одно: куча не выходила из головы — куча завалила и картофель и мед и все вороха бумаг — ордера.

И хотя было о чем сообразить или так спохватиться — —

> ведь стоишь, бывало, час и другой и вдруг спохватишься: из-за чего? Да из-за каких-то пяти-трех фунтов керосину или из-за четверки хлеба, чтобы сжечь или съесть и опять стать в очередь и снова терпеливо стоять! И какая обидная доля — и твоя и тех вот, попадали ж люди упора и воли необычайной! — никогда-то ничего не построить, а из ничего, всеми правдами и неправдами, добыть и распределить по декрету, чтобы сожгли или съели, и ничего — ничего-то больше — бесследно —

«Бесследно? нет — — !»

Скворцов уж прилип и не ногой и не рукой, хуже: глаз-то, это наше прекрасное окно на Божий мир, попробуй-ка ты, прочисти!

«И какая это могла собака сделать? Верно, очень большая! И надо же: вбежать на 6-ой этаж и около самого лифта сесть! Хорошо еще лифт не действует, а то так бы прямо ногой и попал. И странное дело: где теперь собаку увидишь? В прошлом году падали лошади, потом собаки: зашелудивит и кончится».

Скворцову вспомнилась вся лошадиная падаль, особенно на мостах, и подыхающие собаки — последние — ужасные.

«А вот и выискалась! И чего такого она могла съесть? И где? что добыла?»

> Сосед Вавилонов из Наркомзема (Народный комиссариат Земледелия) имел такую повадку — всюду водил с собой собаку. Собака его Бобик по гостям и питалась: что плохо лежит, все сожрет этот вонючий Бобик.

«Вавилонская собака Бобик? Выдачу чью-нибудь сожрала? Повидло? И почему на моей именно, на моей площадке на самой высокой? Почему не ниже? у уполномоченного? или у того же Вавилонова? у Смётовой, Гребневой, Алимова, Терёхина? Вот бы у Терёхина!»

Впрочем, все равно: лестницу-то чистить Скворцову все равно сверху и донизу, и на какой площадке накладена куча, безразлично.

Да, Скворцов прилип и нес это не в глазах уж, а где-то в самом мозгу.

*

Под вечер в очереди за хлебом в Продовольственной лавке № 34 — очень долго пришлось ждать, всё не везли хлеба, так до вечера и дотянули! — на одном из поворотов изождавшегося притесняемого ворчливого хвоста уж совсем близко к Наталье Ивановне (Наталья Ивановна за прилавком хлеб режет) столкнулся Скворцов с уполномоченным Назаровым.

— А ничего куча, — подмигнул уполномоченный, — вот так собачка! — и добавил совсем неподходящее, но созвучное: — копровуч!

Конечно, нижние жильцы — ни Смётова, ни Гребнева, ни Алимов, ни Вавилонов, ни Терёхин — не заметили б: кого на 6-ой этаж потянет! А вот уполномоченный дознался. Но Назаров, хотя бы и о куче — другой, может, и позлорадствовал бы, что — «не все ж нам подчищать, а и вашей милости не угодно ль!» — нет, Назаров правильно, как и всякий на его месте, только изумился перед величием: «копровуч!»

> «Копровуч» — кооператив высших учебных заведений — никакого отношения к занимаемому предмету, но по наглядности — метко.

Наталья Ивановна желанная, ну хоть бы раз рассердилась! А ведь есть на что — у всякого нынче подозрение, а тут хлеб ведь! — так под руку и смотрят, не обделила б! А она, если попросишь, и горбушку отрежет — а ведь горбушка против мякиша куда сытнее и не так спора — только неловко просить-то, всякому хочется. Наталья Ивановна Скворцову прибавочек дала — или смотрел он очень жалостно? или уж очень задумался? или за шляпу, за всю его рвань и тряпье — —? Впрочем, нет, этим никого не удивишь: все тут одинаковые — голь.

И с прибавочком у всех на виду — хлеб, как и всякая выдача, не заворачивался — счастливый! —

> у входа в лавку, чуть поодаль хвоста, стояла изнищалая больная женщина и еще какой-то старик, тихонько просили —

конечно, счастливый, а невесело в сгущающихся сумерках пробирался Скворцов к себе на 6-ой этаж — мимо кучи.

И чернота сумерок была грозна, как куча.

— — —

«Откупиться?» — как электричество, которое давали на два часа, такое всегда желанное, блеснуло: «откупиться».

«Можно хлебом откупиться: за хлеб все можно!».

> Скворцов, как советский служащий, был во 2-ой категории и получал четверку хлеба на день. Но хлеб выдавали не всякий день, а назад — за несколько дней по двум и даже по трем купонам — и, конечно, отдать свою долю он никак не мог. Можно по знакомству купить у красноармейцев или у матросов — им перепадало больше! — или у уполномоченных — такие были, у которых имелись «свободные» карточки! — и опять беда: купить — надо деньги, а денег-то — только жалованье, а вся половина скворцовского жалованья не покроет и фунта хлеба. Продавать же — нет ничего. А если б и было что — теперь всякая рухлядь в счет! — надо сноровку, да и не ровен час облава и угодишь в Комендатуру. Можно еще — и это самое верное: на обмен. Например, зеркало или занавеску! Из деревень

приезжают с хлебом — — или у такого, который в деревню ездит за хлебом, у мешочника. Да, мешочного добра-то — давно все сбыто.

«Нет, откупиться нечем».

— — —

Электричество еще не зажигали. Скворцов зажег лампадку — в лампадке горело не масло, а керосин.

(За год Скворцов наловчился с керосином и глаз наметал, сколько нужно его в лампадку, а то вспыхнет!).

Карточки на керосин и мыло выдавали всякий раз, но ни мыла, ни керосина по карточкам никто не получал: не было. И это счастье Скворцова, что ему выдают — «для вечерних работ».

«А ведь керосином тоже можно откупиться!»

Но такое и в голову не приходило: лишиться света и даже такого — меньше не бывает! — нет, лучше уж как-нибудь...

*

Да, я понимаю:

«Лучше уж как-нибудь...!»

Я тоже из «счастливых» — за все эти годы я поддерживал огонек в лампадке: чуть-чуть керосину — а перельешь, вспыхнет! И до глубокой ночи, когда во всем доме сон и холодная темь, только у меня да у Скворцова огонек — холодный (керосин горит холодно!) и чистый (чище масла!) —

Скворцов зоолог — над «жизнью насекомых», я — мне еще снились сны! — я над моей абракадаброй.

*

С начала революции у Скворцова как-то само собой ясно выговаривалось:

что бы то ни было, а никогда не покинуть Петербурга!

И в этом он был не одинок — и еще кое-кто из знакомых громко заявляли о таком же своем решении и всякий сообразуясь со своим:

у одних было много вещей — надо было всё распродать;

у других твердая уверенность, что все скоро кончится: кто-то придет — англичане, французы, немцы или свои — Колчак, Деникин, Юденич — свергнут большевиков, и все пойдет по-старому или во всяком случае по-другому;

а у третьих — да просто деваться некуда.

А никто не приходил, а всякие «самосильные» попытки оканчивались провалом и разгромом, «опытные» же декреты забирались все глубже в самую будничную жизнь: уж продавать и покупать становилось одинаково опасным, магазинов не было, а рынки, еще не закрытые, доживали свои последние дни, а на то, что выдавалось по карточкам — на даровых-то хлебах! — и это всякий дурак понимал, просуществовать невозможно было, даже проходя чин строжайшего монастырского жития, долго не протянешь. И вот как вскрутнуло да в плюх, ногой на шею, вздыбило и носом — «домолили свободных денечков!», «добились до райской жизни!» — ну и стали помалкивать. А потом потихоньку да полегоньку кто куда — «и пропадай добро и всякая обстановка: и с обстановкой и с добром пропадешь!» — кто в провинцию: «там сытнее!» — кто улепетнул за границу: «а там золотые горы!»

Беглая мысль — «убежать!» — это то же, что ежедневное: «добыть!»

«добыча» и «наутек» — первые и самые главные мысли, испод всех воль и стремлений.

А Скворцов как уперся лбом — и никаких.

И думаю я, все это по решению его, с которым мало кто соглашался:

правильно было или неправильно, но он ни от каких «трудовых повинностей» и «общественных работ» не отказывался.

«Справедливо это или несправедливо, — так, должно быть, рассуждал он, — хорошо это или дурно, но зачем-то все это происходит и отходить, уклоняться не следует: надо все принять, все положенное судьбой, и нести и все вынести!»

Или:

«Зря ничего не бывает. И дело вовсе не в большевиках, а гораздо глубже. И отходить, увертываться — все равно этим ничего не поправишь, и судьба настигнет тебя и скрючит, если так надо. И надо покорно нести и все вынести!»

И когда заставляли скалывать лед и сгребать снег, он скалывал и сгребал; и когда введено было дежурство за воротами — кто-то грозил наступлением на Петербург, обещая освободить Петербург! — это в те месяцы, когда с 8-и часов вечера (а часы были переведены на 3-и часа вперед) запирались ворота и без особого пропуска нельзя было ходить по улицам, он дежурил и за воротами и во дворе, где только указывал уполномоченный, и в любой час ночи; и когда стали назначать в порядке трудовой повинности на Неву выгружать барки, он таскал по мокроте бревна; а придет зима, дадут деревянные дома и заборы на топливо, он пойдет с ломом и потом будет возить на санках доски и терпеливо распиливать и раскалывать.

— — —

Когда то же самое делает Вавилонов или Назаров или еще кто — это большинство! — и они, живя, как в плену, как в осаде, никогда не отказываются, но совсем по-другому: большинство, к которому они принадлежат, всегда покорно всякой власти безразлично какой, а из-под палки все исполнит, что ни велят. Алимов (это у нас анархист!) как-то смеялся: «если бы, говорил он, издали такой декрет: обязательно явиться для порки в Совдеп, — и пошли бы и стали в очередь!» Но Вавилонов и Назаров — это большинство — не смея отказаться и все исполняя, всегда, как только можно и где возможно, старались перехитрить и уклониться.

Когда это делает товарищ Котов, что ж, и это понятно: ему надо пример показать, на то он и коммунист!

Между прочим, Котов хвастал и в большую себе заслугу ставил, что он собственноручно чистил в своем учреждении фанновы трубы! Но надо принять во внимание, что для этого грязного дела он приезжал на автомобиле, как и вообще он всегда на автомобиле. И не знаю, если бы пришлось ему пешком переть с другого конца —

так изо дня в день! — да еще и голодом, кто знает, не записался бы он в число «осадных» и «плененных», как Вавилонов, Назаров и проч., покорные всякой власти безразлично?

И когда в сохранивших еще благоустройство гостиницах для привилегированных советских сановников, сами сановники, единственно сохранившие человеческий облик, самолично с настоящими лопатами вышли во двор снег сгребать, и это понятно: для прочих — сугубый пример, а для них самих просто спорт — развлечение.

И когда это делают молодые — «красная мóлодежь» или «буржуазная молодёжь», все равно — а на Неве, когда разгружали барки, очень было весело! — и это понятно: тут и ухарство и соревнование и просто работа на людях.

Но скворцовское — и не «из-под палки!» и не «для примера!» и не «как спорт!» и не «по возрасту!» — нет, чего-то тут мудреное.

— — —

«Трудовая повинность!» — Алимов никогда не выходил на работу: раз это обязательно и заставляют — «повинность»! — ему, хоть что ни говори, нипочем. «Рабоче-крестьянская власть или буржуазная, все равно: где власть, там насилие, и нет власти, которая была бы чем-то совершенным и непогрешимым!» — и во имя своей свободы он готов был принять какие угодно названия: и «контрреволюционера» и «социал-предателя» и «оппортунистического коммуниста», — и не боялся никаких гроз: от комендатуры до Гороховой, куда впоследствии и угодил. Не выходила на работы и учительница Гребнева: она смотрела на эти трудовые повинности просто как на издевательства. Всего раз не вышел Пузырев, вообще-то смирный человек и совсем не наскокистый, но тут как нашло, и он заявил, что не пойдет — «во имя духа борьбы!» Я только одно скажу, непривычному-то, знаете, и на пустяковой работе — обожжешься! —

Когда служащих П. Т. О. по весне выгнали в Народный Дом сортиры чистить, конечно, специалист по этой части, отходник, все это справил бы мастерски — чисто, а эти — лопатками ковыряют и поддеть-то путно не могут, только

размазывают, смехота! Тоже и с топливной повинностью — — «на заседании Комтруда был возбужден вопрос об освобождении от топливной повинности писателей, объединенных в союзе писателей, заменив им работы по лесозаготовкам повинностью по ведению культурной работы; комтруд отклонил это предложение и предложил привлекать писателей к топливной повинности на общих основаниях» — — воображаете?

А вот Скворцов из последних, а тянет —

все принять и не отвиливать, так?

Да, это у него твердо и вот —

куча — величайшая куча на площадке!

«Если бы можно было не трогать, а? И за что это ему? Какая его такая вина? Или это не по вине, а испытание? А испытать и укрепить одно и то же? Для укрепления его воли и терпения? А, может, все это показалось в таком величии: может, это на камушке собака сделала и потому кажется великим? — — А уполномоченный-то? ему-то чего? Это уполномоченный припечатал: копровуч!»

*

О куче знал весь дом.

Охотники залезли на самый верх — на 6-ой этаж посмотреть.

И не для того, чтобы позлорадствовать, нет, это было самое обыкновенное любопытство! Признаюсь, и я не утерпел и под каким-то предлогом — да, вспомнил, надо было к уполномоченному «ведомость» на получение карточек снести! — я от уполномоченного поднялся этажом выше —

Да, знаете, по размерам трудно даже представить: подлинно — копровуч!

Кончалась неделя, а хоть бы чуточку подсохла! И если произошло что за эту неделю, так разве чуть легкая пенка.

И скажу за всех: все с нетерпением ждали субботы —

как это Скворцов изловчится и подымет такое — копровуч!

— Не отложить ли уборку лестницы на неделю? — попробовал на общем собрании Домкомбеда предложить

Вавилонов, хозяин Бобика, питавшегося по гостям: ясное дело, Вавилонов представлял себе всю трудность дела и сочувствовал Скворцову.

— Может, подсохло б! — вставил кто-то из соседей.

— Невозможно, товарищи, никак невозможно! — вздыбился Терёхин, — ведь этак весь дом провалится от грязи.

Терёхин всегда дыбился: он, по собственному признанию, как перекочевавший на *этот* берег с октября, стоял на страже революции и считал своей обязанностью «подтягивать»; его все побаивались, разве что Алимов да Гребнева, да матросы, впрочем все наши балтморы стояли в стороне от домовых дел и были, как «краса и гордость», уж очень неприкосновенны.

И не случись Терёхина, я уверен, уполномоченный, пожалуй, и согласился бы, и уборку лестницы отложили бы на неделю.

Наш уполномоченный Назаров ладный и рассудительный и надо только, чтобы все было, как бы это сказать, не то чтобы по декрету, а чтобы оправдательный документ на все и, стало быть, в ответе не быть. Это соседний — товарищ Плевков, тот — — с тем не очень поговоришь. Товарищ Плевков самого Терёхина за пояс заткнет, «мудрец»: уж примется мудровать, не отпустит, пока не изведет. В продаже напр. домашних вещей: продавать из обстановки ничего нельзя без разрешения Домкомбеда, тут всё от уполномоченного! — и у нас продает всякий, кто может. А вот с Плевковым не так-то это просто: бывшего сенатора Хохлова знаете? — так вот закрутил-закрутил старика, хоть из дому выбирайся; ничего не разрешает и на всякие пустяки запрет — понесла Хохлова, дочь его учительница, лампу продавать, так подкараулил: она уж в ворота, «стой, нельзя!» — — «да, и лампу нельзя!» «А что же можно-то? Ведь надо же как-нибудь, ведь этак просто пропадешь!» — «И пропадай — нельзя!» — То же и с вселением. У нас Назаров сообразоваться может, кому и что следует. А с Плевковым и тут беда: у Простякова есть и

«охранная грамота» на библиотеку — библиотека знаменитая! — а Плевков говорит: «можете и в спальне книги держать, чего там!» — и отнял комнату. И на слова у нас Назаров сдержан, ну, покричит, когда уж нужно бывает, — ведь тоже народ, сами понимаете, и хоть винить никого невозможно в таком положении, «честным» путем не проживешь, да все-таки надо поаккуратней, да и дураков учить надо! — и, конечно, прикрикнет и даже крепко. Ну, а этот Плевков такое ляпнет — ответить ничего не найдешься: тому же Хохлову — Хохлов говорит как-то на собрании, очень уж его Плевков донял, «помилуйте, говорит, ведь я же старик!» И Плевков ему: «старик! да может, вы от разврата постарели!» Ну, что ты тут ответишь?

Нет, Назаров хороший человек — справедливый человек и с кучей подождал бы: ну, что в самом деле стоит неделю какую обождать, неужто дом так-таки и провалится?

Но раз Терёхин вмешался — крышка.

*

В пятницу в сумерки — завтра суббота, завтра уборка! — Скворцов заклеивал окно на своей площадке:

высадили еще весною, но до холодов пробоина не мешала, даже лучше — вроде вентилятора, по крайней мере, проветривало, а теперь дуло немилосердно, а зимой совсем будет плохо.

Стекольщиков не было, да и стекла достать негде. Можно, конечно, по ордеру, да канитель с этими ордерами: и находишься по всяким учреждениям и контролям и настоишься в очередях — везде хвосты — да еще и откажут. Скворцов однажды ходил по ордеру, хотел баночку чернил получить и перьев, и едва добился — а целый день ухлопал, чернил не получил, а перьев — три перышка! А ведь перо не стекло! И вот приходилось на свой страх — «самосильно» заделывать пробоину бумагой.

И тут-то вот и произошло нечто невероятное —

надо сказать, что Скворцов за неделю-то понемножку покорился — принял и эту несметную кучу! — и уж не думал о ней: завтра он все

подберет, как-нибудь да устроится! И теперь, оклеивая бумагой окно, он думал не об этой куче, а как бы похитрее сделать с оклейкой, чтобы и холод не шел и узор вышел бы и было светло, — задача нелегкая!

И вдруг слышит —

бежит по лестнице — —

Бросил он клеить — да так и застыл на месте: «Собака!»

— — — по лестнице вверх, нюхая след, бежала собака: в чем только душа, шелудивая, замухрованная, с гноящимися глазами — — —

Скворцов подобрался весь.

— — — собака, как слепая, ничего не видя, как завороженная, бежала собака носом в пол — по следу — — —

и мимо Скворцова прямо на кучу.

Скворцов, не отрываясь, глядел — весь, как один огромный глаз:

«Опять?»

Нет, совсем не за этим —

с жадностью изголодавшейся последним голодом собака набросилась на кучу и принялась уписывать.

Не дыша, не шевелясь, следил Скворцов —

а собака, все сожрав, подлизала пол и слепо, как вбежала, теперь повернула —

— — — и по своему уж свежему следу побежала с лестницы вниз — — — —

— — — —

И только когда шаги затихли, Скворцов как очнулся и прямо к куче:

а кучи как не бывало!

бес-следно!

Подлинно, чудесный случай!

И когда на другой день после уборки Скворцов рассказал уполномоченному — Назаров не хотел верить. Да и все мы, кому только не приходилось слышать — Скворцов охотно рассказывал этот случай! — не очень-то верили.

— Неизвестная собака по следу той неизвестной (с двумя неизвестными!) и сожрала всю кучу!

— А вы не думаете, что это та же самая собака?

— Не знаю, не знаю.

*

Да, подлинно чудесный случай! — «чудесное избавление»!

Но разве от этого можно избавиться? Ведь это ж вещь такая, не спрячешь! — и пусть неизвестная собака съела, но она же в свой черед — — но оно же опять обнаружится!

Когда наступила зима — молёные морозы ударили — и в уборных замерзли трубы, нижние этажи стало заливать.

И вышло постановление Домкомбеда:

«впредь не пользоваться уборными!»

Скворцов подчинился —

«пока не оттаят трубы, нельзя!»

Да и всякий так понял. Но, конечно, при нужде соблазн великий — кое-кто, должно быть, грешил: утешал себя, авось, не заметят! А как не заметить — в нижние-то этажи протекало.

А это такая мука, я вам скажу: не углядишь вовремя — в комнату и польется. Только и знай, ходишь с тряпкой и подтираешь.

А в комнатах холодина: в ванной лед — коли, как на речке! (В ванне на верхних этажах держали воду: вода ведь подымалась только-только до 3-его этажа!).

Товарищ Плевков в соседнем доме поступил решительнее: Плевков просто велел заколотить двери в уборную — «располагайся, где хочешь!» А у нас — у нас деликатно: постановление.

На общем собрании Домкомбеда Назаров, потеряв всякое терпение, грозил представить в комендатуру о тех жильцах, кто будет замечен. Но все мы, кто только был на собрании, все мы согласно подтвердили, что, исполняя постановление, уборными не пользуемся и что это, должно быть, —

«старые накопления, застрявшие еще с осени!»

На этом как будто и упокоилось —

угроза ли комендатурой?
(а из комендатуры прямой ход на Гороховую!)
или накопления иссякли?
(осень-то была — не разъешься!).
или морозы действовали?
(и не холодна зима, да голодному все холодно!)

Ко мне — в самый нижний этаж — прекратилось. А вот к Смётовой, она надо мной, вскоре опять потекло.

И почему-то вообрази эта Смётова, что течь — от Скворцова!

Потому ли, что Скворцов на самом на верху: изволь с верху всякий день ведро выносить, — кому хочешь, опостылет!

Или уж очень измучилась она и надо же на кого-нибудь — ведь подтирать-то пол, повторяю, это такая мука, и не знаю я, что еще бывает хуже: в холод с треснутыми руками —

Редкий вечер Смётова не стучала к Скворцову (электрические звонки давно не действовали!) — по стуку узнавал Скворцов, кто. И всякий раз подолгу держала она Скворцова на холоде.

Она доказывала ему:

«что уборной нельзя пользоваться!»

«что это — преступление: ее заливает!»

«и руки у нее все потрескались!»

И доказывая, умоляла —

— — прекратить!

И слезы стояли у нее в глазах.

Скворцов, покорный по-своему, покорно принимавший все, вдруг стервенел:

— И почему вы уверены, — кричал он, — что это от меня? Почему? Почему не от уполномоченного? или от Вавилонова? Терёхина? Пузырева? Алимова?

А в ответ были одни слезы —

они говорили яснее всяких слов, почему.

Я как-то встретил Смётову на улице: она уж как остеклела, — лицо вздрагивает, глаза косят. Ну, разговорились: всё про это, про что же еще!

— Знаете, это-то еще ничего, а настанет весна, и всех зальет! — сказала она, — у меня одно желание: помереть бы!

— — —

Я рассказал Скворцову.

Но чем же он может помочь?

— Ей-Богу ж, я тут совсем не виноват: это — не я!

Я понимаю, и я не к тому, чтобы кого-нибудь винить, я просто — жалко!

Смётова жаловалась уполномоченному, но Назаров, по привычке, требовал оправдательный документ (он на всё требовал оправдательный документ!), а на такое — где ж его возьмешь?

*

Еще выше 6-го этажа по черной лестнице чердак и там тоже площадка.

> В прачешной не стирали — из прачешной пользовались водой: вода в доме совсем прекратилась, и не только до 3-го этажа, а и у нас — в первом чуть только просачивалась. Чердак стоял пустой — белье не вешали. А если бы кто и повесил и французским ключом запер, все равно, стянули бы. Стирали в комнатах — в комнатах и развешивали.

И вот когда вышло постановление Домкомбеда не пользоваться уборными, охотники — ведь не всякому охота на людях в орла играть! — на чердачную площадку и стали похаживать.

И ничего — мороз! — мороз все заколи́т, ровно и нет ничего.

Скворцов как-то встретил: одного нисходящего, другого восходящего — это Мешков и Суров, соседи. И понял: ведь, когда придет весна, за чердачную площадку он отвечать будет —

> и уж никакой чудесный случай не спасет: ведь сколько надо голодных собак! — да столько не найдется собак во всем Петербурге.

— — —

Последние дни мороза ознаменовались величайшим событием в нашем районе, об этом только и разговору.

Ни повальные обыски — это такая ерунда, о которой и говорить не стоит: оружия ни у кого нет и не было, а продовольствие, хоть и маленький запас — фунтовой, а всякий с течением времени так исхитрился прятать, половицы подымай, ничего не найдешь! Нет! дело сурьезнее и отчаяннее:

закрыли наш единственный рынок!

И теперь, если что надобно (а как не надобно!), или тащись к Покрову (Покровский рынок еще не закрыт!),

или плати мешочнику втридорога! А уж насчет продажи домашних вещей, просто и не знаю.

Ко мне зашел товарищ Черкасский.

Черкасский занимает очень большое место: «ответственный работник»!

Я рассказал ему нашу домашнюю историю: скворцовский чудесный случай и о Смётовой — «заливает!»

Но он плохо меня слушал, я это заметил: у него засело свое — не менее чудесное. —

Черкасский не похож ни на кого: ни на Терёхина, перешедшего с октября на этот берег и стоящего на страже революции, ни на Плевкова, истребляющего «головку» контр-революции и «корешки» буржуазии, ни на наших балтморов, которым до наших домовых дел мало дела, он никого не подтягивает и ни на кого не опирается, льстя «красою и гордостью», он делает только дело — осуществляет «опытные» декреты.

Вот он только что закрыл наш Андреевский рынок: «чтобы не давать волю мародерам и в корне уничтожить эксплуатацию мешочников — »

— А когда придет весна, мы снесем весь рынок и разобьем детские площадки.

И он принялся с увлечением рассказывать, как будет все хорошо — всем хорошо:

«на месте толкуна — резвятся дети!»

«а все, что нам понадобится — керосин, мыло, одежду, — мы найдем в продовольственных лавках и коммунальных магазинах — »

— Когда придет весна, увидите!

А мне вспомнилось:

«Когда придет весна, зальет нас всех!»

Я верил Черкасскому — ведь, действительно, по его вере и все это прекрасно! — и веруя, я слышал остекленелое и перекошенное смётовское: «помереть бы!»

*

И наступила весна.

А какая это была весна! Нигде — ни после, ни раньше, ни в тюрьме, ни после болезни, — я не запомню такого. И это не только мое, а и всех — я чувствую — всех, проживших, как и я, жесточайшую зиму.

И пусть к удовольствию мародеров и спекулянтов-мешочников закрыли наш единственный рынок (воображаю, как они хохотали над «глупостями» Черкасского!), а в продовольственных лавках пусто (да и откуда взять-то!) и никаких коммунальных магазинов, а про детские площадки, верно, забыли, все равно, весна! — а весна, что беда, и человек к человеку жмется! — барышни из Совдепа, Копровуча и других страшных названий совсем нестрашных учреждений, не дождавшись Пасхи, зарегистрировались в брачном отделе, товарищ Плевков переменил фамилию на товарища Румянцева, а Смётова вдруг посмотрела прямо.

С первыми теплыми днями закипела по дворам работа.

Да, Смётова была права: и вправду, какое-то всеобщее потечение — потоп нечистот! — из оттаявших труб, с загаженных площадок, из углов, из щелей, из пробоин — текло.

В воскресенье по постановлению Домкомбеда назначена была всеобщая чистка:

«— — — к 10 утра все взрослое население дома обязано было явиться на работу: неявившихся — в комендатуру; докторские свидетельства недействительны».

Такая крутая мера до аннулирования докторских свидетельств у нас совсем необычно, но что поделать, иначе невозможно:

ведь дом зальет и хуже будет — изволь выселяться! — а куда? — везде то же — во всех домах.

*

Скворцов вышел спозаранку.

Он пробовал заглянуть на площадку к чердаку, но подступиться нечего было и думать —

это как на пожаре в дым и пламя!

А по лестнице стекало густыми ручейками, срываясь тяжелыми каплями в пролетах — тому, кто вздумал бы подняться наверх, непременно угодит в физиономию!

харк и плёв — —

На дворе уполномоченный и с ним матросы, вышедшие нарядно щеголями, подлинно «краса» среди всеобщей голи.

Скворцова встретили весело: его чудесный случай у всех в памяти!

Но сам-то он смотрел — в чем душа! — или его и солнцем не проймет? Весь закутанный в какие-то шкурки, а поверх вязаная женская кофта и шляпа — такую шляпу в былые годы если на огород чучелой, не только воробьи, ни одна ворона не полетит.

— Товарищ Назаров, — сказал какой-то из матросов, — товарища Скворцова надо освободить.

И другие поддержали.

— Что ж, Макар Иванович, — согласился уполномоченный, — работа с таким не помощь. Только вот товарищ Терёхин проверять будет.

— Чего проверять? Раз освобождаем — наше решение безапелляционно!

Но Скворцов не хотел уходить: —

он где-нибудь в кончике постоит с лопаткой —
он хочет со всеми —
он пойдет и площадку чистить неподступную —
со всеми.

— — —

Народ подходил, ежась и робко — из всех заледенелых и теперь оттаявших квартир, из уплотненных комнат, заваленных и набитых дрянью:

предстояло совершить невероятное — подлинно чудесный случай, но без всяких голодных неизвестных собак! — самим, непривычными к такой работе руками: большинство у нас «бывшие буржуи», т. е. бывшие служащие в конторах, а также — свободных профессий.

Вышла и Смётова.

— Мерзавцы! — всю ее дергало и перекашивало, — все разбежались! а нас заставили сортиры чистить!

— — —

С 6-го этажа, если заглянуть во двор, ничего не увидишь, только самую верхушку арки к воротам.

Скворцов сел у окна — любопытно! — и хоть
ничего не видать, зато все ему слышно.

На дворе кипела работа — много было и смеха и крика.

Кричал уполномоченный («дураков тоже учить надо!»), чего-то кричал Терёхин: или, проверяя, не досчитался? (ни Алимов, ни Гребнева, конечно, не вышли!) или подтягивал? («нешто это работа, и лопаты в руке держать не умеют!»)

Потом топали по лестнице — через харк и плёв — неподступную брали площадку у чердака. Потом опять кричали, опять смех.

И затихло.

Чистку кончили и мусор повезли на себе к остановке трамвая, чтобы сложить всё в общую кучу: завтра на площадках развезут трамваи это добро за город на свалку.

Под вечер Скворцова потянуло на волю:

он пойдет недалеко — к этой остановке трамвая, где с прошлого года висит полинялый плакат: «царству рабочих и крестьян не будет конца!» По воскресеньям трамваи не ходят, он пойдет по середке улицы —

Скворцов надел на себя все свои шкурки и тихонечко приоткрыл дверь на волю.

А на его двери — ему это сразу бросилось! — мелом размашисто по-терёхински:

Гражданин Скворцов

позор труддезертиру!

IV

ПО «БЕДОВОМУ» ДЕКРЕТУ

С революцией вся жизнь перевернулась и с каждым днем вывертывалась. Нужда вылезла из всех щелей и пошла —

нужда издавала свои особые «бедовые» декреты, перед которыми «советские» шли насмарку; нужда повелевала под страхом смерти — воровать, лгать, изворачиваться — но это еще ерунда, хуже! —

доносить и предавать, или такое: загонит тебя в угол и там бросит — «всё только себе и только для себя или пропадешь!» —

Советские декреты делили людей на «категории», нужда же, как назло, мешала категории, собирая людей «по беде».

Богатым, т. е. бывшим богатым, жилось пока что еще ничего — как ни «отбирали», как ни «реквизировали», а все-таки кое-что у всякого оставалось, хотя бы из вещей, которых сразу-то не «унесешь», и вот те, кто не убежал или не попал в тюрьму в заложники, жили сносно, по крайней мере, всегда были сыты без особого над собой выверта, сохраняя «честь».

О ту пору открывались временно, конечно, или неисповедимым образом — частная торговля по декрету истреблялась! — всякие «Кулинары», «Лактобацилины», и в этих «кулинарах» шла съестная торговля, этой торговлей и кормились и кормили главным образом тех, кто попал в категорию истребляемых, т. е. бывших богатых. Это было и модно и прибыльно. Но обыкновенные-то люди — не бедные и не богатые — без всяких «сейфов», а по декретным категориям, как элемент не трудящийся, т. е. не рабочие, приравниваемые к тем богатым с сейфами, попали в тягчайшее положение и дни свои доживали головокружительно.

Такая становилась головокружительная жизнь у Шевяковых — дяди и тетки Софьи Петровны, «невесты Воробьева».

*

Софья Петровна ничего барышня, нос у нее на кончике раздвоенный. И у всех он раздвоенный в хрящике — так уж природой устроено! — только совсем незаметно, разве пальцами если тронуть. А у нее это явственно выпирает — уж как заметишь, никогда не забудешь.

А глаза у Софьи Петровны чудесные — видел я такую картинку: Мария Египетская перед крестом в пустыне, — вот они откуда у нее поднебесные «египетские», и тоже, уж как заметишь, не позабудешь.

Но почему-то нос памятливее!

Софья Петровна говорит всегда очень много и необыкновенно подробно, чересчур даже, и при этом всегда с каким-нибудь «как говорится» —

«как говорится, за что купила, за то и продала!»
ну, что-нибудь в таком роде ходячей поговоркой.

А вся ее речь — игра «интеллигентной актрисы», ну, какая-нибудь «барышня» из «Гибели надежды», как эту «барышню» актриса играет. И такая актриса — идеал Софьи Петровны и мечта ее жизни.

И почему-то Софья Петровна никому не нравилась. И не то что не нравилась — никакого отвращения она не вызывала, но и не влекла — она как-то скользила мимо со своими чудесными глазами, раздвоенным носом и эмалированным белым кувшином, в котором суп носила из советской столовой. —

А известна она была, как «невеста» —

«невеста Воробьева!»

Так и все ее звали, да и сама она себя так называла.

Воробьев — огромный, заросший черным волосом балтмор, один из самых молчаливейших людей, какие только появлялись когда на свет, а в такое революционное время, отнюдь не молчальное, просто нечто неподобное. Воробьев в том же самом доме, где и Шевяковы, сосед. А познакомилась с ним Софья Петровна на собрании Домкомбеда. Я присутствовал при этой памятной встрече: я тоже ждал уполномоченного, сидя в сторонке. Софья Петровна беспрерывно говорила — передать невозможно, о чем она говорила: слова и по преимуществу с «как говорится» и «настроение». Воробьев слушал молча. И думаю, с час так просидели: она — беспрерывно, он — воды в рот. На лето Воробьев собрался в деревню к старикам. Еще можно было ездить без особого разрешения, и я за ним потащился: и «воздухом подышать» и «подкормиться». Воробьев пригласил и Софью Петровну: ей тоже не мешало хоть недели две пожить по-другому, не таская с собой этот эмалированный кувшин с супом, но она так и не попала в деревню. Вернувшись от Воробьева,

я рассказал ей, как ее там ждали — «ждали, сказал я, как невесту!» Она приняла мои слова восторженно. С этих пор и пошло: «невеста Воробьева». И хотя жениха больше не видели — из балтмора Воробьев превратился в черномора и уехал из Петербурга — «невестой Воробьева» Софья Петровна так и осталась, и сама она была искренно убеждена, что Воробьев — ее жених.

*

18-ый год был убийственно голодным для бедноты, 19-ый — холод и смерть.

Обыски и анкеты вымуштровали и самых расхлябанных простецов: всякий теперь исхитрялся, как бы провести или обойти предусмотрительно; а от постоянного голода окончательно обвыкли на воровстве.

Софья Петровна уж зимой начала потихоньку таскать у дяди и тетки съедобное: все-таки дядя и тетка не мать, получат по карточке хлеб, разделят на три части и всегда себе побольше, в особенности дядя. Сначала таскала она робко и тяжело — приметно, но понемногу навострившись, стала смело и чисто. Если хватались, всю вину валили на прислугу Сашу — Саша не исключение, конечно, подворовывала, но сказать Саше боялись, а выговорить не смели — не прежнее время! Но когда пришел черед и Саша уехала в деревню, Софья Петровна при всякой хватке сочиняла разные небылицы.

И вот понемногу в доме установился какой-то воровской режим: дядя у тетки, тетка у дяди, а Софья Петровна — у дяди и у тетки, каждый воровал и держался подозрительно к другому.

И не знаю, иногда мне казалось, что вся советская бумажная волокита — Совдеп с бесчисленными комнатами, Районная управа и всякие контроли, заваленные ордерами, удостоверениями, пропусками, все-таки какая-то «узда», «гарантия», и без этой загородительной бумаги, пожалуй, я уж и не знаю, всё растащили б. Впрочем, это мало чему помогало, ведь бумага! — можно при желании подделать и подписи и печати — —

В один прекрасный день — а все ходили под таким днем — вы думаете, Шевяковых свезли на Гороховую, нет, в больницу: тиф —

> только ведь и было два пути неминуемых: на Гороховую или в больницу — арест или тиф.

В квартире осталась одна Софья Петровна.

Всякий день она ходила в больницу, навещала. А раз пропустила — в очереди долго держали: «прикреплялась» в Продовольственной лавке. Приходит на следующий день в больницу — а тетки в палате нет, и сиделка другая, ничего не знает.

— Да, должно быть, померла! — говорит.

И повели ее в покойницкую — «опознать». А в покойницкой — и так лежат и в гробах: один гроб откроют, другой — «не опознает ли?» Тетка горбатая, заметно. Нет, всё непохожие.

Так тетка и пропала.

> А на самом-то деле вовсе никуда и не пропадала, через несколько дней выяснилось — а за эти-то несколько дней Софья Петровна голову потеряла! — тетку перевели в другую палату «для выздоравливающих».

Много помирало тогда народу, только и слышишь, бывало: тот помер, другой захворал, третий при смерти.

А дядя и тетка выздоровели.

Дядя после болезни еще жаднее стал: после болезни по докторскому свидетельству ему, как «выздоравливающему», несколько раз выдавали шоколад, так он, бывало, получит и все сожрет на глазах.

А на тетку напал страх вошинный: ей все мерещилось — ползет! И без того аккуратная, она теперь целый день ползала по полу — мыла пол и все перетирала. И вот, ползая, должно быть, простудилась: возвратный тиф. И опять повезли в больницу. И уж не вынесла: померла.

А как тетка померла, дядя Софью Петровну прогнал.

У Ивана Васильевича давно был «грех», а тут, как от тетки избавился, да весной шибануло — потекли ручейки в Петербурге, как где-нибудь в Вологде (не прежнее время, когда в Петербурге сугробов не знали, и снег лежал вот настолечко!) — он ту у себя и поселил, а Софью Петровну за дверь.

И пришлось Софье Петровне идти к матери.

Так и пропала с нашего двора «невеста Воробьева».

*

С матерью Софья Петровна никогда не жила: так уж с детства, сначала в Институте, потом у тетки.

Мать Софьи Петровны служила во временном «конфексионном» магазине кассиршей и служил там же — продавал чего-то — с необыкновенной фамилией, некто Бэзэ. И опять же эта весна — ручейки, как ручейки-то побежали по Невскому, она и зарегистрировалась с этим Бэзэ, и он к ней переселился.

Ну, и так тесно, а тут еще Софья Петровна.

Софья Петровна сразу же заметила и нисколько не удивилась, что и ее мать ворует — «с плиты»:

> кухня для всех жильцов общая, обед готовят на одной плите, ну, кто зазевается или выйдет из кухни, тут и готово: у кого супу сольет, у кого каши — это и называется «с плиты».

Софья Петровна редко бывала дома. Только ночью. Еще зимой поступила она в Театр в контору, и в этом же Театре в театральной студии училась. И хотя после нескольких проб ей сказали, что дарования у нее нет и актрисы из нее не выйдет, — «если бы я была богатой, у меня нашли бы и дарование!» — сказала она тогда, и продолжала учиться.

> А бедно очень жила Софья Петровна. Летом всегда без чулок, зимой в полотняных туфлях. И как это еще она ходила, особенно осенью в мокроту и слякоть: войдет в комнату, шлепает, все-то промочено. И этот эмалированный белый кувшин, с которым она не расстается, — раньше-то служил для умыванья, а теперь для супу — этим ведь только она и питалась! Пробовала она брать на комиссию продавать на рынке — это очень рискованно, но и может быть очень прибыльно! — да ничего не вышло, и того, что просить надо было по расценке, и того не получила. Так и бросила. А так откуда же деньги достать, жалованье — —?

С весной — с ручейками-то — и у Софьи Петровны поднялось что-то: вернется она домой и все его видит — кто он? Воробьев? или еще кто? — видит неотступно, как покойница тетка вошь.

Мечта о любви поднялась в ней, как эти ручейки, и уж ей в самых безразличных словах слышались намеки, что кто-то, какой-то — он — Воробьев или еще кто? — ее любит.

В Студии был вечер. Играл на рояли актер Кобяков, а Софья Петровна переворачивала ему ноты. Девочка, прислуживающая в театре (парики убирала, мыла посуду в буфете), сидела во время игры в зале, и на другой день она рассказала Софье Петровне, будто этот актер Кобяков («галчонок!») —

> «не сводил с нее глаз, когда она переворачивала ему ноты».

«Кобяков влюбился!» — заключила Софья Петровна.

А тут и другой «влюбился», тоже актер, Колпаков, — этот Колпаков очень нравился Софье Петровне! Выходили как-то из театра и, когда прощались, руки их скрестились. А товарищ Колпакова Лебедев и говорит: «Вот к свадьбе! Может, с Софьей Петровной!» А Колпаков ему: «Оставь!»

Это очень хорошо запомнила Софья Петровна и мечтала не только о Кобякове, «который с нее не сводил глаз», но и о Колпакове, с которым при прощанье руки скрестились — «к свадьбе».

Потом уж передавали Софье Петровне, что Колпаков кому-то признавался, что «он ценит любовь Софьи Петровны — хотя без взаимности».

Софья Петровна не поверила:

> когда она влюблялась, ей казалось, что и тот влюблен в нее.

Кроме Кобякова и Колпакова, Софья Петровна влюбилась в уполномоченного Максимова: она забегала к нему, надо или не надо, за всякими справками, и терпеливые ответы его принимала за особое внимание. И однажды, получив в театре жалованье за первую половину месяца, она на все купила розу и поднесла Максимову:

— — —

— Хорошо, — сказал он, принимая розу.

— Поцелуйте меня хоть раз! — едва слышно пролепетала Софья Петровна и смотрела своими чудесными глазами.

Но он только улыбнулся и положил розу на ордера.

«Он — женат, вот почему!» — объяснила себе Софья Петровна, но не успокоилась и мечтала по-прежнему, уверенная, что Максимов в нее влюблен.

*

Хороши весенние петербургские звезды — в каждой-то блестинке по звездочке. А уж ветер, как подует над Петербургом, да как рванется в окно весенний, ничего не понимаешь. Или эти ручейки, когда тает снег —

А хороша и петербургская осень — осенние частые звезды: все налито — днем шел дождь (всякий день дождь!) — и мокрые камни блестят, как крупные звезды — свежо.

И не знаю, где этой звездности больше: в весеннем ли теплом мерцании или в сыром блеске? И знаю, мечта горит ярче весенней.

Надя и Софья Петровна мечтали о любви.

И какие это разные были мечты: в Надю влюблялись, а ведь, что говорить, Софья Петровна только сама влюблялась, а любила ее одна только ее бабушка, да и та померла.

Софья Петровна ходила по субботам ночевать к Наде: Надя единственная ее подруга, — Надя и называла ее, как когда-то бабушка, не Соня, а Сонюша, — Наде она поверяла все свои тайны:

и о Воробьеве, и о Кобякове, и о Колпакове, и о розе Максимову.

— Тебе хорошо, Надя, в тебя влюблены были, а мне никогда никто не сказал!

*

Надя служила гувернанткой у Лопуховских. Когда Лопуховские «бежали» за границу, она осталась одна в их огромной богатой квартире. Почему-то никого не вселяли. Так она и жила одна. Зимой отапливала одну комнату: жгла мебель, столы, все, что только можно.

И вот однажды получилась большая посылка на Лопуховских.

А за посылкой письмо от Лопуховских, что она может этой посылкой пользоваться.

А в посылке чего-чего не было: и шоколад, и конфеты, и мыло, и печенье, и сахар.

Это было как раз в субботу, вечером пришла Софья Петровна.

И обе были счастливы: сколько всякой еды и такой, о чем они и мечтать не могли! — ели и мечтали. И улеглись спать, а долго не могли заснуть, все разговаривали.

— — —

Софья Петровна проснулась рано.

На столе лежал сверток — это для нее приготовила Надя из посылки.

Софья Петровна сейчас же забрала сверток — и к себе в мешок. Прошла в кухню. А в кухне все остальное: Надина доля — Надя все разделила поровну — и шоколад, и конфеты, и печенье, и сахар.

Софья Петровна, как увидала — — да, что ни попало, горстями себе в мешок. Завязала мешок и хочет уходить —

Тут Надя и проснулась:

— Ты уже уходишь?

— Да, мне надо.

— Я забыла сказать: там в кухне два куска мыла, возьми один себе!

Но Софья Петровна ничего не ответила и не пошла в кухню, и тихонечко вышла.

И не домой и не в театр пошла она, а прямо на Покровский рынок.

И сейчас же все продала — на такой сладкий нелегальный товар покупатель всегда найдется! А на выручку купила себе туфли — настоящие.

И как надела после своих холщовых-то шлепанцев, сразу поднялась и выпрямилась — и не узнать!

*

В субботу Софья Петровна, как всегда, пошла к Наде. Но Нади не оказалось дома. Софья Петровна оставила

записку (так и раньше случалось!), что придет в следующую. Но и в следующую субботу то же.

И еще несколько раз Софья Петровна предупреждала Надю, что придет, являлась в условленный час и уходила домой — Надя ей не отворяла.

— — —

Софья Петровна шла по Таврической с своим неизменным эмалированным кувшином. И хотя на ней были настоящие туфли и она казалась и прямее и выше, но никогда она не была так расплющена — и мечты ее были жалобные.

> Накануне вечером на именинах у Максимова — — Сестры Максимова пригласили Софью Петровну, Софья Петровна и пошла, и была необыкновенно оживлена и разговорчива, но тут случилось совсем для нее неожиданное: жена уполномоченного, должно быть, что-то заметила, вызвала его в другую комнату и потребовала — «или Софья Петровна, или она». И в самый разгар своего разговора Софья Петровна должна была уйти: встать из-за стола и без пирога, без чаю уйти.

Софье Петровне хотелось кому-нибудь об этом рассказать, о вчерашнем, и она пошла бы к Наде и Наде все бы рассказала —

И видит, навстречу Надя.

Она к ней — —

И Надя поздоровалась, но как холодно!

И вдруг Софья Петровна поняла.

— Надя, ты меня когда-нибудь можешь простить?

— Не знаю! — и пошла.

— — —

ВИНИГРЕДНАЯ ЕРУНДА

Письмами читателя «откликами» я не избалован и никогда не страдал, как Леонид Андреев и Горький, «завалами», от которых можно освобождаться, лишь отвечая; не изводили меня и любовные послания, как Блока, Бердяева и Степуна; не очень-то кряхтел я от денежных, как Яша Шрейбер. Меня миновал этот славный придаток, без которого писатель не писатель и музыкант не музыкант: меня никто не спрашивал, — «как жить?» — и никто не приглашал на свидание «под Эйфелеву башню» или там — на Аугсбургерштрассе «в кафе Менцеля» или там — «к Публичной библиотеке» или там — «под царь-колокол».

В допотопные времена я искал читателя Льву Шестову, Шестов — мне. И за год, помню, нашел пятерых, а он мне одного, но зато, по словам его, «самого настоящего», которого с толку не собьешь и не разуверишь.

Теперь через сколько лет я понял, что ни Шестов, ни я, совсем мы не там искали — — Но это все не к тому, о чем речь. Скажу одно: из всех писем, полученных мною когда-либо, или в редакцию обо мне, приводимое ниже — единственное!

Подумать только: писала дама — член РКП и притом народный судья и как раз в том самом участке, где мы жили. И попадись я в суд — все мы люди, все человеки — что бы она надо мной сделала! И думаю, не миновать мне общественных работ в «лагерях» бессрочно.

А написала эта дама — народный судья! — по прочтении моего рассказа «Рождество».

*

Товарищи!

Будучи случайной читательницей вашего журнала, я натолкнулась на статью «Рождество». Прочтя ее содержание, я пришла в ужас. Дело в том, что дом Комаровка, о котором шел рассказ, это дом *моего рождения*, в коем я жила 15 лет, и всех героев, указанных в рассказе, знаю, как себя самое. Но эпизодов, подобных описанию Р., я не знаю: там в рассказе от начала до конца *ложь*.

1) Герои — т. е., как жена Макеева Тимофея Ивановича, прозванная Р. «Агафьей Петровной», в самом деле именуется Елизаветой Григорьевной.

2) Лиза, племянница швейцара, моя подруга детства, ныне известная партийная работница, член Тамбовского Губисполкома, завед. отд. социальн. обеспечивания и член Губкома р. к. партии. Там в рассказе указано, что «взмахнув белокурыми волосами — косой», но это опять голая *ложь:* у Лизы Кустковой никогда не было белых волос, а она обладала черными, как смоль, волосами.

Затем, там говорится, что дом выходит на Миргородскую улицу, это *ложь* опять же: дом этот стоит на Золотоношской улице д. 30/4, угол Тележной улицы.

Затем портнихи Перловой, как пишет Р., в доме за все 15 лет *не проживало*, жила 12 лет, в 18-м номере портниха Ксения Степановна Степанова.

Затем, о подруге портнихи «Перовой», якобы «Наде», пишет несколько слов Р., это опять *ложь:* «Нади» абсолютно никакой не было, а подруга — это была я, маленькая, бывшая девочка, кого звали Настей.

Затем пишет Р., что «Агафья Петровна» — вернее Елизавета Григорьевна — была ионитка, это низкая *ложь*: она была просто полоумная женщина, но подобными зверями себя не выказывала.

Теперь — в конце столбца 13-ой страницы говорится: «что на все расспросы Лиза начала плести такие небылицы о брюквенной каше и о советских супах, от которых будто бы полнеют». Как не стыдно вашему сочинителю — *лгуну-брехуну* врать так нахально! У Лизы родился мальчик, сын от мужа, в 1915 году около Троицына дня, т. к. я его *крестила*.

А главное, то обстоятельство, что откуда Р. мог знать, что гр. Макеев, швейцар, жил «с огородничехой Татьяной и у него был сын Колька»? Слушайте! спросите у этого идиота Р., где он выкопал такую чушь: огородов и близко тогда не было! Да и жил он не с «Татьяной», а с *верхней кухаркой Авдотьей*, без всякого сына.

Скажите, товарищи, неужели ваша редакция нуждается только заполнением страниц журнала такими халтурными *лживыми* бессодержательными статьями: написано — «под Рождество», а одного слова нет про него! Стыдно таких писателей допускать с статьями в журнал! Неужели лучше нет? Злоба просто берет, когда прочитаешь такую статью.

Знайте, что с описанного дома Комаровки со мною вместе вышло много очень известных советских и партийных работников, коих увидя, дам им прочесть эту винигредную ерунду.

Подло такую *ложь* писать!

Член РКП, П. гор. б. №.... Народный судья 7-го отд. I город. района (Невский...)

ШУМЫ ГОРОДА

I

ЗВЕЗДЫ

Знаете, на Васильевском есть такой дом серый, тесный, изъеденный жильем, а во дворе направо и налево хлопающие, визгливые двери и полутемные скользкие лестницы — идешь и прилипаешь.

И всякий день по такой лестнице Вера в училище ходит, разнося на ногах лестничную склизь и погань.

> И не знаю, зачем эта липкая погань, спертое тесное жилье, когда так широко ходят по чистому небу чистые звезды, и по нашей же суровой земле прозрачные текут ручьи —
> зачем эти нечистые, серые от паутины редкие лестничные окна, просаленные железные перила — —
> знаю, и золоченые перила и мраморные ступени не отведут от обреченной души тернистого ее пути: вся изобьется, изноет и у самых прозрачных источников и даже там на звездном чистейшем просторе —
> но я никогда не мог примириться и с этой нашей гложущей болью липких лестниц и железных перил, за которые хватается рука, когда от отчаяния подкашиваются ноги —
> и также знаю, будь мои слова огнем — огнее огня, мои слова не прожгут сурового человеческого сердца —
> но я ничего не могу поделать с моим сердцем, которое захлебывается от этой гложущей боли.

Мы по той же лестнице жили, где Вера и ее мать Ольга Ивановна.

И как, бывало, встречу, просто пропал бы куда, просто сквозь землю провалился бы — помочь-то ведь я ничем не мог!

И там, на верхотуре нашей, куда и вода не подымалась и только ветер ходит, суровою ночью, когда выйдут звезды, звездам шепчу под проволочный гуд через рамы —

— *звезды, прекрасные мои звезды!* —

А должно быть и там, под нами, в такой же холодной тесноте, уложив Веру, Ольга Ивановна, изверившаяся во всякие обещания, и в ужасе, что за ночью наступит опять утро — новый день, требовательный и неумолимый, поправляя занавеску у окна, от которого несет такой холод, то же самое шепчет под проволочный гуд к звездам —

Но ей еще нестерпимей.

Отойдет, присядет к столику, а похолодевшая рука ее тянется: там, в самом углу, к стене, за коробочками есть пузырек точно с кофеем, нет, это не кофий, это такое лекарство, такое черное, как кофий, от которого навек заснешь.

Ольга Ивановна не одна, с ней Вера. Если бы была она одна, ну как-нибудь и из последних до последнего дотерпела бы и потом вот как лошади падают —

> ей и сена тычут, да что уж сено — «Благодарю тебя, Господи, наконец-то!» — трамвай идет, а она мордой как раз на рельсы, — галдят, понукают, оттаскивают, — как дохлая, только вздрагивает, — кто-то сапогом в живот ткнул, а уж ей все равно: сейчас — конец!

Да, если бы Ольга Ивановна одна была!

И Вере лучше будет —

А то нет никому до нее дела: говорят, «не сирота, не беспризорная, мать у нее есть». А что мать, если совсем из сил выбилась!

Да, Вере лучше будет. А так и себя и ее измучает. А без матери не оставят.

Или так надо, и иначе нельзя на белом свете? У всякого свое — свои заботы. И надо так, чтобы очень уж в глаза бросилось и только тогда — и разве Вере теперь хорошо?

А когда матери не будет? Хуже не будет, лучше будет: без матери, ведь!

Срок небольшой — Вере тринадцать — а кажется, всю-то жизнь прожили вместе, и вдруг: она — там, а Вера — тут, и никогда не подойдет, и никогда уж, никогда не позвать, и не взглянет.

А надо решиться.

И не от малодушия это она. Она все готова — ведь раньше-то так! — целыми ночами, не покладая рук, сидела. Но что же делать, если сил больше нет.

Надо решиться и уж бесповоротно.

И Вере будет лучше, конечно!

Я давно замечал, встречая на лестнице Ольгу Ивановну, что уж больно задумалась, и идет, и глаз не подымет, а поздороваешься, так и вздрогнет вся.

Или так ее мысль сбила, забитую нуждой и обессиленную вконец?

Одна-единственная мысль сбила теперь все ее мысли, а когда заполнит — как ржа всю душу проест — и тогда все и решится.

И непременно.

Бесповоротно.

У нас тоже беда — все мы тут одинаковые под одной звездой — надо мне было кипятку для грелки. Вот я к Ольге Ивановне и туркнулся.

«Может, — думаю, — какие щепки уцелели, разожгу печурку!»

Твердо знаю, да и все тут у нас по лестнице это знают, если что есть у нее, не откажет — сколько раз приходилось, из последних выручала.

> Человек-то, скажу вам, жив еще и душа жива, живая и, пожалуй, живей еще среди погани и беды кромешной.

Постучался — не откликается.

А знаю, дома; и дверь не заперта.

Заглянул я в кухню:

— Ольга Ивановна! —

Нету.

Ну, я в комнаты.

А она стоит у столика — (раз пожар у нас случился, и, помню, схватил я что-то очень тяжелое тащить, а тут зеркало висело, в зеркале я и увидел себя, так вот лицо свое помню озеленелое) — вот такая озеленелая стоит, и вижу, пузырек с чем-то черным в руке, отпила и еще — —

Тут вот точно что и вспомнилось мне, я ее за руку —

Смотрим друг на друга — самые враги последние!

И вдруг она и говорит, да как сквозь сон, едва слова выговаривая:

— Это я, — говорит, — для Веры: Вере лучше будет.

А сама так и валится.

Я к соседям. Няньку позвал старуху, еще сестру — сестры тоже по одной лестнице с нами. И долго мы над нею бились — в сон ее ударило — размаивали.

Не хотелось нам, чтобы Вера узнала, а то испугается.

Ну, как будто всё и ничего стало — отходили! — только ослабела очень.

А тут и Вера из училища вернулась.

Видит: мать лежит на кровати.

— Что, мама, худо тебе?

Поняла она что-то — или сердца-то не обманешь?

Мать открыла глаза.

— Нездоровится, — говорит, и заплакала.

И Вера вдруг заплакала.

Или все поняла она и потому так заплакала, или от беды, уложившей мать, всю беду почуяла и вот заплакала — чужому человеку, глядя, не стерпеть —

— звезды, прекрасные мои звезды! —

II

СВЕТ СЛОВА

Все живое, от звезды и до речного голыша, а также и всякое создание — всякое дело рук человеческих, лап и лапочек — гнезда, города, дома, игрушки, машины светятся своим светом —

также и мысли и помыслы человека светятся светом, светится своим светом и слово.

Сказать о человеке хорошее куда приятнее, чем лаяться.

Да что приятнее, — больше! найти хорошее в человеке — великое счастье.

И счастье это от света.

А свет от «человечного» в человеке.

А человечное в человеке — это *желанность души*, та крепь, какою разрозненный избедовавшийся мир держится —

уста к устам
и сердце к сердцу!

Среди последнего зверства, в котором человек с человеком взапуски бегает, в бессердечии, грызне и свори, в этой тьме вдруг взблеснет она теплою искрой и озарит — идешь по Невскому в свинцовый холодный вечер, и вот где-нибудь за Казанским собором расколется небо и такая разольется заревая полоса — а ведь ее-то зарь ярче и самой северной зари.

Я видел ее, чувствовал —

Я видел ее даже и в таком, зверем что в человеке зовется, и от чего сами-то звери открещиваются — «волки, лисицы и всякие зайцы».

Много я видел добра от человека и в самую великую распрю на повороте жизни за все эти решающие годы.

И за эти же в десятки, а может, в сотни годов годы я, побиральщик, околачивающий пороги, терпеливо и, скажу, не без страха, ожидающий очереди в приемных, как часто, загнанный, в последнем унижении, оробелый, с приглушенным голосом, или в остервенении своем отчаянном просто пропащий, проходя по улицам и чуя свою покинутость и беззащитность, открытый для всего, с каким жарчайшим желанием думал я — — о волках, лисицах и всяких зайцах, моих братьях и сестрах безгласных.

*

Как-то иду я так по Литейному —

Что-то с утра, как вышел на улицу, все-то мне не ладилось: там просил — отказали; а в другом месте — просто обманули; а еще в третьем — мало отказа и обмана, а еще и, повинив во всем, выругали. И пришлось покорно и безответно принять, — не знаю уж, от зависимости ли боязливой, кабы хуже чего не сделать, отвечая-то, или — и такое бывает, отчаянное! — как в пропасть летишь и за тобой камни — так пусть же летят, всё приму! — и летишь.

Так вот шел я по Литейному, сердцем — к зверям, и мысленно что-то со зверями уж разговаривал — с волками, лисицами и всякими зайцами, и вдруг точно за рукав кто дернул, замедлил я и слышу — —

А догоняли меня две женщины, так — простые.

И одна рассказывает другой о каком-то человеке, — о своем знакомом, — ясно слышу необыкновенно, точно это мне в ухо кто шепчет, — о каком-то человеке, у которого ничего-то нет, ну совсем, такая последняя бедность: такая, что и «поделиться-то ему нечем» и говорит он, этот человек:

— «Ну, — говорит, — коли нет ничего, хоть ласковым словом поделиться».

«Ласковым словом надо делиться!» — и это, как в полдень, когда где на Площади застигнет, ударит пушка —

«Ласковым словом надо делиться!»

И я точно проснулся —

Вижу небо, синее такое, не наше — и вся душа потянулась —

не робкая, не забитая —

многорукая —

многокрылая —

И я как вырос.

И одно чувство наполнило мое, как мир, огромное сердце.

И сказалось пробудившим меня от моей падали словом — —

У меня тоже нет ничего и мне нечем делиться — я уличный побиральщик! — но у меня есть — и оно больше всяких богатств и запасов — у меня есть слово! И этим словом я хочу поделиться: сказать всему разрозненному избедовавшему миру —

человеку, потерянному от отчаяния беспросветно —

человеку, с завистью мечтающему о зверях —

человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей борьбе — быть на земле человеком —

уста к устам
и сердце к сердцу!

III

ЗАБОРЫ

После скотской зимы пришла весна —

Она наперекор безнадежности и отчаянию вдруг пришла такая нежданная, обрадованная и такая громкая — не запомнят! — с шумом и звоном ломающихся тяжелых, как чугун, льдов и изникающих хрупких льдинок, пришла внезапная — северная с иссиня-черным вороновым небом, обещающим теплые дни, и с теплыми сверкающими днями, сулящими звездные песенные ночи.

Я видел, проходя по улицам, как самое закорузлое, загнанное на зимовье в тараканьи щели — за суровую-то нашу зиму все тараканье, все тараканы покинули насиженное свое жилье, уступив его человеку, который ведь все вынесет, все вытерпит, как и все сожрет! — я видел, как закорузье — это съежившееся, забитое, защеленное и оскотевшее — принимало человеческий образ, видел улыбку переставшего улыбаться соседа, слышал добрый его оклик — смотрел и не верил, слышал и не признавал.

Неизгладимую сохраню я память о единственной весне чудесной.

Но не только от чудес превращений и песни, прогремевшей тогда весенним громом — о разорванных оковах, воле, мечте и томящей любви — и не потому, что сам я, зиму живя, как скот, как зверь самый пещерный, вдруг, уж издыхая, ощутил весеннее тепло и мое затихающее

сердце забилось со всей землею — с сердцем лесов, полей и гор — зверя, рыб и птиц —

чувство необычайное, острейшее пронзило все мое существо.

И это чувство раскололо дни.

Я что-то понял и человека благословил с его дерзающей мечтой.

*

Шел я на Васильевском по Большому Проспекту, нес тяжесть — гниль мороженую мокрую себе в корм: капусту или еще какую помойную погань — драгоценность большую!

День несолнечный пасмурьем успокаивал мои слепые глаза, и на душе теплилось кротко.

Не глядя, шел я привычно.

И вдруг визг отдираемых досок ударил меня —

доламывали последний забор!

И я сразу все увидел, весь Большой Проспект и так далеко — до самого моря.

И не узнал —

Я не узнал привычную дорогу — широкая открылась моим глазам воля.

Это заборы, которые теснили улицу, — не было больше заборов! садами шла моя дорога.

Это моя мечта расцвела въявь садами.

Я помню, ощеренные, с прогнившими досками заборы — — забор и под забором упавшего человека, когда все двери перед тобой захлопнулись, а калитки и ворота под замком заперты крепко;

и эти проклятые стены, отгораживающие человека от человека — самодовольные свиные хари, выглядывающие из-за заборов на твою беду и отчаяние;

проклятия твоего бессильного сердца;

и тупая покорность.

Я видел дальше — за море — за моря —

И в моем сердце вскипали слова: они были резче пил и тяжче молота — могли бы согнуть и железные прутья,

разломать и чугунные ограды железного человеческого сердца.

И больше не чувствуя тяжести, шел я легко садами.

Так бы прошел всю землю — все земли от моря до моря —

И другие слова подымались от сердца —

— благословенные —

благословляющие мечту человека.

IV

ПАНЕЛЬНАЯ СВОРЬ

Жил я всегда на самом на верху: видишь с голубятной высоты своей двор и что там, на дворе, громоздь и скрыть петербургских дворов, но чаще — высота такая поднебесная, что ничего уж не видно, никакого двора — ничего-то вниз, а только — прямо в лицо — косматые дымящие трубы да небо да звезды —

Звезды — —

и звезда с звездою говорит —

Я только теперь это до боли понял, когда больше не вижу ни неба, ни звезд.

А случается подняться к соседу — и всего-то этажом выше — и всё по-другому, и сам я как-то переменяюсь, и без крыльев несешься —

«Мучной лабаз — Варгунин — торговый дом стиль — мебель заграничных фабрик» — все это мимо — выше —

и звезда с звездою говорит —

Я больше не вижу ни неба, ни звезд, как давно уж не присяду к столу в ясный час утра, когда мысли как огоньки, а душа горяча.

Выгнанный на улицу, с утра на ногах, с мешком в руке я куда-то иду весь пылающий, с сердцем, как огонь, иду — —

И так всякий день.

На работу? — не-ет! какая это работа, нет! а только затем, чтобы как-нибудь перебыть день и иметь хоть один-единственный свободный час, присесть к столу, но уж погасшим, с тупым проклятием этой судьбе или хуже, с покорством одолеваемого усталью человека —

еще человека —

у которого пробивается струнящийся свинячий хвост.

Но она же, жестокая моя судьба, которая выгнала меня на улицу и вконец обескровила и изморозила до кости, и как-то случаем загромоздила домами небо и звезды, она же открыла передо мной окно на улицу.

Я вижу, как по Невскому бегут, как мушки, — это беспощадный день ожесточенного от голода и гнета Петербурга с одной упорной навязчивой мыслью схватить, перешагнув всякое «нельзя», какую-нибудь съедобную дрянь, чтобы как-нибудь перебыть день, — и разрезая мушиный бег, со свистом одинокие несутся автомобили — столько не сгорит керосина или бензина, сколько ненависти и проклятия в этой подхлестываемой бедой шарахающейся отчаянной, преступной нищете — а тут прямо под моим окном выползает ничем не истребимая панельная сворь, грохочут наглые грузовики в кожаных лоснящихся куртках и не спеша уверенно подъезжают нагруженные мешками подводы, их ломовые рожи, осыпанные мукой, подергивают вожжами.

*

Случилось то, чего так боялась Нюшка, слушая сказки старухи Мыслевны, даже думать боялась, что и с ней такое может случиться, как в сказках, когда Баба-Яга гонялась, настигала и ловила, чтобы «на косточках поваляться».

И все это случилось в ранний час утра, когда я с тупым покорством судьбе, немилостивой и такой щедрой — ну, разве это не щедрость! выходил на улицу весь горящий с открытыми глазами и рвущимся переполненным сердцем.

В один миг я все увидел — а это и длилось один миг — и сразу попав в теснейший круг, различил все до мелочей мельчайших.

Нюшка в зеленой исстиранной кофте с таким же вылинявшим бархатным вишневым воротником, в черном переднике поверх белесой юбки, повязанная голубым платком с торчащими за спиной заяшными ушами, босая, стиснув крепко в ручонках коробку, завернутую в белую бумагу, металась по мостовой от панели до панели с криком из последнего крика, ни за что не поддаваясь милиционеру в защитной куртке, который с необыкновенным добродушием, смешно ощериваясь — смешно ведь, такая крохотная чудная девчонка! — гонялся за ней и никак не мог изловить.

А Нюшка ничего не видела: ни этой улыбки, ни смешно растопыренных, ловящих, как в игру играя, рук, — Нюшка, ведь она верила еще в сказки и в игры верила — в кошки-мышки! — металась, как металось в мольбе о пощаде ее маленькое, всжигнутое прямо по-живому сердце, металась от Яги или от разбойников или от кошки и на крик кричала —

> этот крик — детский, которого нельзя человеку слышать безнаказно, и если нет никаких возмездий и сама вековая мудрость о карающем роке вздор, я говорю: этот крик — это бешеный собачий яд, который взбесит и самое крепкое человечье мясо — слышите! — завтра же загрызет от смертельной тоски землю.

— Оставь ее! оставь! — слышались голоса остановившихся прохожих, которые, за кругом стоя, следили за всей этой сказочной и такой правдашной игрой.

И на лицах не было никакого удовольствия, что вот случилось-таки то, что случается только в тех страшных сказках, которые любила эта несчастная девчонка, и что очень смешно, что большой взрослый человек не может поймать такую маленькую, как мышка, девчонку с голубыми заяшными ушами.

И не поймал бы, будь у Нюшки «ворота» — ведь это игра в кошки-мышки! — но еще двое в черном пересекли от Невского дорогу —

— попалась!

И с той же улыбкой и совсем не злою поймали девчонку.

— Дяденька! дяденька, отпусти! — зазвенело всем звоном и далеко туда — за Фонтанку — за Неву, и туда — за дома, колокольни, трубы.

Я пересек всю эту гоньбу и, выйдя из круга, пошел своею дорогой, не помню, за какой-то добычей, и прохожие тронулись по своим делам — за какой-то добычей.

Но я никак не мог забыть и не могу забыть и не забуду до смерти, я сохраню с любимою музыкой и этот детский крик: от него никуда не уйти и никаким благовестным колоколом не заглушишь!

*

Вечером в тот день, присев к столу, я случайно заглянул в окно:

> среди панельной своры стояла Нюшка, в руках коробка в белой бумаге, и что-то очень такое, как сказку, рассказывала она другим Нюшкам постарше.

А я-то думал — —

Вот тебе, и на всю жизнь!

Или есть еще что-то, что сильнее всяких страхов?

Или как и мне, как тем прохожим, и ей надо как-нибудь перебыть жестокий неизбежный день?

ПЕРЕД ШАПОШНЫМ РАЗБОРОМ

I

С начала лета мы на новой квартире — на Троицкой. И низко и вода есть и электричество горит.

Как-то ехал я по железной дороге, на остановке хочу выйти из вагона, а никак не выйти — народу набилось в проходе и дверь загородили. Прошу пропустить, а какой-то: «это, говорит, вам не старый режим, товарищ, полезайте в окно!» Я покорно полез — — А тут — наоборот! — а я уж и не могу, я не могу освоиться после Васильевского острова и вдруг схватываюсь: бутылки не наполнены! Боюсь проливать воду, дрожу над каждой каплей.

А вода идет и электричество горит — —

Освобожденный от «водяной повинности» и выпущенный из тьмы на свет, я начал писать, и опять мне сны снятся.

> — — слышу звонок, окликнула С. П. Она говорит: «звонят!» И опять звонок. И еще раз. И слышу голос: «Тут спит черт Копицын!» И это такой был голос — от стены — из стены. И в ужасе я открыл глаза.

II

А что я подумал: может быть, иначе и невозможно? Нельзя, невозможно, чтобы человеческая косная природа «двигалась» по-другому! Инквизиция — огнем, государство — законом, революция — декретом. Надо встряхнуть с корня до макушки — и пустить «на новую жизнь». Я не знаю, хорошо это или дурно, знаю, что это *надо*, и что для живого человека это очень тяжело.

— — когда я выпускал молочницу (она носит к нам молоко на обмен и, конечно, «из-под полы»), вижу, мальчик: одна рука длинная до полу, другая маленькая и весь он какой-то гадкий.
«Откуда ты, — говорю, — появился?»
«А я, — говорит, — всегда между дверями живу в кухне!»

III

Вот и вода есть и свет. А мне кажется, что я уж не выдержу — я совсем обескровленный! И если держусь на ногах, когда весь валюсь, то лишь упорством — упором, только духом, как безголосый могу говорить отчетливо и громко только из какой-то внутренней силы. Иногда меня подвозят на извозчике, но это всегда очень неудобно: совестно — ездить, когда все пешком!

— — сидим в моей комнате у стола: я, С. П. и мой брат Сергей. Ночь. С улицы вызывают из каждого дома и тут же расстреливают. Сейчас дойдет очередь до нашего дома. Чей-то голос называет (слышу ясно): «209-69». (Это № нашего телефона). И я выхожу — через окно, но нисколько не подымаясь, а как бы через стеклянную дверь. Дорогой обернулся — вижу: у стола С. П. и Сергей. И я поклонился им (а они не видят!) и пошел. Под аркой, где освещено лампочкой, сидит солдат. Он что-то бормочет — и я понимаю: я должен присесть, чтобы с меня сняли фотографическую карточку. И чувствую, что это не к добру: и никакая тут карточка, а просто меня расстреляют. И ясно вижу, — еще солдат светит красным, он негр — и объяснять ему бесполезно, все равно, ничего не поймет!

*

В продовольственную лавку привезли воз с яблоками. Когда вносили в лавку, один мешок разорвался и яблоки посыпались на мостовую. Откуда ни возьмись мальчишки и прямо на яблоки: кто сколько ухватит, того и счастье!

За большими полезли и маленькие.

Тут пущены были в ход вожжи. Мальчишки завизжали да кто куда — все разбежались. А одному голопузу (не понимает!): нагнулся он за яблоком, протянул ручонку, ловит — а извозчик мешок нес, да сапожищем ему прямо на руку. Тот так и закатился!

— Что ты это делаешь?!

— А чего под ноги путается?

IV

Приходил С. М. Алянский с рассказом о Уэлсе: как Уэлса чествовали в «Доме Искусств» —

«ели телятину с шоколадом».

— Уэлс шоколаду не ел! — сказал Алянский.

А вечером разбирали, что написал Уэлс в альбом Алянскому по-английски.

— Какая мудрость в каждой строке! — заметил Соломон Каплун (Сумский). (Соломон Каплун наш сосед и постоянно у нас, много мы вместе в альбомы писали и за себя и за других на всех языках!)

— — я подымался от Варварских ворот, от часовни Боголюбской к Ильинским воротам — только подъем куда выше! — очень трудно. А когда я поднялся, вижу, нахожусь за Курским вокзалом у Андрониева монастыря.

Н. М. Волковыский и Б. О. Харитон командуют: кому выступать. И моя скоро очередь, да не хочется мне идти. И мы уж в каком-то загоне: ждем в баню.

«Все равно, прочитать надо!» — говорит Волковыский.

«Да что читать-то?»

«Ну, что попадется».

А я думаю: «заставят меня читать Немировича-Данченко или что-нибудь о мужиках — —!»

И входим через потайную дверь в нашу новую квартиру. Очень высоко, на самом верху. Во дворе сложены ящики и угольщики разгружают подводы с яблоками. У нас одно окно.

Ночь. Какой-то залез в окно — да это тот, кого я встретил, когда подымался от Варварских ворот, я узнаю его. И я схватил его — и в окно. И вдруг стало жалко: конец!

*

Ясное утро — так только бывает осенью ясно. Из противоположного дома вынесли гроб — деревянный некрашеный — поставили гроб на дроги. Лошадь рыжая. Только священник серебряный в серебряной митре.

Кого это?

Старуха плачет.

Лития — «вечная память!»

Возница мальчишка сел на дроги и повезли.

И ладан проник ко мне через окно.

V

Потерял мундштук — ни купить! ни достать!

Упала лампа и разбилось стекло — не знаю, что и делать!

Лопнул горшок из-под каши — где такой добудешь?

— — —

— — в Москве, пробрался в театр. Тут и Борисяк, Есенин, Якулов и З. Г. Гринберг. Я взял стакан воды и полил Гринберга — весь стакан! И подумал: «зачем же это я сделал?» А он ничего, молча встал и вышел, и вижу, возвращается с матерью, знакомит меня. И мне очень неловко. И понимаю, это вовсе не Гринберг, а Вик. А. Залкинд. И я спустился в глубокое подземелье. Прохожу по коридорам к залу: там будет концерт! Но музыки нет: сидит один Пильняк и уписывает такую вот краюху черного хлеба. Я приоткрыл дверь. (Я стою очень низко, пол мне по шею, но вижу не только ноги, а и весь театр!) Играют такую пьесу: «как А. женится на своей дочери». Дочь играет актриса, а он сам себя.

VI

Заходил после обеда Евг. Замятин: принес мне свой старый мундштук. Ну, теперь покурим! А то никак не

выходит: трубку не умею, а крученые — без мундштука невозможно.

Не могу никак вспомнить сна и только вспоминаю: дорожка очень зеленая.

VII

Наступил новый год — 1921-й — четвертый революции! Я вспоминаю эти годы — горячо прожитые, а по чувству исключительные. Слышу, звонит колокол в Казанском — мы пробираемся через сугробы в Дом Литераторов встречать новый год.

VIII

Кронштадтское восстание. — Речь Ленина о «нэпе» — «Мюр и Мерилиз!»

*

Я медленно иду — — мимо проходят и говорят:

— — послезавтра ждут кризиса: у нее тиф. Конечно в дороге захворала: 45 дней из Крыма ехали! по дороге девочку 8-ми лет похоронила —

— — —

— — конечно, из Отдела Управления вам дадут бумажку, но ботинки в Петрокоммуне вы не получите. Получают ботинки не только они сами, но их жены и дети, их матери, их бабушки и даже их прабабушки. А тут служишь с утра до ночи, и все равно никогда не получишь —

— — —

— — — нельзя же всех расстрелять!

ОГНЕННАЯ РОССИЯ

— памяти Достоевского —

Достоевский — это Россия.

И нет России без Достоевского.

И в последний страшный час, — если суждено такому страшному часу, — в внезапную последнюю минуту на последний зов и суд — кому же? — только он, только он один выйдет за Россию, станет один, скажет один за всех — мучающихся, страждущих, смрадно-грешных, но «младенчески любящих» — за Россию бунтующую, отчаянную и несчастную (ведь разве бунтующий может быть счастлив!), за «убивца» — за весь русский народ.

— Суди нас, — скажет судии, — если можешь и смеешь.

И из впалых, испепеленных болью глаз, как искра, блеснет огонь.

Какое изгвожденное сердце — ни одно человеческое сердце не билось так странно и часто, безудержно и исступленно —

> «и чем тише был месяц — огромный круглый меднокрасный месяц глядел прямо в окно — тем сильнее стукало сердце и даже больно становилось».

*

Кто, откуда пришел он?

Пройдя какие квадриллионы пространств — отблеск и отвей какого страшного премудрого духа, пустынного огненного духа-искусителя, держащего ключи от человеческого счастья.

И куда?

На какую Голгофу — без срока —

Чтобы словом содрогнуть человеческие души, зажечь землю и, если суждено такому страшному часу, дать ответ за всю боль и грех человека, за бунтующую Россию.

*

Под разливной звон и клеп гоголевских колокольцев, сквозь пушкинскую лазурь — России бесподобной и вдохновенной, России волшебной, калядной и вийной —

> «избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат одни обгорелые бревна. На дороге бабы, много баб, целый ряд; всё худые, испитые, какие-то коричневые лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокая, кажется, ей лет сорок, а может, и всего-то только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у нее такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, с кулачонками, с холоду совсем какие-то сизые».
>
> «Что они плачут? Чего они плачут?»
>
> «Дите, дите плачет».
>
> «Да отчего оно плачет?»
>
> «А иззябло дите, промерзла одежонка, вот и не греет».
>
> «А почему это так? Почему?»
>
> «А бедные, погорелые... на погорелое место просят».
>
> «Нет, нет, ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют радостных песен, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят дите?»

*

И пусть все осветилось —

«Снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами — слышите Гоголя звон? — мороз как бы потеплел, песни зазвенели —»

Ни песен, ни звезд. Все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая неразлучная горькая разлучница мать-беда.

Прийти в мир на просторную легкую землю Пушкина и Гоголя, и с первого же мига чья-то беспощадная рука хлясть по глазам — «так вот она какая легкая земля!»

«Нет, если бы я имел власть не родиться, я не принял бы такого существования».

Достоевский увидел в мире судьбу человека — горше она последней горести! — и не только человека: помните Азорку — ребятишки тащили на веревке к речке топить, а помните несчастную клячу, ее иссеченные кнутом глаза, и даже неодушевленное этой стороной — Илюшины сапожки, старенькие, порыжелые, с заплатками там в уголку перед постелью —

Весь мир перед ним застраждал — неотступно.

> «и чувствует он, что подымается в сердце его какое-то никогда еще небывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать, чтобы не было вовсе слез от сей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же, сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что со всем безудержем —»

*

Но что может сделать для счастья человека человек?

Страдание и есть жизнь, а удел человека — смятение и несчастие.

И самое невыносимое, самое ужасное для человека — свобода: оставаться со своим свободным решением сердца, это ужасно!

И если есть еще выход, то только через отречение воли — ведь человек-то бунтовщик слабосильный, собственного бунта не выдерживающий! — отречением воли, цепным «авторитетом», беззаветным началом еще возможно в мире что-то поправить, сделать человечество счастливым.

Да захочет ли человек-то такого счастья безмятежного с придушенным «сметь» и с указанным «хочу»?

> «и сидит она там за железной решеткой семнадцатый год, и зиму и лето в одной посконной рубахе и все аль соломинкой, аль прутиком каким ни на есть в рубашку свою в холстину тычет. А сидит с одной только злобы, из одного своего упрямства».

Или уж ничего не поделаешь с человеком?

Но ведь бунтом жить невозможно!

Как же жить-то, чем же любить — с таким адом в сердце и адом в мысли?

*

«И вдруг ударил колокол — густой тяжелый колокольный звон.

Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон.

И я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что это звонят у Николы в красной церкви, выстроенной еше при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и в столпах, и что теперь только что минула святая неделя и на тощих березках в палисаднике уже трепещут новорожденные зелененькие листочки.

Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня в моей комнатке сидит гостья.

Да, у меня, безродного, вдруг очутилась гостья.

Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла: это была мама —

> Колокол ударял твердо и определенно, но это был не набат — —

Она вскинулась и заторопилась.

«Ну, Господи... Ну, Господь с тобой... Ну, храни тебя ангелы небесные, Пречистая Мать, Никола угодник... Господи, Господи! — скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов, — голубчик ты мой, милый ты мой. Да постой, голубчик...»

Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький, клетчатый платок с крепко завязанным на кончике узелком и стала развязывать узелок... но он не развязывался...

«Ну, все равно, возьми и с платочком: чистенький, пригодится, может, четыре двухгривенных тут, больше-то как раз сама не имею... Прости, голубчик...»

Я принял платок, хотел было заметить, что мы ни в чем не нуждаемся, но удержался и взял платок.

Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг —

И вдруг поклонилась глубоким медленным длинным поклоном

— никогда не забуду я этого! —

Так я и вздрогнул и сам не знаю отчего.

Что она хотела сказать этим поклоном: вину ли свою передо мной признала? — не знаю».

— — —

— — — —

«Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною. Стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков.

О чем плакал он?

О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны.

Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, не себе, а за всех, за все и за вся —»

— — — —

— — —

И кто-то шепчет:
«Богородица — великая мать —»
«Богородица — великая мать сыра земля есть. И великая в том для человека радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой горести твоей больше не будет».
— — —

*

Трепетной памятью неизбывной, исступлением сердца, подвигом, крестною мукой перед крестом всего мира — вот чем жить и чем любить человеку.

Достоевский — это Россия.

Краснозвонная, опетая моим горестным «Словом», и новая, еще не сказавшаяся, буйно подымающаяся из праха, безудержная —

И нет России без Достоевского.

Россия нищая, холодная, голодная горит огненным словом.

Огонь планул из сердца неудержимо —

Взойду я на гору, обращусь я лицом к востоку — огонь!
стану на запад — огонь!
посмотрю на север — горит!
и на юге — горит!
припаду я к земле — жжет!
— — —

*

Где же и какая встреча, кто перельет этот вспланный неудержимый огонь —

— *из-гор-им!* —

Там — на старых камнях, там — встретит огненное сердце ясную мудрость.

И над просторной изжаждавшей Россией, над выжженной степью и грозящим лесом зажгутся ясные верные звезды.

ПЕТЕРБУРГ

— Петрова память —

I

ПОДЪЕМНЫЙ МОСТ

— Зачинается строить через Мою-реку подъемный мост!

Напуганные «концом мира», а при всяком взрыве большого человеческого волнения для напуганных «конец мира» — и кровь и пугало, никогда не поймут и не почувствуют подъема и одушевления при вести о новой стройке.

— Зачинается строить через Мою-реку подъемный мост!

Да еще из ничего.

Или почти из ничего: из того, что есть.

А в казенных амбарах не так-то уж много, чего есть — надо все сделать, достать, выработать.

И притом в спешном порядке — «без замедления».

Это второй мост: первый — Большой, а этот пока без названия — у Мытного двора.

Мост деревянный.

Доски — с Охты; цепей нет — цепи сделают вольные кузнецы; копры бить сваи — от архитектора (архитекта) Трезина; прочие припасы из Казенных амбаров от командиров: мел, обивальные нити, напари, долота, говяжье сало — от Якова Ф. Шатилова, веревка — от майора Заборовского, уголь — от капитана Милюкова.

Только вот плотников нет — не идут на работу, и у Большого моста не работают.

Зимнее время — самый злющий мороз — январь.

Да и с ковшами беда:

> «сети перепортились и земли ими тоскать не можно».

Тоже вот, как со шлюзами: две сделаны, а одной нет — кирпичу не хватило и плиты для фундаменту. Еще в прошлом году требовали, а все нет. А теперь бы самая

пора подвезти зимним путем и поставить у Соляных амбаров: плиты с Тосенских заводов, кирпич с Казны.

Будет, все будет, но не так скоро: невозможно, не поспевают!

Послано письмо за «подписанием Алексея Михайловича Черкаского» к архитектору Онарлеусу: Онарлеус этим ведает.

Если есть воля, а этот дар есть и величайший, воля всесильна, такая на своем поставит:

> — лежебок вскнутнет, лодарей за шиворот в работу, с таким несметным богатством — Россия! — это не то, что Голландия или там — только бы мастеров, и все на работу! и все можно — города, дворцы, мосты —

А строит мост через Мойку А. Девиевр, в помощниках — Василий Туволков.

II
МЕЛЬНИЦА

Сквозь туман петербургский вижу, как в Копорье, Дудоровке, Стрелиной рубят леса. И сквозь сосны, ели, березы — мельницы. Круть мельничная, шум воды, вой ветра.

Мельницы — крупяные, мучные, соломосечные, масленые, цементовые, каменотесные.

Вода и ветер — единственный двигатель, мельница — фабрика.

Сквозь туман петербургский видится — валят леса, крутят мельницы — взгорыхнуло! — неугомонная воля — новая Россия.

В Красном строит цементовую мельницу архитектор Ягон Кристьян Ферстер. Заведует стройкой — Евсевий Савинков.

Савинков должен достать все припасы — весь матерьял:

> приискав, приторговать сосновые леса; дуб, липу, а вместо кизиля и пальмы, зенгауту, напилив, перевезти из Петербурга от Зенбулатова, железо и сталь — из Казенных амбаров от Баранцова,

железный вал, гвозди, шипы, железную доску «против моделей» с Оружейного двора от Арзухина, медные орехи — от архитектора Микетия.

И все надо «непременно» и «немедленно».

А мельничный крепкий камень сделают в Красном каменоломщики.

Дьяк Лука Тарсуков, дьяк Петербургской Городовой канцелярии, скрепив указ, отдал самому Савинкову и другие указы ему же — к командирам: к Зенбулатову, Баранцову, Арзухину.

Лука Тарсуков знает! — и не одну только свою указную канцелярию.

— Когда в драке бьют по морде, — говорит он Савинкову в напутствие, — это ничего, подживет, а когда при этом крушат и вещи, это уж чего. Морда мордой и останется, а от вещи дребезги, куски, — пропало! А вещь — это — дух живой! И за это мало по морде.

А на взморье в избе — пять бумажных окон! — гудит ветер:

тысячу лет гулял здесь на воле, а теперь и его в работу — изволь колеса вертеть.

— Сшибануть разве — —! стройку?

III

БРОНШТЕЙНОВА ВЕДОМОСТЬ

И опять беда —

Петр спрашивает Кишкина:

— Зачали ль кровли и потолоки в Момплезире на палатки делать?

Семен Кишкин бывалый человек, курьером ездил от Петра к царевичу Алексею, не моргнул, ответил:

— Зачали.

Или с перепугу такое выскочило.

Какой там зачали!

«Полатный мастер» архитектор Браунштейн — еще в прошлом году требовал матерьял крыть кровлю и на подбойку потолоков (потолков) и на пол в малых палатках в Монплезире, четыре месяца прошло, а ничего еще не отправлено.

Кроме того Петр затеял сделать два люст-гауза, и надо, чтобы к весне было все кончено (всеконечно), а нет ни досок, ни бревен.

А в Петербурге все имеется:

замки и петли — в Казенном амбаре,
«досные припасы» — на Охте,
а если каких досок нет, можно взять от Мошкова
за деньги.

— Мастеровые люди и арестанты помирают с голоду без провианта!

Вот она беда какая.

IV

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

Борис Неронов пишет князю Алексею Михайловичу Черкаскому.

Не своей рукой пишет Неронов, — доброписец из XVII века строчит! — своеручно он только подписывается.

И только однажды —

о веревках в сад Его Величества для обвязывания
елей —

за подписью пристягнул:

«отпусти спешно!»

Но и со слов писаное — живо.

Неронов послал Кишкину в Петергоф подъем (лебедку), для подъема фигур, а потом не раз писал и при встречах напоминал Черкаскому, чтобы вернули подъем. И вот промешкали — спрашивает о подъеме государь, а подъема-то нет! —

— для милости Божьей, пошли сегодня!

Не дай Бог: схватится опять, быть грозе.

А так все мирно и тихо.

Надо две кожи — красную и сыромятную, сибирского татарина для уборки (убирания), больших собак —

— которых не потеряем!

Надо досок —

— на дело в сад государыни царицы лавок.

Надо железной проволоки «против образца» —

— для дела клетки.

У птичника Симона Шталя в птичнике завелись канарейки — это клетка для канареек. А скоро будут и «красные вороны».

Кожи, доски, проволоки, веревки отпустят из Казенных амбаров от Якова Шатилова и Заборовского.

И для медведей веревку — шестьдесят сажен веревок — от Заборовского ж:

— велено изготовить четырех медведей белых к свадьбе.

Чья свадьба? кого Петр выдает замуж? — надо свадьбу сыграть не как-нибудь, надо чтоб —

— с белыми медведями!

— Весь Петербург белыми медведями!

V

ВИНО И ТАБАК

Вино и табак — вещи соблазнительные.

О происхождении и вреде их столько написано, что ей-Богу ж ничего и не придумаешь.

Петр — первая табачная пора у нас в России:

> на табак была мода и создавались легенды и были свои мученики.

А табак не такой был, не эта вот моя смесь —

> куриный помет со мхом — Huhner Unrat mit Moos, на этикетке птичка!

а горлодер — голландский.

Курил его князь Дмитрий Михайлович Голицын (теперь на Руси и князья перевелись, одни остались «обезьяньи») и сам директор над строениями оберкомиссар Ульян Акимович Синявин и его брат комиссар Федор Синявин.

> Вино же в России искони — от Бахуса.
> И первый его слуга — царь Петр.
> Да и государыня Екатерина Алексеевна не брезговала.

А уж приемщику Савинкову и сам Бог велел. Простое вино курилось дома — с Водочного двора принимайте, не простое же заморское из Голландии Любс доставлял.

VI

ПО ПУНКТАМ И СВЕРХ

Кончилась великая северная война.

С 1721-го — самая горячая стройка, заканчивают работы, начатые в войну.

Главные работы в Петергофе, — в «Питере» по-сокращенному.

Генерал-архитектор Леблон, строитель Петергофа, Стрельны (Стрелиной мызы), Дубков, помер от оспы. На его месте — «полатный мастер голанец» архитектор Браунштейн.

Работы делаются по «пунктам» Е. И. В. и «сверх пунктов» — в совете мастеров:

— как покажет полатный мастер голанец —

— как Мишель присоветует —

— с позволения Мекентива.

Директор над строениями оберкомиссар Ульян Акимович Синявин. Под ним в Петергофе комиссары: Павлов, Карпов, Елчанинов и русский архитектор М. Г. Земцов.

Лето 1723 года.

Уж кроют свинцовыми досками каскады, площадку перед малым гротом, палаты в Монплезире.

Фонтанный мастер француз Полсолем (Солем) изготовляет эти доски: в амбаре, где работает столяр Фарсуар, поставлены станы.

Кровельный мастер — швед Константин Генекре.

Пояльщик — Потап Басемщиков.

А Монплезир кроют железом и сверх наметом —

— дабы от дождя какой вреды не было.

Еще одно лето работы и не по «пунктам», а уж «сверх» — свинцовой крышкой покроют самого и намета не надо: вреды бояться нечего.

Спешат вовсю — «к празднику», «чтобы не упустить удобного», «к пришествию» — одно лето осталось!

Все делается «с поспешением», «с неусыпным старанием», «с неоплошным смотрением» и принуждением:

— матерьял отпущать без остановок!

— быть у работы беспеременно!

— чтобы работы отправлялись без остановки!

Всё отделывают совсем в отделку, последний гвоздь вколачивают —

столярный мастер Мишель и Кардасей доделывают галереи (галареи) на малой марлинской каскаде у шлюза (слюза);

балясы красят пока белой краской, потом будут расписывать;

в верхних галереях полы настилают;

роют малые дождевые каналы;

набивают глиной — укрепляют — у больших фонтанов против большой, гладкой каскады, где положены чугунные и деревянные трубы;

Антон Квадрий за штукатуркой смотрит;

Кардасей белым камнем отделывает басейн и перед каскадою;

маляр Федор Григорьев с учениками золотит урны;

дожидают живописца Короваку для молеванья;

во флигере печники делают печи из образцов (изразцов?);

как в Монплезире (по Мишелю), делают вставни или затворы в малых палатах у спальни;

отделывают каскады по лестницам и в Монплезире и расписывают;

у шлюза галереи и зымцы (карнизы) прибивают и расписывают;

Франц Цыглер и Конрад Оснер привезли из Петербурга две деревянные фигуры к концам стоков, деревянного драка и две деревянных куриц (работа Пинови) — фигуры переделывают, а к драку и курицам Полсолем свинцовые трубки делает для фонтана в нишелях решетчатых;

проводят от большой фонтаны (фонтана) чугунные трубы к нужнику в Монплезире: надо поднять свинцовый ящик в столчаке, чтобы из лягушек било воды одинаково.

Спешат. У мастеров — людей для работ с избытком («с удовольством»). Не проронить бы какой работы!

Оберкомисар Ульян Синявин всегда под железной рукой: скорей!

*

«В Монплезире по другую сторону шайфы или чуланец, конечно, вели поставить и расписать, а в нужнике сукном зеленым столчак и стены убить. Во флигере ко всем дверям замки прирезать. И вычистить и насыпать можжевельником, садовнику скажи, подле большого пруда ров покрыть досками и засыпать землею, буде успеет сегодня, буде же не успеет, чтоб не расчинал, и рыбу, как возможно, за решетку вели сажать больше и присланную карпи вели тут же посадить. Солдат петергофской команды из Стрелиной мызы сойми, а оставь пятьдесят человек, кои у каменной тески, о чем к Бачманову присем письмо. А яхта, которая прислана от светлейшего князя, вели поконопатить и починить не вынимая, в босейне, поваля на бок. И на всех работах, чтоб исправно было — надеюсь, что завтра императорское величество будет к Бронштейну до сих мест. Дай шлюпку и пришли ево немедленно сюда, а квартирмейстеру вели явиться у меня! Во флигире кроватей по пяти и по шти надобно изготовить и столов, чтоб было числом двадцать и с старым. А кроватей не худо б, чтобы и больше изготовить! В голореях штукаторную работу надобно конечно поспешить и очистить начисто весь сор по дорогам, — с подкреплением садовнику прикажи! Мосты в верхних голореях чтоб гладки были и крепки, где ставится будут игры. И провесть покрытый каналец от саду мимо флигерей, чтоб вода не взливалась на мост с огороду. Учеников как на кашкадах, так на фонтанах определить лучших, отменных, и сделать им роспись и определить над ними добрых урядников и капралов, дабы всяко свое место знал и меня репортовать».

*

А комиссар Павлов под постоянным «на тебе все взыщется» знает, дело не убежит, и на ордера «предлагает свои известия», рассвечивая их не общим, а словом своим именным на каждую работу:

«в большом канале разломанной стены на 11 сажен, в том числе камнем выкладено и глиною набито, а дерном не выстлано на 5 сажен;

«на четвертой стороне стенки в одну линию сваи побиты, брусье наложены и щиты защают; в другую линию сваи бьют и сегодня начнут на-дво связи класть;

«от моря под фашины землю ровняют, от малого прудка речки мелким камнем выкладывают, перемиду делают.

*

А надо спешить — надо во что бы то ни стало исполнить все по пунктам к сроку — еще, еще одно лето! — а и загнул-таки задачу! какой там на лето! — да и средств нет —

Денег не хватает на жалованье, нечем платить —

— кровельный (покрывальный) мастер Генекре непрестанно докучает!

— резному мастеру Оснеру только в сентябре выдали 100 рублев в зачет заслуженного жалованья за прошлый год!

— мастеровые из солдат не получили за семь месяцев!

— а рекруты, «употребленные (размещенные) по шестокам» к старым солдатам, «будучи в работе и видя к пропитанию неимущество», бегут — за июль сбежало 10 человек!

А с Пудожи и из Нарвы камень везут: затеваются новые работы уж не в Петергофе, а в Петербурге — у Летнего дома и Госпиталь (Шпиталь).

И опять надо деньги.

И какой-то народ бестолковый: ведь каждому надо втемяшить в башку всякую мелочь, иначе или перепутает, или такое устроит, греха не оберешься.

В Петергоф из иностранцев — послов и посланников — никого не пускают: караул стоял в гавани и на сухом пути за мызниковым двором у моста и от Ораниенбаума (Аранибома) смотрели.

И вот, наконец, фонтаны и каскады — работа итальянцев с архитектором Микентевым — готовы.

Петр затеял выдать замуж старшую свою дочь цецаревну Анну Петровну за герцога голштейн-готторского Фридриха Карла.

Прусскому посланнику барону Мардефельду было разрешено в Петергоф, и велено для него отворить все фонтанные воды.

Старичок, скорбный ногами, этот Мордафельт, прибыл.

В приказе обергофмейстера Матвея Алсуфьева между прочим сказано, чтобы лошадям его давали овес и сено. И тут же оговорено:

«пока он в Петергофе будет».

А не оговори, с дурьей-то головы чего доброго мордафельтовых лошадей будут кормить до скончания веков лошадиных, — всего станется!

Тоже и в другом приказе.

Меншиков распорядился, чтобы всем петербургским гарнизонным полкам, что на работах в Петергофе, быть к Богоявленьеву дню в Петербурге на стоянии у воды.

Ульян Синявин в ордере к Павлову по этому случаю пишет, чтобы отобрать у мастеровых людей этих полков инструменты в казну. И добавляет:

«а когда оные полки в Петергоф возвратятся, тогда по-прежнему им те инструменты отдайте».

Иначе может всякое быть: с великого-то ума отобрать инструменты отберут, но уж назад не жди, не получишь — «велено отобрать!»

Или все это не оттого — не потому что везде такой дурак подобрался, нет, дурак-то дураком, а это исконное наше, от «грозных» и «тишайших» столбцев идет — необыкновенная предусмотрительность от всегдашнего подозрения в злоупотреблении: человек-то уж очень не надежен!

А тут — в «гороскат петровский» под железной рукой, в таких тисках и таком вопиющем «неимуществе» всего жди.

И все эти толковые ордера, «пошпорта», весь этот подробнейший «бумажный аппарат» вовсе не от неуменья, а от глубочайшего недоверия человека к человеку, а к русскому (к своему) в особенности. И это такое исконное русское.

*

Кровля свинцом покрыта, галереи расписаны, фонтаны бьют и каскады — русский Версаль готов.

Петр построил русский Версаль —

не ударить в грязь перед Европой!

Петр — «орлова полку», ни в каких столчаках, зеленым сукном убитых, не нуждался, любил море, механику — фонтаны — раз и строил, всё отделывал так, чтобы как там, в Европе —

Россия, как Европа!

И это «по пунктам» —

нет, еще больше, «сверх» —

Россия удивит Европу!

VII

РЕЗНОЙ МАСТЕР

Со смерти Петра прошло несколько месяцев, работа идет, как ни в чем не бывало.

Петровский упор необычаен — надолго хватит.

Это — «воля к деянию» такая страсть — действует и тогда, если даже сам-то человек, онегожен, действует и после смерти.

Петровские мастера — люди такой страсти, отчасти и зараженные, или, вернее, завороженные Петром, его необычайным упором и кипью работы: страсть к работе заразительна, как и противоположность ее — праздная тля.

Резного дела мастер — резной мастер Франц Циглер!

Два года назад Франц Циглер сделал в Петербурге две больших деревянных лежачих фигуры — «к концам стоков, что по обе стороны слюза (шлюза) в Большом канале». И повез их с другим резным мастером Конрадом Оснером в Петергоф вместе с двумя деревянными курицами и

деревянным драком — работа резного деревянного дела мастера Пинови «для фонтану в нишелях решетчетых».

В Петергофе Франц Циглер должен был переделать по указанию Петра эти большие фигуры, при этом в его распоряжении были все находящиеся о ту пору в Петергофе резные мастера и Конрад Оснер и Фарсуар и Эдгар Эль-Крисар и Кардасей и сам мастер Сенлорам.

Из Петергофа Франц Циглер перебрался в Москву к работам на Головинский двор (дворец), а когда на Головинском дворе стройка прекратилась, попал в Госпиталь к «Гофшпитальному строению».

Он лежит в «паралижной болезнии» — руками и ногами не владеет, а образцы делает и за работами смотрит! — всегда к работам является.

Так доносит госпитальный доктор Николай Бидлоо и добавляет, что человек он нужный и «впредь к госпитальному строению нужен будет».

О чудодейственном резном мастере рассказывают и штукатуры (штукаторы) Фрол Борисов с товарищи: они работали на дворе подле Яузы, а теперь в Госпитале же — в церкви и в Анатомическом театре.

— Рукам и ногам не владеет, а образцы делает и к работам всегда является, вот это мастер!

VIII

КРАСНАЯ ВОРОНА

Анна Иоановна — самая из русских русская царица, дочь царя Ивана Алексеевича, брата Петра, и Прасковьи Феодоровны, урож. Салтыковой. Вся вширь — императрица! — ножка белого гриба с «напачканными» бровями. (При дворе такая мода была: пачкать брови).

А круг — рощи, сады, огороды, птичники, курятники, «ранжерея».

В садах — погреба, в погребах — коренья и овощи про обиход императрицы: петрушка, постарнак (пустарнак), порей, сельдерей, морковь, репка, свекла, ондиви.

В птичнике, в железной клетке канарейки.

А живут еще в клетках же красные вороны.

Сад насадил Петр и всяких птиц вывез из Голландии и красных воронов. И на огородах петровские солдаты-старики караулят — Иван Замараев да Артемий Русинов из Батальона от Строений.

Сад разросся до невозможности.

— Решеточные ворота большим ветром сломило, и столбы у пришпехта подгнили и тоже большим ветром сломило.

Столярного дела подмастерье Димитрий Максимов ветхости все исправит — по «памяти» петровской.

А памяти идет конец — —

Нового ничего не строят, заканчивают петровские затеи, заколачивают последние петровские гвозди — через годы Екатерины, через годы Петра-внука — последний дух петровской силы.

Уж восковую персону Его Императорского Величества велено по приказу обермаршала графа фон-Левенвольда отдать в Кунсткамеру (кунштькамору) к библиотекариусу Шумахеру.

Скоро будет действовать первый русский зодчий Земцов, ученик Трезина, помощник Леблона и Мекентива, скоро приедет из Парижа Растрелли сын и опять пойдет дым коромыслом — Елизаветинская стройка!

А пока что — всё в садах, огородах, рощах.

Петербург и Петергоф — курятник.

Запах помета, перьями и теплыми яицами.

Контора Садовых дел — всё.

В Петербурге в Васильевском саду садовый мастер — Яган Эйк (Iohann Heug), в Петергофе — садовых дел мастер, Ле-ван-харнигфельт (Le van harnigfeltt) и старичок птичник «иноземец» Симон Шталь (Simon Stahl), в Четвертом «Итальянском» саду садовый подмастерье Семен Лукьянов, в Конецком огороде смотритель прапорщик Алешутин.

А над всеми — Антон Кормедон — Антон Антонович — «красная ворона»!

*

Красные вороны — первая птица — за ними особый уход и забота.

Живут они в клетке, сидят на столбиках (второй столбик протоптали!), а кормятся или, как говорит любитель лес-

ковских «письмовручительств» подканцелярист Петр Часовников, «принимают пищу» в корыте (всё корыто продолбили!).

Как привезли их в Петергоф — «к пришествию в Петергоф Его Императорского Величества» — да как раскрыли клетку, все диву дались.

— Что за вороны!

— Ну, и вороны!

— Красные вороны! — сказал солдат Горохов.

Так и окрестили.

Птичник Шталь учил-кликал:

— Der Papagei.

Но ни садовые подмастерья, ни сама птица не откликались: птице понравилось русское прозвище.

Так и рапортовали (репортовали).

Это было еще в 1720-м году, когда верховодил кн. Алексей Михайлович Черкаский, а в подручных ходил при нем Борис Неронов.

А теперь обермаршал «его графское сиятельство и ордена святого Андрея кавалер» фон-Левенвольд, а под ним Антон Антонович Кормедон — «красная ворона».

Так прозвали Антона Антоновича все садовники до Петра Шапошника и старосты Матвея Гиллера.

Да и сам Антон Антонович любит щегольнуть русским словом:

— Ich bin russische красная ворона!

*

На всякое садовое «доношение», «ведение» и «промеморию» Антон Антонович кладет резолюцию.

Все равно — о еловых кольях, и тычье гороховом; о досках для делания столов и скамеек (скамеяк) в сады и по рощам; о лейках для поливки (поливанья) овощей и фруктов, о колесах под роспуски и одноколок (аднаколак), на которых песок, черную землю возят, также навоз и прочая; о олове, говяжьем сале, нашатыре, деревянном

масле и для починки леек (леяк); о висячих замках большой руки и малой (такой размер); о дубовых кадках (катках) для держания воды в оранжереях (ранжереях); о починке чулана, в котором будут сидеть «подорожники»; о железном скребке для чистки (чиски) в клетках, о потошниках (поташниках) для ловления птиц; о пробной лопатке и кирке — все равно, так пропишет, будто не птичник, не сад, не огород, не роща, а вся Россия в его воле и власти, и всякое дело, чтобы немедленно —

Антон Кормедон

Да, много бывало чудес на Руси и каркать о ее погибели, только воздух портить!

Это я не вам, это я старикам петровским огородникам солдатам Замараеву да Русинову.

На Конецком огороде, что за Казачею, вон они пригрелись на солнышке, вспоминают крутое Петровское время —

когда были настоящие комисары:

— Обер-комисар Ульян Акимович Синявин!

— Комисар Федор Акимович Синявин!

— Комисар Семен Михайлович Павлов!

— Комисар Степан Карпович Карпов!

— Комисар Федор Феодорович Шатилов!

— Светлейший Римского и Российского государств и главный генерал и кавалер Александр Данилович Меншиков!

— Генерал-майор, лейбгвардии майор Дмитреев-Мемонов Иван Ильич!

Настоящие комисары, не эти:

— Поручик Алешутин? майор Коробанов? Петр Мошков... разве что полковник Андрей Иванович Брунц?

Но главное-то — эта «красная ворона», она им вот где — Антон Кормедон.

— Погубит, мерзавец!

Ну, ничего — от огородного духу ой как спится! — поворчат старички и задремлют на своем «прилежном смотрении».

А сад разросся до невозможности и все растет, овощи

поспевают, птицы топчутся, несут яйца, работа идет — в Конторе Садовых дел и в Валдместерской (б. Лесных дел) пишутся донесения.

А пишут, как говорят. Читай, как написано, русскому языку научишься — русскому произношению.

К ЗВЕЗДАМ

— памяти А. А. Блока —

Бедный Александр Александрович!

Покинуть так рано землю, никогда уж не видеть ни весен, ни лета, ни милой осени и любимых белоснежных зим —

и звезд не видеть — сестер манящих — как только они нам светят!

Не видеть земли, без «музыки» — это такая последняя беда, и от этой беды не уйти —

а если вовсе и не беда, а первое великое счастье?

Но почему же для вас так рано?

Это я, еще бедующий здесь вместе с веснами и любимыми вьюгами и моей серебряной звездой, это я стучу в затворенную дверь, не могу и никак не свыкнуться с этим вашим — счастьем.

В то утро — а какая была ночь — Лирова ночь!, какой рвущий ветер и дождь —

ветер — —
сам щечавый зверь содрогнулся б!
ветер — до — сердца!

в суровое августовское утро, когда, покорные судьбе, в скотском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю, дух ваш переходил тесную огненную грань жизни, и вы навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле.

*

А в день похорон, когда вашу «Трудовую книжку» с пометкой:

литератор
грамотен
ПТО

отдали в Отдел Похорон, я свою с той же самой пометкой и печатью, только нарядную, единственную, узорную по черному алым с виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Сорабиса отдал в Ямбурге в Особый Отдел Пропусков.

Счастлив ли дух ваш?

Хоть на мгновенье вы обрадовались там — вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей Лировой ночи?

Или вам еще предстоит встреча — счастливые дни?

> А я скажу — про себя вам скажу — ни на минуту, ни на миг. И не жду. Это такое проклятие — вот уж подлинное несчастье! — оставить родную всколыхнутую землю, Россию, где в бедующем Злосчастье наперекор рваной бедноте нашей, нищете и голи выбивается изумрудная, молодая поросль.

Помните, в Отделе Управления мы толклись в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт — это было вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова — и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острове без воды и дров — помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то с вами —

— Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...

И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.

Бедный Александр Александрович — вы дали мне настоящую папиросу! пальцы у вас были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.

— В таком гнете невозможно писать.

> А знаете, это я теперь тут узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то, что невозможно, ведь только в России и совершается что-то, а тут — для русского-то — «пустыня». Уйти временно в

пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли — ведь нигде, как в пустыне, зрение и чувства остры! — и Гоголь уходил в римскую пустыню для «Мертвых душ». Тоже и поучиться следует, и есть чему. Только вот насчет прокорму — писателям и художникам везде приходится туго! — надо какая-то работа, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетит душу. И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя, на миру в России.

*

Это хорошо, что на Смоленском — и проще и не суетно — и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину, и Горького не надо просить.

«Помните, как вас из вашей-то насиженной выгнали?»

А может быть, и там ваша душа проходит еще злейшие мытарства? И эта жизнь — четырехлетний опыт социального переустройства — ясно говорившая вам уж одним своим началом всеобщего уравнения, когда вы недоумевая спрашивали, «нужны мы или не нужны?» (да, конечно, такие не нужны!), эта жизнь, прицепившая к вам бестий ярлычок «буржуазного поэта» — изобретение всеупрощающее, подхваченное умом не очень взыскательным и отнюдь не беспокойным, а также примазавшейся шкурой и прихвостившейся мразью, загнавшая вас в «третью категорию» со всякими трудовыми повинностями — сгребанием снега на мостовой, сколкой льда, разгрузкой барок с дровами, чисткой загаженных дворов, эта жизнь, которая не давала вам никакой воли, заставляя вас быть, как все, и как всякий служить, и как всякого без конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню — ведь ученые, писатели и художники это вытянувшийся дрожащий хвост нищих на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусок и льготу (право «просачиваться»!), тычащая вас носом, как кошку, и не однажды честившая вас, как ломового извозчика, — «Мы художники-писатели, а с нами обращаются, как с ломовым!

извозчиками!» — говорили вы в гневе, и наконец отнявшая у вас досуг и «праздность», эта наша переустраивающаяся русская жизнь, покажется вам легким сном?

Но я верю, за ваше слово, за «музыку» и там, в норах и канавах — в безнадежном, томящем круге, в кольце ожесточившихся стражей муки, и там найдутся, кто станет за вас.

Впрочем, что это я — это я все о «гнете» — горькое слово ваше запало! — это я по-русски по закоренелому нашему злопамятью! а ведь было ж и совсем другое! и совсем по-другому!

И знаете, Александр Александрович, да это вы знаете, — и это говорю я не для пуга, — не всегда-то и Марья Федоровна может: перед уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением в Петрокоммуну — царскую! а все-таки отказали, и уж в Ревеле с вокзала я каблук в руке нес.

И Гумилева — расстреляли! — Николай Степанович покойник теперь! — и Горький не всегда может, стало быть.

*

Да, хорошо, что на Смоленском —

Федору Ивановичу, хоть и обидно — помните, покойника Ф. И. Щеколдина, любил он вас! — это когда с Гороховой-то нас выпустили, он вскоре и помер, на советских мостках в Александро-Невской лавре лежит, — ну, Федор Иванович поймет.

Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове, соседи наши. от них до Смоленского два шага, они-то уж как будут могилу вашу беречь, знают там каждый холмик, придут и на Радоницу — красное яичко принесут, похристосуются, и на зеленый Семик и в Дмитровскую субботу. Я. П. Гребенщиков — книгочий, всякую вашу книгу имеет и на иностранном, он один такой в Петербурге, он и могилу не оставит, «князь обезьяний!» —

А ваш «обезьяний знак», Александр Александрович — его ни в какой Отдел не потребуют — забыл я, с чем он? — картинка? — с каким

хвостом или лапами? — у П. Е. Щеголева с гусиными лапами и о трех хвостах выдерных.

И вам будет легко лежать в родной земле.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей —

глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,
помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

*

Бедный Александр Александрович!

Все никак не могу убедить себя, что вас уж нет на свете.

Вот тоже, когда Ф. И. Щеколдин помер, я тоже долго не мог: схвачусь и все будто папиросу ищу — сам курю и ищу, как в бестабашье.

Передали ли вам мое последнее слово?

«Что ж сказать Блоку?»

А я точно испугался — чего-то страшно стало — не сразу ответил.

«А скажите Блоку: нарисовал я много картинков, на каждую строчку «Двенадцати» по картинке».

Пусто и жутко было в моей комнате перед отъездом. Пустые полки, и игрушек не было, пустая зеленая стена с серебряными гнездышками, и ваша «ягиная черпалка» — помните, на Островах нашли? — убралась в жестяную довоенную коробку из-под бисквитов вместе с «ягиным гребнем», и только огонек перед образом неугасимый светил, как всегда, в последнюю ночь, — разбирали последнее, как после похорон.

«А это значит, — объяснил я, — за эти три месяца я думал о нем».

Евгения Федоровна Книпович так и обещалась передать.

А незадолго перед тем заходил Евгений Павлович Иванов —

«и каждый вечер друг единственный»

он, как всегда, вошел боком и, стоя, завели разговоры, без слов, больше мигом, ухом и скалом, вас поминали и, как Чучела-Чумичела и кум его Волчий хвост —

шептались долгое время

Евгений Павлович Иванов тоже «кавалер обезьяний» — с лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша! — с Я. П. Гребенщиковым снюхаются и, пока живы, бородатые, один рыжий, другой темный, как бесы из «Бесовского действа», дико козя бородами, станут на страже, не покинут вашего Креста.

*

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей — в башенном Ревеле и раз тут в зеленом Фриденау у Фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему над кабаком.

Видел я вас в белом, потом в серебре, и я пробуждался с похолодевшим сердцем. А тут — над кабаком — вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним, и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то, и вы, как всегда слушая, улыбались — ведь что-то всегда было чудное, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разными дорогами проходили наши души до жизни и в жизни по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбалмученной вздыбившейся России, а мне — горькое слово над краснозвонной Русью.

Где-то однажды, а может, не раз мы встречались — на каком перепутье? — вы закованный в латы с крестом, я в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна — или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube — разбойном кабаке? или там — на болоте —

и сидим мы дурачки
нежить, немочь вод
зеленеют колпачки
задом наперед.

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса — России —

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

*

1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не «обезьяньего канцеляриста», а «Домового» — все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните, «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:

«Блок! псевдоним?»

И когда вы пришли в редакцию— еще в студенческой форме с синим воротником — первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, а была петербургская весна особенная, и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом».

В. Э. Мейерхольд — страда театральная.

Неофилологическое общество с Е. В. Аничковым — «весенняя обрядовая песня» и ваше французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей «Незнакомкой» и моей посолонной «Калечиной-малечиной». Разговоры о негазетной газете у А. В. Тырковой.

1913 год. Издательство «Сирин» — М. И. Терещенко

и его сестры — канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, — ведь я отдал его, последнее! — как вы смеялись и после, еще недавно, вспоминая.

Р. В. Иванов-Разумник — «Скифы» предгрозные и грозовые.

1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО — М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира» —

Комитет «Дома Литераторов» со «старейшим кавалером обез. зн.» А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котляревского, обок с Н. М. Волковыским, — неизменные «зайцы» В. Б. Петрищева.

И через четырехлетие «Опыта» Алконост — С. М. Алянский, «вол-исполком обезьяний», мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ильей Ионовым.

Помните, на Новый Год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) — вот кому горе, как узнает! — ведь вы первый в «Вопр. Жиз.» отозвались на его слоновьи стихи, на «Зеленый сборник», в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Вяч. Менжинским.

Помните, чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А. Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» — я читал «Панельную сворь», а вы — стихи про «французский каблук», — домой мы шли вместе — Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами — по пустынному Литейному зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.

И опять весна — «Алконост» женился! — растаял Невский, заволынил Остров, восстание Кронштадта, белые ночи —

Первый день Пасхи — первая весть о вашей боли.
И конец.

глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,
помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

*

Странные бывают люди — странными они родятся на свет, «странники»!

Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда он начал печататься в Дягилевском «Мире Искусств», пущен был слух, как о забулдыге — горькой пьянице. А и на самом-то деле, — поднеси ему рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! — трезвейший человек, но во всех делах — оттого и молва пошла — как выпивши.

Розанов В. В., тоже от «странников», возводя Шестова в «ум беспросветный», что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать его в гости, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди — ума юридического — отдавая Шестову должное, как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось «запойному часу» и «по пьяному делу».

А дело-то, конечно, не в рюмке — это П. Е. Щеголев не может! — а если, грешным делом, и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? — дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где —

А бывают и не только что странные... Андрей Белый —

Андрей Белый вроде как уж и не человек вовсе, тоже и Блок не в такой степени, а все-таки.

И Е. В. Аничков это заметил.

«Вошел ко мне Блок, — рассказывает Аничков о своей первой встрече, — и что-то такое...»

А это такое и есть как раз такое, что и отличает «нечеловеческого» человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным — «дуракам» — и как нечеловекам дан великий дар: ухо — какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку — инструментальскую — под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет, музыку —

Помню, после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону — еще можно было! — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем «ужасом» слышит он — музыку, и писать пробует.

А это он «Двенадцать» писал.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом — это было в 1905 г.

Из всех самый крепкий, куда ж Андрей Белый — так мля газообразная с седенькими пейсиками, или меня взять — в три дуги согнутый, — и вот первый — не думано! — раньше всех, первый Блок простился с белым светом.

Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей — ведь Блоку это не то, что мне полено разрубить или дров принести! — нет, ни от каких неустройств несчастных Блок погиб и не мог не погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка —

«Я слышу музыку!» — повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг «Переписка» Гоголя лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб — та же судьба.

Взвихриться над землей, слышать музыку, и вот будни — один «Театральный отдел» чего стоит! — передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, реорганизация на новых началах, начальник на начальнике и — ничего! —

весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовывалась.

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

«В таком гнете писать невозможно».

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

> Ведь, чтобы сказать что-то, написать, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас, всю до кости, русскую жизнь, метущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, орлом и матом, Россию с великим желанным сердцем и безусловной свободной простотой, Россию — ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь — современнейший писатель — Гоголь! — к нему обращена душа новой возникающей русской литературы и по слову и по глазу.

Блок читал старые свои стихи.

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм — душа музыки, и в этом стих.

Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру — профессиональным чтецам — не ритм, выражение — всё, а выражение ведь это для понимания, чтобы, слушая стих, лишенные «уха», мух по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будут читать — «стихи Блока», а с эстрады больше не зазвучит — не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой.

У Блока не осталось детей — к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова! — но у него осталось больше,

и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова — звезда его незакатна.

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит — —

В КОНЦЕ КОНЦОВ

Россия! — разговор на долгие годы, а спор бесконечный. Всякий тут свое — и по-своему прав.

Один жаловался:

— была у него земля — отняли, а сколько труда положено!

Другой о доме:

— дом был в Петербурге — какой домина! — и дом забрали.

Третий о деньгах и драгоценностях:

— в Банке! в сейфе хранились — большой капитал! — и все пропало.

Я же сказал:

— Да, это обидно, я понимаю. А у меня ничего не было: ни земли, ни дома, ни денег в Банке, ни драгоценностей в сейфе, только эти руки да это — — и одна постоянная тревога: с квартиры погонят! У меня ничего не отняли.

— Как не отняли! — вступился еще один: этот ни на что не жаловался, этот все «объяснял», и что «землю отняли», и что «дом заняли», и что «деньги пропали», — да вы же потеряли больше, чем землю, дом и деньги, вы лишились тех условий работы, при которых вы писали.

— Да, конечно.

И подумал:

«Да, я тоже потерял. А ведь мне и в голову не приходило! Конечно ж, потерял. Ну, а мои чувства — жарчайшие чувства, и слова, вышедшие из этих чувств, и мои сны — это я получил в жесточайшие дни и пропад!»

— А знаете, что я заметил, — сказал я, — и не только на себе, а и на тех, кто пронес революцию в России,

страду пережил в России — мы ведь все вроде как заворожены! — и вот чуть только повеет весть о какой-то надвигающейся в мире грозе, и вдруг тебе станет весело.

— Падаль почуяли?

— Не-ет — «падаль!» — ну, вот я по моему малокровию и смертельной зябкости, ведь я же — за самые нерушимые китайские стены: никогда не выйти из комнаты, сидеть в углу у своего стола и чтоб — —

— Чай пить?

— Да, хотя бы и чай пить — — и чтобы было все так, как есть, плохо ли, хорошо ли, только б неизменно и нерушимо! А по душевной моей недотрогости: ведь мне больно от кошачьего писка, не только там от человеческих — — так почему же мне-то вдруг становится необыкновенно весело, когда там за окном, я чую, надвигается в мире гроза?

— — — ?!

— — в мире такая теснота везде колючая — — или это? вот то, что я понимаю, и всё мы понимаем, пережившие в России страду! и в этом наша какая-то вера в бурю: вот надвигается в мире, идет и придет, наконец, подымет и развеет — развущит! Есть непробиваемая человеческая упрь! И все-таки, не-ет! и на тебя придет сила! — и станет тогда на земле легко —

— — ?!

— — знаю! — если бы революции «освобождали» человека, какой бы это был счастливый человек! — знаю, никакие революции не перевернут, ну скажу так: «*судьбы,* которую конем не объедешь!» И все-таки — или это от тесноты невозможной, в которой живем мы? — когда подымается буря — —

конец.

НЕУГАСИМЫЕ ОГНИ

Живо встает старая память — ночные успенские крестные хода.

Ночь — долгая служба в Успенском: темучая темь и из тьмы костер — тоненькие свечи перед образом Владимирской Божьей Матери, да в темных углах у мощей — у Ионы митрополита («пальцем погрозил на французов», так и лежит — палец согнутый!) и у Филиппа митрополита (которого задушил Малюта Скуратов!), темные вереницы через собор к мощам, старинный «столповой» распев — в унисон ревут басы, да звенящий переклик канонархов, а под конец густой кадильный дым к голубеющим утренним сводам — тропарь Преображенью —

> так при царе Иване, так при Годунове, так при Алексее Михайловиче: столповой распев — костер из тьмы — голубеющий рассвет — тропарь Преображенью —
>
> — — —

За Москва-рекой заря — по заре, разгораясь, звон из-под Симонова. Белая — заалела соборная церковь Благовещения.

Веки у меня тяжелые — вся вторая неделя Госпожинок крестный ход, ночь не спишь; глаза вспугнуты — августовский утренник, колотит дрожь; трепетно смотрю, как в первый раз: закричит серебряный ясак от Успенского, мохнатые черные лапы ухватятся за колокол — лапищей на доску плюх — — и живой стеной под перезвон поплывут хоругви — тускло золото, сыро серебро, мутен жемчуг —

«Апостолы идут навещать Богородицу»!

За Москва-реку — за Симонов — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон.

*

А бывало, когда сил уж нет выстоять до конца службу или просто не хочется, станешь в вереницу, обойдешь мощи, приложишься к Влахернской «теплой ручке» (а и вправду, теплая, как живая!), выйдешь на соборную площадь — предутренние серые сумерки, одна из тумана глядит зеленая башня! — и пойдешь по соборам.

Благовещенский любимый (псковские мастера строили): заглянешь на кита, как проглатывает кит Иону, все нарисовано, перецелуешь все частицы-косточки (без передышки, наперегонку), поскользишь по камушкам — такой пол из красного камня, скользее льда, — и в Архангельский.

В Архангельском — к Дмитрию-царевичу, походишь около тесных высоких гробниц — от Калиты до Федора Ивановича — рядами лежат московские «великие государи цари и великие князья всея великия и малыя и белыя России самодержцы», просунешься в алтарный придел к Ивану Грозному (какой-то дух и жутко!), постоишь у золотых хоругвей: самые они тут золотые, самые тяжелые! — и в Чудов.

А в Чудове — Алексей митрополит лежит, и тут же знамена — от французов 12-го года, всегда поглазеешь. В Вознесенский еще рано: еще горячие просвиры не поспели, потом, после крестного хода будут.

И пойдешь под Ивановскую колокольню.

Под колокольней потолкаешься у Ивана Лествичника, а от Лествичника к Николе Густинскому; Никола там, как живой, нахмурился, а свечей костер, как перед Владимирской. Приложишься к Николе и айда, на колокольню!

— — —

За Москва-рекой заря разгорается. Звенит серебряный ясак: пора звонить.

И вдруг со звоном как ударит луч и золотым крылом над Благовещенским — —

«Апостолы пошли навещать Богородицу!»

За Москва-реку — за Симонов — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звон.

*

Но еще чудесней — незабываемо — крестный ход в субботу после всенощной.

Осенняя ночь рассыплется звездами. Как звезды, загорятся хоругви. А на звездных крестах осенние последние цветы. И живые поплывут, звеня, над головами:

«В последний раз апостолы идут навещать Богородицу!»

Над Москва-рекой, над Кремлем, выше Ивана-великого к звездам — — красный звон.

И дождешься Успеньева дня —

Ударят на Иване-великом в реут-колокол ко всенощной — ручьями побегут ревучие звоны над Москвой, над седьмихолмием, по Кремлю, по Китаю, по Белому, по Земляному за ворота и заставы. На соборной площади колокольный шум — ничего не слышно.

По зеленой траве проберусь вперед к резному Мономахову трону, стану у амвона перед Благовещением — от царских врат три иконы: Спас-золотая-ряса, цареградская, с десницей указующей, Успение — Петр митрополит писал, и Благовещение (перед ним устюжский юродивый молился, Прокопий-праведный, каменную тучу отвел от города) — жемчужная пелена под лампадами тепло поблескивает.

И до полночи, как станешь, так и стоишь в живой стене: ни двинуться, ни выйти.

И когда после «великого славословия», после ектеньи, запоют последнее, вместо «Взбранной воеводе», кондак Успению, одного хочется: дождаться б, когда и на будущий год за всенощной запоют Успению —

В молитвах неусыпающую
Богородицу...

*

Какое это счастье унести в жизнь сияющие воспоминания: событие неповторяемое, но живое, живее, чем было в жизни, потому что, как воспоминание, продуманно и выраженно, и еще потому, что в глубине его горит напоенное светом чувство. Такое воспоминание сохранил я о Страстной неделе.

Помню годы с Великого понедельника, когда в Кремле в Мироваренной палате у Двенадцати апостолов миро варят и иеродьяконы под Евангелие мешают серебряными лопатками серебряный чан с варом из душистых трав и

ароматных масл Аравии, Персии и Китая. Первые солнечные дни — весна — (а что про дождик, про холод — все забыл!) — весенний воздух и ватка, которой обтирали лопатку или край чана.

Незабываем в Великую среду (после исповеди) «Чертог Твой»; в Великий четверг «Благоразумный разбойник»; в Великую пятницу «Благообразный Иосиф».

Сокровенен на стихирах знаменитый догматик — песнь Богородице, кровной стариной веет литийный стих «Подобаше» — выйдут на литии соборяне к облачальному амвону, да в голос: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй — —»

А когда за архиерейской обедней мальчики альтами затянут «Святый Боже», и вправду не знаешь:

ли на земле ты, ли на небе!

*

Все остановилось. Не звонит колокол. Не сторожит лампада. Пуста соборная площадь. Пустынно и тишина.

(Как-то осенью после всенощной я помню такой пустынный час).

«Какая сила опустошила тебя, русское сердце?»

— — —

И вот — вижу — над южными дверями от Богородицы блеснули глаза, архангелы метнулись: и все застлало тонким дымом. С тихим стуком кадил, с ослопными свечами шли соборяне — большой фонарь и два хрустальных корсунских креста — архиереи, митрополиты, патриархи длинной пестрой волной в поблекших мантиях, в белых клобуках и митрах. И я увидел знакомые лики святителей, чтимых русской землей: в великой простоте шли они, один посох в руках. Венчанные шапки, золотые бармы «великих государей царей и великих князей всея великия и малыя и белыя России самодержцев» — черным покрытый одиноко шел властитель «всея Русии», в крепко сжатой руке прыгал костяной посох. В медных касках, закованные в серую сталь, проходили ливонцы, обагрившие кровью московский берег, а следом пестро и ярко царевичи: грузинские, касимовские и сибирские. Шишаки лесовчиков и русских «воров», а под ними шаршавые головы юродивых — не брякали тяжелые вериги, висело железо, как

тень, на измученном теле. И в белых оленьих кухлянках скользили лопари-нойды, шептались — шептали — и от их шепота сгущался туман, и сквозь туман: ослепленные зодчие и строители, касаясь руками стен — —

Неугасимые огни горят над Россией!

1917—1924.

Скоморошьи Лясы

Бабнинькин кочет

(Комиссару просветительному)

Эй, вы люди честные, тараканы запечные, выходите сюда послушать не быль, не сказку неведомую, а и не ложь.

— Не тем отдает!
Завелась на Руси такая птичка,
да язык у него очень потешен,
больно уж ладно подвешен:
говорит, не умолкая,
и ни в чем не унывая.
Говорит он о чем хочешь:
сегодня о христианстве,
завтра об обезьянстве, —
сегодня ублажает,
а завтра хобот выставляет.
И грозит и хлопочет,
все попасть в точку хочет,
да никак не удается,
все мимо, да мимо суется.
Знай себе без толку тарахтит,
неведомо что говорит.
А вокруг него народ все чудак:
каждому его слову хлопают,
да еще и ногами топают.
Чем меньше понимают,
тем больше его уважают.
А он, дурак, этому и рад:
«Я, говорит, всех вас выше
вознесу,
просвещение вам несу!» — —
И весь-то он день хлопочет,
суется, ровно бабинькин кочет.
— А не пора ли ему, братцы, дергача
задавать!

Расправа

Жил-был судья Наум, законник. Всю он жизнь прожил среди законов, а на столе у него стояла такая коробка — суд.

Опаско было под Наумом, да по крайности надежно: и сам не стащишь — в острог дорога, да и другому не повадно. Наумыч по суду всякую безделицу взыщет и под наказание поставит.

И прослышали умники — от них нынче, что от воров, ни проходу, ни прорыску — что не просто Наум взял, надел цепь и потому судья, а потому Наум судья, что долго учился, и надо долго учиться, чтобы судьей быть.

И говорят умники:

— Зачем, товарищи, этот суд, никакого суда не нужно!

А тут какой-то воришка схватил со стола Наумову коробку, да бух в печку.

И сгорел суд.

Только суд и видели.

А Наумыча для острастки на его ж цепи тут же, как свинью — ур-ра! — и растянули.

— Нам суда никакого не нужно!

И с той поры пошел на Руси не суд, а расправа.

Как Бог на душу положит: человек ты или обезьяна (те, что попроще, ведут свой род от Адама, как всякий знает, а что покрикливей, те от обезьяны) обезьяна или человек, виновен или не виновен, все равно — бац в морду, а то и зубы вылетят, а бывает и покруче, — знай наших!

Сказочки

I. Комми-ссар

В некотором царстве, в некотором государстве случилась такая завороха. Издавна цари в нем правили, и переходил престол от отца к сыну, а потом к внуку, а последний царь не будь плох, взял да и ушел, — просто махнул рукой: «Ну, мол, вас, непутевые!»

И осталось то царство без начала.

Тут дьяк Болтунов, что при царе орудовал, и выскочил:

— Я, мол, товарищи, справлюсь!

Наговорил дьяк с три короба, все комнаты и даже чистое поле обкричал — просто гул в ушах стоит, а справить ничего не справил, еще больше запутал. И как увидал, что дело плохо, прикусил язык и тоже куда-то скрылся.

И осталось опять царство без всякого начала.

Стал народ думать-гадать, чего бы такого придумать и без начала концы уберечь. И решили так: у одних отнять, а другим дать, чтобы, значит, поровну у всех было.

И сейчас же все переделили.

Глядь, — что за пропасть! — у одного опять много, а у других — ничего.

Ну, и толкутся на площади и уж песен своих не орут, только семечки полущивают.

А приходят в это царство и прямо в самую семенную гущу двое и с ними третье.

— Мы, — говорят, — поможем, только дайте нам сделать по-своему.

— А вы кто такое?

— Да мы ваши — прилоги. А это наш подручный — Бабинькин кочет.

— Бабинькин кочет! — все загалдели, всякому в диковинку: прилоги и кочет! — а как вы орудовать будете?

— Очень просто, — говорят прилоги, — мы орудовать будем: все у нас будет по-новому, как по-старому, и по-старому, как по-новому. Теперь министры, а у нас будут коммиссары.

— Коммиссары! — и опять загалдели: слово-то очень, — словцо!

— Коммиссар просвещения — Бабинькин кочет!

А тот, кто услышал свою кличку, и ну кланяться, — умора!

— У вас коллегии, а у нас будут советы. А, главное, чтобы все было без всякого аза. И чем меньше который свое дело знает, тем лучше он не только дело сделает, а и других научит, потому ему все трынь-трава. И все вы останетесь довольны.

— Ну, что ж, вам и книги в руки, действуйте!

И разошелся народ по своим конурам и норам.

А они, голубчики, и задействовали.

— Первым делом, давайте, — говорят, — нам денег больше!

Известно, было бы масло, а пирог жирный всякая Матрена тебе сготовит.

Призамялся народ: что-то не больно охота денег-то давать, да и кто же их знает!

— Не хотите? Ладно. Все равно, наше будет. Такое мы найдем средство, никому и в голову не придет.

И откуда ни возьмись тридцать и три молодца, и сейчас же замок без ключа отперли — этому они еще в Сибири научились! — и делу крышка.

А как выгреблись сундуки, да поопустели подголовники, и развелось по всей стране коммиссаров — Господи! что точно и народу-то меньше, чем этих коммиссаров.

Только еще поутру глаз продерешь, а уж перед тобой коммиссар: декрет! И точно, никому и в голову такое не придет: вплоть до самого зачатия национализация и реквизиция! Ни чихнуть, ни дыхнуть — вот как! А за стол сел полудновать, и опять коммиссар: «Давай половину!» Ну, Бог с ним, встанешь из-за стола впроголодь, и только что из двора, а у ворот коммиссар: «Снимай пальто!»

Такое стало, братцы, житье свободное, да привольное, хоть святых под выноси. Закряхтел народ — надоело это ему до невозможности, — да уж поздно: снявши голову, по волосам не плачут.

II. Идолище поганое

Жили мы были не по добру, по-худому: ни тебе сыти, ни тебе покоя. Чего там! — день намаешься, а придешь домой, дома холод, и жрать нечего.

Тут какой-то и ввернись, горе-горькое:

— Чего, — говорит, — товарищи, голову повесили? Понапритесь, да орите, прилетит на наш гик соловей. Соловей-Разбойничек, усядется на дуб, засвистит на всю Русь крещеную, и дело будет великое: будет мир, будет хлеб, будет воля вольная.

Жили мы не по-хорошему, ну, от худа да беды и поверили.

И доорались, надолопались: пришло...

Дождались, — — пришло: засел на дубу, да не Соловей, не Разбойничек, а Идолище. И с ним растопыры его, вошь острожная.

— Э-эй, вы! рыла свинячьи, — зычит поганое, — целуй меня в пятку!

А те, как бесы-пахмутчики, налетят, наскочут.

— Хочешь мира?

— Очень.

— Вот тебе мир.

Да на шею тебе.

— Хочешь хлеба?

— Хлеба!

— Вот тебе хлеб.

Да по шее.

— Хочешь воли?

— Э-эй вы! рыла свинячьи, целуй меня в пятку!

Жили мы не по-хорошему, а теперь — теперь совсем хорошо.

Безумное молчание

Есть молчание от великого познания — от богатства духовного и мудрости — не всякую тайну вместить сердцу человеческому — слабо и пугливо оно, наше сердце.

Видел я на старых иконах образ Иоанна Богослова: пишется Богословец с перстом на устах. Этот перст на устах — знак молчания. И этот знак заграждающий прошел в душу народную.

А есть молчание от нищеты духовной — от душевной скудости нашей, по малодушию и робости.

Когда на обиду смолчишь — свою горечь примешь вольную, и молчание твое — вольный крест. Но когда ты видишь, как на глазах у тебя глумятся и оскорбляют безответно, и сам смолчишь, твое молчание — безумное.

Мы в смуту живем, все погублено — без креста, без совести. И жизнь наша — крест. И также три века назад смута была — мудровали Воры над родиной нашей, и тяжка была жизнь на Руси.

И в это смутное время, у кого болела душа за правду крестную, за разоренную Русь, спрашивали совесть свою:

«За что нам наказание такое, такой тяжкий крест русской земле?»

И ответил всяк себе ответом совести своей.

И ответ был один:

«За безумное наше молчание».

Слово о погибели Русской Земли

I

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, вспомянуть невозможно, вижу тебя, оставляешь свет жизни, в огне поверженная.

Были будни, труд и страда, а бывал и праздник с долгой всенощной, с обеднями, а потом с хороводом громким, с шумом, с качелями.

Был голод, было и изобилие.

Были казни, была и милость.

Был застенок, был и подвиг: в жертву приносили себя ради счастья народного.

Где нынче подвиг? где жертва?

Гарь и гик обезьяний.

Было унижение, была и победа.

Безумный ездок, хочешь за море прыгнуть из желтых туманов гранитного любимого города, несокрушимого и крепкого, как Петров камень, — над Невою, как вихрь, стоишь, вижу тебя и во сне и въявь.

Брат мой безумный — несчастлив час! — твоя Россия загибла.

Я кукушкой кукую в опустелом лесу твоем, где гниет палый лист: Россия моя загибла.

Было лихолетье, был Расстрига, был Вор, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, как ниточка, — поднялись русские люди во имя русской земли, спасли тебя: брата родного выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпелось братнино иго иноверное.

Была вера русская искони изначальная.

Много знают поволжские леса до Железных ворот, много слышали горячих молитв, как за веру русскую в срубах сжигали себя.

Где ты, родная твердыня, Последняя Русь?

Я не слышу твоего голоса, нет, не доносит и гари срубной из поволжских лесов.

Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?

Или нет больше на Руси — Последней Руси бесстрашных вольных костров?

Был на Руси Каин, креста на нем не было, своих предавал, а и он любил в проклятом грехе своем свою мать Россию, сложил песни неизбывные:

«У Троицы у Сергия было под Москвою...»

Или другую — на костер пойдешь с этой песней:

«Не шуми, мати, зеленая дубравушка...»

II

Широка раздольная Русь моя, вижу твой краснозвонный Кремль, твой белоснежный, как непорочная девичья грудь, златокровельный собор Благовещенья, а не вестит мне серебряный ясак, не звонит красный звон.

Или заглушает его свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира всего, всей земли?

Один слышу обезьяний гик.

Ты горишь — запылала Русь — головни летят.

А до века было так: было уверено — стоишь и стоять тебе, Русь широкая и раздольная, неколебимою во всей нужде, во всех страстях.

И покрой твое тело короста шелудивая, буйный ветер сдует с тебя и коросту шелудивую, вновь светла, еще светлей, вновь радостна, еще радостней восстанешь над лесами своими дремучими, над степью ковылевою, взбульливою.

Так пошло, так думали, и такая крепла вера в тебя.

Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, жены и мужи праведные в любви своей к человечеству, вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь.

Ныне в сердцевине подточилась Русь.

Вожди слепые, что вы наделали?

Кровь, пролитая на братских полях, обеспощадила сердце человеческое, а вы душу вынули из народа русского.

И вот слышу обезьяний гик.

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься!

Русь моя, земля русская, родина беззащитная, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена горишь!

III

О, моя родина обреченная, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя багряница царская упала с плеч твоих.

За какой грех или за какую смертную вину?

За то ли, что клятву свою сломала, как гнилую трость, и потеряла веру последнюю, или за кровь, пролитую на братских полях, или за кривду — сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: «нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание?

Ты и ныне, униженная, затоптанная, когда пинают и глумятся над святыней твоей, ты и ныне безгласна.

Безумное молчание верных сынов твоих вопиет к Богу, как смертный грех.

О, моя родина поверженная, ты руки свои простираешь —

Или тебя посетил гнев Божий — Бог послал на тебя меч свой?

О, моя родина бессчастная, твоя беда, твое разорение, твоя гибель — Божье посещение. Смирись до последнего конца, прими беду свою — не беду, милость Божию, и страсти очистят тебя, обелят душу твою.

Скажу тебе со всей болью моей — не лиха, только добра и тишины я желаю тебе — духа нет у меня: что я скажу в защиту народа моего? И стыдно мне — я русский, сын русского.

О, моя родина горемычная, мать моя униженная.

Припадаю к ранам твоим, к горящему лбу, к запекшимся устам, к сердцу, надрывающемуся от обиды и горечи, к глазам твоим иссеченным — —

Я не раз отрекался от тебя в те былые дни, грозным словом Грозного в отчаянии задохнувшегося сердца моего проклинал тебя за крамолу и неправду твою.

«Я не русский, нет правды на русской земле!»

Но теперь — нет, я не оставлю тебя и в грехе твоем, и в беде твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грешную, светлую и темную.

И мне ли оставить тебя, — я русский, сын русского, я из самых недр твоих.

На звезды твои молчаливые я смотрел из колыбели своей, слушал шум лесов твоих, тосковал с тобой под завывание снежных бурь твоих, я летал с твоей воздушной нечистью по диким горам твоим, по гоголевским необозримым степям.

Как же мне покинуть тебя?

Я нес тебе уборы драгоценные, чтобы стала ты светлее и радостней. Из твоих же камней самоцветных, из жемчугов — слов твоих, я низал белую рясну на твою нежную грудь.

О, родина моя обреченная, покаранная, жестокой милостью наделенная ради чистоты сердца твоего, поверженная лежишь ты на мураве зеленой, вижу тебя, в гари пожаров под пулями, и косы твои по земле рассыпались.

Я затеплю лампаду моей веры страдной, буду долгими ночами трудными слушать голос твой, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься в моем сердце.

Ты канешь на дно светлая.

О, родина моя обреченная, Богом покаранная, Богом посещенная!

Сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянет?

Я душу сохраню мою русскую с верой в правду твою страдную, сокрою в сердце своем, сокрою память о тебе, пока слово мое, речь твоя будет жить на трудной крестной земле, замолкающей без подвига, без жертвы, в беспесеньи.

IV

Ободранный и немой стою в пустыне, где была когда-то Россия.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду с меня.

Что мне нужно? — Не знаю.

Ничего мне не надо. И жить незачем.

Злоба кипит в душе, кипит бессильная: ведь полжизни сгорело из-за той России, которая обратилась теперь в ничто, а могла бы быть всем.

Хочу неволи вместо свободы, хочу рабства вместо братства, хочу уз вместо насилия.

Опостылела бездельность людская, похвальба, залетное пустое слово.

Скорбь моя беспредельная.

Нет веры в России, нет больше церкви, это ли церковь, где восхваляют временно́е?

И время пропало, нет его, кончилось время.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человеку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло.

И из бездны подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда над головой его с семью лучами, и страшен он.

— Погибни во имя мое!

И нет спасения свыше.

Злость моя лютая.

И тянется замкнутая слепая душа, немыми руками тянется в беспредельность — —

И не проклинаю я никого, потому что знаю час, знаю предел, знаю исполнение сроков судьбы.

Ничто не избежит гибели.

О, если бы избежать ее!

Каждый сам в одиночку несет бремя проклятия своего — души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.

Тьма вверху и внизу.

И свилось небо, как свиток.

И нету Бога.

Скрылся Он в свитке со звездами и с солнцем и луною.

Черная бездна разверзлась вверху и внизу.

И дьявол потерял смысл бытия своего, повис на осине Иуды.

А все зачем-то еще живут.

И чем громче кричит человек, тем страшнее ему.

Как дети они, потерявшие мать.

И не понимают той скорби, которая дана им.

Скоро настанет последний час, скоро пробьет он.

Без четверти двенадцать.

Слышите! Нет ничего, ни Кремля, ни России — ровь и гладь.

Приходи и строй! Приходи, кому охота, и делай дело свое, — воздвигай новую Россию, на месте горелом.

А про старое, про бывалое — забудь.

Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего не найти.

Единый конец без конца.

V

Русский народ, что ты сделал?

Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз.

Поверил — —

Кому ты поверил? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся.

Землю ты свою забыл колыбельную.

Где Россия твоя?

Пусто место.

Русский народ, это грех твой непрощаемый.

И где совесть твоя, где мудрость, где крест твой?

Я гордился, что я русский, берег и лелеял имя родины моей, молился святой Руси.

Теперь, презираем со всем народом несу кару, жалок, нищ и наг.

Не смею глаз поднять.

— Господи, что я сделал!

И одно утешение, одна надежда: буду терпеливо нести бремя дней моих, очищу сердце мое и ум мой помутнелый и, если суждено, восстану в Светлый день.

Русский народ, настанет Светлый день.

Слышишь храп коня?

Безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из желтых туманов, он сокрушил старую Русь, он подымет и новую, новую и свободную из пропада.

Слышу трепет крыльев над головой моей.

Это новая Русь, прекрасная и вольная, царевна моя.

Русский народ, верь, настанет Светлый день.

VI

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльях, стеклянными глазами буду смотреть в беспредельность, в черный мрак полечу я, только бы ничего не видеть.

Поймите, жизнь наша тянется через силу.

Остановитесь же, вымойте руки, — они в крови, и лицо — оно в дыму пороха!

Земля ушла, отодвинулась.

Земля уходит — —

Лечу в запредельности.

На трех китах жила земля. Был беспорядок, но и был устой: купцы торговали, земледельцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали.

Все перепуталось.

Лечу в запредельности.

Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный, кто это может? И остается упасть червем и ползти.

Обгоняю аэропланы.

Стук мотора стучит в ушах.

Закукарекал бы, да головы нет; давно оттяпана!

Поймите же, быть пришельцем в своей, а не чужой земле, это проклятие.

И это проклятие — удел мой.

VII

Все разорено, пусто место, остался стол — во весь рост человечий велик сделан.

Обнаглелые жадно с обезьяньим гиком и гоготом рвут на куски пирог, который когда-то испекла покойница Русь — прощальный, поминальный пирог.

И рвут, и глотают, и давятся.

И с налитыми кровью глазами грызут стол, как голодная лошадь ясли. И норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли, которые сядут на широкую русскую землю.

В е - е - е ч н а - я п а - а м я т ь.

Слово к матери-земли

Укатилось солнце за горы. Зажглись на облаках звезды — ясные и тусклые по числу людей, рожденных от века.

А от Косарей по Становищу души усопших — из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу.

И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся глаз, усталая, день исходив от дома к дому, грохнулась на землю под терновым кустом спит.

Родимая звезда, блеснув, украсила ночное небо.

* * *

Мать пресвятая, позволь положить тебе требу: вот хлебы и сыры и мед, — не за себя, мы просим за нашу Русскую землю.

Мать пресвятая, принеси в колыбель ребятам хорошие сны: они с колыбели хиреют — кожа да кости — галчата, и кому они нужны, уродцы. А ты постели им дорогу золотыми камнями, сделай так, чтобы век была с ними да не кудлатая рваная Обида, а красавица Доля, измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси.

Посмотри, вон растерзанный лежем лежит — это наша бездольная, наша убогая Русь. Ее повзыскала Судина, добралась до голов: там, отчаявшись, на разбой идут, там много граблено, там хочешь жить, как тебе любо, а сам лезешь в петлю.

Или благословение твое миновало нас или родились мы в бедную ночь и век останемся бедняками. Так ли нам на роду написано быть несуразными, дурнями — у моря быть и воды не найти?

Огонь охватил нашу жатву — пылают нивы, на море бурей разбило корабль, разорены до последней нитки.

Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой в руке бросил дом и идет по катучим камням, куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вкруг шеи, шепчут на уши:

«Мы от тебя не отстанем!»

Вещая, лебедь, плещущая крылами у синего моря, мать земли — матерь — земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Все-

веда, он мечет семена на землю — и земля зачинает и мир весь родится. Попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла.

Нет нам места и не знаем, куда деваться от Кручины и Лиха.
И если бы нашелся из нас хоть один, кто бы ударил ее топором,
или спустил в яму и закрыл камнем,
или бросил бы в реку,
или, защемив в дерево, забил бы в дупло,
или запрятал бы ее под мельничный жернов худую, жалкую, черную долю — нашу злую судьбу!

Мы отупели — и горды, мы не разрешили загадок — и покойны, все письмена для нас темны — и мы вознесем свою слепоту.

Мать, повели им, всем праздным, всем забывшим тебя, забывшим родину, твою землю и долг перед ней и пусть они пóтом и кровью удобряют худородную, истощенную, заброшенную ниву.

И неужели Русской земле ты судила Недолю? И всегда растрепанная, несуразная, с диким хохотом, самодовольная, униженная и нищая будет она пресмыкаться, не скажет путного слова?

Мудрая, вещая, знающая судьбы, равно распределяющая свои уделы, подай нам счастья!

Не страшна нам смерть — клянемся тебе до последних минут жизни отдать все наши силы и умереть, как ты захочешь, — нам страшно твое проклятие.

И посмотри, вон там молодая прекрасная Лада, счастливая доля, в свете зари словно говорящая солнцу: «Не выходи, солнце, я уже вышла!» — она нам бросает свою золотую нить.

Мать пресвятая, возьми эти хлебы, сыры и мед с наших полей, свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее с нашей, свари ее с нашей нераздельно в одной брачной доле навек!

Плач

Всплакала малая птица
Белая перепелка:
Сыр-бор в огне пылает
Разорено гнездо,
Конец пришел.

Не белая перепелка
Плачет мое малое сердце:
Наше русское царство погибло.

— А светы вы, высокие хоромы,
Кому вами будет владети!
— А светы вы, милые переходы,
Кому будет по вас ходити!
— А светы вы, бранные убрусы,
Березу ли вами крутити!
— А светы вы, золоты ширинки,
Лесы ли вами дарити!
— А светы вы, яхонты-сережки,
На сучье ли вас задевати!

Белая перепелка,
Ты, мое малое сердце,
Те́ремы ломают —
Русскому царству конец.

Русскому царству конец.
— А судьба моя бессудьбинная!
И как ступить мне в темную келью,
Благословиться на подневольную жизнь!

Заповедное слово Русскому народу

Горе тебе, русский народ!

Ты расточил богатства веков, что накопили отцы твои, собирая по крохам через совесть за гибель души своей, — наследие седой старины среди кремлевских стен, ты все разрушил, ты, как ребенок, сломал бесценную игрушку, ты напоил злобой невежества и отчаяния своего землю на могильную меру, сам задыхаешься от отчаяния и видишь губителя в каждом приближающемся к тебе.

Испугался ты последним и страшным испугом, ты, как Каин, ищешь места себе на земле, где бы голову приклонить, а каждый куст тебе шепчет:

— Беги, проклятый, дальше беги!

И убитые тобой встают вслед вереницей:

— Каин, где брат твой?

А ты, растерзанный, повторяешь одно свое каиново слово:

— Разве я сторож брату моему?

И брат твой убитый пролетает мимо.

Что ему нужно? Когда он восстанет?

— Иди, Каин, иди!

А рядом поднимаются желтые, белые, золотые народы, все они братья друг другу, все они братья убитому тобою брату, а ты — один.

— Иди, Каин, иди!

Растерзанный, с расстегнутым воротом, без шапки, сжимая винтовку в левой руке и отирая пот, идешь ты.

Кто тебя гонит? Куда идешь?

И нет конца.

— Иди, Каин, иди!

Ты твердишь о своей гибели, а губишь других, твердишь о заговорах, а никто и не сговаривается, твердишь о борьбе, а только нападаешь на безоружного.

И нет тебе места.

Пересохшими губами повторяешь ты всему миру гордые и смелые призывы. И никто не отвечает тебе.

Отчаяние твое равно отчаянию сына погибели.

Ты восстал на Бога своего, кому весь век поклонялся и считал виновником гибели своей — бытия своего. И Бог восстал на тебя.

Вот ты остановился перевести дух. Сухим языком водишь по запекшимся губам.

Как засохли бесслезные глаза твои! Как велико твое отчаяние!

Все на тебя и ты один на всех.

И ты безнадежно поднял глаза на Спасов лик — невзначай с винтовкой своей зашел ты в церковь Божию.

— Человек, зачем расточил ты добро мое, которое сотворил я предвечно?

И смотрят с укором святые очи.

Теплится лампадка — желтый огонек.

*

Горе мне, братья! Горе тебе, русский народ!

Предки твои, молившиеся в высоких каменных церквах — безмолвных свидетелях прошлого, они умели со-

брать многоязычную землю воедино. И на вечах, на княжьих советах во имя любви и ненависти делали они одно свое великое дело — рядили и строили землю. Князья-властелины были рабами земли. Властелины людей, тираны холопов, безжалостные мучители создали они великую русскую землю, и пощаженные останки их покойно дремлют под сенью соборов.

А ты расточаешь, и тебе нет покою — никогда.

С верой шептали уста твоих предков перед образом Спаса, с мольбой прибегали они к пречистому образу Спаса.

Велика была вера!

Верою, твердым упованием, чаянием будущего по крохам собирали они русскую землю.

И дикие хороводники степные — татары, ногаи — вся орда несытая умилилась перед желтым светом восковой свечи, на землю села, дала трудников и смешалась побратски с Русью рабскою, что единому Богу кланялась, пред единым Спасом склонилась.

А те же татары нынче прочь бегут от отчаянной Руси.

Ведь всякому утешение надо! А твоя каинова печать — змея подколодная — гасит звезды, заливает всякий свет.

И как тут жить и чем дышать?

Задыхаешься сам ты от бессилья и злобы своей.

Ворот рвешь на себе.

Крест оборвал, на землю прочь.

Ногой наступил на Распятого.

Горе тебе! горе тебе, русский народ!

Нет тебе покою — не найдешь!

*

Русь, зачем из смиренной обратилась ты в горделивую?

Русь, тебе ли, убогой и темной, учить мир научениям мудрости?

Точно ты имеешь мудрость?!

— Русь, говорю тебе, стань!

Необузданный в жадном стяжании, обокравший самого себя, расточитель наследия отцов, ты все промотал, русский народ, сам заложился и душу продал.

И нет воли у тебя и совести нет.

— Русь, стань, приклони колена!

И где земля? Где народ?

Дикое скопище глумливых воров и насильников, пугливых растратчиков чужого добра. Все готовы схватить, спустить куда-то, а что никак не утащишь, подымут на ветер — гуляй, гуляй, красный петух!

— Русь, говорю тебе, стань, приклони колена, приклонись к земле!

Друг другу стыдно в глаза посмотреть. Да и не надо. Да и скажу вам горькое слово: стыда уж не стало.

— Русь, стань, приклони колена, приклонись к земле, припади устами к своей оскорбленной земле!

И имя Божие не приемлют. Зачем оно? Да и не к месту тут.

Слышу глухой топот копыт, скачет черный конь, на нем всадник — весы в руках.

Как меч, вошло в жизнь разделение. И фунт будет пища твоя, и аршин одеяние твое. Всему предел, нет бесконечного. Ты раб, ты нищ и убог — и золото бесполезно и хлеб не напитает тебя.

Слышу глухой топот копыт, скачет черный конь, на нем всадник — все мера и вес.

— Русь, говорю тебе, стань, приклони колена, приклонись к земле, припади устами к своей оскорбленной земле, возьми бремя свое и иди.

* * *

Где сладкие воды мудрости? Где текучие реки живой воды?

Не для тебя они — иссякли для тебя.

Мимо, Каин, в бесплодные пустыни к соленому морю! Там утолишь ты свою жажду, чтобы вовеки жаждать.

Нет конца проклятию твоему.

— Брат мой! Я убитый брат твой, восставший. Вот кровь льется по челу и устам моим, вот запекшаяся рана на груди моей. Я простираю к тебе окровавленные руки.

А ты подымаешь винтовку и стреляешь.

И падаю я и встаю опять.

— Брат мой! Я убитый брат твой.

Тысячами загубленных душ я встаю из праха. Тысячный раз бежишь ты — тысячами дорог.

Мимо, Каин, в бесплодные пустыни!

Нет конца проклятию твоему.

И где укрыться тебе? Как скроешь ты свою проклятую печать?

Там и там и там — повсюду — тянутся руки.

— Вернись, вернись! Брат мой, прости меня. Прости и себя. Нет разделения, нет злобы, одна есть любовь. Не убивай себя. Я брат твой. Не убивай меня. Пробуди жалость в сердце своем. Брат мой, пожалей себя. Пожалей и меня. Ненависть свою сожги на горючем костре скорби мира всего из любви, осиянной крёстом. Или умри. Нет, прокляни проклятие свое, смирись и живи. Один путь и нет другого пути и нет большего счастья, как прощение, и нет другой жизни, как милосердие. Смирись, и кайся, не передо мной, кайся перед Богом. Он остановит твой путь. И скажешь: «здесь я, здесь поставлю дом мой!» И цветы зацветут под ногами твоими, благословен будет труд твой, земля даст плод и в изобилии смягчится сердце твое. И ты скажешь: «вот я, вот Бог мой предо мной!» Коснешься коленами родного праха, лбом своим преклонишься на вержение камня и поймешь, что отрекшись прошлого, стал ты в истине, — достиг свободы — просветлел дух твой, и поймешь все зло, совершенное тобой, и забудешь о всяком зле.

И великий дух уведет тебя в пустыню, там встречу тебя. —

— Я брат твой! —

— и слезы потекут —

— и слезы потекут — —

— вода живая. —

* * *

Горе тебе, русский народ!

Твое царство прахом пошло. Все народы нахмурились, тускло глядят — никто не верит тебе, не слушают красных слов верховодчиков.

Погибает большая страна.

И нет ей спасения.

Правый сосед режет справа, левый слева — последний конец.

Все, что веками скопилось, расхищено, расточено.

Пропадет пропадом.

И не ради стяжания прибыли своей хлопочешь ты, а та́к: что рука захватила, то и тащит, — та́к, — само собой. А что тащить — нужно или не нужно, после разберешь: не нужно, так и покинешь на первом ночлеге.

И все куда-то бегут.

Каин бежит.

*

Горе мне, братья! Горе тебе, русский народ!

Правили Русью, большой землей, православные цари — сияли золотые венцы. Грешный ли царь, праведный, все царь и дело его царское. Грешным царем Бог народ карал, праведным подкреплял правду Божию.

Нелегко быть под праведным, а под грешным, под простецами и концов не найти.

И вот кончилась царская крепь.

Стало безвластие.

А люди те же: как с царем были, так и без царя есть, люди те же — людишки и холопы — темь и убожество — и силы нет мочи управиться.

Вот и управили русское царство вконец.

Тут и гибель пришла.

Народ, как медведь, зарычит, а те верховоды с перепугу коверкать.

И нет конца разрушению.

Сузилось русское царство, угасает. Охватили края жадные соседи, три моря выпили.

И осталась Русь речная.

Русь моя, как была ты в младенчестве, в том же уборе ты.

Нет тебе выхода.

Нет и спасения.

Не пробудишься ты от смертной дремоты своей, не подымешься ты во весь свой рост.

Кличет последний вражий клич — готова гибель последняя — хотят снести голову, резать сердце из твоей белой груди.

Русь, ты, как конь с разбегу с ног сплеченный, ты наземь грохнулась, разбита лежишь.

*

Горе тебе! горе тебе, русский народ!

Гудит-гудит колокол. Звонит звон. Куют цепи новые.

Несчастная мать, на тебя куют!

Закуют тебя в кандальные и подымут под руки бессильную — несчастная мать моя! — ты пойдешь по земле, вправо-влево зря наклоняясь.

На колени падешь ты.

Под кнутом ты опять подымаешься.

И идешь, да велят тебе — кровавый пот выступит на измученном теле твоем, соленые слезы раны зажгут — а идешь не своим путем, а по той ли по дорожке по пути предуказанной.

И вот в лихе, в беде своей, в неволе злой и познаешь ты всю темь свою и убожество, своевольство свое и тоску тоскучую — ты узнаешь не волю настоящую, не покорность Спасу — Владыке Всевышнему, не почтение и страх царям помазанным, а покорность раба и пса под палкою.

Скованная, в цепях, будешь скитаться ты из рода в род со скорбью своей безысходной, и не хватит тебе гордости — не было ее, одно было ухарство! — не хватит и смелости — не было ее, один был нахрап! — духу не хватит тебе разорвать цепи.

Но в слезах, ты из слез найдешь утешение, вспомнишь позабытое, затоптанное тобой и оплеванное, свое колыбельное — семь звезд родных над холодной полунощной землей.

О, святые чудотворцы угодники, великие русские святители, заступники за землю русскую —

Сергие Радонежский!

Петр, Алексей, Иона и Филипп!

Василий блаженный, Прокопий праведный, Нил преподобный сорский!

Савватий и Зосима соловецкие!

— в зеленые пустыни ушли вы, молясь за весь мир, за грешную Русь, вы хранили ее, грешную, и в беде, и под игом и в смуту, вы светили ей, убогой, сквозь темь звездами!

Ныне тьма покрывает Русь.

Остались одни грешные люди, озлобленные, воры, убий-

цы. И не теплится лампада в глубине разоренных скитов, не молится схимник на срубе.

Помолись, несчастная мать Россия!

Нет другого тебе утешения.

Припади, моя несчастная мать, горячим лбом к холодной земле, принеси покаяние на холодном камне сыром.

И покаявшись, раскаянная, станешь ты, Русь новая, Русь грядущая, перед Богом одна, как в пустыне Мария Египетская. В прахе смирения ты все поймешь, и примешь удел скорби своей, долю предначертанную ига своего. И возложишь на выю тяжкое бремя и понесешь его легко.

Ноги изранены от острых камней, истерлось железо, а ты идешь — ты идешь, светя путь своим светом —

— подвиг и вера —

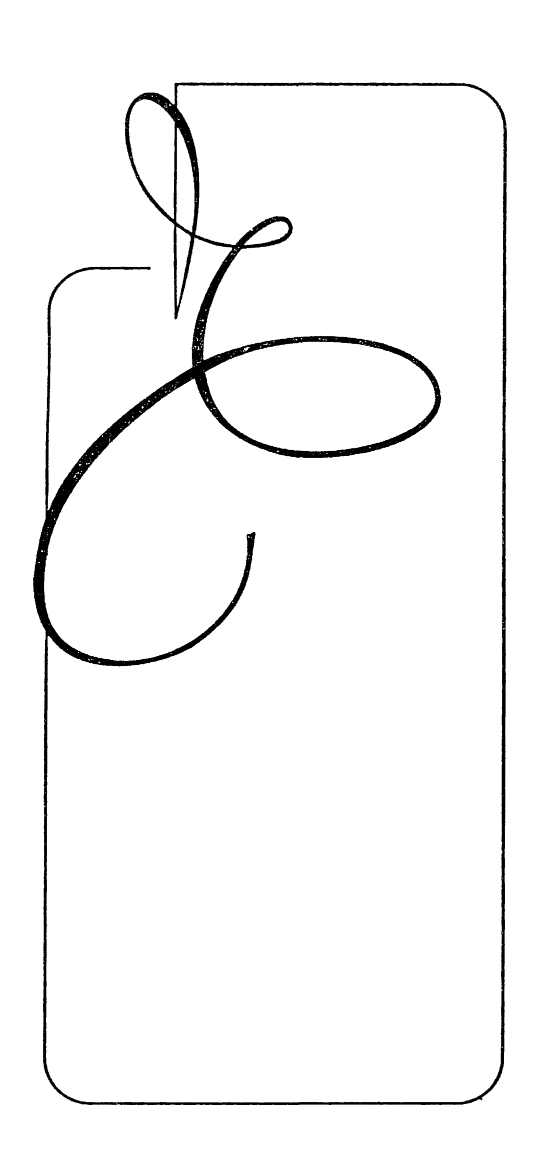
— подвиг и любовь —

Помолись, несчастная мать Россия!

Подымись, стань, моя Русь, стукнись коленами о камень так чтоб хрустнула кость припади запекшимися губами к холодному камню, поцелуй ее, оскорбленную, поруганную тобою землю, и, встав, подыми ярмо свое и иди. —

— — — —

ПРИЛОЖЕНИЯ



ДНЕВНИК 1917—1921 гг.

1917-18-19-20-21[1]
Алексей Ремизов
Взвихренная Русь
откуда пошла «Взвих[ренная] Русь»
мой дневник 1917 г.
с 1 марта и до августа 1921,
а с 5-го VIII начинается
наше странствование
(хотел переписать, но для глаза неразборчиво)
10.X.1948

«В перепуге. На днях на проспекте Свободы подрались извозчик с милиционером.

Извозчик оказался здоровенным детиною.

Милиционер, очутившись в железных тисках сильных рук своего противника, забыл об отсутствии самодержавных блюстителей порядка и крикнул во всю глотку:
— Го-род-ово-ой!!!»

1.IX.1917.

II
Орь
27.II—1.VI.
1917

9 ч. утра. Началось это 23-го, и только сегодня могу записать кое-что, потому что был в чрезвычайном волнении. Ответственность, которую взял на себя народ, и на

[1] Над текстом: «A. Remizoff».

мне легла она тысячепудовая. Что будет дальше, сумеют ли устроиться, не напутали бы чего, не схулиганили бы, — столько дум, столько тревог за Россию. Душа выходит из тела, такое напряжение всех чувств моих.

Вчера я выходил за ворота вечером в 7 часу: очень испугался, что вода у нас остановилась. И это минут на десять. Позавчера выбегал днем: хотел догнать [1 нрзб.] и отыскать в сливочной Машу. И опять минут на десять. Я все в комнатах, как всегда. К несчастью вчера расхворался и почти не ел ничего и ослаб очень. И сужу я обо всем из окна, по слухам и слуху моему.

23-го в первый день я случайно попал на Невский. Надо было в Потребительской круп достать, метил-то [?] муки, конечно, и пошел после обеда около 5-и. Собирался сколько дней, а вышел как раз в такой день для меня невыхожий. Трамвай остановился за Полицейским мостом и пришлось выйти: казаки и народ, казаки сопровождающие с длинными пиками, раньше видел только на картинках, а разъезжающие без пик, с нагайками. Никакого беспорядка, выдержанно. Шел народ и одно знамя: «хлеба!» У думы полицейские не пропускали. Мне надо было на угол Жуковской и надо было поспеть поскорее — лавку закроют и все еще надеялся попасть в трамвай, но с Невского трамваи не ходили: какой-то один стоял, я вскочил и оказалось, прицепной вагон. И на Инженерной разъезжали казаки и до самой лавки. Была спешка и вздерг. На Бассейной у ворот стояла молодая баба с ребенком. «Ты иди, иди, не высовывайся! — сказал какой-то, — мало ли чего!» Да всего возможно было ожидать и один голос мне говорил вернуться домой, а другой совестный — как же так вернусь с пустыми руками. И дошел до лавки. И угодил, как нельзя хуже. В лавке поднялось смятение: начнут громить! Ставни закрыты. И минут с 20-ь было очень-очень тревожно. Никакой муки мне не дали, кое-как отвесили круп и с мешком через другой ход я вышел на Надеждинскую. Трамваи ходили, но попасть не было возможности. И я добрел до дому пешком, пробираясь через Невский от Михайлова. И когда я вернулся домой, отдышался и устоялся, одно я понял и почувствовал, что прорвало и «снобизму», как определил

один простой человек, последнее наше время, этому снобизму мародерному конец. Это было в четверг. Поздно вечером приходил Пришвин. И толковали о том, что-то будет. В пятницу 24-го я после обеда выбегал на угол за газетой. Приходил Федор Иванович, только что вернувшийся из командировки. Рассказывал о своем трудном путешествии. Но ничего особенно еще не происходило. Была какая-то открытая дверь и только. В субботу 25-го приезжал Иван Николаев[ич]. На Невском что-то творилось, трамваи не ходили. Он рассказывал о своей Охте. В 9-м часу я вышел с ним за газетою, но газетчиков уже не было. В воскресенье 26-го было тихо, только трамваи не ходили и газет нигде [?] не было. Я сходил на угол за газетой.

27-го в понедельник забушевало.

Простых людей очень раздразнило объявление, что муки нет, а потому не хватает хлеб[а], что покупают очень много на сухари. Это объявление было в субботу расклеено, но держалось в памяти. «Нов[ое] время» хорошо заметило: мукой сыт не будешь, давайте хлеба! И непростых людей удивил откуда-то выскочивший Вейс, который заявил, что он ничего не знает о карточках и запрещает их. Утром пришел полотерный хозяин за деньгами.

— Стрелял литовский полк, — сказал он, — дураки. Один солдат свою жену убил. После схватили, дурак! Нас таки всех сняли. Какая же война. Все продано.

Около двух часов первое известие от Л[еонида] Мих[айловича] о событиях по соседству его о возмущении солдат, о освобождении заключенных, о пожаре Окружного Суда, о разгроме Предварит[ельного] заключения.

Но у нас все было тихо.

Кто-то сказал из лавочников: «Наши заводские в гавань ушли, совещаются!»

И все было тихо до вечера. Около семи началась стрельба и продолжалась всю ночь и почти весь вчерашний день.

И у меня было такое чувство, личное это мое чувство, как тогда, как арестовали нас, русских, в Алленштейне и повезли в телячьих вагонах неизвестно куда. Полная безвестность. Полная неуверенность. И ожидание всего что

хотите. Ночь на вторник прошла почти без сна. И до 6-и ч[асов] утра еще были вести телефонные. Но 28-го во вторник телефон замолк.

Стреляли с чердаков городовы[е]. Искали по чердакам этих городовых... Стреляли ребятишки, дурачась. Стреляли из орудий. Скудные сведения: взята Петропавлов[ская] крепость, арестован Хабалов в адмиралтейств[е]. Кронштадт не сдается. И идут три полка из Финляндии. Должно быть когда заняли Львов было все-таки увереннее жителям нежели нам: там все-таки издано обязательное постановление. А сейчас — кто же сдержит и установит порядок?

До нас никаких вестей, как складывается строй. Мы готовы ко всему. И так идут часы за часами.

До чего довели Россию! И столько крови своей!

«Когда перестанут ссориться?» — замечание простого человека. Да, когда перестанут? Нельзя же вести войну друг с другом. Там война. А у нас, правильно, ссора. До чего довели Россию? Дошла весть о взятии Багдада. Когда вчера вышел за ворота, клубы дыма из-за домов: горит часть.

И весь вечер, все часы, все минуты одна дума: о России, сумеет ли устроиться? Ведь, народ темен. Бродят. Куда добредут? И боюсь я праздности человеческой. «Как на Пасху!» — кто-то сказал. О своей судьбе: началась война, все пошли, а я болен, никуда мне не пройти. И только когда пришел черед, поволокли и, измучив всего, освободили. Началась революция: я дома, куда мне идти с набрюшником?

1.III. Если бы все это кончилось до Пасхи! Достанет ли Маша молока? Ночью стреляли, но я так ослаб, что не мог подняться. Поутру мне показалось, — стреляют из орудий. Сейчас получил сведени[я] вчерашнего дня. Почувствовал какое-то веяние порядка. И сразу что-то изменилось. Я почувствовал, что в тревоги мои вошла надежда. И если бы мог я плакать, я заплакал бы. Такое острое было чувство. Маша вернулась. Безо всего. Стреляют на Малом проспекте. Всё городовых ловят. Говорят, Николай Николаев[ич] приехал. (Машин разговор) Еще известие за Шлиссельбургским трактом хлеб подешевел и все есть. А в Думе, говорят, грызня. Пошли бог мудрости. Дело идет о России. Присоединилась Англия и Франция.

Известие это для меня было значительно. И еще известие горькое: стреляют с церквей. «Придется обходить храм Божий», — сказал мне русский человек с всею болью душевной.

2.III. Вчера одно замечание простого человека вывело меня немного из тупика. «Окружен немцами». «Не знает и не узнает». Что-то принесет день. Что-то видел я во сне, не могу припомнить. Замечу для памяти, что под 23-ье снился мне яркий сон: река и плыли мы в лодке и лодка погрузилась в воду и я поплыл. И подумал: «женщинам труднее, волосы спустятся на глаза при падении и потому труднее выплыть». Очень много вчера возмущался: ближайшее соседство наше до чего оказалось мелкодушно. На волю вчера совсем не выходил: легче мне, но и сейчас еще болит живот.

Вчера, как узнал, что художники будут рисовать плакаты, «прилили» слова, но еще неясные. Что-то с нашим Иваном Александровичем? Сегодняшний день принес вести безотрадные. Какие-то мальчишки раздают листки, сеющие рознь и смуту. Я говорил уже самое опасное праздность. В праздную толпу что угодно влетит. Какой-то «Совет рабоч[их] депут[атов]» выпустил приказ. Бог знает что. Нет рус[скому] человеку должно быть надо обязательно что в скобках поставить, какое-то [1 нрзб.]. Вместо того, чтобы дружно укрепить право и порядок, выпускают листки, и говорят всякую ерунду, несообразности, говорят о земле до всяких учредительн[ых] собраний. Темь, темь жуткая. И потом мне что-то через воздух почуялось, что-то против души моей русской. И я укрепил в себе это русское. И еще думаю: куда же девается гимн наш, к к[отор]ому мы больше чем привыкли. Без гимна пусто. Зло меня сейчас ест. Вот немцы те сумеют устроиться. А у нас — только палка. Без палки ничего. Лежит на столе этот приказ дурацкий, как взгляну, так и закипит. Хорошо что на улице не был, там говорят всякое терпение потерял бы, слушая оратаев. Погубят они Россию. В гв[ардейских] ч[астях] произошло соглашение. И оправдание некоторых пунктов совета раб[очих] д[епутатов]. Пошли Бог удачи. Слух: на 70 д[оме] С[реднего] пр[оспекта] у нас нашли пушку, не велено выходить из дома никому.

А еще пушку под мостом Николаевским.

3.III. Сегодня получил первое письмо от Зыкова (25.II). Вечером вчера узнал о новом [1 нрзб.] и декларации. Полночи было личное испытание: «виновная совесть». Нет молока. Сколько было загублено народу, сколько было жертв! Какое свинство: когда нужно, приходит человек, а как устроится и спрятался. Со вторника не звонил Пришвин (28.II).

Вышел по острову походить. Все дома в красных флагах. Маленький мальчик на рукаве белая повязка с красн[ым] крестом, а в руке лук игрушечный: ходит посередке улицы.

Вчера масло слив[очное] продав[алось] по 80 к[опеек] ф[унт], а [1 нрзб.] по 2.40 к[опеек]. В понедел[ьник] 27.II. печенье стоило 2 р[убля], а вчера в той же лавке такое же печен[ье] 1.80. В понед[ельник] фунт сыру — 2.40, а сегодня 1 р[убль] 90 к[опеек]. Вот она [1 нрзб.] почему это, неизвестно. Слух: отречение от престола имп[ератора] Н[иколая] и наследника, а Мих[аила] Алек[сандровича] в пользу народа. Началось Михаилом и кончилось Михаилом.

4.III. Герасим-грачевник. Вся ночь прошла в думе о судьбе России. Атеистично-безбожно. Голоса не слышу ни с сердцем, ни с душою. Или такие дела делают[ся] людьми железными? А потом голос услышат... Когда узнал о отречении, все представил себе. Одинокость и сиротливость. Все торжествующее не по мне. Отверженность я не могу позабыть. И вот думал и думал о человеческой жестокой жизни, о рве львовом. «Ты на мне ездил, теперь я на тебе покатаюсь!» Из вчерашних сообщений остановило: Сухомлинов и преображенцы. Я благословил всю победу России, но я не с победите[лями], я не надену красн[ого] банта, не пойду к Думе. Сегодня не выходил на волю. Я не могу быть с победителями, п[отому] ч[то] они торжествуют. Легкомыслия много и безжалостности. Был Ф. К. Сологуб. Сегодня собрание у Горького: основывают Минист[ерство] Изящных Искусств. Должно быть, ни Солог[уб], ни я туда не попадем. И опять тревога о России. Головы пустые, а таких много, чего сварганят? Одолели меня посетители. Получил первое письмо от Сергея.

5.III. Я будто в Москве. Остановился у Н. С. Бутовой. Жду С. П. И вижу Виктор пришел. Там моя кровать, а он на диване. В это время входит Н. С. Я говорю: это мой брат, пришел ночевать. А самому очень неловко; Н. С. его совсем не знает. А вот уже и утро. Я нарочно иду куда-то через комнаты, чтобы не дожидаться чего. И оттуда обратно и на улицу. Иду по Садовой. Против Николы Ковыльского два городовых и околодочный (летнее время в белом). Думаю: городовых уничтожили, а они стоят. И становлюсь с ними. Тут народ пошел и меня оттеснили. Какая-то барышня потянула меня за руку, показывает в трубочку свернутый диплом. Я ничего не могу разобрать, не вижу. К фонарю. Не понимаю. «Я кончила балетную школу», — говорит барышня. Догоняю С. П. А меня догнали мальчик и девочка. «Мы дети Шрейбера Як[ова] С[амойловича] и Фр[иды] Лаз[аревны]». Думаю: вот удивится С. П.: девочка беленькая, мальчик черненький. Встречаю П. Н. Прокопова с серебряными погонами, особенно серебряными. Он ночевал тоже у Н. С. Бутовой. Иду дальше, у дома Н. С. что-то выносят и я помогаю. А когда вхожу в дом, приходит келейник Андр[ониева] мон[астыря] Миша принес ветчины и хлеба: «Тут кормить не соглашаются!»
II). Я надел как маску картину Н. С. Гончаровой и китай[скую] куртку, поднял воротник черный и пополз на четвереньках. С. П. говорит: «Потушите огонь!» Несколько раз повторила. Я в корзине, а вижу все. Электричество не горит, но светло. В дверь стучат. Я хочу зажечь электричество. А оно остановлено, не зажигается.

Сегодня вышли все газеты. Ходил по острову. Всех не мог купить. Трамвайный путь расчистили. К флагам привыкли. И красные ленточки загрязнились. Мне кажется, что встретил все тех же людей. А мы как за границей живем. Сейчас политика все, а какая в нас политика. Подумал: когда кончится война, переехать в Париж. Стоял сегодня в хвосте за газетами. Небывалая вещь — газетный хвост. И опять думаю: Иванушки-дурачки чего наделали, сумеют ли доделать?

6.III. Видел во сне кладбище. Это д[олжно] б[ыть] потому что вчера встретил два гроба, несли на Смоленское: один с венком, красн[ые] ленты, другой с фуражкой солдатской.

Приходил Тиняков с покаянной. Приходил старш[ий] дворник, приносил постановление. Он сказал, что у нас в доме все идет дружно, только интеллигенция против. «Кто же это?» «А вот сам хозяин и еще Успенск[ий?]» Вот она какая интеллигенция! Тут я кое-что понял. «Отчего же против?» «На счет земли несогласны. И монархисты. А не понимают того, что около всегда как пиявки присасываются около главного». Вот оно что.

У слабых людей события последних дней и потрясения и неустроенность и будущее может просто душу сломить. Надо силу воли, духа. Претерпевший до конца спасется. Около Исаакия поравнялась [?] кучка народа, человек до 100 с красными флагами и другой флаг «Да здрав[ствует] С.-Д. рабоч[ая] партия», «Земля и воля». Идет еврей без шапки и выкрикивает: «Товарищи присоединяйтесь. Долой буржуазию! Шапки долой!» Поют: «Отречемся от старого мира» (Царь вампир из тебя тянет жилы, царь вампир пьет народную кровь). Мальчишка глазеет. Рядом идет с ружьем солдат: «Сказано шапки снимать, сними шапку!» Тут стояли два господина, приподняли шапки. И когда демонстрация отошла один сказал другому: «Пойдем!»

Был Пришвин. Очень трогательно, что в Москве 3-го был красный звон на Ив[ане] Вел[иком]. 15 звонарей. Нет, я не политик. И я подумал: уехать отсюда, ну в Москву что ли, только не быть тут.

7.III. Кошмарный сон. Попал под стрельбу. Потом тихий. Куда-то идем. В Москву, кажется, — там Г. А. Рачинский, Шестов, Н. С. Бутова. И какой-то педераст. Продают белые хлебы. Я выбрал 3 хлеба, они как большие рыбы. «Сколько?» — спрашиваю. «По рублю». У меня колун в руках. А я взял топор у ларечника и замахнулся на торговку. Она говорит: за все 50 к[опеек]. Тут вот и вынул ларечник из ее корзинки эти 3 хлеба и подал мне. (Всего денег у меня было полтора рубля).

Революция распустила чернь.

Прочитал сегодня много газет. И немного успокоился. Даст Бог, уложится, устроится. Самую последнюю социальную революцию произведут отходники. Их труд самый черный: чем чернее труд тем больше прав на свободы.

8.III. Госуд[арственная] Дума была в подчинении царя и бюрократии жульнической, а теперь Госу[дарственная]

Дума в подчинении С[овета] Р[абочих] Д[епутатов] и недалеких людей. Тогда было рабство и теперь тоже. Но теперь рабство худшее. Арестовали царя. Какой-то автомобиль разъезжает по городу и стреляет в народ.

Только вера в силу народа русского, давшего Толстого и Достоевского спасает меня от полного отчаяния. Ничего не могу писать.

9.III. Видел во сне: едем по морю. «Я буду сиять по небесным полям!» Я заглянул себе через глаза и увидал, как сзади меня по небу плывут тонкие тающие облака и думаю: «как это можно сиять по небесному полю!» Лодка наша быстра. Огромное белое м[г]лубчатое [?] облако там вдали — это гроза. Лодка летит. И я думаю: вот никогда не поехал бы на лодке по морю. Море блистает под солнцем.

Измученный душой и телом я ничего не могу писать. Я только читаю газеты. Почему хоронить на дворцовой площ[ади]? Хамы лезут обязательно, ч[то]б[ы] на Дворцовой. И ничем не вдолбишь. Уж Горький говорил и его не послушали.

10.III. Зацвела ты моя Русь алыми маками. Вижу тебя убранной невестой.

Госпожа великая Россия. Надо ко всему быть готову. А главное к смерти. Я словно умер. И вот теперь начинаю новую жизнь. И это не один я и так не только со мной. Могут завоевать немцы. Но уж это не будет так страшно. Главное, надо быть ко всему готову.

Зашаталась Россия.

Нельзя было город св. Петра переделывать в Петроград. Нельзя было отрекаться от Петра. И вот силы оставили. Какая насмешка выход моей книги 23.II. Книга называется «Среди мурья».

10.III. Был Ив[ан] Алек[сандрович]. После всяких разговоров сел писать. Как будто немного оживаю. Ведь я умер, повторяю, и вот опять родился и учусь говорить, смотреть.

12.III. Приходил Пришвин. Он так же смущен.

13.III. Может быть, опасность обуздает чернь.

14.III. Русский народ еще не дорос до свобод. До таких.

В Мариинск[ом] театр[е] 12.III перед началом спект[акля] хор спел стихи некоего Пальмина, муз[ыка] Черепнина.

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.

Хотят сохранить памятники!

Был М. М. Пришвин. Увлекающаяся борода.

15.III. «Помазанника народ [?] смазал» — гогочут.

16.III. Битва под Пришвиным. После моего крика мне стало необыкновенно легко — эта легкость пустота. Темь ровная.

Вырезал из «Речи» статью «Паразиты революции». Ну, до чего все сиволапо.

17.III. Была Кругликова. Говорит, бегут с фронта. Добра не будет.

18.III. Был Ив[ан] Александр[ович].

19.III. Видел Финляндский полк, которым так пугали нас. Арестовали Тернавцева. Сегодня такая радостная солнечная весна.

21.III. 5 ч[асов] д[ня]. «Я тебя ненавижу. Дрянь. Всем сердцем тебя ненавижу». Был Р. В. И[ванов-Разумник], Пет[ров]-Вод[кин], Пришвин. Вчера городовой на митинге в [1 нрзб.]: «Я иду на фронт, не все мы такие, зачем же на детей позор. Я могу быть убит». «Когда будешь убит, тогда и говори».

22.III. Едва дожил до Б[ожьего] В[оскресения]. Вчера был мороз, сегодня все потекло. 1604 год. «Самое первое несчастие от того, что у меня ребенок. А второе личное, что я живу в такое время».

23.III. Сегодня месяц революции. Похороны. Сейчас на углу 14 л[инии] какой-то самозванский милиционер полез в дом. Собралась толпа. «Голову ему снять!» Все-таки повели. Вчера ломовой: «Я не подданный, ч[то]б[ы] день и ночь работать». Видел сон: живем в [1 нрзб.] над домом. Добронравова мать и Л[еонид] М[ихайлович]. Пение «Величит душа моя господа» и французская колядка [?] — процессия.

24.III. Были Николай Алекс., Иванов, [1 нрзб.], Бурцев, [2 нрзб.]. Опять хвосты, опять нет хлеба.

25.III. Сон: у Бож[ьей] Мат[ери] венчик из чистого снега. Выдвинул ящик и вытянул ногу, на конце туфля.

26.III. Вчера был Ф[едор] Ив[анович]. Сегодня на почте в заказн[ом] письм[е] какой-то мальчик с пачкой зак[азных]

писем уступал одиночным письмам. Редкое явление. К удивлению всеобщему хвосты хлебные подавляющие. Говорят, хлеба не будет.

Был Вяч[еслав] Яков[левич] Шишков. Добрая душа. Предлага[л] денег и муки обещал. Такая редкость!

27.III. Нашествие. Сначала Ив[ан] Алекс[андрович], потом Купреянов, потом Слон, а за ним Форш.

О, Господи, какая у меня тревога. Лег и лежал с открытыми глазами.

28.III. На минуту посветлело. П[етер]бург чистят. Тревога только [?] схватывает. Будь один, как-нибудь. И не о себе у меня дума.

29.III. Был Унковский. Приехал из Румынии. Разные на фронте. Много равнодушия. [1 нрзб.] при [1 нрзб.]. Поезд — матрос, к[оторый] убил врага [?]. Опечаленный взгляд на будущее.

30.III. Заходил Добронравов. Этот бодр и уверен.

31.III. Прих[одил] Ив[ан] Алекс[андрович] Рязан[овский]. Был сильный дождь этой ночью.

1.IV. Столько вчера проклятий и слез. В глазах стало черно. Ну, на службе помирилась. Были с Пришвиным в Синоде.

2.IV. 1 день Пасхи. У нас были только Романовы. А мы ходили к Воробьевым соседям. Вернулись рано. Газет нет. Печатники, толкуют, решили праздновать.

3.IV. Видел во сне Катерину (сестру С. П.), она обирает билетики, что хочу, то и спрошу. Я спросил, кем я был? И получил ответ: родился я в 1561 году, из Скандинавии, а имя мое Сергей.

Вчера думал, почему носят в кресле, носили бы в Лодке. Так как газет нет: всякие слухи. Немец идет на Москву. Эвакуируют Минск. Целое нашествие у нас в доме Л. Ис., *Н. Бурлюк,* Л. Ас., *Блок, Алек. Ник. Г., Унковск[ий],* Ф[едор] И[ванович]. Кончилось все слезами и проклятиями и о смерти, о смерти, как всегда.

4.IV. Приходил Тиняков [1 нрзб.]. Потом Бурлюк Ник. и поехал с С. П. к Л. Д. Кузне[цо]вой. Приходил С. С. Прокофьев. Играл Мимолетное. Заехал [?] М. Мих., [2 нрзб.]. Вечером пошел к Ф. Ив. Такая [1 нрзб.]. Идет дождь. Вышли вечерние газеты. Беспокоит, как-то С. П. едет с фарфорового завода.

5.IV. Был А. М. Коноплян[цев] в защитном цвете. Романов [?] и Пришвин.

6.IV. Умер А. Д. Нюренберг. Был Разумник. Пишу в Л[итературный] Ф[онд] прошение. [1 нрзб.] Приходил прощаться М. М. Пришвин.

7.IV. Был на похоронах Нюренберга. Видел во сне Б. В. С[авинкова]. [3 нрзб.]. Сейчас сижу и смотрю в стену — жить нечем. Думал, глядя на покойника: как ему теперь легко, успокоился.

8.IV. Нет таких могил, ч[то]б[ы] живых клали, а то бы лег. Вчера были Зоя Вл., Пет[р] Ник[олаевич] Прок[опов], [1 нрзб.], Сахн., Романов. А сегодня Ив[ан] Алекс[андрович] и Виктор христосовались.

9.IV. Прибираю комнату. Ужасная слабость.

10.IV. Был Турка. «Денег столько, сколько подымешь. А земли столько, сколько обежишь!» Вчера была демонстрация с черными флагами. [1 нрзб.]. Публика в панике — какой-то десант вышел из Либавы.

11.IV. Приехал Ив[ан] Сер[геевич] Сокол[ов-Микитов]. Очень обрадовал. Был Сологуб.

12, 13, 14, 15.IV. Разговоры о Ленине. Забыли и Сов[ет] р[абочих] и к[рестьянских] д[епутатов] и уже не боятся. Был Ив[ан] Алек[сандрович] Ряз[ановский] и Р. В. Ив[анов-Разумник].

18.IV. Смута все время была. Вечер[ом] заходили Клюев и Сокол[ов]. Опять были слезы и раздражения по злой памяти.

19.IV. Сон: мертвых хоронят так: на нос мокрую тряпку и больше ничего, а едят они черный хлеб с молоком. Случай: выбрали головой, он растерялся и две головы у него оказалось — одна городская, другая собственная [1 нрзб.] городск[ая]: воду пьют, улицы поливают. Были О. М. Пер[сиц], Ал. М. Коноп[лянцев], Ив[ан] Алек[сандрович] и Соколов[-Микитов].

19.IV. Опять тревожное время. Опять брониров[анные] автом[обили] и с ружьями. На Невск[ом] демонстрация. Долой Милюкова! Какие-то голодранцы кричат со своим грязнокрасным флагом.

21.IV. Россия гибнет от того, что не держат слова. Сказал — сделай. Сколько обмана сколько путаницы. Опять слезы и раздражение.

22.IV. 20—21 опять демонстрации, которые и закончились

убийствами. Был Ив. Алек., Сок[олов-Микитов], Срезнев[ский].

23.IV. Сегодня 2 месяца рус[ской] револ[юции]. Читая газеты как-то проникаешь в ту страшную ложь, к[отор]ой люди опутывают себя. Нигде нет такой лжи, к[а]к в газете. Видел во сне Вильгельма. Как подходят к нему [1 нрзб.] и когда идут то [1 нрзб.] плечом касаются плеча подходящего. Сегодня объявление главнокоманд[ующего] о военной опасности Петербурга.

24.IV. 25.IV. Вчера был Ив[ан] Сер[геевич]. Видел во сне сегодня девочку, пристала отнимает у меня узел. Я не выдержал закричал. А она мне говорит: я пить стала и путаться и воровать. Я ей свой адрес дал поговорить с ней. А потом подумал, зачем это я — она меня ограбит. И сейчас же подумал, да это сон.

Совесть моя болит: вспоминаю свое бурное.

Сегодня меня из трамвая [1 нрзб.], кричали: Так их надо на живо[дерню] тащить!

25.IV. Пролетар[ии] всех стран соед[иняйтесь!] — Прилетайте со всех стран!

29.IV. Был [у] В. Н. Фиг[нер]. Со сборником «Гусляром». Стара очень она, трудно ей. Думал о нашей жизни: России удел страдание. Захотели свергнуть, захотели счастья. И за то, может, получат в десятеро муку.

30.IV. Был Б. В. Савинков. Как постарел! Вечером прих[одила] А. Н. Чеботарев[ская]. И был крик и шум и гам.

2 мая. Сегодня были [1 нрзб.] и Пр. Сем. Сегодня опять из-за пустяков проклятия и слезы кровавые.

3 мая. Новое министерство вырабатывается.

4 мая. Были П[антелеймон] С[ергеевич] Романов и А. Вас., читали «Новую жизнь». Ночью болело сердце.

5 —"— С утра крики и муки. К России: неужели конец? Посадили свиней за стол, загадили стол. Нет, и не спасут и самые благороднейшие министры.

Возвращался я поздно вечером домой. Сумерки белой ночи. Фонари кое-где зажгли. Шел я скорыми шагами, торопился: по слепоте своей наткнулся на какую-то [1 нрзб.] барышню и еще осторожнее стал. Вижу перед мной какая-то груда и не подумал еще, как груда эта повернула и я наткнул[ся]: это был замухрыстый солдат, шинель внакид

и с ним шинелью прикрывал он девочку лет двенадцати: солдат переходил на ту сторону к баням. И меня это страшно ударило и я шел, опять натыкаясь на встречного, я очень скоро шел. И забыть не мог эту груду: плюгащий и совсем как стебель девочку прикрытую шинелью.

6.V. Партиям не нужна никакая правда, им нужно, чтобы показать правоту партии: потому так и много лжи.

8 мая. Была О. М. Персиц (деньги), Клюев с режиссер[ом?] и Ник[олай] [2 нрзб.].

9 мая. Вешний Никола отдарил нас. Были Шишков и Коноплянцев.

Под Николу по всей России прошел ураган снежный.

12.V. Вчера был З. И. Грж[ебин] (купил автомобиль) и д[октор] Срезнев[ский]. Последние дни из-за собраний рел[игиозно]-фил[ософских] очень повышенное [?] состояние.

16 вт[орник], 17 ср[еда] Левин, *18 чет[верг], 19 пят[ница]* Ланг, *20 (суб[бота])* захворала С. П. Холецистит. Все эти дни в тревоге и заботах. А что бывает на святой Руси — смутно на душе за нее и больно.

23.V. Взяли билеты на 30 — 105 р. 30 к. Встала С. П. 21-го прих[одил] Ив. Сер. Соколов[-Микитов].

25.V. Заем свободы. Бедно очень. А призывы как-то бездушны. Народ говорит ишь, нарядились! Положим, Савинков сказал: какой же тут народ, тут фабричные. А Розанов говорит: Россия в руках псевдонимов и солдаты и народ темный. Само правительство под арестом.

27.V. Были у В. В. Розанова. [1 нрзб.].

29.V. Погасло электричество в канун отъезда.

30.V. Сегодня в 5.40 едем.

— Слава Богу.

— Давно пора.

Крестятся и целуются.

— Благодарю тебя, создатель, что ты не дал погибнуть моей родине! — стар[ый] ген[ерал].

Городовой переоделся в бабье платье, забыл, что с усами. Рвачев.

Бабы: штурмана поймали!

Да здравств[ует] рус[ская] революция и зацветет наше будущ[ее] республик[анское] правит[ельство] аки сирень в мае!

Забастов[щик] [?] не в платьи ходит, а в [1 нрзб.] попасть нельзя (ребенок).

Солдат: подождите бабы мас[ло] будет дешевле.

Ба[ба]: бабье ждать не могут.

Есть только тов[а]ришши и кулаки; а ни господ ни мужиков. К слову десять слов приложат бабы. На лыко мыкают лен коноплю отращенный гребень. С селедки во рту одеревенеет. Накладет трупы кучею. Куда-то в Думу пихают гордо. А как же немцы придут? Господь не допустит. Там хлопает, тут хлопает — над головой летит. Я недостоин жить на свете. Я убил человека. Я перепил и буду пить — просит в тюрьму опять посадить.

«Погреб провалился» — к покойни[ку] (сон).

[9 нрзб.]

Баба: Эх, как хорошо и наш брат на муфтабили катается!

28.III.

Из Москвы пришли (пешком) два полка (600 в[ерст] сделали в одну ночь.) *1.III.*

Вокруг солнца круги были, мужчина говорит никогда не бывало такого *1.III.*

Бабы, кричащие ура всякому и по всякому понимаемому *2.III.*

надо становиться на работу
не слушайте офицеров } ура!

Идет барыня, а мальчишка кричит: растрёпа. *3.III.*

Стрелять бы в них холостыми.

Надпись на трактире в Новом переулке Мариинск[ого] дворца:

«В виду свободы объявляю: мой трактир свободен для всех солдатов. Солдаты, приходите, кушайте, пейте бесплатно, а также желающие из публики. Да здравствует свобода!»

В Москве над головой Пушки[на] красный флаг *4.III.*

у нас ухитрились в задницу коня на Знам[енской] площ[ади] (в памят[ник] Александру III) вставить красный флаг.

Зацвела наша Россеюшка! замечание о разукр[ашивании] крас[ными] флаг[ами].

Хоть подзатыльника бы дали! — замечание старухи, когда отпусти[ли] городов[ых].

Когда выносили кресло из Синода, было такое чувство, как при выносе покойника *5.III.*
В государ[ственной] думе под разорванным портретом Государя сидели солдаты и котелок варился.
Арестованные городовые помещ[енные] в Земщине собрали между собой по подписке 215 р. на нужды революции.
Полицейские, обстреливающ[ие] Исаакиевскую площадь, получали по 100 р. суточных.

III

1917 г. с. Берестовец

1 июня. Судя по проектам и письменным распоряжениям можно было ждать лучшего. Правда во отдел[ение] наше никто не вошел, но ехать под постоянной угрозой — с дубастаньем в окна с криками, думалось иногда, лучше, пожалуй и без таких удобств, а попросту, как бывало в III классе. На крыше солдаты, как клюватые птицы — топ, дробь, крик и мат. Когда мы возвращались из Берлина, я боялся загадывать, я только думал на сейчас, так и прошлые ночи. Но тогда мы возвращались из Германии арестованные, а теперь — на родине среди свободного народа. Полем было ехать хорошо, несмотря на ветер — птицы по-прежнему поют и земля зеленеет. Поле чистое, как было, словно ничего и не произошло. На селе проезжали мимо собрания, агитатор разъяснял, что надо говорить не буржуа, а буржуаз.
Рассказывают, поп, перепуганный переворотом — первого будут громить попа — собрал народ и все, что досужие люди насочинили — и правду и неправду — сдабривал еще и собственными бурсацкими анекдотами, под конец речи своей сообщил и о Кшесинской, о ее дворце. Сказать балерина, — не понятно. Сказал: «певичка». А певица превратилась у слушателей в *теличку,* для к[оторой] дворец построен. И пошла эта «теличка» по селу гулять.

Заявление от учителей и учительниц: кто не вступит в союз, того исключать из учителей.
На селе выступил солдат из П[етер]бурга — тут все из Петербурга — (это было в самом начале переворота) — слово закончил он словом историческим «долой царя, да здравствует самодержавие!»

Замечание мудрого человека: «равноправие женщинам дано, пока бунт не кончится».

Про реквизиции хлеба некоторые заявляли: «дайте нам царя, дадим и хлеба». (Да, по пути мне показалось, что поля пустоваты).

2 июня. Видел во сне Пришвина, очень расстроенного чем-то, будто у нас он, на острове.

«Харьков, 29 мая 1917. В селе Гребенникове, Сумского уезда крестьянин Гриценко во время молебна разбил икону Николая Чудотворца. Крестьяне постановили удалить на поселение Гриценко и доставили его в тюрьму. Сумский уездный комитет, по настоянию благочинного и других священников, вынес постановление, что Гриценко должен умереть голодной смертью. Постановление приведено в исполнение. Ему не дали пищи, и Гриценко умер в страшных мучениях».

Сижу и слушаю пение и как-то не верится: все врозь. И должно быть, не замечают.

3 июня. Видел во сне, будто где-то около нашего дома пожар. И я подумал: стоило мне только выйти, как беда случилась. Этим сон заканчивался, что я бегу из каких-то рядов где лавки все заперты. А до этого видел Виктора голого, почему-то его подвязывали к какой-то трапеции и он кружился, как мельница. А еще раньше, будто у нас в доме сидим обедаем. Прислуга объясняет, почему запоздала с обедом. С. П. очень рассердилась, она сразу запихала себе в рот целого цыпленка и рукой помогает, вот — давится.

Бараны прошли — пыль, как дым
По́ у́-ли-це ма́-ста́-вой

1-я фигура кадрили. Вспоминаю, поет один голос тонкий и от этого голоса тоска собачья.

4 июня. Видел две церкви московские рядом стоят — одна Троица с огромным иконостасом. Сергей мне сказал: называется улей. А другая Духовская. В церковь зашел я вместе с Чехониным, вид которого совсем, как у Реми. Потом попал в какую-то длинную прихожую. Зачем-то надо мне видеть Копельмана. Слышу разговор литераторов хвастливый и самоуверенный. И очутился я тогда в саду в Сыромятниках, хожу по «той стороне» около яблони чудесной.

Все шло ладно и сегодня оборвалось из-за какой-то перламутровой пластинки, которая переложена в карточную коробочку.

Мне показалось вчера, что Н[аташа] при посторонних стесняется за меня. Я отвечая на вопрос, ко мне обращенный «как я поживаю», не сразу ответил, заинтересованный выражением лица Н[аташи] и почувствовал, что ей неловко за меня.

5.VI. Жду с нетерпением возвращения из Борзны. Боюсь, что там расстроится что-нибудь и начнется какая-нибудь история и конец моим занятиям.

6.VI. Видел во сне так много людей. Видел Виктора, он будто сидит на камушке в солдатской шинели, а эполеты у него: два перекрещивающихся шнурка, на конце которых, свисая с плеч, маленькие орлы черные, под которыми красивые лоскутики, а шапка германская без козырька. Нос необыкновенно заостренный, как у Гоголя, а смеется, как Свирид (очень глупо). Я узнаю как-то, что он не в 9 армии, а в 8-ой, и там и тут был офицером.

— Что же ты теперь делаешь?

— Солдат кормлю, — и улыбается, как Свирид.

А я думаю: ишь, ведь, как, поваром сделался!

Мы сходим в зал к П. Е. Щеголев[у], с нами и Виктор. И вижу В. А. Жданова: он такой же, только поседел, но совсем такой же. С ним здоровается Виктор, хотя он его никогда и не видел, целует. И я поцеловался (и когда целовал, подумал: надо при встрече после долгих лет целоваться подольше). В. А. и смотрит на меня удивленно и головой качает:

— Как вы изменились! Как напоминаете мне одного моего приват-доцента, и тут, знаете, в щеках у вас.

Я вижу в столовой стоит Люб[овь] Ник[олаевна] Чернова [?].

— А это кто? — спрашивает В. А.

— А это, — я говорю, — сестра вашей жены.

И думаю, что же это он не признает ее. Неужели он спутал Л. Н. и С. П.

— Ах, как напоминаете мне моего приват-доцента, — все качает головой В. А.

Мы в какой-то длинной комнате, у нас такой нет, и я знаю, что это не наша квартира. Входит В. В. Розанов.

— Покажи мне, пожалуйста, из 10-ой армии человека.

— Да кого я вам покажу В. В.?

— Ну, скорей, скорей. Дело такое важное, я здесь и напишу. А я думаю, кого же ему показать: Виктора: ничего он от него не добьется! Ив[ан] Серг[еевич] — слова не выжмешь.

А Розанов очень волнуется. И я понимаю, что что-то очень важное происходит, и свидетельство военного для него необходимо.

Мы занимаем огромную квартиру и живем не одни: у нас есть верх, куда ведет лестница из коридора, а внизу кухня. Квартира наша напоминает церковь. Я говорю нашему швейцару Димитрию:

— Зачем зря горит электричество.

А он мне тихонько:

— Дм[итрий] Пет[рович] Сем[енов]-Тянь-Шаньский мне сказал, чтоб я жег побольше, а то Ив. Алек. Семенов и так ничего не платит.

— Да, позвольте, — говорю, — ведь квартира-то моя. И подымаюсь наверх. Тут появляется Над[ежда] Ник[олаевна] Ждан[ова] и Добронравов.

— Вам Добронравов больше всех из писателей нравится? — говорит Н[адежда] Ник[олаевна].

— Да, — я не нахожу, что ответить, — он хорошо поет.

И вынимаю ноты: частью написано красными, а остальное черными чернилами.

— Пожалуйста, обратите внимание на это. Это мой брат привез с войны.

Добронравов поправил пенс[н]е.

— Это марш 13-го года.

И сели мы чай пить. С. П. разливает. Вдруг мне показалось, что с ней что-то плохо. Я бросил[ся] вниз с лестницы: лестница и коридор, как в бане, с потолка течет. И скорей в комнаты налево. И вижу Николая Ремизова, он сидит у стола.

Я очень удивился, что вернулся так рано.

— Иди; говорю — наверх, там дамы.

А он как-то безнадежно:

— Давно этим не занимаюсь, — и пошел наверх.

Я вышел к Ив. Сер. Сокол[ову-Микитову] он через улицу живет, вижу, на нем венгерка надета. Он со мной пойдет,

только я должен телефон исправить: коробка испорчена, которая на стене висит. Я полез коробку прочищать. Снял с нее крышку, а надеть и не могу. А меня торопят.

Есть слова крепкие, и есть ужасно слабосильные и неуверенные. И такое слово повелось в последние годы: это слово смогу. На все лады оно перебирается, во всяких приказах и декларациях. Есть еще осклизлое слово, выговариваемое с легкостью, в к[отор]ой чувствуется обман: это слово — вероятно, произносимое интеллигентами нашими, как верьятно. Лучше пусть бы уж говорили «вероподобно» (достоверно и вероподобно).

Если Ленин это Болотников, то Блейхман (булочник анархист) это атаман Хлопок, для к[отор]ого разбой — социальный протест.

Теперь скажу о Нат[аше]: заметил сегодня очень враждебный ее глаз на меня и мне кажется, она в эти минуты просто ненавидит меня. Мне очень жалко С. П.: она хоть и делает вид, что ничего не поделаешь, а я чую, ее мучает в самой глубине ее сердца мучает это. Да и подумать: какое бы при ее болезни это было утешение? Нат[аше] 13 лет. Я помню себя в эти годы. Я перешел из III кл[асса] в IV. Жив еще был Прометей.

7.VI. Я около какой-то лавки в рядах; решил купить сластей всяких: продажи больше не будет. Лавку закроют через 5 минут. И я заторопился. Мне дают всяких мелочей, и развешивают очень медленно и я очень волнуюсь, что не успеют. Помню, в сахарной пудре как крупинки шоколад. Продает какая-то женщина, на Акумовну похожая, а помогает ей мальчик. Пошел дождик. И в ряды набирается народ. И вдруг вижу, только боюсь сказать себе, Ар[он] Д[авидович]: весь он, как в волшебном фонаре, истонченный и почти прозрачный, страшно помолодевший усы у него не подстрижены, а на самом деле, как у юного, легкой черной чертой над губою и целы все зубы. Одет он в легкий пиджак сиреневатый и галстук шелковый тончайший. Он прямо подходит ко мне и улыбаясь трясет мне руку и здоровается, и я вижу по его взгляду, как он спрашивает меня, узнал ли я его и сам без слов утверждает, что это он —

— С. П., — говорю я, — А. Д. Н[юренберг].

Удивление и необыкновенная радость на лице.

Я занялся моими покупками, а С. П. разговаривает о чем-то с ним и оба оживлены, только сразу видно, что он не здешний. И я думаю, как это никто не замечает?

Срок кончился, сейчас запрут лавку. Мне завернули небольшой пакет.

— 6 рублей: 4 за товар и 2 за услуги — мальчику, рубль и мне! — говорит похожая на Акумовну.

Вот думаю какие обдиралы! И мы втроем выходим из рядов. Мы идем сначала по улице, потом начинается уж дорожка, будто в Париже в Булонском лесу, а видно море.

— Мне пора, — сказал А. Д., — пора.

«Почему?» — я этого не сказал, но он понял мой вопрос и так плечами пожал и стал серьезным. Видно ему хотелось бы сказать, но он не мог этого сделать. И стал прощаться: С. П. он с жалостью смотрел в глаза и целовал ей руку, а потом мне долго тряс руку. И я заметил, как он старается так, чтобы моя рука не прикоснулась к нему, а потому так делает (он мне это передал без слов взглядом) что прикоснувшись, я почувствую кости — скелет мертвеца, а это очень страшно.

Было пасмурно. Любимый мой серый день. В одной из церквей Нюренберга среди сырых колонн выставлена была картина. На ней была нарисована карта земли и вся война на ней кровавыми до просачивания красными и черными дымящимися красками. А приблизительно около Вены небольшой медальон тусклый, с мелкими фигурами, рисовал Кустодиев. Маделунг мне говорит, что стоит мне вписать свое имя в этот кружок и война кончится. А я не решаюсь этого сделать, зная, что М[аделунг] австрийский корреспондент. Из молвы мир[ской]: режут детей своих, а сами вешаются. (Про кухарку в шляпке: издалека по морде будет видно, какая ты барыня). Сидит Буц головой трясет, язык высунул. На солнце нашла туча. И как снежинки полетели белые лепестки на зеленый двор. Высоко летают коромысла. Юзеф косу точит. Кукует кукушка. Буц улегся. И как сторожевая трещотка, затрещал аист. Больше солнце не выйдет. И закат будет туманный.
8.VI. Видел во сне З. Н. Гиппиус и Философова. Я должен был нарисовать декорацию. И начал ее делать: огромную

обезьяну и когда кончил ее, увидал, что лишний кусок в середке вбок пошел, тогда я от него вниз еще сделал обезьяну — и почудилось две головы: вверху и внизу. Я думал, что сделал очень плохо, а Философов нашел, что лучше и не надо.

Много иного еще видел, но память о сне моем спугнули. Полотенца: оказывается их мало взяли с собой — и четырех не хватает. И еще надо было взять не маленькую, а большую картонку, которая нигде не помещается и с к[отор]ой в дороге одна мука. Сегодня ветерок подул и летит, летит акация, — последние лепестки.

Я встаю в 9—1/2 10-го. Курю, записываю сны и прибираюсь. В 11-ь в 12-ом выпиваю стакан чаю с хлебом. После чаю прохожу минут на 10-ь в сад. И опять в комнату, и сижу занимаюсь до 3-х. В 3-и обед. После обеда ложусь с книгой и лежу до чаю до 5-и. Выпиваю 1 стакан. И возвращаюсь в комнату к себе и опять лежу с 1/2-а с книгою же. Потом пересаживаюсь к окну и занимаюсь до 1/2 8. От 1/2 8-го — до 8-и не всякий день гуляю по дорожке в саду и домой. Зажигаю лампу и до 9-и занимаюсь. В 9-ь яичница и чай (стакан чаю). После чего читаю газеты или рисую, или опять пишу до 12-и. Очень долго не засыпаю.

Сегодня началась 2-ая неделя, как мы в Берестовце.

Да, еще видел во сне Ив. Сер. Сокол[ова-Микитова]. Он сказал мне, что уезжает надолго. И еще видел Ник. Бурлюка. «Из всех нор в русскую жизнь вылез наглец и бесстыдник. Перед этим наглецом и бесстыдником вся Русь примолкла без ропота, без протеста. Выслушиваются невообразимые мерзости, с пеной у рта предлагаются действия, к[отор]ые претят самому элементарному нравственному чувству и энергичного отпора не находят. И почему мы этому торжествующему хулигану подчиняемся и даем разрушать нашу родину». Из речи А. А. [1 нрзб.]. Самое тягостное это не ненависть, тут уж напрямик, а *нелюбовь*. Это такая мутная среда, куда ни один луч не проникнет.

9.VI. Видел во сне — —

Сон опять спугнули. Произошло это из-за воды. Хотел раскупорить раньше и выпустить газ, не снимая пробки, но пробка вылетела и много воды разлилось. Начались

опять разговоры о полотенцах, которых будто бы мало взято, о том, что рано поехали на вокзал — в 3 часа, о паспорте Машином, к[отор]ый оказался у меня в кармане, и о картонке маленькой, и о невытряхнутых самоварах, — все это, все мои прегрешения, о которых говорилось уже раз сто и попрекалось мне в памяти моей куриной.

Лег я в час из-за газеты, а не спал до 3-х. Ночью кто-то стонал. А мне казалось, что это С. П. и я очень затревожился и все лежал и курил, готовый, если что надо, подняться. И когда я лежал ночь прояснилась и это прояснение ночи, рассвет выражается в каком-то колебании, точно дом это корабль, а ночь море, потом я увидел шторы и услышал первые клики птицы и шаги.

Видел во сне Любоша, будто умер его отец. И несли его в цинковом гробу, он был закрыт и только голова его была вне гроба поставлена вперед, как изображения на саркофагах. Седая голова с длинной бородой и [1 нрзб.]. Я видел это из кондитерской, где мне сначала не отпускали печенье, а потом по записке Любоша выдали. Я взял еще граненую бутылку хорошей водки — думаю, для гостей пригодится. Видел Пет[ра] Ник[олаевича] Прокопова, будто он на Арбате у Николая сидит. А больше не помню.

Очень опоздали с самоваром и потому все вверх дном.

Как успокаивает, когда в теплый ясный день слышишь, как пилят дрова.

В Киев[о]-Печерской Лавре над мощами Паисия перевернуты вверх ногами мощи Тита воина, ударили ножом в ногу мощи Исаии.

Надпись: воспрещается лущить семечки, садиться на прилавок, если много людей.

Без дела не надо входить в лавку, за неослушание будут подвергаться администр[ативным] взысканиям.

10.VI. Видел во сне, мы переезжаем на новую квартиру; сначала я поселился в какой-то общей комнате больничной, где стоят «койки» — Б[ориса] В[икторовича], Вальполя и Вильямса. Потом я переношу свою кровать куда-то на противоположный конец коридора. Тут ушла у нас прислуга, я ей и рису дал и просил остаться, но они все-таки ушли. И служит нам покойница Прасковья, моя нянька, для нас незримая. И опять мне надо тащить мою кровать

и теперь в отдельную комнату. Оказывается мы будем жить в комнате, соседней с Добронравовым и платить будем 20 руб. в месяц. Вижу, выходит Добронравов: он маленького роста и совсем старый. В цилиндре. Он запер на висячий замок свою комнату и прощается. Наша комната на 6 этаже в виде ложи, но без барьера и пол очень шаткий, т. е. попросту легкая настилка, которая заходит [1 нрзб.] к[а]к спускается крыша и мы лежим на этой крыше и каждую минуту от неосторожного движения или просто от тяжести нашей крыша эта провалится и мы полетим вниз в партер. Я все время спохватываюсь. Вниз уже летят наши вещи. Но я хочу оправдать наше житье такое опасное. Я говорю, что два выхода у нас. И узнаю, что министром внутр[енних] дел назначен гр. Воронцов-Дашков, к[отор]ый был при Ал[ександре] III, п[отому] ч[то] он единственный имеет власть. При этом подразумевается, что власть вовсе не дается назначением, любое и самое высокое место можно унизить, власть — личное качество. И с такою властью гр. Воронцов-Дашков.

К[атерина] явно меня не выносит ч[то]б[ы] избежать как-нибудь обращения ко мне (так она не разговаривает и ни с чем не обращается) она говорит «доброе утро».

«В России нет теперь правосудия. Сидят люди и арестов[ан] государь и все это от того, что пошла молва, будто они и есть заводчики измены, а изменники, открыто призывающие на сторону Германии, сидят в совете и безнаказанно судят и рядят. Петербург это какой-то тушинский лагерь» ([1 нрзб.]).

Совершается дело Божие. Идет суд нечеловеческий. Трехлетняя война и все предшествовавшее ему выкровилось и теперь дало свой голос. Так быть как до войны было немыслимо. Я помню, как меня поразила грубость итальянской толпы во Флоренции в воскресенье на [1 нрзб.] празднике, помню какими провалами засияла жизнь в Париже во время карнавала по Елисейск[им] полям и Булонскому лесу: какая резкость между разряженными праздничными людьми и испитость и одичание Монмартра. Поразила меня еще грубость толпы в Сен-Клю на гулянье. А из ранних воспоминаний необыкновенное самодовольство на цюрих[ских] [?] с[оциал]-д[емократических] собраниях в среде наших с[оциал]-д[емократ]ов.

Если бы люди безбожно делали то, что хорошо (не грешно, а хорошо), т. е. выгодно, они достигли бы больших результатов. Но люди плохи, т. е. бесстыдны, а кроме того и глупы, п[отому] ч[то] чтобы сделать что-н[ибудь] хорошо, т. е. выгодно, надо уметь судить — обсуждать твой поступок. И вот считаю [?], что люди плохи в подавляющем большинстве своем и глупы и есть то, что есть и было. Да еще рядом с грубостью народной, помню, поразили меня молитвы в Вене в [соборе] св. Стефана: какое отчаяние и безысходность почуялись мне в этих отрывных взглядах и стоянии перед образом чудотворной Б[ожьей] М[атер]и.

Разум не поведет далеко, п[отому] ч[то] разумных-то очень уж мало. Есть великие лозунги. «Уведи меня в стан погибающих» и бесстрастие и на них летят не только одаренные, но и мошкара. И мошкара их опорочивает. И те кто судит обо всех по лозунгу — глубоко ошибается, как и тот, кто по мошкаре начнет судить по лозунгу.

Русские люди в смуту до того были вероломны, что даже получили имя *перелеты.*

11.VI. Видел муттер. Потом Пуришкевича. Обстановку плохо помню. Заспал сон. Блейхман — Солнцев, он же Хлопок атаман разбойничий. Болотникова воровские листы из сел[а] Коломенского. 22.X.1606 г. Всегда были и есть взыскующие Града Грядущего, желавшие устроения жизни человеческой по правде, т. е. устройства царствия Божья на земле. Одни отодвигали наступление такого блаженного состояния мира к страшному суду и даже срок ставили — тысячелетие. Другие напротив, не отодвигая так неопределенно далеко, надеялись, что рано или поздно царствие Божие наступит на земле. И все это полагали в сем веке временном.

А в действительности, царствие Божие наступало на земле и не для всех, а островами. И наступление его было в зависимости от силы любви и гнева человеческого. Примером может служить самосожжение. Когда услышан был призывающий голос: Время просит страдания, тогда и началось царствие Божие.

И было бы ошибочно думать, что царствие Божие это какое-то справедливейшее устроение на земле, какие-то дома и храмы и конечно отхожие места самого последнего

слова. Люди все делают, чтобы отдалить от своей жизни царствие Божие. Вся сила ума человеческого направлена на то, чтобы облегчить внешние средства общения между людьми, и от усложнения жизни в погоне за все увеличивающимися потребностями чисто внешними, люди теряют пути к духовному общению и притупляется духовное проникновение и сила любви и гнева. И это поведет к тому, что общаемость духовная естественно прекратится, и ангелы забудут пути к людям и земля провалится, как Содом и Гоморра.

Для того, чтобы наслаждаться в царствии Божием, при утонченной совести — надо не иметь совести — и вот Божия Матерь, как воплощение совести, хождение ее по мукам и есть образец того, что никогда не осуществимо царствие Божие при наших условиях на нелегкой земле.

Одни говорили: мы не понимаем. Другие же, не понимая, думали, что все понимают и громко заявляли об этом, а в сущности к[акое]-нибудь порицаемое или одобряемое действие, сами, выполняя, порицали или одобряли его. Перед судом понимания своего, конечно, все правы всегда.

Иногда на меня приходит уныние, что русское дело пропало, что тушинцы, увлекая за собой чернь пряниками, сотрут нас, погибнет и литература русская: спрос пойдет на потаковнические мазки и кинематографическую легкость. Но я утешаю себя метлою: чую всей душой, что еще один захват, еще одна боль и метла подымется и сметет самоизбранников.

12.VI. Во сне видел Гордина, ехал я с ним на какой-то закрытой огромной лодке у которой сверху крышка же в виде лодки [рисунок лодки — *Публ.*] я очень боялся, п[отому] ч[то] на одном краю стояли мы и могло перевернуть, потом поехали на автомобиле, около трамвая слезли и тут автомобиль заняли кондукторы, что делать. Должно быть, было очень холодно. Гордин попросил себе у старухи лавочницы — тут же ларек ее — пальто и она дала ему какое-то пожелтевшее и стала упрекать. И я увидел, что Гордин в женском платье и никто не подозревает, что он наряжен. А старуха его пилит самыми последними словами. Уж вижу, Гордин плачет. Что же, думаю, он не возразит? А он отвечает мне: я напишу об этом. Я хожу по каким-то улицам очень узким. В дом

вхожу на самый наверх тут Кузмин и его приятели. И очутился в Сыромятниках. Все лежат в зале тут и Блок. Потом разыскивал в клинике не знаю кого. И попал в тифозное отделение. Очень было жутко проходить этим коридором. Там и служители все в повязках и даже городовой. Когда я выбрался, то встретил Гиппиуса, который слился с Курицыным и каких-то неизвестных мужа с женой, с которыми заговорил. И все исчезло. Сон был сумбурный: и кроме лодки и автомобиля Гординского истлел.

13.VI. Видел во сне, что жду очереди сниматься в фотографии. Ждет и П. Е. Щеголев. А снимают долго. Наконец моя очередь. И меня сажают, а сзади садится какая-то еврейка. Всех так и снимают — на фоне евреек. Тут я проснулся. На воле гром — гроза. И опять вижу, мы куда-[то] все бежим и на каком-то мосту неизвестно зачем я отсек голову — так по пути — и бросил, и бегу, стираю кровь с пальцев. Потом собираемся ехать в Ессентуки. С. П. приедет потом, а нас четверо Викт[ор], Сергей, Прокофьев и я — мы совсем налегке с нотами, будем играть какие-то коротенькие пьесы с музыкой и пением. Осталось очень мало времени, а собираемся мы из Сыромятников. Я хожу по огороду, а на грядках кучи яблоков.

Вчера слышал как Наташа говорила о «политике» всякую путаницу и про Амигрантов. То, что говорила она, я не слушал, но самый тон и постукивание кулаком об стол, все это мне напомнило С. П. И еще напомнило — продолжительность. Уж закончила, легла, нет, все продолжает. И с той необыкновенной силой и твердостью в голосе.

Сегодня Наташа сказала, что она только дома так кричать и говорить может, а то она боится трусиха большая. Ну, это уж в меня. Говорить-то я и дома так не могу, а что трусоват, это мое.

14.VI. Сон разорванный. Долго вчера не мог заснуть. И газет вечером не было, а не спалось. Комар зудел, точно плакал. Потом заснул и вижу мое рожденье. На окне у Маяковского на стекле написано мне поздравление. Как будто в Сыромятниках. И окно его в огород выходит. Приходят поздравители. Тут и Виктор с Галей и еще с

маленькой девочкой это его новая дочь. И Сергей. И Иван Ник. Пантелеев. Только Добронравова нет. И едем в трамвае и на трамвае народу — висят. Когда переезжаем мост, трамвай сворачивает с пути и идет около самого краю — перил нет и его шатает, вот-вот с моста полетим в воду. Как там в Сыромятниках меня беспокоило: пригласить Маяковского или не стоит — позовешь и не обрадуешься, так на трамвае меня мучает я-то на площадке, выскочу, а С. П. в вагоне. Из трамвая вышли. Я очутился один. Совсем темно, пошел дождик. Я едва различаю дорогу. Передо мной какой-то говорит, похож на Ив. Сер. Сокол[ова-Микитова] «ну, я останусь еще на день с Илиодором поговорю». И я вижу, как он подходит к монаху. Я стараюсь рассмотреть лицо и не вижу. И думаю, может, и мне подойти. И иду дальше. Мне встретились два монаха. «Нет, — говорит один. — Выход есть».

Наташа очень горячая. Плохо ей в жизни будет, трудно ей будет.

Нехорошие люди! Вот когда обвиняют всех простых людей только в разбое, только в кōрысти, хочется наперекор обелить даже ту тьму, которая есть. И эти обвинители обвиняют от корысти своей. Только чистый суд во имя другого чего-то большого суд праведный нам теперь права дайте — ответ на заявление, чтоб травы не мяли. Ведь он дерево, по [1 нрзб.] — ответ: из-за вас деревом сделался.

Наташа, как я замечаю, боится, когда начинается разговор о ее раннем детстве «у нас». Должно быть, это разрушает ее «[1 нрзб.]»[1].

15.VI. Вчера после газет, о событиях 10.VI сон был расстроенный. Я видел не образное, а словесное. Речь шла о клятве и присяге. И в нарушении клятвы заключалась вся суть событий. Потом я попал куда-то в какое-то училище и там нас все учат гимнастике — и учит Август Львов. Линде, учитель немец[кого] языка, а распоряжается [1 нрзб.]. Меня тоже заставляют, хотя мне и трудно делать. 1) в борьбе обретешь право свое с[оциалисты]-р[еволюционеры].

---

[1] *Было:* аристократичность.

2) в грабеже обретешь право свое а[нархисты].
Начали игру, в к[отор]ую только вдвоем играют, фильтр.
16.VI. Видел я во сне, что купил себе ботинки очень дорогие за 100 руб. А потом еще за 150 р. у Баннова в табачном магазине. Шел я куда-то, как мне казалось к Алекс[андро]-Нев[ской] Лавре с Ф. И. Щеколдиным. По дороге какой-то дом строят желтый, как игрушечный. Раскрашивает его Кустодиев Б. М. Здесь же сидит и Петров-Водкин. Я говорю П[етрову]-В[одкину] — «Художники должны поменьше рассуждать, тогда и выйдет картина!» И идем дальше с Ф. И. Ф. И. надо к Нарвским воротам. А я совсем запутался и не знаю, как показать. Тут какая-то женщина показывает: «Да вон налево!» И я соображаю, что мы вышли к Покрову. Я иду за городом. Мест этих я не знаю. Редкие постройки — памятники величайших размеров и самых затейливых. «Это строили худож[ники] Мир[а] Иск[усства]» догадываюсь. Цветов много. И иду назад: что-то напоминающее роты. Мне навстречу католическая процессия — одни маленькие девочки: поют марсельезу по-французски. Я думаю, «зачем это они поют такое». А мне говорят: «Это святая песнь». Я вхожу в какую-то прихожую, передо мной зеркало. По соседству в открытую комнату входит женщина, напоминающая В. Ф. Коммиссаржев[скую]. А муж ее инженер. Он тут же. Я вижу это в зеркало. Оба они говорят мне, чтобы я к ним пришел непременно. И я попадаю опять в город. Там Марк Карлович. У меня в руках рукопись, «Лирич[еская] проза» воззвание какое, которое написал я. И можно напечатать через инженера той дамы, похожей на В. Ф. Коммиссаржевскую. К Марк[у] Кар[ловичу] я иду опять туда. Там много народа. Танцуют. И я думаю: «в такое время танцуют!» А потом говорю себе «это весна». Среди танцующих Гюнтер. И слышу, говорит та, похожая на В. Ф. Коммиссар[жевскую]: «Слышу ваш голос и думаю, что же это вы не заходите!» Я оборачиваюсь и вспоминаю о своей рукописи.

Что такое Н[аташа]? Избалованный ребенок. Избалованный Л[идией], для к[отор]ой она единственная на свете в жизни ее цель и утешение. К[атерина] не всегда здесь, и она ее балует между прочим. От избалованности идут и капризы. Девочка капризная. Она повторяет чужие слова,

т. е. того круга, где ей приходится быть. Другие же к ней относятся скорее нехорошо, ею тяготятся. И если смела дома и своевольна, в гостях этого ей пройти не может. На нее не обращают внимания. И там она смиреет. Ласкать ее никто не ласкает. Л[идия] не ласкает, п[отому] ч[то] Н[аташа] для нее все, а при такой близости выражения ласки не может быть. Вот А[лександра] Н[икитична?] с дядей Алешей даже никогда не разговаривает, п[отому] ч[то] любят друг друга — какой же тут разговор. Л[идия] все исполняет, что она ни захочет. «Вытри губы мои» — говорит Нат[аша]. И Л[идия] вытирает. «Пододвинь меня!» И Л[идия] пододвигает стул. Н[аташа] сыплет сахару себе в клубнику столько, что едва другим хватает. А укроп берет прямо горстью и ест. Это она может. В этом ей не откажут.

Когда свинья ест, она хвостиком помахивает.
«Интеллигенция это ненормальное явление в природе. Интел[лигенция] нам не говорит правды, а если при старом строе она бывала откровенной, то откровенность ее была продажной. При катастрофическом столкновении классов инт[еллигенция] должна погибнуть», — агитатор рабочий в Харькове.
17.VI. Видел я, будто у нас Ив[ан] Алек[сандрович]. И я его угощаю пирожным яблочным. Со сковородки прямо ножом целые поджаристые круги снимаю. Вдруг слышим наверху стучит кто-то, Ив[ан] Алек[сандрович] чего-то испугался. Мы с ним тихонечко пошли в кухню (дом расположен к[а]к в Сыромятниках). Это плотники работали. — Клим! — покликал я. Но никто не ответил. «Климушка!» — пропищал Иван Алекс[андрович]. Кто-то отозвался. Да, это, конечно, был Клим. Мы пошли наверх. Ив. Ал. без пиджака с какими-то ужимками шел сзади. Там лопнул водопровод и вот Клим чинил что[-то], заколачивая стену. От лестницы по правую руку стена от окна вся в картинах. Некоторые пришлось опустить и их внизу закрыл настил. «Г[оспо]жа Персиц сказала, чтоб эти яблоки сохранить!» — показал Клим на последнюю картину, к[отор]ая особенно покосилась. Кроме Клима еще тут плотники. Клим что-то рассказывал, не помню что-то

о событиях, потом он сказал: «Главное же произойдет в пятницу на [1 нрзб.]!» Я очутился в магазине. Две продавщицы. Там исправляют мои ботинки. Приходит мальчик и говорит «Glasspapier!» Продавщица завертывает что-то и подает мне счет — лист с виньеткой, на к[отор]ой нарисованы карикатуры на евреев и написано «земская управа». Первая цифра 1 р. 60 к. и еще следует много. Выходит так, что мои ботинки не исправили, а пользуясь заказанным сделали новые и продали, а мои возвращают и с меня все деньги. Я положил счет в карман и говорю: «Я это Зем[ской] Управе покажу!» Продавщица страшно перепугалась. «Ради Бога, — говорит, — не делайте этого!» «Нет, я как русский человек, я это сделаю». Я без ботинок ушел.

Я стою в Успенском соборе. Только в Успенском соборе есть галереи, и там и стою. Тут и Виктор. Он самовар ставит. Потом я иду вниз. Тут оказывается очень много евреев. Это возмущает. Кто-то говорит. Снимите шапки. И я вижу, действительно, в шапках. И я сам в шапке. Это меня страшно поразило. Я скорее снял. Тут Горнфельд у решетки с папиросой. «Горнфельд, — говорят, — так нельзя в церкви!» Иду к Ермогену. Вижу Анна Марк[овна] и Давид Абрамович. Кончается молебен. И я с ними выхожу. Около Успенского Собора какой-то странник раздает книжки. И на одной книжке он написал что-то. И вижу подает Д[авиду] Абр[амовичу] для его соседки. А соседка его какая-то преследуемая в[еликая] княгиня, замаскированная. Д[авид] А[брамович] передает ей книги и знакомит со мной. И мы идем вместе мимо Ивана Великого к Левиным. Та идет впереди со мной. И я вижу, как вся она краской измазана, все лицо. Мне ее очень жалко. Левины садятся обедать. Я отказываюсь. И А[нна] Мар[ковна] благодарит меня за отказ. А та ест. И я очутился вдвоем с этой в[еликой] кн[ягиней], прошу у нее книжку, к[отор]ую странник ей подарил. Опять заходим в У[спенский] соб[ор]. Много военных. Ее узнают, но не показывают это, только смеются. Она мне говорит, что ей нужно к М. М. Исаеву. «Он добрый человек», говорю я. «О, нет, я у него кухаркой служила».

18.VI. Видел во сне, что я у Гржебина. Сам он страшно растерянный. Марья К[онстантиновна] обращается к П. Е.

Щегол[еву], «зачем этого офицера позвали?» «Да мы сейчас партию с ним устроим». И раскладывает ломберный столик. Я еду по железн[ой] дороге. Сел я неизвестно зачем. И знаю, долго ехать. Потом опять Гржебин. Какие-то картинки. Приходит дворник. «Вы дрова брали». «Нет, говорю, не брали». «А то может брали, да я так спросил насчет билетиков». «У меня и книжки нет, да и зачем же я буду скрывать?» Тут какая-то прислуга, не знаю я ее, показывает мне на стол, на к[отор]ом нарисована рожа и всякие крендели выведены не то йодом, не то тем желтым составом, к[отор]ым письма из тюрьмы мазали. «Это дворник, как придет, так рисовать».

С. П. видела Мих. Ив. Терещ[енко] будто желтый весь и бабушку Брешк[о-Брешковскую].

19.VI. Видел во сне Прокофьева музыканта. И еще какого-то. Другой показывал, что сочинил он. Со своими компрессами и перевязками растериваю сон.

Вчера уж были признаки разлада. Сегодня совсем плохо. Решили ехать 30-го. Если удалось бы так осуществить в мире.

20.VI. Видел во сне, будто подымаемся мы с Н. С. Бутовой, она живет на страшной высоте и около дверей ее ящик прибит. Виктор вошел в этот ящик, дернул дверь, тугая дверь, изо всей силы, растворил и вошел. И в это время увидел, что ящик-то оторвался от двери — гвозди, как зубы, показались. Я схватился за него. И не знаю что делать. Единственный способ думаю влезть в него и приколотить гвозди, но когда я полезу, я непременно полечу вниз с ящиком. Или, если начну приколачивать, ящик сорвется. И нет у меня выхода. А это на страшной высоте. И я падаю вниз.

Мы летим высоко над землею. Это маленькие вагоны. Из нашего вагона можно пройти в другой, для этого надо высунуться из широкого окна и ухитриться и зацепиться к окну другого — вагоны летят один к другому углом. Сергей так и сделал и вернулся. Просится Артамонов из сосед[него] вагона. И боится. А я все представляю себе, как бы мне этак[-то?] и сердце у меня замирает.

Сначала мы были внизу, там Ада Аркадьевна и Аркадий, сын Ариад[ны] Вл[адимировны], потом я пошел на галерею высочайшего театра. Места надо занимать с налету.

И вот я бросаюсь и сталкиваюсь с Верой Евг[еньевной] Копельман.

21.VI. Полночи не спал: была жестокая гроза. Я думал, что дождем выбьет стекла. Во сне видел, будто мы у Иды. И я должен ходить и караулить царских детей: они в белом — маленькие дети лет так 7—8, их пятеро.

Умер в Пензе 16.I Владимир Семенов[ич] Волков. Добрый человек был и заклеванный. А заклеван по женской части Привлечен в 1890 по делу послед[них] народовольцев. Сидел 2 1/2 г[ода] в крепости. Сегодня такой пасмурный день. И свежо, ветер большой. Ничего не писалось за весь день. Только рисовал, да стол прибирал. От того, что был дождь, мальчик не пойдет за газетами. Так и не узнали, чем окончилась дурацкая демонстрация воскресная Наташа сказала, что она только здороваться стесняется

Какие тучи идут валами. И очень грустно становится А птицы все-таки поют, кукушка куковала. И все утро по двору конь ходил. Еще бы, столько за всю эту жару мух всяких перекусало его. До чего скучно тут. Сегодня 3 недели. Последнюю неделю я совсем не выхожу из комнаты, только утром после чаю по нужде.

Сижу и смотрю в окно.

Ничего мне не хочется, ни писать, ни читать.

«Духовная мощь и мужество в жизненной борьбе» — требование культа Митры (победоносного Бога) — беспощадная борьба против зла, лжи, тьмы.

22.VI. Видел во сне, пришел в театр на оперу и вижу, сидит в первом ряду М. И. Терещенко. Я с ним поздоровался и сел рядом. Я прохожу с Шаляпиным к самой рампе, выходит какая-то певица, у той сдавленный голос И действительно, когда запела точно давили ее, а сама улыбается. Потом вышла другая и удивительно запела. Шаляпин ее очень одобряет. Он вынул тетрадку и пишет ноты красным и черным. Объясняет мне его способ: это новая опера. Немного он напевает. Тут появляется Сергей. Он что-то рассказывает о новой квартире, где он нас поселит. Мы взяли билеты, чтобы ехать. И поехали на вокзал. Но дорогой заехали в ресторан. Там та оказалась, к[отор]ая хорошо пела и еще какая-то очень знакомая дама. Нам же надо торопиться на поезд. И я прощаюсь с ними. Не актриса, а другая поцеловала мне руки. «Не

вытирайте, пожалуйста», — просит меня. Мы попали в кв[артиру] д[окто]ра Срезневского. Тут Виктор Рем[изов]. У Срезневск[ого] приемная в виде фонаря, как в редакции Новой Жизни. Висит образ главы Иоанна Предтечи. Он вделан в раму оконную. Я зачем-то стал раздеваться. Но Виктор заторопился, и я опять одеваюсь. «Выехать очень трудно» — говорят нам. «А главное, ведь наш поезд мог давно уж уйти!» И опять тороплюсь. Мы идем пешком. Не уверены, куда повернуть. И страшно обрадовались. Зеленый собор — это София. Стало быть правильно. По рельсам переходим со спуска в гору и идем насыпью. Вдруг какой-то мальчик. Он на меня жалуется: «Этот — показывает он на меня, — бросил коробку с порошком!» А это желтая коробка из-под банновских папирос и в ней просыпанный зубной порошок и карлсбадская соль. Я объяснил. Дальше, кажется, мы поехали уж в поезде. В П[етер]б[урге] 5 полков за нов[ое] прав[ительство] и 5 полков за старое. Те, кто за новое правительство, те за немцев. И вот теперь, мол, победят. Сегодня в первый раз загудели и затрубили жабы на болоте. Сейчас после дневного дождя, когда ветер расчистил полоску на закате, ожили птицы, и не так свежо стало.
Хотел все записать о комаре: когда потушу свет, комар звонит, точно где-то далеко бьют в набат.
23.VI. Видел во сне, будто мы были в Иерусалиме, потом на Афоне. И решили дома отслужить всенощную. Из Иерусалима у нас свечи, а с Афона забыли. Я помню коридор, где стоит распятие и перед ним красная лампада. Я сам зажег и висит подсвечник. К нам должны прийти Верховские со всеми детьми. Тут же вижу и Ив[ан] Сергеев[ич] сети чинит в углу. Думаю тесно будет. И переношусь в Грецию. Там идет война. И вижу Елизавету Мих[айловну] Терещенко, она вся заплаканная, но чему-то радуется сквозь слезы. Потом опять у нас, только я знаю, что это в какой-то глухой провинции. Я иду в учительскую. Тут профес[сор] мой технологии Як[ов] Як[овлевич] Никитинский. Учитель рус[ского] языка со мной здоровается. Идет спор: хотят вычеркнуть Гоголя. И когда постановление совершилось, я вижу, уж на улице, на балкон вышел прапорщик, поднял знамя и сказал: «Запрещаю выходить на улицу и собираться в собрания!» Я, Господи, а как

же служба-то, всенощная. И опять переношусь в коридор: вижу, как Сергей молится. Потом о. Гавриил: он рассказывает, что на Афоне его исправили и он может сноситься. «Пойдемте, — говорит он Сергею, — поищем». Народу к службе собирается много. Тут и Ф. И. Щеколдин. Кто-то рассказывает, что Сергей помер, он совсем поседел и помер.

А увидеть домового надо в великий четверг, понести ему творогу на чердак. Так и сделала одна, видеть его не видала, а только ощупала — мягкий. Если он скажет: у-у-у! — это хорошо. А если скажет — е! — плохо.

Одна баба не велела сор из избы выметать, а велела заметать в угол. А в великий четверг, когда осталась одна, надела белую рубаху, и плясала на этом сору.

К другой бабе прилетает золотой сноп: прилетит и рассыплется.

24.VI. Полночь. Цветет папортник. Лунная холодная ночь. Очень ярко запечатлелись в сне моем две наши прислуги и обе ужасные, как ведьмы [1 нрзб.]. [1 нрзб.], к[отор]ая ушла, когда меня посадили в госпиталь и та которая за ней безулыбная Прасковья Пименова. Но я помню, как я их видел.

Вижу Клюева. У нас такой инструмент, к к[отор]ому никак не подойдешь, не то это арфа, не то гусли. Клюев объясняет. Потом появляется Романов и Жилкин. Какие-то материи рассматривают. Я один сижу и со мной Наташа, только гораздо меньше, чем она есть, и слушает она меня — рассказываю ей о нашем простом роде. Потом видел чисто словесное: деление состояния души. Помню исключение, к[отор]ое я прохожу. Таганка. Мы подымаемся с Земляного вала. Играл сегодня в карты: в короли, в ведьму и в возы. И Наташа в первый раз в окно, проходя мимо, заговорила со мной, спросила меня сколько времени прошло. И кланялась как всегда.

25.VI. Лег я в 12-ь. Проснулся, еще ночь и с ужасом слушал ночь: это была какая-то ведовская песня: женские охрипшие голоса и врозь с мужским. Я долго слушал: голоса скакали, крутились «катали», как тут говорят, т. е. били — купальская песня.

Во сне видел, задано два сочинения по рус[скому] и по зак[ону] Божьему. Законоучитель о. Геннадий Виноградов

читал какую-то молитву с особенными ударениями. Все стояли на коленях. Я отдельно за колоннами, тоже стал. Я думаю, что поп чего-то затеял, чтобы о нем говорили. Потом иду в очереди на Земляном валу, иду справиться о моей рукописи. И все не так делаю: меня много перегнало народу. Вижу Шурочку Розанову. Она уже получила ответ, что принята. И вот дом какой-то. Хозяин дома напоминает покойного Ф. Ф. Фидлера. Я иду по лестнице. Лежат на кроватях: Свирский, Рославлев, Котылев. «А! — говорят они, теперь вы у нас будете! С нами! С нами!» Им это по душе. Иду дальше. Вижу Митропан и с ним какая-то женщина. Митропан показывает на руку. «Тайный знак, — говорит он, — тайный знак!» Иду дальше. Тут Кузмин. Он роста, как Рославлев и с черной большой бородой, он говорит, что ему в школу прапорщиков нельзя поступить. «А как же, — говорю, — Пяст?» «А он готовится», — отвечает кто-то. «Тайный знак», — вспоминаю. «А вас в Обуховскую больницу положат на испытание». Я спускаюсь вниз. «По глазам, — думаю — зачем же в Обуховку?» Виктор объясняет, он слышал, как надо это делать: «надо, — толкует он путанно и несурьезно, — натощак выпить бутылку коньяку». И выйдет результат. Но не понятно, не то человек совсем ничего не будет видеть, не то это для общего ослабления. А потом, я ведь не могу выпить бутылку коньяку.

26.VI.1917. Вижу, будто на площади примостились мы в каких-то палатках, площадь длинная, как у Сухаревой. Пасмурный день. И на довольно большом расстоянии от нас мучают — это особенная издевательская казнь, куда входит все и четвертование и уколы, такое, до чего не додумалось ни одно и самое жесточайш[ее] правительство. Это творит свой суд чернь. Измучают жертву, умертвят и показывают. А те, кто это делает я видел лицо одного — полная застылость на лице и равнодушие: как карандаш чинят, как стругают мясо.

Все мы в страшном волнении и возмущении.

И идем мы домой. Воскресенская площадь пустынна. Вдруг несколько городовых. Один ко мне. Он говорит мне: у вас будет обыск, ваши рисунки подсмотрели. И побежал. Я понимаю так что они бегут туда на площадь казни, а обыск у меня сделает чернь.

В каком[-то] коридоре. Мне предлагают надеть пальто студенческое. А есть и другое рваное пожелтелое. Я в это нарядился. И пошел домой. Я вошел в дом. Там кровать стоит. И свалены вещи около. Это Сергея кровать и вещи. В Сыромятниках. Хочу дальше идти. Дверь заперта. Ищу ключ. Ночь. Чуть освещено керосиновой лампой. Над дверью широкое стекло. И вдруг слышу: караул-ул-ул! И чьи-то голые ноги сверху на меня.

Я проснулся.

Мы у Садовского Б. А. Он в свою комнату нас не приглашает. Ходим в прихожей. Потом я иду на нашу новую квартиру. Оказалось из моей комнаты есть ход (стеклянная дверь) прямо на волю. «Как же, — думаю, — до сих пор мы и не знали про этот ход!» Я иду за стулом. Через коридор иду мимо чужих квартир. Все стеклянные. Взял стул и назад. Спускаюсь по лестнице. А за мной какие-то горничные. И одна напевает: Вера Степановна. Я спрашиваю: «Гриневич?» «Нет, смеется, наша!»

Видел В[арвару] Фед[оровну]. Она вышла замуж за третьего. Ей 40 лет. Сергей очень обижен: его чести, будто бы, лишили. «Ну, что ж пустяки, говорю, это не так и причем честь!» У В. Ф. родился ребенок, которого показывают.

Никакие и самые справедливейшие учреждения и самый правильный строй жизни не изменит человека, если не изменить в душе его, если душа его не раскроется и искра Божия не блеснет в ней. Или искра Божия блеснет в сердце человека не надо головы ломать ни [о] каком учреждении, ни о каком строе, потому что с раскрытым сердцем не может быть несправедливости и неправильности.

27.VI. Что видел во сне, ничего не помню. Вчера вечером началась жесточайшая пилка, коя возобновилась с утра. Куда уж тут что помнить. Все потому, что из дому нет вестей. Ив[ан] Алек[сандрович] Ряз[ановский] клялся и божился приходить каждую неделю и писать. И прислал всего 1 письмо, да не из квартиры. И как в воду.

Да вспомнил и сон. По соседству с нами был пожар, который залили: у нас только стекла побиты. И соседи

наши, где горело, немцы. Мы к ним зашли. Я поехал на автомобиле с Борисом Сувориным. Я написал какую-то пьесу, к[отор]ую надо отдать напечатать. Тут Котылев появился.

Вины мои вот в чем: 1) доверился Ив[ану] Ал[ександровичу], а надо было, чтоб швейцаровские девочки писали. 2) положено для облегчения багажа полотенец меньше, чем надо 3) не взята большая картонка. 4) уверял, что паспорт отдал Машин, а на самом деле не отдал, у себя в кармане носил 5) на вокзал надо было ехать не в 3-и часа, а в 4-е. Вот эти самые пять вин, как зубья.

28.VI. Видел во сне, будто каждый из нас должен нарисовать проект воздушного корабля. И все мы идем по очереди со свитками, где эти корабли нарисованы. И летим. И все ничего. Но потом надо, оказывается, непременно в Романов-Борисоглебск. И как прилетели туда, оказывается должны делать экскурсии в окрестностях на 500—600 верст. Лететь вверх отвесно, очень тянет всего, но вниз ужасно. Я был один на самом дне. Весь корабль сделан из тончайших пластинок на железных рельсах. Корабль остановился над широченной рекой, повис. Я смотрю и сердце замирает. А кто-то говорит: «Виктор Ремизов, находящийся на противоположном конце, забеспокоился, а А[лексей] Р[емизов] боится!» Погода пасмурная. Куда мы не прилетали, везде опаздывали: поздний час, все закрыто.

Потом видел какой-то спектакль. И мне дают трико, к[отор]ое я должен передать. И я сижу с розовым триком дурак дураком. Видел там Николая Рем[изова].

И еще шел я куда-то и мне навстречу Аверченко. Я сказал ему, что я давно с ним хочу познакомиться. Так [1 нрзб.] дружески мы с ним разговаривали.

А проснулся я совсем разбитый. Да еще видел, просыпаясь [?], Успенский собор в Москве.

Я с тобой и двух слов не сказал, я только смотрел да здоровался, когда ты проходила по двору. А слышать я много слышал, как ты говорила. И очень мне понравилось, с какой горячностью ты за интеллигенцию заступалась. И в этой горячности твоей мне почуялась сила твоя и разумение. Я подумал: в тебе есть дух жив, как в твоей маме (к[отор]ую ты называешь С[им]ой). И кулачками

также стучишь, когда очень уж за сердце возьмет. Вот мне и захотелось написать тебе, рассказать тебе о тебе же. А ты мне ответь, получила ли письмо. Я тебе еще напишу.

Родилась ты в лунную весеннюю ночь, когда началось цветение каштанов. Жили мы в Одессе на Молдаванке, это самая заброшенная часть города, где ютится одна беднота. Занимали мы одну комнату и очень тесно было. Хозяйка, когда ты родилась, была недовольна за беспокойство, и все ворчала. Тебя положили на мою енотовую шубу. И помню я красенький дышащий комочек и все ротиком ловишь. А я на тебя так, как на Плика: подожди, мол, немножко, потерпи, дай мама отдышится и тебя накормит! А ты сморщишься вся, вот-вот закричишь, а под моими уговорами и затихнешь, только ротиком все ловишь, точно мушку поймать хочешь. Мы очень бедно жили. До масленицы служил я в театре в Херсоне. А в Великий Пост в Одессу переехали. И жалованья мне никакого. Я тогда только-только выбивался на трудной дороге писательской. И шел своим путем. А это очень трудно.

29.VI. Петра и Павла.

Видел какую церковь не в России служба предполагает. В пределе в левом (два только и есть) церковь необыкновенно светлая. Все молитвы читает С. П. Сначала так: священник задает вопросы, на к[отор]ые отвечает С. П. Только очень тоненьким голоском. Потом она выходит к амвону и там читает. Все по-русски.

Мы находимся в каком-то городе. Похожий на Д. В. Философова вертится около нас: он говорит, что может достать лаку: он весь заросший чернейшими волосами: только полноса белая кожа и часть щек. Он говорит, что знает средство, как окрасить волосы. В училище. Учитель географии Геровский. Тут же всеобщая гимнастика. Видел во сне Мих. Ив. Терещенко. Он меня назначает на какую-то должность. Потом [1 нрзб.] Ал. Мих. и Тамару Мих. Мы в Киеве. Начинается всенощная. Поет тысячный хор: Благослови душе моя Господа. Мы не в церкви, а далеко стоим под [1 нрзб.] деревом. И как-то еще № 1072.

Наташа во сне видела корж, очень вкусный — соленый.

Вчера во время грозы, когда сделалось темно. Небо стало водянисто зеленым — шла грозовая туча. И сказали, что светопреставление, Нат[аша] забеспокоилась. «Никогда еще я не любила и есть нельзя будет. Вы уже пожили. А мне 15 лет!»
Н[аташа] очень способна. Я слышал, как она учила по-латински. Как она скоро усваивала, разбиралась в грамоте. Н[аташа] ни о ком не заботится, только о щенятах и беспокоится.
Вечером вчера после чаю играли в карты с Нат[ашей]: в короли и в ведьмы. Очень душно было прямо невмоготу.
Видел во сне нашего хозяина. Оказывается есть галерея с садом. Так как очень жарко, я туда на ночь и ухожу. А это стоит больших денег, [1 нрзб.] это сказал швейцар. Но я ничего не плачу. В нашем же доме живет Добронравов Леонид. Зашел к нему, у него мать его сидит. Угощает обедом, много варенья. Когда я проходил по коридору, со мной встретился какой-то маленький красенький, на Беленсона похож. «Не хотите ли сняться?» «Хочу», говорю. «Я снимаю только нагишом». «Нет, нагишом не согласен!» У Добронравова гости еще были: Алек. Алек. А я пришел звать его петь. Я встретил там же в коридоре музыкантов.
3.VII. Видел во сне, будто вышел из меня кал, а девать его некуда, я завернул в газетн[ую] бумагу. Никакого кального признака отвратительного не было, и с живота снялись какие-то шкурки сальные и волосатые. Я почувствовал странное облегчение. Мельком видел докт[ора] Афонского. Я сел на огромный корабль. И все ходил по палубе. Когда хотел спуститься в каюту, оказывается попал в такое место, откуда прыгать только в воду. Конечно, можно там какие-то лестницы. Но мне кричат: прыгайте в воду. Я стоял нерешительно. Видел воду и пролет, куда я попаду, если не удержусь. Вода зеленая и быстрая. Пошел по палубе и почему-то сказали про меня, что я индеец. И меня окружили индейцы. И уж иду я с Сергеем по улице. Около церкви открытый алтарь. Там священник около царских врат предсказывает, у него волосы в шпильках для завивки. Перед ним женщина. Он ей говорит что-то. Сергей подошел первый. За ним я. Он посмотрел на меня и говорит: «посмотрите сколько видимой скорби и искания, а на самом деле на индейке женился!» Тут я

вспомнил, что я на корабле был индейцем. Вижу, действительно все знает и стало мне очень грустно за свою мелочность и [2 нрзб.]. И слышу, как говорит С. П. «вот это настоящее». Я вижу и понимаю огромную разницу и иду один в Москву к часовне Боголюбской. Меня останавливает женщина старая и с ней черномазый: это Тиняков + Пи[мен] Карпов + Абрашка такой в Пензе был. А женщина его мать. Они меня ждали. Тиняков говорит: «Между нами было одно неприятное, к[отор]ое всегда оставалось. Теперь я сдал экзамен. И вот говорю вам. Теперь я свободен».

Видел во сне, я наверху, где на вышке влево отгороженной рисует Головин А. Я. и еще два художника. По соседству пожар. А они рисуют. Уж когда задымилась стена, они выскочили. Я говорю: «Что же это вы, от вас все видно и вы так спохватились поздно, ведь это же вещи все сгорят!» Мы спустились вниз, там проходы, как на Никол[аевском] вокз[але]. Говорят, что огонь проник и в нижн[ие] помещ[ения]. А внизу мои книги и рукописи, все. Но туда пройти нельзя. Тут вижу Ф. И. Щеколдина и Рузского Н. П. сидят у столика чай пьют, о чем-то рассуждают.

Я вхожу в наши комнаты: ничего нет, одни стены обгорелые. Я думаю «и „Лейла“ пропала и „Табак“». А ведь могли бы спасти. Другие (соседи) успели вынести. В соседней комнате Бялковский объясняет что[-то] по карте П. Е. Щеголеву. Тот слушает с недоверием. Я-то понимаю, а Бялковский нет и вовсю старается. Появляется Гржебин. И я остаюсь с Горьким. Обедать надо. Я очень легко одет, у меня мои походные заплатанные штаны, а пиджак новый. Я смотрю на Горького и не знаю, что сказать. «Вот,— говорю, — А[лексей] М[аксимович]!» и улыбаюсь. Опять Гржебин. Он рассказывает, как у него все погорело.

Я прохожу по коридору. Очень много народу, как на вокзале. Заглянул на себя в зеркало. Вид у меня непохожий: я в колпаке и вылитый Демьяныч.

5.VII. Видел во сне, покупал старинную книгу с миниатюрами. 50 руб. стоила. Когда ее раскрывали, голоса слышались: сначала урчание, а потом хор и музычка. Купил ее Сергей. Я ему 25 руб. дал. И еще раз возвращался

к букинисту — лавка огромная с переходами. Еще присматривал книгу. Но они по-моему новые [?] и не купил. Прапорщики хозяйские дети штук 7. Совсем еще молоденькие. Идем по Москве, я хочу Сергею показать Николу в Толмачах. Подписка на заем. И торговец немец. Не можем найти выход. Потом будто в комнате, в к[отор]ой сижу уж 35 день в заточении и С. П. тут. И слышу зовет кого-то покойная А. Н. Мы присмирели. Проснулся. Кто-то кричал ночью. И под окнами точно через забор прыгнул кто-то. Еще видел Неглинный проезд. Толпы народа. Праздник.

Сейчас приходили нищие с кобзой. До чего стариной веет.

6.VII. Всю ночь снилась О. М. Персиц. Она была ко мне необыкновенно ласкова. И я боюсь, как бы в действительности не произошло другого. Видел еще, как иду я по улице и хочу сосчитать кред[итные] бил[еты] их у меня пачка. И около двери, где сидит ночн[ой] сторож, как это случилось не знаю, а потерял я кредитки. Спрашиваю у сторожа: «не положил ли я вам случайно в карман?»

7.VII. Видел во сне Иванова-Разумника. Он очень растерзанный. Он написал какую-то статью, к[отор]ая очень понравилась Шестову. Я ему это сообщаю. В магазине в рядах в Москве, я лимон хочу купить, а мне дают брус[ничную] эссенцию. Закрывают магазин. Кричат: погнали на войну! Я вышел: едут на конях гимназисты. Сон был очень прерывен и тревожен. Вчера понаехали сюда гости. И один ночевал по соседству. Вчера получил «Киев[скую] мысль» от 5.VII с описанием петербургских событий 2—4.VII. Поздно лег, а заснул и того позднее.

8.VII. Казанская. Вчера получил «К[иевскую] М[ысль]» от 6.VII. с описанием петербургских событий от 5. Все живо представляю себе.

Видел во сне И. А. Рязановского, будто приезжает он к нам из Пб. с докладом: он очень измятый и унылый. Потом театр. Я должен тоже играть. Суфлера я не слышу, а говорю свое. Наконец, надо же уходить. И слышу аплодисменты: вызывают. В студенческом мундире выхожу, кланяюсь.

Вл. Вас. Воробьев [?] проходит по коридору. Это баня.

Я занял № и еще один № для Бурлюка к[отор]ого ждет С. П.
А С. П. видела во сне большевика с одним зубом посередке.
Пришли «Р[усские] Вед[омости?]» от 5-го, а «Речь» от 4-го.
9.VII. Видел во сне Балтрушайтиса. На вокзале обедали. И Н. М. Рем[изов и] Добронравов. Попал в какой-то дом, лезли на верх с таким трудом, а спустились сразу. Спутник мой огромный добродушный человек. А нам говорят,— «вы попали в публич[ный] дом!» Вот тебе и раз.

После вчерашних газет долго не спал, все думал. И по-другому еще думал. Пасмурно. Ветер. Удастся ли сегодня высвободиться из горчайшего нашего лета?
Вчера зашел разговор, что началось все захватом. И Черн[явского] Б[ог] наказал. А я подумал, Бог не накажет за то, что напр[имер] захватили чужого ребенка?

Чего у Наташи нет, это совести. Пока [она] совсем закрытая для других. Самое большее есть у нее еще дверка к щенятам, но к людям нет.

Ессентукский документ

Я ниже подписавшийся московский купец варшавской фирмы «Свет» по взаимному соглашению с Марьей Степановной Крюковой решили жить гражданским браком, а потом я обязуюсь выполнить следующие условия:
I) во время пребывания на курорте в Ессентуках выдать ей за месяц с 10-го августа по 10-ое сентября пятьсот (500 р.) рублей.
II) когда переедем в Москву, я буду выдавать, пока не будем жить вместе, по 500 руб. в месяц.
III) В обеспечение ее дальнейшего существования я обязуюсь за каждый прожитой год со мной выдавать ей или вносить на ее имя в Государственный или частный банк по 5.000 руб. (пять тысяч руб.), начиная считать первым годом с 1 августа 1917 г. по 1-ое авг. 1918 года, если между нами не произойдут разногласия.
IV) Если Марья Степановна Крюкова пожелает взять своих двух дочерей, я согласен и обязуюсь дать им полное содержание и воспитание, а также обеспечить их в будущем.
V) в случае моей смерти я завещаю ей, как гражданской жене, ту часть моего состояния, какая полагается по закону гражданской жене.

VI) Марья Степановна Крюкова со своей стороны обязуется быть любящей и верной гражданской женой, а кроме того обещает она, пока не будем жить вместе, приходить ко мне каждый день

Тадеуш Лаврент. Двор.

Я ниже подписавшаяся на все выше указанные условия согласна и обязуюсь все исполнить, как честная гражданская жена.

IV
Ростань
10.VII — 25.X
1917

Чернигов

10.VII. Вчера поздно вечером приехали в Чернигов благополучно через [1 нрзб.]. Остан[овились] после 11 ч[асов] в гост[инице] «Москва» № 15. Видел во сне Сологуба, Ан[астасию] Ник[олаевну], Чернявского. Будто у нас квартира и одна только теплая комната, там у нас столовая. Я несколько квартир пересмотрел. И все так. А около одной оказалось кладбище. Сегодня первый день в Чернигове. Утром пошли в собор к Феодосию Углицкому. Служба уж кончилась. Какой-то старик священник молился у раки: очень горячо молился. Мне нравится белизна стен собора: белая, белая, как мазанка здешняя. В лавках пусто. Где распродано, а где и вовсе нет ничего. Я проводил С. П. и вернулся в гостиницу. И сижу тут в размышлениях. Пить очень хочется.

Что делают? Россия гибнет. Бесталанность, малоумие и мальчишество. А про любовь к России не услышишь.

11.VII. Поднялся чуть свет 1/2 6-го. И сон не помню, чтобы рассказать. Одно помню: видел Керенского. И что-то С. П. мне от него передавала. Проснулся так рано и от дум всяких и от клопов. Да, еще видел Аничкова.

12.VII. Вчера после праздного дня и нерешительности: куда же дальше-то в [1 нрзб.] или в Москву или в Киев? — стало тревожно. Сны наползали и пропадали. Видел Ал[ександра] Ник[олаевича] Найденова, Ивойлова. Какой-то человек упрекал меня, что я не желаю рассказать ему о китайцах. А я, ей-Богу, о китайцах ровно ничего не знаю.

На воле ветрено. Иззяб ночь под простыней. И такое было чувство, лучше бы подольше не просыпаться и не решать.

13 июля. Ничего, ничего не помню, что и во сне видел. Почти не спал.

Москва

15 июля (суббота). Боже, что мы претерпели в дороге. Неужто такая незадача от [1 нрзб.] 13-го числа! Из Черниг[ова] выехали благополучно тут, не доезжая до Крут, поразил меня обход солдат. Они проверяли документы у евреев. Нынче все едут как кому вздумается хочешь в 2 классе, сделай милость, садись. И диких [1 нрзб.] было в нашем вагоне не мало.

Чем-то старинным повеяло, как вошли трое с ружьями и один из них протягивал руку к фонарю совсем по твоему лицу.

В Круты приехали 11-и еще не было и 1/2 5-го ждали наивно поезда билеты нам выдали, а мест не оказалось. До 3-х мы стояли в проходе.

1/2 3-го пробило. Я проснулся и С. П. мне сказала: все ложь! И мне снилось, будто снимаю с себя платье за платьем...

Продолжаю. Мы сначала сели в М[еждународный] ваг[он], потом в 1 кл[асс]. Мы стояли в коридоре около нужного места куда за полдень. Потом перекочевали в корид[ор] внутри вагона. И тут расположились кое-как. И весь день и ночь 14-го прошел в [1 нрзб.]. Ночью у меня страшно заболела голова. Казалось, не хватит сил вынести. Приехали в Москву 15-го в 1 час дня. На извозчике за 14 руб. поехали в Таганку. И вот опять ночь, я окропил кровати водой от тараканов — какая это ночь [2 нрзб.] пошла.

Республику еще никто не установил, а республиканские войска бегут: тут напрасно одних больше[виков] обвиняют, ведь жизнь-то одна мало кому охота помирать. А есть, может, и такие, в прежнее время пошли бы, а теперь... слушаться-то кого нынче. Ведь коли бы правда была... На власть рев[олюционной] демок[ратии] посягнули не безумные, а сама власть рев[олюционной] демократии.

Легко сказать: в подъяремных рабов и «темные силы»! Терзает родину неумелость, недуманье о родине, и все

равно наше, а главное узость и замкнутость партий. И уж правду сказать, потерзали порядочно и доканают. А подъяремные рабы рабами и остались. Откуда же рабу и измениться. И ведь вот, палкой опять загнали в окопы. За эти месяцы столько было совершено насилия и не «темными силами», а партиями. Вспоминаю выборы у нас, ведь это один сплошной культ от спасителей револю[ии]. Был порядок, да сплыл и ужасы позорного строя все время перед лицом нашим. И никто на Руси ни в чем не уверен.

Да уж худшего, что есть, едва ли и было когда. Реки крови льются; убийства, насилия, грабежи, тюрьма, каторга, все есть, все, все. Промышленность остановилась, голод, свободное слово задавлено, о совести что говорить, ее нынче никто не признает, да и нет ее. Такая «русская» свобода не дорога. И никто не дорожит ею. [1 нрзб.], хватают, кому надо для разбоя, насилия, всего, что хотите. Только это совсем не называется свободой. Порядок нарушен, [1 нрзб.] убита, [2 нрзб.] нельзя было провести! — Видят сучок у сос[еда] в оке, а в собствен[ном] бревна не чувствуют.

12.VII. 16 и 17.VII. 18.VII. Такие ночи, ничего не вижу. Тараканы, тараканы и хозяйство. Так измучился, как будто мешки таскал. И мученью нашему еще не мало дней. Завтра всего 19-ое.

[4 нрзб.] 3 вязанки соломы без хлеба.
Вся память во мне отошла.
Устин колдун язык высунул и приобщал Микита Савельич.

19.VII. Видел во сне m-me Ростовцеву, только на Ростовцеву не похожа совсем.

любит навозить
росный ладан повесили
он ее крючьями под печью простит ли ее Господь
все кости гремят Устинья *Кандевна* (Киндеевна)
Плачужная канава разделен [?]
святые [2 нрзб.]
он детьми меня обвязал (*гориться* одной приходится)
домовладыка царствовать два царствует
если в 17 год люди не покаются кровавый мор
Б[ог] накажет через 12 лет [2 нрзб.]

20.VII. Ильин день. Видел во сне А. Д. Нюренберга. «почти даром» 20 ш[тук?]. 18 к. 35 к. они видели, они и в ответе

21.VII. 22.VII. Такая идет жизнь, дорвешься до кровати, заведешь глаза и как убитый.

Был на всенощной в Успенск[ом] соборе и Ив[ан] Вас[ильевич] Жилки[н].

23.VII. Видел во сне Пришвина. Пошел дождь.

24.VII. Много видел во сне снов, но ничего не припомню. Ночью была гроза настоящая: сначала гром гремел, потом запустил дождь.

25.VII. 26.VII. Виделся с А. Н. Толстым, очень он взволнованный

1) огненная мать-пустыня — на своей воле
2) саранча — нападь и провал
3) пряники
4) [2 нрзб.]
5) хвост неподобный
6) тощета

31.VII. Сегодня уезжаем из тараканника.

Ессентуки

1) *2.VIII (среда).* Сегодня рано утром приехали в Ессентуки. («Личное оскорбление». «Совесть не позволяет»)

2) *3.VIII (четверг).* Никак не можем устроиться. Были в Кисловодске, хлопотали о билетах и ничего не выходит.

3) *4.VIII (пятница).* Началась моя всегдашняя ессентукская беда: захворал. Вчера еще были признаки, а сегодня совсем плохо. Воздержание от еды — единственное средство. Видел во сне Лидию [?] Акимовну.

4) *5.VIII (суббота).* С 30-го живу под ножом. Моя неосторожность (необдуманность) сделала такое положение. Переношу терпеливо, как возмездие.

5) *6.VIII (воскрес[енье]).* Видел во сне Н. П. Афонского, Вильямса. Вильямс меня спросил: «как поступить с вашей квартирой, передать ли ее частным лицам или обществ[енному] учреждению?» В П[етер]бурге безнадежно. Я держал экзамен по гимнастике. Какое-то поле. Телефон. Я не спрашиваю, за что это мне? Я знаю, за что это мне. Иногда кажется, нет для меня искупления и в такие минуты думаю я: хоть бы под колесо попасть, чтобы раздавило и дух вон. Ну, как мне других судить. Всякий

осуждаемый поступок кажется мне несоизмерим с моей жизнью и делами. В душу я себе наплевал. И душа моя изъедена вся. И вот — нет, я не спрашиваю, за что это мне. Знаю, сам сделал, во всем сам виноват. Какая может быть душа оплеванная — дрянная душонка, да и человек дрянцо. Но мне хочется на свет, хочется выкарабкаться, хочется быть другим. Какая это тягота жизнь такая. Нет, никого не виню. Все сам сделал один, один. Самое-то ужасное, что от этого *ни за что* другой мучается. И до смерти мучиться будет. И если бы колесо меня переехало, от этого не легче: я видел бы, как другой-то мучается. Самый отъявленный предатель и последний мерзавец в жизни выше и чище меня. Вот проходят годы — мне ведь уже сорок лет — а грех мой, как тень за мной. Я все делаю, чтобы убить эту тень и бывает, будто освободился, и вдруг опять. Душа моя изъедена. Все готов принять, только бы не быть в тягость другим. И как мне писать? Знаю, что надо и не откладывая. А рука не подымается. Утра боюсь. Знаю, что оно принесет мне. Душа изъедена, дух погашен. Как рана. И нет, не вижу искупления. Все прощается, а такое помнится. Думал, избуду. Ничуть. Все сначала. И думаю, до смерти не избуду. И только когда совсем закрою глаза, может быть, тогда. А ведь, я думал, что можно. Думал, с годами, а главное болью можно загладить. И как ошибся. Господи, зачем это я сделал? Только и могу сказать: зачем это я сделал? Но за что, я не скажу. Вот она какая вина-то бывает на всю жизнь, до последней минуты. Когда я рос я и не предполагал такого, что может случиться со мною, и в один прекрасный день плюхнулся в грязь и завяз. Я был гордый и осудительный, а как завяз и голос пропал и не смею. Хоть на четвереньках ползи, да чтоб тебя сзади постегивали и пинали, только бы был срок, чтобы после стать и смотреть прямо и сметь. Жутко подумать. Зачем это я сделал? И сколько горя принес. Ни за что. У других не так. Все чище и лучше. Послушаю, все чище. И как это я по земле хожу и земля терпит. Или уж земля давно оттолкнула меня и отмстила?

6) *7.VIII. (понедельник).* Перешли в старую нашу комнату 341.

7) *8.VIII (вторник).* После вчерашнего разговора сон неровный. Не помню. Живот болит. И все по-старому.

8) *9.VIII (среда).* Видел во сне: во всех магазинах продается табак Стамболи. С. П. видела, как поехали в Индию: она, я, М. М. Исаев и М. В. Исаев и брат Ник[олая] II Александр. Все время думал ночью о судьбе Государя. Это жестоко — выслать в Тобольск. Поразила меня своей трусливостью речь Керенск[ого] и Авксентьева с.р.д. Живот все болит. Сегодня началась забастовка. Чаю нет, дали сырое яйцо и хлеб. Прислуга комнату не убирала. Вышли все папиросы. Курю сигары, какие захватили. Развал и распад.

9) *10.VIII (четверг).* Очень плохо себя чувствую. Во сне видел скандальную историю с переводом драмы, к[отор]ую я будто бы списал. Говорят о необыкновен[ной] стройности и порядке похорон жертв революции, а забывают, что в Саратове в хвосте перед [?] [1 нрзб.] — была куда большая стройность и порядок.

10) *11.VIII (пятница).* Забастовка кончилась. Сон плохо помню. Очень уж измучился.

11) *12.VIII (суббота).* Видел во сне: поехал я к Переверзеву, забыл адрес, попал к Гуревичу и вышла путаница. Покрали кружку: поставил греть у источника и покрали.

12) *13.VIII (воскресенье).* О билетах дума. Не припомню, что и во сне видел.

13) *14.VIII (понедельник).* Вижу во сне, будто говорят: что вы о билетах думаете, с 12-го всеобщая забастовка. Погубили Россию. Неумелость, бесталанность.

14) *15.VIII (вторник).* Видел во сне В. В. Розанова. Были мы у них. Потом собираемся домой, говорят: «в Тавріч[еском] дворце пожар!» И уже стоим мы около палатки и в нас стреляют немцы. Потом вышли. Тут я понял, что Петербург взят немцами.

Получили речи Госуд[арственного] Совещ[ания]. Какая бедность у Керенского. И пустота у Авксентьева. Россию забыли. Не революция. Россия. Да Гриша убиенный нашел бы слова. А утром бы [1 нрзб.] интеллигенты.

Повара забастовали и швейцары.

Сегодня за ужином вошел офицер (сосед наш с Георг[ием] офиц[ер]) и пошел с фуражкой — учител[ю?] франц[узского]. А учитель-то франц[узского?] тут же ходит со

свидетельством. Куда офицер и он за ним, со свидетельством. Горло подвязано. «Ой, какое уничижение».

15) *16.VIII (среда).* Видел во сне Городецкую и Наташу.

16) *17.VIII (четверг).* Не могу забыть того учителя франц[узского] для к[отор]ого собирали. Долго не мог заснуть.

17) *18.VIII (пятница).* Вижу во сне, будто вхожу на собрание. Председательствует Лансере. Сколько раз посылали повестки, а никто не являлся. Тут же Пяст с вечерней газетой. Я у него ее отнимаю. Перерыв. Я вышел в другую комнату. Тут маленькая девочка — дочь А. Н. Бенуа. Она мне дает засахаренную грушу. А Ан[на] Кар[ловна] сидит грустная. Я ее успокаиваю. Девочка, передавая мне еще какую-то игрушку, говорит о Толстом Д. А. А[нна] К[арловна] ей возражает: «А. М. не получил такого образования и занять это место никак не может». Я собираюсь ехать. Дождь.

18) *19.VIII (суббота).* Видел во сне Л. [2 нрзб.]. По воде мы с ней ехали.

19) *20.VIII (воскрес[енье]).* Видел во сне В. В. Розанова.

20) *21.VIII (понедельник).* Ночью была гроза. Сейчас темно. Первый пасмурный день. Видел во сне Сомова. После истории есаула Нечаева и пол[ковника] Сахарова появилось сообщ[ение] о контрревол[юционном] союзе Георг[иевских] кавал[еров]. Тут дело не без подтасовки, чую. После чтения речей госуд[арственного] Совещ[ания]. До чего у социали[стов] оберегающ[их] революц[ию] погашение духа. До чего характерна речь Брешк[о-Брешковской] по злости и лжи, злопыхательству и ненависти. Забывают о духе. — стыдно и грех, за рукав тащут, не поступишь в союз, тебя господа мешком накроют, готовы шкуру содрать совсем.

21) *22.VIII (вторник).* В 5-ь часов встал. Всю ночь всякий час просыпался. Вновь ужасный сон. Может, это луна, к[отор]ая прямо мне в лицо. Видел, будто Чулков читал драму. Я ее хорошо помнил, I акт, теперь забыл. Знаю, появляются ведьмы. И они явились. А Чулков стал раздеваться: он снял холщовые штаны закорузлые в подозрительных пятнах, он их снимал через голову. Ф. И. Щеколдина видел. Переезжали на новую квартиру. Боже мой, как это было страшно: лица этих ведьм.

5 минут осталось. Сейчас еду за билетами в Пятигорск. Разговор: Матрос англ[?]. В России не люб[ят] России, солдаты шли из-под палки. А когда палку взяли они и разбежались. Солдат: не все.
[1 нрзб.] папиросы 2 к. в раздробь
22) *23.VIII (среда).* Видел во сне Алексея Толстого. Сейчас еду в Пятигорск за билетами. Билеты взял. Но весь разбит и изнемог. Вчера, когда стоим мы в очереди за письмами. Еще и гостин[ицу] не отпирали (касса помещает[ся] в централ[ьной] гостин[ице]). Подходит девочка подросток, д[олжно] б[ыть] нянька и две маленьких девочки. «Запишите», просит она. «А вам куда ехать?» «Никуда». «Зачем же вас записывать!» «Запишите», просит девочка. «Да куда, куда?» «На материю». «Не обманешь, не купишь!»
23) *24.VIII (четверг).* Видел во сне, будто живем мы в Зимнем дворце. Там же и Разумник. Но когда нас поселили, он ушел. Там одна осталась горничная дворцовая, и вещи все целы.
Накачается на шею, в острог попадет. Красносотенник.
Когда [?] ехали в поезде: «Когда лучше было при царе или теперь?» «И тогда и теперь». «Нет, не так, теперь хуже стало. Я возьму у тебя мешок и мне ничего не сделают а при царе ты меня в суд».
Взята Рига, оставлен Двинск, арестов[ан] Мих[аил] Алекс[андрович], уморили Штюрмера.
Я сегодня понял, что больше всего люблю я танцы. Как они красят самого обыкновенного человека, как подымают его и сколько в движении красоты.
Речами Керенского кричит умирающая бессильная революция.
24) *25.VIII. (пятница).* Был у нас вчера Вяч. Иванов.
Во сне видел Тэффи и Чуковского. Видел еще какое-то переселение. И под самое утро ясно сказалось, что Петербург обречен.
Хоть в бутылку полезай, деваться некуда.
Видел во сне баранов, лежат вроде собак черных, врачи какие-то. Приходил медведчик с медведем Шуркой и обезьяной. Пел медведчик медвежью песнь, так начинал он, потом медведь показывал, к[ак] кисловодские кухарки ходят, как барышни танцуют. Это я все с балкона видел. А потом иду ужинать, а впереди меня медведчик с мед-

ведем и обезьяна маленькая, идет, как медведь, старается так по-медвежьи. А сзади ребятишки: и страшно и любопытно. Я шел с ребятишками: и страшно и любоп[ытно].
25) *26.VIII (суббота).* Дума о Петербурге. Видел во сне Михаила Ив[ановича] Терещенко. Видел наш переезд на новую квартиру. И почему-то я должен заниматься в комнате С. П. и иначе нельзя. У нас в доме все хорошо, только какой-то комод или стол надо выбросить и тогда будет совсем хорошо. Я не могу догадаться. А С. П. сердится. Наконец-то мне показал кто-то. Тут же и Кузнецов Вас. Вас. Сон очень тревожный.
26) *27.VIII (воскресенье).* Опять видел во сне М. И. Терещенко. Второй день дождь и не видно ни [1 нрзб.], ни верблюда, ни быка. Дождь, дождь, дождь. И свежо стало. Вороний слет.
27) *28.VIII (понедельник).* Не помню сна. Сообщения о панике с отъездом из Петер[бурга] очень расстроило С. П.
28) *29.VIII (вторник). Иван Постный.* Вчера вечером слух пошел: будто Керенский убит или убежал, Корнилов диктатор, а предс[едатель] — Родзянко.
29) *30.VIII (середа).* Пришло известие: Корнилова в отставку. От [1 нрзб.] мира: вчера ходил слух: диктатор Каледин. Корнилов объявлен изменником, он будто бы обещал солдатам в неделю кончить войну и продал Ригу. [1 нрзб.] велено следить за офицерами.
30) *31.VIII (четверг).* Видел сон, зашел я в дом по соседству с М. И. Тер[ещенко]. Там хозяйка, на Жуковск[ого?] похожа. Я у них посидел и еще раз иду уж обедать. Пришел рано, кухарка пирог сделает. Я в чужой шляпе, мне она мала. И вижу, хозяйка недовольна. Потом я дома, только боюсь, там был покойник и конверт оставил, а я его взял себе, не брать бы мне его.
Вчера принесли «Приазов[ский] край» от 30.VIII. Арестова[ны] Пуришкевич и Балашов. [1 нрзб.] сняли. Все шло плохо, но теперь совсем скверно — пятнисто. «Измена и предательство». Задача — не допустить гибели России. Кровавое столкновение неизбежно. (26, 27, 28.VIII)
До чего много всяких слухов. Сейчас уж говорят: в Бологом путь закрыт.
Важное известие о посредничестве Алексеева и Милюкова.

Шел я ужинать [2 нрзб.] и вижу штыки — солдаты идут по дорожке мне навстречу — я и пошел, всегда [1 нрзб.] так тянет и таких-то [3 нрзб.].

— Смотрите, солдаты и тут. А я думал их нет.

Солдаты шли быстро.

Впереди шли в штатском милицион[ер] должно быть или какой-нибудь из комит[ета]. Вели офицера — молодой и видно, взволнованный, с загаром — в лицо бросилось, идет твердо и гордо.

(Маша без души осталась из-за [1 нрзб.]).

31) *1 сент[ября] (пятница).* Вчера получ[ил] «Р[усское] С[лово]» от 29.VIII. Подробности о событиях. И сон был из событий, видел Б. Савинкова, будто лежит он, видел крестный ход, и арку под к[отор]ой проходил он золотой.

Всю ночь дул ветер.

Россия разделилась на две п[оловин]ы: одни за Россию, другие за революцию.

Здесь в [1 нрзб.] был обыск вчера [2 нрзб.].

32) *2 сент[ября] (суббота).* Видел во сне Кузмина М. А. Газета «Р[усское] С[лово]» от 30-го вышла. Как во дни покойного [1 нрзб.]. У него был такой случай большого героического поступка, в истории дети поминали бы его и вот не хватило.

у него ноги обвязаны, вроде шпиона { обвинение в
солдат-депутат лакеем служил { провокаторстве

— Нет, — говорит, — это хорошая барышня

Сегодня в газетах напечатано о увольнении Савинкова. Это меня очень порадовало. А то очень было тяжело за него.

33) *3 сент[ября] (воскрес[енье]).* Вечером вчера принесли газеты от 30-го и 29-го. «Речь» с белыми прорехами.

Ночью после чтения много я думал.

Теперь стало ясно: Россия погибнет. Она должна искупить грехи свои. И я готов принять эту кару со всем народом русским.

Два выхода: или умереть или принять. На первое я не смею ради долга моего. И я принимаю кару.

Все ценности не переоценены, а подменены. Первая: свобода — какая это насмешка России — какое издевательство. Смешение языков. Б[ог] покарал. И все это путь к унижению. Чья-то рука ведет. Суд совершился. Люди

не видят, как их тащат на муку. Последняя отчаянная попытка за Россию. Но против суда Божьего не уйти. Какой [?] народ достоин своего правительства. И мы подходим под наши главы, мы обреченные на муку и унижение.

И в темнице Россия задумается.

Русским людям надо принять эту темницу.

Но многие — силы времени сего не разумеют и от неразумия своего горько поплатятся.

Терпеливо прими судьбу свою. Это как бы умер любимый человек. И вот эти дни прожил я как у постели умирающих. И сердце мое было раскалено. А сегодня ночью я понял и принял судьбу свою, как кару очищающую.

Россия будет побеждена. И русское царство затаится.

Русское царство русское слово уйдет как

И русским людям одно остается — молитва.

Б. С[авинков] роковой человек и к гибели нашей он положил свою руку.

Решилась Россия. Вавилонская башня. Смешение языков.

Сгорела электрич[еская] станция. Сижу с огарышком. Сегодня была гроза чудесная.

34) *4 сент[ября] (понед[ельник]).* Пасмурно. Дождик мелкий. Не помню сна.

35) *5 сент[ября] (вторник).* Видел во сне Зонова, Мейерхольда. (2-го объявл[ена] республика).

36) *6 сент[ября] (серед[а]).* Видел во сне всех Терещенков.

«ВЫСТУПЛЕНИЕ СОЛДАТОК

От комитета солдаток говорила Хрусталева. Она заявляет, что главная опасность контр-революции со стороны буржуазии.

— Почему дамы богатых классов не подумают о нас, о нашей бедноте? — спрашивает солдатка».

Чрезвычайное собрание 28 авг[уста] в Б[ожьей] М[илостью] ростов. и нахичеванск. [2 нрзб.] общ[е]воен[ной] [1 нрзб.] орган[изации?].

киюшки = кукурузы
мятенье = митинг
венки завивать = лечить жар
от одеколону дурит на 1/2 ч[аса]

Русский народ, что ты сделал?
Ты искал свое счастье и все потерял.
Одураченной свиньей плюхнул в навоз.
Поверил:
Землю свою свою забыл колыбельную
Где Россия твоя?
Русский народ, это грех твой непрощенный.
Где же [твоя] мудрость твоя мирская?
Я гордился, что я русский, берег имя родины моей, молился святой Руси.
И вот презираем. Со всем народом несу кару. Не смею глаз поднять.
— Что я сделал? Жалок, нищ и наг. Горе мое безмерно, скорбь глубока, страдание неисчерпаемо, нет утешения, нет надежд.

Берег высокий на холмах деревни, а внизу огороды, дальше луга заливные деревни огородные, сады.
Дорога вся изрыта водой, ямы от водоворота; где огороды были, точно граблями изрыто, проведено, точно ничего и не сеяли.
Углы клунь снесены водой, плетни валяются.
Озимое так все вымыло, будто и не сеяли, сено смело водой.
Овраги — плетни внизу лежат.

27.VII. Наказание.
Засуха была и вдруг ливень с градом.
Из села приехал батюшка на Троицу. Всенощ[ную] служили.
Встретили недоброжел[ательно].
И несколько парней (беглых) выкололи глаза Николе:
Эту икону и самим можно написать, это дело рук человеческих.
Во время дождя возвращались в деревню, утонули в дожде
упали и залило
Девочка (13 л[ет]) была, водой к раките прибило, она

уцепилась за сучья, нашли полумертвой: оглохла и онемела.
Рыбак [1 нрзб.] Петровой
Черкасиха Орина

«Реквизиция хлеба
Насилие над Минаевым

Тамбов, 23.VIII. В деревне Ящерке, Тамбовского уезда, крестьяне совершили дикое насилие над членом продовольственной управы Минаевым.

Поводом к насилию послужило недовольство крестьян реквизицией Минаевым излишков проса у двух крестьян.

Был использован кем-то сфабрикованный слух, что Минаев взял с приказчика имения Орлова-Давыдова взятку в 30 рублей.

Минаева нарядили в женскую юбку, на голову надели мешок, украшенный кредитными билетами на 30 рублей, а в руки дали лопату с надписью: «За 30 сребренников продал свободу».

В таком виде Минаева до поздней ночи водили по селу, заставляя кричать:

— Я, член продовольственной управы, за 30 сребренников продал временное правительство.

В час ночи наряду милиции удалось увезти Минаева еле живого в волостное правление».

Все на всех
10 и 11 сент[ября] (воскр[есенье] на понед[ельник])
Вчера после трехдневного путешествия с препятствиями вернулись домой. Перед нами было крушение товарного поезда «по инерции», как объяснил обер[-кондуктор]. Встречал нас Ив. Серг. Соколов. И вчера и сегодня был И. А. Рязанов[ский]. Устал ужасно. И прислуги нет. Сейчас ½ 2-го, посмотрю газету, не было времени с уборкой.
А все-таки здесь легче, свободнее. Как тяжело жить в провинции с подслушиванием и подсматриваньем. «Слово и дело».
По [1 нрзб.] опять кричали солдаты: бей буржуев.
России нет. Россия уходит, как Китеж.
12 сент[ября]. Вчера приходил Пришвин. Он еще верит, что не погибла Россия. Она не уступает, отбрыкивается. Обедали у Н. С. Воробья. Кухарка говорит сама с собою, —

не с собою, а с тряпочками. «С людьми уж не могу, так с тряпочками».

Сегодня телеф[онные] разговоры. Прислуги еще нет. Все чищу. Весь день на это. Тараканы меня изводят: ой, это плохой признак — это нищета идет. Говорил со Ждановым, он верит, не погибла Россия.

14 сент[ября]. Все еще без прислуги. Уборку кончил. Изгрязнился весь. Вечером вчера была А. Н. Чеботарев[ская]. Сегодня говорил с Б[орисом] В[икторовичем] уж больно по-солдатски отвечает. Хочу про него написать воспоминания.

Сегодня ясный день. Только вихри носятся жуткие темные. Был Ив. Алек. Ряз[ановский].

15.IX. Был у Вильямса. Француз-летчик очень напомнил мне его взгляд. Россия гибнет от хулиганства.

Вечером приходили Разумник и Пришвин.

Заключен мир. У победителей полная сытость: хлеб и чай и благодушие. И над всем орлом [1 нрзб.] заносит бес. Нате выкусите! Вот вам плоды кровавые, вот вам [1 нрзб.] революция. Провидц[ы?] уйдут в горы. А вихрь выше поднимается. И будет кружиться, темный.

16.IX. (суб[бота]). Видел во сне Жданова Вл. Ан. и мышь.

17.IX. (воскр[есенье]). Лунная ночь. Видел во сне что-то страшное очень и забыл.

Вчера много было неприятностей: обманула прислуга, прислали от нотариуса о векселе Кузнецова, которому я заплатил. Вечером приходил Г. В. Вильямс, Пришви[н], Петров-Водкин.

18.IX. Вчера был на именинах у Веры Евг. Был Мих. Мих. Исаев — вот он настоящий рус[ский] чел[овек]. Сегодня с утра беготня: к нотариусу о векселе.

Пришла прислуга наконец.

19.IX. Полотер начал месяц. Срок в[екселю] Ф. И. Щеколдина. 200 р. — 19 марта 1918 г.

20.IX (середа). Снов больше не помню. Вчера ушла прислуга. И опять хозяйство на руках.

передовая женщина
задовая

Была Ол. Мих. Пер[сиц]. Я подумал, а что в смуту нашу и там найдутся ведь люди, к[отор]ые возжаждут

пострадать. И опять увид[ел] хохочущий вагон с солдатами и наш вагон со стариком жалким.
21.IX. Утром сегодня была гроза. 2-ды гром и бледная молонья. Вечером приходили прап[орщик] Прокопов и В. Я. Шишков.
22.IX. Ходил к Жуковс[кому] Пав[лу] Сем[еновичу] сниматься. Вечер[ом] вчера прожектор ходил по небу. Приходил Замятин. Накануне вернулся он из Англии. Потянуло на родину погибать. За Замятиным приходил и Пришвин.
23.IX. Суббота. Печку растопил. Приходили наниматься. Подрядилась Настя на вторник 26.IX. Прислал посылку Ив. С[ергеевич]. Мед, масло, варенье. Когда я стоял у плиты темно было — вдруг я почувствовал, как через голову черное что-то прошло, как туча. Я сразу схватился. Это была подводная туча глубочайшая. И все прошло. И только грусть какая-то осталась на сердце. Пасмурный вечер.
Хотел идти к Ф[едору] И[вановичу]. Поз[д]но.
Ко всенощной звонили печально. Я оклеивал свиток и [2 нрзб.] у божницы. [1 нрзб.]. После вечер[него] чаю почувствовал слабость, «хорошо, что к Ф. И. не пошли!» Хотел продолжать. Gloria [in] exselsis перечитал и нет, не могу спать.
с 23 на 24.VII (на воскрес[енье]), в 1 час ночи
Видение

Распростертый крестом лежал я на великом поле и телом был я велик. В темноте горячей лежал я и вдруг стужа трясла все мои члены. Голос услышал я из тьмы старый дедов голос.

— Собери-ка, родимый, косточки матери нашей России.

И я подумал:
вот и я лежу, п[отому] ч[то] я тоже кость от кости матери нашей России.

И стал я загребать кости — их великое множество тут и часы и самовары, загребаю, ой, не собрать всего.

А собрать надо, чт[обы] вспрыснуть живой водой.

— Собери-ка, родимый, потрудись! — опять слышу голос.

И вижу: это Никола Угодник скорбный стоит над Русью.

Поднялся с ужасн[ой] головной болью. Едва оделся. Едва скипятил чайник. А как взял воды в пригорш[ню] умыться, не водой, огнем себя обдал. Нет, ноги не держат. И повалился. Измерила С. П. темпер[атуру] — 40° градусник искали, с 1/2 ч[аса] неизвестности. Лежал с горящей головою под горящей [1 нрзб.] и вдруг начинало трясти и зуб на зуб не попадал

огневица жгла и трясовица ломала.

Детский доктор. Затем С. П. зажгла спиртовку, а резервуар не закрыла. Отчаяние! Разговор. П. С., [1 нрзб.], Ив. А. Рязан[овский]. Говорит в соседней комнате. И каждое слово, как игла.

После клизм [1 нрзб.] беготня. И сон в огне — забытье.

25.IX. Понед[ельник]. Сергиев день.

9 ч[асов] — 39,5 Приезжал д[октор] Ланг, были [1 нрзб.],

12 ч[асов] — 40 При[швин], Разум[ник], Замятин — ломило.

6 ч[асов] — 40,3

8 ч[асов] — 38,8

26.IX. Вторн[ик]. Иоанна Богослова

9 ч[асов] — 38,9

1 ч[ас] — 38,1

3 ч[аса] — 39

6 ч[асов] — 38,3

Прекратилось элект[ричество], В. А. сообразил, что у [1 нрзб.]. Лежал ни жив, ни мертв.

Видел во сне, приходит И. С. Соколов, и все подушки. Полна[я] прихожая подушек — черн[ая] обивка. И чувству[ю] такое, как крышка серебр[яная?] в углу прихожей.

27.IX. Середа.

38,6

38,2

38,8

38,4

Был д[окто]р Керенский. Говорит крупоз[ное] восп[аление] лег-к[их] и ни пов[ерил?] сгорит на почве алкоголизма

12 ч. ночи 37,6

3 ч. н[очи] 38,1 Хождение по мукам.

28.IX. четверг.

38,5 приехал Н. П. Афонский

9 ч. 38,7

12 ч. 39,2

6 ч. 39,4 банки

29.IX. пятница

38,4

38,7 банки вихрь на воле
39,6 видение

30.IX. суббота.

39,0
39,4
39,8
39,2 кризис
38,7
39,1
38,1

1 октября воск[ресенье]

7 1/2 — 37,8 падение
10 1/2 — 37,4
12 — 36,9
6 ч. в[ечера] — 36,8

2 ок[тября] (понедел[ьник])

9 ч. 36,6 Ночевала Люб[овь] Дмитриевна Блок.
1 ч. 36,3 Очень тяжело, почти не спал.
6 ч. 36,7

3 окт[ября] (вторник)

видел во сне то море, то снег.
и Бурлюков 36,3
Была В. Андр. Щеголева 36,3
36,3

4 окт[ября] (середа)

Начал записывать. Была В. Андр. Щеголева. Пришвин в [1 нрзб.] и принес книжку.

36,3
36,1
36,5

Ветье
26.X.1917—1918
V

мая 1918

«Легенда о „чуде“ в Москве

В связи с первомайским торжеством в Москве произошли следующие осложнения на религиозной почве.

Вчера у Никольских ворот в Кремле было большое

стечение народа. В толпе передавали легенду о каком-то чуде. Говорят, будто де скрывшийся и[с]торический образ Св. Николая на Никольских ворот[ах]. 1 мая красная завеса с надписью „Да здравствует интернационал!“, без всякой естественной причины в несколько минут наполовину истлела, стал де этот образ виден. Некоторые передают, что от лика Св. Николая исходило сияние. Многие из присутствующих крестятся, монахини кладут поклоны, конная стража разгоняет любопытных.

Еще накануне 1-го мая, когда красной материей затягивались иконы на Никольских и Спасских воротах, произошло волнение среди собравшегося народа. Была послана депутация к патриарху. По предложению Кузнецова, по телефону сообщили об этом управляющему делами совета Бонч-Бруевичу. Тогда же Бонч-Бруевич обещал сделать немедленное распоряжение, чтобы иконы не затягивались материей. Неизвестно, явилось ли это следствием распоряжения Бонч-Бруевича или в данном случае сыграл свою естественную роль громадный гвоздь, вбитый в кремлевскую стену около иконы, но уже 1-го мая красное полотнище было прорвано именно в том самом месте, где находится лик Святителя Николая. Вчера утром ветром завеса была разорвана пополам, так что ее нижняя часть отпала от верхней. Это послужило к различным комментариям в толпе религиозно настроенных людей. Из их среды была отправлена депутация в Казанский собор, которая просила духовенство выйти к воротам с крестным ходом для совершения молебствия. Этот крестный ход и молебствие состоялись.

Вчера на Красной площади, в связи с совершившимся у Никольских ворот, громадные толпы разгонялись.

По поводу волнений на Красной площади на религиозной почве „Наше Слово“ сообщает: вчера, около 2 ч. дня, Советом Народных Комиссаров в Кремле было сообщено, что у стен Кремля собралась тысячная толпа, требующая удаления из Кремля всех комиссаров. Толпа волновалась, разглядывая красное полотнище, которое было прикреплено у Никольских ворот. Суеверная толпа никак не хотела верить, что это произошло благодаря

сильному ветру. В толпе стали указывать, что рядом расположенные полотнища целы.

Агитаторы заявляли, что Николай Чудотворец разгневался де на большевиков. Увещания не подействовали на толпу, только с помощью броневиков удалось восстановить порядок».

[1917]
20.X. Был вчера Афонск[ий]. Остался у меня бронхит. На сегодня назначено выступление. Пока тихо.
Женщина, кричащая перед чернью: «Я хотела бы, чтоб меня разорвали за вас!» И вдруг закрыла лицо от стыда. «Умереть за дух Божий в человеке, а не за красные рожи!»

Видел во сне Наташу.

Умер Котылев Александр Иванович. Прих[одили] Пришв[ин] и Турка. Сегодня месяц как захворал я. Мне как-то жутко в той комнате. Вчера были Пришв[ин] и Верховск[ий]. Крестный ход состоялся. До какого идиотизма дошло «врем[енное] правит[ельство]» — не разрешили: само себе яму роет.
Вчера началась опять канитель с выступлением. Но кажется есть и прок: будут говорить о мире.
25. X. Сегодня в 7 ч. утра арестов[али] врем[енное] правит[ельство]. Наконец-то Владимир Ильич взял власть! Узнали после обеда.
25 [минут] 10-го, вечер. Залп из пушки. Из «Авроры».
26. X. Вчера лег в 1 ч[ас]. Все писал. «Слова с выш[ины?] Бог[а]». Электричество не погасло. Все стреляли, даже мне было слышно. Потом, когда лег услышал рожок и все затихло.
Видел во сне землянику, будто целая корзина, да мыть надо — грязная. И розу, к[отор]ую положили С. П. Ел куренка. И живем мы в гостинице.
На улице вечером стоят, прилипнут к стенке и смотрят на вас — хулиганы. Улица, к[а]к могила. Редко и бегут.
27.X. Вчера стрельбы не было. [1 нрзб.] и [1 нрзб.] с М. Мих. были у меня. В 12 ночи разговаривал с А. А. Блоком: ему кажется все таким мирным. Говорил и с

Разумником. Смешение тьмы и пожеланий благих. Но в душе какая-то вера и бодрость.

Тогда была легкость и тревога: рушилась вековая стена, а теперь — даже весело.

Жалко мне Мих. Иван[овича], сидящего в Петроп[авловской] крепости.

26.X. *«Новая жизнь»*

«В час ночи в квартиру Цвернера, находящуюся в 6 этаже, д. № 13 по Демидову пер., влетел артиллерийский снаряд, весом около 2 пуд. Пробив стену, снаряд упал на письменный стол. Так как взрыва не последовало, то обошлось без жертв».

Видел во сне Н. П. Булича, [3 нрзб.] и Л. Дим. Блок.

28.X. Видел во сне Б. А. Садовско[го], обвязанного всего и струнного.

Юнкера сидят [1 нрзб.] в Пет[ропавловской] К[репости]. Беспокоюсь за Мих. Ив[ановича]. Убийство Сангушки. Уничтожен золотой шатер Яна Собесского. И много документов.

Навести следствие.

29.X. Загафедин назвать как-н[ибудь] свою (игрушку) — это во сне.

Видел во сне Керенского.

Заволжские старцы.

Вчера было избиение юнкеров. Нового ничего не знаем, живем, как в плену. Сегодня целый день народ. Утром, я еще не успел умыться, пришел летчик. Потом Фед[ор] Ив[анович], Слон, Пр. Сем., Пришвин и опять летчик — начал чтение своего временника. И до полночи. И у меня такое чувство, словно меня из дому выжили. И вот я вернулся, но уж [1 нрзб.]. Я совсем сегодня ничего не делал. А писать надо.

Мещанин: «А зачем царя спихнули. Надо самим лучше сделаться, а потом и решать».

Видел во сне Зин. Ник. Гиппиус, Чуковского. Вымылся я грязной водой.

(Шел казак и пел: за ц[а]р[я], за Русь, за веру).

Матрос в Зим[нем] дворц[е] сидел в кресле: а сказали бы домой идти, и винтовку бросил бы.

Умер сегодня в 2 ч[аса] ночи наш хозяин Дим. Пет. Семенов-Тяньшанский. Накануне он читал свой временник

у нас. И собирался прийти оканчивать сегодня в 8 ч[асов] веч[ера].
Хлеб тяжкóй.
Видел во сне А. Д. Нюренберга. Будто к нам приехал. Лечит меня. Введено осадное положение. «Гибнет Москва». Был И. А. Рязанов[ский]. Видел во сне Наташу. Потом какого-то офицера. Клинику. Вчера приходил Пришвин. «Не бежать ли, говорит, нам?» Очень он смущен.
Сон: Хозяин, только что умерший, пришел будто к нам и хочет оплести нас шерстью.
Были Разум[ник], Петров-Водкин, Замятин.
Видел во сне, забыл, и вот вспомнил, [1 нрзб.].
4.XI. Вчера при получении известия о сожжении Вас[илия] Блаженн[ого] и разрушении Успенск[ого] Соб[ора] Ф[едор] И[ванович] плакал, говоря по телеф[ону]. «Что же это такое сделали?» А еще не верю, что так бесповоротно.
И еще успокаиваю себя: если и останутся развалины, они будут святее неразрушенного, только бы осталось что-нибудь.
Кое-кто заговаривает о бегстве из Петербурга: позавчера Пришвин, вчера Замятин. Впечатление тяжелое.
5.XI. (воскр[есенье]). Резолюция о несвободе печати. И это вполне последовательно. Когда в революц[ию] запретили монарх[ические] газеты, считали себя правыми, а теперь кричат! С утра сегодня тревога.
«Медовые выплевыши». Был Ф. И. Щеколдин.
1 1/2 мес[яца] служит у нас Настя, а только вчера увидала мою стену с игрушками: «Какие это здесь растопоры!» и стала рассматривать: «Птички сидят!»
Без 5-ти час выстрелы у ворот.
6.XI. Сижу и плачу: что мне делать из-за меня опять беда, из-за моей болезни — захворала Сер[афима] Павлов[на]. Сердце колотится. А! бес какая!
XI. Вчера и сегодня снег идет. «Заснул на мостовой». Взвизгнул как заяц, и дело с концом. Вчера был Шишков. Сейчас с утра Иван Алекс[андрович]. [2 нрзб.] Народ сегодня с утра. Сейчас 12 ч[асов] н[очи]. Сажусь писать. Вчера был д[окто]р Афон[ский]. Сегодня захворала С. П. — припадок печени. Идет снег. Были Прас[ковья] Сем[енов-

на], Верх[овский], Ф[едор] Ив[анович] и Вал. Алек. С. П. лежит. Ф[едору] И[вановичу] 50 р[ублей].

Сегодня выборы в Учред[ительное] Собр[ание]. Никогда еще не было столько лжи, как теперь. С. П. лежит. Был Срезневский.

XI. Сер. Пав. лежит, сегодня хуже было после 4-х.
и горшку место — ели кашу.

хлеб грядовый (с мякиной)

«Таратать» звонок будильника. С. П. еще лежит. Мало у нас бывает кто. Не помогут.

XI. Вчера встала С. П. Сегодня в первый раз выходил на волю (с 23 сен[тября] по 18 н[оя]б[ря]) и С. П. выходила. Просидел 56 д[ней] = 8 недель.

21. XI. Вчера было нашествие: приходили Пр[асковья] Сем[еновна], Ф. Ив., Верх[овский], Замятин, Люд[мила] Ник[олаевна], Пришв[ин], Мар[ия] Мих[айловна].

22.XI. Вчера был мой 15-лет[ний] юбилей. Никого не было. Накануне приход[ил] Разумник.

Растопоры. Собаки. «Сами и глазки садили» (у змей).

23.XI. Сегодня первый долгий поход. Были у Федора Ивanови[ча]. С непривычки мне было холодно. Шел пешком больше часу.

26.XI. 3 пуда + 15 ф. 120 + 15 = 135 ф.

28.XI. Сегодня Учред[ительное] Собр[ание]. Вчера было очень напряженно. (Прих[одил] Пришв[ин]). Были блины по случаю открытия Уч[редительного] Соб[рания]: были Пришв[ин], Шишков [?].

3.XII. «Свобода, она хороша, когда есть своя голова. А голова, не то чтоб она была свободная, а, как сказать, настоящая голова, а не пыльный мешок».

«Натравливают, ну, и кажный делается, как собака».

4.XII. И до чего живуч человек, все у него отняли, а он все еще карабкается.

Это про Россию я говорю и русских.

Сегодня было великое нашествие — И. А. Ряз[ановский], Тиняков [?], [3 нрзб.] и Разумник.

7.XII. Вчера объявили осадное положение. Был Ф. Ив. «Заплатить прикажу от [1 нрзб.]». Переучесть вексель.

10.XII. Вчера были [1 нрзб.], Приш[вин], Лунд[берг] и [1 нрзб.]. Принесли папиросы. Спорить так не годится. Спор у нас одно оскорбление. «Не хитри в деле сем».

13.XII. Вчера был Пришв[ин].
Пьяный Булат [4 нрзб.]: «Мне пора уходить!»
перекусить или не перекусить? — на пальцах гадает.
печки [1 нрзб.]
напрокудил, к стене лепится навалил кучу [1 нрзб.] себя говорить с перемычками

18.XII. Понедельник. В 1/4 3-го на 19-й раздался оглушительный взрыв (горел на Гутуевском острове склад).

19.XII. Сегодня пришел Мих. Д. Семен[ов]-Тяньшанский.
Убили Леонида Семенов[а] 14 декабря.

XII. Вчера видел на Среднем. Идет девочка с бутылкой, а впереди какой-то тоже с бутылкой. Девочка повернула на 12 лин[ию], тот было дальше идет. «Дядень[ка]! — крикнула девочка, — керосин тут продают!» И я подумал: еще можно жить на свете, и не совсем замкнул[ся] человек в зверя.

превратился в фифигу — невыносимый человек, к[отор]ый наседает солдат всех [1 нрзб.] выбил.

Солдаты России не заступают, а горько ходят по улицам.

XII. Вчера выпал снег. На кутью (к[отор]ой не было) пришли Исаев, Пришвин, Коноплянцев, Петр[ов]-Водк[ин], Гребенщи[ков], Сологубы, Ив. Серг., Пр. Сем., [1 нрзб.], Замят[ин], Ан. Васил.

[1 нрзб.] = 2 руб. [1 нрзб.] = 5 р.
26.XII. водопроводчику — 1 р.
27.XII. трубочисту — 1 р.

эхо = гукает
= гук

1.I.1918 г. Новый год встречал у нас Пришвин.
во сне видел Ивойлова, нехорошее что-то видел — старое.

Русская литература всегда стояла на стороне угнетенных и по заветам ее никогда не может стать в ряды *торжествующей* обезьяны.

I.1918. Костры заволжские — самосожжения — от Аввакума возродили Пушкина и Достоевского. Сила духа старой Руси сожигающей[ся] перешла в Пушкина и Достоевского. Был Разумник — битва под Разумником. Вчера арестовали Пришв[ина].

С ружьями ходят. Разгоняют.
Метель.

На углу 12 л[инии] Б[ольшого] п[роспекта] 2 красногв[ардейца] с рук отнимают у газетчицы газеты.
— Боитесь, чтоб не узнали, к[а]к в народ стреляли.
— Кто стрелял?
— Б[ольшевик]и.
— Смеешь ты. — И повел.
— Я нищая, меня ограбили!
На уг[лу] 7 [линии] и Б[ольшого] п[роспекта] вижу отняли у газетчика, и повезли его. И тут же пробегала прислуга с газетой — и ее тоже на извозчика.
— И не сметь!
К Андр[еевскому] Собору. Толпа, войти нельзя.
— Расходитесь, расходи[тесь]! — красногв[ардейцы].
— Мы архиерея ждем. Крестный ход! — истово крестится со слезами женщина.
— Хоть бы нам б[ог] помог.
— Только б[ог] и может помочь.
Разговор о стрельбе: с крыш стреляли.
— Да не пожалели вчера патронов.
Жен[щина] — Придет Виль[гельм] и заставит нас танцевать под окном. И будет танец.
— Большев[ики] устроили: каждый пойдет по одиночке с радостью.
Идет старик без руки и повторяет громче и громче
— Наказал Господь!
— Что это?
— Наказал Господь.
Справа старуха.
— Что говорит?
— Да наказал Господь. И погодку плохую послал.
[поздняя приписка:] тут его и расхрястали.
8.I. Елку не разобрали. Стоит не осыпается. Были вчера Добронравов и Замятин.
9.I. Вчера убили Шингарева и Кокошкина.

25 [минут] 10-го вечера — стреляют. 4 выстрела.

Европа! Старая Европа первая же расплюется с нами за то, что нет самой и первобытной чести.

Россия, хочешь осчастливить Европу, хочешь поднять бурю и смести и на западе всякие вехи старой жизни. И если так было бы, я не хочу твоего цветущего сада, который насадили окровавленные руки. Последняя Мурка,

задушенная в канаве отравит мне все твои розы. Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя. Голгофа! Понимаете ли вы, что значит Голгофа? Голгофа свою проливает кровь, а не расстреливает другог[о]. Разговор с Сер[геем] Дмитр[иевичем Мстиславским] о Пришвине.
11.I. Вчера была битва [?] под Петров[ым]-Водкин[ым]. [1 нрзб.] мир: ликвидация с Разумн[иковским] «Знаменем». С убитого Шингарева стянули куртку.
расторы — кривоножки.
19.I. 17.I. освобожден Пришвин.
вторник 19/6.II. Сегодня день особенный. Немцы вступают в Россию. Сегодня я видел, как на немецк[ого] солдата крестились бабы. (В суб[боту] получены были известия из Киева о убийстве митроп[олита] Владимира).
25/12. [1 нрзб.] Судьба наша без судьбы. (Случайность, убьют, конец). [1 нрзб.] Лучше бы [1 нрзб.] да с [1 нрзб.] встретил.

«Небесное знамение

Москва, 22 февраля. Вчера при заходе солнца в Москве наблюдалось редкое небесное явление: от заходящего солнца поднялся вверх высокий огненный столб, перерезанный посредине поперечной полосой. Колоссальный багровый крест занимал западную часть небесного свода в течение нескольких минут.

Начинаются различные толки о кресте, идущем с запада».

27/14. Вчера приходили красногвар[дейцы]: нет ли у меня оружия? — Нету у меня оружия никакого.
[1 нрзб.] сегодняшний сон о муттер [?]. А я видел Варв. Федор. Ремизову.
1.III/16.II. Дорожите любовью!
Прощение и прощание.
2.III/17.II. Подписан мир. Видел во сне М. И. Т[ерещенко]. Сегодня его освободили.
3.III/18.II. «Задавили нас немцы». Вчера сбрасывали с аэропланов бомбы на Фонтанке.
6.III/21.II. Сегодня 3-й день, к[а]к лежит С. П. Вчера был доктор. Разбегаются. Говорят, что в пятн[ицу] 23-го придут.

25.[II] = 10.[III].

Берес[тяной] клуб	= 66 (62 + 4) × 60 = 3960	257.40
Голова	= 109 (103 + 6) × 60 = 6540	
Подожок	= 111 (106 + 5) × 60 = 6660	
Змея	= 143 (140 + 3) × 60 = 8580	

23.[II]/10.III. Видел во сне Ком[миссаржевского], он сказал, что неделю назад сошел с ума Зонов. Помешался над вопросом «кой роман труднее?» Видел муттер, ее караулит женщина с черным провалившимся носом. Видел Троцкого, будто к нам пришел. А мы живем на каком-то стотысячном этаже, на самом верху башни.

Великий вторник 30/17 апр[еля]. 9 ч. 20 [минут]. Стреляют далеко где-то. Нет, это ракеты пускают.

29 мая. Вижу я, в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь с большими запретами: очень много нельзя. Вроде осадного положения.

Около полночи вышел я из своей комнаты в общую. Это огромная зала, освещенная одним невидимым светом желтым. В зале был пустой, какие-то два офицера сидели, как у билетного стола, у широкой моей двери. Дверь была раскрыта.

На страшной дали по горизонту тянулись золотые осенние березки. Одни из них были срублены, но не убраны, и висят головой вниз золотые. Только листочки были совсем маленькие весенние.

Я и подумал, вот она какая тут весна!

В зал вошли пятеро Кранцев [?]. Стали в круг. И один из Кранцев сказал обращаясь к другим:

— Г[оспод]а конты, мы должны приветствовать сегодняшний день начала нового года.

А я повторил:

— Г[оспод]а конты, как это чудно, конты?

И подумал: это какие-нибудь акционеры, у каждого есть счет и потому так называют: контами. А сошлись эти конты п[отому] ч[то] тут единственное место, где позволяют собираться.

Я все-таки не утерпел и обратил[ся] к самому старшему Кранцу:

— Почему вы говорите конты?

Тот смутился.

— Я это непременно напишу.

— Очень вам буду благодарен, — отвечает Кранц, — у нас торговое предприятие.

И вдруг я вспомнил, что не надо говорить, будто пишу я: писать запрещено.

И начинаю как-то оправдываться. И вижу, дама в сером дорожном платье, не молодая, жена этого Кранца. И я очень обрадовался. Ну, беды не будет. Я вспомнил, эта дама помогала нам перевезти наши вещи сюда, когда мы ехали.

— И Борис Михайлович Кустодиев тут, — сказала дама, — он тут комнату занимает.

Успокоенный, что ничего дурного не выйдет из моего разговора, я пошел к входной двери. И тут как-то со мной офицеры. Мы вместе вышли из двери на маленькую площадку. Перед нами, как улица огромная площадь. Офицеры тщательно соскребывают оставш[ийся] ледок. Они [2 нрзб.]. Огни желтые освещают.

А по горизонту далеко березы золотые.

— Как в Герма[нии] приучили в чисто[те] держать, — подумал я.

В это время из залы к нам вышел высокий офицер.

— Вас надо в штыки, — сказал он.

Я понял, он хотел сказать, что мне надо нести какую-то военную службу, и я сказал:

— Никак не могу — и показал на грудь.

— У нас все заняты, — ответил офицер, — одни орут. Да вы понимаете?

И тут я сообразил, что офицер малоросс.

Мы пошли с ним в залы.

— Вы из Кеми? — сказал он.

— Нет, я из Москвы.

— А где же ваша родина? — Тот не понимает меня, — сказал офицер.

— Я русский, Россия, Москва.

— Ха-ха-ха! — захохо[тал] офицер.

И я понял, что какая же у меня родина, что он правильно смеется надо мной, потому что России нет.

С. П. видела вчера:

Будто погасло электричество. И я ничего не вижу. Но я знаю, что здесь кто-то страшный присутствует.

— П-п!

Но его нет.

Я пошла искать его ощупью, но электричества нет, и ощупала руками лоб. Разбудила его.

И говорю:

— Тут кто[-то] страшный, пойдем.

Но он не успел ответить, а я крикнула:

— Эй, кто там, выходи.

И вышла жен[щина]: большая полная в белом на Н. Львовну похожа. Молчит. Я поняла, что это. Я изловчилась, да к земле ее пригнула и на нее сама легла, да и трясу ее, трясу. Но чувствую она не умирает от моего трясения. И в это время [1 нрзб.] Н. Л. я [1 нрзб.].

— Н., ложитесь вы на меня, а то я одна не справлюсь.

— Я боюсь, что я вас задушу, если я на вас лягу.

А она вдруг подняла голову и две певицы поют — — вы с ней очень долго затянитесь!

Устюша = Тюша

Как сдавит скука, и человек ничего не стоит.

28/15.VI. 1/2 с[ажени] дров.

23/24.VI. 6/7. Ночь под Ив[ана]Купала. Стрельба.

Вчера убит гр[аф] Мирбах. Пошел в театр и... вернулся — стреляют.

7/25. Лепешки по 3 руб. два раза укусить.

[Деловые цифровые записи]

Мороки

Крепкие мои калоши оказались такие рваные, что страшно и взглянуть. Откуда, что, ничего не понимаю.

Иду по снегу — белое, белое. И на душе так же бело.

Очень далеко зашел, это я в Москве. И я не один, а с моим братом.

— Подожди, — говорит, — я посмотрю, можно ли.

Мы стоим на крыльце, где живет кто-то, я не знаю, кто, но там можно было бы передохнуть.

— Нельзя, пойдем дальше! — возвращается он.

И я опять иду.

Снег — белое, белое. Но на душе совсем не бело.

Чужая мать. Мед и яблоки. *8.XI.1918.*

с 16 на 17 июля уб[или] Н[иколая] II. *9.XI.1918.*

14/1.VII.1918 — 23/10.VIII.1918
15/2.VII — 21/8.VIII. Кислов[о] — 40 дн[ей] и 40 н[очей]

14/1.VII.1918 г. Воскресенье.

Выехали из Петербурга в Кислово-Микитово к Ив. Сергеевичу Соколову. Поднялись в 5 ч. утра. 1/2 8-го на трамвай сели, в 9 1/2 ч[асов] выехали. Место заняли, слава Богу, хорошее. И весь день ехали благополучно.
15/2.VII. Понедельник.

В 2 1/4 ч[аса] д[ня] приехали в Вязьму. В 3 2/4 в 4 кл[ассе] — в Семлево. И в Семлеве были в 4 1/4 ч[аса]. Пошли в чайную Ракасуя. Без 1/4 5-ь Ив. Сер. повез нас к себе. А вещи наши вперед Степан Иванович, 50 верст проехали и были на месте без 1/4 1-го ночи (без 1/4 11 по с./в[ремени]).
16/3.VII. Вторник.

Сегодня первый день в Кислове. Я в должности пчеляка. Вот в окно прямо перед моими глазами домики пчелиные.

Дорогой, как увидел близко землю с травой и цветами, подумал, так, д[олжно] б[ыть], если мертвеца выпустить из могилы, так смотреть будет.

Деревнями проезжали. Все лес сложен. Стройка идет. А по ж[елезной] д[ороге] налад чувствовался, хоть и ход был товарный. В прошлом году, как ехали, вспомянуть страшно. И ни одного-то солдата. Старики, родители Ив. С., сердечные люди, приняли нас по-царски. Мать Ив. Сер., Мария Ивановна одареннейшая с большой силой. Одно меня, как всегда мучает, боюсь стать в тягость. Только бы С. П. наладить жизнь, сяду я за труд мой мучительный.
17/4.VII. среда.

Много снов мне снилось. И все забылись. Еще нет ровности житейской, не могу отдаться чистой мысли.
Авксентьева я видел во сне. { снимались в комнате
Сейчас вспомнил. { и на балконе
18/5.VII. четверг. (письмо послано Як[ову] Петр[овичу Гребенщикову]).

Видел во сне д[окто]р[а] Ланга. Живет на море. Исследование показало, что жесточайшее малокровие. Смот-

рю в окно. И одно говорю: «Господи, как хорошо в Божьем мире!» {снимались

и невиновный и винный страдает отсталость = осталось
ворье

лезут когда на изгороду
они теперь не к пристани
Полотилик Григ. Сер.
Куликов [?]
1807
Иди к немытому! черту

плетеница = гирлянда
не было совсем и не завел
что украл, то Б[о]г дал
хоть мед ему на голову
лей
все будет кричать горько

VII. вторник.

Видел во сне Федора Ивановича.

24/11.VII. середа.

очень много видел во сне, но ничего не запомнил. Идет дождь. В Щекине на р. Угре церковь Иоанна Рыльского. Б[ожья] М[атерь] Ченстоховская.

С. Н. был тихий.

25/12.VII. четверг

Видел во сне [1 нрзб.] Шаляпина. Сад наш [слова смыты].

26/13.VII. пятница

Много снов видел. Получ[ил] петерб[ургские] газ[еты]. Послед[няя] 23.VII (вторник)

27/14.VII. суббота

видел во сне Ариад[ну], Блока, Алексея Толст[ого], Зин[аиду] Ник[олаевну], Лундберга, Шестова. Будто Пасха.

28/15.VII. воскресенье

видел во сне Настю. Ел хлеб с новой муки. И объелся. 2 газеты.

29/16.VII. понедельник

видел во сне Арк. Пав. Зонова.

30/17.VII. вторник

Ночью такой был ливень, казалось, снесет весь дом.

31/18.VII. среда

видел много бандеролей, писем. Ювачева и какого-то юродивого. Все дождь. 2 газеты. «Повесть забавная о двух турках в бытность их во Франции». В СПб. 1793.

1 авг./19.VII. четверг.

Сегодня после дождей ясно. Вчера пробовал косить. Видел во сне Чернявского Н. А. в военной форме и Нат[алью] Вас[ильевну Григорьеву].

2 авг./ 20.VII. пятница Ильин день.

Такая была чудесная ночь с тихими крепкими звездами. И вдруг дождь. Вчера опять косил 1 1/2. «Речь» воскрес[ная] от 28 не пришла. Получ[ил] 2 письма: 1) от Рукавишникова 2) от Прас[ковьи] Сем[еновны].

3 авг./21.VII. суббота.

Видел во сне жену Лундберга. Взял у меня Всеволожск[ий] книги без меня, не оставил реестра. Ф. Ф. Коммиссарж[евский] пришел, я его хотел остановить, но он очень поспешно скрылся.

4 авг./22.VII. воскр[есенье], Мар[ия] Ма[г]д[алина].

Вижу, И[ван] С[ергеевич] входит. И за ним мальчик. Принесли ему пальто зеленого цвета — пальто Достоевского.

В Петер[бурге] совершился переворот, свергнута совет[ская] власть. Вижу генералов, все в новеньк[их] золотых погонах.

Пришла посылка от Ф. Ив., от его родственников. И вот он сам входит. Горячий большой кулич, пасха и коробочка с подписью Ф. И. Щеколд[ина]. Он посмотрел и умер. И еще посылка от Роман[ова], яблоки, но все они прелые лежат. Пасмурный облачный день. Слышно как звонят к обедне, так тихо — за 4 версты слышно. Получ[ил] 2 письма [от] С. Рем[изова], [нрзб.]

5 авгу[ста]/23.VII. понедельник.

Видел во сне, будто ездил на автом[обиле]. Не доставл[ена] [почта].

воскрес[енье] 28.VII. среда 31.VII

6 авг./24.VII. вторник

Опять дождь.

Во время обеда меня стало ломать. И я принужден был лечь. 37,2 пот[ом] 37,8 п[ульс] 100

7 авг./ 25.VII. середа

Ночью такой пот, не спал. Малины выпил 3 стакана п[ульс] 90—82 т[емпература] 36,4
36,7 — 12
36,6 — 4 ч[аса]
36,4

8 авг./26.VII. четверг.

Видел во сне, что у нас обыск. Входят солдаты в турецких шапках. А главный — женщина. Она подошла

[ко] мне и говорит: «вы ездили на Кавказ до станции Семлево». «Ездил» — говорю. И понимаю, что это что-то значит. И действительно, солдаты ушли. Потом идет поезд и я замечаю, что по спешке я набрал много лишнего: все калоши и гири. И все это выбрасываю.

утр[ом] 36,5.

Сегодня поднялся. Только голова болит.

9 авг./27.VII. пятница.

Ночью проснулся весь мокрый. Долго не мог заснуть. Мысли бежали очень быстро. Видел во сне Аверченко, Ив[анова]-Разум[ника], с которым 2 раза за границу ездил. Попались потом сербские солдаты. А у Аверченки парикмахерская и аукцион. Я принес картину Гончаровой и, кажется, ее продали. Там же был Добужинский.

10 авг./28.VII. суббота. утр[ом] 36,4.

Видел во сне, что переехали в Екатеринбург. Скучища смертная.

11 авг./29.VII. воскрес[енье]. Сераф[имы девы] 36,1

Видел во сне Зин. Ник. Гиппиус. Спрашивала меня: откуда я знаю, как она верует.

Вчера был в бане. А какой чудесный был вечер — осенний. Ясно, тихо, осенне. И сегодня без единого облачка небо.

В саду и на лугу желтые цветы, как по весне — второцветы.

Днем прилетают с озера стрекозы — жениться. Птицы молчат, давно перепели, только одна какая-то стонет.

12 авг./30.VII. понедельник

Ночью дождь. И сейчас пасмурно. Но тепло.

О России в истории будет написано мелким шрифтом.

13 авг./31.VII. вторник

Видел во сне Вар. Фед. Ремизову.

14 авг./1 середа

Видел во сне Рославлев[а], Конч., Нат[ашу], [1 нрзб.]. Вчера у С. П. был новый припадок печени днем. Холод стоит, не дай Бог.

15 авг./2 четверг

Видел Вар. Фед. Рем[изову]. Сегодня ночью был мороз. Наутро все было покрыто белым.

16/3 авг. пятница

Видел во сне Павла Елис[еевича], Сологуба. Хотел

купить в немец[кой] мясной говядины. Арестовали будто Сергея. И еще видел мух, иду по площади, а все мухи лежат целыми грядами.

17/4 авг. суббота

Волки и те стадом ходят.

18/5 авг. воскрес[енье]

Видел во сне, будто Викт[ор] Рем[изов] тоже служит в Театрал[ьном] Отделе.

19/6 авг. понед[ельник]. Преображение

Вчера была такая чудесная лунная ночь, а сегодня с утра дождь. Три последних дня ничего не писал, выдергивал канву. Видел во сне Бальмонта, Вар. Ф. Ремизову.

20/7 [августа]. вторник.

Видел во сне жену Назарыча и старых знакомых своих, к[отор]ых совсем забыл, они [1 нрзб.].

21/8 [августа]. середа.

Видел во сне Чуковско[го], 70000 процент[ных] бумаг, Чулкова (Чулков привез красного вина), Настю. Встретили на поле [?], она сказала, что приискала себе место. Дождь. Вчера хотели выехать, не пришлось. Что-то будет сегодня, удастся ли. Сегодня 40 дн[ей] и 40 ночей, как в Кислове.

22/9 [августа] четв[ерг] [1 нрзб.]

23/10 [августа] пят[ница] [1 нрзб.]

Знаете, бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми. И мне хочется прощенья просить у всякого. Около чужого несчастья руки греют.

Моему горю как-нибудь помогать надо, что же делать.

Заяц на пеньке

лица их, как земля
тело их прилипло к костям их
власы их оброша до пояса
до раму брады их, к[а]к стрелы
по персям лежат, от голода и
ноготь и ризы их изодраша
лежаща от гладу и [1 нрзб.] распадоша
а голоса их, к[а]к пчелиные

VI
Заяц на пеньке
1919—1920
до переезда на Троицкую.
до 30.VI
Петербург

3.III. Чего же мне вдруг жалко стало?

А жалко мне стало туманного пасмурного утра. Я стою на лугу около леса. Кукушка кукует и звонит монастырский колокол.

Это было очень давно под Звенигородом в Спасо-Сторожевском монастыре, где мы, странствуя, останавливались.

Вот чего мне жаль — расставаться не хочется.

Не вернешь —

Кукушка и там кукует. Балтрушайтис лет 10 мне вез из Швейцарии часы с кукушкой, да так и не довез. Но все равно и там кукушка.

10.III

Чего я вдруг обрадовался?

Наклонился я над самоваром [что-то не шумит] угольков подбросить и вдруг так ясно представил себе устьсысольскую осень — яснейшие вечера с синей зарей, зеленые разросшие мхи и жгучую тоску тогдашнюю. Оторванность от жизни, молодость.

30.III

Тоска на меня нахлынула. Зубами стучу от ее лютости. Снился мне нынче сон бо́льшой. Комната — вся книгами уставлена и на полу книги и в эту комнату поселяют меня одного. И чего-то жалко мне. И не уйти никуда.

Как-то потерялся я. Я так [?] уж не говорю, а это от старых звуков отзвук.

2. IV

Покорился судьбе, я подставил спину под плети и лицо плевкам.

И не говор[ю] ничего.

Я иду весь пр[о]зябший, победив всякую стужу, иду [через тьму] улицей прямой дорогой к могиле.

Я знаю, ни в ком не пробудится милосердие и я упаду обессиленный.

Судьба, которой покорен я, ты может одна сжалишься...

Судьба, которой покорен я, если бы знать мне, зачем тебе нужны мои унижения и весь мой страдный путь?

Судьба, которой покорен я, помилуй, помилуй

Не меня!

Не меня!

5.IV. Когда я вчера шел поздно вечер[ом] по трамвай[ным] рельсам по Невскому, раскатанному с ухабами большой дороги, под пронизывающим ветром и держал в руках документ мой, заготовл[енный] ч[то]б[ы] не расстреляли у мостовой [1 нрзб.], я вдруг до отчетливости ясно понял всю тупость благодетелей человечества, я понял, что всякое благодеяние, исходящее от ума, несет не благодеяние, а злодеяние — какую-то насильственную машину, бреющую и стригущую.

IV. Снилось мне ([1 нрзб.]) комната с двумя окнами, посреди зеркало. Я причесыв[ался] пер[ед] зерк[алом], выглянул в окно и вижу на небе огромный ключ, а у окна женщину с девочкой.

— Посмотрите, на небе ключ?

Та смотрит, а ключа уже нет, исчез, а на его месте Б[ожья] М[атерь] такая же, как ключ, железная.

— Посмотрите Б[ожья] М[атерь] теперь!

А в это время и Б[ожья] М[атерь] исчезла, а стоит Христ[ос] золотой с огромным посохом и говорит:

— Становитесь на колени, сейчас будет конец света.

И тут же [?] люди оказали[сь], стали на колени.

А небо потемнело.

В саду [1 нрзб.] тут попá в белой шапочке, на шапочке золотая звезда. Мальчики проносят огромное блюдо с причастием и всех будет причащать.

Все стали на колени.

За себ[я] мне не страш[но]
и не [за] себ[я] я прошу.

все [1 нрзб.] мертвецы, но я понял и то, что только от сердца может идти подлинное истинное добро живому миру

(24.III) 6.IV. И опять жгучая нашла тоска.

И чего-то жалко мне.

Горит — горит — —

13.IV. Вербное [воскресенье]

Видел во сне Ф. И. [Щеколдина]. Будто он пришел, прочитал о себе и очень остался доволен. Вообще он увидал то, чего хотел видеть при жизни.

А вчера видел В. В. Розанова. Будто спит на кушетке.

15.V. (Вторник)

После 6-и вдруг точно прошло что или нашло на меня и я почувствовал, как меня сжало всего и пьет — —

Борюсь, не хочу поддаваться.

8 ч[асов] в[ечера] 37,4.

Вспоминаю сон прош[лой] недели: приехала Ол. Дав. Камен[ева], привезла мне туфли — нехороший сон.

10.IV.

Взбираюсь я на снежную гору — трудно, скользит, проваливается, а главное не знаешь, может над ямой идешь, — сзади женщина.

— Вот по горам горам уж лазает

— Да, или так плохо ходить

— А за то все наше: и земля наша и небо наше и все безобразие ваше

— Да, ужасная жизнь сделалась

— Не жизнь, а жестянка от разбитого экипажа

Иду я возле Сената

— [1 нрзб.] нет ли у вас работы — голос сзади.

— Как[ая] вам работа?

— Возьмите меня служить хоть даром

— Не могу, не нужно мне

— Вы не обижайтесь. К кому же нам и обращаться, к[а]к не к вам, а у вас и самих теперь нечего.

— Да уж к[ак] нечего.

Стала рассказ[ывать], к[а]к она с голоду скоро помрет, у нее квартира [1 нрзб.], а дров нет, кероси[на] нет и все продано, что было.

26.IV. Вчера проходил по набережной.

Нева идет — — Иду, и все смотрю. И вижу, не я один на мосту, стоят, тоже смотрят.

— Нева идет.

И отчего это глядишь, не оторвешься, как река идет.

И я подумал:

— А когда у нас все кончится и настанет тишь да гладь, скучно будет.

Движение тянет.

27.IV. Наши комнаты, только все они больше.

В моей комнате сидят. Барышня Е. Г. Григорьева. Я выхожу, а у себя лежит А. М. И слышу, шаги [1 нрзб.] в столовой.

— Да помоги же мне!

— Как так я позову сейчас ночь, ведь [1 нрзб.].

И хочу сказать: [1 нрзб.] А А. М. говорит:

— Да здесь никакой [1 нрзб.] не поможет. Будет решено расправляться со всеми, у кого нет 1/2 ф[унта] революцион[ности?] а у меня только 1/8-шка.

2.V. Лед ладожский прошел. Сегодня жарко.

Растворил комнату, закрытую на зиму и вдруг вспомнил «Бесприданницу» с Коммиссаржевской.

Он говорил мне — —

И что-то зажглось на сердце

Ой, чего же это поется и не остановишь

А вчера я подум[ал], глядя на ракеты: от нас видно, на 6 этаже живем, куда вода не подымается и электричество не горит:

Как на реку, когда лед идет, смотреть и смотреть, так и на ракеты глядеть — — к[а]к летят огненные змеи и птицы.

Кто говорит: уезжай [1 нрзб.].

А я говорю:

— Куда же я поеду, тут хоть место нагретое.

А то говорят: в Кронштадт уезжай, а я говорю: упаси, у нас страшно, а на этом острове еще страшней.

[2 нрзб.] идей.

Тут недавно возле академии ученье было, один солдат и говорит: «Товарищи, не пойдемте на фронт, все это мы из-за жидов деремся!» А как[ой]-то еврейчи[к] с портфелем «ты нам [1 нрзб.]». А он опять: «Товар[ищи], не поедем на фрон[т], это мы все за жидов». А еврей и [1 нрзб.] скомандовал: «Стреляйте в него». Тогда 2 солдата вышли, а он побежал. Не успел до угла добежать, они его настигли, да как выстрелили, кишки у него вывалились и целая

лужа крови. Я иду и горько [?] плачу. Красн[огвардеец] подошел и говорит: «Иди в свою квартеру плакать!» Я говорю: «Когда это публично делают [?]: то можно публично и плакать».

3.V. Сегодня по пути домой я встретил много странных людей безногих, безруких, выползли на свет божий. — И я вспомнил как 26.II.1917 тоже вдруг появились — появилось.

Или это обида выходит на улицу?

11.V. Видел я, проснулись мы, а на улице городовые стоят: в ночь заняли Петербург, никто и не слышал.

Я иду, спешу, точно скрываюсь от кого-то — от полиции? — не знаю, я один. Сумерки, захожу в какую-то рощицу и вдруг вижу гроб несут, я в сторону — а и тут другой несут. И куда я не метнусь — все несут покойников — черный гроб, а носильщики — сестры в белых косынках.

18.V. Видел во сне А. А. Блока, будто наряжен он в красный костюм, напоминающий китайский Горького.

Я говорю А. А.:

— Вам надо женские ботинки, я всегда в женских и тогда на каблуках костюм будет совсем хорош. Без каблуков невозможно.

А Разумник замечает:

— У вас всегда были подленькие мысли.

Блок А. А. приходит, за ним народ — народ черный, один он в красном.

28.VI. Охотиться за водой! Никто не поверит. А мы всякий день этим занимаемся — к нам вода на 6 этаж не подымается.

5.VII. Сегодня утром у нас пошла вода. Радовался, как теплу. Какое это счастье, когда из крана течет вода и не надо за ней охотиться.

Ехал на трамв[ае] к Горькому. Нахлынула память жарчайшая. Чем же человек жив на этом свете ужасном, чем красна краткая изменчивая его жизнь? Не встречей ли, не любовью мгновенной и разлукой, не верой ли и разочарованием. Вот в этом клубке измен и очарований — жарчайшая тоска. Тоска, которая живит душу.

Подумал о Горьком: сколько он видит слез и слез человеческих.

— Чересчур.

17.VII. Опять на распутье: вывезет или пропад?

На первом месте: агитационная литер[атура], затем учебная, потом классики, а потом все мы еще живущие Робинзоны.

На жалованье жить невозможно. Надо еще что-то. А печатать не будут. Как же жить-то.

Вывезет или пропад?

В прошл[ом] году, помню, когда уничтожили газеты и журналы было жутко и до 19 года. Осень и зиму побирался, должал, потом вывернулся кабалой.

А теперь,

что вывезет

на что надежда

9.VIII. Все хотел записать и откладывал, о добрых людях. Есть добрые люди. У нас на Большом [проспекте] стоит старуха, милостыню просит (сегодня декрет об упразднении нищенства). А всякий раз, проходя, вижу я, как подходят к ней какие-то женщины, шушукаются с ней, а на лице у нее тогда как луч, светится: помогают, видно. 3 дня горит электрич[ество] до 12-и. Слава богу.

Боюсь, когда думаю о дровах. А думаю часто: редкий час не думаю. Как будем жить.

Вообще вся наша жизнь пугает меня.

Утром встаю с отчаянием.

Все силы уходят только не на то, чтобы писать, а что-то такое делать, чтобы быть на белом свете.

Боюсь. Хватит ли сил на все эти хождения.

5. IX. Ночью был обыск по всему дому. К нам постучались в 3-и ч[аса] утра.

7.IX. Ходили осматривать квартиру от жилищ[ной] комис[сии] к уплотнению.

Вода у нас совсем не течет

11.IX. Был трубочист, не бывший год.

16.X. В окно полыхает зарево.

21. X. Началось с 13.V. с понедельника. (Взятие Ямбурга)

Вчера без 1/4 6-ь с «Севастополя» выстрел — необыкновенно торжественное что-то точно запело и у [1 нрзб.]. И сегодня под утро в тот же час я проснулся — опять такая торжеств[енная] песня [?] тончайшей стали.

С воскресен[ья] стою в очередях по 3 — 4 часа.

Сегодня выдался особенно тяжелый день — 2 очереди

Когда ехал в [1 нрзб.] на Исаакиевск[ой] начинали путать проволокой. А когда возвращался, видел в Алекс[андровском] саду [1 нрзб.] пулеметы и около солдаты. Шли солдаты, курили.

IX. Первый снег. Градус мороза.

С понедельника сижу дома — простудился. В субботу уж хворь была, да думал, обойдется. Второй уж раз за эту осень.

А сегодня как-то бодрее.

А последние дни такие темные.

Думал: подам прошение Совет[у] Народ[ных] Комис[саров] расстрелять меня как запаршивевшую собаку — все равно, ни толку от меня, ни пользы.

Все мое время уходит на добычу, а венец дел — один раз в неделю пообедать.

Тучи разбегаются [?], солнце.

Читаю Н. В. Успенского. Я еще с детства полюбил.

Надо его оправдать. Есть замечательные вещи — Мопассан. [1 нрзб.], «Так на роду написано».

3.XI/21.X. Завтра Казанская. Завтра назначено общее собрание для ликвидации Теат[рального] Отд[ела]. Я прослужил год и 5 м[есяцев] (с мая 1918 — ноябрь 1919). Начал с 500 р. в м[есяц], а кончил 5.898 р.

30.XI. С 19-го я в Театр и Зрелище.

Сны мне больше не снятся

Я [это недавно] как-то спохватился, где сны — нету.

Истомленный ложусь и сплю.

Свиная жизнь наша. Делать все — не хватает ни сил, ни времени для своего дела. И свое не делаешь. Сколько я думал, а записать и пустяков не удосужишься.

Ожесточенные мысли приходят мне в ожесточении моем и отчаянии.

Я вдруг понял, что добродетельным может быть только богач и властелин. Только власть и богатство дают человеку привилегию быть добродетельным.

Может ли бедняк быть честным и добрым

Ждем весны. Только бы дожить до весны.

И что странно: я делаю все, самую грязную работу, не могу делать своего, а привилегированное сословие

моего дела не может делать, а от своего отлынивает.

И получается одна свинская нищенская жизнь.

1 дек[абря]. Вчера утром вдруг

Слышу захолонуло сердце.
Это то чувство всего мира ко всей твари.
Это радость жизни.
Это веяние крыльев белых.
Это отзвук песни миров.

Сегодня поднялся в бодром духе. Готов все принять и поднять, кажется самый последний труд.

Вчера понял, что надо нести крест, а какой крест легок. Но надо, п[отому] ч[то] так надо.

3.XII. Культ мускулов.

Завтра 17 л[ет], как напечатан «Бебка» (1902—1919).

6.XII. Горечь на сердце.

Ничего не пишу. Только старое, старое, старое, чтобы только к[ак]-н[и]б[удь] прожить

12.XII. 6.435 р. + 643 р. 50 = 7076 р. 50 6.435 | 2
3.503 р. 86 3217.50
10.582 р. 36 1250
1967.50

2.500 | 2
1250

10.511.58
3.503
7.008
2.500
4.508

643.50
8
5148,40
6435
11.580 р. 40 к.

15.XII. Ломают заборы. Как я рад, что ломают заборы

23.XII. Это совсем неправда, будто вечера литерат[урные] — одно развлеч[ение] и думать ни о чем не надо. Нет это больше, надо напряжение души, навык, воспитание — труд.

1920 г.

3.III/19.II. Вчера было видимо великое знамение. Среди бела дня в солнечности открылась радуга, а над ней венцы как солнца.

Народ говорил: «К усиленной войне»

(«Усиленный» слово употребительное, напр[имер] «усиленный паек»). Во сне видел мои любимые ножницы, которые никак не могу найти.

почалиться = позариться

беспоследственно

Беда родит силу

Хлынувшие льды [и бегство человека] вызвали огонь

Для спасения человек похотлив очень.

Реестр писем в Публ[ичной] Биб[лиотеке]

I 1902-3-4—73	X 1913—181	Писем В. В. Розанова — 17
II 1905 — 82	XI 1914 — 137	
III 1906 — 146	XII 1915 — 257	
IV 1907 — 93	XIII 1916 — 278	XIX 1920
V 1908 — 100	XIV 1917 — 202	XX 1921
VI 1909 — 69	XV 1914-1918 — 135	
VII 1910 — 103	война	XXI 1921
VIII 1911 — 183	XVI 1918 — 176	
IX 1912 — 224	XVII 1919 — 170	
1073	XVIII 1906—1914 —	48
		1554

1627

Умерла бабушка, мать М[арьи] К[онстантиновны] Гржебиной, Ольга Ивановна.

Вчера видел во сне японского принца: свои сочинения ему дал с картинками. И еще будто ПТО все во вшах, все спит, кроме ком[наты] 15. Танцы. Через стек[ло] двери видел стол сервированный. Туда приедет М. Ф. Андреева.

— стучите хорошенько

— я теперь умею ногой лягаться

6.III. воскресенье.

Видел во сне Ионова, будто лежит у него на столе разрешение на мои книги — печатать. А Ал. С. [Ионова] будто лежит: у нее сын родился. И рядом ее мать сидит.

21. III. «Я не пророк, я не апостол, я тот петух, к[отор]ый запел и отрекшийся Петр вспомнил о Христе».

20.III. В ту ночь приснилось мне, будто сижу я в нашей комнате на уголку стола — поздний час, давно все в доме заснули, и у проф. Гревса погас огонек. А я сижу с зав[язанной] гол[овой] — [2 нрзб.] — и курю с изны-

вающей думой бездельно. И вдруг слышу, шаги — стучит по лестн[ице], подымается кто-то. И от стука сердце у меня упало.

— Эх, думаю, не вовремя это все. [Мозг у меня в голове высыхает, а тут соображать надо].

А уж близко, стучат — в дверь стучат.

Я затаился на миг — и знаю, что понапр[асну] идут, ничего у меня нет, а в то же время страх как[ой]-то пойманный.

И опять стук. Встал я.

— Эх, не во время ж.

Отворяю.

Наш[а] мал[енькая?] прих[ожая] будто расш[иренная] в боль[шой] зал. И входит человек: весь он в крас[ном], не то это это опуще[нные] крылья, не то огром[ные] легки[е], а внутри ни[чего] нет, толь[ко] какие-то ребр[а], как[ая-то] кость, вырезанная на гравюре по меди, и лицо — очень бледное и не то что бледное, а как у бедуина, опаленное солнцем, иссуш[енное] жаром и бор[ода] черная, толь[ко] на [1 нрзб.] той бороды, сам[а] собой выросла, из людей никто, пустой и эта голова, как на возду[хе], п[отому] ч[то] нет ни шеи — пустой и к[акая]-то [?] реберн[ая] кость.

Но глаза глаз[ами] — я посмотрел и уви[дел] через них, то же лицо, т[а]ки[е] [же] глаза и дальше то же лицо и те же глаз[а], а человек один стоял против меня.

И тако[й] ужас напал на меня — даже не чувств[овал], я как пойм[анный] заверт[елся] на месте и проснулся, боясь шевельнуться.

А присн[ился] мне этот сон после чтен[ия] пье[сы] Евг. Замя[тина] «Огн[и] св. Д[оминика]» (Инквизиция). В этой пье[се] [так] же стучат, как в мо[ем] сне, и тот же мой ужас от это[го] стука. И есть инквизиторы.

11.IV/29.III. 1 день Пасхи.

Теплынь, благодать. Вчера, когда возвращался от Андрея это не ветер, а зефир какой-то благоприятный в теле у теплого океана.

русский человек должен говорить на двух языках: по-русски на языке Пушкина, и по-матерному

Вчера была мне удача — редкий подарок. Копнул переплет «Мысленного рая», а там целые сокровища — скоропись. *15.IV.* Бес мутил под Пасху: свечка у меня таяла, я зажигал и тушил и вот хватился, нет шапки. Нашел, слава Богу, а все-таки перепугался — вырвали у меня из рук спящего. А у мальчика, который немного дальше стоял, шапки так и не нашлось. На Кирочной № 15 в домовой церкви поп вышел и прямо затянул «Христос воскрес» (долго не разрешали служить и попа изловили в последнюю минуту)
Кто-то крикнул: Что-то [?], батюшка, не то.
Поп, стоя в царских вратах, — «Эй, черт»
Создалась сумятица, вой и плач.
В Казанском соборе как[ой]-то подросток, озорничая задумал закурить от свечки, чуть не разорвали
Второй день, как лежит Сер[афима] Павл[овна]. Припадок печени. Второй день воды нет. Измаялись, измучились. Вчера я не выходил из дому, сторожа. А сегодня сбегал в лавку, Господи, словно пух зеленый налетел и покрыл деревья и у нас по линии трава.

второй день в [1 нрзб.] t 15° R.

А меня, как ночь, душит кашель. Господи, измаялись, измучились.

Куклы: Му
ам-ам

— Вы упали духом?
— *Я?* — вот вода у нас не подымается.
сердце горит

Сижу и чувствую, что топлюсь — —
дома воды нет, опоздаю, и не принесут.
ветер воет
как воет — —
ехал, смотрел на Неву
бежит, бежит — —
«Завтра к Ложкомоеву надо идти, стоять в очереди, клянчить»
Подумал
а Нева бежит — —
По площади идти побоялся,
холод такой нестерпимый — думаю, не вынесешь

Как это зиму прожили!
А тут апрель и сил нет.
Просто ничего не просить, так отдаться на волю Божию
и сгинуть — — очень скоро.
Эх, воду прозеваю.
Опять, опять ветер —
Прогревает на солнце.
Рассматривает — заснуть? — и от курева дремлется
часы слышу ясно — идут
Опять воду вспомнил.

15.III.1921
р[або]ты Лени[на?]
зарождение нэпа
16-17-1918 Уб[ит]
Н[иколай] II

Пишу тебе писмо, стихами
пиром чирнило моего
но я прошу тут вас слезами
ну растолхуйте мне его.

Мед и яблоки
Подумайте, знать, что никогда не будет на нашей улице праздник, это ужасно.
Петлин
Крошкин

VII
Гошку
1920 31.VI — 1921 5.VIII
Петербург

30.VI. На новую квартиру переехали Троицкая, 4 кв. 1.
5.VIII. То, чего она так боялась, о чем боялась думать, что может случиться и с нею, а это случалось (кто [1 нрзб.] и очередь [?] только в сказках, с той девочкой, за которой гналась Баба-Яга и настигла и ловила, случилось сегодня утром под полдень на Троицкой ул.

Девочка лет 5-и не больше, девчоночка в бледно голубом вылинялом платьице и такой же вылинялой бледно желтой кофточке, стиснув в ручонках коробочку с папиросами, обернутую белой бум[аг]ой металась со стороны в сторону с криком из [2 нрзб.] ни за что не поддаваясь мальчишке-милиционеру в защ[итной] курт[ке], кото[рый] добродуш[но] с улыбкой не злой (смешно ведь!) гонялся за ней и никак не мог изловить.

И не поймал бы, если бы были ей ворота, но еще двое в темном пересекли ей дорогу и схватил ее, улыбаясь под истошный крик

— Дяден[ька], дяд[енька], отпусти!

— Оставь ее, оставь ее! — голоса из остановившихся прохожих, к[отор]ые следили за всей этой сказочной правдошной сценой.

И на лицах не было никакого удовлетворения, что вот под полдень случилось то, что случалось только в тех страшных сказках, которые любила эта несчастная девчонка.

Я пересекал всю эту гоньбу, ни на минуту не задержавшись, все видя и сердцем обращенный к той минуте, которая, м[ожет] б[ыть] на всю жизнь перевернет душу этой девчонки.

Последнее время думал много о всех событиях наших и всего мира.

М[ожет] б[ыть] иначе нельзя. Нельзя, невозможно, ч[то]б[ы] ч[еловеческ]ая порода добровольно пошла по-другому в царство духа.

Надо насилие, огонь, надо устрашить, гнать человечество.

Иначе нельзя, по косности своей не [может — *зачеркнуто Ремизовым. — А. Г.*] в состоянии человек сам своею силою. Инквизиция огнем думала спасти душу человека; а я думаю террором — уздой декретов — можно спасти человечес[тво] — вывести его на новую дорогу.

В переустройстве матерьяльн[ых] отношений матерьяльное выставляется идеалом — материальным.

но это кажущееся по ограниченности человеческой.

путь же через матерьяльное к духу.

обвивается вокруг сердца, как язык и кровь течет из сердца

Я больше не вижу небо.

Я вижу улицу, толкучку, торговлю и облаву

24.VIII.

Есть русские люди бессовестные, такие, как Роз. Тин. Гор.

— " — и подл[ые]

26. VIII. Собственность не воров[ство], а собака на сене

но уничтожение собств[енности] требует высокого развития духа человеческого.

развивалось терпение

создают не идеи, а корысть

книжность ничего.

вино, корысть, торг[овля]

[1 нрзб.] (брови)

Нищие, а самовар есть [3 нрзб.]

Летопись моей жизни

30.IX. Утро. Иду за молоком в Петрокоммуну. Всякий день дают. 1 бутылку за 32 р. Великое благодеяние. Но я всякий день должен ходить с Троицкой на Адмиралт[ейскую] набережн[ую] 12.

Больше никуда не выходил.

Когда шел, мысленно писал до ожесточения. Писал 1 сцену из Китовраса, статью о Скоморохах (Огоньки) и Шум Города (рассказ).

А вернулся — разбитый. Куда уж писать! Точно сожжен. И только к вечеру восстал. Но тут принес Алянский переписку Гершензона и Вяч. Иванова.

И до поздней ночи читали мы с Соломоном: он за Гершензона, я за Вяч. Иванова.

1.X. Утро. Вся душа переполнена. Сел бы к столу и писал: А надо идти. Куда идти?

— В Петрокоммуну, все за той же бутылкой молока. И это еще вовсе не означает, что вот я пришел и получил, нет, я еще должен, как водится, подождать и вочередиться. Без этого никакая добыча не дается и ничего получить нельзя.

Сначала пошел в контору Г[р]жебину. Потолкался (который месяц хожу выручать рукопись своего «Рва львиного»). Сегодня там все сердитые. Поправил вывеску «галоши» на «калоши» и пошел дальше. — — в Петрокоммуну. Первый холодный день. Иззяб. Из Петроком[муны] с бутылкой вернулся домой и сейчас же пошел в ПТО на Литейный. А вернулся совсем замороженный и посеревший. И дома холодно.

Иногда мне кажется, что [больше] уж не выдержу — я, ведь, совсем обескровленный, и если держусь на ногах, когда весь валюсь, то только упорным духом своим. Ве-

чером писал расск[аз]. И окончили с Соломоном переписку Гершензона с Вяч. Ивановым.

2.X. Утро. Ой, как холодно сегодня. Все окно запотело. Снег шел. Пошел в Балтфлот прикреплять карточку С. П. Из Балтфлота в Дом Ученых. И опять беда: не ту карточку принес: надо желтую, а я зеленую. Слава Богу, что в Б[алт]Ф[лоте] хлеба выдали. С хлебом вернулся домой и сейчас в ПТО на Литейную. А из ПТО в кухню. После обеда пришел Алянский с рассказом о Уельсе, как Уельса чествовали в Д[оме] И[скусств] — телятину ели с шоколадом.

— Уельс шоколаду не ел!

Писал «Шум города».

Поздно вечером пришли С[оломон] Г[итманович] и В. П. — расправляли серебро для игрушечной стены моей.

Потерял я мундштук — большое несчастье.

Упала лампа и разбилось стекло — не знаю, где и достать теперь.

Лопнул горшок из-под каши — где такой добудешь.

И что это такая напасть — все бьется!

3.X. Сегодня воскресенье. Никуда не идти. Какое счастье!

Упала тарелка старинная и пополам, а с тарелкой и ваза из-под цветов — отлетели края.

Весь день писал. Кончил и переписал «Шум города». Заходил после обеда Замятин, принес мундштук. И телефон исправили — две беды прошли.

Что-то Соломона нет — 12-ый час. Устал я сегодня, но эта устал[ость] моя благословенна.

4.X. Раннее утро. Ясное. Из противопол[ожного] дома вынесли гроб некрашенный деревянно-желтый, поставили на дроги — лошадь рыжая. Только священник серебряный в серебряной митре. Кого это повезут? Какая-то старуха плачет. Лития — вечная память. Возница-мальчишка сел на дроги и повезли — —

И ладан проник через мое окно.

Во сне видел Бориса Гитм[ановича Каплуна]. Весь в сером мышином мягком. Показывал мне [1 нрзб.] узкие и [1 нрзб.] яблочный. Потом я очутился на лугу, нагруженный, продовол[ьственными] карточками и удостоверениями. Но какого-то главного у меня не было. И я все схватывался и ахал.

Потерялись мячик и перчатки. Мячик я нашел, а перчаток нет.

Пора. Куда?

— В Петрокоммуну за молоком.

По случ[аю] понед[ельника] молоко запоздало. Велели прийти попозже. Ладно. Ничего не поделаешь. Пошел в Толмачевск[ий] университет. А оказалось, что занятия отменены (не все еще съехались) и приходить мне не надо было. Пошел в Отдел Управл[ения]. В редакции никого не застал. Рукопись оставил какой-то барышне и в Дом Ученых. С лестницы на лестницу, добился-таки [и мне выдали. — *зачеркнуто Ремизовым. — Публ.*] толку, но казначей куда-то вышел и заплатить деньги я не мог. А когда будет, неизвестно. Пошел опять в Петр[о]ком[муну]. Получил бутылку. И назад в Д[ом] Уч[еных] ждать казначея. Казнач[ея] я все-таки не дождался, и заплатил деньги какой-то барышне около казначейской комнаты сидящей. И больше у меня денег ни копейки. Есть цепочка серебряная. Больше ничего. Вернулся домой и пошел в ПТО. Заседание было сердитое. Очень горячился и когда вышел, показалось очень холодно. А погорячился из-за плёва человеческого — отголоска вечера в Д[оме] И[скусств] с Уельсом.

Соломон принес пуд иностранных газет. Алянский пришел с Н. А. Павлович — в первый раз. Шапошник[ов] — [без стихов] за повинностью: отдал примус. Ал. Вас. «по-прежнему молчал». Разбирали альбомную запись Уэллса Алянскому. Какая мудрость в каждой строчке!

5.X. С утра в поход. На Сергиевскую в прачешную за бельем. Ветер так и крутит беспощадно.

Подумал: к[а]к петропавловская пушка — звон. Это к рассказу. В прачешной тепло. А вышел, ветер так и рвет, так и прокалывает. Вернулся домой. А дома новость: С. П. больше не служит в Балтфлоте. Эх, пропали папиросы! Побежал в Петроком[муну] за молоком, за минуту пришел и получил [*далее следует глаголическая буква «добро». — Публ*]. Из Петрок[оммуны] в Дом Ученых карточку прикреплять. Потом домой. Ходили к Алянскому на Колокольную. Сегодня у них последний день праздника — угощали нас обедом. Вернулись от Алянского, пришел секретарь «Крас[ного] Милиц[ионера]» Закатимов, очень

харошии мальчик. Это все насчет всяких продовол[ьственных] карточек.

После Закатимова разговор с Эпштейном о печках.

Вопию нашим зеркальным стеклам:

погибаю от холода!

Был Алянский. Дела театральные. Дела союзные.

Дела московские — неделя скандалов.

За полночь спустился Соломон [на совещание].

В лавку привезли воз с яблоками. Когда вносили в лавку, мешок разорвался и яблоки посыпались на мостовую. Мальчишки сейчас же бросились подбирать. За большими полезли и маленькие. Тут пущены были вожжи, а одному голопузу извозчик наступил сапогом на руку — тот нагнулся, чтобы поднять, протянул руку и такое вышло.

6.X. Пасмурное утро. Не могу никак вспомнить сна. Только вспоминаю какую-то дорожку очень зеленую. Собрался в П[етро]ком[муну], пришел печник. Подождал, пока кончит печку и в путь. Сегодня теплее. Только у нас-то холодно будет — проломил стену для трубы. В П[етро]ком[муну] поспел вовремя. С бутылкой пошел в Балтфлот (в лавку). Из Балтфлота домой. Дома застал Веру Евгеньев[ну] Б.

Пылища в комнате, не дай Бог. Пошел в ПТО на Литейный. Толкался, добиваясь продов[ольственных] карточек и рецепта докторск[ого]. Вернулся домой, а дома стену прорубают — труба лопнула централ[ьного] отопления. Разворотили и ушли. После обеда пришла Вал[ентина] Анд[реевна] Щеголева и А. Н. Ходасевич. Ушли. Наталья Вас[ильевна] пришла. Холод ужасный. Что еще надеть? Не хочется пальто, а придется.

Была С. Н. Дважды вызывал по тел[ефону] Соломона — занято. Так и не пришел.

Еще новая беда: камин дымит.

7.X. И опять утро и опять поход в Петроком[муну] за молоком и по Петроком[муне] путешествие за [1 нрзб.] с рецептом. Из Петроком[муны] пошел в Балтфлот. Не хотят отпускать С. П. Придется идти и завтра — надо же карточку-то отдать.

Погибаю от холоду!

Читал в Д[оме] И[скусств] «о человеке, звездах и о свинье». Всегда мне тяжко, когда выступаю: все мне все кажется ненадобным, все это чтение мое.

Вернулись домой с П. Е.

К полночи спустился Соломон

неизбывную беду избывать

холодную.

Лег в отчаянии, дрожа и безмысленно.

8.X. И опять — зачем проснулся и вот тороплюсь? Пошел в Толмачевку. Рассказывал о Достоевском — «стиль бахвальный». Слушал своего ученика Соколова о колдунах из села Спаса Кологривского уезда Костром[ской губернии]. Память у него плохая, дорóгой карандаш потерял, а на селе нигде.

Из Толмачевки (нет лучше, из Толмачей) в Д[ом] Ученых. Встретил Горького.

Говорю ему:

— Как стал получать учен[ый] паек, чувствую, что с каждым днем умнею.

А он смеется:

— Я, говорит, тут не причем.

— Как же, говорю, это вы сделали такой Дом.

Из Д[ома] У[ченых] в Балтфлот. Взял карточку С. П. Из Балтфлота домой и сейчас же в Горохр. Из Горохра, пообедал, и в Дом Литераторов.

Неужто выселяться придется?

Был Князев, тоже нос повесил.

ой, как хочется.

Холодно, холодно, холодно.

И все-таки пишу. Начал расск[аз] маленький «Яблоки» продолжение «Шума города».

Вечером Нат[алья] Вас[ильевна] и совсем поздно из Одессы посол Прусс[?] от Вл. Нарбута. Понемногу отнекиваются, нет только Ив. Сер. Соколова.

Лег в 4-ом [часу], писал все. Да, опять беда: телефон.

9.X. Суббота. Самый подходящий день для прошений. Все становятся добрыми и внимательными.

Ну, пошел в Петроком[муну] и долго там пришлось выстоять, хоть и добрые все субботние.

Из Петроком[муны] в ПТО. И вернулся совсем разбитый. Вечером приходил Алянский и еще было литературное. В. Евг. читала рассказ. Сказала, на 15 м[инут], а читала час. И с ней Мар[ия] Борис[овна] Исаева.

Наклеивал серебро на стену.

В комнате как-то потеплело. Окна заклеили в моей комнате.

Рассказ дамский со словами словаря беллетристики и читанный и слышанный, одно, что это биографич[еское] и относится к Леониду Андрееву.

Спустился Соломон и была Нат[алья] Вас[ильевна].

Еще позднее лег — в 4-е. Писал.

10.X. Воскресенье, никуда. Весь день писал «Свет слова». Вечером приходили мой ученик Соколов из Толмачей и Беленсон.

Как это хорошо, когда никуда не выходить.

И писал и чайник вычистил.

11.X. В Толмачи. В Петроком[муну]. Домой. В ПТО.

12.X. В Горохр, в Нарсуд. Домой.

Переписываю и рисую.

13.X. Разломило меня совсем пополам. Это от окон.

В Д[ом] Уч[еных] и домой. Какой денек-то сегодня — покровский!

14.X. В П[етро]Ком[муну], домой, в Нарсуд.

Вечером нашествие.

Повесть листов в 15
Драма в 6-и картинах
Разговор до 3-х ч[асов] ночи.

15.X. В Толмачи, в П[етро]Ком[муну], в Толмачи, в Петроком[муну] и домой. Книжку у меня похитили, хлеб и сахар пропал, а в ТО вместо сахара выдали крупу — говорят, не хватило сахара.

16.X. В Петр[о]Ком[муну]. В Д[ом] Уч[еных]. Домой.

Вечером на «Короле Лире».

17.X. Воскресенье. И вот с 1—5-и в м[алом] за[ле] консерват[ории] читал «О ч[еловеке], зв[ездах] и [о] св[инье]» и «Заяч[ьи] ск[азк]и».

18.X. (5 окт.). В Толмачи, П[етро]Ком[муну], далее в ПТО.

Были: Соломон, С. Гор[одецкий], В. Пл., Алянск[ий], Петр [?] Вас., Шишков [?].

До вечера приходил Клюев Н. А.

Приношений великое множество.

19.X. Никуда не уходил

20. X. В Д[ом] Уч[еных].

Приходил Н. М. Кузьмин.

21.X. П[ет]р[о]Ко[ммуна], Д[ом] У[ченых], ПТО.

С 14 на 15.XI с воскресенья на понед[ельник]

Видел во сне будто слышу звонок, окликн[ул] С. П.

Она говорит:

— Звонят.

И так раза два.

И потом голос:

— тут спит черт Копицин [?].

И это такой голос, открыл я глаза в ужасе.

Хорошо помню, от стены этот голос.

4.XII.1920. Началась зима. Утром вижу снег и легкий мороз.

За трехлетием лихолетья наступил новый год четвертый и первый. И как счастливы те, кто прожил их

27.XII. Первый похожий на зимн[ий] день.

И если бы солнышко наше было, солнышко тронули бы, все испортили.

Самый разгул чертячий, как всяк знает, в рождественский сочельник, еще есть одна ночь — крещенская, но в эту ночь потише.

Черти загодя готовятся к этому дню. И хоть всегда они беспреп[ятственно?] могут проникать на землю по всяким поручениям от Духа тьмы, но так свободно, как в сочельник, — один раз в году [удается].

26.II—27.II Ночь

В этой квартире

самовар ставят

А. Р. стоит у дверей в шапке «ученой» и в пальто [1 нрзб.] и А. Р. сказал:

«Меня ведь арестуют».

И я смотрю, вокруг стоят солдаты и сидят [?] кругом солд[аты?].

От ужаса не могу раскрыть рта, язык не поворачивается. Рукой открыл рот.

Иначе и не

Взяла сумку и пошла к Гржеб[ину?]. Темно на улице. В темноте идет знакомая фигура — дочь А. Ан. Д. Викт[ория?]. Тут еще ничего, а на Фурштадтской отнимут у меня продукты, к[оторы]е лежат в сумке. Поравнялись муж и жена. Муж в офицер[ском] [2 нрзб.]. Что-то [1 нрзб.] заговорить. Вижу, не плохие, хорошие люди. Идем вместе.

Подходим ко 2-ой Рождественской, а это не Рожде[ственская] а к[а]к на 2 [1 нрзб.] устроены садики, как [2 нрзб.] и

И когда проходили через бульвары, деревья стоят в снегу

Вдруг стало сразу светло.

Я посмотрела на небо и сказала своим спутникам:

— Посмотрите! Посмотрите!

И да[ль]ше жаркие лучи [1 нрзб.] и разноцветн[ые]: синий, фиолетовый и желтый, как от солнца [?], [1 нрзб.].

Смотрим все и удивляемся

— Знамение, говорим

Вглядываюсь:

елка на небе

И кто-то из спутников говорит:

— Это елка, это значит, завтра воскресенье будет.

Они входят во двор и я с ними. Мы идем по нему [?] в дом по мрам[орной] лест[нице], где кормят детей и вся лестница уставлена едой: пирожные, холод[ец] заливной

Я боюсь идти

— Как же тут пройти?

Какая-то прислуга убирает.

Когда я вошла туда вижу:

К. Вл. и М. В. в коричневом платье. К. В. говорит:

— Мы пойдем ко мне ночевать на rue de Versaille.

— Хорошо.

М. говорит:

— Я сейчас ухожу. Пойдем ночевать в Наркомдел

— Хорошо.

Прощаюсь с К. В. И вижу, что ей это неприятно. Куда вышли с М. В. Двор длинный, никаких ворот — спасит[ельных?] вор[от].

[1 нрзб.] — быстро вперед ушла.

— М. В.! М. В.! кричу.

Но она уже исчезла. Я думаю:

— Вот тебе и на, я не знаю, как бы одно[й] пройти.

Обратно вхожу. Думаю:

«Пойду к К. В. на Avenue de Versaille».

Иду, во дворе грохочет.

Оборачиваюсь, прямо на меня лошадиная голова.

Я с ужасом отстранилась[?] и проснулась.

С 3-го на 4.

Сидим в моей комнате: я, С. П. и Сергей. Ночь.

С улицы вызывают из каждого дома и расстреливают. Сейчас дойдет очередь до нашего дома. Чей-то голос называет:

— Год — 69

И я выхожу через окно, но ничего [?] не поднимаю, а как в стеклянную дверь

Оборачиваюсь: вижу у стола С. П. и Сергей.

Кланяюсь и иду.

Под аркой сидит солдат, чуть освещенный лампочкой. Он что-то говорит.

Я понимаю, я должен присесть, чтобы меня сняли. И чувствую, что это не к добру — меня расстреляют.

И ясно вижу, что [1 нрзб.] солдат [2 нрзб.], что солдат негр и объяснять ему что[-либо] бесполезно.

Тут проснулся.

Потом видел м[ать] Блок[а], А. Блока, ветчину и колбасу, разобрали [?] под столом.

«В России возможно только два правительства: царское и советское!»

Ленин

1.IV. — Смотрела курички на улицы

— Курички видел

27.III. Я медленно иду, мимо меня проходят и говорят

— Послезавтра ждут кризиса, у нее тиф. Конечно по дороге захватила. 45 дней из Крыма ехала. По дороге девочку 7-и лет похоронила.

— Конечно из От[дела] Управ[ления] вам дадут бумажки, но ботинки вы не получите. Получают ботинки не только они сами, но и их жены и их дети, их матери, их бабушки и даже их прабабушки. А тут служишь с утра до ночи, и все равно никогда не получишь.

— Нельзя же всех расстрелять

Видел во сне Льва Шестова

шлифовал серебряный [?] [5 нрзб.]

беспарт[ийные] должны советскую власть поддюживать

потому такая волокита, что там сидят буржуазные ошмотки.
фантазеры = фантазисты
не логично = это не [1 нрзб.]
нафорсилась [?] и пошла
после меня трава не расти

5 Авг[уста] в 4 ч[аса] дня в 3 ч[аса] ночи поезд
6-го. На Балтийском вокзале 8 ч[асов] утра. Уехали [?] в 11 ч[асов] дня.
7-го. Утром Ямбург, стояли до 8 утра зря
8-го. Обыск.
9-го. в 11 ч[асов] веч[ера] приехали в Нарву. Сидели до 10-го вечера. Вечером была дезинфекция и в карантине
11.VIII. Карантин. Утром до подачи обеда [?] на вокзале выгрузка багажа (переход через Нарову).
12.VIII. мытье полов.
13.VIII. переход в ком[нату] 26 из 5-ой. Прививка оспы.
15.VIII. допрос. Узнали о смерти А. А. Блока († 7.VIII.1921). Помещен[ы?] вместе с туберкул[езными?].
16.VIII. Вечер. Снимались. Концерт.
17.VIII. [1 нрзб.]. Освобожд[ены] от соседства туберк[улезных?].
18.VIII. Преображ[аемся?]. Америк[анская] комис[сия].
19.VIII. Снимались у мешков
20.VIII. Кинематограф
21.VIII. воскрес[енье] «[1 нрзб.]».
22.VIII. выпустили из карантина. Вечером
23.VIII. Утро. Приехали. Сидим в комнате и ждем: пустят ли нас или [1 нрзб.]
24.VIII. Вечер переходили на ул. [1 нрзб.], 15
25.VIII. Паспорт по [1 нрзб.] до 19 сент[ября] в Консульстве
26.VIII. Фотография
27.VIII. субб[ота]
31.VIII. В. М. Чернов.
1.IX. Известие о смерти С. М. Гор[о]децк[ого]. Был Вл. М. Зенз[инов].
3.IX.
4.X. Вл. Ив. Лебедев.

10.X. Газеты. Неужто Гумилева расстреляли? Не хочется верить

Детская карточка серии В

Два мира борются, мир новый и мир старый
Корабль кренит
И над гнездилищем всех пролетарских маят
Гремит бетон, железо и гранит.
И на бетонном пьедэстале
Мир пролетарский мы скуем из стали
В немногие бесстрашные года.

Горы мусору у нас
Надо вывезти сейчас

Мусор в кухне не копи
А сжигай его в печи.

Чтоб избежать холеры муки
Мой чаще хорошенько руки

Граждане хищнически расходующие воду будут привлекаться к ответственности.

Ешь ананасы, рябчика жуй.
День твой последний приходит буржуй.

Не трудящийся да не ест.

1917.
1918.
1919.

«Трудовая повинность

На последнем заседании Комтруда был возбужден вопрос об освобождении от топливной повинности писателей, объединенных в союзе писателей, заменив им работы по лесозаготовкам повинностью по ведению культурной работы. Комтруд отклонил это предложение и предложил привлекать писателей к топливной повинности на общих основаниях».

Отдых подходит [?] свинье, человек не свинья, и никаких отдыхов ему не надо. Праздник это совсем дело другое. Развлечения, сны о духе.

Заградительные вехи

2.VI.1917

сижу и слушаю пение и как-то не верится: все врозь — и не замечают.

3.VI

бараны прошли — пыль, как дым

по́ у́-ли-це мо́-сто́-во́й

первая фигура кадрили

вспоминаю всякие пения:

поет один голос тонкий и от этого голоса тоска собачья

4.VI

все шло ладно и сегодня оборвалось из-за какой-то перламутровой пластинки, которую переложил в картонную коробочку

мне показалось вчера, а может это мой глаз мнительный! мне показалось, что Наташа при посторонних стесняется за меня.

Я не сразу ответил на «как вы поживаете?» увидав вдруг выражение лица Наташи и почувствовал, что ей неловко за меня

Это я и сам хорошо понимаю, как это бывает.

Только насчет меня-то это совсем уж напрасно.

5.VI

жду с нетерпением возвращения из Борзны. Очень боюсь, что там расстроит что-нибудь и начнется история и конец моим занятиям.

есть ужасно произносимо[е] слово вероятно

лучше б уж говорили достоверно, вероподобно.

6.VI

разбой — «социальный протест»

заметил враждебный глаз на меня, и мне кажется, она в эти минуты просто ненавидит

А С. П. хоть и делает вид, что ничего не поделаешь, а я чую, ее мучает, в самой глубине ее сердца мучает это.

Наташе 13 лет. Я помню себя в эти годы. Я перешел из III в IV
сидит Буц, головой трясет, язык высунул —
на солнце нашла туча и как снежинки полетели лепестки на зеленый двор
высоко летают коромысла
Юзеф косу точит, кукует [ку]кушка
Буц улегся.
И как сторожевая трещотка затрещал аист
Больше солнце не выйдет и закат будет туманный

8.VI

много мне сегодня снилось, но память о сне моем спугнули п о л о т е н ц а
Писательское ремесло это ужасно капризная штука: вся стройка воздушная — пустяки последние, слово, движение, шаг могут сдуть и не знаю, все ли писатели так, но у меня — это величайшее несчастье
И вот полотенца разрушили до беспамятства — и уж ничего не помню а история с полотенцами такая: оказывается их мало взяли из Петербурга, и четырех никак не хватает; и еще надо было взять не маленькую, а большую картонку, которая
— нигде не помещается в вагоне и с которой в дороге одна мука.

сегодня ветерок подул и летит летит акация — последние лепестки

*

Я встаю в 9 — ½10-го. Курю, записываю сны и прибираюсь. В 11—12-ь выпиваю стакан чаю с хлебом. После чаю прохожу минут на 10-ь в сад. И опять в комнату. И сижу, занимаюсь до 3-х. В 3-и обед. После обеда ложусь с книгой. И лежу до чаю — до 5-и. Выпиваю стакан чаю. И возвращаюсь в комнату к себе и опять лежу с ½ часа с книгою. Потом пересаживаюсь к окну и занимаюсь до ½8. От ½8 до 8-и (не всякий день) гуляю по дорожке в саду. И домой. Зажигаю лампу и до 9-и занимаюсь. В 9-ь яичница и стакан чаю. После чаю читаю газеты или рисую или пишу — до 12-и. Очень долго не могу заснуть.

*

Иногда спохватываюсь: какое уродство! И как себя помню, я всегда что-то такое выделывал с собой — какое-то добровольное тюремное заточение. А иначе я едва ли бы мог. Гулять — я не могу гулять так.

И я думаю, что строй моей жизни и вовсе не уродство, а самое законнейшее приспособление.

Как-то Николай Бурлюк сказал верно, что мне затвор надо.

И одно меня смущает: затвор — испытанное дело. А улица. Как помню себя, всеми правдами и неправдами я все делал, чтобы обходить улицу. И первая катастрофа в жизни моей произошла именно потому, что вышел (вопреки воли своей) на улицу 18.XI.1896 г.

*

сегодня началась 2-ая неделя, как мы в Берестовце.

*

самое тягостное — это не ненависть (тут напрямик!), а не-любовь.

Не-любовь — это такая мутная среда, куда ни один луч не проникнет.

9.VI

видел во сне — —

опять спугнули, а произошло это из-за боржому. Хотел раскупорить раньше и выпустить газ, не вынимая пробки, но пробка вылетела и много разлилось воды.

и опять о полотенцах, которых мало взяли с собой и еще о том, что рано поехали на вокзал — за 3-и часа! и еще о Машином паспорте, который оказался у меня в кармане, а я уверял — клялся и сердился — что отдал,

и еще о маленькой картонке и о невытряхнутых саварах а вообще о моей куриной памяти и прегрешениях вольных и невольных

*

лег я в час из-за газеты, а не спал до 3-х.

ночью стонал кто-то, а мне казалось, что это С. П. И я очень затревожился и все лежал и курил готовый, если вдруг что, подняться.

И когда я лежал, незаметно прояснилась ночь, и это прояснение ночи, рассвет, выражался в каком-то колебании, точно

дом —это корабль
а ночь — море

потом я увидел шторы
и услышал первые клики птиц и шаги —

*

очень опоздали с самоваром и потому все вверх дном

*

как успокаивает, когда в теплый летний день слышно, как пилят дрова.

Надпись:

воспрещается лущить семечки, садиться на прилавок, если много людей, без дела не надо входить в лавку, за неослушание будут подвергаться административному взысканию.

11.VI

Заспал сон.

Перед судом понимания своего все правы всегда.

13.VI

На воле гром — гроза.

Вчера слышал, как Наташа говорила о политике всякую путаницу и про амигрантов. То, что говорила она, я не слушал, но каким тоном! — и это постукивание кулаком об стол, все это мне напомнило С. П.

И еще напомнила — не отходчивостью. Уж, кажется, все кончила, легла, нет, все продолжает. И с той необыкновенной силой и твердостью в голосе.

*

сегодня Наташа сказала, что она только дома так кричит и так говорить может, а то боится. Наташа — трусиха большая. Это — мое, только я и дома никогда так не сумею сказать.

14.VI

Долго вчера не мог заснуть. И газет вечером не было и не спалось. Комар зудел, точно плакал.

Наташа очень горячая: плохо ей в жизни будет, трудно ей будет.

Разве что спасет *боязнь.*

*

Наташа боится, когда начинают разговор о ее раннем детстве у нас. Должно быть, это разрушает какие-нибудь мифические ее представления, сложившиеся в Берестовце о ее первом годе.

*

нехорошие люди!
вот когда обвиняют *всех* простых людей только в разбое, только в корысти, хочется наперекор обелять даже и ту тьму, которая есть. Эти обвинители обвиняют сами-то из-за своей корысти. Только чистый суд во имя чего-то большого — суд праведный.

*

— Чего вы траву мнете!
— Нам теперь права даны.
— Ведь он дерево!
— Из-за вас деревом сделался.

15.VI

Вчера после газет о событиях 10.VI сон был расстроенный.

*

начали игру, в которую только вдвоем играют, *фильтр*

16.VI

Когда свинья ест, она хвостиком помахивает.
«интеллигенция это ненормальное явление в природе. Интеллигенция нам не говорит правды, а если при старом строе она бывала откровенна, то откровенность ее была продажной. При катастрофическом столкновении классов интеллигенция должна погибнуть»

из речи агитатора

*

Наташа избалованная. Избаловала ее Л., для которой Наташа единственная д[олжно] б[ыть] на свете — в жизни ее цель и утешение. К. не всегда здесь и она ее балует между прочим. От избалованности идут и капризы. Наташа капризная. Она повторяет чужие слова, — того круга, где ей приходится быть. Другие же к ней относятся скорее

нехорошо: ею тяготятся. И если смела она в доме и своевольна, в гостях этого ей пройти не может. На нее не обращают внимания и она вдруг смиреет. Ласкать ее никто не ласкает: Л. не ласкает, п[отому] ч[то] она для нее все, а при такой близости выражение ласки невозможно Вот пример: Аркадий и дядя. И это не по свойству исключительному Аркадия, это в порядке вещей, что он никогда не разговаривает с дядей, а оба молчат

а любят друг друга по-настоящему

Л. все исполняет, чего бы Наташа не захотела.

— Вытри губы мне! — говорит Наташа.

Л. вытирает.

— Подвинь меня! —

Л. подвигает со стулом.

Наташа сыплет сахару себе в клубнику столько, что едва другим хватает.

А укроп берет прямо горстью и ест.

Это она может и в этом ей не откажут — это так полагается.

18.VI

Вчера уж были признаки разлада. Сегодня совсем плохо. Решили ехать 30-го. Если бы удалось так осуществить и в мире.

21.VI

полночи не спал: была жестокая гроза, я думал, что дождем выбьет все стекла

*

узнал из газет, что в Пензе 16.I умер Волков Владимир Семенович. Добрый был человек и заклеванный, а заклевала его Пенза интеллигентская за «женский вопрос», как мне там один объяснил. Он был женат и женился еще студентом и была его жена лет на 20-ть его старше. И [у] нее были дети, состоятельная. И жил он в ее доме. Занимался делами — частный поверенный. Принимал в своей комнате. Жену не показывал. Говорили, что на содержании живет. Это была его первая вина перед Пензой — а в Пензе к[ого]-н[ибудь] непременно надо винить, а то от скуки заснешь.

А вторая вина: в Петербурге он сошелся с одной. Звали ее Надежда Владимировна (по отчеству не помню) Изра-

ильсон — на фельдшерских курсах училась — крещеная еврейка. Тоже привлекалась с ним по делу «последних народовольцев» 1890 г. и оба сидели в Крестах 2½ года. Была у нее девочка. И должно быть, он ей ничего о своей семье не сказал. И когда оба приехали в Пензу, началась целая история.

Жившая в Пензе писательница Ольга Рунова (сотрудн[ичала] в «Рус[ской] Мысли») написала повесть из пензенской жизни, где все были выставлены и рассказана вся история и не так, как она случилась, а как могла случиться по пензенским соображениям. Повесть напечатана была в книжка[х] «Недели» Гайдебурова. Нас было ссыльных в Пензе: Ин[н]окен. Алексеев, Курило, назв[анный] доктором (он кончил в Харькове, только не совсем), студент Горвиц, ко[тор]ый мне красное одеяло подарил, Баршев Алексей Сергеевич (студент).

Израильсон эта очень хотела, что[бы] мы с Волковым дружили.

Да чего-то не вышло.

Я бывал у него: герценовского вида в золотых очках, и очень разговорчивый.

А Израильсон приходила к нам, когда жил я с Алексеевым в одной комнате в доме, который купили Карпинские — тут я тогда и познакомился с Вячеславом Алексеевичем Карпинским (женат на Сар[ре] Наум[овне] Равич)

Вспомнилось мне все это и решил записать, чтобы не забыть окончательно.

Израильсон на жену Леон[ида] Андреева, на Денисевич была похожа и было что-то и от Животовской — рот. Больная совсем, надорванная.

Вспомнил отчество Израильсон.

Крестный был Влад. Алекс., б[ывший] офицер, тоже с нами жил с двумя детьми, жена померла, был он не то, что ссыльный, к[а]к Волков, а поднадзорный «на родине» — привлекался по делу их косвенно.

*

Пасмурный день.

И свежо, ветер большой.

Ничего не писалось за весь день, только рисовал да стол прибрал.

Оттого, что был дождь, мальчик не пойдет за газетами, так и не узнаем, чем окончилась воскресная демонстрация в Петербурге.
Наташа сказала, что она только здороваться стесняется.
Тучи идут валами — —
и очень грустно.
а птицы все-таки поют и куковала кукушка.
все утро по двору конь ходил — еще бы, сколько за все жаркие дни всяких мух перекусало его.
И до чего мне скучно в деревне.
Сегодня 3-и недели.
Последнюю неделю я совсем не выхожу из комнаты, только утром после чаю.
Смотрю в окно — —
Ничего мне не хочется: ни писать, ни читать

*

духовная мощь и мужество в жизненной борьбе — беспощадная борьба против зла, лжи, тьмы

Завет культа Митры-победоносного

22.VI

Говорят:

В Петербурге 5 полков за новое правительство и 5 полков за старое. Чья возьмет?

*

В первый раз затрубили и загудели жабы на болоте. После дневного дождя, когда ветер расчистил полоску на закате, ожили птицы и не так свежо

*

о комаре: когда на ночь потушу свет, зазвонит комар и точно где-то далеко в набат бьют

23.VI

чтобы увидеть домового, надо в великий четверг понести ему творогу на чердак.

так и сделала одна:
видеть его не видела, а только ощупала:
мягкий

если он скажет: у-у-у! —
это хорошо
а если: е! —
плохо

одна баба не велела сор из избы выметать, а велела заметать в угол
и в великий четверг, когда осталась одна, надела белую рубаху
и плясала на этом два часа
всю всенощную
а к другой, соседке, по ночам прилетает золотой сноп:
прилетит и рассыплется

24.VI

Лунная холодная ночь — полночь, папортник цветет

*

сегодня мое рожденье: мне 40 лет.
играл в карты: в короли, в ведьму и в возы.
И Наташа в первый раз, проходя мимо окна, заговорила со мной
— спросила меня, сколько времени прошло?
И кланялась, как всегда.

25.VI

лег в 12-ь. Просыпаюсь, еще ночь, слышу, поют — это была какая-то ведовская песня: женские охрипшие голоса и врозь с мужскими.
Я долго лежал, не мог заснуть, все слушал:
голоса скакали, крутились, «катали», как тут говорят, — купальская песня.

27.VI

что видел во сне, ничего не помню
вчера еще с вечера началось великое землетрясение и возобновилось с утра
все и забыл
из дому вестей нет: Ив. Алек. клялся и божился заходить к нам всякую неделю на остров и писать, а прислал всего 1-о письмо,
да и то не из квартиры нашей, как было условлено.
И больше ничего, как в воду.
вины мои следующие:
I вина: доверился Ив. Ал., а надо было чтобы швейцарские девочки писали
II вина: полотенца, которых было положено «для облегчения багажа» меньше, чем это требуется для обихода

III вина: картонка, не взяли большую картонку, к[отор]ую в вагоне не знай куда и поставить

IV вина: паспорт Машин: уверял я (и очень сердился сомненьям) что паспорт я отдал, а он оказался у меня в кармане

V вина: на вокзал надо было ехать не в 3-и часа, а в 4-е тогда бы паспорт отдан был Маше и самовары вытряхнуты.

и эти пять вин моих, как острые самые зубья пилы, которой пилят грешников на том свете в соборе Благовещенском в Сольвычегодске.

28.VI

я с тобой и двух слов не сказал. Я только смотрел да здоровался, когда ты проходила по двору. А слышать я много слышал, как ты говорила. И очень мне понравилось, с какой горячностью ты заступалась и в этой горячности мне почуялась сила твоя и разумение. Я подумал: в тебе есть дух жив, как в твоей мате[ри]! И кулачками так же стучишь, когда очень уж за сердце возьмет.

Вот мне и захотелось написать тебе, рассказать тебе о тебе же. А ты мне ответь, получила ли письмо. Я тебе и еще напишу.

Родилась ты в лунную весеннюю ночь, когда зацвел каштан. Жили мы в Одессе на Молдаванке — это самая заброшенная часть города, где ютится лишь беднота, и где начинаются обыкновенно погромы. Занимали мы одну комнату: очень было тесно. Хозяйка, когда ты родилась, была недовольна за беспокойство и все ворчала. Тебя положили на мою енотовую шубу. И помню я красненький дышащий комочек — это ты вроде комочка была. И все ротиком ловишь. А я на тебя так, как на Плика:

Вчера разговор зашел, что все началось с захвата (революция и есть захват!)

и что вот Ч[ем?] Бог наказал, а я подумал: о захватах вообще лучше помалкивать, кто не грешен и о наказании Божьем не судить человека, п[отому] ч[то] завтра, кто знает, придет и твой черед и ты будешь наказан. Нет, о наказании, как о беде надо принимать сердцем не злорадствуя, а жалея.

У Наташи совесть совсем закрыта для других и самое больше[е] есть маленькая щелочка к — щенятам, но к людям закрыто.

*

тут кончаются
записки берестовецкие
и начинаются черниговские
я сохраняю все, п[отому] ч[то] писалось
в значительнейший из годов
русской истории — в год
революции
1917-ый

«ВОНЮЧАЯ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ОБЕЗЬЯНА...»

Вонючая торжествующая обезьяна, питающаяся падалью, реквизированным сахаром и ананасами, ты напялила на свои подпрыгивающие кривые ноги генеральские штаны, стянутые с растерзанного тобой генерала, на вихрастую голову, прикрывая уши, самодовольно нахлобучила французский красный колпак, присвоила русское крестное имя, русскую человеческую кличку и, обольстив изголодавшуюся горемычную чернь медовым пряником — посулом мира, хлеба, земли и воли, а главное праздностью и беспечальным обезьяньим довольством, с тупым пулеметом и бездушным штыком завладела Русью, родиной моей, покаранной за свое русское «обознался», «здорово живешь» и «наплевать».

Косноязычная, гикающая с набитым семечками ртом, исковеркала ты родную русскую речь «главковерхами» и «викжелями», изъёрнившаяся, ты могучее «могу» превратила в бессильное (импотентное) «с-могу», объявила изменниками русских людей, для которых твоя обезьянья морда есть обезьянья морда, а не лик Спасителев, как пыжишься представиться перед простецами и недоумками, набрала в свою стаю все отребье, весь грех наш и позор русский, и расправляешься в судах-расправах своих, бросая по тюрьмам на снедь острожным вшам, кого твоя нога хочет, кличешь освободить Европу от империалистических зверств и захватов, а бессчастную Русь, захватив, загнала обезьяньей расправой своей к той темной до-ярославовой поре истории нашей, когда предки наши звериным обычаем живяху, запустила лапу свою в оттопыренный карман богача, а заодно и к трудовым копейкам бережливых работников, а теперь обожравшаяся, торжествующая, вы-

мазанная сластями, калом и кровью, протянула лапу и ко мне — к нам, писателям русским, которых на многомиллионной Руси и ты с своим коротким умом можешь без большого труда пересчитать по узловатым пальцам.

Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая обезьяна, хоть что-нибудь в моей жизни и в моей воле, можешь ли ты вызвать под своим тупым черепом хоть отдаленные мысли, хоть намек о моем труде? Знаешь ли ты хоть что-нибудь о той боли, какая жжет меня, о той тревоге и муке, в которой проходит моя жизнь наяву и во сне? Снились ли тебе сны мои и играло ли сердце твое от радости, заливавшей душу мою, от той радости, от которой светится весь мир — дышат камни, оживают игрушки, глядят, разговаривают звезды, и разрывалось ли сердце твое от тоски и скорби, которая обугливала всякий блеск и свет? Нет, ты дрыхнешь и тебе ничего не снится, нет, ты не страждешь, ты только орешь от голода и визжишь от похоти, и нет звезд над тобой. Как же ты, нищая духом, можешь посягать на мою волю и распоряжаться моим трудом, который есть одна живая боль?

И еще скажу тебе, понимаешь ли ты, что я последний нищий, собираю окурки, чтобы набить хоть одну цельную папиросу, всем приятелям и знакомым должный, и никогда не знаю, буду ли завтра обедать или только языком щелкать, и тело мое измождено, душа измучена, кожа с нее содрана — ты не понимаешь? — понимаешь ли ты, что, под видом благодеяния народу, ты запускаешь лапу не в карман мой, который пуст, а лезешь к моей шее, к кресту моему, который тяжелее золота и горячее огня.

Прочь обезьяньи лапы! Ты не смеешь! Мой труд нельзя ни реквизировать, ни национализировать, как нельзя мысли моей ни повелевать, ни приказывать — меня можно только убить.

P.S. Весь сыр-бор загорелся из-за Михайловского. При чем Михайловский? Какое тебе дело до Михайловского? Михайловский — русский писатель, обысков не производил, в тюрьмы никого не сажал, говорил о правде — истине и справедливости. Какое тебе дело до правды? Твоя правда — ложь, твоя истина — обман, твоя справедливость — застенок.

КЛАД

Эка, куда его занесло! Ищи среди бела дня на Набережной в Париже —

нарочно не придумаешь!

Клады кладутся с зароком — и первое дело: знать зарок.

А зарок зароку рознь: один зарок — на голову человечью, другой — на сорок голов воробьиных, третий — на «отчу», а бывает — на матерное слово:

выругайся — и клад покажется, а без того всю жизнь ходи вокруг

и — ничего!

Клад в Париже лежал с зароком на матерное слово.

Вот и подумайте!

Ведь это на Москва-реке с таким зароком — да тот же, ну... Пильняк давно бы его, походя, забрал, а тут — в Париже —

Ведь население еще не просвещено! и не только мысленно, а и громко не употребляют таких слов!

Да и из русских заезжих, ну, скажите, кто из литературного круга разумеет? Возьмите для примера самого Милюкова или Фондаминского с Авксентьевым, ну нарочно при всех попробуйте проэкзаменовать!

Да им самое ходовое из этого словаря коломенского, что тому же Пильняку по-английски.

Да, трудно придумать что-нибудь более несообразное и более замысловатое, как такой зарок — в Париже!

*

Купил Поляков соломенную шляпу. У Делиона купил на Сен-Жермене. Надел — крепко. Идет — посвистывает. (В Европе все посвистывают, у нас — не полагается!)

Дни яркие — солнцем проняло — прёт.
А у него с глазами чего-то:
и не двоится, а муть,
зажмурится, потрет — пятно—
ультрафиолетовое.
Шел Поляков по Набережной к книжным ларькам:
не найдется ли какой книжки оккультной?
Сколько хотите! — и оккультной и по терапии.
Остановился. Прицелился — книга к книге, всякие —
Но только что за корешок тронул, откуда ни возьмись ветер — как дунет:
шляпу-то и сорвало,
вскрутнуло!
и — в Сену.
Тут Поляков не удержался: досадно — новенькая ведь! у Делиона! — да как матнёт —
И кто бы подумал:
Поляков жизни благочестивой —
Поляков-Литовцев!
прошлым летом вместе на гору Андекс подымались (это вроде как наша Лавра монастырь) и с Элиасбергом, и какие уж там слова, он и песен-то не поет... Постойте! у Шестова — рисовал Шестова Борис Григорьев, зашел Поляков посмотреть — это Борис Григорьев! Или и в самом деле прав Шкловский: уши даны человеку не для того, чтобы все слушать, а чтобы хлопать ушами!
Поляков не удержался —
И в ту же самую минуту в глаза его влипли листы — лист за листом — расписанные, как нарезанные, с усиками, закорючками —
а это клад вышел!
Тронул: бумага старая, а живет. И ничего сразу не разберешь — чего это? — а наше — русское.
— Сколько? — спросил Поляков по-французски.
И не торгуясь, заплатил мелочь —
продавец-то и сам ничего не понимает, откуда?
Забрал Поляков связку и домой.
А какая была шляпа — соломенная! — Делион!

*

Как ехали из России, взяли мы с собой земли — так с пёрсточку в костяной коробке —

русская земля!

Был я всем и стал ничем, как и всякий тут русский без России.

А земля — это и память и крепь.

Жили мы у Делион на Кирхштрассе. Только что начали обживаться: подвесил я над столом паука, открыл «Обезьянью палату» и за работу.

Русскому человеку тут, в Германии, большое ученье: начинай с аза и долби, как школьник —

книг, каких хочешь, — ведь нет такого вопроса, над которым бы не потрудился немец! — и вокруг работа кипит: слышали вы, как проходит поезд, как он дышит, так тут работа.

Ноябрь — там в России первопуток, а здесь дождище, самая осень и только клён стоит перед окном зеленый.

В субботу приходили дети — в «Обезьяньей палате» им вольготно: ведь для них все в ней живое от пряника «Michel'я» до черного Унтергрундика, такого косматого духа, который по подземной дороге — от Wilhelmplatz до Wittenbergplatz — ночью один катается, винтики проверяет.

Приходила Ира, — играли в медведи.

Приходил Гиви, персидский мальчик, разговаривал с ним по-грузински — дети на всех языках понимают! И Леночка: ей все кошечку хочется, медведей не надо — медведей она не боится, сама пугает.

Приходила Женя: я ей «книжку писал», она мне домики рисовала.

Потом Гржебинские дети и Юра — «паука смотреть».

И Андрей Белый —

я ему про сон, что мне снилось сегодня, как ходили мы с ним по дорогам, потом входим в комнату, а там лежит на постели — большущая черная, как унтергрундик черный, ворона, а брюшко и лапки лягушиные. И не то она спит, не то так отдыхает. И Андрей Белый будто сказал, что эта ворона — вороляг — это я. Вот, говорю, никогда-то я не думал, что я —

И еще звонок — Поляков-Литовцев.

Знал я Полякова еще по Петербургу — у Вячеслава Иванова на «башне», много тому прошло! Всё с театром, какое уж благочестие, а тут гляжу — и леп и благообразен (портрет Сорина в «Жар-Птице» видели? — живой!)

— В Обезьяню палату?

— Послом обезьяньим из Парижа, — смеется, — а это хабар обезьяний (Affenbestechung).

И подает сверток.

Признаюсь, подумал на сигары —

либо, думаю, кофе!

Такое было постановление обезвелволпала, чтобы все обезьяньи кавалеры несли всякий по силе в обезьяню палату: кофе (настоящий), сигареты, папиросы, табак и бумагу — канцеляристу «хабар обезьяний».

А развернул — рукописи.

«Ну, — думаю, — есть у нас русская земля, а вот и наша старина рукописная: еще крепче будет крепь!»

— Откуда?

— Купил я соломенную шляпу. У Делиона купил на Сен-Жермене. Надел — крепко. Иду — посвистываю. (В Европе все посвистывают!)

И рассказал Поляков все по порядку до самого того места, как ветром унесло у него шляпу и как с досады выругался он последними словами, — «новенькая ведь, соломенная, Делион!» — и как в ту же минуту вдруг увидел среди книг и эти рукописи.

— Ничего не понимаю! Что-то о построении Петергофа, а имена: Савинков, Милюков, Бурцев, Шатилов, Аничков, Лукьянов, Путилов, Карташов, Бронштейн и несколько писем не то Алексею Максимовичу, не то Алексею Михайловичу? Ничего не понимаю!

Тут дети стали прощаться и с ними Андрей Белый — домой пора.

Выкрасил я им рожицы на прощанье в разные краски: кого в красную, кого в синюю, кого в зеленую.

Простились они с моим Feuermännchen'ом — нос у него колбаской розовый, колпачок на голове черный, а сам озабоченный:

еще бы, зима идет, надо тепло беречь!

И долго — к великому моему страху — шумели в прихожей и на лестнице.

Проводил я детей, за посла взялся Полякова.

Сварил я ему кофе — по особому рецепту А. М. Поляковой! — в карлсбадском кофейнике: носик с пробкой, чтобы кофейный дух беречь.

И стало послу жарко —

как там у ларьков книжных на Набережной весною жарко, пошел посол о Париже рассказывать:

как был у старейшего кавалера обезвелволпала у Льва Шестова, о его новой книге о Паскале «Маковка мысли» и как его рисовал Борис Григорьев.

Прокуковала кукушка девять кукуков.

Заторопился посол:

некогда! — пишет он повесть, по листу отхватывает в сутки!

Пошел выпускать его за дверь.

— Спасибо! спасибо! — забывшись, громко крикнул вдогонку.

И уж тихонько — совсем неслышно — вернулся в комнату:

там рукописи — крепь крепкая, как земля.

*

Пять дней, не разгибаясь, сидел я над рукописями — клад разбирал.

В трудных местах, где очень уж хитро и стерто, помогала С. П.

68 документов — 1701, 1719—1725 и 1732 гг. — Петр (1682—1689—1725), Екатерина (1725—1727), Анна Иоановна (1730—1740), не хватает Петра II (1727—1730) — или ветром со шляпой унесло? 97 имен — мастера, вельможи, комисары, а действуют в Петербурге, в Петергофе, в Стрельне, в Красном.

Вот какой кирпич!

Всё переписал (трижды переписал!) — букву за буквой, строчку за строчкой. Переговорил каждое слово — слово за словом — ведь писали, как говорили! Я как прошелся по годам — от года к году.

Подклеил, склеил, переплел — разными золотыми и серебряными бумажками, разноцветными, как камушками, покрыл переплет.

(Иван Пуни за эту работу мне картинку свою подарил — «революция»).

Поедем в Россию, это будет первый наш дар России —

клад.

КЕДРИКИ

Нет, нигде по всей Устюжине от Северной Двины и Вычегды и выше до Устьсысольска я не видел таких купавых кедров, таких и тихих и шумящих вековой сибирской сурью, как в Коряжемском монастыре в монастырской ограде.

Монастырь за Сольвычегодском по Вычегде — в белые ночи колокол слышно.

А какие орехи!

С орехами с кедровыми скоротаешь и самые длинные зимние вечера, когда на Устюжине саженный снег и только сорок колоколен сорока церквей сольвычегодских гудут — — ко-ло-ко-лами.

Соль Вычегодская (Сольвычегодск) — это наш северный Rothenburg!

А за белой зимой разольется весна, зашумят кедры —

*

1701-го марта в — день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца (каков прислан указ) ис Приказу Правианских Дел за приписью дьяка Федора Михайлова у Соли Вычегоцкой в Приказной Избе перед выборными земских дел бурмистры Николаевского Коряжемского монастира келарь монах Мина сказал:

«Что велено по Переписным книгам прошлых 186-го (1678) и 187-го (1679) годов для нынешней свейской службы впред для запасу к городу Архангелскому поставить по шти четвериков з двора муки ржаной в новых рогожных четвертных кулях

по нынешнему вешнему водяному пути к отдаче провианских дел к подячим Алексию Наумову с товарыщи» —

«И Николаевского Коряжемского монастиря с монастирских своих со штидесят с пяти дворов половничьих, с пяти дворов бобылских, с четырех дворов скотьих, с одного двора на приезд — всего с семидесят с пяти дворов по шти четвериков муки ржаной з двора в новых рогожных четвертных кулях по нынешнему вешнему водяному пути поставить собою без всякого задержания у города Архангелского к отдаче провианских дел к подячим Алексию Наумову с товарыщи.

«А буде мы, келарь, того (вышеписанного) запросного хлеба по нынешнему вешнему водяному пути у города Архангелского к отдаче подячему с товарыщи не поставим, и нам тот хлеб, по указу великого государя, поставят вдвое на Воронеже в Азовской отпуск самим собою.

«А как тот запросной хлеб к городу Архангелскому (в отпуске будет) поставим и в отдаче будем, и о том мы, келарь, у Соли Вычегоцкой в Приказной Избе ведомо учиним на писме.

Такова подана за рукою келаревою

1701-го.

Сказку келареву о поставке хлеба писал не сам келарь — келарь Мина только исправил: вычеркнул «каков прислан указ» и «вышеписанного», а «в отпуске будем» заменил «поставим и в отдаче будем» и в самом конце к «ведомо учиним» прибавил «на писме».

— Теперь можно и набело переписывать!

И вдруг вспомнил —

за окном в монастырской ограде кедры шумят —

И тут же на «сказке» сделал приписку — широкой разгонистой строчкой:

припаметовать когда поездка будет к Устюгу свести два кедрика к Ивану Агафонову Смолнякову.

«ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ» АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА: СИМВОЛИСТСКИЙ РОМАН-КОЛЛАЖ

Опубликованная отдельным изданием в Париже в 1927 г., книга А. М. Ремизова «Взвихренная Русь» принадлежит к числу центральных, наиболее ярких и значимых произведений в многообразном творческом наследии мастера. Сам Ремизов хорошо осознавал, что именно в этой книге ему суждено было высказаться о себе и о пережитом его родиной в полный голос. Свидетельствует об этом, в частности, его позднейшая надпись (4 августа 1947 г.) на экземпляре «Взвихренной Руси», подаренном Вадиму Андрееву и его жене Ольге Викторовне:

«Эту книгу я писал, как отходную — исповедь мою перед Россией. Передо мною была легенда о России — образ старой Руси и живая жизнь Советской России.

Со старым я попрощался, величая, а с новым — я жил, живу и буду жить.

И еще в этой книге революция...»[1]

В немногочисленных отзывах на «Взвихренную Русь», появившихся в русской эмигрантской печати, примечательно удивительное единодушие: критики буквально вторят друг другу в своих — чрезвычайно высоких — оценках и характеристиках. «Взвихренная Русь», по убеждению князя Д. П. Святополк-Мирского, «займет одно из первых мест в литературе наших дней, и в творчестве самого Ремизова. Его запись о Великой Русской Революции полна значительности и внутренней, непосредственно воспринятой правды. Законный потомок Достоевского и гоголевской «Шинели», Ремизов с особой остротой переживает боль

---

[1] Андреев Вадим. История одного путешествия. Повести. М., 1974. С. 303.

и страдание, и его рассказ о Революции прежде всего хождение по мукам простых русских людей, застигнутых Революцией <...> отношение его к ней двойное, «амбивалентное», отношение ненависти и любви, притягивания и отталкивания, и притягивания тем сильнейшего, чем сильнее соответное ему отталкивание»[1]. Во «Взвихренной Руси», по словам другого рецензента, К. В. Мочульского, «лирически — с мукой страстной и великой любовью — ведется повесть о глухой ночи России. Годы войны и революции, о которых столько писали политики, журналисты, писатели-бытовики, — проходят перед Ремизовым в немеркнущем свете; тьма кромешная озарена им, оправдана и искуплена. Рассказать правдиво, ничего не скрывая и ничего не прикрашивая, о зверином, «волчьем» времени — о ненависти, отчаяньи и крови, рассказать так, чтобы читающий — не умом, а сердцем, всем своим телом — пережил странную тяготу и томление и не отрекся от духа, — задача труднейшая. Как ввести в повесть мертвенный, грузный быт этих лет: показать людей, заживо гниющих в холодных гробах-углах в медленно разлагающемся городе — Петербурге? И содрогаясь от ужаса и отвращения, — продолжать верить в человека? <...> Ремизов не умеет парить в успокоительных абстракциях, не умеет смотреть и не видеть. Ему дано острое и пристальное зрение: это его и мука и отрада»[2]. В сходной по экспрессии тональности и с аналогичной общей оценкой «Взвихренной Руси» выступил Михаил Осоргин: «... книга совершенно исключительная, опять странная, опять трудная, смущающая, испытующая, но пронизанная высокой человечностью, освященная тем светом откровения, который дается мученичеством, вернее — сомученичеством в страшнейшем из застенков — в застенке людского быта. Книга эта рождена в революции и останется ее памятником. Это — запись кошмара, многими пережитого, но немногими оправданного. Она останется непонятной для тех, кто не пережил в России страшных 18—20 годов рево-

[1] Версты. 1928. № 3. С. 155.

[2] Мочульский К. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты / Сост. С. Р. Федякин. Томск, 1999. С. 282—283. Впервые: Звено. 1927. № 219. 10 апреля.

люции и кто не видел их снизу, из глубин человеческой мясорубки, из-под пресса, а не со стороны или с высот командующих»[1]. Предельно лаконичную, но вполне однозначную и вескую оценку «Взвихренной Руси» позднее дала Нина Берберова: «бессмертная книга»[2].

Обтекаемое и самое общее определение «книга», не случайно чаще всего употребляемое применительно к «Взвихренной Руси», скрывает растерянность читателя в попытках более конкретного и точного определения жанра этого произведения. Подобные попытки приводят к полной разноголосице: литературно-историческая хроника, автобиографическая повесть, воспоминания, роман-хроника, мемуары-хроника и т. д.; отдельная статья была посвящена обоснованию тезиса о том, что «Взвихренная Русь» являет собой образчик жанра новой эпопеи, эпопеи XX века — века «повышенного индивидуализма», творящей эпический мир исключительно на основе индивидуального жизненного опыта автора[3].

Сам Ремизов первоначально опубликовал значительную часть текстов, вошедших впоследствии во «Взвихренную Русь», с жанровым обозначением «временник». Такое авторское определение, указывавшее на хроникальную природу повествования, одновременно отсылало к произведению, которое во многом служило для Ремизова, составлявшего своего рода субъективную летопись новой русской «смуты», прообразом и историческим аналогом, — к «Временнику» дьяка Ивана Тимофеева, писавшемуся в 1616—1619 гг[4]. Изложение истории России в эпоху «смутного времени», между царствованиями Ивана Грозного и Михаила Романова, сочеталось в этом произведении с личными наблюдениями и мемуарными свидетельствами ав-

---

[1] Современные Записки. 1927. Кн. 31. С. 453. Подпись: Мих. Ос.

[2] Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. München, 1972. С. 303.

[3] См.: Горюнова Р. М. «Взвихренная Русь» (О жанровом новаторстве Алексея Ремизова) // Вопросы русской литературы: Межвузовский научный сборник. Вып. 1 (58). Симферополь, 1993. С. 58—70.

[4] Впервые в полном объеме «Временник» был напечатан в XIII томе «Русской Исторической Библиотеки» в 1891 г.; Ремизов, скорее всего, пользовался изданием: Временник дьяка Ивана Тимофеева. СПб., 1907. Позднейшее научно подготовленное издание: Временник Ивана Тимофеева / Подготовка к печати, перевод и комментарии О. А. Державиной. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951 (Серия «Литературные памятники»).

тора; исторические катаклизмы представали в интерпретации частного человека, и такой подход обнаруживал с ракурсом, избранным Ремизовым во «Взвихренной Руси», очевидные соответствия. Еще в повести «Пятая язва» (1912) Ремизов указал на «Временник» Ивана Тимофеева как одно из пророческих произведений прошлого, на века определившее параметры, которым неизменно продолжают соответствовать Россия и русский народ: «Обиды, насильство, разорение, теснота, недостаток, грабление, продажа, убийство, непорядок и беззаконие — вот *русская земля»*[1], реалии, запечатленные во «Взвихренной Руси», демонстрируют полный набор всех перечисленных признаков. Тем не менее определение «временник» корректно лишь в отношении части текстов — правда, весьма значительной, — составивших общий корпус ремизовской книги, В целом же «Взвихренная Русь» являет собой причудливую и многосоставную повествовательную композицию, не имеющую себе подобий в традиционной системе жанровых координат; по словам К. Мочульского, Ремизов в этой книге «не считается с привычными определениями жанров: <...> краткие заметки перемежаются с рассказами; большие повести вставлены между двумя снами — и лирические монологи чередуются с сухими записями дневника»[2].

Анализируя композиционное строение «Взвихренной Руси», Елена Синани-Мек Лауд выявила в книге два ряда, относительно которых отдельные фрагменты текста организуются в некое повествовательное единство, — линейное повествование, соблюдающее строгую хронологическую последовательность, как бы горизонтальную ось (собственно ремизовский «временник»), и второй композиционный ряд, образующий, в сочетании с первым, своего рода вертикальную ось повествования, которая вводит в зону авторской субъективности, метафизического преображения действительности, отражает ремизовские рефлексии по поводу событий, фиксируемых на горизонтальной оси[3]. Ком-

---

[1] Ремизов А. М. Избранное / Сост. А. А. Данилевский. Л., 1991. С. 349. Ср.: Слобин Грета Н. Проза Ремизова 1900—1921. СПб., 1997. С. 120—121.

[2] Мочульский К. Кризис воображения. С. 283.

[3] См.: Sinany-MacLeod Hélène. Структурная композиция «Взвихренной Руси» // Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer / Ed. by Greta N. Slobin (UCLA Slavic Studies. Vol. 16). Columbus, Ohio, 1986. P. 237—244.

позиционная основа повествования определена «временником». Существенно в этом отношении, что первоистоком будущего произведения стал дневник, который вел Ремизов в революционные годы, — текст (в том виде, в каком он сложился), к печати не предназначавшийся; позднейшее (10 октября 1948 г.) пояснение к нему, сделанное Ремизовым, гласит: «откуда пошла «Взвих<ренная> Русь» мой дневник 1917 г. с 1 марта и до августа 1921»[1] (примечательна здесь словесная формула, вызывающая ассоциацию «Взвихренной Руси» с древнейшим памятником русского летописания — «Повестью временных лет», «откуду есть пошла Руская земля»). Ремизов вел дневник в рукописных тетрадях, получивших в пору работы над «Взвихренной Русью» заглавия и хронологические обозначения: «II Орь. 27 II. — 1.VI. 1917», «IV. Ростань. 10. VIII. — 25. X. 1917» и т. д.; те же или аналогичные им заглавия и обозначения зафиксированы в хронологически выстроенном повествовании «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова», напечатанном в берлинском журнале-альманахе «Эпопея» в 1922 г. (№ 1—3); позднее весь этот текст без существенных изменений — но с изъятием точных датировок отдельных частей — вошел во «Взвихренную Русь».

По всей вероятности, Ремизов снял точные хронологические указания на последней стадии подготовки книги к печати, тогда же дав новые заглавия отдельным разделам; в рукописи «Взвихренной Руси» (хранящейся в Центре Русской Культуры Амхерст-Колледжа, США) имеется автограф Ремизова (с техническими указаниями для типографского набора), содержащий заглавия разделов: «1. Весенняя рынь 23—27 II 1917» (окончательное заглавие — «Весна-красна»), «2. Орь 27 II — 1 VI 1917» («Медовый месяц»), и т. д. Все эти точные временные привязки, дополнительно подчеркивающие летописное начало в структуре книги, в печатный текст «Взвихренной Руси» не попали; в ходе авторской редактуры были сняты и другие конкретные признаки, обнажающие дневниковую природу повествова-

---

[1] Алексей Ремизов. Дневник 1917—1921 / Подготовка текста А. М. Грачевой, Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и комментарий А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. 16. М.; СПб., 1994. С. 417.

ния (например, в рукописи раздела «Перед шапошным разбором» первая фраза: «С 1-го июня мы на новой квартире», в тексте книги: «С начала лета мы на новой квартире»; там же в рукописи: «14. 3. Кронштадтское восстание. 15. 3. Речь Ленина — зарождение нэпа», в тексте книги приведенные датировки отсутствуют). Устранены локальные хронологические обозначения, однако в последовательности повествовательных фрагментов, составляющих композицию книги, линейный хронологический ряд неуклонно сохраняется.

Историческая хроника во «Взвихренной Руси» сочетается с текстовыми фрагментами, резко контрастными по жанру, — лирическими и философскими поэмами в прозе, рассказами с развернутым самостоятельным сюжетом и повествовательными миниатюрами, игровыми псевдодокументами, вроде «конституции» и «манифеста» Обезвелволпала, и т. д. Эти тексты чередуются с фрагментами «временника», а иногда оказываются внутри хронологических разделов повествования (например, раздел «временника» «Весна-красна» завершается лирической поэмой «Красный звон», а между VIII и IX фрагментами «временника» «Москва» вкраплено — правда, без обозначения заглавия — знаменитое ремизовское «Слово о погибели Русской Земли»). Создание впечатления внешнего хаоса, стилевой, тематической, жанровой чересполосицы, безусловно, было осознанной и глубоко продуманной творческой задачей Ремизова — его художественным образом той социально-исторической субстанции, которая стала предметом повествования. Это хорошо поняли уже первые читатели «Взвихренной Руси»; в частности, Михаил Осоргин писал: «Рассказать книгу Ремизова невозможно. Тому, кто ее только перелистает, она покажется набором мелких рассказиков, сценок, чудачеств, отступлений, случайных записей, неправдоподобных снов, пестрящих подлинными именами. Время от времени тон бытовой повести или нарочитого гаерства переходит в неожиданную, высокую, как бы даже преувеличенную лирику и вновь завершается какой-то заметкой, годной для газетного отдела курьезов и анекдотов. Нужно привыкнуть к письму Ремизова, чтобы прежде, чем дойдешь до последней умиротворяющей страницы, где-то на полустроке, внезапно — но с полной

ясностью — понять, что вся эта суета манеры, вся эта неслитая смесь быта и бытия, бодрствования и сна, крови и анекдота, великого горя и мизерных радостей, — все это и есть олицетворение *взвихрённой* России, той самой, которую мы воочию видели и горю которой приобщились»[1].

Повествовательно-композиционная техника, используемая Ремизовым во «Взвихренной Руси», вполне удовлетворяет индивидуальному жанровому понятию «сверхповести», изобретенному Велимиром Хлебниковым и обоснованному во введении к его «сверхповести» «Зангези» (1922): «Сверхповесть <...> складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. <...> Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы <...> Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть»[2]. Если же хлебниковскому неологизму предпочесть термин «роман», как наиболее традиционное и широко употребительное жанровое обозначение для повествовательных художественных произведений большого объема, то «Взвихренная Русь» будет вполне удовлетворять определению роман-монтаж[3] или даже более радикальному — учитывая сугубую разножанровость и разнородность по стилевой фактуре составляющих его фрагментов: роман-коллаж. В ряду многообразных экспериментов с монтажными приемами, осуществлявшихся в системе модернистской культуры начала XX века[4], «Взвихренная Русь» занимает весьма значимое место, во многом предопределив новации, традиционно связываемые с другими произведениями и другими литературными именами; в частности, вводя в ткань своего повествования подлинные (или имитирующие подлинность) документы — газетные вырезки,

---

[1] Современные Записки. 1927. Кн. 31. С. 453—454.

[2] Хлебников Велимир. Творения / Общ. ред. и вступ. статья М. Я. Полякова. Составление, подготовка текста и комментарии В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986. С. 473.

[3] См.: Калафатич Жужанна. «Неугасимые огни горят над Россией». Проблема времени и памяти в романе Ремизова «Взвихренная Русь» // Русская литература между Востоком и Западом: Сб. статей. Будапешт, 1999. С. 84—86.

[4] См.: Иванов Вяч. Вс. Монтаж как принцип построения в культуре первой половины XX в. // Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988. С. 119—148.

лозунги, правительственные декреты, письма простых людей и т. д., — Ремизов предвосхитил не только аналогичные композиционные приемы, использовавшиеся в русской прозе 1920-х гг. (особенно наглядно и ярко — в «хроникально» организованном романе Анатолия Мариенгофа «Циники», 1928), но и вызвавшую в свое время мировой резонанс калейдоскопическую стилистику Джона Дос Пассоса (монтировавшего в единое повествование нарративную сюжетную прозу, лирические дневниковые фрагменты, газетную и кинематографическую хронику), которая впервые была применена им в романе «42-я параллель» («The 42-nd parallel», 1930).

Коллажные приемы можно проследить во «Взвихренной Руси» на самых различных уровнях — при рассмотрении общей композиции произведения; при рассмотрении отдельного фрагмента, включающего собственно художественную прозу и документальные (или псевдодокументальные) вкрапления; при рассмотрении соответствий между художественным текстом и внетекстовой реальностью. В последнем отношении особенно примечательно, что подчеркнуто субъективный ремизовский «временник» представляет собой монтаж двух типов повествования — описывающего подлинную реальность, преломленную авторским сознанием, и воспроизводящего реальность заведомо мнимую, фантомную: художественно обработанные записи снов. При этом постоянно происходит то, что Т. В. Цивьян определяет как «переплеск сна в явь»[1]: в записанных снах фигурируют реальные лица и сновидчески преображенные подлинные обстоятельства, предстающие иногда в заведомо игровом, провокационном ключе (и в этом отношении можно понять В. Ф. Ходасевича, заявившего Ремизову: «Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне!»[2]); реальность же уподобляется сновидению с его алогизмом, разорванными связями и фантастическими сочетаниями. Размышляя по поводу ремизовских «снов», опубликованных за несколько лет до революции, Д. В. Философов писал: «Во сне ты — да и никто — не ответствен, а просыпаясь,

---

[1] Цивьян Т. В. О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России: Избранные страницы. М., 1993. С. 304.

[2] Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 203.

инстинктивно веришь, что входишь в мир разумной воли, или столь же разумной необходимости. Но бывают времена, что эта *естественная* вера колеблется, а иной, *сверхъестественной,* нет. Реальный мир превращается в бессмыслицу, а за реальностью ничего нет, пустота».[1] Именно такие времена стали предметом изображения в ремизовской революционной хронике.

Коллажная природа построения «Взвихренной Руси» наглядно проясняется, если проследить основные вехи творческой истории этого произведения. Все входящие в него автономные фрагменты (в библиографии Ремизова, составленной Еленой Синани, выделено 80 таких фрагментов[2]) были опубликованы (некоторые неоднократно) до выхода книги отдельным изданием в 1927 г., при этом авторские указания на их принадлежность к корпусу «Взвихренной Руси» появились лишь в 1925 г. — при публикации фрагментов в берлинской газете «Дни» и рижском журнале «Перезвоны». Как самостоятельные произведения печатались в периодике разделы ремизовского «временника», публиковались автономно или в составе иных циклов другие составляющие «Взвихренной Руси»: открывающий книгу рассказ «Бабушка», опубликованный в журнале «Заветы» еще в 1913 г. (№ 3), входил в книгу Ремизова «Весеннее порошье» (Пг., 1915), «Асыка» (под заглавием «Обезьяны») впервые появился еще в сборнике ремизовских «Рассказов» (СПб., 1910), многие фрагменты будущей «Взвихренной Руси» ранее входили в другие его авторские циклы («Шумы города», вышедшие отдельным изданием в Ревеле в 1921 г.) и книги («Ахру», 1922; «Кукха», 1923), поэма «О судьбе огненной» была напечатана в 1918 г. отдельной книжкой. Разомкнутость, импровизационная подвижность композиционной структуры, организующей повествовательное пространство «Взвихренной Руси», сказывается и в том, что некоторые фрагменты, которые входили в предварительные циклы, опубликованные в периодике, в окончательный состав книги не попали; могли бы быть представлены в ее составе и некоторые

---

[1] Философов Д. В. Старое и новое: Сб. статей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 27.

[2] См.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. Etablie par Hélène Sinany. Sous la direction de T. Ossorguine. Paris, 1978. P. 66—69.

другие произведения Ремизова, отразившие его ви́дение революционных событий, — например, очерки и фельетоны, напечатанные в 1917 г. в «Простой газете»[1] или оставшаяся в рукописи «Вонючая торжествующая обезьяна...», непосредственно примыкающая к «обезьяньему» циклу во «Взвихренной Руси»[2]. Существенно при этом, что, формируя окончательный состав и композицию «Взвихренной Руси», Ремизов стремится к воплощению более «оптимистической», провиденциальной историософской концепции, чем та, которая могла сложиться в читательском сознании при знакомстве с разрозненными фрагментами будущего целого: не случайно он завершает книгу лирико-патетической поэмой в прозе «Неугасимые огни», исполненной веры в грядущее возрождение родины; также не случайно, включая в книгу несколько видоизмененный текст «Слова о погибели Русской Земли», автор снимает это заглавие и даже не выделяет «Слово...» в самостоятельную рубрику, а помещает его внутри раздела «Москва», «скрывает» между хроникальными фрагментами.

Создавая итоговую композицию «Взвихренной Руси», Ремизов наиболее кардинальным образом следовал тем творческим принципам, которые складывались у него на протяжении четверти века литературной деятельности, тому методу, который сам он определил предельно кратко: «Я беру себя — свое, и раскалываю на 33 кусочка и эти куски соединяю»[3]. Многосоставность, мозаичность, композиционная дробность присущи уже самым первым его опытам сюжетной прозы (со всей очевидностью они прослеживаются в его первом романе «Пруд») и достаточно отчетливо проступают даже в произведениях, по своей внутренней организации наиболее близких к традиционным нарративным структурам. Критики, воспринимавшие эти традиционные структуры как беллетристический канон, расценивали отмеченные особенности прозы Ремизова весьма негативно; так, А. А. Измайлов писал о его «Крестовых сестрах»: «...с работой Ремизова случается то, что

---

[1] См.: Lampl Horst. Political Satire of Remizov and Zamiatin on the Pages of *Prostaia Gazeta* // Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer. P. 245—259.

[2] См.: Обатнина Е. А. Ремизов. «Вонючая торжествующая обезьяна...» // Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 142—153.

[3] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, <1959>. С. 129.

бывает с мозаичной картиной, когда ее смотришь слишком близко. Каждая клеточка, каждый спай берут внимание. Какой-то таинственный дух, который должен слить, спаять, обобщить эти красные, синие, черные клетки в одно творческое создание, куда-то отлетел. Целого нет. Так нет целого у Ремизова. Точно видишь черновик его повести, где на каждой странице подклейки, над каждой строкой — вставки»[1]. Для Ремизова, однако, все эти «подклейки», «вставки» и прочие приметы коллажного повествования — наиболее адекватная форма творческой самореализации; в предпочтении «мозаичного» изложения линейно-дискурсивному на свой лад сказывается исконная принадлежность писателя к символистской культуре и символистским философско-эстетическим приоритетам. Представление о мире как средоточии символических соответствий, ставшее краеугольным конструктивным принципом символистской эстетики, на материале ремизовского творчества откликается, в частности, отмеченными композиционными приемами, тем методом соположения разнородных эстетических феноменов, который позволяет выявить между этими феноменами «тонкие властительные связи» (Валерий Брюсов, «Сонет к форме», 1895) и который наиболее наглядно раскрывается во «Взвихренной Руси».

Аналоги этому методу можно обнаружить в творчестве других русских символистов, высоко ценимых Ремизовым, — прежде всего у Андрея Белого, давшего в прозаических «симфониях», появившихся в начале 1900-х гг., свою версию монтажной композиции, многими особенностями предвосхитившую позднейшие опыты Ремизова, а также у Александра Блока с его поэмой «Двенадцать», по характеру изображения революционной стихии-смуты чрезвычайно близкой «Взвихренной Руси»[2]. В передаче Вадима Андреева зафиксированы слова Андрея Белого (опубликовавшего несколько частей ремизовского «временника» в своем журнале «Эпопея»): «Если в поэзии лучшим произведением русской революции является «Две-

---

[1] Измайлов А. Пестрые знамена: Литературные портреты безвременья. М., 1913. С. 91.

[2] Параллели между этими произведениями подробно прослеживаются в кн.: Слобин Грета Н. Проза Ремизова 1900—1921. С. 149—151.

надцать» Блока, то в прозе — само собой разумеется и за явностью и договаривать стыдно, — это «Взвихренная Русь» Ремизова»[1]. Поэма «Двенадцать» может рассматриваться как прообраз ремизовской книги и на уровне композиционных приемов: это — «не связное, последовательное повествование», а «ряд <...> отдельных эпизодов, соединенных по принципу монтажа»[2], каждый из эпизодов выстроен в своем, контрастном по отношению к соседним, жанрово-стилевом регистре, авторский текст включает «документальные» вкрапления — подлинные лозунги и воззвания и т. д.

«Соответствия» ремизовским повествовательным приемам выявляются и в иных литературных эпохах. В отличие от многих других выразителей символистской культуры, Ремизов хорошо знал и чрезвычайно высоко ценил русскую «разночинную», шестидесятническую прозу: по его словам, «конец шестидесятых и начало семидесятых — словесный взлет ни с чем не сравнимый»[3]. Именно в эту пору, в произведениях Салтыкова-Щедрина, Лескова, Глеба Успенского и целого ряда их современников, наиболее яркое развитие получила эстетика прозаического цикла — очеркового, новеллистического, публицистического; появляются романы-циклы, романы-хроники; циклы компоновались из отдельных, относительно самостоятельных и самодостаточных повествовательных единиц, которые иногда могли включаться в различные, параллельно возникавшие композиционные модификации; аналогичную картину мы наблюдаем в творческой истории «Взвихренной Руси».

Однако монтажные принципы, манифестированные этим произведением, имели еще один явный прообраз, наиболее, вероятно, для Ремизова внутренне близкий и значимый, — древнерусскую книжность. Готовый вместе с Розановым отвергать изобретение Гутенберга, «обездушивающее» и

---

[1] Сосинский Вл. Конурка (Об Алексее Ремизове, Александре Алехине, братьях Модильяни и других) / Публикация С. Сосинского-Семихата // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 173.

[2] Эткинд Е. Г. «Демократия, опоясанная бурей»: Композиция поэмы А. Блока «Двенадцать» // Эткинд Е. Там внутри. О русской поэзии XX века: Очерки. СПб., 1996. С. 114.

[3] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 302.

нивелирующее всех писателей[1], влюбленный в рукописную книгу, получающий отдохновение в изощренных каллиграфических опытах[2], Ремизов воскрешал в себе средневекового книжника, писца — переписывал старинные грамоты, переписывал (иногда без всякой прагматической надобности) собственные произведения, стилизуя в графической фактуре различные типы древнерусских почерков, а в оформлении — «изукрашенность» древнерусских рукописных книг (среди сохранившихся рукописей «Взвихренной Руси» отдельные фрагменты переписаны набело подобным образом по нескольку раз). Пристально ознакомившийся со многими памятниками древнерусской литературы, хорошо ориентировавшийся в древнерусской палеографии, Ремизов имел вполне исчерпывающее представление о том, что письменность этой эпохи представлена по преимуществу в виде кодексов — сборников. Согласно общей характеристике В. О. Ключевского, *«сборник* — характерное явление древнерусской письменности. В каждом рукописном собрании, уцелевшем от Древней Руси, значительная часть рукописей, если не большинство, — непременно *сборники.* <...>. Огромное количество оригинальных древнерусских произведений носит характер более или менее краткой статьи. Эти статьи были слишком малы, чтобы каждая из них могла составить отдельную рукопись, и удобство читателя заставляло соединять их в сборники в том или другом порядке или подборе <...>. Форма сборника, господствовавшая в древнерусской письменности, проникала иногда в самый состав даже цельных литературных произведений. Памятники, первоначально цельные по своему содержанию и литературной композиции, иногда теряли под руками позднейших редакторов свой первоначальный вид, разбиваясь на отдельные статьи или осложняясь новыми прибавочными статьями, и, таким образом, принимали характер сборника»[3].

Без особенных натяжек работу Ремизова по формиро-

---

[1] См.: Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 39 («Уединенное»).

[2] См.: Маркадэ И. Ремизовские письмена // Aleksej Remizov: Approaches to Protean Writer. P. 121—134; Грачева А. Писец и изограф Алексей Ремизов // Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб., 1992. С. 7—10.

[3] Ключевский В. О. Сочинения. В 8 т. М., 1959. Т. 6. С. 62—63 («Курс лекций по источниковедению»).

ванию окончательной композиции «Взвихренной Руси» можно соотнести с работой древнерусского писца, в результате которой рождался рукописный свод. Ремизов сознательно выстраивал роман-конволют: термин, используемый в библиотечной технике для обозначения соединенных под одним переплетом небольших самостоятельных изданий, соотносимых друг с другом по определенным формальным и содержательным параметрам, метафорически достаточно емко охватывает содержательное и формальное целое «Взвихренной Руси». Необходимо, однако, учитывать, что в сознании автора эта книга — именно целое, а не механическая совокупность. Смысловой центр «Взвихренной Руси», аккумулирующий в себе все ее разноречивые составляющие, образует поэма «О судьбе огненной», представляющая собой вольное переложение философских фрагментов Гераклита. Непосредственно от Гераклита могли передаться Ремизову и те универсальные формулы, в согласии с которыми организована «Взвихренная Русь»: «связи: целое и не целое, соединяющееся и разнообразящееся, мелодичное и немелодичное и из всего — единое и из единого — всё»[1].

А. В. Лавров

---

[1] Гераклит Ефесский. Фрагменты / Перевод Владимира Нилендера. М., Мусагет, 1910. С. 7, 9. Как следует из новейшего исследования (Безродный М. Об источниках книги Ремизова «Электрон» // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 154—156), первоисточником для ремизовского переложения текстов Гераклита послужило именно это издание.

КОММЕНТАРИИ

ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ

Впервые опубликовано отдельным изданием: Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Текст печатается по этому изданию с сохранением специфических особенностей авторской орфографии и пунктуации, с исправлением опечаток и других погрешностей набора по автографам и предварительным публикациям.

Предварительные публикации отдельных фрагментов:

Бабушка // Заветы, 1913, № 3; А. Ремизов. Весеннее порошье. СПб.: Сирин, 1915;

Весна-красна: под загл.: Всеобщее восстание. Временник // Народоправство, 1917, № 5, 1 авг. («1. Суспиция. 2. Кровавый мор. 3. Звезда сердца»); № 10, 25 сент. («4. По ратным мукам. 5. Между сыпным и тифозным. 6. Огненная мать-пустыня»); № 12, 16 окт. («7. Язык запал. 8. Тощета великая. 9. Хлеба»); № 18/19, 25 дек. («10. Суд непосужаемый. 11. На своей воле. 12. Красный звон»); в составе тех же фрагментов, под загл.: Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. 1. Весенняя рынь. 23—27—II—1917 // Эпопея (М.—Берлин), 1922. № 1;

Медовый месяц: под загл.: Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. 2. Орь. 27/II—1/VI—1917 // Эпопея (М.—Берлин), 1922, № 2; главка «Молчальник»: под загл.: Слово серебро, молчание золото // Простая газета. 1917, № 20, 3 дек.

В деревне. I—XXVI: под загл.: Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова. 3. Мятенье. 1/VI—10/VII 1917 // Эпопея (М.—Берлин), 1922, № 3;

Москва. I—XX: под загл.: Ростань // Воля России (Прага), 1924, № 1/2; текст в составе фрагмента VIII (от «Широка раздольная Русь, родина моя» до конца фрагмента) — под загл.: Слово о погибели русской земли (библиографические сведения на с. 000 наст. тома);

Октябрь. I—VII: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 1. Ветье // Воля России (Прага), 1926, № 2;

Саботаж: под загл.: Акакий Башмачкин // Дело народа, 1917, № 223, 15 дек.; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 2. Саботаж // Воля России (Прага), 1926, № 2;

Современные легенды: Искры // Шумы города; **I. Рука Крестителева. II. Святой ковчежец:** под загл.: Свет во тьме светит. Современные легенды. I. Рука Крестителева. Святой ковчежец // Новый вечерний час, 1917, № 2, 30 дек.; Шумы города; **III. Белое сердце:** под загл.: Белое сердце. Современная легенда // Новый вечерний час, 1918, № 25, 16(3) февр.; Шумы города;

Голодная песня // Шумы города;

Знамя борьбы. I—IX: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 3. Завиток // Воля России (Прага), 1926, № 2;

О судьбе огненной // А. Ремизов. О судьбе огненной. <Пг., артель художников «Сегодня», 1918>; под загл.: А. Ремизов. Электрон. От слов Гераклита Эфесского. Пб.: Алконост, 1919 (расширенный вариант текста); А. Ремизов. Огненная Россия. Ревель: Библиофил, 1921; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 4. О судьбе огненной // Воля России (Прага), 1926, № 2;

Лесовое: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 5. Лесовое // Воля России (Прага), 1926. № 2;

Четвертый круг // Москва, 1919, № 3; Шумы города; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 6. Четвертый круг // Воля России (Прага), 1926, № 2;

Обезвелволпал: I. Конституция: под загл.: Обезвелволпал // Бюллетени Дома Искусств в Берлине. 1922. № 1/2; под тем же загл. // А. Ремизов. Ахру. Повесть петербургская. Берлин: изд. З. И. Гржебина, 1922; под тем же загл. // Кукха; под тем же загл. // Наш огонек (Рига), 1925, № 46, 14 ноября; **II. Манифест** // Бюллетени Дома Искусств в Берлине. 1922. № 1/2; А. Ремизов. Ахру. Повесть петербургская. Берлин: изд. З. И. Гржебина, 1922; Русское эхо (Берлин), 1925, № 33, 30 авг.; **III. Лошадь из пчелы:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 7. Лошадь и<з> пчелы // Воля России (Прага), 1926, № 3; **IV. Рожь:** под загл.: Рожь. Из книги «Взвихренная Русь» // Перезвоны (Рига), 1925, № 3; **V. Асыка:** под загл.: Обезьяны // А. Ремизов. Рассказы. СПб.: Прогресс, 1910; под тем же загл. // Шиповник 3; под загл.: Асыка царь обезьяний // Ухват (Париж), 1926, № 3, 15 мая;

Три могилы // Записки мечтателей, 1919, № 1; Крашеные рыла́; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 8. Три могилы // Воля России (Прага), 1926, № 3;

Заяц на пеньке: Зенитные зовы // Записки мечтателей, 1919, № 1; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 9. Заяц на пеньке. <1.> Зенитные зовы // Воля России (Прага), 1926, № 3; **Заплечный мастер:** под загл.: О заплечном мастере память ярославская // Красный балтиец, 1920, № 8; под загл.: Веретейка. 1. Заплечный мастер // Эпопея (М.—Берлин), 1922, № 2; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 9. Заяц на пеньке. <2.> Заплечный мастер // Воля России (Прага), 1926, № 3;

Окнища: вступительные строки («лица их — сама земля...»: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». Окнища (1919—1920). 1. Мороки // Дни (Берлин), 1925, № 704, 1 марта; **I. Фифига:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». Окнища (1919—1920). 2. Фифига // Там же; **II. На углу 14-ой линии:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». Окнища (1919—1920). 3. На углу 14-ой линии // Там же; **III. Заложники:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». Окнища (1919—1920). 4. Заложники// Там же; **IV. Лавочник:** под загл.: Из Книги «Взвихренная Русь». Окнища (1919—1920). 5. Лавочка // Там же; **V. Анна Каренина:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 1. Анна Каренина // Дни (Берлин), 1925, № 806, 20 сент.; **VI. Портреты:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 2. Портреты // Там же; **VII. Братец**: под загл.: Взвихренная Русь: Братец // Звено (Париж), 1925, № 122, 1 июня; **VIII. Мы еще существуем:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 1. Мы еще существуем. 2. Эрне // Дни (Берлин), 1925, № 761, 10 мая; **IX. От разбитого экипажа:** под загл.: Из

книги «Взвихренная Русь». 1. От разбитого экипажа // Дни (Берлин), 1925, № 744, 19 апр.; **X. Демон пустыни:** под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 3. Демон пустыни // Дни (Берлин), 1925, № 761, 10 мая; **XI. Именины**: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 2. Именины // Дни (Берлин), 1925, № 744, 19 апр.; **XII. Катя:** под загл.: Россия в письменах: Катя // Дни (Берлин), 1925, № 830, 18 окт.; **XIII. Благожелатель:** под загл.: Благожелатель. Из книги «Взвихренная Русь» // ПН, 1926, № 1751, 7 янв,; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 1. Благожелатель // За свободу (Варшава), 1926, № 9, 13 янв.; **XIV. Благодетель** // ПН, 1926, № 1751, 7 янв.; под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 2. Благодетель // За свободу (Варшава), 1926, № 9, 13 янв.; **XV. Среди бела дня. 1. Налетчики. 2. Пристают**: под загл.: Взвихренная Русь: Налетчики. Пристают // Звено (Париж), 1925, № 130, 27 июля; **XVI. Рыбий жир:** под загл.: Взвихренная Русь: Рыбий жир // Звено (Париж), 1925, № 122, 1 июня; **XVII. Электрофикация:** под загл.: Взвихренная Русь: Электрофикация // Понедельник (Рига), 1925, № 1, 1 июня.

Загородительные вехи. I—VIII: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 10. Загородительные вехи // Воля России (Прага), 1926, № 3.

На даровых хлебах: I. Находка // Шумы города; Собачья доля: Петербургский сб. рассказов. <Berlin:> Слово, 1922; **II. Сережа** // Современные записки (Париж), 1925, кн. 25; **III. Труддезертир**: под загл.: «Труддезертир» // Современные записки (Париж), 1925, кн. 26; **IV. По «бедовому» декрету** // Современные записки (Париж), 1925, кн. 26.

Винигредная ерунда: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 11. Винегредная ерунда // Воля России (Прага), 1926, № 3.

Шумы города: I. Звезды: под загл.: Шум города. Звезды // Красный милиционер, 1920, № 14; Шумы города; **II. Свет слова** // Шумы города; **III. Заборы:** под загл.: Шум города. Заборы // Красный милиционер, 1920, № 14; Шумы города; без загл., в составе цикла «Крюк» // Новая русская книга (Берлин), 1922, № 1; **IV. Панельная сворь** // Шумы города.

Перед шапошным разбором. I—VIII: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 12. Перед шапошным разбором // Воля России (Прага), 1926, № 3.

Огненная Россия — памяти Достоевского: под загл.: Огненная Россия // Пушкин. Достоевский. Пб.: изд. Дома Литераторов, 1921; А. Ремизов. Огненная Россия. Ревель: Библиофил, 1921.

Петербург — Петрова память: I. Подъемный мост: под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 5. Подьемный мост // Беседа (Берлин), 1923, № 3; **II. Мельница:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 7. Мельница // Там же; **III. Бронштейнова ведомость:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 6. Бронштейнова ведомость // Там же; **IV. Белые медведи:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 4. Белые медведи // Там же; **V. Вино и табак:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 3. Вино и табак // Там же; **VI. По пунктам и сверх:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 8. По пунктам и сверх // Там же; **VII. Резной мастер:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 9. Резной мастер // Там же; **VIII. Красная ворона:** под загл.: Россия в письменах. Парижский клад. 10. Красная ворона // Там же.

К звездам — памяти А. А. Блока: под загл.: Из огненной России (Памяти Блока) // ПН, 1921, № 500, 2 дек.; под загл.: Из огненной России. Памяти Блока // Звено (Берлин), 1922, № 1, янв.; под загл.: К звездам // А. Ремизов. Ахру. Повесть петербургская. Берлин: изд. З. И. Гржебина, 1922.

В конце концов: под загл.: Из книги «Взвихренная Русь». 13. В конце концов // Воля России (Прага), 1926, № 3.

Неугасимые огни // Дело народа, 1918, № 13, 7 марта; Перезвоны (Рига), 1926, № 20.

Рукописные источники хранятся в ЦРК АК.

Подборка текстов открывается листом с позднейшим пояснительным автографом: «А. Ремизов. ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ (остальное в Берлине, а из Берлина куда девалось, не знаю). А. Remisoff. 7 X 1948». Автографы Ремизова — три указателя содержания «Взвихренной Руси»; композиционная последовательность фрагментов в них почти полностью соответствует основному тексту, но сохранены некоторые первоначальные заглавия и хронологические характеристики. Наиболее поздний из них, по всей вероятности, автограф, содержащий авторские технические указания для типографского верстальщика, имеет в перечне заглавий разделов и отдельных фрагментов следующие отличия от окончательного текста: «1. Весенняя рынь 23—27 II 1917» (в окончательном тексте: «Весна-красна»), «2. Орь 27 II—1 VI 1917» («Медовый месяц»), «3. Мятенье 1 VI—10 VII 1917» («В деревне»), «4. Ростань 1 VII—25 X 1917» («Москва»), «5. Ветье 26.10—31.12.1917» («Октябрь»), «7. Современные легенды. 1917», «8. Голодная песня. 1918», «9. Завиток 6.1—6.7.1918» («Знамя борьбы»), «11. Лесовое 14.7—22.8. 1918», «14. Заяц на пеньке 3.3—12.12.1919», «15. Окнища (1919—1920)», «16. Загородительные вехи 1.4—3.5.1920», «20. Перед шапошным разбором 1.7.1920—13.3.1921», «22. Россия в письменах. Петрова память» («Петербург — Петрова память»).

Ниже дается описание составляющих подборку автографов отдельных фрагментов «Взвихренной Руси» с указанием наиболее существенных вариантов по отношению к основному тексту (некоторые варианты текста, восходящие к автографам, сообщаются ниже в комментариях к тексту «Взвихренной Руси»).

«Весна-красна»: «XIII. Плакат» — беловой автограф с правкой, незначительные варианты.

«Москва» — беловой автограф с правкой: главки I—VIII (до: «Широка раздольная Русь, родина моя...»), IX—XVII, XIX—XX; в отдельной папке с обозначением: «Alexei Rémisov. Глава из „Взвихренной Руси“. I ч.»; заглавие: «Ростань. Из временника 17-го года. 10 VII—25 X». Варианты текста:

С. 127. Главка IV, абзац «Было смутное чувство пропада...», заключительная часть: «...до чего можно дойти, — это как и тут в Германии: начало 22-го года и что теперь».

С. 128. Главка V, после строки «и где уступали, пойдут против»:

*

Да, жаль, что не застал его, и не узнать.

С. 132. Главка VI, после строки «Большевик!»:

«Большевик! Да ведь большевик-то марксист прежде всего уверен, что знает: что и как нужно, чтобы устроить на земле человека. А я в этих делах ни в чем не уверен и ничего не знаю; я только чувствую, — и во мне сказалось словами «Крестовых сестер», — если бы люди вглядывались друг в друга и замечали друг друга и т. д.»

С. 135. Главка VIII, в абзаце «На стихирах пели...»: «...какой строй и строгость — русский стиль!»

Там же, конец абзаца «Он тоже меня заметил...»: «...и строй и строгость — наш русский стиль!»

С. 150. Главка XII, начало абзаца: «Я думал о Лермонтове — о лермонтовской „прозе“ несравненной неповторяемой —»

С. 157. Вместо текста главки XVIII.

XVIII

— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —

«Москва» — беловой автограф с правкой, без заглавия, без начала и конца: главка XVIII (до слов в абзаце «— Фиандра, содержатель веселого дома...»: «огоньки замелькали»), отсутствует ряд фрагментов печатного текста. Варианты текста:

С. 157. Конец абзаца «А я трясусь в злой стуже...»: «...гору нагóришь, тут и часы и самовары».

С. 158. Конец абзаца «А Павел — —»: «...пригнулся да как свистнет — —»

С. 160. Абзац: «Но моего голоса не слышно: не царь-колокол, мое слово воры украли».

С. 162—163. Вместо «Первый раз вижу ~ — — —»:

«Керенский» доктор.

Керенский слушал, нырял, выстукивал.

Керенский:

— Крупозное воспаление: правое легкое. А на левой стороне — на почве алкоголизма.

Тут я будто очнулся: все вижу, всю нашу комнату, только сквозь дым.

— Я не пил, — говорю, — и не пью.

— Все равно, на почве алкоголизма.

С. 168. После абзаца «Я лежу на жарине...», вместо строки тире:

Опять был Афонский. Ждут кризиса. Банки. Синее пламя в глазах. И черно.

«Октябрь» — 1) беловой автограф с правкой, с незначительными вариантами, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь“. Ветьё. 26.10—31.12 1917 г.»;

2) беловой автограф, с отдельными вариантами, заглавие: «Ветьё. 26.X—31.XII 1917»; 3) беловой автограф (наиболее близкий к основному тексту), заглавие: «Из книги „Взвихренная Русь". За звездною долей. Ветьё. 26.10—31.12 1917 г.». Варианты текста:

С. 174—175. Главка II. Вместо «Владимир Унковский», «Унковский» (при всех упоминаниях имени): «Владислав Ходасевич», «Ходасевич» (автограф 1), «Ходасевич» (автограф 2), «Владислав Ходасевич» (автограф 3).

С. 174. Глава II. Перед абзацем «Керенский наряжен монахом» зачеркнуто (автограф 1): «Куприн прочитал в первый раз „Крестовые сестры", а».

С. 175. Главка IV. После абзаца «Вот так все и разбегутся» зачеркнуто (автограф 1):

«Говорил с Б. по телефону:

— Я никогда не оставлю Петербурга.

А он — он собирается ехать».

С. 176. Главка V. Абзац: «Какой-то из властей, напившись на обыске» — и т. д. (автографы 1, 2).

«Саботаж» — 1) беловой автограф с правкой, незначительные варианты, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь". Саботаж. Акакий Башмачкин»; 2) беловой автограф (наиболее близкий к основному тексту). Вариант текста (автограф 1):

С. 179. Абзац «А он им — ...», после «ты слышишь ли — —!» зачеркнуто: «он, твой Акакий Башмачкин, им в ответ:»

«Знамя борьбы» — 1) беловой автограф с правкой, черновой автограф, наброски (предварительный, краткий вариант текста), заглавие: «Завиток 1 I—24 VI (6 VII) — 21.8.1918»; 2) беловой автограф с правкой, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь". Завиток. 6.1—6.7 — 21.8.1918»; 3) беловой автограф (наиболее близкий к основному тексту), заглавие: «Завиток. 6.1.—6.7. 1918 г.». В автографах 2, 3 нумерация главок отсутствует, вместо нее соответствующие фрагменты текста обозначены разделительными звездочками — астерисками, вместо номера главки — дата: главка I — «6.1.»; II — «9.1.»; III — «19.2.»; IV — «22.2.»; V — «26.2.»; VI — «2.3.»; VII — «2.5.»; VIII — «21.5.»; IX — «6.7.». Варианты текста:

С. 193. Главка II. Абзац «— — — когда они...» (автограф 2): «Убийцы показали, что когда они» — и т. д.

Там же. Абзац «После Блока...», зачеркнуто: после слов «...о Пришвине» (автограф 2): «надо, чтобы Пришвина выпустили».

С. 194. Главка IV. После абзаца «В Москве ~ багровый крест» зачеркнуто (автограф 2):

«Написал „Голодную песню". Отделал „Современные легенды" (Искры, Рука Крестителева, Святой Ковчежец, Белое сердце) и рассказ „Звезды" (про наше василеостровское горе-горькое)».

Главка V. После абзаца «Приходили с обыском красногвардейцы —» зачеркнуто (автограф 2): «и откуда таких набрали: тощие, в чем душа».

Там же. После абзаца «Глазели на мою серебряную стену...» (автограф 2):

«(Кончил „о судьбе огненной — от слов Гераклита Ефесского" (темного))».

С. 195. Главка VI. Вместо «И вижу: ~ „Albern“» (автограф 1):

«И вижу: Зонова караулит женщина с черным провалившимся носом. Входит Л. Троцкий. А живем мы на каком-то бесчисленном этаже на самом на верху башни».

С. 196. Главка VII. Абзац, вместо «— — Яков Петрович Гребенщиков» (автографы 2, 3): «— — А. Э. Коган („Солнце России“ — „Жар Птица“)».

Там же Абзац, вместо «В кухне Яков Петрович» (автографы 2, 3): «В кухне А. Э. Коган».

С. 196. Вместо обозначения главки VIII (автографы 2, 3)[1]:

«21.5

«В составе Театрального Отдела при Народном Комиссариате по просвещению учреждено Бюро историко-театральной и репертуарной секций. В это Бюро вошли: председатель П. О. Морозов (†1920), члены — Вс. Э. Мейерхольд, А. А. Блок, А. М. Ремизов, С. Э. Радлов и Вл. Н. Соловьев».

Северная Коммуна, № 95, 1918 г.

(Впоследствии вошли: проф. Ф. Ф. Зелинский, акад. Н. А. Котляревский (†1925), П. П. Гнедич (†1925)».

В автографе 2 далее зачеркнуто: «А. Р. Кугель и писатели — Анна Радлова, Вяч. Шишков, Виктор Шкловский, Вл. В<а>с. Гиппиус)».

С. 197. Главка VIII. Вместо «Вейсы» (многократные упоминания): «Кранцы» (автограф 1).

«О судьбе огненной» — беловой автограф, незначительные варианты.

«Лесовое» — 1) беловой автограф с правкой, без заглавия, как части II и III раздела «Завиток» («Знамя борьбы», автограф 2); 2) беловой автограф (близкий к основному тексту), заглавие: «Лесовое 14.7—22.8 1918». Варианты текста:

С. 202. Вместо «Поднялись чуть свет. ~ в деревню к Соколову» (автограф 1):

«14.7.

Поднялись с 5-и! Для меня это такой ужас куда-нибудь ехать! Должно быть, и на тот свет также будет. Я покорюсь. Как покоряясь судьбе, сейчас поднялся, чтобы ехать — в деревню к И. С. Соколову».

После астериска, вместо «Лесавки, лесовое, лесное — —» (автограф 1): «Первые дни в деревне».

С. 203. После «...московскую „Бедноту“» (автограф 2):

«Сегодня получено известие о расстреле Николая II-го»[2].

С. 204. Вместо заключительного фрагмента (после астериска) (автограф 1):

---

[1] Текст приводится по автографу 3.

[2] Аналогичный вариант — в автографе 1.

III

22.8.

Вернулись в Петербург. И когда входили во двор, первый — голодный вопрос:

— Хлеб привезли?

Закрыты все газеты и журналы. А идет зима.

— — — — — — — — — — — — — —

«Четвертый круг» — два беловых автографа с незначительными вариантами.

«Обезвелволпал»: «III. Лошадь из пчелы» — 1) беловой автограф с правкой, заглавие: «Лицевое хождение по Гороховым мукам б. канцеляриста и трех кавалеров Обезвелволпала. Донесение старейшему князю обезьяньему Павлу Елисеевичу Щеголеву. Лошадь из пчелы»; 2) беловой автограф, заглавие: «Из книги „Взвихренная Русь". Лицевое хождение по Гороховым мукам б. канцеляриста и трех кавалеров Обезвелволпала. 1919. Донесение старейшему князю обезьяньему Павлу Елисеевичу Щеголеву. Лошадь из пчелы»; 3) беловой автограф, заглавие — как в основном тексте, с датировкой: «1919 г.». Варианты текста:

С. 208. Главка «Донесение». Вместо «В ночь на Сретение» (автографы 1—3). «В ночь на 15-е февраля, как раз под Сретение».

С. 209. Там же, после «...от великого ума человеческого,» (автографы 1, 3): «а скорее от великого ума человеческого».

Там же, начало абзаца «Поутру по обедне...» (автографы 1, 2): «Поутру по обедне через обезьяньего зауряд-князя З. И. Гржебина было донесено о ночном происшествии в обезвелволпале князю обезьяньему А. М. Горькому».

С. 214. Главка «Поутру», после абзаца «Хотелось мне ~ вот на нем —» (автограф 2):

«принимая вовнимание, что с 15-го ноября с/г. дорога на Тавриз ухудчается, а в одном месте так называемое „Гара Кафлангу" совершенно заваливается снегом, на растояние 17 вер. и почти дорога закрывается, но бывают случаи с большим риском принужденные пассажири перебираются через эту гору, что массо случаев смерти. В виду чего приходится поездку нашего Саада отложить до марта б/г.»

С. 216. Главка «По лестнице на Гороховой», после заключительного абзаца (автографы 1, 2):

«— Трубку потерял! — жалобно вспомнил он, и мне почудилось: в голосе его прозвучала совсем не трубка».

С. 220. Главка «Президиум», абзац «Служитель шмыгал...» (автографы 1, 2): «Служитель, должно быть, из старых, шмыгал» — и т. д.

«IV. Рожь» — беловой автограф, незначительные варианты, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь" (1919—1920). Донесение обезьяньего посла обезьяньей вельможе и обезьянья виза».

«Три могилы» — 1) беловой автограф, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь". Три могилы (1919 г.)»; 2) беловой автограф (близкий к основному тексту), заглавие: «Три могилы. 1919». Варианты текста:

С. 227. Абзац; вместо «О его революционной работе» (автограф 1): «О его политической деятельности».

Там же, абзац; вместо «Весной в революцию ездили» (автографы 1, 2): «В мае 17-го года поехали».

«Заяц на пеньке» — 1) беловой автограф с правкой, заглавие «Из книги „Взвихрённая Русь“. Заяц на пеньке. 3.3.1919—3.5.1920» (заключительная часть автографа — текст, составивший в основном тексте раздел «Загородительные вехи»); 2) беловой автограф (близкий к основному тексту), заглавие: «Заяц на пеньке. 3.3.—12.12.1919».

В обоих автографах отделенные друг от друга астерисками фрагменты текста в большинстве своем сопровождаются следующими точными датировками:

С. 228. Перед «Все только и говорят...»: «3.3.»
Перед «— — —»: «10.3.»
Перед «Снилось: комната...»: «30.3.»
Перед «— — — покорный судьбе...»: «30.3.» (автограф 1), «31.3.» (автограф 2).

С. 230. Перед «Вербное»: «13.4.»
Перед «Вечером точно...»: «15.4.»
Перед «Я проходил по Набережной...»: «26.4.»
Перед «Ладожеский лед...»: «1.5.»

С. 231. Перед «По пути домой...»: «3.5.»
Перед «Охотиться за водой!»: «28.6.»
Перед «Утром пошла вода»: «5.7.»
Перед «Вывезет или пропад?»: «17.7.»
Перед «Увы! зеленая бочка...»: «9.8.»
Перед «Третий день...»: «4.9.»

С. 232. Перед «Обыск по всему дому...»: «5.9.»
Перед «Приходили из Совдепа...»: «7.9.»
Перед «Был трубочист...»: «11.9.»
Перед «В окно полыхает...»: «16.10.»
Перед «Ранним утром...»: «21.10.»

С. 233. Перед «В очереди за хлебом...»: «23.10.»
Перед «— Сны мне больше не снятся!»: «30.11.»

С. 234. Перед «Заседание в „Астории“...»: «1.12.»
Перед «Сегодня у меня...»: «12.12.»

Варианты текста:

С. 231. Абзац «Шел на Кронверкский...» (автограф 1): «Шел к Горькому на Кронверкский» — и т. д.

С. 232. Вместо абзаца «Ранним утром ~ мягко-серебряно-звонко» (автограф 1):

«Началось с 13-го. А вчера ранним утром с „Севастополя“ выстрел: необыкновенно торжественное что-то, точно запело и укатилось мягко-серебряно-звонко».

Вместо абзаца «Стою в очередях по три, по четыре часа» (автограф 2):

«С воскресенья стою в очередях по три, по четыре часа.

А сегодня две очереди!»[1]

С. 233. Вместо фрагмента «Трамвай набит ~ только не коммунистов!"» (автограф 1)[2]:

3.11.

Завтра Казанская — завтра назначено общее собрание для ликвидации ТЕО. Я «прослужил» 6[3] месяцев, начал с 500 р. в месяц, а кончил 5.898 р. За 5 месяцев «служба» моя прошла мирно. Один был только случай, напомнивший мне мою попытку поступить на службу в «Государственный Контроль». Это было в 1906 году, пошел я наниматься в Контроль. Начальник мне сказал, что дело должно быть выше всего. А я сказал: мое дело — писать, а «служить» я вынужден, иначе невозможно жить. (И вгорячах закурил папироску). Начальнику это не понравилось, и меня на должность не приняли. На одном из заседаний ТЕО я заявил, что на заседания, где будет обсуждаться «смета», я не буду ходить — ничего не понимаю! — а писать я буду о тех пьесах, о которых захочу, а не про то, что мне дадут писать, и вообще я буду ходить по всем секциям вроде как домового и где мне понравится, там я посижу, послушаю, а где скучно — уйду. (Ведь всю «службу» я представляю, как «матерьял» для моего дела!) Р. В. Иванов-Разумник это очень хорошо понял. А так никто ничего не сказал, только смеялись, как и на все, что я писал и говорил. Но этот смех был хороший. Но что было для меня неожиданным: после заседания подошел ко мне А. [А. Блок][4] и в первый и единственный раз сурьезно (обыкновенно он говорил со мной, улыбаясь), ну как по-настоящему в роли «председателя» сказал мне, что единственный выход — мне уйти.

«Да куда же мне уйти-то?»

«Из ТЕО, — повторил А., — я не знаю, куда хотите!»

«Если я уйду, — сказал я, — меня, как неслужащего, назначат на общественные работы».

— — —

И по малодушию моему (а ведь «общественные работы» — это матерьял куда интереснее заседаний ТЕО, и, может быть, я бы и вынес эти работы, как многое, что раньше казалось непосильным!) я через несколько дней потащился в ТЕО в неурочный и для меня тягчайший час утром и застал А.

«Пришел[, Александр Александрович,] что-нибудь поделать!» — сказал я виновато и не глядя: очень я тогда весь переломился.

И вдруг увидел по его жалобной улыбке и как покраснел он, что он передумал и за эти несколько дней понял, как с первых моих слов тогда понял меня Иванов-Разумник.

И все пошло по-старому, нет, еще вольней: я писал только о том, о чем хотел, я ходил «домовым — шутом гороховым» по всем секциям и, куда заходил посидеть, всем было весело.

И вот почему мне жалко, что кончилось наше ТЕО.

---

[1] Аналогичный вариант — в автографе 1.

[2] В автографе 2 представлены: первая фраза нижеследующего текста с датировкой «3.11» и весь текст с датировкой «19.11.» (с небольшими вариантами).

[3] Зачеркнуто: 5.

[4] Текст в скобках вымаран (здесь и ниже при упоминаниях имени Блока).

*

19.11.

С сегодняшнего дня я в ПТО (ПТО это то же, что и ТЕО, только ТЕО — всероссийское, а ПТО — петербургское). Там я был под О. Д. Каменевой, а теперь под М. Ф. Андреевой.

(В состав коллегии впоследствии вошли: А. Р. Кугель, Анна Радлова, С. Э. Радлов, Вяч. Шишков, Вл. В<а>с. Гиппиус и Виктор Шкловский)[1].

С. 234. Вместо фрагмента «Заседание в „Астории“ ~ моя „история“» (автограф 1):

1.12.

После заседания в «Астории» о культпросвете среди «загородительных отрядов» (я — от ПТО, Евг. Замятин — от «Всемирной литературы»), на котором была высказана «гениальная» мысль, что «Историю», написанную «Сатириконом», надо взять за пример и «таково должно быть задание для нашей работы», я, вернувшись домой, написал о «человеке, звездах и свинье». Это итог целого года — моего вожжания с дураками. Если будет повторение подобного заседания, обязательно прочитаю.

*

С. 234. Перед абзацем «Сегодня у меня особенный день» (автограф 1):

«12.12.

Ломают заборы — какой стал широкий наш Большой проспект!»

С. 235. В конце текста датировка (автографы 1, 2): «1768 г.».

«Окнища»: «V. Анна Каренина» — беловой автограф с правкой, незначительные варианты.

«VI. Портреты» — беловой автограф с правкой. Варианты текста:

С. 247. Конец абзаца «— Марья Федоровна и Петр Петрович!..»: «...откуда, мол, такой взялся, по старине сказать — „невеглас“, по-современному — „несознательный“».

С. 248. Абзац: «И вспомнил, как мой ученик из „Красноармейского Толмачевского университета“»; конец абзаца: «...что Гоголь жив и служит в ПТО под начальством Марьи Федоровны и Петра Петровича — „член коллегии“».

«VII. Братец» — беловой автограф с правкой, незначительные варианты.

«VIII. Мы еще существуем». «IX. От разбитого экипажа». «X. Демон пустыни» — беловой автограф с правкой (нумерация глав, соответственно: 10, 11, 12). Варианты текста:

С. 255. «IX. От разбитого экипажа». Абзац «В необыкновенной шубе...»: «...держась чересчур прямо, как только держался один И. Ф. Анненский, навстречу мне» — и т. д.

Там же. Конец абзаца «Я очень ему обрадовался...»: «... надо было растолковывать, только он и Замятин».

---

[1] Текст в скобках вписан позднее. В автографе 2 в перечне лиц упомянут также Вл. Н. Соловьев.

С. 256. Конец абзаца «— Моя должность...»: «...я, как бывший канцелярист, а теперь политком, спрошу — —»

С. 258. «X. Демон пустыни». Абзац «Эх, думаю...», после «...то же самое лицо и те же глаза»: «и дальше — опять то же лицо и те же глаза».

«XI. Именины» — беловой автограф с правкой, незначительные варианты.

«XV. Среди бела дня» — 1) беловой автограф с правкой («Налетчики. Пристают»), незначительные варианты; 2) беловой автограф с правкой («Пристают»), заглавие: «Среди бела дня (авантюрное)»; 3) беловой автограф с правкой («Пристают»), заглавия: «Приставанье» (зачеркнуто), «Среди бела дня», текст разделен на три подглавки (в соответствии с членением астерисками). Варианты текста (автограф 3):

С. 276. Начало 3-й подглавки (после астериска), эпиграф: «после 15.3. речи Ленина Зарождение нэпа»

Там же. Вместо «На углу Троицкой ~ иголки, мыло»:

«Иду из Наркоминдела.

На углу Невского и Троицкого сидит женщина: ларек — нитки, иголки, мыло».

«XVI. Рыбий жир» — беловой автограф с правкой, незначительные варианты.

«XVII. Электрофикация» — 1) беловой автограф с правкой; 2) беловой автограф с правкой, незначительные варианты. Варианты текста:

С. 281. Вместо «И „всем, всем, всем“ ~ по соседству под Петербургом» (автограф 1):

«И „всем, всем, всем“ и дубоножие, казалось бы отошедшее в вечность.

В «социалистическом отечестве», когда официально упразднили церковные праздники, в Рождество по-прежнему долго еще ходили поздравители б. дворники, б. полотеры, б. трубочисты поздравляли «с рождеством Христовым!» В ожидании чаевых — праздничных. А вот по соседству под Петербургом» — и т. д.

Там же. Абзац «— — — ну, вот по соседству...», вместо «...нарядили за ним негласное наблюдение и наблюдающие»: «...нарядили за ним негласное наблюдение (Казанцев — б. с.-р.!) и чекисты» — и т. д.; вместо «в дом к поднадзорному-то»: «в дом к Казанцеву» (автограф 1).

После «...какие же мы после этого коммунисты?» — —» (автограф 1): «А другой балтмор же Быстров старательный и деловой, делящий все народы на иностранцев: немцев, французов, англичан — и на православных, под которыми он подразумевал русских, конечно, коммунистов [1] — задано было изложить своими словами отрывок из «Медного всадника»: «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн... и думал он: отсель грозить мы будем шведу... природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно... и перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова...» — и вот что он подал:

> „Петр Великий стоял на берегу Невы и удивлялся. Какая ширь кругом. Везде леса и там болотисты места. Прошло сто лет, как шведы прорубили в Европу окно и сделали все то, что было нужно

[1] Так в автографе.

для природы. Когда в Петрограде все было окончено, Москва склонилась над ним“.»

С. 282. Абзац «Да, мечты!..», после «...такого человеческого слова» (автограф 2): «ведь все пищевые, продуктовые и продовольственные слова,» — и т. д.

С. 283. Последняя строка (автограф 2): «всех переловили».

«Загородительные вехи» — 1) беловой автограф с правкой, заглавие отсутствует (заключительная часть автографа 1 «Заяц на пеньке»), ряд фрагментов текста отсутствует; 2) беловой автограф, полный вариант текста, близкий к основному, заглавие: «Загородительные вехи 1.4—3.5 1920». В обоих автографах нумерация главок отсутствует, вместо нее соответствующие фрагменты текста обозначены астерисками, вместо номера главки — дата: главка I — «1.1.20»; главка II — «4.3.»; главка III — «5.3.»; главка IV — «6.3.»; главка V — «11.4.»; главка VI — «12.4.»; главка VII — «15.4.»; главка VIII — «3.5.». Варианты текста:

С. 285. Главка III. Начало первого абзаца (автографы 1, 2): «В прошлом году Горький» — и т. д. После «...заместителя Луначарского» (автограф 1): «Книжки, конечно, никогда не выйдут».

Там же. Вместо заключительной строки («— — —»; автограф 1):

«Заменять я не буду, а так отдам — „для пищепитания“. Все равно не напечатают».

Главка IV. После «А рядом сидит ее мать» (автограф 1):

«(После оказалось, что у Ионова умер сын — я его никогда не видал)».

«На даровых хлебах»: «II. Сережа» — 1) беловой автограф с правкой, заглавие «Из книги „Взвихрённая Русь“. [Мертвые души.][1] Сережа (1919—1920)»; 2) беловой автограф, заглавие: «Из книги "Взвихрённая Русь". На даровых хлебах (1919—1920). Сережа» — наборная рукопись, представленная в «Современные записки», с пометами редактора М. В. Вишняка.

В автографе 1 — другие имена у персонажей: Анна Петровна (Марья Петровна), Фокин (Котохов).

«III. Труддезертир» — беловой автограф с правкой, заглавие: «Из книги "Взвихрённая Русь" (1919—1920). Труддезертир»; незначительные варианты.

«IV. По „бедовому“ декрету» — 1) беловой автограф с правкой; 2) беловой автограф с правкой; 3) беловой автограф, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь“ (1919—1920). По „бедовому“ декрету».

Во всех автографах — незначительные варианты. В автографе 1 Софья Петровна — «невеста Соколова» (не Воробьева).

«Винигредная ерунда» — беловой автограф с правкой, заглавия: «Россия в письменах», «Рождество» (зачеркнуто), «Винигредная ерунда» (зачеркнуто). Варианты текста:

С. 338. 1-й абзац. Вместо «...как Леонид Андреев и Горький»: «...как Леонид Андреев, Горький и [Ходасевич] Мочульский,» — и т. д.; вместо «...или там — на Аугсбургерштрассе ꝏ „под царь-колокол“»: «или к решетке „Люксембургского сада“ или там — „под памятник Екатерины“ или там — „в царь-колокол“».

---

[1] Вымарано.

Там же. Абзац «Теперь через сколько лет...», между «...мы не там искали — —» и «Скажу одно»: «не там мы искали — и для читателей [«Биржевых ведомостей» и «Русских ведомостей»,] «Вестника Европы» и «Русского Богатства» и прочих столпов до Разряда Изящной Словесности II-го отделения Академии наук [я так и остался на веки вечные пишущим о чертях и не по-русски, а] Шестов так и остался просто «ничего не разберешь», хотя «стиль изумительный»! [Только теперь я увидел, кто меня читал и языком не бередил: потому что сам не только так говорит, но и слышит только такой язык.] Но это все не к тому, о чем речь. [И не для хвастовства.] А надо же когда-нибудь оправдаться, что ни Лев Исааков<ич>, ни я, хоть и не избалованные живым «откликом», все-таки читателя имели, и не пятерых, и не трех, как говорилось, когда по осени сходились мы на сходбище на Земляном валу в доме Хишина у С. В. Лурье».

«Перед шапошным разбором» — 1) беловой автограф с правкой, без нумерации фрагментов римскими цифрами (вместо них — астериски), некоторые фрагменты текста отсутствуют, заглавие: «Из книги „Взвихрённая Русь“. Перед шапошным разбором. 1.7.1920—15.3.1921»; 2) беловой автограф, заглавие: «Перед шапошным разбором. 1.7.1920—15.3.1921». Варианты текста:

С. 353. Главка I. 1-й абзац: «С 1-го июня мы» — и т. д. (автографы 1, 2).

Там же. Абзац «Освобожденный от „водяной повинности“...», после «...из тьмы на свет,» (автограф 1): «— в нашем доме электричество горит круглые сутки! —»

С. 354. Главка III. Конец 2-го абзаца, вместо «все равно, ничего не поймет!» (автограф 1): «И в безнадежности я проснулся».

С. 355. Главка IV. После абзаца «— Какая мудрость...» (автограф 1):

«Инженеру-металлургу Шапошникову отдал наш примус для починки».

С. 357. Главка VI. Вместо «...трубку не умею ~ Не могу никак» (автограф 1): «трубку не умею, а крутить не наловчился.

Пасмурное любимое утро. Не могу никак» — и т. д.

Главки VII—VIII. Вместо «... мы пробираемся через сугробы ~ нельзя же всех расстрелять!» (автограф 1): «мы пробираемся через сугробы на Бассейную в Дом Литераторов встречать новый год. И в колоколе (в церквах в первый раз новый год празднуют по новому стилю) слышится весть о начале новой жизни — новой страды.

*

14.3.

Кронштадтское восстание.

*

15.3.

Речь Ленина. (Зарождение Нэпа) — Мюр и Мер<илиз>!»[1]

Главка VIII, первые фразы (автограф 2):

---

[1] Последнее словосочетание — позднейшая черновая приписка.

«14.3. Кронштадтское восстание.

15.3. Речь Ленина — зарождение нэпа — „Мюр и Мерелиз!“»

«В конце концов» — 1) беловой автограф с правкой; 2) беловой автограф с правкой; 3) беловой автограф. Незначительные варианты. Вариант текста:

С. 393. Абзац «— Не-ет ~ китайские стены» (автограф 1):

«— Нет, совсем нет — „падаль!“ — ну, вот, я по моему малокровию ведь я же — за самые нерушимые китайские стены: — образец нереволюционера! —» — и т. д.

«Неугасимые огни» — беловой автограф с правкой (1-й фрагмент текста, до астериска); заглавие: «Из книги „Взвихренная Русь“. Неугасимые огни. 1918 г.» Варианты текста:

С. 394. Начало 1-го абзаца: «Живо до боли встает моя старая память —»— и т. д.

Там же. Вместо «так при царе Иване ~ костер из тьмы»:

«Так при Иване Грозном, так и при Годунове, так при Алексее Михайловиче — столповой распев — из теми и свечи».

Там же. Абзац «За Москва-рекой заря...»: «За Москва-рекой — заря, по заре, чуть разгорясь, звон из-под Симонова. Белая — берёстиха заалела соборная церковь Благовещения».

В описанный корпус автографов «Взвихренной Руси» включен также беловой автограф рассказа «Рождество» (1919), не вошедшего в печатный текст книги. Вероятно, Ремизов одно время намеревался ввести его в состав «Взвихренной Руси», поскольку об этом рассказе идет речь в разделе «Винигредная ерунда».

В архиве М. В. Борисоглебского (РНБ. Ф. 92. Ед. хр. 349) сохранились также черновые автографы двух рассказов («Находка», «Заборы»), вошедших в состав «Взвихренной Руси»: «Шум города. 6. Находка. 4. Заборы».

Первые публикации текстов, вошедших впоследствии во «Взвихренную Русь», состоялись соответственно в 1910 («Асыка») и в 1913 г. («Бабушка» — задолго до возникновения замысла всего произведения. Прообразом будущей книги стал «временник» Ремизова «Всеобщее восстание», публиковавшийся с августа по декабрь 1917 г. в московском журнале «Народоправство»; тексты, составившие этот цикл, соответствуют разделу «Весна-красна» в окончательно установленном корпусе «Взвихренной Руси» (без заключительной главы «Плакат»). Как явствует из сообщений Г. И. Чулкова, редактировавшего «Народоправство», глава XII цикла («Красный звон») была опубликована в журнале в сокращенном виде; 30 ноября 1917 г. Чулков писал Ремизову: «Большое спасибо за „Временник“. Первые две главы (X и XI) я уже отправил в типографию, а XII глава вызвала возражения со стороны моих товарищей по редакции. Сомневаются, чтобы «изысканный лиризм» этой главы был уместен на страницах такого делового и сурового еженедельника. Я оставил, однако, за собою право поместить и эту главу, если Вы разрешите мне выпустить некоторые строчки — тридцать-сорок в итоге. Сделаю это осторожно без ущерба для цельности. Выпущу такие рефрены, как «Ио, иа, Ио, цолк» и тому подобное. Все это Вам легко восстановить в книге, и в книге это не будет звучать так неожиданно, как на страницах «Народоправства». Если получу Ваш ответ скоро, присоединю

последнюю главу к первым двум, сделав необходимые сокращения. <...> Не гневайтесь на меня за эту грубую операцию: такова судьба редактора подобных изданий вообще, где нет единства в управлении делами и где приходится считаться с различными мнениями» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 41). Ремизов, однако, при последующих переизданиях «Красного звона» сделанных Чулковым купюр не восстановил. Публикация последующих разделов ремизовского «временника» в «Народоправстве» не могла состояться по причине прекращения издания журнала (1 февраля 1918 г. Чулков известил Ремизова: «...первого февраля — с выпуском двадцать четвертого номера — журнал наш не будет более выходить по причине полного расстройства транспорта и почты, а также ввиду захвата железнодорожных киосков агентами советской власти». — Там же. Л. 35).

Цикл, напечатанный в «Народоправстве», в 1922 г. был переиздан в берлинском журнале «Эпопея» (№ 1), выходившем под редакцией Андрея Белого; в том же году в №№ 2 и 3 «Эпопеи» появилось продолжение ремизовского «временника» «Всеобщее восстание»; во «Взвихренной Руси» эти тексты составили три первых раздела книги — «Весна-красна», «Медовый месяц», «В деревне»; 4-й и 5-й разделы «Взвихренной Руси» были впервые опубликованы в пражском журнале «Воля России» — соответственно в 1924 и 1926 гг. Множество текстов, включенных во «Взвихренную Русь», было опубликовано в конце 1910-х—начале 1920-х гг. в периодических изданиях, сборниках, альманахах, а также в составе авторских книг Ремизова («Шумы города», «Ахру», «Кукха»).

В 1925—1926 гг. Ремизов публиковал в эмигрантской периодике отдельные фрагменты будущей книги уже с указанием на их принадлежность к целому — «Взвихренной Руси». Впервые обозначение «Из книги „Взвихренная Русь". Временник Алексея Ремизова» появилось 1 марта 1925 г. при публикации в берлинской газете «Дни» цикла прозаических миниатюр «Окнища (1919—1920)»; это обозначение автор сопроводил пояснительным примечанием: «Начало „Временника" — 1917 год — от февраля до октября — главы „Весенняя рынь", „Орь", „Мятенье" — были напечатаны в ж. „Эпопея", Берлин, №№ 1, 2, 3 у небезызвестного А. Г. Вишняка, племянника „Современных Записок" <подразумевается один из руководителей парижского журнала „Современные записки" М. В. Вишняк. — *Ред.*>; а глава „Ростань" — в „Воле России", Прага, 1924, №№ 1—2. *А. Р.*».

Предварительные публикации текстов, позднее вошедших во «Взвихренную Русь», вызвали заинтересованное читательское внимание; К. В. Мочульский откликнулся на них рецензией «О „Временнике" Ремизова» (Звено. 1924. № 54, 11 февраля. Подпись: К. В.), в которой утверждал: «Заметки Ремизова едва ли не самое замечательное из всего писанного об эпохе войны и революции. Время их не состарит; напротив, когда актуальность их отстоится, превратясь в художественный сюжет, когда перестанет развлекать нас острота подмеченного, запечатленного и „снятого с натуры" — только тогда откроется нам масштаб замысла и крепь построения. О безумных днях, о смятении духа и растлении души написать просто, без „литературности" — вот это до сих пор не удавалось никому. Невыносима всякая приукрашенность, приемы и эффекты, когда дело

идет о настоящей, а не придуманной гибели родины, о настоящей, а не театральной крови. <...> И вот не только „та“ жизнь охватывает, и „те“ люди обступают, но как будто в „тот“ воздух погружаешься — узнаешь звуки, запахи...» (Мочульский К. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты / Сост., предисловие, примеч. С. Р. Федякина. Томск, 1999. С. 404—405). Отдельным изданием «Взвихренная Русь» была опубликована под маркой издательства «ТАИР» (название составлено из первых слогов имен двух сестер — Татьяны Сергеевны и Ирины Сергеевны Рахманиновых). Как свидетельствует В. Б. Сосинский, издательство это возникло «с единственной целью и программой: напечатать полный текст „Взвихренной Руси“ Алексея Ремизова, отрывки из которой тогда впервые появлялись в различных ежемесячниках и альманахах Зарубежной России» (Сосинский Вл. Конурка (Об Алексее Ремизове, Александре Алехине, братьях Модильяни и других) // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 172).

В эмигрантской печати появилось несколько откликов на «Взвихренную Русь» — рецензии К. В. Мочульского (Звено. 1927. № 219. 10 апреля), И. С. Лукаша (Слово. 1927. № 619), М. Осоргина (Современные записки. 1927. Кн. 31), кн. Д. П. Святополк-Мирского (Версты. 1928. № 3). Книга получила однозначно высокую оценку: отмечались ее «изумительная полнота и богатство» (Святополк-Мирский), «несравненная убедительность» (Мочульский). М. Осоргин подчеркнул, что эта книга, «рожденная в дни отчаяния и озаренная мягким, лучистым светом надежды», занимает совершенно особое место в ряду произведений, запечатлевших трагедию пореволюционных лет: «В современной российской литературе революционный быт отражен с большой яркостью. И там, на месте, легче разрешимы психологические загадки этого быта. Но российским писателям недостает отдаления и духовной озаренности, которою проникнуты писания Ремизова. <...> Ремизов, уйдя из быта и унеся о нем память, — осветил эту память светом любви, веры и человечности. И быть может главное — светом веры. Поэтому его книга, обильная страшными деталями революционного быта, часто подводящая к порогу отчаяния, „*в конце концов*“ не только полнее дает эпоху революции, но и находит для эпохи и для революции лучшие слова оправдания. Вера дает ему то, чего не могут иметь утратившие веру старую и еще не приобретшие новой. Из огня и полымя эта его *вера* вынесена невредимой и сто крат озаренной» (Современные записки. 1927. Кн. 31. С. 456. Подпись: Мих. Ос.). «Повести из быта революции», составившие «Взвихренную Русь», по впечатлению К. В. Мочульского, «поражают своей остротой и неожиданностью. Люди и предметы повернуты к нам той стороной, которой мы еще никогда не видели. Мелочи приобретают новый — трагический смысл: нетопленная квартира, мигающий ночник, пайковая селедка, уборка лестниц, испорченный водопровод — становятся эпическими мотивами. Убогая, нищенская жизнь раскрывается в своей громадной значительности, как торжественная и скорбная поэма» (Мочульский К. Кризис воображения. С. 283). Несколько лет спустя Л. Н. Гомолицкий утверждал, что ремизовские «Взвихренная Русь» и «похождения Корнетова» (тексты, позднее объединенные под заглавием «Учитель музыки») — «самое значительное и живое из созданного за рубежом — эпопеи Революции и Эмиграции»: «„Взвихренная Русь“ — жестокая, жуткая

песнь о последних годах войны, первых революции, в голодном Петрограде, под грохот рушащейся жизни, в торжестве беспощадных к человеческой единице теорий — вопреки всему — голос человека, „изгвожденного“ сердца, в последнем падении, унижении и смирении» (Гомолицкий Л. Н. О настоящем и будущем // Меч (Варшава). 1934. № 1/2. 20 мая. С. 17).

Многие реалии и обстоятельства, описываемые или упоминаемые во «Взвихренной Руси», нашли отражение в Дневнике Ремизова за 1917—1921 гг., публикуемом в наст. томе, а также в комментариях к нему А. М. Грачевой.

С. 7. *...с Ферапонтовских фресок...* — Росписи Дионисия и его сыновей (1502—1503) в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом (Рождественском) монастыре (село Ферапонтово Вологодской губернии).

С. 15. *...на Каменноостровском... хозяин Курицын...* — Квартира художника и архитектора Владимира Николаевича Курицына в доме 35а по Каменноостровскому проспекту.

...хожу я по «Новому Времени», ищу квартиру или комнату... — Ежедневная петербургская газета «Новое время» имела большой отдел частных объявлений, который занимал в каждом номере не менее 2—3 страниц.

С. 17. *...сквозь туман кремнистый путь...* — Начало 2-й строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

С. 26. *...смотрел картину Петрова-Водкина...* — Описывается картина К. С. Петрова-Водкина «На линии огня» (1916; хранится в Государственном Русском музее).

С. 27. *На Ильин день по-старому, на Спасов по-новому...* — День пророка Илии — 20 июля ст. ст. (2 августа и. ст. в XX в.), праздничество Всемилостивому Спасу — 1/14 августа. 19 июля (1 августа н. ст.) 1914 г. Германия объявила войну России.

С. 28. *Прокофьев на рояли играл — «скифское».* — Видимо, имеется в виду оркестровая «Скифская сюита» (op. 20; премьера 16 января 1916 г.), сочиненная С. С. Прокофьевым на музыку для несостоявшегося балета «Ала и Лоллий» (по мотивам древнеславянской мифологии, либретто С. М. Городецкого).

С. 29. *...за Хованщину либо за Бориса...* — Оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» (первое исполнение в 1886 г.) и «Борис Годунов» (1874).

До Рождества еще убили Распутина... — Г. Е. Распутин был убит 17 декабря 1916 г. кн. Ф. Ф. Юсуповым, В. М. Пуришкевичем, вел. кн. Дмитрием Павловичем и др.

...прямой ход к Царскому. — Подразумевается: к императору Николаю II, его семье и окружению (Николай II тогда постоянно проживал в Александровском дворце Царского Села).

С. 30. *Акумовна* — кухарка, одна из героинь повести Ремизова «Крестовые сестры» (1910).

...напастях Буркова дома... — Дом на Фонтанке у Обуховской больницы, описываемый Ремизовым в повести «Крестовые сестры» (см. комментарий к ней в т. 4 наст. изд.).

С. 30. *...Двенадцать лет назад, 9-го января...* — 9 января 1905 г., «кровавое воскресенье» — день расстрела войсками мирной манифестации петербургских рабочих.

С. 33. *...подходили к Знаменью.* — Церковь Входа Господня в Иерусалим (Знаменская) на Знаменской площади (на пересечении Невского и Лиговского проспектов); построена по проекту Ф. И. Демерцова, освящена в 1806 г.; в 1938 г. церковь была закрыта и через два года взорвана.

С. 34. *...старинную повесть о Антиохе — царе сирийском и Аполлоне Тирском...* — Рассказ Ремизова «Аполлон Тирский» опубликован в составе его книги «Трава-мурава: Сказ и величание» (Берлин: изд. С. Ефрон, <1922>). Ср. свидетельство Д. С. Усова в статье «Силуэты. 7. Алексей Ремизов»: «...он, по собственному признанию, в тот памятный конец февраля 17-го года <...> дописывал под выстрелы свою старинную повесть об Аполлоне Тирском» (Понедельник. 1918. № 10. 6 мая).

С. 35. *...в канун войны привелось побывать в Риме...* — В Италии Ремизов с женой был в мае 1914 г. (Венеция, Флоренция, Рим, Милан), с конца мая по вторую половину июля — в Швейцарии и Германии, возвратились в Петербург через Швецию 31 июля (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 2).

...вышел я на Средний проспект... — В 1917 г. в последующие годы Ремизов жил в Петрограде по адресу: Васильевский остров, 14 линия, дом 31.

С. 37. *...на Фонтанку к... М. М. Исаеву.* — Присяжный поверенный, приват-доцент Петроградского университета проживал по адресу: Фонтанка, 24.

...Окружный горит... ~ Предварилка горит! — В ходе революционных событий 27—28 февраля 1917 г. были сожжены Окружной суд и Дом предварительного заключения.

С. 42. *...мостки на Волковом...* — Литераторские мостки, место захоронения писателей и общественных деятелей на Волковском кладбище.

...колтовские улицы... — Большая, Средняя и Малая Колтовские улицы на северо-западной окраине Петербургской (Петроградской) стороны, примыкающие к Колтовской набережной (Малой Невки; ныне — набережная адмирала Лазарева). На сегодняшний день сохранилась только Большая Колтовская улица (часть Пионерской ул. — между Корпусной ул. и наб. адмирала Лазарева).

С. 45. *«...Керенский вскочил на стул и стал говорить —»* — Вероятно, имеется в виду речь А. Ф. Керенского, назначенного министром юстиции 1 марта 1917 г., в Екатерининском зале Таврического дворца, в которой он объявил о составе Временного правительства и о вступлении Временного правительства в исполнение своих обязанностей.

С. 46. *...не Таврический и не Песочный...* — Подразумеваются квартиры, которые снимал Ремизов в 1910-е гг. на улицах Таврической и Песочной.

Носили Бабушку... — Подразумевается Е. К. Брешко-Брешковская, начавшая революционную деятельность в 17-летнем возрасте, после реформы в 1861 г., и заслужившая имя «Бабушки русской революции»; освобожденная в марте 1917 г. из минусинской ссылки, прибыла в Москву, а затем в Петроград, где ее бурно чествовали.

Пришвин — агроном, человек ученый... — В 1902 г. М. М. Пришвин окончил агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета.

С. 47. *...о Каменщиках, Таганской тюрьме.* — Об аресте Ремизова и заключении его в Таганской тюрьме в ноябре—декабре 1896 г. см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 421, 438.

С. 50. *«Царь-вампир из тебя тянет жилы...».* — Строки из революционной «Новой песни» («Отречемся от старого мира!..», 1875) П. Л. Лаврова, исполнявшейся на мелодию «Марсельезы» и бывшей в период между февралем и октябрем 1917 г. официальным российским гимном (см.: Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков. В 2 т. Л., 1988. Т. 2. С. 190, 591—592 — примечания С. А. Рейсера).

С. 55. *...«о втором издании русской революции».* — В похоронах жертв революции, состоявшихся 23 марта 1917 г. на Марсовом поле, участвовали бывшие шлиссельбургские узники — В. Засулич, В. Фигнер, Г. Лопатин. Ср. газетное сообщение: «Особенно восторженно приветствуют Веру Засулич. Радостная, оживленная, она старается сказать всем несколько радостных слов, ответить всем на приветствия.

— Второе издание русской революции, — говорит улыбаясь Вера Засулич, — много лучше первого!..» («Похороны жертв революции» // Речь. 1917. № 71. 25 марта. С. 3).

С. 58. *...как твердил Иванов-Разумник, скифский вихрь, буря — пьянящая китоврасова музыка...* — Подразумевается «скифская» идеология, основные контуры которой были обозначены Ивановым-Разумником в предисловии к сборнику 1-му «Скифов» (<Пг.>, 1917); «скифство» Иванова-Разумника анализировалось в целом ряде работ, см., например: Белоус В. Г. 1) «Скифское», или Трагедия «мировоззрительного отношения» к действительности // Звезда. 1991. № 10. С. 158—166; 2) Испытание духовным максимализмом: О мировоззрении и судьбе Р. В. Иванова-Разумника // Литературное обозрение. 1993. № 5. С. 25—37. Параллель между Ивановым-Разумником и демоном Китоврасом, персонажем древнерусской повести «О Соломоне царе и о Китоврасе басни и кощуны», «вольным жителем привольных степей», персонифицировавшим стихию абсолютной свободы, связывалась в сознании Ремизова с его замыслом драматического произведения о Соломоне и Китоврасе, над которым он работал в 1918—1920 гг. (см.: Грачева А. М. Скифство в интерпретации Алексея Ремизова: мистерия «Соломон и Китоврас» // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре. СПб., 1996. С. 89—95).

Встретили Пасху... — Пасха в 1917 г. — 2 апреля.

С 59. *...служил он в каком-то земском отряде...* — Призванный в действующую армию, А. А. Блок служил табельщиком в 13-й инженерно-строительной дружине Всероссийского Союза Земств и Городов, находился в расположении дружины (ст. Лунинец Полесских жел. дор.) с 26 июля до конца сентября 1916 г. и с 2 ноября 1916 г. по 17 марта 1917 г.

...в тесной Кауфманской часовне. — Часовня, возведенная архитектором Д. Д. Уструговым в ограде здания Повивального института (набережная Фонтанки, 148), принадлежала церкви Равноап. Марии Магдалины при Общине сестер милосердия имени генерал-адъютанта М. П. фон Кауфмана (см.: Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия в трех томах. СПб., 1996. Т. 2. С. 237—238).

С. 61. *...И. С. Соколов-Микитов, солдат — летчик с фронта...* — И. С. Соколов-Микитов, вступивший добровольцем в армию во время первой мировой войны, служил в санитарных отрядах, летал мотористом на первом русском тяжелом бомбардировщике «Илья Муромец»; в феврале 1917 г. на фронте был избран председателем Совета солдатских депутатов и направлен делегатом в Петроград.

С. 63. *...с Павлом Елисеевичем Щеголевым на Большой Дворянской...* — Адрес П. Е. Щеголева: Большая Дворянская ул., 10.

...в книжной лавке у Якова Гавриловича Новожилова. — Лавка располагалась по адресу: Большая Дворянская ул., д. 15.

С. 66. *Ленин приехал.* — В. И. Ленин прибыл в Петроград на Финляндский вокзал 3 апреля 1917 г.

С. 69. *...«Сиренско-Терещинковский» период жизни...* — Подразумевается время деятельности петроградского издательства «Сирин», основанного в октябре 1912 г. и прекратившего свою деятельность с началом мировой войны; владельцами и руководителями издательства были М. И. Терещенко и две его сестры, Ремизов был в числе литераторов, имевших к «Сирину» ближайшее отношение (сохранились дневниковые записи Ремизова о деятельности «Сирина», которые он вел в особой тетради: ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 3).

...неволя — Шлиссельбургская крепость... — В. Н. Фигнер, как одна из участниц цареубийства 1 марта 1881 г., была арестована в феврале 1883 г. и с 1884 г. в течение 20 лет отбывала одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости.

...приехал Савинков. — Б. В. Савинков возвратился в Россию из эмиграции 9 апреля 1917 г. Ремизов был знаком с ним со времен своей вологодской ссылки (1902—1903).

С. 70. *«Николины Притчи»* — книга Ремизова «Николины притчи» (<Пг.>: Тип. Главного управления пограничной охраны, 1917), изданная З. И. Гржебиным (обложка С. Чехонина).

С. 71. *...о «Новой Жизни», о Горьком.* — «Новая Жизнь» — газета, выходившая в Петрограде с апреля 1917 по июль 1918 г. под редакцией М. Горького (публиковавшего там свой цикл публицистических статей «Несвоевременные мысли»), при ближайшем участии А. Н. Тихонова, Н. Н. Суханова, В. А. Базарова, В. А. Десницкого; орган группы социал-демократов «интернационалистов».

С. 73. *...знакомство с Розановым в 1905 г. на Шпалерной...* — Адрес В. В. Розанова: Шпалерная ул., 39, кв. 4. Обстоятельства знакомства с Розановым Ремизов описал во вступительной главе («Колония») своей книги «Кукха. Розановы письма» (Берлин, 1923). В 1917 г. Розанов жил в доме 44б по Шпалерной ул.

С. 75. *...Апокалипсис — несколько книжечек...* — «Апокалипсис нашего времени», периодическое единоличное издание Розанова, выходившее в Сергиевом Посаде с ноября 1917 по октябрь 1918 г. (10 выпусков).

С. 77. *...возвращались из Берлина в Петербург...* — См. коммент. к с. 35.

С. 79. *...недаром в ее дворце Ленин засел.* — Особняк на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы (1904; архитектор А. И. Гоген),

принадлежавший балерине М. Ф. Кшесинской (в прошлом — фаворитке Николая II); 11 марта 1917 г. в нем разместились Центральный и Петроградский комитеты партии большевиков, военная организация партии и редакция газеты «Солдатская правда». Ленин прибыл в особняк Кшесинской 3 апреля 1917 г., в день приезда в Петроград; в апреле—июне 1917 г. там под его руководством и при его участии был проведен ряд конференций большевистской партии.

С. 91. *...«Был у Христа младенца сад»...* — Стихотворение А. Н. Плещеева «Легенда» («Был у Христа младенца сад...», 1877), положенное на музыку П. И. Чайковским (1884), В. И. Сокальским (1897), В. И. Ребиковым (1902), А. К. Чертковой (1907).

С. 92. *...министром иностранных дел назначили!* — М. И. Терещенко стал министром иностранных дел Временного правительства 5 мая 1917 г.

С. 93. *...in eine hohere Region hinaufgestiegen! (нем.)* — вознесен в высшие сферы!

С. 94. *...в табачном магазине у Баннова.* — Магазин А. К. Баннова на Невском пр., д. 77.

С. 95. *...Bleichmann ist schon gestorben! (нем.)* — Блейхман уже умер!

С. 96. *«Кресты»* — петроградская тюрьма; там служил И. А. Рязановский.

С. 102. *«Хиба!» (укр.)* — недостаток; погрешность, оплошность, промах.

С. 109. *Каиниты* — одна из гностических сект II в., особо чтила Каина, которого признавала за «произведение высшей силы», а также Иуду Искариота, на том основании, что через его предательство свершилось дело спасения людей.

С. 114. *...обезьяньи хвосты ~ Толстова еще судили за это!»* — Отражение реальной истории, случившейся на новогоднем маскараде 3 января 1911 г. на квартире у Ф. Сологуба: Ремизов был обвинен в том, что он отрезал хвост от обезьяньей шкуры; на самом деле виновником проделки был А. Н. Толстой (см.: Обатнина Е. Р. От маскарада к третейскому суду («Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве А. М. Ремизова) // Лица: Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб., 1993. С. 448—465).

С. 115. *...летчик Василий Каменский...* — Поэт-футурист В. В. Каменский в начале февраля 1911 г. приобрел у Петербургского товарищества авиации моноплан типа «Блерио XI», в том же году учился в Париже в мастерских авиатора Л. Блерио, в ноябре 1911 г. получил диплом на звание пилота-авиатора Имп. Всероссийского аэроклуба; в 1912 г. совершал показательные полеты, сопровождавшиеся чтением лекций об авиации.

С. 119. *...ein ruhiges Plätzchen für brennende Cigarren (нем.)* — тихое местечко для пылающих сигар.

С. 122. *«Вечный праздник»* — роман И. И. Ясинского, отдельное издание: СПб., тип. И. Н. Скороходова, 1891.

С. 127. *...припоминая мое прошлое.* — имеется в виду участие Ремизова в 1897 г. в Пензе в деятельности нелегального марксистского кружка Г. Ельшина (см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 427—430).

С. 137. *...был Расстрига, был Вор...* — Имеются в виду Лжедмитрий I (? — 1606), русский царь в 1605—1606 гг., по общепринятой версии — беглый дьякон Чудова монастыря Григорий Отрепьев, и Лжедмитрий II (? — 1610),

происхождения неясного, сформировавший правительство в 1608—1609 гг. в селе Тушине под Москвой, контролировавшее значительные территории вокруг Москвы («Тушинский вор»).

С. 139. *«Я не русский, нет правды на русской земле!»* — Автореминисценция из повести «Пятая язва» (1912): «Нет, *я не русский,* — отскакивал от зеркала Бобров. — *Не русский, я немец, все русские предатели и воры!»* (Ремизов А. М. Избранное. Л., 1991. С. 352).

С. 141. *И свилось небо, как свиток.* — «Небо скрылось, свившись, как свиток» (Откр. VI, 14).

С. 143—144. *Государственное Совещание* — проходило под председательством А. Ф. Керенского 12—15 августа 1917 г. в Москве, созвано Временным правительством; присутствовало около 2500 человек.

С. 151. *«Пляс Иродиады»* — произведение Ремизова (отд. изд. — Берлин: Трирема, 1922), входило в его цикл «Лимонарь» (1907) под заглавием «О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь».

С. 156. *«Демократическое совещание»* — Всероссийское Демократическое совещание, проходившее в Петрограде 14—22 сентября 1917 г., участвовали 1582 делегата.

С. 157. *...на Кронверкском, где Горький.* — С начала марта 1914 г. по 1921 г. М. Горький проживал в доме 23 по Кронверкскому проспекту.

С. 160. *...только что из Англии вернулся...* — Ср. свидетельства в автобиографии Е. И. Замятина: «В начале 1916 г. уехал в Англию — строить русские ледоколы»; «...в сентябре 1917 г. вернулся в Россию» (Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 5, 6).

С. 165. *...в первый самовольный приезд мой в Петербург...* — Проживание в столицах было позволено Ремизову по специальному разрешению министра внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирского в январе 1905 г.; до этого Ремизов приезжал нелегально в Петербург в начале июня 1904 г. О встречах во время этого приезда с Д. В. Философовым он сообщает в письмах к жене от 5 и 6 июня 1904 г. (На вечерней заре II. С. 249—251).

...Егоровские бани в Казачьем... — Центральные бани Егорова по адресу: Большой Казачий пер., дом 11.

С. 172. *25 минут 10-го... с Авроры выстрел!* — Холостой выстрел — сигнал к штурму Зимнего дворца — был произведен с крейсера «Аврора» 25 октября в 21 ч. 45 мин.

На другой день из газет... — Ср. газетное сообщение (рубрика «На улицах», происшествия ночи с 25 на 26 октября): «В первом часу ночи один из снарядов попал в д. 13 по Демидову пер. Снаряд пробил стену 6 этажа у окна квартиры купца Цвернера и упал не разорвавшись на пол» (Новое время. 1917. № 14907. 26 октября. С. 3).

С. 173. *...писал «Россию в письменах»...* — См.: Ремизов А. Россия в письменах. Том I. Берлин: Геликон, 1922.

...сидел над «Временником» — «всеобщее восстание!» — Разделы будущей «Взвихренной Руси», публиковавшиеся под заглавием «Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова» в 1917 г. в журнале «Народоправство» и в 1922 г. в берлинском журнале «Эпопея».

С. 174. *Жалко мне М. И. Терещенку.* — М. И. Терещенко, в числе других министров Временного правительства заключенный большевиками в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. в Петропавловскую крепость, был выпущен из крепости весной 1918 г.

С. 175. *...будто во время переворота сожжен Василий-блаженный.* — Слух, отражающий отчасти действительное положение вещей в Москве в ходе большевистского переворота, когда пострадали многие исторические памятники в центре города; ср. свидетельство очевидца (запись от 10 ноября 1917 г.): «В Кремль не пускают, но я уже видел страшные язвы, нанесенные ему кощунственными руками: сорвана верхушка старинной башни, выходящей к Москве-реке <...>, сбит крест с одной из глав «Василия Блаженного», разворочены часы на Спасской башне» — и т. д. (Окунев Н. П. Дневник москвича (1917—1924). Paris, 1990. С. 105).

С. 175. *Приходил П. ...* — М. М. Пришвин. Ср. его дневниковую запись о посещении Ремизова от 30 октября 1917 г. (Пришвин М. М. Дневники. 1914—1917. М., 1991. С. 381).

С. 177. *«Слон Слонович»* — прозвище Ю. Н. Верховского в кругу друзей.

С. 178. *...на Кронверкском у Ф. И. Щеколдина.* — Ф. И. Щеколдин жил в доме 23 по Кронверкскому проспекту.

С. 179. *...маленький человек Акакий Башмачкин...* — Герой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) выступает здесь как представитель петроградского чиновничества, отказывавшегося работать под руководством большевиков после захвата ими государственной власти.

С. 191. *Вчера арестовали Пришвина.* — М. М. Пришвин, арестованный 2 января 1918 г., находился в заключении две недели, до 17 января. См. его дневниковые записи этого времени (Пришвин М. М. Дневники. 1918—1919. М., 1994. С. 6—21), а также письма Пришвина к Ремизову от 3 и 9 января 1918 г. (Русская литература. 1995. № 3. С. 194—200. Подготовка текста и примечания Е. Р. Обатниной).

...стреляли в народ! — Речь идет о расстреле большевиками в Петрограде 5 января 1917 г. мирных демонстраций в поддержку Учредительного собрания, открывшегося в Таврическом дворце в тот же день и разогнанного ранним утром 6 января. См., например, статьи «Кровь...», «5-ое января», «Стрельба на Литейном» — о стрельбе в манифестантов на Литейном пр., Фурштатской ул., на Сампсониевском и Литейном мостах (Новый вечерний час. 1918. № 4. 5 января).

С. 193. *Долго разговаривал с Блоком по телефону...* — Ср. запись Блока от 8 января 1918 г.: «Вечером — телефон с Ремизовым <...>» (Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 383).

С. 195. *«Albern» (нем.)* — нелепый, глупый; дурачиться. Такое название имел ремизовский альбом из 16 рисунков, экспонировавшийся на выставке рисунков Ремизова в Праге в 1933 г. (см. вступительную заметку А. М. Грачевой к Дневнику Ремизова за 1917—1921 гг. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб., 1994. С. 411—412).

С. 198. *Вчера убили графа Мирбаха.* — Германский посол в Москве В. Мирбах был убит 6 июля 1918 г. левыми эсерами, чекистами Я. Г. Блюмкиным

и Н. А. Андреевым. Подроб. см.: Велидов А. Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина. М., 1998. С. 20—35.

...на «Царскую невесту»... — Опера Н. А. Римского-Корсакова (1899), поставленная в Василеостровском театре на Большом проспекте (вблизи Галерной гавани).

С. 199. *От слов Гераклита Ефесского.* — В своем переложении около двадцати фрагментов из Гераклита Ремизов пользовался переводом, выполненным московским филологом-классиком В. О. Нилендером (Гераклит Ефесский. Фрагменты / Перевод Владимира Нилендера. М.: Мусагет, 1910). См.: Безродный М. Об источниках книги Ремизова «Электрон» // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 154—156.

С. 202. *...около дома, где жил когда-то Ф. К. Сологуб.* — В 1905 г., когда Ремизов обосновался в Петербурге, Ф. Сологуб проживал по адресу: Васильевский остров, 7 линия, д. 20.

С. 203. *...московскую «Бедноту».* — «Беднота» — ежедневная газета, издававшаяся в Москве Центральным Комитетом Коммунистической партии (большевиков) с 1918 г.

С. 205. *...«поэты берутся ~ вестники сил его».* — Цитата из главы XXXI («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность») книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. <Л.>, 1952. С. 407.

С. 207. *Обезвелволпал.* — Об учрежденной Ремизовым в 1908 г. игровой Обезьяньей Палате см. в статье Е. Р. Обатниной в наст. томе, а также в ее работе «„Обезьянья Великая и Вольная Палата“: игра и ее парадигмы» (Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185—217).

...«ахру» (огонь), «кукха» (влага), «гошку» (еда). — Интерпретацию этих соответствий предлагает М. Безродный в заметке «Об обезьяньих словах» (Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 153—154).

С. 208. *Лошадь из пчелы.* — Обыгрывается одно из народных поверий, описанное в «Сказаниях русского народа» И. П. Сахарова (1885): «Знахари полагают, что все пчелы первоначально отроились от лошади, заезженной водяным дедушкою и брошенной в болото. Когда рыболовы опустили невода в это болото, то, вместо рыбы, вытащили улей с пчелами. От этого улья развелись пчелы по всему свету» (Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990. С. 99). См. об этом в статье Б. В. Аверина и И. Ф. Даниловой «Автобиографическая проза А. М. Ремизова» (Ремизов А. Взвихренная Русь. М., 1991. С. 20).

С. 209. *...забран б. канцелярист обезвелволпала. — Ремизов, наряду с другими литераторами (некоторые из них упоминаются ниже), был арестован в ночь* с 14 на 15 февраля 1919 г. (ср. дневниковую запись Блока от 15 февраля: «Утром — телефон С. П. Ремизовой об аресте А. М. Ремизова» // Блок А. Записные книжки. С. 449), как человек из окружения Иванова-Разумника, арестованного 13 февраля по «делу» о несуществовавшем заговоре левых эсеров. Основанием для ареста послужила изъятая у Иванова-Разумника записная книжка с именами и адресами его знакомых. Подробное описание всей этой истории Иванов-Разумник дал в мемуарах «Тюрьмы и ссылки»

(см.: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М., 2000. С. 120—158).

...захвачен был... А. А. Блок... — Блок был арестован вечером 15 февраля 1919 г., выпущен на свободу утром 17 февраля (см.: Блок А. Записные книжки. С. 449—450). О совместном пребывании под арестом вместе с Блоком рассказал А. З. Штейнберг (см.: Памяти Александра Блока: Андрей Белый. Иванов-Разумник. А. З. Штейнберг. Пб.: Вольная философская ассоциация, 1922. С. 35—53; Штейнберг А. З. Друзья моих ранних лет (1911—1928). Париж, 1991. С. 35—42). См. также: Иванова Е. В. Об аресте Александра Блока в 1919 году // Филологические науки. 1992. № 4. С. 89—92; Белоус В. Г. Александр Блок в «Деле левых социалистов-революционеров». По материалам архива ФСБ (СПб) // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре. С. 17—23.

С. 209. *...Р. В. Иванов-Разумник отправлен со Шпалерной из Предварилки на Москву.* — Иванов-Разумник был отправлен под конвоем в Москву вечером 15 февраля, выпущен на свободу в конце февраля. См.: Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. С. 468—471; Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 171—173.

С. 211. *...буквы и марки, нарисованные им для «Скифов» и «Знамени борьбы».* — «Знамя борьбы» — ежедневная газета Петроградского комитета Партии левых социалистов-революционеров, выходившая в 1918 г. Для двух сборников «Скифы» (<Пг.>, 1917—1918) К. С. Петров-Водкин выполнил издательскую марку, общее оформление и эскиз обложки.

С. 216. *...про «книгочия василеостровского»...* — В автографах «Лошади из пчелы» — уточнение: «про Я. П. Гребенщикова, „книгочия василеостровского“». Я. П. Гребенщиков жил на Васильевском острове в доме 68 по 15 линии.

С. 231. *...появилось частное книгоиздательство...* — В автографе вместо этого: «появилось книгоиздательство З. И. Гржебина». Издательство З. И. Гржебина было организовано в 1919 г. в Петрограде с филиалами в Москве и (позднее) в Берлине; общее руководство в нем осуществлялось М. Горьким, А. Н. Бенуа, С. Ф. Ольденбургом и А. П. Пинкевичем. См.: Хлебников Л. М. Из истории горьковских издательств: «Всемирная литература» и «Издательство З. И. Гржебина» // Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы. М., 1971. С. 668—703.

С. 233... — *Господа под Гатчиной легли.* — Подразумеваются наступательные действия Красной Армии против войск генерала Н. Н. Юденича в конце июня 1919 г.

С. 234. *Заседание в «Астории»...* — Гостиница «Астория» на Исаакиевской (б. Мариинской) площади, построена по проекту Ф. И. Лидваля (1908).

«Историю» надо писать так, как в издании «Сатирикона»... — Имеется в виду пародийно-сатирическая «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (СПб., изд. М. Г. Корнфельда, 1911), написанная Тэффи, О. Дымовым, Арк. Аверченко и О. Л. Д'Ором и иллюстрированная художниками-сатириконцами А. Радаковым, А. Яковлевым, А. Юнгером и Ре-Ми (Н. Ремизовым).

...написал «о человеке, звездах и свинье». — Произведение Ремизова «О человеке, звездах и свинье» было впервые опубликовано в сборнике 1 «Дом

Искусств» (Пб., 1921), перепечатано в журнале-альманахе «На чужбине» (Tallin, 1921), вошло в книгу Ремизова «Крашеные рыла» (Берлин, 1922).

С. 239. *...«за одну нашу голову сто ваших голов!»* — После убийства Л. И. Каннегисером председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого (30 августа 1918 г.) газета «Правда», центральный большевистский печатный орган, обнародовала передовой лозунг: «Пролетариат ответит организованным массовым террором и удвоенными усилиями на фронте»; в передовой статье «Не страх и смущение, а ненависть и месть» заявлялось: «Рабочий класс принимает вызов. <...> Ваших заложников у нас достаточно. На войне — как на войне. На ваш подлый, мелкий, единоличный террор рабочий класс ответит массовым, беспощадным, классовым террором, о каком вы еще и не мечтали. Рабочие! <...> Будьте готовы к массовому, беспощадному натиску на врагов революции везде и повсюду. Надо очистить города от буржуазной гнили. Надо взять всех господ буржуа на учет, как это сделали с господами офицерами, и истребить всех, опасных для дела революции» (Правда. 1918. № 185. 31 августа); 1 сентября в «Правде» (№ 186) появились новые публикации такого же рода, в их числе — статья Н. Копылова «Враг должен быть уничтожен»: «Необходимы: немедленный арест и выделение в концентрационные лагери буржуазии и ее наемников. <...> И пусть помнят подлые наемные убийцы, что за каждую жертву, за каждого вырванного из его рядов вождя, пролетариат сумеет ответить таким массовым террором, перед которым побледнеет сентябрьская расправа французской революции над ее врагами, и который вырвет с корнем плевелы контрреволюции в советской республике».

С. 240. *...на собрании в Театральном Отделе...* — Ремизов был членом Историко-театральной и Репертуарной секции при Театральном отделе Народного комиссариата по просвещению в Петрограде; соответствующее удостоверение датировано 6 июля 1918 г. (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 11).

С. 247. *В Народном Доме...* — «Народный дом императора Николая II» в Александровском парке (Петроградская сторона), театральное здание, построенное в 1901 г. обществом попечения народной трезвости.

Марья Федоровна и Петр Петрович! — М. Ф. Андреева, заведующая Петроградского театрального отдела (ПТО), и П. П. Гнедич, прозаик, драматург, театральный деятель; входил в Репертуарную секцию ТЕО Наркомпроса.

С. 250. *...житие из Пролога о преподобном Нифонте.* — Житие Нифонта Констанцского, переведенное с греческого и широко известное в древнерусских списках (три редакции памятника представлены списками XII века; см. статью О. В. Творогова в кн.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I. Л., 1987. С. 172—173), извлечения из Жития входили в сборники постоянного состава — «Златоуст» и «Измарагд». См.: Житие преподобного Нифонта. СПб., 1879—1895. Вып. 1—3.

С. 255. *...о моей литературной «бедовой доле»...* — Под заглавием «Бедовая доля» Ремизов публиковал циклы своих «снов» в книгах «Рассказы» (СПб.: Прогресс, 1910) и в 3-м томе Сочинений (СПб.: Шиповник, <1911>).

С. 276. *«Мюр и Мерилиз»* — универсальная торговая фирма в Москве; располагалась в специально приспособленном для торговых операций пяти-

этажном здании (Петровка, 2), штат служащих в начале XX в. составлял свыше 1500 человек.

...в парикмахерскую — к б. Жарову... — Дамские парикмахерские Ф. Ф. Жарова — на Троицкой ул. (д. 30) и на Гороховой ул. (д. 54).

С. 277. *...к б. Гурмэ.* — Кондитерская «Де-Гурме» (Невский пр., д. 76).

С. 281. *В Большом Драматическом театре... ставили б. короля Лира...* — Эта постановка «Короля Лира» Шекспира была осуществлена в сентябре 1920 г. См.: «Король Лир» (Открытие сезона в Гос. Большом Драматическом театре) // Жизнь искусства. 1920. № 562/563. 21—22 сент. С. 1—2.

С. 282. *...изобразить по-русски всю мировую литературу!* — Петроградское издательство «Всемирная литература», основанное в сентябре 1918 г., ставило своей задачей издание на русском языке 1500 памятников мировой литературы. См.: Каталог издательства «Всемирная литература» при Народном Комиссариате по просвещению. Пб., 1919.

С. 282. *...в «Бесовском действе»...* — «Бесовское действо» — пьеса Ремизова, впервые опубликованная в альманахе «Факелы» (кн. 1. СПб., 1906); отдельное издание пьесы было осуществлено Театральным отделом Наркомпроса (Пб., 1919).

С. 285. *...подбираю сказки для детей...* — Издание этой книги Ремизова не было осуществлено.

...книга патриарха Никона «Мысленный рай». — В основанном Никоном Иверском Валдайском монастыре были напечатаны три книги, в том числе сборник «Рай мысленный» (1658—1659), в котором помещено собственное сочинение Никона «Слово благополезное о создании монастыря пресвятыя Богородицы Иверския».

С. 302. *...о таком не мечтал и Гоголь!..* — Намек на основную сюжетную коллизию «Мертвых душ».

С. 309. *...я публично читал «Царя Максимилиана»...* — Народную драму «Царь Максимилиан» Ремизов опубликовал в собственной обработке (Царь Максимилиан. Театр Алексея Ремизова по своду В. В. Бакрылова. Пб.: Алконост, 1920).

«Поди и отведи моего сына Адольфа» и т. д. — См.: Там же. С. 35.

С. 330. *...«барышня» из «Гибели надежды»...* — Драма нидерландского писателя Германа Гейерманса (1864—1924), опубликованная в 1901 г. См.: Гейерманс Г. Гибель «Надежды»: Драма в 4-х действиях / Пер. Э. Э. Матерна и А. П. Воротникова. М., <1902>.

С. 338. *...моего рассказа «Рождество».* — Этот рассказ Ремизова был опубликован в журнале «Красный милиционер» (1921. № 1 (15)), вошел в книгу Ремизова «Шумы города» (Ревель: Библиофил, 1921). См.: Ремизов А. М. Собр. соч.: т. 3. Оказион. М., 2000. С. 361—364.

С. 349. *...и звезда с звездою говорит...* — Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

С. 359. *«избы черные-пречерные ~ почему не кормят дите?»* — Сокращенная цитата из «Братьев Карамазовых» (ч. 3, кн. 9, гл. VIII). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 456.

С. 360. *...помните Азорку...* — Имеются в виду слова Нелли о ее матери («Униженные и оскорбленные», ч. 4, гл. VII): «...про Азорку рассказала, потому что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке

топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1972. Т. 3. С. 412).

...несчастную клячу, ее иссеченные кнутом глаза... — Подразумевается сон Раскольникова («Преступление и наказание», ч. 1, гл. V). См.: Там же. Т. 6. Л., 1973. С. 46—49.

...Илюшины сапожки, старенькие, порыжелые... — См.: «Братья Карамазовы», Эпилог, гл. III (Там же. Т. 15. Л., 1976. С. 193—194).

...«и чувствует он ~ со всем безудержем —» — Цитата из «Братьев Карамазовых» (ч. 3, кн. 9, гл. VIII). См.: Там же. Т. 14. С. 456—457.

С. 362. *«Над ним широко ~ за все и вся —»* — Цитата из «Братьев Карамазовых» (ч. 3, кн. 7, гл. IV). См.: Там же. С. 328.

С. 363. *...опетая моим горестным «Словом»...* — Подразумевается «Слово о погибели Русской Земли» (С. 404—410 наст. тома).

С. 380. *...— памяти А. А. Блока* — Взаимоотношения Ремизова и Блока наиболее развернуто характеризуются в публикации их переписки (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1981. С. 63—128 / Вступ. статья З. Г. Минц. Публикация и комментарии А. П. Юловой) и воспоминаний Ремизова о Блоке (Там же. С. 120—142 / Публикация Н. А. Кайдаловой и Н. Н. Примочкиной).

...Лирова ночь! — Подразумевается эпизод бури в степи в «Короле Лире» (акт. III, сцена 2).

...мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю... — Ремизов выехал из Петрограда за границу 7 августа 1921 г. — в день кончины Блока, о которой он узнал позднее.

С. 381. *Севпроса, Кубу, Сорабиса...* — Кооператив служащих в Комиссариате просвещения Северной коммуны, Комиссия по улучшению быта ученых, Союз работников искусств.

...после похорон Ф. Д. Батюшкова... — Ф. Д. Батюшков скончался в Петрограде 18 марта 1920 г. (см. записи Блока в этой связи: Блок А. Записные книжки. С. 489).

С. 382. *Это хорошо, что на Смоленском...* — Блок был похоронен на Смоленском кладбище 10 августа 1921 г.; позднее, 27—28 сентября 1944 г прах поэта был перенесен на Литераторские мостки Волковского кладбища.

...из вашей-то насиженной выгнали? — С лета 1912 г. Блок проживал в доме 57 по Офицерской улице, в квартире 21: в октябре 1918 г. квартира 23 в том же доме была снята матерью поэта, переехавшей туда вместе со своим вторым мужем Ф Ф Кублицким-Пиоттух. После кончины отчима Блок вместе с женой, испытывая постоянную угрозу «уплотнения», 23 февраля 1919 г. переехал в квартиру матери. См.: Галанина Ю. Е. «...В доме сером и высоком у морских ворот Невы» // Труды Гос. Музея истории Санкт-Петербурга. Вып. IV. Музей-квартира А. Блока: Материалы научных конференций. СПб., 1999. С. 26—27

С. 385. *«...и каждый вечер друг единственный...»* — Строка из стихотворения Блока «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 1906). Е. П. Иванов оставил дневниковые свидетельства о создании этого стихотворения (см.: Ива-

нов Е. П. Записи об Александре Блоке / Публикация Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 406).

...*Чучела-Чумичела и кум его Волчий хвост...* — Образы из сказки Ремизова «Зайка» (1905), входящей в его цикл «Посолонь».

С. 386. *«И сидим мы дурачки...»* — Строфа из стихотворения Блока «Болотные чертенятки» («Я прогнал тебя кнутом...», 1905), посвященного А. М. Ремизову.

...Я на должности... «Домового»... — В редакции петербургского журнала «Вопросы жизни» Ремизов с февраля 1905 г. вступил в должность заведующего конторой — «т. е. попросту всякую всячину делать», как сообщал он А. П. Зонову в письме от 20 января 1905 г. (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 186).

С. 386. *...с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом».* — В Театре В. Ф. Коммиссаржевской были осуществлены постановки пьес Блока — «Балаганчик» (режиссер В. Э. Мейерхольд, премьера 30 декабря 1906 г.) и Ремизова — «Бесовское действо» (режиссер Ф. Ф. Коммиссаржевский, премьера 4 декабря 1907 г.).

...«весенняя обрядовая песня»... — Тема диссертации Е. В. Аничкова «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян» (ч. 1—2. СПб., 1903—1905).

Разговоры о негазетной газете у А. В. Тырковой. — Ср. дневниковую запись Блока от 18 ноября 1912 г.: «Дважды разговор с А. М. Ремизовым по телефону — насчет газеты Тырковой» (Блок А. Собр. соч. В 8 т. М.: Л., 1963. Т. 7. С. 180) — и последующие его аналогичные записи на ту же тему. Предполагалось интенсивное участие обоих авторов в газете «Русская молва», начавшей выходить с 9 декабря 1912 г.

С. 386—387. *1913 год... Вы жили тогда на Монетной...* — Ошибочное сообщение. На Малой Монетной ул. (д. 9, кв. 27) Блок жил с ноября 1910 до июля 1912 г., после этого он переселился на Офицерскую ул. (д. 57).

С. 387. *...ваш театр на Фонтанке...* — Большой драматический театр; 24 апреля 1919 г. Блок был назначен в нем председателем Управления.

...Алконост... мытарства и огорчения книжные... — Об отношениях Блока с издательством «Алконост» и о конфликтах этого издательства с официальными советскими инстанциями см.: Чернов И. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 530—538; Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979. С. 31—53; Белов С. В. Блок и первые послереволюционные издательства («М. и С. Сабашниковы», «Алконост») // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 713—725.

...отозвались... на «Зеленый сборник»... — Имеется в виду рецензия Блока, появившаяся в «Вопросах жизни» (1905. № 7; см.: Блок А. Собр. соч. В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 586—587), на «Зеленый сборник стихов и прозы» (СПб.: Щелканово, 1905), включавший стихи Ю. Верховского, Вл. Волькен-штейна, К. Жакова, М. Кузмина и прозу П. Конради, В. Менжинского.

...чествование М. А. Кузмина... — Это чествование состоялось в Доме Искусств 29 сентября 1920 г., Блок выступил на нем с приветствием от имени Всероссийского Союза поэтов (см.: Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. С. 439—440);

сохранилось датированное этим же днем приветствие Ремизова Кузмину (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 88).

...стихи про «французский каблук»... — Образ из заключительной строки стихотворения Блока «Унижение» («В черных сучьях дерев обнаженных...», 1911).

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз. — Имеется в виду выступление Блока с речью «О назначении поэта» 13 февраля 1921 г. на вечере памяти Пушкина в петроградском Доме Литераторов, вызвавшее сильный общественный резонанс.

...«Алконост» женился! — С. М. Алянский, руководитель издательства «Алконост», женился на Н. Л. Гинзбург в начале января 1921 г.

С. 388. *Лев Шестов... начал печататься в дягилевском «Мире Искусств»...* — В журнале «Мир Искусства» были опубликованы статья Шестова о книге Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (1901. № 8/9), а также его книга «Достоевский и Нитше. Философия трагедии» (1902, №№ 2, 4 — 9/10). Рассказ Шестова о начале его сотрудничества в «Мире Искусства» см. в кн.: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников. Paris, 1983. Т. 1. С. 48—49.

С. 389. *...вывела Блока на улицу с красным флагом... в 1905 г.* — Ср. сообщение М. А. Бекетовой в биографическом очерке «Александр Блок» (Пг.: Алконост, 1922): «17-е октября и дни всеобщего ликования Ал. Ал. переживал сильно. Он участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя заодно с толпой» (Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 72).

...один «Театральный отдел» чего стоит!.. — Свод материалов, характеризующих эту сторону пореволюционной деятельности Блока, см. в документальной хронике Е. В. Ивановой «Блок в Театрально-литературной комиссии и ТЕО Наркомпроса» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 5. М., 1993. С. 134—222).

МЕЖДУ СВЯТОЙ РУСЬЮ И СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ.
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ В ЭПОХУ ВТОРОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

К моменту начала Второй русской революции — февралю 1917 г. А. М. Ремизов достиг середины жизненного пути и находился в расцвете творческих сил. Он был признанным мастером русской прозы, зрелым человеком, чьи общественно-политические и эстетические приоритеты сложились, убеждения имели четкую концептуальность. Свершающиеся на его глазах события осмыслялись Ремизовым сквозь призму исторических аналогий и жизненного опыта, куда входили и собственные попытки достижения «счастья народного», и личное знакомство со многими из тех, кто в 1917-м году вышел на авансцену драмы русской истории.

Ремизов находился в эпицентре событий — Петрограде. Ни он, ни его жена не имели какой бы то ни было собственности (кроме интеллектуальной), за которую им надо было бояться или о приобретении которой можно было бы мечтать. Ремизовский взгляд на происходящее был взглядом русского интеллигента, демократически настроенного, думающего и болеющего за судьбу России и ее народа.

Для понимания общественной позиции Ремизова значим тот факт, что помимо печатных выступлений, художественных текстов и писем сохранился его Дневник 1917—1921 гг. Благодаря этому документальному источнику можно «услышать» ремизовский голос, узнать его откровенное мнение о происходящем.

Для художественного мышления писателя основным был метод проведения исторических аналогий между современными событиями и предшествующими явлениями русской истории. При этом надо учитывать глубокий и

постоянный интерес Ремизова к древнерусской культуре и аккумуляцию ее категорий его художественным мировоззрением.

Еще в начале 1900-х гг. Ремизов, в связи с пересмотром былых революционных убеждений, отказался от представления о характере развития России, как о пути «исторического прогресса». Согласно его тогдашней концепции, мир был создан и забыт Богом, а путь России был тупиковым путем прóклятого народа, обреченного на бессмысленные страдания. Ремизовский сборник переделок старинных отреченных сказаний «Лимонарь» (1907) заканчивался картиной тотальной победы Зла.

С середины 1900-х гг. ремизовская концепция направленности исторического пути России изменилась. Теперь он рассматривал его как органичное развитие национальной социокультурной модели, менявшей очертания, но по сути остававшейся неизменной. В его историософии появляются такие категориальные понятия, как «Русская Земля» — социокультурное единство пространства, населяющего его народа и созданной им культуры; «Россия» — исторически-конкретная фаза развития Русской Земли; «Русь» — символ констант, составляющих духовные основы бытия русского народа; «Государство российское» — издавна, органично развивавшиеся формы «уклада», «порядка» — политической организации жизни. По мысли писателя, всякие попытки резкой деформации или слома национальной социокультурной модели приводили к историческим катаклизмам — Смутам, в ходе которых сам народ, пройдя путем очищения страданием, восстанавливал исконный «порядок», «наряд» Русской Земли. Последней по времени попыткой его нарушения была революция 1905 г. По Ремизову, ее поражение было обусловлено ее неорганичностью для пути национального развития, и, в то же время, оно имело провиденциальный характер испытания, посылаемого России Богом. В том же ключе он воспринял события Февраля 1917 г.

В новой политической ситуации для Ремизова сходным историческим прецедентом стала русская Смута конца XVI — начала XVII в. Концептуальной основой для ее осмысления явились научные труды крупнейшего специалиста по той эпохе С. Ф. Платонова, и прежде всего его

«Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI — XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)» (СПб., 1899). Объясняя истоки своего интереса к этому историческому периоду, Платонов отмечал: «Мне представлялось, что это время является историческим узлом, связующим старую Русь с новой Россией. Естественным казалось взяться прежде всего за этот узел и потом, держась за путеводные нити, расходящиеся из этого узла, или восходить в древнейшие эпохи, или спускаться в новейшие времена»[1]. Анализ ремизовского Дневника показал, что писатель постоянно листал монографию Платонова, ища в развитии событий прошлого разгадку смысла настоящего и прогноз на будущее.

Для Ремизова главным критерием оценки исторического деяния было его соответствие органическому процессу развития народного самосознания. «Собирание Русской Земли» — складывание государственности — являлось, по сути, проявлением того же процесса. Фиксируя в Дневнике события февральских дней 1917 г., Ремизов отмечал: «Ответственность, которую взял на себя народ, и на мне легла она тысячепудовая. Что будет дальше, сумеют ли устроиться, не напутали бы чего, не схулиганили бы, — столько дум, столько тревог за Россию. <...> Весь вечер, все часы, все минуты одна дума: о России, сумеет ли устроиться? Ведь, народ темен. Куда добредут?» (Дневник. 28 марта 1917).

По мысли Ремизова, Февраль 1917 г. — нарушение «порядка», начало Смутного времени. С первых послереволюционных дней писатель ощущал случившееся как результат манипулирования народной темнотой, осуществлявшегося небольшой кучкой людей ради своих узкопартийных целей. Вспоминая древнерусскую «Повесть временных лет», он называл в Дневнике Временное правительство — «Временно́е», а Петербург — «тушинский лагерь». «Иногда на меня приходит уныние, что русское дело пропало, что тушинцы, увлекая чернь пряниками, сотрут нас, погибнет и литература русская <...> Но я

---

[1] Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. 2-е изд. СПб., 1913. С. XIV—XV.

утешаю себя метлою: чую всей душой что еще один захват еще одна боль и метла подымется и сметет самоизбранников» (Дневник. 22 октября 1917).

Октябрьский переворот явился для Ремизова органичным продолжением февральских событий, подобно тому как в XVII в. крестьянское восстание Болотникова было следствием явлений самозванцев, претендовавших на выражение воли русского народа. «Если Ленин это Болотников, — записывал Ремизов в дни июньского кризиса, — то Блейхман (булочник анархист) это атаман Хлопок, для к[оторого] разбой — социальный протест» (Дневник. 6 июня 1917). Характерно, что первоначально фиксация в Дневнике перехода власти к большевикам была лишена какой бы то ни было отрицательной эмоциональной окраски: «Сегодня в 7 ч. утра арестов[али] врем[енное] прав[ительство]. Наконец-то Владимир Ильич взял власть» (Дневник. 25 октября 1917). Однако вскоре, когда выявился характер новой власти как *диктатуры*, пусть и пролетариата, а *не демократии* — т. е. власти народа, отношение Ремизова к ней изменилось. От сдержанного неприятия он перешел к действенному протесту теми средствами, какие были доступны писателю — т. е. к войне оружием слова.

Конец 1917 — начало 1918 гг. — время активной публицистической деятельности Ремизова в эсеровских изданиях, таких, как «Простая газета», «Новая простая газета», «Дело народа», «Вечерний звон», «Воля страны», «Воля народа». Одним из видов его публицистики были художественные произведения малых жанров (притчи, политические сказочки, скоморошины). Они представляли собой актуальные отклики на современность, скрытые под прозрачным сюжетным камуфляжем. Так, например, в это время он создал новую редакцию своей же переработки рассказа из древнерусского Прóлога о старце Герасиме, излечившем больного льва. В ремизовской притче «Страх смертный» старец помог льву, лев стал служить старцу, на которого раньше работал лишь конь. Рассказ, казалось, кончался картиной «всеобщего счастья». Но в новой редакции Ремизов сделал к нему небольшое дополнение: «И никто не знал, как плохо коню! Старец знал, для чего ему лев служит, и лев знал, для чего он старцу служит,

а конь ничего не знал, для коня старец — старец, лев — лев. И это тоже никто не знал, ни старец, ни лев. // И возненавидел конь льва, а пуще старца святого. И одного уж ждал конь и об одном по-своему, по-кониному, творил Богу молитву и утреннюю, и вечернюю, чтобы освободил его Бог от льва, прибрал старца»[1]. Если образы двух героев (старца и льва) были знакомы читателю, то не менее известен был ему и третий герой — конь. В русской литературе и публицистике (Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, Н. Михайловский и др.) образ «лошаденки», «коняги» издавна был символом страдающего народа. Рассказ о благоденствии старца и льва, основанном на страдании «облагодетельствованного» ими коня, был помещен среди публицистических заметок, осуждавших пропагандировавшееся большевиками принуждение всех ко всеобщему счастью. В подобном контексте он становился притчей о неприятии народом «благодеяний», насильно насаждаемых новой властью. По сути, такими же притчами были и политические сказочки Ремизова. Форма «притчи» была избрана автором, чтобы сделать отвлеченную мысль понятной «простому читателю» и чтобы скрыть крамольный смысл сказанного от возрождавшейся цензуры.

Другим видом ремизовской публицистики были прямые обращения к читателю. В труде о Смуте С. Ф. Платонов особо отметил роль известных (таких, как дьяк Иван Тимофеев, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын) и безымянных публицистов XVII в., чьи сочинения прерывали то, пользуясь выражением Авраамия Палицына, «безумное молчание» народа, которое также было причиной Смуты. Программный публицистический текст под этим названием («Безумное молчание») был опубликован Ремизовым в день открытия Учредительного Собрания, на которое он, подобно многим, возлагал последнюю надежду — видел для России возможность вернуться к органическому пути своего развития. «Мы в смуту живем, все погублено — без креста, без совести. И жизнь наша — крест. И также три века назад смута была — мудровали Воры над родиной нашей, и тяжка

[1] Простая газета. 1917. № 1. 8 ноября. С. 2.

была жизнь на Руси. // И в это смутное время, у кого болела душа за правду крестную, за разоренную Русь, спрашивали совесть свою: // „За что нам наказание такое, такой тяжкий крест русской земле?“ // И ответил всяк себе ответом совести своей. // И ответ был один: // „За безумное наше молчание“»[1].

Начало 1918 г., вплоть до времени закрытия большевиками эсеровских изданий — последний этап публицистического творчества Ремизова. От притч, сказочек он перешел к формам прямого обращения к читателю, избрав для этого фольклорный жанр «плача» и древнерусский жанр «слова», соединивший в себе, как отмечал Д. С. Лихачев, два фольклорных жанра — «плача» и «славы»[2].

Вершиной публицистики Ремизова стало «Слово о погибели Русской Земли». Использование писателем названия конкретного древнерусского памятника («Слова о погибели Русской земли») не означало стилизационного подражания ему. Ремизову было известно, насколько широко использовался данный жанровый термин («слово») в древнерусской литературе. Можно предположить, что он привлек к себе внимание писателя прежде всего как емкое обозначение произведения, не ограниченного жестким жанровым каноном. В годы революции Ремизов не раз обращался к этому жанру в своей публицистике («Заповедное слово русскому народу», «Слово к матери-земли»).

«Слово о погибели» было органичным продолжением древней литературной традиции. И в то же время оно было произведением русского авангарда XX в., текстом, основанным на художественном принципе монтажа, на смене различных речевых ритмов. В «Слове» переплелись отдельные стилевые приемы, образы, скрытые цитаты из памятников древнерусской литературы, фольклора и из новейшей литературы, в том числе из произведений и Дневника Ремизова.

По своей художественной структуре «Слово» представляло собой соединение плачей, приговоров, пророчеств и притч, сказываемых разными людьми разных эпох, но спрашивавших, причитавших или вещавших об одном и

---

[1] Вечерний звон. 1918. № 23. 5 января. С. 3.

[2] Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л., 1973. С. 59.

том же — судьбе России. Среди них был слышен и одинокий голос «очевидца» событий, потерявшегося и оглушенного происходящим: «Русь моя, земля русская, родина беззащитная, обеспощаженная кровью братских полей, подожжена горишь!»[1]

В образно-символической форме в «Слове» представлен исторический путь развития Русской Земли от начальных времен ее укладывания, через годины татарского нашествия, время царствования Ивана Грозного, эпоху русской Смуты рубежа XVI—XVII в., перипетии трагической истории раскола XVII вв., эпоху Петровских преобразований и до современности — годов мировой войны и второй русской революции. Столетия уходили за столетиями, менялись правители, враги, иной становилась сама Россия, но одно оставалось неизменным — сквозь пропад и разруху каждый раз воскресала Русь — «Святая Русь» — символ духовной сущности русского народа. Представляя читателю череду катаклизмов русской истории, Ремизов тем самым вводил современность — последнюю русскую «разруху» — революцию — в единый типологический ряд исторического процесса развития России. Современность характеризовалась в «Слове» как период разделения «России» со своей душой («Русью»), которая существует, поскольку она вечна, но скрыта, потаенна: «Ты весь Китеж изводи сетями — пусто озеро, ничего не найти» (с. 198). И в этом плане особое значение в «Слове» имел образ «Безумного всадника» — Медного всадника — Петра I, предстающего воплощением Российского государства, зачастую жестокого, меняющего свои формы, но необходимого для организации «порядка», «уклада» Русской Земли, в конечном счете для восстановления единства «Руси» и «России». Именно с этим образом связан скрытый оптимизм «Слова»: «Безумный ездок, что хочет прыгнуть за море из желтых туманов, он сокрушил старую Русь, он подымет и новую, новую и свободную из пропада. // Слышу трепет крыльев над головой моей. // Это новая Русь, прекрасная и вольная, царевна моя. // Русский народ, верь, настанет Светлый день» (с. 199). Но по мысли

---

[1] Ремизов А. Слово о погибели Русской Земли // Скифы. Сб. 2. Пг., 1918 [1917]. С. 196. Далее цитаты по этому изданию в тексте с указанием страницы.

Ремизова, для возрождения Русской Земли необходимо духовное возрождение народа, его покаяние и преображение. После этого люди и станут, используя евангельскую символику, «званными гостями», настоящими хозяевами, «которые сядут на широкую русскую землю» (с. 200).

Завершающая часть произведения — это слово пророка, вещающего о бедах Отечества. И тут необходимо понять ключевую фразу, которая не раз обговаривалась и критиками, и исследователями «Слова»: «Закукурекал бы, да головы нет: давно оттяпана!» (с. 200). Она восходила к известному евангельскому сюжету: троекратное пенье петуха являлось напоминанием Петру об отречении от Христа.

В структуре «Слова о погибели» эта фраза была органично связана как с общим художественным планом произведения, так и с мировоззренческой концепцией писателя революционных лет. Как уже говорилось, финал «Слова» — это речь пророка — плач о прошлом, обличение настоящего, прорицание будущего. В этом контексте существенна запись в Дневнике Ремизова от 21 марта 1920 г.: «Я не пророк, я не апостол, я тот петух, к[оторый] запел и отрекшийся Петр вспомнил о Христе». В Дневнике эта фраза закавычена — может быть, это — запись чьих-то слов, или цитата из какого-то источника. Но творческое сознание писателя аккумулировало этот «чужой» текст. Фраза о «петухе» вводила в «Слово» важную для ремизовского творчества того времени идею миссии писателя как некоего «духовного катализатора» процесса пробуждения народной совести. В июньской дневниковой записи 1917 г. Ремизов отмечал: «Никакие и самые справедливейшие учреждения и самый правильный строй жизни не изменит человека, если не изменить в душе его, если душа его не раскроется и искра Божия не блеснет в ней. Или искра Божия блеснет в сердце человека не надо головы ломать ни [о] каком учреждении, ни о каком строе, потому что с раскрытым сердцем не может быть несправедливости и неправильности». По мысли Ремизова, пробуждение совести, принятие страдания как судьбы приведет Россию к возрождению — Второму Пришествию.

После закрытия эсеровских изданий открытая публицистическая деятельность Ремизова прекратилась. Писатель

пытался жить литературным трудом, издавать свои книги. В самых неожиданных издательствах вышли «Николины притчи» (1917), «Никола Милостивый» (1918), «Русские женщины» (1918), «Странница» (1918), «О судьбе огненной» (1918), «Снежок» (1918), «Крестовые сестры» (1918), «Сибирский пряник» (1919), «Электрон» (1919), «Бесовское действо» (1919), «Трагедия о Иуде принце Искариотском» (1919), «Царь Максимилиан» (1920), «Заветные сказы» (1920), «Царь Додон» (1921), «Ё. Заишные сказки тибетские» (1921).

Трудности с изданием книг и почти полное отсутствие возможности публикации в периодической печати вынудили его, как и многих литераторов, принять участие в работе многочисленных одновременно и циклопических, и эфемерных культурных начинаний той поры. С 1 мая 1918 г. и до конца своего пребывания в Петрограде Ремизов служил в Театральном Отделе (ТЕО) Наркомпроса, был членом историко-теоретической и репертуарной секций[1], непременным членом Бюро ТЕО, заведующим русским театром репертуарной секции. После реформирования ТЕО с 15 ноября 1919 г. он служил в Петербургском Театральном Отделении (ПТО) Наркомпроса, где выполнял обязанности члена репертуарной коллегии. В эссе «К звездам» Ремизов, мысленно обращаясь к умершему А. Блоку, своему другу и соратнику по ТЕО, вспоминал: «Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО — М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на „б. короля Лира“»[2].

Служба в ТЕО, а затем в ПТО была органичным продолжением многолетнего ремизовского интереса к театру. Позднее его внутренние рецензии на пьесы для зрителя Республики Советов были объединены в книге «Крашеные рылá» (Берлин, 1922). Ремизовские взгляды на характер нового театра развивали идеи поэта и теоретика символизма Вячеслава Иванова о необходимости слияния зрителей и актеров в едином соборном действе — мис-

---

[1] Сохранилось членское удостоверение Ремизова, выданное 6 июля 1918 г. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 11.

[2] Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Paris, 1981. С. 98.

терии, результатом которого будет духовный катарсис. Так, в статье 1919 г. «Рабкресреп — рабоче-крестьянский репертуар — » Ремизов писал: «Мне видятся два театра: // театр простора — это театр площадей и дубрав // и театр стен. // На площадях и дубравах: // или разыгрывается русалия — большое всенародное действо с душой, устремленной к вечному, религиозное, безумное; // или театр борьбы и мечты, в котором основа временная, цель устроительная, дух разумный»[1].

Практической реализацией театральных идей Ремизова стали его переделка народной драмы «Царь Максимилиан» (изд.: Пг., 1920) и сохранившаяся в архиве писателя мистерия «Соломон и Китоврас»[2].

Начало творческого интереса писателя к легендарному образу царя Соломона относилось к началу 1910-х гг. (сказка «Царь Соломон», 1911). В 1912 г. Ремизов планировал вместе с А. Блоком создать драматическое произведение — «русалию», основанную на древнерусской переводной «Повести о Китоврасе». Замысел не был осуществлен, но легенда о встрече библейского мудреца с волшебным существом Китоврасом, который при помощи чар обернулся царем Соломоном и правил его царством, продолжала интересовать Ремизова. Революция 1917 г. — новая попытка создать новые небеса и новую землю — побудила писателя вернуться к давнему замыслу и дать новое толкование древнему эзотерическому сюжету. Так появилась мистерия «Соломон и Китоврас». Работая над текстом, Ремизов прибавил к сюжету древнерусской переводной повести сюжет легенды о начале и завершении строительства Соломонова Храма. В его мистерии три основных персонажа — царь Соломон, Китоврас и строитель Храма Адонирам. Соломон олицетворял собой «законное» человеческое мироустройство. Его антагонист — «вольный житель степей», «кентавр» Китоврас представал как воплощение стихии абсолютной свободы. Он стал одним из центральных ремизовских символов сущности

---

[1] Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин, 1922. С. 83.

[2] Публикацию текста мистерии «Соломон и Китоврас» см.: Грачева А. М. К истории невоплощенного драматургического замысла А. Ремизова и А. Блока («Соломон и Китоврас») // Сб.: Александр Блок. Материалы и исследования. Вып. 3. СПб., 1998. С. 138—178.

революции. Писатель нашел условную философскую и эстетическую аналогию истолкования сути этого образа в символике «скифской» теории Р. В. Иванова-Разумника. «Соломон и Китоврас» — это мистерия о мировом переустройстве. В пьесе сопоставлены два царства (Соломона и обернувшегося им Китовраса) как олицетворение двух типов социума. Царство Соломона — мироустройство на основе «закона» и рациональной человеческой «мудрости». Царство Китовраса — творимый волей Адонирама эксперимент по созданию свободного «нового мира». В финале царство Китовраса сгорает в огне, так как, по мысли Ремизова, мир стихии и воли — притягательная, но обреченная утопия — неизбежно превращается в своего антипода — царство принуждения. Кульминация мистерии — погружение Адонирама в пламя. Это — момент его мистического преображения, искупления своего эксперимента по созданию царства безвластия. В конце пьесы на сцене оказывалось два царя Соломона как воплощение нового выбора, стоящего перед людьми.

Годы военного коммунизма отразились на жизни и судьбе Ремизова во всей полноте своих проявлений и тягот.

В ночь с 13 на 14 февраля 1919 г. Ремизов был арестован и отправлен в ЧК по «делу» Р. В. Иванова-Разумника — делу о несуществовавшем заговоре левых эсеров. Его забрали вместе с А. А. Блоком, Е. И. Замятиным, С. А. Венгеровым, А. З. Штейнбергом, К. С. Петровым-Водкиным, М. К. Лемке и др. на основании записей в телефонной книжке Иванова-Разумника. 15 февраля писатель был выпущен на свободу. В условиях «красного террора» родилась знаменитая ремизовская Обезьянья Великая и Вольная Палата, представлявшая собой игровую форму протеста против государства диктатуры пролетариата[1].

Наступивший в Петрограде голод заставлял Ремизова искать все новые места службы. Как и многие литераторы, в 1919—1920 гг. он участвовал в работе издательства «Всемирная литература», где редактировал пьесы И. Граббе («Сто дней», «Дон Жуан и Фауст»). Издательством

---

[1] Подробнее см. статью Е. Р. Обатниной в наст. изд.

были приняты к публикации ранние переводы Ремизова (И. Шляф «Вейганд», Рашильд «Продавец солнца», А. Жид «Филоктет»). В августе и сентябре 1920 г. он был сотрудником Продовольственного театра при московском ТЕО и написал для него детскую пьесу «Пупки кощеевы». В ноябре и декабре того же года Ремизов состоял членом коллегии драматургов при Политпросвете Политотдела 7-й армии. В 1920/21 учебном году он работал лектором по предмету «Теория прозы» на словесном отделении факультета искусств в Красноармейском университете имени тов. Толмачева, а на театральном отделении читал историю новой литературы от Гоголя до Горького вместо К. И. Чуковского (как позднее вспоминал Ремизов, «успел только Гоголя»). В июле 1921 г. он был уволен по сокращению штатов ввиду реорганизации университета на новых началах. Житейские тяготы осложнялись тем, что в квартире Ремизовых на 6-м этаже (14 линия Васильевского о-ва, д. 31/33, кв. 48) отключили водопровод и паровое отопление, и писателю приходилось тратить много сил на решение бытовых проблем. С 30 мая 1920 г. Ремизов с женой вынуждены были перебраться на казенную квартиру, в «общежитие» — «Первый Отель Петросовета» (Троицкая, д. 4, кв. 1). Дневник зафиксировал все более обостряющееся безысходное настроение Ремизова и неприятие им происходящего. Так, 5 апреля 1919 г. Ремизов записал: «Когда я вчера шел поздно вечер[ом] по трамвай[ным] рельсам по Невскому, раскатанному с ухабами большой дороги, под пронизывающим ветром и держал в руках документ мой, заготовл[енный] ч[то]б[ы] не расстреляли у мостовой [1 нрзб.], я вдруг до отчетливости ясно понял всю тупость благодетелей человечества, я понял, что всякое благодеяние, исходящее от ума, несет не благодеяние, а злодеяние — какую-то насильственную машину, бреющую и стригущую».

Возможно, что в этих тяжелых условиях родились первые мысли о возможности отъезда из России, о чем как бы намекает первая запись 1919 г. (от 3 марта): «Чего же мне вдруг жалко стало? А жалко мне стало туманного пасмурного утра. Я стою на лугу около леса. Кукушка кукует и звонит монастырский колокол. <...> Вот чего мне жаль — расставаться не хочется. Не вернешь —

Кукушка и там кукует». Ремизов начал искать пути временного отъезда из России. В 1919 г. он обратился к Леониду Андрееву с просьбой помочь ему выехать с женой в Финляндию[1]. В январе 1920 г. через М. Горького он передал официальную просьбу в СНК. По невыясненным причинам этот документ остался в архиве Горького:

«В Совет Народных Комиссаров

[от] писателя Алексея Михайловича Ремизова и жены его Серафимы Павловны Ремизовой, урожд. Довгелло

Петербург, В. О. 14 л[иния] 31 кв. 48

Прошу разрешить мне и жене моей временно выехать за границу. Тяжелая болезнь моя — обострившиеся припадки круглой язвы желудка с кровавыми рвотами — лишает меня возможности работать.

Сколько было сил, я все делал, и обессилел совсем, а лечиться невозможно. Оба мы обузой стали. У жены моей желчно-каменная болезнь.

14.1.1920 Алексей Ремизов

Петербург С. Ремизова-Довгелло[2]

Через несколько месяцев, не получив ответа на эту просьбу, Ремизов обратился за помощью к старому знакомому по Пензенской ссылке, видному большевику В. А. Карпинскому:

«20.IV. 1920

В. О. 14 л. 31 кв. 48

Алексей Михайлович Ремизов

Дорогой Вячеслав Алексеевич!

Измучился я за эти последние годы и изболелся, и уж не пишу, как мне положено, а Бог знает, что делаю — все делаю, потому и писать ни духа, ни часа нет.

Хочу просить Вас, помогите мне: поговорите с кем это надо! — отпустить меня и жену мою (С. П. Ремизову-Довгелло) в Финляндию хоть на теплые летние месяцы. Из последних сил хожу и все делаю. Измаяно сердце, ноги, дых и мысли.

Телесная страда моя (язва желудка) истощила последние

---

[1] Письмо Л. Н. Андрееву от А. М. Ремизова 9 марта 1919 // Леонид Андреев. S.O.S. Дневник (1914—1919). Письма (1917—1919). Воспоминания современников (1918—1919). Ред., вступ. статья Ричарда Дэвиса и Бэна Хеллмана. М.; СПб., 1994. С. 277.

[2] ИМЛИ. Архив А. М. Горького. КГ-П. 10. 4. Л. 2.

силы. А я должен много ходить и 6ой этаж безводный и все повинности, требующие крепкие руки.

И я только прошу, на теплые летние месяцы отпустить. Просил я через Горького Луначарского — никакого ответа нет. Вячеслав Алексеевич, сделайте что-нибудь — устройте, чтобы разрешение нам дали за границу выехать.

Алексей Ремизов.

Письмо это передает Соломон Абрамович Абрамов, он Вам на словах передаст, что видел, как живем — в каком захлёбе»[1].

Хлопоты остались безрезультатными, и в следующем, 1921-м, Ремизов возобновил попытки получить разрешение на выезд. Так, 7 марта он обратился к московскому писателю А. Г. Глебову: «Просьба к Вам, научить, *какое* надо подать прошение Чичерину о загранице — отпустить нас за границу. (Не могу, от головы погибаю, а голова от суеты — хожу, как в чалме и это всю зиму). И можете ли *вы передать* Чичерину это прошение. Напишите на Наркоминдел Серафиме Павловне, а то очень долго идут письма. Я просил бы отпустить нас с правом вернуться»[2]. Только в середине года дело сдвинулось с мертвой точки, — при посредничестве Горького. Об этом свидетельствует письмо Ремизова[3]:

«Алексей Максимович

получил от Луначарского удостоверение

прилагаю

прошу Вас, приложите к анкете нашей заграничной.

Алексей Ремизов

8.VI.1921

[Приложение: письмо-машинопись на бланке Народного комиссара по просвещению РСФСР. — *А. Г.*]

Удостоверение

Настоящим удостоверяю, что Народный Комиссар по Просвещению находит вполне целесообразным дать разрешение писателю Алексею Ремизову временно выехать из России для поправки здоровья и приведения в порядок своих литературных дел, т. к. его сочинения издаются и сейчас за границей вне поля его непосредственного влияния.

Нарком по просвещению А. Луначарский (подпись-автограф)

Секретарь (подпись отсутствует)»

---

[1] РГБ. Ф. 1.2.38.

[2] РГАЛИ. Ф. 2503. Оп. 1. Ед. хр. 452. Л. 6.

[3] ИМЛИ. Архив А. М. Горького. КГ-П. 65. 10.8. Л. 1-2.

7 августа 1921 г. Ремизов с женой покинули Россию. Финальные страницы Дневника — это хронологический перечень последних дней на Родине.

В Берлине Ремизов пробыл с 1921 по 1923 г. В его записях тех лет, письмах знакомым постоянно звучит мотив о скором возвращении. Так, на книге «Огненная Россия» он сделал дарственную надпись жене: «С 1917—1921 в Петербурге каждое слово памятно от лютой боли моей до весны последней петербургской. Четыре года жизни как в огне. Сколько я за тебя беспокоился за эти годы. Я-то как-нибудь, — думал, — нет, другого выхода не было. И когда вернемся, какая-такая будет жизнь там, когда вернемся? А без тебя бы пропал и там, и тут. Алексей Ремизов. 26.XII. 1921. Берлин»[1]. Тем же настроением проникнуты, например, письма Ремизова к С. М. Алянскому: «Я себя за эмигранта не считаю, а лишь за временно живущего вне России, как на санатории для восстановления потерянных сил» (21.I.1922); «В Петербург мы собираемся. Надо придумать тогда, как квартиру достать (24.II.1922)[2]. Косвенное свидетельство можно найти и в письме от 26 февраля 1922 г. М. О. Гершензона Л. И. Шестову: «От Ремизова получил одно письмо из Берлина <...> не знаю, искренно ли он пишет, что хочет скоро вернуться»[3].

30 октября 1923 г. Ремизов получил вид на жительство за № 817, выданный консульством РСФСР на основании Постановления ВЦИК от 2.8.1923 за № 16 гр.[4] В архиве писателя имеются сведения, что им был подан запрос на себя и жену и получены «Разреше[ния] на въезд в Россию выданы Конс[ульским] Отдел[ом] Полном[очного] Пр[едставительст]ва от 1/Х 23 г. № Р/1П действит[ельны] по 2/ХII 23 г.»[5]. Однако разрешение оказалось ненужным, так как 5 ноября 1923 г. Ремизовы переехали в Париж.

Революционная эпоха, пережитая Ремизовым в Петро-

---

[1] Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб., 1992. С. 22.

[2] РГАЛИ. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 15 об., 16.

[3] Гершензон М. О. Письма к Льву Шестову (1920—1925) / Публ. А. д'Амелиа и В. Аллоя // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 6. Париж, 1988. С. 249—250.

[4] Архив МИД России. Ф. 165. Оп. 2. Д. 5 (кн. № 5).

[5] ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 38. Л. 13.

граде, стала для писателя не только годиной гнева, но и временем накопления творческой энергии. Ремизов не был пассивным созерцателем происходящего, а по мере своих сил его активным участником. Уста писателя не были затворенными, и его голос звучал в общем трагическом хоре эпохи. Жизненные впечатления, философские раздумья и художественная практика революционных лет способствовала новому взлету ремизовского творчества, главным результатом которого стала хроника «Взвихренная Русь».

А. М. Грачева

КОММЕНТАРИИ

Скоморошьи лясы. Бабинькин кочет

Впервые опубликовано: Новая простая газета. 1917. 29 ноября. № 17. С. 3, под псевдонимом «Скоморох Терентий».

Печатается по первой публикации.

Адресат сатирического произведения Ремизова — Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933) — советский партийный и государственный деятель, видный член Российской социал-демократической партии (большевиков). 25 октября 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Луначарский огласил написанное В. И. Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», извещающее о победе восстания рабочих и солдат и переходе власти к Советам. Он был избран членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и вошел во Временное рабочее и крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК), в котором был утвержден народным комиссаром просвещения.

Сатира направлена как против неприемлемого Ремизовым диктата новой власти в области культурной политики (в частности, против принятой 17 ноября «Резолюции ВЦИК по вопросу о печати», фактически ликвидировавшей свободу прессы; против принятого 22 ноября Декрета ВЦИК и СНК об учреждении Государственной комиссии по просвещению), так и конкретно против Наркома просвещения. Как свидетельствуют источники, за все время непосредственных контактов между Ремизовым и Луначарским не было никакого личного конфликта. Они познакомились в 1901 г., в период вологодской ссылки (см. их оценку друг друга в кн.: Луначарский А. В. Великий переворот: Октябрьская революция. Ч. 1. Пб., 1919. С. 24; Иверень. С. 197—198). В период 1917—1921 гг. Луначарский не раз помогал Ремизову в житейских делах, вызволял его из ЧК и способствовал даче разрешения на выезд за границу. Тем не менее именно Луначарский стал мишенью сатиры Ремизова как олицетворение жесткого и некомпетентного отношения власти к культуре. Жанр произведения — «скоморошина» — вольная интерпретация фольклорных текстов, связанных с народной смеховой культурой, особо интересовавшей Ремизова в 1917—1921 гг. Такой жанр не раз использовался в его сатирическом творчестве этого времени. Источник псевдонима «Скоморох Терентий» — былина «Про гостя Терентища».

С. 399. ... *говорит, не умолкая...* — Ср. характеристику Луначарского периода вологодской ссылки у Н. Бердяева: «Луначарский не был вполне

тоталитарным марксистом. Он соединял Маркса с Авенариусом и Ницше, увлекался новыми течениями в искусстве. Он был человек широко начитанный и одаренный, но на нем лежала печать легкомыслия. Тогда еще никто не предвидел, что Луначарскому предстоит быть народным комиссаром просвещения в правительстве жестокой диктатуры. Сам он менее всего был жестоким, и его, наверное, шокировала деятельность чека. Он хотел быть покровителем наук и искусств и в этом развращал писателей и артистов» (Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 125). Ср. характеристику Луначарского в «Иверне»: «На меня нахлынуло море слов <...> Я не мог определить, где <...> я <...> видел — и эту в непрерывном движении, ей-Богу, как хвост живую козью бороду и безбрежные словоливные глаза» (Иверень. С. 197).

С. 399. *...о христианстве ~ об обезьянстве...* — Ремизовская сатира является откликом на остро переживавшийся петроградскими деятелями культуры, и в частности Ремизовым, действительно имевший место, но преувеличенный слухами и газетными статьями факт повреждения московских святынь (Успенского, Благовещенского соборов, Чудова монастыря и др.) и Кремля в момент захвата власти большевиками (см., например, ред. статью: Трагедия Кремля и Зимнего дворца // Наша речь. 1917. № 1. 16 ноября. С. 2). Ремизовский текст намекает на непоследовательность поведения Луначарского. 2 ноября нарком просвещения подал в Совет Народных Комиссаров заявление о выходе из правительства в связи с полученными сведениями о разрушении московских памятников русской истории. 3 ноября Луначарский в обращении «Ко всем гражданам России» сообщил, что его отставка не принята и он остается на посту. В данном случае образ «обезьяны» предстает традиционным в антибольшевистской прессе символом тотального нигилизма, ассоциировавшегося с новой властью (ср. семантику публицистической статьи Ремизова «Вонючая торжествующая обезьяна...» С. 534—535 наст. изд.).

Хобот (просторечн.) — хвост.

А не пора ли ему, братцы, дергача задавать! — дать деру, убираться.

Расправа

Впервые опубликовано: Простая газета. 1917. 2 дек. № 19. С. 3, в разделе «Катушок Ивана Кочана», без подписи.

Печатается по первой публикации.

«Катушок Ивана Кочана» — название раздела анонимных сатирических публикаций в «Простой газете». В нем публиковались произведения И. Соколова-Микитова и А. Ремизова. См.: H. Lampl. Political satire of Remizov and Zamijatin on the pages of Prostaya gazeta // Aleksej Remizov. Approaches to a Protean Writer. Columbus. 1987. P. 243-259; Субботин С. И. К атрибуции псевдонимных сочинений из «Простой газеты» // Рус. лит. 1992. № 4. С. 205—215 (уточнение атрибуции). Тема сатирической притчи Ремизова — разрушение российской государственности, начавшееся, с точки зрения писателя, еще в момент Февральской революции 1917 г. и логично завершившееся октябрьским переворотом.

С. 400. *И сгорел суд.* — В Петербурге в один из первых дней Февральской

революции толпой было подожжено здание Окружного Суда (Литейный, 4). «Главное здание петроградского окружного суда на Литейном пр. совершенно уничтожено пожаром. В огне погибло все делопроизводство нотариата, гражданских и уголовных отделений и совета присяжных поверенных» (Речь. 1917. № 55. 5 марта. С. 3). Современниками это было воспринято как символическое событие, знаменующее наступление эпохи беззакония.

С. 400. ... *человек ты или обезьяна...* — см. коммент. к «Бабинькин кочет». С. 605.

СКАЗОЧКИ

I. Комми-ссар

Впервые опубликовано: Вечерний звон. 1917. № 16. 27 дек. С. 4.

Печатается по первой публикации.

В сатирической сказочке «Комми-ссар» иронически изложены события 1917 г.: свержение самодержавия, приход к власти Временного правительства и большевистский переворот.

С. 400. *Комми-ссар* — игра слов. *Комми* — сокращенное от «коммивояжер» — агент по рекламе какого-либо товара.

.. *последний царь ~ взял да и ушел...* — Имеется в виду последовавшее 2 марта 1917 г. отречение от престола императора Николая II.

... *дьяк Болтунов* — намек на Александра Федоровича Керенского (1881—1970) — известного адвоката, одного из активных деятелей Февральской революции. С 2 марта Керенский — министр юстиции Временного правительства, затем военный и морской министр, с 25 сентября до 25 октября — премьер-министр и Главковерх. Прославился своим ораторским искусством. См., например, свидетельство Н. Н. Суханова: «Повсюду — в окопах, на судах, на парадах, в заседаниях фронтовых съездов, на общественных собраниях, в театрах <...> Керенский говорил все о том же и все с тем же огромным подъемом, с неподдельным, искренним пафосом. Он говорил о свободе, о земле, о братстве народов и о близком светлом будущем страны <...> Агитация Керенского была (почти) сплошным триумфом для него. Всюду его носили на руках, осыпали цветами. Всюду происходили сцены еще невиданного энтузиазма» (Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 2. Кн. 3-4. М., 1991. С. 197—198).

С. 401. *Прилог* — приложение, приклад.

Бабинькин кочет — нарком просвещения А. В. Луначарский, См. комментарий к одноименному произведению (С. 605—606).

С. 402. ... *сейчас же замок без ключа отперли.* — Утром 27 декабря были заняты все банки и кредитные учреждения Петрограда, а вечером ВЦИК принял Декрет о национализации банков.

II. Идолище поганое

Впервые опубликовано: Вечерний звон. 1917. № 16. 27 дек. С. 4.

Печатается по тексту первой публикации.

Сатирическая сказка посвящена приходу к власти большевиков и основана

на использовании образов русских былин (Соловей-Разбойник, Идолище поганое).

С. 402. *...будет мир, будет хлеб, будет воля вольная...* — Цитируется текст общеизвестного большевистского лозунга. Ср., например: «За мир, за хлеб, за землю, за народную власть!» (Декреты советской власти. Т. 1. М, 1957. С. 8).

Безумное молчание

Впервые опубликовано: Вечерний звон. 1918. № 23. 5 января. С. 3.

Печатается по тексту первой публикации.

Текст опубликован в день открытия Учредительного Собрания.

С. 403. *Безумное молчание* — цитата из публицистического произведения XVII в. «Сказания» Авраамия Палицына.

Видел я ~ знак заграждающий прошел в душу народную. — Опубликовано как отдельный текст в «Простой газете» (1917. 3 декабря. № 20. С. 4) в подборке текстов с общим заглавием «Зазыв». Это заглавие было впервые использовано в анонимном обращении к читателям, подписанным псевдонимом «Сергей Скрытник»:

ЗАЗЫВ

письмо первое

Скрытникам и молчальникам

Каждый думает, что одинок и поэтому молчит. Иной раз и хочется душу отвести, словом перекинуться, да не с кем. На улицу пойти, на угол? Нет, уж лучше перетерпеть.

Невысказанное слово сердце печет. Сидят такие, думают — кумекают, до всяких небылиц додумаются, а правильную правду узнать не у кого.

Для таких людей будет в «Простой газете» особое место. «Простая газета» хочет помочь затерявшимся людям друг дружку найти.

«Много чего от слова бывает: словом можно что хочешь накликать, словом и беду прогоняют. Мудрым людям известно. Когда сказать слово надо, а когда промолчать лучше».

Русский человек себя за мудреца не почитает. Не рабья покорная бессловесность, — это подлинная душа русская, черта народная, — осторожность к слову.

Только псоглавая толпа падка на зык и расправу:

— Дурак, видно, дед наш, — все молчит, — слышал я от глупых людей, — вот Гараська, — подвесь ему на язык гирю, и тогда не замолкнет.

Не многим под силу молчание. Мудрые люди знают: кто на язык легок, тот и умом шаток. Слово скороговорное, что лист осенний, не падет на сердце семенем, дающим плод.

А в дни наши несуразные, перепутные, сколько сказано пустых слов!

Большая сила нужна, чтоб опустошенному слову душу вернуть» (Новая простая газета. 1917. № 1. 26 ноября. С. 4).

В номере 20-м «Простой газеты» (1917. 3 дек. С. 4) было продолжение рубрики «Зазыв». Публикация состояла из нескольких текстов. Первый из них — новое обращение «Сергея Скрытника» к читателям:

«ЗАЗЫВ

Что такое «Зазыв»? — спросит тот, кто не читал в «Простой газете» мое первое письмо: «скрытникам и молчальникам».

Скрытниками и молчальниками я таких людей называю, что в нынешние дни одиноко живут, кому словом перекинуться не с кем, — отвести душу, а на угол идти неохота. К этим людям и написано мое письмо, — первый мой зазыв.

Скажите, молчаливые люди, — ваше слово — злато!

Для переписки с вами в «Простой газете» отведено особое место: — «ЗАЗЫВ», — пишите в «Простую газету» — —

Сергею Скрытнику.»

Вслед за обращением «Сергея Скрытника» в той же рубрике были опубликованы: текст «Загражденные уста» за подписью «Алексей Ремизов» и притча «Слово серебро — молчание злато» за подписью «Федор Бублов». Последняя в измененной редакции вошла в кн. «Взвихрённая Русь» (подглавка «Молчальник» главы «Медовый месяц»). Согласно авторскому списку публикаций (Собр. Резниковых) автором последнего текста был Ремизов. Стилистический и семантический анализ анонимных обращений «Зазыв» позволяет сделать предположение, что и они были написаны Ремизовым, хотя оказались не включены в авторский список публикаций. Сходное мнение о принадлежности «Зазывов» Ремизову см.: Субботин С. И. К атрибуции псевдонимных произведений из «Простой газеты» // Рус. лит. 1992. № 4. С. 208).

С. 403. *Мы в смуту живем...* — ремизовская аллюзия событий 1917 г. на эпоху русской Смуты XVII в.

Воры (*др.-рус.*) — политические преступники.

Слово о погибели Русской Земли

Впервые опубликовано: Россия в слове. Литер. прил. № 1 к газ. «Воля народа». 1917. 28 ноября. С. 2, под загл. «Слово о погибели земли русской».

Прижизненные публикации: Скифы. Сб. 2. Пг., 1918 [дата выхода в свет: декабрь 1917]. С. 194—200; Взвихренная Русь. С. 180—189 (в составе главы «Мо́сква»).

Печатается по тексту сб. «Скифы».

Первый набросок «Слова» — в Дневнике Ремизова, запись от 6 сентября 1917 г. (С. 477). О дате первой публикации см.: Иезуитова Л.А. «Слово о погибели земли русской» А. М. Ремизова в газете «Воля Народа» // Алексей Ремизов. Исследования. С. 67—80; Субботин С. И. Еще раз о дате первой публикации «Слова о погибели...» А. М. Ремизова // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 154—156 (уточнение даты). Публикация в сб. «Скифы» является вариантом первой публикации. Автором произведена лексическая прав-

ка. Ее направленность — усиление черт стилизации под фольклорное произведение (например, изменено: «русская земля» на «земля русская»; «безбожные человекоборцы» на «человекоборцы безбожные» и т. п.); уточнение лексики (например, «обезьяний крик» исправлено на «обезьяний гик», «горести» на «горечи» и т. д.). Также проведена пунктуационная правка, направленная на усиление авторских особенностей пунктуации по сравнению с более стандартным газетным вариантом. Вслед за текстом Ремизова в сб. «Скифы» помещена статья Р В. Иванова-Разумника «Две России», в которой признавались высокие художественные достоинства произведения, но утверждалась реакционность общественной позиции его автора: «Огненный вихрь революции ненавистен Ремизову: сметает и испепеляет вихрь этот самое дорогое, самое исконное, самое любимое <...> Какие же мировые ценности «Святой Руси» сметает этот враждебный вихрь? <...> Смело и откровенно отвечает на это Ремизов: самодержавие, православие, народность. <...> именно *здесь* его ценности, <...> таков внешний политический смысл «Слова о погибели Русской Земли» (с. 208—209). См. также оценку Иванова-Разумника в письме к Андрею Белому от 8 декабря 1917 г.: «Ремизовское «Слово» — удивительное; но внутренне построено оно на «злости лютой» и на призыве к мести, к расправе. Не на этих путях победа — чья бы то ни было, справа или слева. А я верю в великую духовную победу после предстоящего нам великого поражения. В этом тема ответа моего Ремизову» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. Публ., вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. Подгот. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб., 1998. С. 145). Публикация статьи Разумника охладила отношения между ним и Ремизовым (см. запись в Дневнике от 1 января 1918 г.: «Был Разумник — битва под Разумником») и вызвала негативную реакцию в литературных кругах. Так, А. Чеботаревская возмущалась невозбранностью «общественному критику Разумнику Иванову клеветать на безответного сказочника Ремизова, оплакивающего на своем языке, своими словами и образами, гибель земли русской» (Новый вечерний час. 1918. № 3. 4 янв. С. 2.). По этому поводу см. также письмо З. Н. Гиппиус Ремизову от 1 января 1918 г.: «То, что сделал с вами Иванов-Разумник — последнее похабство. Я только что увидела „Ск[ифы]“, и считаю, что до такой бесчестности ни один литератор никогда не доходил. Кроме того и сама по себе его статья столь кощунственно-грязна, что ее трудно держать в руках. Когда я видела С[ерафиму] П[авловну], я еще фактически ничего не знала, хотя внутренне все это не лишено логики. Смердяковы только верны себе. Не забывайте, что лакеи — хуже своих господ» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр .53. Л. 1—1 об.).

С. 404. *«Слово о погибели Русской Земли».* — Ср. название произведения древнерусской литературы «Слово о погибели Русской земли» (XIII в.) См. также название сочинения героя повести Ремизова «Пятая язва» (1912) следователя Боброва «Плач над разоренностью земли русской о погибели русского народа».

Широка раздольная Русь... — Ср. в былине «Про Соловья Будимировича»: «Широко раздолье по всей земли...» (Сборник Кирши Данилова).

Безумный ездок, хочешь за море прыгнуть ~ Брат мой безумный — несчастлив час! — твоя Россия загибла.— Неточная цитата из романа Андрея Белого

«Петербург»: «С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, <...> как бросил коня на финляндский серый гранит — надвое разделилась Россия <...> страдая и плача, до последнего часа — Россия. / Ты, Россия, как конь! <...> Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов <...> Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках?» (Андрей Белый. Петербург // Сирин. Сб. 1. СПб., 1913. С. 140—141).

С. 404. *Я кукушкой кукую...* — мотив «кукушки» из Плача Ярославны («Слово о полку Игореве»).

... был Расстрига, был Вор, замутила смута... — Имеются в виду события периода русской истории (1584—1613), названного эпохой Смуты. Ее осмысление Ремизовым базировалось на исторических трудах С. Ф. Платонова, и, в частности, на монографии «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» (СПб., 1899). *Расстрига* — Лжедмитрий I (ок. 1580—1606), самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича, сына Ивана Грозного; по официальной версии расстриженный монах Григорий Отрепьев, в 1605—1606 гг. — русский царь. *Вор* — Лжедмитрий II (?—1610), самозванец, также выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича, имевший военный лагерь в селе Тушино и прозванный «Тушинский Вор».

... брата родного выгнали... — Имеется в ввиду изгнание из Москвы польских интервентов народным ополчением в 1612 г.

...поволжские леса... — Заволжье было местом расположения старообрядческих монастырей и скитов.

...за веру русскую в срубах сжигали себя... — Под влиянием ожидания конца света и преследования властей старообрядцы осуществляли акты самосожжения, принимавшие в ряде случае массовый характер. Начавшись в конце XVII в., самосожжения продолжались на протяжении всего XVIII в.

С. 405. *...в мать-пустыню...* — Образ из духовного стиха «Прекрасная мати пустыня...».

Был на Руси Каин ~ сложил песни неизбывные... — Ванька-Каин (Иван Осипов Каин, 1718 — после 1755) — знаменитый московский вор, впоследствии сыщик. Ему приписывалось авторство ряда народных песен («Не шуми, мати, зеленая дубравушка...» и др.). См.: Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1872. Вып. 9. С. 72—74.

...вижу твой краснозвонный Кремль ~ свист несносных пуль, обеспощадивший сердце мира... — Имеется в виду обстрел Кремля большевиками при взятии власти в Москве.

Ясак — особый колоколец при церкви, которым дают знак звонарю, когда благовестить и звонить, когда перестать.

С. 406. *О, моя родина ~ пошатнулась ты, неколебимая...* — аллюзия на цитату из «Вступления» к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»: «Красуйся, град Петров, и стой // Неколебимо, как Россия...».

Красный — красивый, прекрасный.

Багряница — широкий плащ ярко-красного цвета, торжественное облачение владетельных особ.

...сердце открытое не раз на крик кричало на всю Русь: «нет правды на русской земле!» — или за исконное безумное свое молчание? — неточная цитата из речи Боброва (Ремизов А. Пятая язва // Альм. Изд. «Шиповник». Кн. 18. СПб., 1912. С. 196). В автоцитату включены: 1) *«нет правды на русской земле»* — слова Ивана Грозного — цитата из «Послания» служивших при его дворе иноземцев Иоганна Таубе и Элерта Крузе, взятая Ремизовым из примечания № 191 к IX тому «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина; 2) *«безумное свое молчание»* — цитата из «Сказания» Авраамия Палицына.

С. 406. *...к глазам твоим иссеченным...* — отсылка к символике сна Раскольникова о засеченной кляче — образе страдания человеческого. Ср.: «Он бежит подле лошади, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 6. С. 48).

С. 407. *Я не русский...* — полный текст слов Ивана Грозного, см. предыдущее примеч.

Рясно — ожерелье.

Ты канешь на дно светлая. — Отсылка к древнерусской Легенде о граде Китеже — повествовании о русском городе, ставшем невидимым и скрывшемся от войска хана Батыя на дно озера Светлояр. Ср. запись в Дневнике от 10—11 сентября 1917 г.: «России нет. Россия уходит, как Китеж».

С. 408. *...неволи вместо свободы ~ рабства вместо братства ~ уз вместо насилия...* — Перифраз популярного в 1917 г. лозунга Французской революции «свобода, равенство, братство».

...подымается ангел зла — серебряная пятигранная звезда над головой его с семью лучами, и страшен он. ~ Апокалиптический образ Абадонны. Возможно, ремизовский образ ангела зла восходит к теории трансцедентальной магии. В ней одним из демонических созданий, которое символизировало астральный свет, являлся Бафомет, гермафродический Козел Мендеса, изображавшийся с пентограммой на лбу. (См.: Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. СПб., 1994. С. 366).

И свилось небо, как свиток. — Ср.: «И небо скрылось, свившись как свиток» (Отк. 6; 14).

С. 409. *Ты весь Китеж изводи сетями* — пусто озеро... — Ср.: «Аще ли пойдет и мыслити начнет, славши вездѣ, и таковому закрыет господь. И покажется ему лѣсом и пустым мѣстом. И ничто же таковый получит себѣ, но токмо труд его всуе бысть. <...> И сей град Болший Китежь невидим бысть» (Памятники литературы Древней Руси. XIII век. Т. 3. М., 1981. С. 224).

Русский народ ~ Господи, что я сделал! — См. набросок этой части «Слова» в Дневнике, запись от 6 сентября.

Светлый день — Пасха.

Слышу трепет крыльев ~ Это новая Русь... — Ср. стих. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (1917).

С. 410. *Закукарекал бы, да головы нет: давно оттяпана!* — Ср. текст Дневника, запись (цитата из неуст. произведения) от 21 марта 1920 г.: «Я не пророк, я не апостол, я тот петух, к[оторый] запел и отрекшийся Петр вспомнил

о Христе». Имеется в виду евангельский эпизод отречения апостола Петра (Лк. 22; 54—61).

С. 410. *...норовят дочиста слопать все до прихода гостей, до будущих хозяев земли...* — Ср. евангельскую притчу о брачном пире (Мф. 22; 1—14).

Вечная память. — Возглас, которым заканчивается панихида или заупокойная лития.

Слово к матери-земли

Впервые опубликовано: Воля страны. 1918. № 16. 15 февраля. С. 2.

Печатается по тексту первой публикации.

Тексты-источники: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского народного стиха. СПб., 1889, Раздел XII «Судьба-Доля в народных представлениях славян». С. 173—260 (Веселовский); Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I—III. М., 1865—1869 (Афанасьев-I-III).

С. 411. *От Косарей по Становищу души усопших...* — Мифологическое представление о дороге в загробное царство по небесному Млечному Пути. Ср. у Афанасьева о ее стражах: «Подобное представление у нас соединяется с головой млечного пути, которую в тульской губ. называют *косари;* уверяют, что там стоят на страже четыре косаря и рубят всякого, кто вздумает пройти этою заповедною дорогой» (Афанасьев-III. С. 285—286).

...души усопших из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу. — Ср.: «...звезды — души людей <...> души усопших, выводят <...> утреннюю зарю на небо, охраняют пути солнца» (Веселовский. С. 238). *Денница* — утренняя заря.

Обида-Недоля. — Ср.: «идея прирожденной судьбы сплотилась с идеей личной вменяемости; в Слове о Полку Игореве, где Обида является со значением Недоли, как иногда в северорусских причитаниях, понятие ее заслуженности расширилось: не один молодец навлекает на себя несчастие, а вся русская земля платится за грех своих князей» (Веселовский. С. 252).

...вот хлебы и сыры и мед... — Ср.: «Рожаницѣ краютъ хлѣбы и сиры и медъ» (Афанасьев-III. С. 416).

...не кудлатая рваная Обида... — Ср.: «приходит Доля <...> обірвана, кудлата» (Веселовский. С. 258).

...лебедь, плещущая крылами у синего моря... — Образ восходит к пересказу Веселовским текста «Слова о полку Игореве». Ср.: «...плещет крылами у синего моря» (Веселовский. С. 252).

С. 412. *...свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее ~ в одной брачной доле...* — Ср.: «Красавица <....> силой добывает свою долю — нить, улаживающуюся в брачную сорочку» (Веселовский. С. 259).

Плач

Впервые опубликовано: Вечерний час. 1918. № 37. 19/6 марта. С. 3.

Печатается по первой публикации.

С. 413. *Убрус* — платок.

Ширинка — полотенце.

Заповедное слово Русскому народу

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 1. Литер. прилож. «Россия в слове». С. 17—20.

Прижизненные издания: Раннее утро. 1918. № 65. 16 апреля. С. 1 (в сокращении).

Печатается по первой публикации с учетом авторского исправления опечаток.

Текст «Слова» был перепечатан без согласия автора в газ. «Раннее утро». Откликом стала редакционная заметка «Литературные нравы» (Воля народа. 1918 Апрель. № 2. С. 24). В ней указано, что «перепечатка произведена полностью, со всею тщательностью, с сохранением всех оказавшихся в нашем журнале опечаток» и дан список лексических и пунктуационных опечаток. Сличение текстов первой публикации и газетной перепечатки показало, что последняя была произведена с значительными сокращениями текста и изменением пунктуации.

С. 413. *Каин, где брат твой?* — цитата из Библии (Быт. 4; 9).

С. 414. *Разве я сторож брату моему?* — цитата из Библии (Быт. 4; 9).

Сын погибели — Люцифер.

Все на тебя и ты один на всех — перифраз известного афоризма: «Один за всех, и все за одного».

С. 415. *Рядить* — править, держать в порядке.

Русь, говорю тебе, стань! — Ср. евангельское чудо исцеления расслабленного Иисусом Христом — слова Христа: «Встань, возьми постель свою, и иди в дом твой» (Мф. 9; 6).

С. 416. *...скачет черный конь, на нем всадник — весы в руках ...* — один из четырех всадников Апокалипсиса, олицетворение Голода (Откр., 6; 6).

...фунт будет пища твоя... — Речь идет о введенных властями карточках на продовольствие, разделенных по категориям соответственно характеру труда. Один фунт хлеба в день полагался работникам физического труда (см. коммент. к Дневнику. С. 635—636).

С. 417. *Он остановит твой путь ~ скажешь: Здесь я, здесь поставлю дом мой!* — аллюзия на библейские события: исход иудеев из Египта и странствование в поисках земли обетованной (Исх.).

...великий дух уведет тебя в пустыню, там встречу тебя.— Ср. явление Господа Моисею в пустыне (Исх. 16; 10—12).

С. 418. *Простец (церк.)* — неученый человек, мирянин.

С. 419. *Сергий Радонежский*, св. (1314—1392) — подвижник, преобразователь монашества в Северной Руси; *Петр*, св. (ум. 1326) — митрополит всея Руси; *Алексей*, св. (ум. 1378) — митрополит Киевский и всея Руси; *Иона*, св. (ум. 1461) — митрополит Московский; *Филипп* (ум. 1473) — митрополит московский; *Василий Блаженный* (1469—1557) — московский юродивый, чудотворец; *Прокопий праведный* (ум. 1303) — устюжский юродивый, чудотворец; *Нил Сорский*, преподобный (ок. 1433—1508) — монах Кирилло-Белозерского монастыря, знаме-

нитый деятель Русской церкви; *Савватий Соловецкий,* преподобный (ум. 1435) — основатель Соловецкого монастыря; *Зосима Соловецкий,* преподобный (ум. 1478) — основатель Соловецкого монастыря.

С. 420. *Мария Египетская,* преподобная (VI в.) — раскаявшаяся блудница, проведшая 47 лет в покаянии в заиорданской пустыне.

ДНЕВНИК 1917—1921 гг.

Впервые опубликован: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб., 1994. С. 407—549 (подготовка текста А. М. Грачевой, Е. Д. Резникова; вступ. статья и комментарий А. М. Грачевой).

Рукописный источник: Беловой автограф с правкой. 1917—<1927> — Собр. Резниковых.

Дневник А. М. Ремизова 1917—1921 гг. состоит из 9 рукописных тетрадей и отдельных листов приложения. Большинство тетрадей плохой сохранности, некоторые — обгорелые, с утратами текста. Автор систематизировал их дважды — первый раз в 1920-е гг. — в период работы над книгой «Взвихренная Русь» (опубл. в 1927). Тогда появились заглавия отдельных тетрадей: вторая — «II. Орь. 27.VI. — 1.VI.1917»; третья — «III» (тетрадь сильно обгорела по правому краю); четвертая — «IV. Росташь. 10.III. — 25.X.1917»; пятая и шестая — «V. Ветье. 26.X.1917—1918»; седьмая — «VI. Заяц на пеньке. 1919—1920 до переезда на Троицкую до 30.VI. Петербург»; — «Гошку 1920.31.VI. — 1921.5.VIII»; девятая, без номера — «Заградительные вехи». Последняя тетрадь является переписанным и пересказанным текстом третьей. Ее существование в конволюте существенно, так как намного сдвигает хронологические рамки начала «пересказа» Ремизовым своих личных документов. В последнюю тетрадь вложен лист со стилизованными под скоропись XVII в. каллиграфически переписанными «обезьяньими» текстами («Вонючая торжествующая обезьяна...») и из «Временника» («Спешу тебя уведомить...») — опубл. в альм. «Минувшее» (С. 512—513). К тетрадям приложены: автограф (рукой неустановленного лица) эссе «Неугасимые огни» (по изд.: Дело народа. 1918. 7 марта. № 13. С. 2); вырезки из газет — цикл политических сказок под заглавием «Саботаж» (I. [Комми-ссар] // Вечерний звон. 1917. 27 декабря. № 16; II. Акакий Башмачкин // Дело народа. 1917. 15 февраля. № 233; III. Расправа // Дело народа. 1917. 3 декабря. № 223) — в тексты внесены незначительные стилистические поправки, дано общее название цикла и под каждой сказкой проставлена дата: «1917»; автограф (рукой неустановленного лица) стихотворения «Зенитные зовы» (по изд.: Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 94—96). Тогда же отдельные титульные листы тетрадей были «украшены» иллюстративными материалами: «Портрет В. И. Ленина», «Портрет вел. кн. Кирилла Владимировича», «В. И Ленин в гробу» (фотографии — вырезки из газет). Нанесены пометы чернилами, красным и синим карандашами. Данные пометы сделаны поверх других, более ранних помет простым карандашом. О типе помет будет сказано далее. Весь материал собран в папку и озаглавлен «1917—18—19—20—21. Алексей Ремизов. Взвихренная Русь. Откуда пошла Взвихренная Русь. Мой дневник 1917 г. с 1 марта до августа 1921, а с 5-го VIII начинается наше странствование». Под заглавием — вырезка из газеты с датой-автографом и глаголический знак-анаграмма. В правом верхнем углу обложки подпись: «A. Remizoff».

Следующий этап систематизации материала — послевоенные годы. Его датирует помета на обложке: «(хотел переписать, но для глаза неразборчиво) 10.X.1948» и подпись внизу: «Алексей Ремизов». К этому времени была утрачена первая тетрадь (1—26 марта 1917), а оставшиеся писатель решил отреставрировать, проклеив стыки между листами полосами кальки с конторским клеем, что нанесло рукописи значительный ущерб.

Историческая ценность дневника определяется отражением в нем периода одного из основных поворотов русской истории XX в. Художественная значимость публикуемого материала заключается прежде всего в том, что с самого начала он был своеобразной «рабочей тетрадью» писателя с записями сюжетов, тем, текстов одних произведений и составлял фактографическую канву других. В той или иной степени на его основе написаны хроника «Всеобщее восстание»; рассказы, объединенные позднее в книгу «Шумы города» (опубл. в 1921), отдельные части книги «Крашеные рыла́», произведений: «Слово о погибели Русской Земли», «Огневица», «Плачужная канава» и, наконец, Дневник — основной источник хроники «Взвихренная Русь».

Текст Дневника 1917—1921 гг. публикуется в полном объеме по автографу (Собр. Резниковых). Не печатаются приложения к Дневнику: «обезьяньи» тексты, а также большие по объему газетные вырезки, вклеенные в Дневник. Изложение их содержания дано в комментарии. Текст публикуется с полным сохранением авторской орфографии и пунктуации. Подобная подача текста автографа во многом позволяет уточнить принципиальный вопрос о формировании индивидуально-авторской системы графики и пунктуации в ремизовских произведениях 1920-х гг. Сокращенные слова восстанавливаются в квадратных скобках. Слова, не поддающиеся прочтению, а также скрытые на стыках листов под слоем канцелярского клея и смытые влагой, обозначаются в квадратных скобках как неразборчивые с указанием их количества (например: [1 нрзб.]). Слова, прочтенные предположительно, сопровождаются знаком вопроса в квадратных скобках. Инициалы лиц, упомянутых в дневнике, расшифрованы, хотя ряд имен так и остался неустановленным. Как правило, после первого истолкования не раскрываются инициалы лиц, наиболее часто встречающиеся в Дневнике (например: С. П. — Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, А. М. — Алексей Михайлович Ремизов, Ив. Ал. — Иван Александрович Рязановский, Ф. И. — Федор Иванович Щеколдин, Ив. С. — Иван Сергеевич Соколов-Микитов, М. М. — Михаил Михайлович Пришвин). Не исправлены ошибки при авторском переводе дат старого стиля на новый там, где это нельзя подтвердить дополнительными данными, так как нет уверенности, какая дата была для Ремизова исходной. Сохранены авторские написания фамилий (например: Уельс вместо Уэллс).

С. 423. *«В перепуге...»* — вырезка из неуказ. газеты.

С. 425. *...откуда-то выскочивший Вейс...* — Ср. Дневник Пришвина от 25 февраля 1917: «Внезапно вынырнул откуда-то Уполномоченный Петрограда Вейс и предъявляет свои административные права» (Дневник Пришвина-I. С. 242).

...повезли в телячьих вагонах... — О возвращении Ремизова в Россию из Германии в 1914 г. см. в рассказе «Полонное терпение»: Ремизов А. За святую Русь. Пг., 1915. С. 25, 29.

С. 426. *...вести телефонные.* — Ср. запись в Дневнике Пришвина-I от 27 февраля 1917: «Пробовал пройти к Ремизову, дошел до 8-ой линии, и потом

из орудий там и тут, выстрелы раздаются, отдаются, кто бежит, кто смеется, совершенно как на войне вблизи фронта, только тут в городе ночью куда страшнее... А телефон все работает, позвонил к Ремизову, что дойти до него не мог» (С. 245).

С. 427. *...с Иваном Александровичем...* — Имеется в виду И. А. Рязановский, служивший в тюрьме «Кресты». См. о событиях в «Крестах»: «Днем сильный отряд солдат и вооруженного народа после краткого сопротивления тюремной стражи взял Выборгскую одиночную тюрьму, Кресты. Все политические заключенные <...> освобождены» (Русские ведомости. 1917. 2 марта. № 48. С. 1).

...Совет ~ выпустил приказ... — 1 марта был издан Приказ № 1, адресованный всем солдатам и матросам Петроградского гарнизона. Он предписывал создать во всех частях комитеты из выборных представителей от нижних чинов, в политическом отношении подчиняться Петросовету. Пункт 6 предусматривал отмену обращения нижних чинов к офицерам с применением общих титулов, вставания во фрунт и обязательного отдания чести. 4 марта Приказ № 1 был распространен на всю армию и флот.

С. 428. *...узнал о новом...* — 2 марта по соглашению между Думским Комитетом и Петросоветом было образовано Временное правительство (премьер-министр — кн. Г. Е. Львов).

...о рве львовом... — В 1917 г. Ремизов продолжал работу над романом «Канава» (др. авторские названия: «Ров львиный», «Плачужная канава»). При жизни писателя не был опубликован отдельной книгой.

...Основывают Минист[ерство] Изящных Искусств. — 4 марта М. Горький, озабоченный возможными актами вандализма в отношении памятников искусства, провел у себя на квартире собрание представителей художественной общественности, на котором была образована «Комиссия по делам искусств» (председатель — М. Горький, заместители — А. Бенуа, Н. Рерих, секретарь — М. Добужинский). После этого события прошел слух, что Горький хочет монополизировать ведение искусством и стать министром. 12 марта в Михайловском театре состоялся митинг деятелей искусств против комиссии Горького (см.: Муратова К. Д. Максим Горький в борьбе за развитие советской литературы. М.; Л., 1958. С. 23—26).

...письмо от Сергея. — См. письмо С. М. Ремизова от 2 марта (с пометой Ремизова о его получении «4.III.1917»): «От всего сердца, от всей души поздравляю вас дорогие Серафима Павловна и Алексей! Голова кружится от происходящего, горло сжимается и слезы выступают от величия и торжественности. Думаю, что на днях уже все начнут работать с удвоенной силой, а тем самым и скоро кончим войну» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 38).

С. 429. *Какая-то барышня...* — В кн. «Взвихренная Русь» при пересказе этого сна указано имя барышни — Пугавка. См. также в романе «Канава»: один из героев — Будылин — собирается жениться на девушке из простонародья — Анне Семеновне Пугавкиной.

...келейник ~ Миша. — Возможно, что имеется в виду послушник Андрониева монастыря в Москве, знакомый детства Ремизова. Ср.: Подстриженными глазами. С. 103—106.

С. 430. *«Царь вампир из тебя тянет жилы...»* — Песня «Отречемся от старого мира» («Русская марсельеза»), стих. П. Л. Лаврова (1875).

С. 431. *...хоронить ~ на Дворцовой...* — Похоронная комиссия Петросовета приняла решение захоронить жертвы Февральской революции на Дворцовой площади. Затем местом захоронения было избрано Марсово поле. Первоначально похороны были назначены на 10 марта, окончательная дата — 23 марта.

Нельзя ~ город св. Петра переделывать в Петроград. — «Немецкое» название «Санкт-Петербург» было официально изменено на более «патриотическое» — «Петроград» с 18 августа 1914 г. после вступления России в первую мировую войну. Ремизов изначально негативно воспринял перемену названия города.

«Среди мурья» — Ремизов А. Среди мурья: Рассказы. М., 1917. См. дарственную надпись на этой книге: «Серафиме Павловне Ремизовой-Довгелло. Алексей Ремизов. 1917. Эта книга вышла в самый первый день революции в 1917.23.2. и как-то сразу пропала: ее ни у кого не было и не купить нигде и ни одного отзыва» (Каталог. С. 19).

...Пришвин ~ смущен. — Ср. Дневник Пришвина-I от 11 марта: «Дни — нарастающая тревога. <...> Я не верю в Берлинскую революцию, но вражды не чувствую к захватившим власть, такой вражды, чтобы вступить с ними в войну и примкнуть к другой группе: их правда, но осуществится она не теперь, не насильно» (С. 254—255).

С. 432. *«Не плачьте над трупами...».* — Популярная революционная песня на слова стих. Л. И. Пальмина «Requiem» (1865).

«Помазанника народ [?] смазал». — Возможно, отголосок разговора с Пришвиным, присутствовавшим 14 марта на заседании Совета Р. С. Д. Ср. Дневник Пришвина-I от 14 марта: «В Совете Р. С. Д. — на выработке воззвания к рабочим всего мира (усы голодранца да купцы). Президиум: Чхеидзе (помазанник: смазали!). Стеклов: час лекции о французской революции и другим по 5 минут» (С. 256).

Битва под Пришвиным. — Возможно, это отражение разговора, зафиксированного в Дневнике Пришвина-I от 15 марта: «У Горького „штаб". <...> Максим прекрасен: радость проповедовать, чтобы люди почувствовали радость, изменяли свои личные отношения, чтобы писатели как-то по-новому писали. <...> Большой очаровательный человек и в славе. Как человек подполья. Обойденные: Ремизов — сказал ему о Горьком свое мнение, и Ремизов побледнел, облился пóтом и говорит: „Вы лакей Горького!" и проч. Причина сего: несчастье его, которое загородило ему дорогу к свету, радости народной. Они революции ждали, из-за нее жизнь свою затратили, а когда пришла революция, сидят не у дела» (С. 257).

Была Кругликова. — В начале 1917 г. Кругликова должна была иллюстрировать неустановленную книгу Ремизова. См. ее письмо от 25 января: «Вот неудача-то! Простите. Не могу исполнить Вашу просьбу при всем желании, ибо 23 янв[аря] было, а 25 есть и, значит, срок пропущен. У меня рисунков нет, я не предполагала такой спешки. Если бы хоть пришло письмо пораньше, а то оно где-то, видимо, заблудилось. Как же Вы будете издавать без рисунков или кто другой сделает?» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 107. Л. 1).

Арестовали Тернавцева. — Ср. характеристику Тернавцева Ремизовым в ст. «О понимании» (1952): «Тернавцева я встречал на собраниях Религиозно-философского общества и у Розанова, обаятельный „цыган" из Кишинева. Улыб-

ка — весна и в спорах, будь он и против, а как друг. Занимал он большое место в Синоде по отделу образования и страстный лодочник» (Алексей Ремизов. Исследования. С. 230).

С. 432. *Похороны.* — См. воспоминания очевидца А. И. Мельникова: «Улицы Петрограда в тот день имели необычный вид. Никто не работал: решением Исполкома Петросовета день похорон был объявлен нерабочим. Магазины закрыты. Трамваи не ходили. Улицы заполнены колоннами демонстрантов с яркими красными знаменами, транспарантами. <...> Похоронные процессии шли к Марсову полю районными колоннами» («Вспомним всех поименно...»: О тех, кто похоронен в братских могилах на Марсовом поле / Публ. А. И. Мельникова // Белые ночи. Л., 1978. С. 252—253).

С. 433. *Слон* — дружеское прозвище Ю. Н. Верховского.

...Унковский. Приехал из Румынии. — В 1917 г. В. Н. Унковский служил врачом южного военно-санитарного поезда Ее Имп. Вел. Гос. Имп. Александры Федоровны. См. его письмо Ремизову от 27 апреля 1917, посланное после их встречи в Петрограде: «Привет Вам из далекой Румынии, приехал на днях. Из Петрограда я направился в Харьков, где прожил несколько дней. Оказалось, что меня не перевели в Россию — пока буду служить в Румынии» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 214. Л. 30).

Были с Пришвиным в Синоде. — В архиве Ремизова сохранился пропуск на визитной карточке управляющего Канцелярией Святейшего Синода П. В. Гурьева: «Петр Викторович Гурьев просит швейцаров главного Синодального здания пропустить в Синодальную церковь на пасхальную утреню г. Ремизова и с ним четырех лиц. П. Гурьев. 30 марта 1917 г.» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Л. 11). См. также Дневник Пришвина-I от 2 апреля: «Мы ходили к заутрене с Ремизовыми в Синодскую церковь, „О мире всего мира!“ — возглашают в церкви, а в душе уродливо отвечает: „О мире без аннексий и контрибуций“. И как сопоставишь это в церкви и то, что совершается у людей, то нет соответствия» (С. 266).

С. 434. *Умер А. Д. Нюренберг.* — См. публ. Ремизова: Из «временника». Доктор Нюренберг // Почта вечерняя. 1918. № 8. 18 марта. С. 4. Нюренберг был прототипом Доктора — одного из героев повести «Корявка». См. об этом дарственную надпись жене на кн. «Корявка» (1922) (Каталог. С. 23).

Приходил прощаться М. М. Пришвин. — 1 апреля 1917 г. семья Пришвина переехала в д. Песочки Новгородской губернии.

С. 435. *...вспоминаю свое бурное.* — В 1896—1902 гг. Ремизов принимал участие в революционной деятельности (подробнее см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 419—447).

Сборник «Гусляр». — Издание не состоялось. См. письмо В. Фигнер Ремизову от 5 октября 1917: «Вы можете составить обо мне самое дурное мнение, если вам не сказали, что <...> сборник Ваш <...> издать не удастся и его можно взять на Екатерининской, 1) у нашего секретаря. <...> Причина — громоздкость сборника. Ведь вышел бы дорог в продаже; 2) типографии завалены работой по текущим вопросам и я лично прямо чувствовала бы себя неловко, занимая рабочие руки изданием такого сборника. 3) Две-три вещицы, прочитанные мной были такие, что не возбуждали охоты печатать их. 4) Вы все говорили, чтобы я и не читала, но я этого не могу, в интересах читателя надо бы все прочесть,

но у меня решительно нет времени для этого. 5) Не читая, не могла рекомендовать и настаивать. Так он зря и пролежал в шкафу. Напишите мне добрым словом — я очень не хотела бы, чтоб вы сердились на меня» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 219. Л. 1).

С. 436. *Сегодня ~ едем.* — Далее следует конец тетради, где записаны отдельные слова и заметки.

...штурмана поймали! — Имеется в виду Б. В. Штюрмер. После Февральской революции он был арестован и умер в Петропавловской крепости.

С. 438. *с. Берестовец.* — В с. Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии находилось имение семьи жены Ремизова. Настоящее написание ее родовой фамилии — Довкгело (или Довгело). Здесь и далее сведения даны по неопубликованной рукописи внука писателя Б. Б. Бунич-Ремизова «Из воспоминаний о семье С. П. Ремизовой-Довкгело» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед хр. 54. Л. 1—21). Далее: Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... с указанием номера листа.

...о Кшесинской, о ее дворце. — В 1904—1906 гг. петербургский архитектор А. И. Гоген при участии арх. А. И. Дмитриева, А. В. Самойлова построил особняк в стиле «модерн» (Б. Дворянская ул., д. 2—4) для балерины М. Ф. Кшесинской. Роскошь особняка породила слухи об источниках финансирования постройки, так как Кшесинская была известна своей близостью к Николаю II и членам императорской фамилии.

С. 439. *«Харьков ~ крестьянин разбил икону ~ умер в страшных мучениях».* — Вырезка из неустановленной газеты.

Сыромятники — район в Москве, где прошло детство Ремизова. См. описание родных мест в: Подстриженными глазами. С. 49.

С. 440. *Н[аташа] ~ стесняется за меня.* — См. запись в Рабочей тетради Ремизова 1950-х: «От Берестовца (имения) до города Борзна 15 верст. Мы ехали втроем: С[ерафима] П[авловна], я и Н[аташа]. Не хочется писать, запишу только канву. Хозяйка меня называла не А[лексей] М[ихайлович], а А[лексей] Иваныч, а раз Ив[ан] Ив[аныч]. Я молчал. Меня вызывали на ответы, чтобы посмеяться. Наконец, меня прорвало и я стал отвечать по-своему и прекратил под хохот. С[ерафима] П[авловна] была очень расстроена. Н[аташа] избегала смотреть. А возвращаться, я сел с кучером. У меня было чувство: Н[аташа] меня *стесняется*. Это было для меня ужасно: я ее очень любил. И вот через столько лет я пережил то же самое чувство» (Собр. Резниковых). Ср. также изложение воспоминаний Ремизова: «...он [Ремизов. — *А. Г.*] рассказал <...> о своем последнем свидании с нею [Наташей. — *А. Г.*], в 1917 году в Берестовце: настоящей встречи не вышло. Наташа дичилась. Да и в этом берестовецком доме все было не просто, а подчинено какому-то принятому порядку, ритуалу: женская и мужская половины, на все положенные часы, все установлено раз и навсегда. Наташа почти не показывалась отцу, кроме как за столом. У А. М. было впечатление, что дочь избегает его, как будто стыдится» (Резникова. С. 48—49).

Видел во сне ~ Виктора ~ в солдатской шинели. — В 1917 г. В. М. Ремизов находился на Румынском фронте подпоручиком в 157-й Воронежской пешей дружине.

С. 442. *Прометей.* — В кн. «Подстриженными глазами» упомянут «приютившийся у нас сын няньки, половой с Зацепы, принявший имя „Прометей"» (С. 174).

С. 443. *Маделунг ~ австрийский корреспондент.* — Во время первой мировой войны О. Маделунг был корреспондентом немецких газет на Восточном фронте. О взаимоотношениях Ремизова и Маделунга см.: Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. П. Альберга Енсена и П. У. Мёллера. Copenhagen, 1976.

С. 444. *Самое тягостное ~ нелюбовь.* — Отражение психологической дисгармонии, испытываемой Ремизовым во время посещений Берестовца. Ср. свидетельство Б. Б. Бунич-Ремизова: «Когда же Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича — ее приезды в Берестовец стали еще реже и короче: по той причине, что ее родные относились к Алексею Михайловичу весьма критически. <...> Алексей Михайлович, очевидно, чувствовал, что он чужой в берестовецкой усадьбе — и во время редких своих приездов туда <...> был сосредоточен в своих мыслях, которыми ему не с кем было поделиться. <...> Периодами Алексей Михайлович ни с кем в Берестовце не хотел разговаривать, иногда отвечал невпопад, произнося, как казалось родным Серафимы Павловны, какие-то непонятные, бессмысленные фразы. В комнате, где жили супруги Ремизовы, Алексей Михайлович развешивал бумажных чертиков и любовался ими. Садясь за работу, он иногда покрывался пледом с головой, что-то из-под него шептал и выкрикивал. И у всех родных Серафимы Павловны закрадывалась подчас мысль о психической неуравновешенности Алексея Михайловича» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 14—15).

С. 445. *Прасковья.* — О няньке Прасковье см.: Подстриженными глазами. С. 52.

С. 446. *Поразила ~ грубость толпы в Сен-Клю на гулянье.* — Текст Дневника за 10 июня использован в романе «Канава». Ср., например: «Майские нарядные катанья в Париже в Елисейских полях, и какие измученные серые лица там, у подножия Святого Сердца, — жалкий приют измызганной в постоянном труде бедноты, и беспросветно. Помню весенний праздник в благоговейно поблекшей Флоренции, ее гремячие по-московски мостовые; и другое гулянье в Париже в опустошенном Сен-Клу — какие жалости подобные развлеченья, топот дешево разряженной толпы, какая грубь сапог, и только что по-русски не матерят» (Ремизов А. Канава // Ремизов А. Избранное / Подгот. текста, коммент. и послесл. А. А. Данилевского. Л., 1991. С. 542).

...самодовольство на цюрих[ских] [?] с[оциал]-д[емократических] собраниях... — Данное свидетельство подтверждает факт общения Ремизова с кругом социал-демократической русской эмиграции во время его летней поездки (1896) в Швейцарию, Германию, Австрию, откуда он вернулся с сундуком нелегальной литературы.

С. 447. *«Уведи меня в стан погибающих...»* — Цитата из стих. Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

Видел муттер. — Слабеющее здоровье матери — постоянный мотив в письмах к Ремизову брата Сергея, жившего в 1917 г. вместе с ней во флигеле при усадьбе Найденовых. См., напр., его письмо от 26 мая: «У тебя, Алексей, есть „Воспоминания" Н. А. Найденова, пошлю в дополнение родословное древо

(хронологию проставь по селу Батыеву). Между прочим опасаюсь, как бы скоро не пришлось мне давать тебе грустную, но неизбежную телеграмму: маменька все хуже и хуже становится, часто впадает в забытьё и говорит совершенно несвязные речи. Изо дня в день на моих глазах происходит угасание, и это приближение, это яркое ощущение неотвратимости рождает во мне какое-то неиспытанное чувство и не страх это и не жалость, а что-то иное; какая-то нежность, как к малому ребенку, хочется предупреждать желания, сделать хоть что-нибудь, что облегчило бы, принесло отраду в последний раз» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 61).

С. 450. *Аристократичность.* — Наташа восприняла культивировавшееся в семье Довкгело представление о былой славе рода. «По преданию, сохранившемуся в семье Довкгело (или Довгело, как принято было писать эту фамилию в начале XIX в.), их род происходит от королевской литовской фамилии, родоначальником которой был, якобы, некий Явно (или Явнут) <...> К середине XIX в. от полулегендарного королевского происхождения семьи Довкгело остались только воспоминания да потомственное дворянство» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 3-4). Аксиома о знатности своего рода составляла одну из основ самосознания С. П. Ремизовой. См., например, легендарное развитие этого постулата (с рассказом о старинном замке — родовом имении Довкгело) и упоминание о трудных отношениях Ремизова с родственниками жены у А. В. Тырковой: Тыркова-Вильямс А. Тени минувшего: Встречи с писателями // Воспоминания о серебряном веке / Сост., предисл., коммент. Вадима Крейда. М., 1993. С. 338. См. также критическую оценку этой легенды Б. Б. Бунич-Ремизовым, пользовавшимся «Записками» (1910—1912) брата С. П. Ремизовой — Сергея: «„Это была средняя усадьба, — вспоминает Сергей Павлович. — довольно-таки запущенная. Она никогда до конца не приводилась в порядок. Дом, выстроенный более 40 лет назад, стоит незаконченным... Не помню ни одной весны или осени, чтоб в эту усадьбу не заходили чужие свиньи и лошади через поломанную изгородь... Сад поломан и запущен“. Так что замок с башнями в усадьбе, о котором упоминается в „В розовом блеске“ (С. 385—387) — то ли легенда, то ли рухнул от ветхости до первых воспоминаний Сергея Павловича и Лидии Павловны» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 9—10).

...о событиях 10.VI. сон был расстроенный. — См. статью «Подробности событий в Петрограде» (Киевская мысль. 1917. 13 июня. № 145. С. 4), где говорилось о «Съезде рабочих и солдатских депутатов» и возможных последствиях демонстраций.

С. 451. *...К[атерина] ~ балует ее между прочим.* — Ср. свидетельство Б. Б. Бунич-Ремизова: «Моя мать <...> не раз говорила, что для нее самым родным человеком была воспитавшая ее Лидия Павловна, которую Н. А. Ремизова всегда называла святой женщиной. Е. С. Семенова [подруга детства и юности Наташи. — *А. Г.*] утверждает, что на воспитание и особенно учебу Н. А. Ремизовой большое влияние имела не Лидия Павловна, а Екатерина Павловна, с которой племянница считалась больше, чем с не в меру баловавшей ее Лидией Павловной» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 20).

С. 454. *С. П. видела ~ бабушку Брешк[о-Брешковскую].* — В юности С. П. Ремизова была участницей революционного движения. Ср. позднюю запись

Ремизова: «С. П. была любимая „внучка“ Бабушки Брешковской. С. П. судилась по делу социалистов-революционеров и была приговорена. Просидела год в Предварилке и 3 года в ссылке в Вологодской губернии (Усть-Сысольск, Сольвычегодск и Вологда)» (Резникова. С. 28).

С. 455. *Во сне ~ будто мы у Иды.* — 20 июня Ремизов получил письмо С. Ремизова от 14 июня 1917 г. — ответ на свой запрос о возможности остановиться у кого-нибудь из родных в Москве (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 64—64 об.).

Умер ~ Волков. — О В. С. Волкове и его жизни в Пензе Ремизов вспоминал в кн. «Иверень» (Иверень. С. 124). В этой книге упомянуты также Н. В. Израильсон и Ольга Рунова, что дает читателю намек на семейную драму Волкова, раскрытую Ремизовым при переработке этой тетради Дневника в тетрадь «Заградительные вехи».

...Сергей ~ рассказывает о новой квартире... — Тематика сна навеяна полученным 21 июня письмом Сергея (от 17 июня), где подробно сообщалось о квартире, предоставляемой Ремизовым родственниками в Москве (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 65—66 об.).

С. 457. *...о нашем простом роде.* — Сублимация уничижительного отношения к роду Найденовых со стороны родственников С. П. Ср. в воспоминаниях Бунич-Ремизова: «Вся семья Довкгело очень отрицательно относилась к родным Алексея Михайловича, ставя их на одну доску с купеческим „темным царством“» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 14). Подобное отношение было предвзятым: с середины XIX в. семья Найденовых принадлежала к культурной и финансовой верхушке московского купечества. Особую известность имел дядя Ремизова — Н. А. Найденов (1834—1905) — председатель Московского Биржевого комитета, глава найденовского Купеческого Банка и одновременно известный историк, автор многих книг, посвященных московским древностям.

С. 459. *Сергей очень обижен.* — Возможно, сон отражает тревогу Ремизова за судьбу брата, до июня 1917 жившего вместе с матерью в Сыромятниках. См. письмо Сергея от 9 июня: «Сообщаю тебе новость. Я из Сыромятников уезжаю по письменному требованию В. А. Найденова [их дяди. — *А. Г.*]. <...> Значит, произошла и у меня революция. В 42 года приходится начинать жить сызнова. Ну что ж, кое-что видал и испытал, попробую еще, да пожалуй это и к лучшему; одно только меня беспокоит — это маменька — я-то постараюсь обставить это незаметно для нее, но что поделаешь с окружающими бабами, которые уже начали свои некчумушные подвывания, как дескать сына от матери гонят и как она без него будет (ведь эти идиоты Найденовы не смогли сделать все это келейно), толку-то нет, а маменька сильно расстраивается, вчера пришлось доктора звать» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 167. Л. 62—62 об.). См. дальнейшее развитие истории с изгнанием Сергея в его письме к Ремизову от 17 июня (второе письмо того же дня): «Сегодня утром покинул Сыромятники. В последние часы моего пребывания В. А. [Найденов. — *А. Г.*] устраивал всякие выпады, чтобы задеть мое самолюбие, имея целью, конечно, чтобы я сделал что-нибудь бестактное, словом как-нибудь нашумел и дал бы ему в руки козырь, но удовольствия этого я ему не доставил. Не могу я до сих пор взять в толк, не знаю чем объяснить эту подлую черту найденовщины — сделать другому

человеку нравственную боль безо всякой для себя выгоды. И черта эта не покидает человека, стоящего одной ногой в гробу. У нас стоит жара нестерпимая, 45° и выше. А это действует на состояние маменьки, последнее время к вечеру она бывает малосознательна, но, конечно, это полоумие может продлиться и год, и более. Уехал я не прощаясь, будто на службу ушел. Во всем доме [имеется в виду флигель матери Ремизова. — *А. Г.*] идет ремонт. Верх, говорят, будут сдавать. Приедешь и не узнаешь дома. А знаешь почему ремонтируют, несмотря на страшную дороговизну? А потому, что В. А. так сказал: с М. А. может что-нибудь случиться (по-русски: умрет) придут люди и увидят, что она жила в грязи. Продержали до 70 лет черт знает как, а стало быть как умрет, чтоб видели, что они все отдавали для ее покоя. Мерзавцы!» (Там же. Л. 65).

С. 459. *...Ряз[ановский] ~ прислал всего 1 письмо...* — Сохранился ряд писем И. А. Рязановского Ремизову за лето 1917, касающихся присмотра за квартирой. О тревогах Ремизова свидетельствует, напр., ответное письмо Рязановского от 14 июля: «Дорогой Алексей Михайлович. Присланная Вами телеграмма испугала и расстроила меня. Успокойтесь, Бога ради, успокойте глубокоуважаемую Серафиму Павловну — все благополучно, квартира цела: в ней обитает матрос Балтфлота Иван Сергеевич [Соколов-Микитов. — *А. Г.*]. <...> Вообще нет повода беспокоиться, ибо в Вашей стороне на Васильевском Острове все хорошо, а в нашем краю, у Лавры были 3—4 да еще 7го июля целые сражения» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 180. Л. 28).

С. 460. *...маме (к[otop]ую ты называешь Симой).* — Ср. воспоминания Б. Б. Бунич-Ремизова: Наташа «не имела представления о матери, свойственного детям, растущим возле родителей. Лидия Павловна рассказывала, каким непривычным было для девочки слово „мама“, которому ее пришлось учить, когда Серафима Павловна приехала в усадьбу: девочка привыкла называть мать так, как называли ее взрослые: Сима» (Бунич-Ремизов. Из воспоминаний... Л. 17).

С. 461. *...в Одессу переехали. И жалованья мне никакого.* — См. вступление Ремизова к разд. «Херсон»: «Сезон 1903 до поста 1904 г. в Херсоне с театром. С поста 1904 перекочевали в Одессу, а в мае в Киев. „Заведывание репертуаром“ оказалось шире, чем я думал: в мои обязанности входила и корреспонденция, и отправка на почту. Заниматься своим не оставалось времени. Вспоминаю это время, как тягчайшее. <...> Херсонским сезоном и кончилось мое театральное. В Николаев я ездил, а в Тифлис отказался. И начинается наша одесская страда» (На вечерней заре-2. С. 237).

С. 463. *...и «Лейла» пропала и «Табак».* — Упомянутые в записи сна произведения Ремизова имели сложную историю создания и публикации. «Лейла» — балетное либретто. Единственный результат несостоявшегося замысла создать балет на музыку К. Лядова с хореографией М. Фокина см.: Встречи. С. 167—171. Текст опубликован под заглавием «Алалей и Лейла» в кн.: Ремизов А. Русалия. Берлин, 1922. Повесть «Табак» в первом изд. под загл. «Что есть табак» (СПб., 1908) отпечатана в 25 нумерованных экз.; второе издание под тем же заглавием вошло в кн.: Ремизов А. Заветные сказы (Пб., 1920), отпечатанную в 333 нумерованных экз. См. также публ. текста «Что есть табак» и комментарий: Alma mater (Тарту). 1990. № 2(4). Октябрь. С. 7—8 (подгот. текста и предисл. Е. Г.).

С. 464. *...показать Николу в Толмачах.* — Братья Ремизовы родились в

собственном доме купца 2-й гильдии М. А. Ремизова в Толмачевском пер., д. 8, в приходе церкви св. Николая Чудотворца в Толмачах и были крещены в этой церкви.

С. 464. *...с описанием петербургских событий 2—4.VII.* — В газете «Киевская мысль» (1917. № 163. 5 июля. С. 2—3) сообщалось о петербургских событиях, связанных с июльским правительственным кризисом и концом двоевластия.

Все живо представляю себе. — В газете «Киевская мысль» (1917. 6 июля. № 166. С. 3) было дано суммарное изложение событий 3—5 июля и сообщено о переменах в составе Временного правительства (отставка Г. Е. Львова, новый премьер — А. Ф. Керенский).

С. 465. *...но к людям нет.* — Далее следует конец тетради, на ее последнем оборотном листе переписанный Ремизовым текст «Ессентукского документа».

С. 466. *Ростань.* — Раздел «IV Ростань» в рукописи иллюстрирован вырезкой из неустановленной газ.: «Ленин в гробу» с пометкой Ремизова «21.1.24 г.».

С. 467. *В Круты...* — Пейзаж, увиденный Ремизовым на станции Круты, остался для него одним из символических образов утраченной России. Он неоднократно вспоминал о нем в послереволюционных произведениях. См. одно из первых отражений этого образа в дарственной надписи жене от 1925 на кн. «Зга» (Прага, 1925): «Нынче в начале лета я открыл замечательную улицу rue Docteur Blanche, она между rue Rafet и трудной мне по выговору rue de l'Assomption. Я часто хожу на эту улицу. Dr. Белого, там около № 6 тополь (пирамидальный), ну точь такой на станции Круты. Я стою на противоположной стороне и смотрю на тополь, на шевелящиеся листья и прислушиваюсь к шуму их, тополь шумит особенно к вышине, не в стороны: шум идет, как по лестнице и я, глядя и слушая, вспоминаю Круты — поминаю твою землю, (у меня земли нету). Как странно, здесь в Париже уголок той России и мне кажется, что этот тополь упирается в то небо, как тот — там в Крутах» (Каталог. С. 24—25).

..поехали в Таганку. — Ремизовы остановились в Москве на квартире В. М. Ремизова. См. письмо С. М. Ремизова брату от 17 июня: «О дне приезда своевременно сообщи Иде [жене Виктора. — *А. Г.*] и мне и с вокзала прямо сыпь в Таганку» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 64).

Республику еще никто не установил... — Запись сделана на чистой левой стороне развернутого тетрадного листа и в конце текста датируется 12 июля 1917.

С. 468. *любит...* — Далее следует запись народных слов и выражений.

С. 469. *«Огненная мать-пустыня»* — название рассказа Ремизова (впервые опубл.: Народоправство. 1917. 25 сентября. № 10); «Хвост неподобный» — вероятно, первоначальное название рассказа «Лис преподобный» (впервые опубл.: Красный балтиец. 1920. № 7); *«Тощета»* — первоначальное название рассказа «Тощета великая» (впервые опубл.: Народоправство. 1917. 16 октября. № 12).

«...как поступить с вашей квартирой...» — Летом 1917 в квартире Ремизовых жил И. Соколов-Микитов, так же как и И. А. Рязановский, постоянно сообщавший Ремизовым о ее сохранности. См. его письмо Ремизову от 30 июля: «Все цело — сохраню. Подходят голодные дни. *Через два месяца* в Петербурге все решится. Думаю о Вас и так решаю: лучше не приезжайте» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 195. Л. 25); письмо от 24 июля: «Алексей Михайлович, у Вас все благополучно. Живу в Вашей комнате. Никто ко мне не ходит и не звонит, а чтобы

не одному быть, зажигаю лампадку и цветы у меня белы на столе» (Там же. Л. 27).

С. 471 *Поразила ~ речь Керенск[ого] и Авксентьева...* — Ремизов пишет о выступлениях, прозвучавших 4—5 августа на проходившем в Зимнем дворце Совещании представителей Государственной Думы, исполкомов комитетов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и различных партий — в связи с событиями на юго-западном фронте.

Во сне видел скандальную историю с переводом драмы, к[оторую] я будто бы списал. — Возможно, сублимация истории 1909 — обвинения Ремизова в плагиате из-за его обработок фольклорных текстов (см.: Ремизов А. Письмо в редакцию. 29-го авг. 1909 г. // Золотое руно. 1909. № 7-9. С. 145—148; см. также: Встречи. С. 26—30).

Гриша убиенный. — Имеется в виду Г. Распутин.

С. 472. *Дождь.* — После записи от 18 августа следуют вырезки из газет: «Демократия об обороне страны» (неуказ. газета от 8.VIII.1917); вырезка о телеграмме ген. Корнилова (Новая жизнь. 1917. 29 августа. № 114); статья «Генерал Деникин» (Русское слово. 1917. 29 августа).

С. 473. *...папиросы 2 к. враздробь.* — После записи от 22 августа следуют вырезки из неуказанных газет: речь И. Г. Церетели (22.VIII); отрывок из обзора печати, посвященного анализу военного положения страны (1.IX).

Приходил медведчик с медведем ~ и обезьяной. — Ср. воспроизведение этого эпизода в кн. «Мышкина дудочка»: «Проходил медведчик с медведем и обезьянкой; обезьянка старалась идти по медвежьи, уморительно ковыляла. Дружная компания остановилась под нашими окнами. Пел медведчик заунывную песню — «косолапы да мохнаты» и о дикой цыганской воле; песней и начиналось. А медведь показывал — «как кисловодские кухарки ходят» — «как барышни танцуют». Я наблюдал с балкона; окно — настежь» (Мышкина дудочка. С. 184).

С. 474. *Принесли «Приазов[ский] край» от 30.VIII.* — Имеется в виду редакционная статья «Подробности событий о корниловском мятеже»: «Арестованы были также Пуришкевич и Балашов. Вызванный генерал Алексеев прибыл в воскресенье и в течение всей ночи совещался с Керенским» (Приазовский край. 1917. 30 августа. № 207. С. 1).

С. 475. *...напечатано о увольнении Савинкова.* — См., например, заметку «К отставке Савинкова»: «Б. В. Савинков ушел после того, как выяснилось, что посты военного и морского министров займут военные лица» (Приазовский край. 1917. 2 сент. № 210. С. 3).

С. 476. *Савинков ~ к гибели нашей ~ положил свою руку.* — Ср. ремизовскую характеристику Савинкова: «У Савинкова не было никакой подготовки и никаких познаний, нужных для „правителя“ государства. Вся жизнь ушла на организацию истребления. Очутившись у власти, он ничего бы не выдумал, ничего бы не изобрел: истребительный зуд истощил все его силы. <...> Савинковым нельзя сделаться, Савинковым надо родиться. Савинков чувствовал себя роковым — да он и был роковым» (Иверень. С. 266).

«Выступление солдаток». — Вырезка из неуказанной газеты.

Чрезвычайное собрание ~ орган[изации]. — Далее следует вырезка из неуказанной парижской газеты 1920-х о кончине Адолия Сергеевича Родэ — владельца петербургского ресторана «Вилла Родэ».

С. 477. *Русский народ ~ плетни внизу лежат.* — Первоначальный набросок пятого раздела «Слова о погибели Русской Земли».

С. 478. *«Реквизиция хлеба».* — Вырезка из неуказанной газеты.

...Пришвин ~ еще верит, что не погибла Россия. — Ср. в Дневнике Пришвина-I запись от 8 сентября: «Вы идете по России и видите опустевших озлобленных людей с расщепленной душой и спрашиваете себя: где же народ? <...> Брошена земля, хозяйство, промышленность, семья, все опустело, все расщепилось, озлобилось <...> Но действительная жизнь движется вокруг реальности (созидание). Тут в действительной жизни, в конце концов, какой-нибудь бычок жует мерно по старым часам, и как ни бейся, он быстрее не будет жевать, и не повернешь весну на зиму и осень не обернешь к весне. Тут все возможно и проверки нет никакой. Кто быстрее забежит вперед? И что увидит забежавший вперед?» (С. 360—361).

С. 479. *...говорил с Б[орисом] В[икторовичем] ~ про него написать воспоминания.* — Статья Ремизова «Савинков» опубл. в «Последних новостях» (1932. 13 марта. № 4008). Наиболее развернутая характеристика его личности и судьбы дана Ремизовым в гл. «Савинков. Le tueur de lions» книги «Иверень».

У победителей полная сытость... — Имеется в виду сдача и арест ген. Корнилова. «Генерал Корнилов сдался и арестован в ставке. Поднятое им восстание, таким образом, ликвидировано, — ликвидировано без пролития крови и в короткий срок» (Русские ведомости. 1917. 2(15) сентября. № 202. С. 1).

...прислали от нотариуса о векселе... — В архиве Ремизова имеется письмо нотариуса П. Федорова с требованием уплаты 40 рублей по приказу В. Кузнецова. Платеж до 3 часов пополудни 16 сентября 1917 (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 43). Там же см. погашенный вексель Ремизова В. Кузнецову на 200 рублей (Л. 44).

С. 480. *...Замятин ~ вернулся из Англии.* — В марте 1916 Замятин был командирован в Англию для наблюдения за строительством судов по русским заказам на заводах в Глазго, Ньюкасле, Сандерленде.

Настя. — О Насте см. Дневник Пришвина-I от 30 декабря: «Когда стучусь к Ремизову и прислуга спрашивает: «Кто там?» — я отвечаю, как условились с Ремизовым, по-киргизски. — Хабар бар? Значит есть новости. Девушка мне отвечает со смехом: — Бар! И я слышу через дверь, как она говорит Ремизову: — Грач пришел. Киргизские мои слова почему-то вызывают в ней образ грача, и всегда неизменно. Сама же Настя белая, в белом платочке, и притом белоруска. Кто-то сказал ей, что Россия погибает. <...> — Неправда, — говорим мы ей, — пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет. <...> Как-то на улице против нашего дома собрался народ и оратор говорит народу, что Россия погибнет и будет скоро германской колонией. Тогда Настя в своем белом платочке пробилась через толпу к оратору и остановила его, говоря толпе: — Не верьте ему, товарищи, пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет» (С. 396—397).

«Gloria in exselsis». — Опубл.: Скифы. Сб. 1-й. Пг., 1918. № 2.

«Видение». — Это набросок произведения Ремизова «Огневица». О попытке ее публикации свидетельствует письмо Г. Чулкова — редактора журн. «Народоправство» — Ремизову (от 29 декабря 1917): «Как быть с „Огневицей“?

Дальнейшее существование „Народоправства“ сомнительно. Нельзя издавать журнал во время гражданской войны: разрушенные почта и транспорт. Если к первому февраля не наступит умиротворения, „Народоправство“ отдаст Богу душу. „Огневицу“ сейчас поместить не можем. Я, пожалуй, отдам переписать ее на машинке. Один текст пошлю Вам, а другой оставлю — на случай, если...» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 42). «Огневица» была опубл. в кн.: Ремизов А. Огненная Россия. Ревель, 1921. Она составила 2-й раздел книги, единственный из четырех, позднее не включенный в кн. «Взвихренная Русь». Образность «Огневицы», возможно, вызвана и постоянно читаемыми Ремизовым текстами протопопа Аввакума. Ср. видение Аввакума в тексте «Пятой челобитной»: «И лежашу ми на одре моем и зазирающу себе, яко в таковыя великия дни правила не имею, но токмо по чоткам молитвы считаю, и божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь» (Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения / Подгот. текста и коммент. Н. К. Гудзия, В. Е. Гусева, Н. С. Демковой и др. Иркутск, 1979. С. 144).

С. 481. *Измерила С. П. темпер[атуру]...* — В архиве Ремизова сохранился его температурный листок (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 22) и записи доктора Афонского о ходе болезни (Там же. Л. 19—19 об.).

С. 482. *1 мая 1918.* — Дата-автограф поставлена над вырезкой из газ. «Новый вечерний час» (1918. 3 мая/20 апреля. № 72. С. 2), которая открывает новую тетрадь дневника, хотя на следующей странице продолжается дневник за 1917. Над записью от 20 октября ряд поздних неразборчивых помет, отдельных слов и фраза: «Они сидят и от ужаса друг у друга губы кусают».

С. 484. *Остался у меня бронхит.* — См. письмо Ремизова В. Г. Тучапской от 14 октября: «А тут вернулись с Кавказа, захворал я жестоко (крупозное воспаление легких), теперь поднялся, отдышиваюсь и какие дела не сделал. исполняю» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 13).

...арестов[али] врем[енное] правит[ельство]... — Под текстом записи от 25 октября, завершающей страницу рукописи, приписка 1920-х: «оторопленный». Над текстом следующей записи приписка того же времени: «Б[ог] попустит кровав[ый] мор».

С. 485. *Жалко мне Мих. Иван[овича], сидящего в Петроп[авловской] крепости.* — М. И. Терещенко в числе прочих министров Временного правительства был арестован в ночь с 25 на 26 октября и препровожден в Петропавловскую крепость.

Вчера было избиение юнкеров. — Речь идет о подавлении выступления юнкеров Владимирского, Павловского и других петроградских военных училищ.

Сегодня целый день народ ~ Пришвин... — Ср. запись в Дневнике Пришвина-1 от 29 октября: «Сбегал на 14 линию к Ремизову. Едва пропустили. Пропуск спрашивают через окошко в железных воротах. Узнали, пропустили вооруженные охотничьими ружьями дежурные домового комитета. Каждый дом — маленькая крепость. <...> У Ремизова старик Семенов-Тяньшанский по-старчески, учительно, как новую или им открытую истину, говорил: — Мы находимся во времена

Кромвеля и французской 1-й революции, а они хотят ввести пролетарскую республику. Нам нужна революция во имя [1 нрзб.] прав личности: то, что провозглашено в манифесте 17-го октября. Социализм — это антипод свободы личности. Просто сказать, что попали из огня в полымя, от царско-церковного кулака к социалистическому, минуя свободу личности» (С. 381).

С. 485. *...начал чтение своего временника.* — Неясно, какой текст имеет в виду Ремизов. В журн. «Народоправство» (1917. 16 октября. № 12) появились части: «Язык запал», «Тощета великая», «Хлеба».

С. 486. *...при получении известия о сожжении Вас[илия] Блажен[ного] и разрушении Успенск[ого] Соб[ора]...* — О значительных разрушениях культурных памятников Москвы при взятии власти большевиками писали многие газеты. См., например, сообщение газ. «Приазовский край»: «Разрушены все памятники. Вся Москва разгромлена. Кремль весь изрешетили» (1917. 7 ноября. № 264. С. 2).

Резолюция о несвободе печати. — В «Резолюции ВЦИК по вопросу о печати» от 4/17 ноября говорилось: «Восстановление так называемой „свободы печати", т. е. простое возвращение типографий и бумаги капиталистам — отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, т. е. мерой безусловно контрреволюционного характера» (Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 43).

...увидала мою стену с игрушками... — Речь идет о ремизовской коллекции народных игрушек и природных курьезов. Ср. воспоминания М. Добужинского: «Квартира их была полна всевозможной курьезной чепухи, висели пришпиленные к обоям разные сушеные корни и „игры природы", вербные чертики и прю <...> В советское же время его квартира (тогда на Васильевском [острове]) превратилась уже совсем в колдовское гнездо, разный чудовищный вздор был развешан на веревках, и стены были самим Ремизовым расписаны по обоям чертями и кикиморами (Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 277). О судьбе ремизовской коллекции см.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и Пушкинский Дом (Статья 1. Судьба ремизовского «музея игрушек» // Рус. лит. 1997. № 1. С. 185—215).

С. 487. *Сегодня выборы в Учред[ительное] Собр[ание].* — В Петрограде голосование по выборам в Учредительное Собрание началось 12 ноября. В архиве Ремизова сохранились удостоверения А. М. и С. П. Ремизовых за номерами соответственно 1449 и 1448 по выборам в Учредительное Собрание (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 20—21). Ремизовские ожидания на установление законной демократической власти, связанные с созывом Учредительного Собрания, прямо почти не выражены в сохранившихся письменных источниках. Неожиданное отражение их см. в дарственной надписи Ремизова жене в 1922 г. на кн. «Чаакхчыгыз-Таасу. Сибирский сказ» (Берлин, 1922): «Я думал (ждал) что в Уч[редительное] Собр[ание] съедутся все народы и через них я узнаю Сибирь» (Каталог. С. 22).

28 ноября — день, назначенный Временным правительством для созыва Учредительного Собрания.

С. 488. *Убили Леонида Семенов[а]...* — В последние годы жизни поэт

Л. Д. Семенов занимался крестьянским трудом на хуторе в Дашковском уезде Рязанской губ., где и был убит в собственном доме бандитами (см.: Л. Д. Семенов Тян-Шанский и его «Записки» / Публ. З. Г. Минц и Э. Шубина // Учен. зап. ТГУ. Вып. 14: Труды по рус. и слав. филологии. XXVIII: Литературоведение. Тарту, 1977. С. 102—146).

С. 488. *На кутью пришли ~ Гребенщиков...* — См. воспоминания Ремизова о Гребенщикове: «Я помню, в саму темь военного коммунизма, в годы 1918—1921, у кого только не было по слабости человеческой мысли бежать куда глаза глядят — „оставить Россию? А кому же сторожить русскую книгу?" — Яков Петров приходил в ярость <...> В годы 1918—1921 я не помню жизнерадостнее человека во всем Петербурге: в какой только ячейке, на каком только собрании: и у балтморов, и у красноармейцев, и на всяких „трубошных" заводах, во всех районных отделах и подотделах не выступал он, „бия себя в грудь", часами читая о своем любимом библиотечном деле и библиографии, а после лекции — песни петь» (Встречи. С. 264—265).

Новый год встречал у нас Пришвин. — Ср. Дневник Пришвина-II, запись от 1 января 1918 г.: «Встретили Новый год с Ремизовыми: их двое и я, больше никого. На дворе стужа ужасная» (С. 5).

Русская литература ~ никогда не может встать в ряды торжествующей обезьяны. — 31 декабря 1917 г. вышел декрет о государственной монополии на издания всех русских классиков. Сотрудник газеты «Вечерний час» (с 1918 — «Новый вечерний час») П. Пильский объявил о проведении «Анкеты о монополии классиков» среди писателей. В связи с этим см. письмо Ремизова Ф. Сологубу от 1 января 1918: «Звонил Пильский написать ему для Вечернего Часа о декрете, унич[тожавшем] авторс[кое] право. Пильский сказал мне, что с Вами разговаривал о этой анкете. Я написал, написал и сосед наш Пришвин. Завтра 1/2 9^го^ утра пришлет Пильский ко Пришвину за рукописями» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 580. Л. 24). Ср. запись в дневнике Блока от 1 января: «Новый год встретили с Любой, сочиняя ответ на анкету Пильского (отмена литературного наследства для „Вечернего часа")» (Блок А. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 6. С. 319). Публикация материалов анкеты открылась сведениями о наследниках авторских прав Некрасова, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина и изложением мнения проф. С. А. Венгерова (1918. 2 ян- варя. № 1. С. 4). Во 2-м номере было объявлено, что итогом анкеты будет «принципиальная статья» Пильского, и приведены мнения Ф. Сологуба, Д. Мережковского, А. Блока. В частности, Сологуб отметил, что это постановление «несправедливо и нецелесообразно». В следующих номерах были напечатаны ответы Вас. Немировича-Данченко, Ан. Чеботаревской, Тэффи (4 января. № 3. С. 3); А. Куприна, А. Амфитеатрова, О. Миртова, М. Пришвина (5 января. № 4. С. 4). Далее публикация ответов прекратилась вместе с прекращением 11 января выхода самой газеты. В номере от 11 января (№ 5) появилась статья «Разгром редакции „Нового вечернего часа"», где сообщалось, что 6 января «помещение редакции подверглось разгрому. Из кладовых типографии было вывезено 5 бочек керосина и 1 бочка бензина. В редакции были разорваны и частью сожжены рукописи, а в конторе — книги» (С. 2). После этого публикация материалов анкеты не возобновилась, не появилась и итоговая статья П. Пильского. Очевидно, утрачен был и написанный ответ А. Ремизова. Приложенный к последней тетради

публикуемого Дневника текст о «торжествующей обезьяне», семантически перекликающийся со словами дневниковой записи от 1 января 1918, позволяет сделать предположение, что данный текст и есть неопубликованный ответ писателя на анкету. Беловой автограф того же текста хранится в архиве Ремизова в ИРЛИ (см. Приложение к наст. тому).

С. 488. *...битва под Разумником.* — Тяжелый разговор, очевидно, был связан с появлением ст. Р. В. Иванова-Разумника «Две России» (Сб. «Скифы». Пг., 1918 [дата выхода: декабрь 1917]. Вып. 2. С. 201—231). См. комментарий к «Слову о погибели Русской Земли» в наст. изд.

Вчера арестовали Пришв[ина]. — М. М. Пришвин находился под арестом с 2/15 по 17/30 января 1918. Ремизов принимал участие в хлопотах по его освобождению. В архиве Ремизова сохранился документ на бланке Петроградской ЧК: «8 января 1918 г. // Постоянный пропуск № 606 // Комиссару пересыльной тюрьмы // Прошу дать свидание госпоже Раздольской М. М. с арестованным Михаилом Михайловичем Пришвиным. // Товарищ Председателя В. Яковлев // Секретарь И. Ильин» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 4. Ед. хр. 4).

С. 489. *Вчера убили Шингарева и Кокошкина.* — Арестованные А. Н. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин были переведены из Петропавловской крепости в Мариинскую больницу для лечения. В ночь с 6/19 на 7/20 января оба были убиты ворвавшимися в больницу матросами.

С. 490. *Разговор с Блоком о музыке...* — Ср. в ст. «К звездам»: «Помню, после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону — еще можно было! — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем „ужасом" слышит он — музыку, и писать пробует» (Взвихренная Русь. С. 513). В этот день Блок закончил статью «Интеллигенция и революция».

...из Киева о убийстве митроп[олита] Владимира. — Газета «Новый вечерний час» (1918. 16/3 февраля. № 25. С. 2) сообщала о двух версиях убийства бывшего Петроградского, а тогда Киевского митрополита Владимира: «По одной — он убит случайно в своей квартире, а по другой, наоборот, он был выведен из своей квартиры и расстрелян у митрополичьего дома».

«Небесное знамение». — Вырезка из неуказ. газеты.

...сегодняшний сон о муттер... — Родные постоянно сообщали Ремизову об ухудшающемся здоровье матери. См., например, письмо С. Ремизова от 4 октября 1917: «Бываю я у маменьки, угасает она понемногу, начинает плохо видеть и плохо реагировать на окружающее»; его же письмо от 25 декабря 1917: «У маменьки бываю почти раз в неделю, живет она по инерции. Очень бывает рада мне, т. к. я приношу гостинцы. В разговоре сознается, что уже ничего не помнит и что все ей безразлично» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Л. 69 об., 71 об.).

С. 491. *«Берестяной клуб»* — впервые: Речь. 1912. № 268; *«Голова»* — впервые: Огонек. 1914. № 13; *«Подожок»* — впервые: Огонек. 1914. № 14. Все три сказки в той же последовательности включены в кн. «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (Берлин: изд. Гржебина, 1923). *«Змея»* — впервые: Записки мечтателей. 1921. № 2—3. Сборник «Сказки русского народа» был подготовлен для изд. Гржебина еще в Петрограде (см. письмо Ремизова В. Л. Львову-Рогачевскому от 7 декабря 1919 — РГАЛИ. Ф. 1100. Ед. хр. 45. Л. 2).

С. 491. *Дата: 23 [II]/10[III]* — описка Ремизова при пересчете на новый стиль: надо 23[II]/8[III].

С. 493. *1/2 с[ажени] дров.* — Добывание дров стало одной из наибольших материальных тягот Ремизова. Сохранились документы 1918—1919, относящиеся к «отопительной проблеме». 25 декабря 1918 г. Ремизов подал письмо в Отдел заготовок Комиссариата народного просвещения: «Покорнейшая просьба отпустить дров для моей квартиры, состоящей из 4-х комнат на 6-м этаже» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 53). Далее в бумагах Ремизова имеется акт: «10 декабря 1919 г. гражданину Алексею Михайловичу Ремизову, проживающему в д. № 31/33 по 14 линии, были привезены от объединенного кооператива «Домотоп» по квит[анции] № 32086 дрова, коих по указанной квитанции должно было быть 1 1/2 саж[ени], между тем как фактически оказалось дров лишь одна сажень. Дрова в момент подвоза в дом были сброшены извозчиком в присутствии владельца А. М. Ремизова, а засим по переноске их на место и укладке в поленницу оказалась недостача таковых в количестве 1/2 саж[ени]» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. Лб. Л. 69).

Мороки — над текстом приписка 1920-х гг.: «(о международном полож[ении] по текущему моменту)».

С. 494. *Кислово.* — Ремизовы гостили у родителей И. С. Соколова-Микитова в с. Кислове Дорогобужского уезда. См. письмо Соколова-Микитова Ремизову от 5 июня 1918 г. «Дорогие Ал[ексей] М[ихайловнч] и С[ерафима] П[авловна]! Самое трудное *дорога,* как доехать. На станцию можно выслать рессорную бричку (не очень хорошую) и потихоньку доберемся. Самое страшное по железной дороге, — ехать теперь в теплушках, битком набитых жидовой и хамотой... Написал, было, вам большое письмо со всеми страхами, а старики запретили: „напишешь такое, они не приедут“. Очень хотят, чтобы вы приехали. Мама уж хлопочет: что едят, где кровати поставить. Окна в сад, на пчел. Ход отдельно в сад. Буду все по порядку. Старики мои, знаете вы, люди хорошие, однако есть в них от того, чего так не выносит Серафима Павловна. Но „чайничка“ в доме нашем быть не может. Насчет еды. Всего здесь вдосталь, а молока всего больше. Готовят же просто, едят некрасиво. Нет умелой прислуги. Ванны нет (есть баня). Очень неудобное нужное место. Цветов старики мои не любили (не думали о них) и перед домом свиняччий плац. Зато, как хорошо в лесу и на реке! И лес, и река близко. Много будет ягод и грибов. <...> Если решитесь, присылайте телеграмму в одном слове: „решились“ или письмо и я постараюсь приехать» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 195. Л. 35).

С. 495. *«Повесть забавная о двух турках в бытность их во Франции».* — Изложение сюжета этой повести включено Ремизовым в текст романа «Канава» (см.: Ремизов А. Избранное. Л., 1991. С. 520—521).

С. 496. *...2 письма [от] С. Р[емизова]...* — Сохранилась открытка Сергея от 17/30 VII: «Завтра отбываю за границу [на Украину. — *А. Г.*] — имею пропуск на 2 месяца <...> еду в неизвестность и первобытным способом» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 74).

С. 499. *...часы с кукушкой...* — Подобные часы были для Ремизова одним из символов домашнего очага. Они появлялись на всех квартирах Ремизова вплоть до известной «кукушкиной» комнаты в его последней парижской квартире

на ул. Буало, д. 7. Ср. финал его переезда на эту квартиру: «Кукушка закуковала и пошла жизнь» (Кодрянская. С. 64).

С. 499. *...представил себе устьсысольскую осень...* — См. воспоминания Ремизова о ссылке: «Перебрасывая из тюрьмы в тюрьму, судьба вывела меня путем „несчастных“ (говорю по-русски) от ковылевых степей сквозь вологодскую деберь на устье Сысолы, и там покинули на своей воле жить среди югры — „языка нема“. И только что ступил я на берег и очутился за злой изгородью частых кустов шиповника, сразу почувствовал — мое сердце поворотилось — и тоска обожгла мне душу. Этот воздух, эти краски, эти звуки — сырые туманы лукоморья» (Иверень. С. 157).

Тоска на меня нахлынула. — 1919 год начался для Ремизова рядом психологических потрясений и человеческих утрат. В ночь на 14 февраля он был арестован вместе с К. С. Петровым-Водкиным, А. З. Штейнбергом, М. К. Лемке, Е. И. Замятиным, К. А. Сюннербергом, С. А. Венгеровым в связи с начавшимися преследованиями эсеровской прессы. 15 февраля вечером Петрова-Водкина, Лемке и Ремизова отпустили благодаря заступничеству М. Горького и А. Луначарского. В архиве Ремизова (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 12) сохранилось, очевидно, не понадобившееся, письмо на бланке Комиссариата народного просвещения (письмо — машинопись, подпись — автографы): «15 февраля 1919 г. // Председателю Чрезвычайной Комиссии // № 2359/1 // тов. Скороходову // Очень прошу Вас разрешить свидание с арестованным писателем Алексеем Ремизовым, об освобождении которого я одновременно хлопочу, жене его Серафиме Павловне // Комиссар по Просвещению А. Луначарский // Секретарь А. Аронова». 16 февраля Ремизов получил срочную телеграмму от С. Ремизова: «Маменька скончалась похороны вторник восемнадцатого Сергей» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 80). Приехать на похороны Ремизов не смог, о чем уведомил брата в письме от 17 февраля (местонахождение неизвестно). В ответном письме от 22 февраля Сергей подробно описал похороны матери: «Сегодня получил твое письмо, Алексей, от 17/II. Телеграмму тебе я послал на другой день Сретенья утром в воскресенье на Николаевском вокзале по дороге на панихиду, послал бы я ее и раньше, но произошла путаница: последнее письмо от тебя я получил 17/X без твоей пометки о квартире твоей, после этого писем не было и когда настал час известить тебя, то никто не знал адреса, некоторые говорили, что где-то на Песочной, но точно сказать никто не мог. Маменька умерла 31/I ст[арого] ст[иля] в 11 ч. веч[ера] по нормальному московскому времени, умерла тихо, занеся руку, чтобы перекреститься (пальцы сложенные для креста так и остались). В пятницу утром известили меня, так что я пришел туда только в первом часу дня. Маменька очень изменилась, кожа да кости и маленькая стала, нос тонкий, щеки ввалились чуть-чуть напоминала ту карточку, где снята вместе с папенькой. Умерла на своей постели и на стол ее не клали, а в Сретенье в 6 ч. веч[ера] положили в гроб и вынесли к Грузинской, поставили в холодную церковь, где она и стояла до вторника. Во вторник в 10 ч[асов] мы с Викташей перенесли ее в правый престол для отпевания. Обедню служил саккеларий Успенского собора Пшеничников, а на отпевание вышли пять протоиереев и один священник при двух дьяконах. Отпевали по чину, как следует истово. В 1 1/2 ч[аса] привезли

в Покровский монастырь и похоронили рядом с бабинькой, поставили большой дубовый крест. Тяжело мне, Алексей, и горько на душе, нервы что ли истрепались, по каждый вечер не могу прогнать от себя воспоминаний прежнего, не могу сдержать себя, плачу. С радостью думаю, что завтра смогу сходить в Покровский монастырь. Живем мы все кое-как, вечно с нехваткой того или другого. Я лично ушел весь в работу: ухожу из дому в 8 ч. у[тра] и в 8 ч. в[ечера] прихожу обратно, а то и в ч[асов] 9 и даже позже. Я не голодаю и не нуждаюсь, но ведь я один и у меня до minimum'а ограничены потребности — не то, конечно, у Викташи, там зачастую голодно и очень. Интересно, как ты перемогаешься, почему ты попал на Гороховую и что там такое, что тебя оттуда выпустили. По конверту вижу, что ты служишь, должно быть, в Репертуарной секции и что начальство твое Всеволод. Но что и как из письма не видно» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 75—75об.).

С. 501. *Видел во сне Ф. И. [Щеколдина] ~ он пришел, прочитал о себе...* — Ф. И. Щеколдин умер в начале 1919 г. от тифа. Похоронен на «Коммунистической площадке» кладбища Александро-Невской лавры. Речь идет о ремизовской статье-некрологе «Три могилы» (1919), посвященной С. М. Поггенполю, Ф. И. Щеколдину, В. В. Розанову. См. в этой статье оценку значимости личности Щеколдина для Ремизова: «Не могу я никак свыкнуться с этой бесповоротной мыслью. С похорон вернулся домой, поставил самовар и подумал: придет Федор Иванович, расскажу ему, как хоронили — не придет больше Ф. И. и на Пасху не жди. <...> Он был честнейший человек, самый надежный. И таким его знали во всех уголках России» (Крашеные рылá. С. 134; впервые опубл.: Записки мечтателей. 1919. № 1).

...видел В. В. Розанова. Будто спит он на кушетке. — В. В. Розанов умер 5 февраля. См. некролог Ремизова («Три могилы»): «Помер Василий Васильевич Розанов — самый живой из старших современников, всеобъемлющий, единственный в литературе русской, и одинокой в бродячей нашей жизни» (Крашеные рылá. С. 134). В последние годы жизни Розанова Ремизов постоянно просил знакомых, бывающих в Москве, узнавать о его положении. См., например, письмо А. А. Бородина Ремизову от 29 мая 1918: «Отдаю Вам краткий отчет в исполнении Ваших поручений. <...> Ездил в Лавру. Не без труда нашел на поляне Розановых. В. В. не было, как пазло уехал в Москву, так что взять Вам Апокалипсиса (очень интересно и глубоко, особенно т. 2) не мог, но дочь обещала напомнить отцу, чтобы выслали. Варвара Дмитриевна выглядит ужасно, краше в гроб кладут. Вообще они все жалки, заброшены, раздавлены событиями. Долгов тьма, продают вещи, даже книги, живут без прислуги, В. Д. сама все делает с дочерьми на кухне, хотя едва на ногах держится. Жаловалась на невыносимую тоску и тяжелую старость. Все время заговаривается, не сразу меня признала. Дочь Таня рассказывала мне, что В. В. тоже в таком жалком виде. Он, между прочим, помирился <...> с Гершензоном, был на днях у М. О., и когда М. О. упомянул про Вас, он спросил: „А что Алексей Михайлович]; все еще читает лекции студентам?" Очевидно, память у бедного очень слаба стала» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 35. Л. 2—3об.).

С. 502. *...вспомнил «Бесприданницу» с Коммиссаржевской.* — Роль Ларисы в пьесе А. Н. Островского «Бесприданница» была одной из лучших в репертуаре

В. Ф. Коммиссаржевской. Ремизов видел ее в этой роли на сцене Театра Коммиссаржевской (1904—1906), где в 1907 была поставлена его пьеса «Бесовское действо».

С. 502. *...на 6 этаже живем, куда вода не подымается...* — См. отражение тогдашнего быта А. Ремизова в «игровой» оценке В. Шкловского: «Зимой в 1919 году жил Ремизов в Петербурге, а водопровод в его доме взял да и лопнул. Всякий человек растерялся бы. Но Ремизов собрал у всех знакомых бутылки, маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал по две и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня недели. Очень неудобно, но — забавно» (Шкловский В. Zoo, письма не о любви, или Третья Элоиза. Пг., 1923. С. 27).

С. 503. *Видел я...* — Перерывы в ведении Дневника связаны с загруженностью Ремизова работой и домашними обязанностями. См. его письмо С. М. Алянскому от 13 мая: «Самуил Миронович, спросите сестру Вашу Берту Мироновну и сами подумайте: нет ли „приходящей". Изнемогаю и дела не делаю. В. О. 14 л[иния]. 31. кв. 48. 209-69. Серафима Павловна захворала» (РГАЛИ. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1).

Видел во сне А. А. Блока... — Тематика сна о Блоке навеяна реалиями быта Петрограда. См. описание одежды самого Ремизова: «Года военного коммунизма довели многих из нас до полной нищеты <...> Бедный Ремизов и впрямь стал походить на клошара, бродягу. Он обматывал себя тряпками, кутался в рваное трико, одевал на себя заплатанную, в цветочках кофточку Серафимы Павловны» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. Л., 1991. С. 207—208).

Подумал о Горьком: сколько он видит слез... — См. итоговую оценку взаимоотношений Ремизова с М. Горьким в годы революции в статье Ремизова «Три письма Горького»: «В жестокие годы русской жизни, когда на Взвихренной Руси творился суд непосужаемый, в революцию 1917—1920, самым громким именем — я свидетель того времени — назову Алексей Максимович Горький. Сколько было сохранено жизней <...> Сколько раз в эти годы обращались ко мне, потому что известно, я писатель, а значит, свой Горькому, похлопотать перед Горьким: последняя минута — единственная надежда — спасти от смерти. Я не знал ни тех, кто просит, ни тех, за кого просили. И всякий раз пишу одно и то же: Алексей Михайлович, умоляют спасти. И адрес. А потом ко мне придут благодарить за Горького» (Встречи. С. 120).

С. 504. *На жалованье жить невозможно.* — См. письмо Ремизова редактору журн. «Рабочий мир» П. Н. Зайцеву от 19 июля 1919: «Очень трудный м[еся]ц, надо много денег, ч[то]б[ы] к[а]к-н[и]б[удь] перебыть. Берите за 3 р[у]б[ля] Лиса» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 54).

С. 505. *...венец дел ~ раз в неделю пообедать.* — Ср. в письме Ремизова к С. М. Алянскому от 23 октября: «Самуил Миронович, если есть какая-нибудь возможность, найдите клад золотой и дайте мне малость» (РГАЛИ. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 8).

...назначено общее собрание для ликвидации Теат[рального] Отд[ела]. — См. письмо Ремизова Н. Г. Виноградову от 6 февраля 1920: «Часто за зиму

думал о Вас, а ведро, бочка и кастрюли всякий божий день напоминают. Всю зиму воды не было и теперь нету. Как прожили, один Бог весть. <...> С ноября служу в ПТО (Петер[бургское] [Театральное] отделение), просп[скт] Володарского (Литейный, 46) на прежнем положении: чл[ен] реперт[уарной] только не секц[ии], а коллегии, а упразднят коллегию, уж не знаю, в комиссию, д[олжно] б[ыть], попаду. Хожу пешком, трамвай ходит только до Адмиралт[ейства]. Очень за зиму измучился. Придешь домой, за кухню и стал я уж нынче и водонос, и кухон[ный] мужик, и судомойка, и младший дворник и еще, и еще, и еще не перечислишь. На письмо времени и не стало. Мы тут все на литеры разделены: физич[еский] труд — А — 1 ф[унт] хлеба в день; менее тяжел[ый] — Б — 1/2; и самый легкий (умственный, напр[имер]) — В — 1/4. Я в В попал» (Письма А. М. Ремизова Н. Г. Виноградову / Публ. А. М. Грачевой // Алексей Михайлович Ремизов. 1877—1957—1993. Былое и думы. Однодневное благотворительное литературное приложение. СПб., 1993. С. 10).

С. 505. *Я прослужил год...* — Ремизовская оценка своей службы в ТЕО и ПТО дана в тексте дарственной надписи жене на кн. «Крашенные рыла́»: «С ней связана вся моя страда театральная, все тягчайшие годы 1917—1921 — жгучая память и ответ, как человек над человеком мудровать может» (Каталог. С. 23).

С. 506. *«Бебка»* — впервые опубл.: Курьер. 1902. 21 ноября (4 декабря).

Ничего не пишу. — Ср. оценку ситуации в письме Ремизова В. Л. Львову-Рогачевскому от 7 декабря 1919 г.: «Тьма холодная и повинность мускульная убивают меня. Не хватает времени, и сил мне от Бога отпущено мало» (РГАЛИ. Ф. 1100. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 2).

С. 507. *Реестр писем.* — Первоначальный план Ремизова передать весь свой архив в Публичную библиотеку был впоследствии изменен. Писатель разделил его на две части: письма и документы до 1912 включительно переданы в Публичную библиотеку (ныне: РНБ). См. в Отделе Рукописей РНБ составленную Ремизовым опись передаваемых писем от 23 ноября 1919 г. (Ф. 634. Ед. хр. 273). В нее включены 224 единицы хранения. Перечисленный состав описи не соответствует полностью реальному наличию документов. Вторая часть архива, включающая в основном письма от 1913 до 1921 и творческие рукописи последнего русского периода творчества, поступила в «Дом литераторов» (ныне хранится: ИРЛИ). Передаточная опись владельца архива отсутствует. Несовпадение фактического и заявленного в описи количества писем к отдельным адресатам подтверждает изменение воли Ремизова передать *все* письма на государственное хранение. В начале 20-х гг. творческие рукописи были взяты друзьями Ремизова из «Дома литераторов» и возвращены автору. Отдельные письма (Блока, Горького и др.) были им взяты с собой при отъезде из России. Так, им были отобраны все 18 писем Розанова, впоследствии использованные при работе над кн. «Кукха. Розановы письма» (оконч. в Берлине 8 июня 1923, изд. 1923).

...разрешение на мои книги — печатать. — Речь идет о разрешении издать в «Алконосте» кн. «Что есть табак» с новыми рисунками Сомова. Издание было приостановлено зав. Петроградским отд. Госиздата И. И. Ионовым по решению рабоче-крестьянской инспекции, увидевшей в рисунках порнографию.

История несостоявшегося издания подробно изложена в кн. «Встречи» (С. 78—81). См. также дарственную надпись жене на кн. «Царь Додон» (1923), отразившую перипетии издания: «Рисунки вышли неудачно — слитно, ничего не поймешь. Книжка вышла, когда жили на Троицкой. Рабоч[е]-крест[ьянская] инспекция возбудила дело по заявлению какой-то: „у наших детей нет учебников, а тут какую-то похабщину издают, бумагу тратят". А писалось давно, в 1907 г. Материалом послужила народная сказка. А бумага действительно хорошая, и действительно ее так мало, что ни одного учебника не напечатать» (Каталог. С. 21).

С. 507. *В ту ночь приснилось мне...* — Описание сна от 20 марта включено в ст. «Ни за нюх табаку» (1920) — рецензию на пьесу Е. Замятина «Огни св. Доминика». Вошла в кн. «Крашеные рыла́» (С. 92—93). Там же и оценка сна: «Не от того, что накурился я шалфею, не от боли моей изводящей явился мне ночью со стуком и пламенем демон безводной пустыни, нет, прочитанная на ночь пьеса взбудоражила меня» (С. 93).

С. 508. *...1 день Пасхи...* — Над текстом приписка 1920-х: „Крептюков."

С. 509. *Копнул переплет «Мысленного рая»...* — Имеется в виду старопечатный сб. «Рай мысленный» (1658—1659). В него вошло сочинение патриарха Никона «Слово благополезное о создании монастыря пресвятые Богородицы Иверския».

Завтра к Ложкомоеву ~ стоять в очереди, клянчить. — См. воспоминания Ремизова: «Помню из петербургской жизни 1919—1920 г. товарищ Ложкомоев из Петрокоммуны на керосиновых прошениях Ремизова ставил резолюцию и всегда „выдать" — и исключительно за почерк» (К у к о в н и к о в В. [Ремизов А.] Рукописи и рисунки А. Ремизова // Числа. 1933. Кн. 9. С. 194).

С. 510. *15.III.1921.* — Далее записи в конце тетради 1919 г.

Пишу тебе письмо, стихами... — Текст частушки — запись рукой неустановленного лица.

Гошку — еда. Одно из трех «обезьяньих» слов, приведенных в Конституции Обезьяньей Великой и Вольной Палаты (Обезвелволпала). Впервые опубл. под загл. «Обезвелволпал»: Бюллетени Дома искусств в Берлине. Февраль/март 1922. № 1/2.

На новую квартиру переехали... — Последний петроградский адрес Ремизова: «Отель № 1 Петросовета», Троицкая ул., д. 4, кв. 1. Писатель вспоминал о мотивах переезда: «Зиму 1919 года мы вытерпели на нашей хорошей квартире в доме Семенова-Тянь-Шанского на Васильевском острове. Больше терпеть стало не под силу. Во „Взвихренной Руси" в рассказе „Труддезертир" полная картина нашего „жития". В мае 1920 года мы переехали на Троицкую в „Первый Отель Петросовета" (это устроила С. Н. Равич, знакомы с Вологды). С Троицкой мне было совсем близко на Литейный в дом Юсупова — ПТО. Я состоял при М. Ф. Андреевой и дважды в неделю ходил на „призрачные заседания театральной коллегии". Близко мне было и в Дом Литераторов на Бассейной, а то изволь переть с 14-й линии! И Серафиме Павловне в Аничков Дворец — она учила моряков 2-го Гвардейского „берегового" экипажа» (Встречи. С. 68—69).

С. 512. *Писал 1 сцену из Китовраса.* — Историю создания пьесы-мистерии «Китоврас» и публикацию ее текста см.: Грачева А. М. К истории невоплощенного драматургического замысла А. Ремизова и А. Блока («Соломон и Китоврас») // Сб.: Александр Блок. Материалы и исследования. Вып. 3. СПб., 1998. С. 138—178.

...статью о Скоморохах... — Неясно, о какой статье идет речь. В это время Ремизов работал над циклом «Скоморошьих сказок» (их рукопись, датированная «9.11.1920 г.», — РНБ. Ф. 1012. Собр. В. С. Спиридонова. Ед. хр. 7). Отдельное издание не осуществилось. Цикл вошел в кн. «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым».

«Шум города» — название цикла рассказов, публиковавшихся в еженедельнике «Красный милиционер»: «Звезды», «Заборы», «Изошел» (1920. № 4), «Рождество» (1921. № 1/15).

...переписку Гершензона и Вяч. Иванова. — Имеется в виду рукопись кн.: Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. Пг., 1921.

...выручать рукопись своего «Рва львиного». — Публикация романа «Канава (Ров львиный)», первоначально предполагавшаяся в изд-ве Гржебина, затягивалась, и Ремизов искал другие пути для осуществления издания. В частности, он получил от В. Л. Львова-Рогачевского официальное предложение опубликовать роман в Москве в письме от 1 сентября: «В ответ на Ваше письмо относительно „Рва львиного" мы писали Вам, Алексей Михайлович, но ответа никакого не получили до сих пор. Между тем книга Ваша „Ров львиный" включена в список книг, назначенных к печатанию в первую очередь и редакция ждет ее получения с большим нетерпением» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 126. Л. 9). В ответном письме от 7 декабря 1919 Ремизов сообщал о положении дел с рукописью: «„Ров львиный" лежит у Гржебина. На него сделан контракт. Но я еще не подписал только по хвори моей. Чтобы взять у Гржебина Р[ов] Л[ьвиный] надо ему 15000 заплатить... 15000 я получил от Гржебина, но этой суммой не оценивается Р[ов] Л[ьвиный], в нем 8 листов. Напишите сколько я могу получить за Р[ов] Л[ьвиный], сколько оценивается лист, вообще какие условия. Может, можно было сначала через альманах провести» (РГАЛИ. Ф. 1100. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 1).

С. 513. *Уельс шоколаду не ел!* — Банкет в честь Г. Уэллса в Доме Искусств описан в мемуарах Г. Иванова: «Приглашенные — человек тридцать — собрались к сроку, прохаживались мимо столовой и поглядывали па сервированный великокняжеской посудой стол. Всех интересовал завтрак. <...> Банкет был позорный. Уэллс с видимым усилием ел „роскошный завтрак", плохо слушал ораторов и изредка невпопад им отвечал. <...> Уэллсу меню завтрака явно не понравилось» (Иванов Г. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 66—67). См. также отражение того же события в кн. Уэллса «Россия во мгле» (Уэллс Г. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. М., 1964. С. 322, 333).

...расправляли серебро для игрушечной стены моей... — Стены в квартире Ремизова были украшены игрушками и рисунками, приклеенными к обоям и посвященными, главным образом, Обезвелволпалу. См. первоначальный печатный текст «Манифеста» Обезвелволпала: «Есть асычий нерукотворный образ — на голове корона, как петуший гребень, ноги — змеи, в одной руке — венок, в другой — треххвостка — на стене написан в рост человечий в Петербурге, на

Васильевском острове, д. 31, кв. 48, на самом на верху, куда и вода не подымалась и носить дрова отказывались, где только жили люди да гулял ветер» (Ремизов А. Ахру. Берлин; Пб.; М., 1922. С. 49—50). Настенные рисунки были украшены аппликациями из «серебряной» оберточной бумаги из-под чая. См. фотографии интерьера последней квартиры Ремизова: Ремизов А. Альбом. 1920—1950. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 12—17.

С. 514. *Шапошник[ов] — [без стихов] за повинностью...* — В архиве М. Горького хранится рекомендательное письмо Ремизова от 12 января 1921, представляющее поэта Н. А. Шапошникова, с приложением его шуточного пропуска-удостоверения в том, что он — «Пищик Посол из Обезьяньей великой вольной палаты» (ИМЛИ. Архив. А. М. Горького. КГ-П. 65.10.7).

С. 515. *Читал ~ «о человеке, звездах и о свинье».* — Сохранились рисованные автором афиши выступлений Ремизова в «Доме Искусств» в 1920 г. (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1—6). Эссе «О человеке, звездах и свинье» впервые опубл.: Сб. Дом искусств. № 1. Пб., 1921.

С. 516. *Рассказывал о Достоевском...* — Возможно, на основе этой лекции возникло эссе «Огненная Россия» (опубл. впервые: Дом литераторов. Пушкин... Достоевский. Пб., 1921. № 16). Позднее текст включен в кн. «Взвихренная Русь»).

«Яблоки». — Рассказа с таким названием не выявлено.

С. 517. *Вечером на «Короле Лире».* — Речь идет о спектакле «Король Лир» В. Шекспира в Большом Драматическом театре. См. письмо Ремизова к Блоку — председателю режиссерского управления театра от 6.IX.1920 (возможно, публикаторы письма неправильно прочитали дату): «Дорогой Александр Александрович! Дайте, если можно, билет на 1-ое представ<ление> б<ывшего> К<ороля> Лира для Серафимы Павловны. О себе прошу: мне все равно куда, в ложу ли, под ложу ли. Какой знак билетный? Теперь с Троицкой близко» (Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1982 (Лит. наследство. Т. 92).

«Заячьи сказки». — Над циклом «Заячьи сказки» Ремизов работал в 1916—1918 гг. Первая публикация цикла: Игра. 1918. № 2. Напряженное ожидание разрешения на выезд отражено в дарственной надписи жене на кн. «Ё. Заяшные сказки тибетские» (Чита, 1921): «С этой книгой связано наше ожидание: что решит наша судьба — останемся в Петербурге или уедем. И уехали» (Каталог. С. 21).

С. 518. *В этой квартире...* — Запись сна С. П. Ремизовой.

С. 521. *...в 3 часа ночи поезд...* — Ср. фиксацию событий отъезда в кн. «Огненная память», где цитируются личные записи Ремизова: «В ночь перед отъездом, 5-го августа: „как не хотелось уезжать. Всю ночь продумал: не хотелось. Но потом как оборвало, а у С. П. открылось на границе: ей так не хотелось расставаться“. Целый день в Петербурге ушел на переезд с одного вокзала на другой, на формальности и на обыск. Потом переехали в Ямбург, где поезд простоял весь день и всю ночь. Дорога продолжалась пять дней. В Нарве — одиннадцатидневный карантин. И только утром 23 августа Ремизовы добрались до Ревеля. В 1921 году А. М. было всего 44 года. Но и тогда, сильно близорукий, он всего боялся, чувствовал себя потерянным. „Утром до обеда меня гоняли на вокзал выгружать багаж (11.VIII). Переходил по мосту

через Нарову — это для меня такой ужас: что хотите, только не переходить мост...“; „12.VIII — заставили мыть пол. Мне это ничего не значит, я и натирать могу. Только бы не переходить мост!“ 18 сентября Ремизовы покинули Ревель, а 21.IX.1921 приехали в Берлин» (Резникова. С. 61).

С. 521. *...стояли до 8 часов зря...* — См. воспоминания Ремизова о переходе границы: «И разве могу забыть я холодный августовский вечер. А это было в день смерти Блока. Наш телячий поезд по пути к Нарве, нейтральная зона: на той стороне солдат в щегольской английской форме, сапоги по поле, а на этой — наш русский. И каким нищим показался мне этот красноармеец. И вдруг я услышал за спиной голос: «Прощайте, товарищ!» И этот голос прозвучал отчетливо, в нем было такое кипящее — из рассеченного сердца последним словом. И на это последнее слово — Россия! — я весь вздрогнул. Я видел, как красноармеец как-то с затылка неловко снял свой картуз, я видел, обернувшись, — я встретил, и не забуду, глаза — дальше и сверху глядели они, горя, и я узнал этот голос, — над раскрытой могилой» (Подстриженными глазами. С. 15).

...была дезинфекция и в карантине. — О карантине в Нарве см. позднюю запись Ремизова <1940-е?>: «Это как после пожара в глазах огонь — такое я увидел в карантине в Нарве, куда попали мы из России в августе 1921 г. Особенно мне памятны танцы: молчаливо-кружащиеся пары. Мне казалось, что прожитые годы в Революцию забили рты на клей: какое жуткое молчание с невыбивающимися словами из-под. И тоже особенно памятно: звероподобный начальник с лицом расплющенным масляным, — он танцевал всякий вечер. Остановившийся огонь в глазах и разочарование: карантин на две недели — каторга! Те же самые порядки, от которых, думалось, наконец-то, избавился. Тягчайшее воспоминание» (Собр. Резниковых).

Известие о смерти С. М. Городецкого. — Сообщение ложное.

С. 522. *Неужто Гумилева расстреляли?* — Н. С. Гумилев был расстрелян в ночь с 24 на 25 августа 1921 г. по обвинению в участии в контрреволюционной организации.

Два мира борются... — Записи слов и частушек рукой неустановленного лица на последнем листе тетради.

«Трудовая повинность». — Вырезка из неуказанной газеты.

С. 523. *...сны о духе.* — Далее следует 13 страниц с вырезками из газет, посвященных теме, надписанной Ремизовым над первой из них («Подробности убийства Караулова»): «Сто голов за одну нашу», т. е. теме «красного террора».

С. 529. *...я тогда и познакомился с ~ Карпинским...* — См. воспоминания Ремизова: «Всю зиму мы прожили на Дворянской у Дружбацких. А по весне нас всех турнули. Их барский дом за долги был продан <...> Новые владельцы шли той же дорогой по липкому серому снегу нам навстречу: Карпинские. Студент — Вячеслав Алексеевич — с нами поздоровался. (Его путь тоже как и мой: Вологда, потом эмиграция, а в революцию редактор „Деревенской бедноты“» (Иверень. С. 120).

С. 533. *...в год революции 1917-ый.* — К Дневнику приложены отдельные листы с автографами — «обезьяньими текстами»: 1) «Вонючая торжествующая обезьяна...» 2) «Из временника» («Спешу тебя уведомить, друг мой...») — в дальнейшем включено в гл. «Рожь» кн. «Взвихренная Русь» под загл. «Донесение обезьянского посла обезьяньей вельможе» (С. 293—295).

ОБЕЗЬЯНЬЯ ВЕЛИКАЯ И ВОЛЬНАЯ ПАЛАТА АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

В революционные годы (1917—1921) окончательно сложилась знаменитая литературная игра Алексея Ремизова — Обезьянья Великая и Вольная Палата. Это «тайное общество» как оригинальное воплощение принципов литературного и человеческого братства ведет свое начало со времени создания «Трагедии о Иуде принце Искариотском» (1908). Образы и сюжет пьесы были заимствованы из апокрифических сказаний, и только один персонаж — царь обезьяний Обезьян Великий — Валах — Тантарарах — Тарандаруфа Асыка Первый — выбивался из рамок привычных представлений. Колоритный герой побудил писателя придумать для маленькой Ляляши (Елены), дочери брата Сергея, игру в Обезьянью Палату.

Возникшая из детской забавы, Обезьянья Великая и Вольная Палата соединяла реальность с воображением и импровизацией; ее игровая условность ничуть не умаляла серьезности и конкретности самой жизни. Автор отвел себе в этом фантастическом пространстве скромную роль секретаря и хроникера — «канцеляриуса». Каждый посвященный в члены общества (среди которых были самые яркие представители литературно-художественной элиты Петербурга, Москвы, а затем и эмиграции) удостаивался «обезьяньей награды» — грамоты, знака или ордена за особые заслуги и специального звания или должности.

Союз людей свободного творческого духа, неотягощенных трафаретным мышлением, выделяющихся из обывательской среды, назван Обезьяньим обществом, поскольку, с одной стороны, обезьяна символизирует природную мудрость, естественность и даже хитрость, с другой — своеволие, нежелание подчиняться каким-либо нормам и пра-

вилам, словом, живет в свое удовольствие. Отметим, что Ремизов заявил «обезьянью» тему еще в 1903 году. В одном из стихотворений в прозе («После зноя желаний») встречается строка: «И скотский гам гогочет и мудрость обезьянья глубокомысленно мечтает»[1], где противопоставленные «скотство» и «мудрость», инстинкт и разум (впоследствии основополагающие мировоззренческие концепты ремизовского творчества), впервые соотнесены, пусть и косвенно, с антитезой Человек — Обезьяна.

Стереотипное представление человека об обезьяне непременно включает в себя не только элемент развлечения (обезьяна по своей природе должна уметь презабавно «ломать комедию»), но и скрытое опасение перед ее проделками. Впервые конфликт Человека и Обезьяны представлен в «Трагедии о Иуде...» и рассказе-сне «Обезьяны» (1908), где люди публично казнят обезьян — в соответствии с собственными законами. Человеку выгодно представить собственную жестокость свойством обезьяньего характера и обвинить обезьян во всех смертных грехах, себя же наделить высшим правом распоряжаться чужой жизнью и уже от имени власти насаждать узаконенный садизм.

Однако исторический контекст привносит в образ ремизовской обезьяны принципиальные изменения. В произведениях первых революционных лет обезьяна предстает воплощением грубой, бессмысленной и разрушительной силы, символом большевизма, революционной толпы, не признающей святынь, лишенной нравственных критериев. В знаменитом «Слове о погибели Русской Земли» (1917) эта тема звучит в унисон статьям М. Пришвина, публицистическим произведениям Ф. Сологуба, «Черным тетрадям» или стихотворениям З. Гиппиус революционных лет[2]. «Слову...» предшествовало «сочинение» следователя

---

[1] См.: Переписка с А. М. Ремизовым (1902—1912) / Вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова; публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // Литературное наследство: Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Т. 98. Кн. 2. С. 155.

[2] Ср., напр., с дневниковой записью З. Гиппиус: «Мы в лапах гориллы, а хозяин ее — мерзавец» («Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подгот. текста М. М. Павловой; вступ. статья и примеч. М. М. Павловой и Д. И. Зубарева // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 29).

Боброва из повести Ремизова «Пятая язва» (1912) — «Плач над разоренностью земли русской о погибели русского народа», где миру людей впервые в унизительном смысле присваиваются обезьяньи повадки: «хихикающее трусливое общество с своим обезьянским гоготом»[1].

Если образ обезьяны используется в «Слове о погибели...» косвенно — в качестве нелестного сравнения, то в неопубликованном при жизни писателя памфлете «вонючая торжествующая обезьяна» прямо отождествляется с большевизмом. Такая трактовка раздвигает рамки «обезьяньей» темы в творчестве писателя, позволяя обнаружить антиномическую сущность своеволия обезьяны. Волеизъявление в понимании Ремизова — это действие, нравственное содержание которого зависит от выбора между бессмысленным разрушением жизни («торжествующая обезьяна») и творческим преображением действительности (Обезвелволпал). В своем Дневнике Ремизов в тот же самый день, когда, по всей вероятности, была написана «Вонючая торжествующая обезьяна...» (1 января) записал: «Русская литература всегда стояла на стороне угнетенных и по заветам ее никогда не может стать в ряды *торжествующей* обезьяны»[2].

Чем очевиднее становились результаты большевистской революции, поначалу казавшейся неуемным разгулом народной стихии, тем нагляднее проявлялся ее государственнический характер. Вольный порыв жизни угасал, придавленный революционными декретами, запретами и ог-

---

[1] Ремизов А. Пятая язва // Альманах издательства «Шиповник». Кн. 18. СПб., 1912. С. 150. О внутренней взаимосвязи «Слова о погибели...» и «сочинения» Боброва см.: Грачева А. М. «Слово о погибели Русской Земли» и произведения А. М. Ремизова // Академик В. М. Истрин. Тезисы докладов... Одесса, 1990. С. 97—98; Козьменко М. В. «Я писал всегда врозь с темой дня...» // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 231—232. Примечательно, что в последней редакции «Слова», вошедшей в состав «Взвихренной Руси», тема «гикающих обезьян» полностью снята.

[2] Спустя много лет, когда улягутся все политические страсти, когда «злоба дня» отойдет на дальний план, Ремизов объяснит свое понимание связи «заветов литературы» и «революции»: «Революция — зовет; прошлое „сделанное“ — все, что живо-пламенно, все равно интернациональное и такое из беллетристики, не разрушать ни под какую руку — только дурашливый хозяин в революцию коверкает машины и разрушает „налаженный аппарат“ каких-нибудь очень полезных хозяйственных учреждений только потому — „революция!“, „старый режим!“ или еще как» (Ремизов А. Встречи. С. 258).

раничениями. В новом политическом контексте «обезьянье своеволие» выглядело предпочтительнее «порядка», устанавливаемого государством. Образ обезьяны-тирана — невменяемого чудовища, разрушающего культуру и самое жизнь — исчезает из ремизовского творчества как будто в одночасье. Происходит своего рода семантическая «перекодировка» символов, а образ «вонючей торжествующей обезьяны» сменяется образом свиньи. Начиная с 1919—1920 годов, в «обезьяньих» текстах Ремизова именно свободолюбивые обезьяны воплощают и хранят высокие этические принципы. «Реабилитация» обезьяны, быть может, отчасти объясняется изменением политической ситуации, заставившей писателя убедиться в переменчивости так называемых общественно-политических констант жизни и в постоянстве стремления человека к свободе. Некоторые косвенные свидетельства о круге чтения писателя этого времени наталкивают на мысль, что такой значимый поворот в его мировоззрении, возможно, имел и конкретную литературную основу. В домашнем «кондуите» «книгочея» Обезвелволпала — библиофила Я. Гребенщикова несколько раз встречаются отметки о выдаче Ремизову романа А. Франса «Восстание ангелов» из собственной библиотеки[1].

Напомним, что роман начинается с таинственного и варварского разрушения богатейшего книгохранилища. Библиотекарь, господин Сарьетт впадает в отчаянье. Силясь понять, кто способен на такое дикое преступление, он «задавал себе вопрос, не являются ли эти ночные погромы делом злоумышленников, которые проникают сюда с чердака, через слуховое окно, чтобы похитить редкие и ценные издания. Но никаких следов взлома нигде не было видно, и, несмотря на самые тщательные розыски, он ни разу не обнаружил ни малейшей пропажи. Сарьетт совершенно потерял голову, и его стала преследовать мысль, что, может быть, это какая-нибудь обезьяна из соседнего дома лазает с крыши через камин и орудует здесь, имитируя ученые занятия. „Обезьяны, — рассуждал он, — очень искусно подражают действиям человека“. Так как нравы этих животных были известны ему главным

---

[1] РНБ. Ф. 41. № 4. Л. 24, 33.

образом по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве повторять чьи-нибудь жесты или передразнивать кого-нибудь они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлинам и Докторам итальянской комедии; он представлял их себе то с палитрой и кистями, то с ступкой в руке, за приготовлением снадобий, то листающей у горна старинную книгу по алхимии. И когда в одно злосчастное утро он увидел большую чернильную кляксу на странице третьего тома многоязычной Библии в голубом сафьяновом переплете, с гербом графа Мирабо, он уже не сомневался больше, что виновницей этого злодеяния была обезьяна»[1].

Поиски вскоре привели библиотекаря в старый сарай, где он увидел бесконечно жалкое создание — ничуть не похожее на то, что рисовалось в его воображении: «...на прелой соломе, на рваной подстилке, сидела, дрожа, молодая макака, охваченная цепью поперек туловища. Она была ростом с пятилетнего ребенка. Ее посиневшая мордочка, морщинистый лоб, тонкие губы выражали смертельную тоску. Она подняла на посетителя все еще живой взгляд своих желтых зрачков. Потом маленькой сухой ручкой схватила морковку, поднесла ко рту и тут же отшвырнула прочь. Поглядев несколько мгновений на пришедших, пленница отвернулась, как если бы она не ждала ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись, обхватив колено рукой, она сидела не двигаясь, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь»[2].

Несчастная, замученная людьми макака удивительным образом напоминает персонажей сна «Обезьяны». Несомненно, что в контексте переживаемой писателем исторической эпохи, когда культурные ценности стали объектом отмщения революционной толпы за многовековую социальную несправедливость, этот фрагмент «Восстания ангелов» мог наполниться особым смыслом, актуализирующим и тему озверевшего человека, и образ невинного животного, а весь сюжет — предстать вариацией на тему истинных и ложных умозаключений, в границах которых

[1] Франс А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 18—19.
[2] Там же. С. 19.

вращается стереотипное мышление. «...старый книголюб, который пришел сюда, объятый гневом и негодованием, ожидая встретить насмешливого врага, коварное чудовище, ненавистника книг, теперь стоял растерянный, подавленный, огорченный перед этим маленьким зверьком, у которого не было ни сил, ни радостей, ни желаний. Поняв ошибку, растроганный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданиями, он опустил голову и сказал: — Простите»[1].

В конце 1910-х — начале 1920-х годов основным объектом едкой ремизовской иронии стали «бесхвостые» двуногие, которые, объявив себя «человеками», так и не выбрались из состояния «скотов»[2]. На известную литературную традицию — наделять животных человеческими чертами и подчеркивать их несомненное превосходство над людьми (восходящую к Плутарху), а также на откровенно сатирическую ориентацию приема позже указал сам писатель: «...„обезьянье царство“ как-то само собой получило в войну и революцию сатирический характер свифтовского лошадиного царства *гуигнгнмов*: царь Асыка издавал манифесты и подписывал „собственнохвостно“ декреты»[3].

Обезвелволпал был определенно аполитичным сообществом, но в то же время не мог существовать вне политики. Изолированное для непосвященных и умышленно отвлеченное от действительности пространство откровенно пародировало уродливые формы большевистского режима. Предметом сатиры становилось даже обыкновенное бытовое поведение. В этом плане показательна сказка «Заячий

---

[1] Франс А. Собр. соч. Т. 4. С. 20.

[2] В частности, тема различения «скотского» и «звериного» в человеке находит воплощение в рассказе «Свет нерукотворенный» (1916). Ср.: «...вот эта несчастная капля человечества, высокомерно отгораживающегося от зверя, зверье с человеческими громкими псевдонимами, — именами крестными! / Я спрашиваю: / — Какое же отличие этих человеков от зверей? / — Да одна отлика, — отвечает кто-то тихонько, ко всему претерпевшийся, — они все небритые, а люди, сам видишь! / И вижу, как сквозь сон, — или мне снилось когда-то, — есть в мире среди зверей звери, достигнувшие человека, — какая жуть, какое проклятие человеку во зверях среди братьев зверей и сестер звериц и звериного брата летающего и книжного разумного человечества» (Ремизов А. М. Среди мурья. Рассказы. М., 1917. С. 85).

[3] Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж, 1949. С. 57.

указ», ориентированная на жизненные реалии первых революционных лет. Ее герой — хитроумный заяц провозглашает среди зверей «указ с печатью»: « — От царя обезьяньего Асыки велено от всякого рода зверя доставить по сто шкур»[1]. Используя традиционный сказочный прием, Ремизов проецирует характерные явления мира людей на фантастический мир животных. Так, в сцене, где заяц читает «указ» царя Асыки, травестируется общеизвестный стиль поведения революционных комиссаров с их декретами и мандатами: заяц умело использует рефлекс страха перед символом власти — «красным ярлычком от чайной обертки». Образ зайца несет в себе приметы житейского прагматизма самого писателя, который в роли канцеляриста Обезвелволпала провозглашал указы Асыки и собирал с верноподданных Великого Обезьяна подать («хабар»), необходимую для красочного оформления царских указов и грамот (особо ценилась цветная бумага или просто яркие обертки от упаковок). Миф об обезьяньем царе, издающем указы для людей, дополняется новым, пародийным элементом, с помощью которого сатирически высвечивался абсурд жизни. Введение имени Асыки в контекст сказки совершается органично, без каких-либо авторских комментариев[2].

К 1921 году появились основные законодательные документы Палаты, существенно пополнился список «обезьяньих» князей и кавалеров. Определившись как антитеза революционной действительности, Обезьянья Палата, конечно, являлась утопией: невозможным в мире очевидного. «Обезьяньи» тексты («Конституция», «Манифест», «Донесение обезьяньего посла обезьяньей вельможе», «Асыка», «Вонючая торжествующая обезьяна...» и др.) явились реакцией писателя на конкретные события и представляли собой художественное изложение идеологии и этических идеалов Палаты, которые намеренно противопоставлялись сумбуру и беззаконию революционной действительности. Как ироническая и даже сатирическая форма противостоя-

---

[1] Ремизов А. Ё. Тибетский сказ. Берлин, 1922. С. 12.

[2] Примечательно, что в первых публикациях сказки, появившейся в печати еще в России, указы издаются от имени «царя государя и великого князя». См.: Огонек. 1917. № 31. С. 489—490; Игра. 1918. № 2. С. 47—48.

ния действительности, Обезьянья Палата копировала новые жизненные реалии. Даже появившаяся в 1920-м году аббревиатура *Обезвелволпал* была создана наподобие названий таких политических и общественных образований, как Копровуч, Наркомпрос и многих других неологизмов, населивших быт и язык нового времени.

В составе «Взвихренной Руси» принципиальные изменения приобрел сон «Обезьяны», где он опубликован под новым названием — «Асыка»[1]: обезьяны, выстроенные для казни на Марсовом поле, уподоблены красноармейцам (в редакции 1910 г. — солдатам), безбожных людей сменили «гуманнейшие умники», а в выражении «крещеный и некрещеный русский народ» были сняты все поясняющие эпитеты.

Наиболее показательно антагонизм «скотского» и «звериного», человека и обезьяны представлен в «Донесении обезьяньего посла обезьяньей вельможе». Первоначальный вариант «Донесения...», по-видимому, написанный летом 1921 года, запечатлен в Дневнике писателя. Здесь, однако, отсутствует последний абзац, основным содержанием которого стала тема свободного преодоления границ, связанная с отъездом Ремизова из России. Когда писатель оказался на положении бесправного эмигранта, именно «пограничье» навсегда стало для него естественным жизненным пространством. Поэтому в «Кукхе» (1923), мысленно обращаясь к старейшему кавалеру Обезвелволпала В. Розанову, он с горечью сетовал: «Эх, Василий Васильевич, только обезьянья палата (обезьянья палатка!) уничтожила всякие границы, заставы, пропуски и визы — иди куда хочешь, живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка-то, границ не имеет, так и значения, увы! Никакого в ограниченном мире»[2].

Мифологический нарратив «Донесения обезьяньего

---

[1] Подключение сна «Обезьяны» к мифу Обезвелволпала произошло в печатной редакции, предшествовавшей выходу книги «Взвихренная Русь», которая была опубликована под названием «Асыка — царь обезьяний» в парижском сатирическом журнале «Ухват» (1926. 15 мая. № 3. С. 8). Этот текст полностью соответствовал первой редакции.

[2] Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 66.

посла» вписан в исторический контекст своей эпохи. В условиях политической деспотии победившего режима «обезьянье своеволие» выглядело предпочтительнее «порядка», устанавливаемого государством. Анархизм как «свободное подчинение правилам» воспринимался вполне позитивной декларацией прав отдельной личности. Некоторые содержательные аспекты «Донесения...» почти буквально напоминают высказывания одного из основоположников русского анархизма П. Кропоткина: «Среди своих ближайших сородичей, обезьян, человек видел сотни видов <...>, живших большими обществами, где все члены каждого общества были тесно соединены между собою. Он видел, как обезьяны поддерживают друг друга, когда идут на фуражировку, как осторожно они переходят с места на место, как они соединяются против общих врагов, как они оказывают друг другу мелкие услуги, вытаскивая, например, шипы и колючки, попавшие в шерсть товарища, как они тесно скучиваются в холодную погоду и т. д. Конечно, обезьяны часто ссорились между собой, но в их ссорах было, как теперь бывает, больше шума, чем повреждений; а по временам в минуты опасности, они проявляли поразительные чувства взаимной привязанности...»[1]

Слова из «Донесения...» о том, что «ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались» безусловно, восходят к свифтовским гуигнгнмам, на языке которых «совсем нет слов, обозначающих ложь и обман»[2]. «Он <гуигнгнм-хозяин> рассуждал так: способность речи дана нам для того, чтобы понимать других и получать сведения о различных предметах; но если кто-нибудь станет *утверждать то, чего нет,* то назначение нашей речи совершенно извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не может понимать своего собеседника; и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, потому что его уверяют, что

[1] Кропоткин П. А. Этика. М., 1991. С. 59—60.

[2] Свифт Д. Путешествия Лемюэля Гулливера в некоторые отдаленные страны света сначала хирурга, а потом капитана кораблей / Пер. А. Франковского. СПб., 1993. С. 485.

белое — черно, а длинное — коротко. Этим ограничивались все его понятия относительно способности *лгать,* в таком совершенстве известной и так широко распространенной во всех человеческих обществах»[1].

Этический смысл «Донесения...» вполне очевиден: жизнь отдельного человека, куда выше революционных обязательств перед государством, народом, партийным сообществом, насильственно ограничивающих свободу с целью исправления его же собственной «скотской» природы. «Обезьянам» не надо притворяться «человеками»: они обладают самыми «неограниченными правами» по преодолению всех искусственных границ, придуманных людьми. И — не будучи никому и ни в чем обязанными — для сохранения собственной жизни («хвоста»!) обезьяны непременно должны объединиться: их спасение единственно возможно при условии свободного подчинения «строгим правилам и выработанным формам».

Принципы своеволия были узаконены Ремизовым в «Конституции» Обезьяньей Великой и Вольной Палаты и в «Манифесте» «верховного властителя всех обезьян» Асыки Первого, которые, равно как и декларируемая «идеология», носили системообразующий характер. «Неисповедимость» целей и намерений Палаты вполне подтверждалась содержанием законодательных параграфов: предельно общими словами о характере «общества», его верховном правителе (образ которого известен, хотя «его никто никогда не видел»), гимне, обезьяньем танце, иерархической структуре, всего лишь трех «обезьяньих словах» да неизвестно зачем добавленного правила бытового поведения, намеренно подчеркивался «тайный» характер Обезвелволпала. «Манифест» декларировал одно-единственное право: называть ложь — ложью, а лицемерие — лицемерием. Отторгая «гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова», документ фиксировал противоположность свободного и естественного обезьяньего мира рабскому и лицемерному сообществу «людей человеческих».

Непременным условием самоутверждения государства является так называемая «легитимация» власти. В послереволюционном историческом контексте «Конституция»

---

[1] Свифт Д. Путешествия Лемюэля Гулливера... С. 495.

Обезьяньей Великой и Вольной Палаты и «Манифест» «верховного властителя всех обезьян» Асыки Первого не могли выглядеть иначе, чем откровенный политический эпатаж[1]. В то время как новая власть, свергнувшая монархическую форму правления, стремилась сделать жизнь своих сограждан максимально контролируемой и «прозрачной», Обезвелволпал узаконил принципы своеволия: объявил себя «тайным обществом», «конституционной монархией» и в соответствии с парадоксальной логикой абсурда установил для своих подданных в качестве основного жизненного принципа «свободновыраженную анархию»: «Обезьянья Палата тем и обезьянья, дает все права и освобождает от всяких обязанностей»[2].

Однако следует иметь в виду и принципиальное отличие ремизовского «анархизма» (достаточно условного и аллегорического) от т. н. «зоологического материализма» русских анархистов, которые воспринимали порядки, царящие в животном мире, буквально: или же признавали инстинкт животных за основу развития человеческой свободы, или же как состояние, которое следует преодолеть. Ремизовская утопия, откровенно пародируя идеологическое доктринерство — в том числе и ортодоксальных анархистов, предлагала вполне оригинальный вывод: человек только тогда выйдет из своего рабского, «скотского» состояния, когда будет вести себя по отношению к другим людям столь же естественно, гармонично и «интеллигентно» — как относятся друг к другу представители животного мира.

На фоне уродливых проявлений большевистского режима Обезьяний орден стал контроверзой людскому противоборству и разъединению, провозгласив своим идеалом мир гармоничных человеческих взаимоотношений, исходным и итоговым смыслом которого должны быть принципы взаимоуважения, доброжелательства, абсолютной свободы без обязанностей и полной анархии, основанной на порядке и осознанных ограничениях.

Е. Р. Обатнина

---

[1] Об очевидной сатирической соотнесенности Обезвелволпала с реалиями исторического момента свидетельствует и дополнение к приведенному тексту «Конституции», записанное Ремизовым в альбом Я. П. Гребенщикову (1921 г.): «Обезвелволпал <...> есть общество тайное <...> Висит на советской платформе» (Сообщено А. М. Луценко).

[2] Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж, 1953. С. 134.

КОММЕНТАРИИ

«ВОНЮЧАЯ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ОБЕЗЬЯНА...»

Впервые опубликован: Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 143—145 (Публикация Е. Обатниной).

Рукописные источники: 1) Беловой автограф — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 40. Л. 1—2; 2) беловой автограф — Собр. Резниковых.

Дата: <1918>.

При жизни писателя текст остался неопубликованным за исключением небольшого фрагмента, первоначально вошедшего в рассказ «Голодная песня» (1918) книги «Шумы города» (Ревель: Библиофил, 1921), а затем под таким же названием — в книгу «Взвихренная Русь». Кроме нескольких несущественных разночтений с рукописью, автором была внесена одна принципиальная корректива: образ обезьяны заменен на «самодовольную и торжествующую» «свиную толпу с пятаками». Использование образа свиньи представляется закономерным продолжением литературной сатирической традиции. Ближайшим литературным предтечей «Вонючей торжествующей обезьяны...» можно назвать «сон» М. Е. Салтыкова-Щедрина «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдой» из цикла «За рубежом». «Вонючая торжествующая обезьяна...» в своем обличительном звучании приближена к «Слову о погибели Русской Земли» и в силу этой аналогии может быть истолкована как панорамное изображение большевистского террора. Публицистика революционной эпохи позволяет убедиться в том, что почти каждая строка «Вонючей торжествующей обезьяны...» конкретизируется действительными событиями, относящимися к концу 1917 года, когда большевики последовательно захватывали все рычаги государственной власти. Структура памфлета напоминает сужающиеся концентрические круги: от фактов, отражающих историческую катастрофу, — к беде личного порядка. По сути дела, перед нами обвинительная речь, описывающая состав преступления и страшные симптомы времени. Поэтому текст можно разделить на «общие места» революционного лихолетья, образующие фон эпохи, и перечисление отдельных фактов, за которыми стоят конкретные политические сюжеты. Атрибутировать рукопись позволяет фрагмент, где происходит своеобразный сдвиг от политического памфлета к лирическому повествованию. Именно эта часть текста несет в себе заряд особой, личной актуальности и напрямую связана с конкретными событиями своего времени. В последние дни декабря 1917 года в прессе

появилось сообщение об очередном декрете ВЦИК, непосредственно коснувшемся интересов творческой интеллигенции. Основным содержанием правительственного постановления был вопрос о создании государственного издательства. Наряду с монополизацией изданий всех русских классиков объявлялась отмена авторской собственности (см.: Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 296—298). На страницах газеты «Новый Вечерний Час» в начале января 1918 года возникла специальная рубрика «Опрос писателей», в которой возможность высказаться на злободневную тему была предоставлена ведущим литераторам — Д. Мережковскому, А. Куприну, А. Амфитеатрову, А. Блоку, Ф. Сологубу, М. Пришвину и др. А. Чеботаревская заявляла прямо: «Под видом „социализации авторских прав" совершается невежественными демагогами, всячески подольщающимися к толпе, грубейшее покушение на трудовые гроши работников мысли и самое циничное издевательство над правами личности <...> декрет об авторском праве — такая же „поденка", как и прочие произведения гг. комиссаров. Но отвратительно, что они и в этом случае не останавливаются перед искажениями истины, внушая темным массам лживое представление о „буржуях-писателях", купающихся в золоте, тогда как положение писателя в России всегда было, есть, да, по-видимому, и впредь будет одним из самых бедственных и гонимых» (Новый Вечерний Час. 1918. 4 января. № 3. С. 3). В этом контексте памфлет «Вонючая торжествующая обезьяна...» является своеобразным ответом на анкету об авторском праве. О том, что Ремизов сочинил некий текст для рубрики «Ответы писателей», свидетельствует его письмо Ф. Сологубу от 1 января 1918 года: «Звонил Пильский написать ему для В<ечернего> Ч<аса> о декрете, уничтож<ающем> аторс<кое> право {Пильский сказал мне, что с Вами разговаривал о этой анкете. Я написал, написал и сосед наш Пришвин, Завтра 1/2 9-го утра пришлет Пильский ко Пришвину за рукописями...» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 580. Л. 24). Причина, по которой ответ Ремизова так и остался неопубликованным, вероятно, кроется в самом тексте, который по своему характеру приближен к обличительной речи, а по своей политической ориентации — к сугубо антибольшевистскому памфлету, что в принципе не противоречило взглядам редакции «Нового вечернего часа», однако содержание «Вонючей торжествующей обезьяны...» оказалось гораздо шире заявленной темы анкеты. Вариант текста находится также в составе Дневника писателя 1917—1921 гг.

С. 534. *Вонючая...* — Ср. с восклицанием В. Розанова в «Апокалипсисе нашего времени», первые два выпуска которого увидели свет в конце 1917 г.: «Не довольно ли писать о нашей вонючей Революции...» (Розанов В. В. Мимолетное. М., 1994. С. 420).

...торжествующая обезьяна... — Метафорическое восприятие революционного переворота как крушения мира и наступления «последних времен», позволяет увидеть несомненную аллюзию памфлета к Bestia Triumphans — латинскому названию апокалиптического образа торжествующего зла, возникающему в 13-й главе «Откровения святого Иоанна Богослова». Заметим также, что в христианской традиции обезьяна — это figura Diaboli (см.: Janson H. W.

Apes and ape lore in the Middle ages and the Renaissance. London, 1952. P. 13—27).

С. 534 *...стянутые с растерзанного тобой генерала...* — Генерал-майор Николай Николаевич Духонин исполнил после октябрьского переворота должность верховного главнокомандующего Ставки. 8 (21) ноября 1917 года он был отставлен от своих обязанностей лично Лениным и заменен прапорщиком Н. В. Крыленко после того, как 7 (20) ноября отказался выполнять распоряжение Совета Народных Комиссаров о начале переговоров с противником. Духонин мотивировал свое неподчинение тем, что подобные переговоры могут вестись только от имени правительства, которое признано армией и страной (см.: Переговоры со Ставкой // Простая газета для города и деревни. 1917. 10 ноября. № 3. С. 3). На следующий день после приказа СНК на станции Могилев над безоружным генералом революционными солдатами и матросами, которые предварительно установили плакат с надписью: «Революционный трибунал», был учинен зверский самосуд. Трагедия разыгралась в присутствии «главковерха» Крыленко (см.: Главковерх Крыленко // Дело. 1918. 27 января (9 февраля). № 5. С. 1). Подобные расправы стали жуткой «нормой» революционного времени. 10 декабря 1917 г. «Воля Народа» поместила сообщение о самосуде над командующим войсками Туркестанского военного округа генералом Коровиченко (№ 190. С. 4), упоминание о котором вошло в текст «Взвихренной Руси» в качестве иллюстрации к рассказу о извращенном понимании порядка в революционные годы.

...самодовольно нахлобучила французский красный колпак... — Намек на полюбившуюся большевикам и левым социалистам-революционерам аналогию с Великой французской революцией. Ср.: «Вот теперь они принялись читать и цитировать вкривь и вкось „Историю французской революции“ Жореса» (Русанов Н. С. Жорес и большевистские историки // Дело. 1918. 24 января (6 февраля). № 2. С. 1). Подобный исторический параллелизм стал в правоэсеровской прессе объектом едкой иронии. В статье «Красный гроб» с принципиально значимым подзаголовком — «Слово о том, как доказала Россия, что человек действительно происходит от обезьяны», М. Пришвин писал: «...французская пьеса превратилась в русскую мистерию о происхождении человека от обезьяны, страшную и невиданную миром мистерию, где на тронах сидят обезьяны, а души усопших по черным улицам вихрем носятся в красных гробах» (Воля Народа. 1917. 5 ноября. № 164. С. 1; см. также: Пришвин М. Смех обезьян. Из дневника // Воля Народа. 1917. 28 октября. № 156. С. 1). Ф. Сологуб высказался на эту же тему в газете «Петроградский голос»: «Мы поспешили назвать нашу революцию великою и сравнить ее с Великой французской революцией. Но вот видим, что величия в делах наших мало, и революция наша является только обезьяною Великой французской революции» (Сологуб Ф. Крещенье грязью // Петроградский голос. 1918. 6 января. № 4. С. 2). Примечательно, что автор цитирует здесь ремизовское «Слово о погибели Русской Земли»: «вокруг нас „гарь и гик обезьяний“, по скорбному слову Ремизова».

...обольстив изголодавшуюся горемычную чернь медовым пряником — посулом мира, хлеба, земли и воли... — Фраза, перекликающаяся с передовицами

газет правых эсеров конца 1917 г. («Воля Народа», «Простая газета для города и деревни»), где первые декреты Советской власти назывались лживыми обещаниями, служащими приманками для народных масс.

С. 534. *...исковеркала ты родную русскую речь «главковерхами» и «викжелями»...* — Аббревиатуры «главковерх», под которой подразумевалась фигура верховного главнокомандующего, народного комиссара по военным и морским делам Н. В. Крыленко и «викжель» (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников) в конце 1917 г. не сходили со страниц прессы (См.: Поход на Викжель. В министерстве путей сообщения // Вечерний час. 1917. 27 ноября. № 1. С. 3; «Приказ» верховного главнокомандующего // Воля народа. 1917. 11 ноября. № 169. С. 4). Орган ЦК партии левых социалистов-революционеров газета «Знамя труда» в этой связи писала: «Рушатся ненавистные устои, и с ними вместе, под самыми их обломками гибнет духовное богатство народное <...> Тускнеет образность русской речи, и слово, лишенное своего художественного значения, низводится до степени простого условного знака» (Петров К. В защиту художественного слова // Знамя Труда. 1918. 4 января (17 января). № 110. С. 2). В качестве примера автор статьи приводил слова «главковерх» и «центробалт».

...твоя обезьянья морда есть обезьянья морда, а не лик Спасителев, как пыжишься представиться перед простецами и недоумками... — Полемическое указание на неохристианские, «скифские» идеи Иванова-Разумника, который писал в «Двух Россиях»: «За корявыми словами, русской революцией всемирно провозглашенными: „мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов" — только душевно глухой мог не расслышать слов вдохновенных, когда-то провозглашенных миру: „на земле мир, в человеках благоволение"...» (Скифы. Сб. 2. [Пг.,] 1918. С. 201).

...загнала обезьяньей расправой своей... — Всепоглощающая атмосфера насилия и произвола — лейтмотив постоянных газетных откликов конца 1917 — начала 1918 гг. Ср.: «Теория „священного насилия" и практика „беспощадной расправы" приносят свои плоды. <...> А смольные верховники и главковерхи в это время одной рукой подписывают приказы, в которых, захлебываясь, уверяют, что „Россия не хочет и не будет вести войны, что она распускает свою армию", что она и дальше „будет распускать ее", а другой грозят расстрелами без суда и „беспощадной расправой" и подстрекают к новым убийствам несчастных, ослепленных людей» (Долой гражданскую войну! // Дело. 1918. 28 января (10 февраля). № 6. С. 1). Инвективная реплика Ремизова о расправах без суда и следствия пересекается с рядом газетных публикаций, раскрывающих произвол революционных трибуналов. Комментируя директивы Советов по созданию революционных трибуналов, где в качестве мер борьбы с нарушителями «революционного порядка» предлагались «принудительные работы, лишение свободы, высылка за границу и тому под.», — газета «Новый Вечерний Час» с понятным беспокойством отмечала: «Особенно характерны эти последние словечки. Кто определит их содержание?» (Н. В революционном трибунале // Новый Вечерний Час. 1917. 9 декабря. № 11. С. 4). Тема расправ в тексте Ремизова сопряжена с темой тюремного застенка как одной из форм большевистского террора. Очевидно, что документальным источником этого

мотива могли послужить не только арест гр. С. Паниной, арест и убийство А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина в конце ноября 1917 — начале января 1918 года, но и арест М. М. Пришвина в составе редакции «Воля Народа», под которым он находился со 2 по 17 января 1918 г. (См.: Пришвин М. Капитан Аки // Воля страны. 1918. 26 января. № 5. С. 2; а также редакционные статьи газеты «Воля народа», начиная от 5 января 1918 г.; после ареста — «Воля страны»). В этом смысле примечательны наблюдения, сделанные Пришвиным в пересыльной тюрьме, откуда он писал Ремизову 3 января 1918 г.: «Дорогой Алексей Михайлович! арестовали нас кучей: (и Розов тут!) и тот некий, который пришел купить Волю Народа. Из этого заключаю, что должны ж выпустить; но, говорят, что может быть сидение будет и долгое. <...> у меня отобрали портфель со многими рукописями (и Вашими) <...> Я требовал портфель со стихами и согласно с говорившими: я — член Учр<едительного> Собр<ания>, говорил: „А я русский писатель!“ На это получил ответ — „после 25-го октября это не считается!“ <...> мне кажется <...>, что тюремное сидение есть точное изображение тому состоянию духа, которое мы все испытываем теперь дома» (Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. статья, публикация и примечания Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 194).

С. 534. *...к той темной до-ярославовой поре истории нашей...* — При великом князе киевском Ярославе Мудром (ок. 978—1054) Древняя Русь получила «Русскую правду» — первый свод государственного права.

С. 535. *...нищая духом...* — Выражение «нищие духом» в Евангелии относится к людям, сознающим скудость своей духовной жизни и обретающим духовное богатство в Царстве Божием (Лк. 6, 20—21); у Ремизова оно связывается исключительно с бездуховным настоящим.

Весь сыр-бор загорелся из-за Михайловского. — В начале января 1918 г. обсуждался декрет о монополизации наследия писателей-классиков и одним из первых — наряду с Некрасовым, Тургеневым и Салтыковым-Щедриным — назывался Н. К. Михайловский. См.: Монополизация русских писателей // Новый Вечерний Час. 1918. 2 января. № 1. С. 4.

...говорил о правде — истине и справедливости. — Согласно учению Михайловского социолог ищет пути к осуществлению должного, или правды-справедливости, в отличие от естествоиспытателя, который удовлетворяется правдой-истиной.

КЛАД; КЕДРИКИ

Клад; Кедрики // Беседа (Берлин), 1923, № 3 (1-я и 2-я главки цикла «Россия в письменах. Парижский клад»; остальные главки цикла составили во «Взвихренной Руси» раздел «Петербург — Петрова память»).

С. 539. *...в «Жар-Птице»...* — «Жар-птица» — ежемесячный литературно-художественный иллюстрированный журнал, выходивший в Берлине в 1921—1923 гг. (и позднее в Париже в 1925—1926 гг.); редактор-издатель А. Э. Коган, литературный редактор А. Черный, художественный редактор Г. К. Лукомский.

С. 83. *...о его новой книге о Паскале «Маковка мысли»...* — Работа Л. Шестова о философии Б. Паскаля вышла по-французски отдельной книжкой: La nuit de Gethsémani. Essai sur la philosophie de Pascal (Paris, 1923), на русском языке под заглавием «Гефсиманская ночь. Философия Паскаля» опубликована в «Современных записках» (1924. Кн. 19, 20); позднее вошла в книгу Шестова «На весах Иова» (1929).

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. М. РЕМИЗОВА*

* При подготовке учтен опыт именного указателя, составленного Андреем Козиным (Борисом Филипповым), в кн.: Ремизов А. Взвихренная Русь. Изд. 3-е. London, 1990. С. 531—693.

В указателе фиксируются только имена и лица, реальное существование которых подтверждено документально.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

Бахметевский архив — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова
(Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»).

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва).

ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

СПбГТБ РО — Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. Рукописный отдел.

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж).

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло.
(Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

Печатные источники

Автобиография 1912 — Ремизов А. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М., СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 437—442.

Автобиография 1913 — Ремизов А. Автобиография 1913 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический аль-

манах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 442—445.
Алексей Ремизов. Исследования — Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб., Дмитрий Буланин, 1994.
В розовом блеске — Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.
Встречи — Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.
Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.
Дневник — Ремизов А. Дневник 1917—1921. Подгот. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1994.
Дневник Пришвина I—II — Пришвин М. М. Дневники: I) 1914—1917. М., 1991; II) 1918—1919. М., 1994.
Каталог — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб., Хронограф, 1992.
Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].
Кодрянская. Письма — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.
Крашеные рылá — Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин: Грани, 1922.
Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин. Изд. З. И. Гржебина, 1923.
Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.
НРС — «Новое русское слово» (Нью-Йорк).
НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).
Огонь вещей — Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.
Пляшущий демон — Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: Склад издания «Дом книги», 1949.
ПН — «Последние новости» (Париж).
По карнизам — Ремизов А. По карнизам. Белград: Русская библиотека, 1929.
Резникова — Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания об Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.
Революционер Алексей Ремизов — Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 419—437.
Рус. лит. — «Русская литература» (Санкт-Петербург).

РН — «Русские новости» (Париж).
Сирин 1—8 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.
СП — «Советский патриот» (Париж).
Учитель музыки — Ремизов А. Учитель музыки / Подгот. к печати, вступ. статья и примеч. Антонеллы д'Амелия. Paris: La Presse Libre, [1983].
Учен. зап. ТГУ — Ученые записки Тартусского государственного университета.
Шиповник 1—8 — Ремизов А. Соч.: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

Кор. — коробка.
печ. текст — печатный текст.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 5

ВЗВИХРЁННАЯ РУСЬ

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **И. А. Шиляев**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 8.08.2000. Подписано в печать 28.11.2000. Формат 84×108 $^1/_{32}$.
Бумага офсетная № 1. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,23 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 36,14 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 5000 экз. С — 37. Зак. № 2045. Изд. инд. ЛХ-202.

Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
«Правда Севера»
163002, г. Архангельск, Новгородский пр., 32